This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

ДЕШЕВЫЙ ГОРОДЪ

ХРОНИКА-РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. П. Скороходова (Надеждинская, № 39).
1886.

Я. П. ПОЛОНСКІЙ.

ДЕШЕВЫЙ ГОРОДЪ

ХРОНИКА-РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ИЗДАНІЕ

Ю. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скорохода (Надеждинская, № 39).
1886.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ДЕШЕВЫЙ ГОРОДЪ.

ХРОНИКА-РОМАНЪ.

Посвящается И. С. Тургеневу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

«А ночь была тюрьмы чернѣй»—говоритъ стихъ Пушкина въ разсказѣ о томъ, какъ старый гусаръ леталъ на скамьѣ, превратившейся въ коня, по слѣдамъ кіевской вѣдьмы... И, дѣйствительно, у насъ, на югѣ, въ позднюю осень, бываютъ такія темныя ночи, что, какъ говорятъ, воробьи не отыскиваютъ гнѣздъ своихъ. Не отъ того ли и называются онѣ—«воробьиными»?

Въ одну изъ такихъ ночей, въ началѣ ноября 1846 года, часа за два до разсвѣта, отъ одной жидовской корчмы отъѣхала таратайка, запряженная парою чахлыхъ лошаденокъ, съ жидомъ на передкѣ, и съ молодымъ человѣкомъ на придавленномъ чемоданчикѣ. Вынесенный фонарь тускло посвѣтилъ имъ въ степь на дорогу, но не прошло и двухъ минутъ, какъ таратайка съ сѣдокомъ погрузилась въ кромѣшный, непроглядный мракъ, какъ-бы со-

вершенно потонула въ немъ, и только однообразный, деревянный стукъ ея по сухому, подмерзлому грунту, среди мертвой ночной тишины, на цѣлую четверть версты кругомъ давалъ знать, что кто-то ѣдетъ.

Этотъ «кто-то» былъ юноша двадцати-трехъ лѣтъ, недавно кончившій курсъ въ московскомъ университетѣ— Владиміръ Григорьевичъ Елатомскій.

Онъ былъ уже въ двадцати-двухъ верстахъ отъ Одессы и никоимъ образомъ понять не могъ, какъ можно ѣхать въ такую темень. Лошади бѣжали рысцой. Онѣ также хорошо ощупью знали свою дорогу, какъ иной слѣпой знаетъ расположеніе мебели въ своей квартирѣ: не мало контрабанды благополучно провозили онѣ подъ прикрытіемъ такихъ же «воробьиныхъ ночей». И что имъ стоило пробѣжать верстъ двѣнадцать до слѣдующей жидовской корчмы, гдѣ, можетъ быть, немножко и покормятъ ихъ?

Юноша Елатомскій, какъ ни пялилъ глаза свои, не видѣлъ ни лошадей, ни возницы, и — если бы не огонекъ на кончикѣ его сигары, да не тряска безрессорной ѣзды,— могъ бы вообразить себѣ, что онъ спитъ и грезитъ.

Трудно было не грезить въ такомъ возрастѣ! да еще въ такой дали отъ родины, отъ Москвы, друзей и товарищей!

«Какъ легко меня тутъ ограбить», думалъ онъ. «Чортъ меня дернулъ повѣрить этимъ жидамъ! Вчера бы еще былъ въ Одессѣ, еслибы поѣхалъ на перекладныхъ по почтѣ. Потерялъ мѣшокъ съ сапогами, потерялъ записную книжку — вотъ тебѣ и экономія!.. Вчера была суббота—чуть не уморили съ голоду... Везутъ проселками... а куда везутъ, Господь ихъ вѣдаетъ!..»

И сильно всгрустнулось ему. «Вѣдь хорошо мнѣ было тамъ... Эхъ? зачѣмъ поѣхалъ? Куда? Кой чортъ понесъ меня?!»

«Ну вотъ, что за глупость!.. «Слабыхъ душъ мученье — раскаянье и сожалѣнье»... Чьи, бишь, это стихи?..»

И Елатомскій спросилъ жида: далеко ли осталось до Одессы, и доѣдетъ ли онъ къ утру?

Невидимый въ потьмахъ возница что-то пробормоталъ. Но что́ такое?—сѣдокъ не понялъ. Бросивъ окурокъ сигары, онъ оглянулся на разсыпавшіяся во мракѣ искры и плотнѣе закутался въ шинель свою.

Мракъ сталъ синѣть, и кое-гдѣ, изъ-за разорванныхъ сплошныхъ тучъ, промелькнули предразсвѣтныя звѣзды.

Таратайка все еще, не слишкомъ тихо, не слишкомъ шибко, катилась по степи. Жидъ и его картузъ, въ видѣ чернаго силуэта, обрисовались въ темномъ воздухѣ. Онъ, сидя, спалъ, покачиваясь, и лошадьми не правилъ: онѣ бѣжали сами. Елатомскому сильно хотѣлось спать, но онъ боялся — не того, что свалится съ телѣги, а того, что потеряетъ и другой мѣшокъ. Онъ, то и дѣло, его ощупывалъ своими похолодѣвшими пальцами.

Вдругъ онъ поднялъ голову и насторожилъ уши.

Въ неподвижно-сонномъ ночномъ воздухѣ послышался гулъ, похожій на гулъ столицы, когда, бывало, весной, далеко за полночь, раскрывъ окно, сидѣлъ онъ и слушалъ... Ему въ лицо пахнуло влажной, насквозь пробирающей сыростью.

— Ге!.. Что́ это слышно? — спросилъ онъ жида, — слегка толкнувъ его въ спину.

— Море! — отвѣчалъ тотъ и еще крѣпче во что-то завернулся, должно быть въ старую лошадиную попону, и опять замолкъ, дремотно свѣсивъ голову.

«Море!» мысленно повторилъ Елатомскій. — Стой! Я хочу выдти.

Образъ чего-то величаво-могущественнаго, чего-то безпредѣльнаго, возникъ въ душѣ нашего юноши. Впер-

вые отъ роду, онъ былъ на берегу стихіи, воспѣтой Байрономъ, Пушкинымъ, Полежаевымъ и другими поэтами. Гомеръ и Оссіанъ, смутно, безъ всякой связи съ его отрывочными мыслями, пронеслись въ его воображеніи. Никому не могъ бы онъ дать отчета въ настроеніи этой минуты. Какъ ребенокъ, задремавшій въ ложѣ, вдругъ просыпается при шумѣ поднимающагося занавѣса, въ надеждѣ увидѣть новую декорацію, — такъ очнулся Елатомскій.

Но Черное море было еще закутано ночью. Вслушиваясь въ мѣрный шумъ набѣгающихъ волнъ, какъ ни старался Елатомскій что-нибудь разглядѣть, все, что̀ могъ онъ видѣть — это тускло фосфорическія, бѣлесоватыя, длинныя полосы пѣны, которыя то появлялись изъ мрака, то пропадали, обозначая черту, отдѣляющую водное пространство отъ темной суши.

Елатомскій выскочилъ изъ таратайки, сдѣлалъ въ своихъ дорожныхъ, московскихъ валенкахъ нѣсколько шаговъ по направленію къ морю и остановился.

Минутъ пять-шесть стоялъ онъ въ какомъ-то безмолвномъ, напряженномъ созерцаніи.

И жидъ, и лошади, по-своему, воспользовались этими минутами.

Елатомскій, который всю ночь роптал на себя и на свою поѣздку, такъ-сказать, болѣлъ ранами, имъ самимъ нанесенными своему юному сердцу насильственною разлукою съ тѣми, кто былъ ему милъ и дорогъ,—Елатомскій, почему-то, въ эти пять минутъ, былъ очень доволенъ и самимъ собою, и своей поѣздкой.

Вотъ онъ вынулъ огниво и сталъ высѣкать огонь— брызнули искры, запахло трутомъ. Этотъ запахъ, въ степи, на берегу соленаго моря, среди мрака и уединенія, показался ему слаще всякихъ ароматовъ. Поэтическое настроеніе духа на одинъ мигъ сдѣлало его счаст-

ливымъ. Съ какимъ-то самодовольствомъ закурилъ онъ дешевую сигару, встрепенулся, ощупью сѣлъ въ свою таратайку и крикнулъ: «валяй!..»

Жидъ опять усѣлся на свое мѣсто, чмокнулъ губами, и лошади опять побѣжали маленькой рысцой.

Когда засвѣтилось на востокѣ и стали видны не только ржавая попона, закрывавшая спину жида, но и его пейсы, моря уже не было видно: оно отошло куда-то влѣво.

А на-право, изъ тумана, выглядывала уже новая корчма, и когда таратайка подкатила къ ней, жидъ постучался сначала въ дверь, потомъ въ окно. Послышались голоса; заскрипѣли ворота. Отпрягли лошадей; привели новую пару. Тотъ же жидъ сѣлъ на облучокъ и, обратившись къ Елатомскому, сказалъ: сейчасъ Одесть! десянть верстъ... десянть! и онъ поднялъ при этомъ всѣ свои десять пальцевъ. Тутъ только Елатомскій замѣтилъ, какая хищная, разбойничья рожа у этого еврея.

Около восьми часовъ утра, со всѣхъ сторонъ залитый волнами густого, бѣлаго тумана, Елатомскій проѣхалъ одесскую таможенную заставу, и по грязи въѣхалъ въ городъ. Когда жидъ привезъ его въ какое-то жидовское подворье, Елатомскаго ввели въ очень неприглядный нумеръ, съ полинялыми обоями, съ пятнами на потолкѣ, съ постелью, прикрытою байковымъ, давно уже не мытымъ, одѣяломъ и ситцевыми подушками, безъ наволочекъ. Онъ было-поморщился; но тотчасъ же подумалъ: «эхъ! не изъ чего мнѣ тутъ капризничать!» и тотчасъ же велѣлъ перенесть въ нумеръ чемоданчикъ свой, подушку и мѣшечекъ съ носками, платками и книгами.

Но не скоро удалось ему раздѣться, лечь и отдохнуть съ дороги.

Расплатившись съ своимъ жидомъ-ямщикомъ, онъ далъ ему на чай двугривенный. Жидъ, не сгибая ладони, сталъ

требовать отъ него еще полтора карбованца: сталъ увѣрять его, что такой былъ уговоръ, чтобы заплатить ему еще за курицу и сыръ полтора карбованца.

— Что-о? курица!.. какая курица! какой сыръ! — ступай и оставь меня въ покоѣ, разсердился Елатомскій.

Жидъ не отставалъ и не выходилъ изъ комнаты. Елатомскій далъ ему еще пятіалтынный.

— Мнѣ зе такъ сказано, васе благородіе... Еще одинъ карбованецъ и еще одинъ половина карбованецъ.

— Ступай!.. Я даю на чай сколько хочу. Ступай!— говорятъ тебѣ.

Жидъ не уходилъ.

Елатомскій позвалъ себѣ на помощь еще жида, но вмѣсто одного явилась цѣлая тройка. Ничего не понималъ онъ изъ того, что̀ они ему толковали и на какомъ жаргонѣ они другъ съ другомъ спорили.

Кончилось тѣмъ, что взбѣшенный юноша ухватилъ ямщика своего за плечи, вытолкалъ его въ корридоръ, захлопнулъ дверь, наложилъ крючокъ и, въ страшномъ волненіи, весь красный, прошелся по комнатѣ.

Никогда еще... никогда эта рука моя не поднималась на человѣка... Клятву далъ ни на кого не поднимать ее, и вотъ... пришлось... Курица! какая курица?.. за одно куриное крыло вчера взяли съ меня двугривенный. Вотъ до чего этотъ проклятый жидъ довелъ меня!.. Пусть жалуется... Я самъ буду жаловаться... это ужасно! Какъ будто я богачъ какой-нибудь... И на недѣлю денегъ не хватитъ... Какой такой договоръ? Когда я съ нимъ договаривался, сколько мнѣ давать на водку?.. Вотъ, думаютъ, напали на дурака... на глупаго барченка!..

А въ корридорѣ, за дверью, долго еще слышались споры и перебранка на непонятномъ ему языкѣ; казалось, все подворье поднялось на ноги. Наконецъ, залепеталъ чей-то старческій, дряблый, внушительный голосъ...

Потомъ послышались шаги, шлепанье туфель, отрывочныя восклицанія—и затѣмъ, мало-по-малу, все замолкло. Елатомскій, не раздѣваясь, бросился въ постель, накрылся шинелью, закрылъ глаза, но, несмотря на усталость и безсонную ночь, заснулъ не скоро.

II.

Около полудня проснулся Елатомскій. И проснись онъ въ яркій, солнечный день, быть можетъ, онъ всталъ бы съ постели бодрый и свѣжій, и тотчасъ же побѣжалъ бы осматривать городъ; но южное зимнее небо, какъ бы на зло ему, суровое и тусклое, совершенно по-московски глядѣло въ окно его тѣсной, далеко не комфортабельной комнаты.

Лилъ дождь; въ трубы завывалъ вѣтеръ. Сѣренькіе, по мѣстамъ отставшіе отъ стѣнъ обои, шевелились. Елатомскій, съ спутанными волосами, въ пуху, съ опухшимъ лицомъ, всталъ и, вмѣсто халата, надѣлъ въ рукава шинель свою. У этой ватной шинели, перешитой изъ студенческой въ партикулярную, одинъ рукавъ явно попалъ въ колесо и весь былъ перепачканъ дегтемъ. «Хорошо еще, что я взялъ съ собою полушубокъ», подумалъ Елатомскій. Ужасное, чортъ возьми, положеніе! — и денегъ нѣтъ, и не въ чемъ выдти на улицу!..

Но, какъ бы ни было это «ужасно», къ чести нашего юноши, это не слишкомъ его тревожило. Даже къ своему безденежью относился онъ съ тою безпечностью, съ какою обыкновенно относятся къ этому несчастію люди, почему-то увѣренные, что не ныньче—завтра деньги будутъ, что деньги—это плёвое дѣло, была бы сила.

Не прошло часу, какъ уже Елатомскій сидѣлъ въ своей шинели, подмостившись къ столику, пилъ кофе и писалъ.

«Другъ Иванъ»—писалъ онъ въ Москву къ одному изъ наилюбезнѣйшихъ для него пріятелей,—въ одинъ изъ тѣхъ домовъ, гдѣ былъ онъ принятъ, какъ родной, т.-е. во-сто разъ лучше, чѣмъ всякій родной (такъ какъ, по бо́льшей части, родные—люди самые неинтересные).

«Другъ Иванъ! Ныньче ровно недѣля, какъ я съ тобой простился и вотъ уже за-тридевять-земель — въ Одессѣ! Я еще не видалъ Одессы, а уже пишу къ тебѣ. Туманъ, дождь и холодъ! Какъ видно, и на югѣ та же наша сѣверная осень. Я дрогну. Приказалъ-было затопить печь. Пришла еврейка, вмѣсто дровъ, притащила ворохъ соломы и напустила столько дыму въ комнату, что я чуть было не задохся. Но все вздоръ передъ вѣчностью, все, даже мои страданія...

«Какъ вы всѣ удивились, когда услыхали, что я покидаю васъ! — Какъ потупились, свѣсили свои головки твои милыя сестры! Какъ поблѣднѣла Мари, ваша вѣчная гостья, и какъ я былъ непринужденно веселъ, игривъ послѣ того, какъ объявилъ вамъ, что ѣду на югъ, въ надеждѣ лучами южнаго солнца отогрѣть мое застывшее сердце. Какъ я лгалъ, какъ я непростительно лгалъ весь этотъ вечеръ! Я чувствовалъ, что я огорчаю васъ; что мой отъѣздъ печалитъ, повергаетъ васъ въ недоумѣніе, пугаетъ, заставляетъ блѣднѣть, и мнѣ было весело!...

«Видитъ Богъ, какъ тяжело мнѣ было съ вами разстаться, но, чѣмъ тяжелѣе была разлука, тѣмъ нужнѣе, тѣмъ спасительнѣе она казалась мнѣ.

«Знаешь ли, у меня есть очень скверное качество— это распадаться на-двое, даже въ минуты страсти. Любить сердцемъ и размышлять головой, даже думать въ «такое время, когда не думаетъ никто». Кусочекъ льду всегда найдется въ какомъ-нибудь потайномъ уголкѣ души моей.

«Такъ, дня за три до отъѣзда,—помнишь! поздно ве-

черомъ, когда вы всѣ разошлись спать по своимъ комнатамъ, я—брани и ругай меня! — я поцѣловалъ *ее—и* что-же? Когда она вздрогнула и поблѣднѣла, когда, остановивъ на мнѣ удивленные, великолѣпные глаза свои, она спросила меня, взволнованнымъ голосомъ: что это значитъ?! я преспокойно отвѣчалъ ей, что это ровно ничего не значитъ. Затѣмъ, я взялъ свою шляпу, поклонился и вышелъ.

«Будь я Печоринъ, я бы радовался, что она всю ночь спать не будетъ, но я самъ не спалъ всю ночь, я самъ страдалъ, чуть не плакалъ—какой же я Печоринъ послѣ этого?!. Иванъ! скажи ей, что я притворщикъ, что она чуть было съ ума не свела меня, и что только боязнь быть у ногъ этой вѣтреной чаровницы заставила меня, какъ можно скорѣй, бѣжать отъ васъ. Ну, скажи, посовѣсти, неужели бы ты не страдалъ за меня, если бы я женился?.. Боже меня спаси и сохрани отъ такого бѣдствія!! Лучше сидѣть въ сыромъ, нетопленномъ нумерѣ жидовскаго подворья, чѣмъ навсегда по рукамъ и по ногамъ скрутить себя!...»

Елатомскій остановился, перечелъ письмо, подумалъ и—разорвалъ его. Въ другомъ письмѣ своемъ онъ уже не упомянулъ ни однимъ словомъ о сценѣ съ поцѣлуемъ.

Второе письмо его было къ отцу: «Милый другъ мой, папа!—писалъ онъ.—Ты удивишься, получивъ письмо мое изъ Одессы. Изъ боязни растратить въ Москвѣ присланныя тобою деньги, я собрался въ дорогу чуть-ли не въ одинъ день и не успѣлъ тебя увѣдомить. Ты ждалъ меня въ деревню; но, какъ бы ни было мнѣ отрадно пожить съ тобой, никакой пользы не было бы отъ меня:—ни тебѣ, ни твоему хозяйничанью. Я вздумалъ уѣхать на поиски счастья. Найду здѣсь мѣсто и постараюсь такъ устроиться, чтобы уже не безпокоить тебя на счетъ присылки денегъ.

Не дешево тебѣ стоило мое воспитаніе; пора мнѣ стать на свои ноги. Я уже, слава Богу, не мальчикъ. Въ Москвѣ снабдили меня рекомендательными письмами и въ томъ числѣ къ графинѣ Шуазель. Говорятъ, эта особа—одна изъ самыхъ близкихъ къ графу Воронцову. Авось, какъ-нибудь, получу какое-нибудь мѣстечко. Благослови меня на полезный трудъ, на самостоятельную жизнь, и будь увѣренъ, что я люблю тебя, какъ хорошаго человѣка, и уважаю, какъ отца! Затѣмъ, цѣлую тебя, цѣлую руки твои и остаюсь другъ и сынъ твой, Володя Елатомскій.

«NB. Денегъ у меня отъ дороги осталось около 50 рублей—пока довольно! Какъ тебѣ не грѣхъ повѣрить, что я въ Москвѣ женился? Какая сорока на хвостѣ принесла тебѣ эту новость?»

Запечатавъ письма, Елатомскій заглянулъ въ окно. Вѣтеръ выдъ по-прежнему; но дождя уже не было. Ему даже показалось, что сквозь тучи проглядываетъ солнышко.

Елатомскій перемѣнилъ бѣлье, надѣлъ свой дубленый полушубокъ и, въ валенкахъ съ подшитыми кожаными подошвами, вышелъ на улицу. На головѣ его былъ, смятый клеенчатый картузъ, въ рукахъ зонтикъ. Никто меня здѣсь не знаетъ, думалъ онъ, кому какое дѣло, что я похожъ на *пейзана?*.. Неужели же мнѣ весь день просидѣть въ этомъ проклятомъ нумерѣ?

Былъ уже четвертый часъ пополудни, когда Елатомскій съ бульвара смотрѣлъ на море. Увы! На этотъ разъ ничего хорошаго, ничего вдохновляющаго не нашелъ онъ въ этомъ новомъ для него зрѣлищѣ. Это свинцовое море темно-сѣрою полосой перечеркивало мутно-желтый горизонтъ. Безъ парусовъ качались на волнахъ купеческія суда. Никакого чувства, похожаго на то, какое испыталъ онъ ночью, не проникло въ грудь его, ничего грандіознаго, ничего безконечнаго!

Разочарованный, прошелъ онъ въ такъ-называемый «Пале-рояль», вошелъ въ кафе-ресторанъ Карруты, узналъ, что порція кушанья стоитъ 15 копѣекъ, и заказалъ себѣ двѣ порціи. Француженка, которая стояла у стойки, заставленной всякими закусками, все время, пока онъ говорилъ съ нею, не спускала съ него изумленныхъ глазъ.— «Странный, чуть не мужицкій костюмъ; свѣжее, молодое, выразительное лицо, бѣлый лобъ, умные каріе глаза и французскій языкъ,—что это за странное явленіе!»—думала француженка.

Елатомскій замѣтилъ, что онъ изумилъ кондитершу и, чтобы еще больше изумить ее, потребовалъ себѣ послѣдній № «Journal des Débats». «Какъ хорошо, однакожъ», подумалъ онъ, «что меня здѣсь никто не знаетъ!.. Я могу изумлять!»

На другой день онъ отдалъ жиду-портному отчистить, выворотить и перешить шинель свою. Заказалъ себѣ сапоги и купилъ шляпу. Но еще цѣлую недѣлю онъ долженъ былъ ходить въ полушубкѣ и въ валенкахъ, изумлять кондитершъ и кондитеровъ, и, разумѣется, немогъ воспользоваться рекомендательными письмами.

«Одесса — хорошій городъ, — писалъ Елатомскій къ одному изъ московскихъ друзей своихъ.—Но тяжело было первое впечатлѣніе. Мнѣ казалось, что изъ необозримыхъ, голыхъ степей, пріѣхалъ я въ какой-то странный, сѣрый городъ, съ огромными, каменными сундуками и комодами, вмѣсто домовъ. Высокая соборная колокольня, въ архитектурномъ отношеніи, ниже всякой критики. На нѣкоторыхъ улицахъ грязь невылазная; фонари по вечерамъ горятъ тускло; на дворахъ—злыя, презлыя собаки. Евреи, по милости графа, не смѣютъ здѣсь ходить въ своихъ пейсахъ; но это нисколько не лишаетъ ихъ смѣлости. На дняхъ я сбросилъ свой дорожный костюмъ, т.-е. полушубокъ, картузъ и валенки, и, по московски, нарядился джентльме-

номъ. Едва только совершилъ я эту метаморфозу, какъ на улицѣ подошелъ ко мнѣ факторъ — еврей, съ предложеніемъ найти для меня квартиру. И какъ ты думаешь, сколько, за такую любезность, онъ запросилъ съ меня?— пятьдесятъ рублей!—Ну, братъ, сказалъ я ему, дай мнѣ пятьдесятъ рублей, я тебѣ найду три квартиры. Заложа руку за пазуху, факторъ оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и — отошелъ. Изъ этого заключай, что я имѣю видъ богатаго фланёра, у котораго денегъ куры не клюютъ. Но, пожалуйста, не заключай, что въ Одессѣ жить дорого. Дешевизна спасаетъ меня: за 5 копѣекъ я пью кофе съ сухарями и сливками; за 10 коп. съѣдаю порцію котлетъ; за 40 — пью французское вино и т. д. Будь здѣсь московскія цѣны, я давно бы прогорѣлъ, теперь же я только начинаю прогорать, но что будетъ, то будетъ!

«Рекомендательныя письма помогли мнѣ. У Ж—а я познакомился съ однимъ старымъ дерптскимъ студентомъ, Уютинымъ, *временъ Языкова и графа Соллогуба*. Милѣйшій малый, до сихъ поръ бредитъ стихами и серенадами! Вчера я ночевалъ у него на диванѣ и убѣдился, что это не человѣкъ, а чудо. Онъ настолько же чиновникъ, насколько музыкантъ; настолько же музыкантъ, насколько рыцарь, вздыхающій по отсутствующей красавицѣ. Познакомился съ братомъ нашего великаго Пушкина, съ Львомъ Сергѣевичемъ. Познакомился съ однимъ докторомъ, который влюбленъ въ «Иліаду» Гомера, и, всякій разъ, когда читаетъ въ подлинникѣ о смерти и погребеніи Гектора, рыдаетъ и съ заплаканными глазами ѣдетъ навѣщать своихъ больныхъ. Познакомился съ Н. Л. Райко, съ единственнымъ русскимъ, сражавшимся за независимость Греціи. Его подвигамъ позавидывалъ бы и самъ Байронъ. И объ этихъ подвигахъ никто не знаетъ: апатическая Русь не любитъ прославлять дѣтей своихъ. Прак-

тическій, коммерческій городъ! И кто бы этому повѣрилъ— страшнѣйшій любитель стиховъ. Говорятъ, недавно былъ здѣсь Щербина. За его «Греческія стихотворенія» общество давало ему обѣдъ и говорило ему привѣтственные спичи. Чего добраго, и я здѣсь начну стихи писать! Уютинъ увѣряетъ меня, что все это происходитъ отъ знойнаго, южнаго солнца и прохладнаго моря. Хорошо знойное солнце! Вчера была мятель, и снѣжная пыль пробивала мѣстами ноздреватыя стѣны моего подворья. Ночью я едва не окоченѣлъ отъ холода. Море начинаетъ покрываться льдомъ. Графъ Воронцовъ въ Петербургѣ. Носятся слухи, что его переводятъ на Кавказъ: весь городъ говоритъ объ этомъ. Всѣ въ какомъ-то лихорадочномъ ожиданіи и толкамъ конца нѣтъ. Волей-неволей здѣсь вдаешься въ политику, о которой у насъ въ Москвѣ и помину нѣтъ. Уютинъ обѣщалъ найти мнѣ уроки. Что дѣлать!—буду и уроки давать! Стихи никому не мѣшаютъ здѣсь обдѣлывать дѣла свои. Надѣюсь, что и мои идеалы не помѣшаютъ мнѣ стать на практическую точку зрѣнія. Какая это точка?—Я, признаюсь тебѣ, и самъ не знаю. Мнѣ еще въ Москвѣ про нее толковали. Но неужели я рано или поздно сдѣлаюсь истымъ чиновникомъ? Неужели нельзя служить и — не быть чиновникомъ, такъ какъ нельзя не быть портнымъ тому, кто ливреи шьетъ? Что общаго между филологическимъ факультетомъ и тѣмъ столомъ, гдѣ, рядомъ съ кувшиннымъ рыломъ, засѣдаетъ Акакій Акакіевичъ?—Научи меня, что мнѣ дѣлать, чтобы не быть бездѣльникомъ?.. Сильно я хандрю... Впрочемъ, хандрить цѣлый день — это свыше силъ моихъ. Тутъ есть нѣкто Сашинъ, человѣкъ съ состояніемъ,—хандритъ по цѣлымъ недѣлямъ, и—вообрази—это ему здорово. Онъ толстѣетъ и не знаетъ, куда ему дѣваться отъ жиру. А я, несчастный! прохандрю часа два-три — и тотчасъ же

похудѣю, точно съ одра болѣзни встаю, не узнаю себя. Но, прощай!.. авось до свиданія!»

И такъ, Елатомскій, наконецъ, воспользовался рекомендательными письмами, сошелся съ одесскимъ обществомъ, но былъ наканунѣ совершеннѣйшаго безденежья.

III.

Елатомскій, несмотря на дешевизну жизни, не могъ не понять, что придется ему положить зубы на полку, если онъ останется жить въ жидовской гостинницѣ. Да и трудно ему было привыкнуть къ своему дымному нумеру, хотя корридорная дѣвка Марина, которая перестилала ему постель и приносила утренній кофе, не щадила для него ногъ своихъ: въ дурную погоду относила его письма на почту и, по утрамъ, ходила въ дальнюю булочную, чтобы купить ему самый вкусный крендель или самые свѣжіе сухари.

«Боже мой! что̀ будетъ! что̀ со мною будетъ!» — не разъ, про себя, восклицалъ Елатомскій, приходя къ себѣ въ нумеръ, и, скрестивъ руки, шагалъ изъ угла въ уголъ.

Большая часть его капитала пошла на возобновленіе гардероба, на покупку сапоговъ, чистку шинели, на галстуки, перчатки и прочія мелочи.

Чтобы оправдать надежды своего родителя, да и свои собственныя надежды, т.-е. зажить самостоятельной жизнью, Елатомскому мало было двухъ-рублевыхъ уроковъ два раза въ недѣлю,—необходимо было похлопотать о какомъ-нибудь мѣстѣ, съ какимъ-нибудь, хоть двадцати-рублевымъ, жалованьемъ.

Чтобы получить мѣсто—нужны были люди, и Елатомскій, повидимому, какъ нельзя лучше воспользовался сбереженными на днѣ чемодана московскимъ фракомъ, новыми сапогами и рекомендательными письмами.

Но, знакомясь съ людьми и бесѣдуя съ ними, онъ забывалъ о своихъ намѣреніяхъ. Никогда не спрашивалъ и не узнавалъ, кто гдѣ служитъ—и вообще казался человѣкомъ, не нуждающимся въ чьей бы то ни было протекціи. Лицо же у него было непростительно-смѣлое, и что-то независимое, какое-то, никакимъ чинопочитаніемъ не связанное, запанибратство проглядывало въ его обращеніи.

«Да что̀ онъ, богачъ, что-ли какой!» глядя со стороны думали о немъ чиновные бюрократы.

Никто не подумалъ о томъ, что Елатомскій потому еще былъ такъ простъ или наивенъ, что, по отношенію къ жизни,—настоящей, дѣйствительной, будничной жизни, находился еще въ періодѣ блаженнаго невѣдѣнья; что для него слова: «канцеллярія», «присутствіе», «приказъ», «докладъ», «отношеніе», «чины», «годовой окладъ» и прочія въ этомъ родѣ слова — еще не имѣли, такъ-сказать, ни плоти, ни крови.

Обо всемъ этомъ, будучи студентомъ филологическаго факультета, размышлялъ онъ не болѣе, какъ о порядкахъ и церемоніяхъ, существующихъ гдѣ-то очень далеко, въ тридесятомъ государствѣ, хотя и не могъ не знать, что это государство вовсе не за горами-долами, а у него за стѣнкой.

Ему казалось, что, по милости созданій Гоголя, онъ о чиновничествѣ имѣетъ самое вѣрное понятіе, и даже вообразить себѣ не могъ, чтобы онъ—Елатомскій—рано или поздно, могъ смиренно засѣдать между кувшиннымъ рыломъ и Акакіемъ Акакіевичемъ.

Наслушавшись лекцій Грановскаго и подъ вліяніемъ идей, не только прогрессивныхъ, но и опасныхъ для того небезопаснаго, еще крѣпостного времени, не могъ онъ не сознавать, до какой степени онъ умственно и нравственно выше всякаго Чичикова, Хлестакова, Сквозника-Дмуха-

новскаго, и даже губернатора, вяжущаго кошельки и задающаго балы на всю губернію.

«О, еслибы никогда нигдѣ не служить! думалъ про себя Елатомскій и, со дня на день, откладывалъ свое искательство. Одинъ Уютинъ, бывшій дерптскій студентъ, понялъ его положеніе и, какъ человѣкъ практическій, до глубины души сожалѣлъ о немъ. Не безъ умысла онъ представилъ его директору канцеляріи, дѣйствительному статскому совѣтнику Фабру—личности извѣстной по всему одесскому округу, — оригиналу, весьма тонкому дѣльцу, формалисту и воротилѣ. Но сухой и тощій, въ потертомъ фракѣ, гладко выстриженный, сѣроглазый, сѣденькій Фабръ, тотчасъ же смекнулъ, зачѣмъ рекомендуютъ ему сего юношу, и тотчасъ же пустился съ нимъ говорить о разныхъ возвышенныхъ матеріяхъ:—о томъ, что небеса повѣдаютъ славу Божію и что на всей землѣ, рано или поздно, должны быть миръ и благоволеніе.

Затѣмъ Уютинъ отрекомендовалъ Елатомскаго нѣкоему Хавазову — тоже дѣйствительному статскому совѣтнику.

— А что, — скаля зубы, спросилъ Елатомскаго Хавазовъ—не горазды ли вы въ преферансъ играть? — А?

— Нѣтъ, не гораздъ,—сухо отвѣчалъ Елатомскій.— Да и не желаю, чтобы меня когда-нибудь угораздило.— Карты—это по моему, преглупѣйшее препровожденіе времени.

Хавазовъ былъ страстный игрокъ—безъ карточнаго стола существовать не могъ — стало-быть, нѣтъ ничего мудренаго, что онъ, мысленно обругавъ Елатомскаго осломъ, стиснулъ зубы и отвернулся.

Знаменитая графиня Шуазель, пожилая, весьма умная и почтенная дама, пріятельница другой, еще болѣе знаменитой графини, принявъ изъ рукъ Елатомскаго французское письмо, наполненное московскими сплетнями, и

про себя прочитавъ его, тотчасъ же разговорилась съ нимъ — и, совершенно по-женски, проэкзаменовавъ его, нашла его весьма неглупымъ, обѣщала добыть ему мѣсто и любезно пожурила его за то, что онъ до такой степени мало интересуется современной политикой, что не знаетъ, кто въ Россіи министръ юстиціи, кто такой генералъ Аѳанасій Карловичъ, и какое онъ получилъ назначеніе.

Елатомскій, улыбаясь, откровенно признался ей въ своемъ невѣжествѣ, хотя и не могъ никакъ понять, къ чему все это нужно знать, и почему это такъ ее интересуетъ.

Левъ Сергѣевичъ Пушкинъ тоже очень ласково обошелся съ Елатомскимъ, тотчасъ же потащилъ его къ себѣ обѣдать и заставилъ пить шампанское. Но повѣса двадцатыхъ годовъ не понялъ повѣсы—сороковыхъ.

Разъ, читалъ онъ вслухъ «Царя-Никиту»—при двухъ дамахъ и, замѣтивъ краску на щекахъ Елатомскаго, сталъ называть его Магдалиной во фракѣ,—не подозрѣвая, что эта Магдалина давно уже считаетъ себя чѣмъ-то въ родѣ Печорина — умѣетъ поражать дѣвственныя сердца своею кокетливою холодностью и пугать ихъ своимъ заемнымъ разочарованіемъ.

Знаменитый Н. Райко, о которомъ Елатомскій съ такою похвалой отозвался въ письмѣ своемъ, былъ препепріятнѣйшимъ образомъ озадаченъ имъ. Надо сказать, что Райко, покинувъ военную службу, пристрастился къ шелководству, и этою отраслью промышленности хотѣлъ заинтересовать молодого человѣка—и что-же? Елатомскій сталъ ему доказывать, что вѣкъ шелковыхъ тканей есть вѣкъ развращенности нравовъ и государственнаго упадка; что отъ шелку народъ богаче не будетъ, а высшіе классы излѣнятся, или—какъ онъ выразился—*объазіатятся*.—Вотъ, я вижу, сказалъ Елатомскій, и на

васъ шелковая рубашка: носи вы съ дѣтства такую рубашку, вы ни за что не полѣзли бы драться за греческую независимость и проливать турецкую кровь съ такимъ притворнымъ равнодушіемъ.

«Чортъ знаетъ, что это такое!» думалъ Райко, и всѣмъ разсказывалъ о томъ, какъ онъ спорилъ съ Елатомскимъ, какъ этотъ Елатомскій много знаетъ, и какъ онъ, въ то же время, ровно ничего не знаетъ.

— Мнѣ больше всего нравится это «притворное равнодушіе», хохоталъ Левъ Сергѣевичъ — и знаете, добавилъ онъ, этотъ милый юноша воображаетъ, что можно всю жизнь прожить безъ враговъ—стоитъ только всѣхъ любить и никому не завидовать.

— Да что онъ тутъ дѣлаетъ?—спросилъ нѣкто Сашинъ,—голубоглазый, низенькій толстякъ—тоже одесскій острякъ и меланхоликъ.

— Я слышалъ, онъ переводитъ Тацита, — отвѣчалъ ему докторъ В. (влюбленный въ Гомера), и, сквозь очки, томно—черными глазами, внимательно поглядѣлъ на своего собесѣдника.

— Ну, въ добрый часъ!—крякнулъ толстякъ и возвелъ къ потолку глаза свои, какъ-бы изумляясь глупости:—въ Одессѣ переводить Тацита!!!

IV.

Декабрь, январь и даже февраль сильно разочаровали Елатомскаго на счетъ южныхъ зимъ въ Россіи: одесскій рейдъ покрылся льдомъ, замерзла уличная грязь, и снѣжная, мокрая метель иногда столбами носилась по ней, заставляя прохожихъ жмуриться, дрогнуть и ёжиться.

Елатомскій узналъ, что въ Одессѣ не одни дрова дороги: мѣховой воротникъ къ его шинели обошелся ему

не дешево. Несмотря на холодную зиму, Елатомскій долженъ былъ выходить по неволѣ,—онъ не шутя обзавелся уроками. Въ одномъ домѣ, получалъ онъ 3 рубля за часъ, въ другомъ — два рубля, въ третьемъ (на Греческой улицѣ)—полтинникъ. Рекомендательныя письма изъ Москвы, относительно служебнаго мѣста или выгоднаго занятія, нисколько не помогли ему—и хотя, какъ мы уже видѣли, онъ скоро сошелся съ одесскимъ обществомъ, благодаря своей симпатичной наружности и пылкой, повидимому, много обѣщающей молодости, — это досужее общество готово было закормить его обѣдами, каждый день поить его дешевыми французскими винами, знакомить его съ своими дамами—даже помогать ему за ними ухаживать, читать ему стихи — никогда нигдѣ не напечатанные, вызывать его на споръ, снисходительно острить надъ его наивностью и даже давать ему въ займы, деньги (не свыше десяти рублей), — но это общество вовсе и не думало о томъ, чтобы дать ему какое-нибудь мѣстечко въ средѣ одесскаго чиновничества, иначе сказать, изъ разряда милѣйшихъ собесѣдниковъ перетащить въ разрядъ подчиненныхъ. Одинъ бывшій дерптскій студентъ Уютинъ былъ исключеніемъ. Онъ одинъ, не спрашиваясь Елатомскаго, какъ о родномъ братцѣ, хлопоталъ о немъ. Разъ, онъ зазвалъ его къ себѣ и немедленно заставилъ его написать князю Воронцову просьбу — дать ему мѣсто на Кавказѣ. И вотъ, въ одинъ прекрасный, дождливый день, въ 11 часовъ утра, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, Елатомскій появился въ пріемной залѣ Воронцовскаго дома, среди жужжащей толпы просителей, адъютантовъ, гладко выбритыхъ оффиціальныхъ лицъ, гербовыхъ пуговицъ, нафабренныхъ усовъ и торговцевъ съ восточными лицами.

Въ толпѣ узналъ онъ Хавазова и подошелъ къ нему.

Хавазовъ былъ не въ духѣ: просьба его о переводѣ

на Кавказъ была отклонена и то мѣсто, на которое онъ мѣтилъ, захватилъ другой счастливецъ.

— Вы зачѣмъ?—спросилъ его Хавазовъ.

— Хочу проситься на Кавказъ,—отвѣчалъ Елатомскій.

— На какое же мѣсто, позвольте васъ спросить.

— Да на какое-нибудь...

— А если васъ пригласятъ быть смотрителемъ конюшенъ его сіятельства?

— Смотрителемъ конюшенъ! Развѣ есть такое казенное мѣсто? Я прошусь на казенное!

— Мало ли что! не вся же Одесса уѣдетъ за графомъ... ха! Всѣ хотятъ на Кавказъ — я было тоже хотѣлъ—да... надо же и здѣсь кому-нибудь оставаться... Мы ужъ лучше съ вами здѣсь останемся,—выучитесь только въ преферансъ играть—гм! нечего балясы-то точить.

— Тоже и этотъ хочетъ на Кавказъ!—замѣтилъ онъ подошедшему къ нему полицмейстеру, однимъ подбородкомъ указывая ему на Елатомскаго, который отошелъ въ другой уголъ, замѣтивъ озабоченное лицо своего новаго друга Уютина.

— Сейчасъ графъ выйдетъ—сказалъ Уютинъ, вытирая фуляромъ влажный лобъ свой. — Просьба съ вами? А?.. Стойте здѣсь... я васъ локтемъ толкну, когда... Да вотъ и онъ... Вы никогда его не видали?.. никогда?

— Никогда, — отвѣтилъ Елатомскій.

Толпа перестала жужжать; нѣкоторые офицеры вытянулись, точно аршинъ проглотили; нѣкоторые выпятили животъ свой, и—что въ особенности странно показалось Елатомскому—на всѣхъ озабоченныхъ и даже суровыхъ лицахъ появилась улыбка и глаза повеселѣли... даже ему казалось, что и онъ повеселѣлъ и у него на лицѣ появилась точно такая же улыбка.

Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ, одесскій генералъ-губернаторъ, весной того же года отправлялся на Кав-

казъ, въ качествѣ намѣстника, съ такими полномочіями и съ такой дозою административной и военной власти, что не только одесскіе, даже петербургскіе завистники поджали свой хвостъ и закусили языкъ.

Елатомскій воображалъ себѣ, что онъ увидитъ гордую, воинственную фигуру, возбуждающую трепетъ и благоговѣніе—фигуру человѣка, который когда-то не понималъ Пушкина и къ которому первый русскій поэтъ относился съ саркастическимъ недовѣріемъ,—и былъ пріятно изумленъ, увидѣвъ вошедшаго высокаго старика, въ старомъ военномъ сюртукѣ, который широко висѣлъ на его немного похудѣвшемъ тѣлѣ,—безъ усовъ, съ однимъ Георгіемъ на шеѣ—съ тонкой улыбкой на лицѣ, также озабоченномъ, но иначе улыбающемся.

Пожимая руки и отбирая просьбы, не громко, но внушительно говорилъ онъ, — точно исповѣдывалъ. Въ сѣрыхъ глазахъ его свѣтился умъ, но очевидно умъ дѣловой, практическій, совершенно чуждый тѣхъ мудреныхъ вопросовъ, которые нерѣдко возникаютъ въ душѣ молодого поэта или философа, и Елатомскому смутно чувствовалось, что у этого вѣжливаго и мягкаго старика гораздо больше силы воли, чѣмъ у кого бы то ни было изъ числа присутствующихъ — что въ небольшихъ глазахъ этого «полукупца—полу-милорда» таится мысль, упрямая энергія и страшная самоувѣренность...

Пробѣжавъ глазами просьбу Елатомскаго, графъ сказалъ ему:

— Я еще и самъ, любезный, не знаю, какія у меня будутъ мѣста—увижу... что̀ можно будетъ сдѣлать... обѣщаю, но не ручаюсь. Затѣмъ, графъ передалъ его просьбу въ руки подвернувшагося Уютина и перешелъ къ другимъ просителямъ, а Елатомскій поклонился ему въ спину, повернулся, выбѣжалъ въ сѣни, устланныя мраморомъ, надѣлъ свой сѣренькій, тоже вывезенный изъ Москвы,

лѣтній плащъ (изъ непромокаемой матеріи) и пошелъ на бульваръ.

Ему казалось, что онъ остался съ носомъ, что и тутъ на полученіе мѣста нѣтъ никакой надежды... и что Уютинъ напрасно его безпокоилъ и заставлялъ кланяться.

«Самъ лѣзу въ хомутъ, и досадно, что меня никто не хочетъ взять въ упряжку. Ты ли это Елатомскій?!..» мысленно восклицалъ нашъ герой.

Тихій, теплый, сѣренькій денекъ стоялъ надъ сѣрыми домами и надъ сѣрымъ моремъ... На бульварѣ, противъ отвореннаго окна, въ нижнемъ этажѣ какого-то дома, увидѣлъ онъ толпу молодежи.

Изъ окна неслись звуки струнной музыки и раздавался женскій голосъ.

Молодые люди, въ модныхъ шляпахъ и желтыхъ перчаткахъ, съ улицы аплодировали пѣвицѣ и, повидимому, у окна ждали ея появленія. Елатомскій нашелъ это очень поэтическимъ и оригинальнымъ, на него пахнуло чѣмъ-то европейскимъ. Еще ни разу въ Москвѣ не видалъ онъ, чтобы толпа останавливалась передъ чьимъ-нибудь домомъ и осмѣливалась кому-нибудь аплодировать. Онъ тоже сталъ слушать музыку.

— Бе-*моль*!—сказалъ одинъ изъ франтовъ, сдѣлавши удареніе на «моль», и искоса, холодно-насмѣшливымъ взглядомъ, оглядѣлъ Елатомскаго или, лучше сказать, сѣренькій плащъ его.

— Гдѣ моль?—спросилъ его другой франтъ.

— А-моль!—повторили другіе джентльмены, кто прикладывая къ губамъ набалдашникъ трости, кто помахивая хлыстикомъ.—Моль, моль—да моль!

Елатомскій не тотчасъ догадался, что это его называютъ «молью», покраснѣлъ до ушей, но подвинулся еще ближе, подбоченился, сдвинулъ брови и, ни на кого не обращая вниманія, простоялъ до тѣхъ поръ, пока не за-

молкъ поющій голосъ, не затихла музыка и не разошлись насмѣшники.

«Ну, что-жъ», думалъ онъ, стоя одинъ передъ широкой лѣстницей, ступеньки которой спускались къ морю. «Дана свобода аплодировать на улицѣ, нельзя же лишить свободы и насмѣхаться! Развѣ я не знаю, что мой сѣрый плащъ давно уже вышелъ изъ моды и никуда не годенъ — даже промокаетъ, несмотря на свою непромокаемую матерію... Увидѣли, скоты, что я не изъ трусливаго десятка—и замолчали. А что, если бы я да за эту «моль» затѣялъ съ ними исторію!.. Гм!.. у нихъ были хлысты да палки... а у меня... даже дождевого зонтика нѣтъ... а надо купить зонтикъ...»

Въ это время, среди бульвара показалась другая фигура, съ свѣтлокоричневымъ лицомъ, въ коричневомъ пальто и въ высокой цилиндрической шляпѣ, изъ-подъ полей которой во всѣ стороны лѣзли и торчали волосы. На длинныхъ ногахъ, маленькими шагами, съ книгою подъ мышкой, приближалась эта фигура къ Елатомскому и, по мѣрѣ своего приближенія, все шире и шире раскрывала глаза свои.

— Неужели это ты, Елатомскій?..—раздался мягкій, почти женскій, слегка надтреснутый голосъ.

Елатомскій оглянулся и обнялъ Бавина, своего московскаго знакомца — университетскаго товарища, двумя годами ранѣе его окончившаго курсъ. Елатомскій тотчасъ же узналъ безбородое, съ вьющимися волосиками подъ губой, еоіопское лицо его, темно-сѣрые, строгіе глаза, большія губы и носъ съ подвижными ноздрями — какъ у арабской лошади.

— Бавинъ! какими судьбами ты здѣсь?

— Да я здѣсь профессоромъ въ лицеѣ; а ты какими судьбами, Елатомскій?..

— А я такъ себѣ... Самъ не знаю зачѣмъ, почему и какими судьбами.

— Гдѣ же ты остановился?

Елатомскій разсказалъ ему, гдѣ и какъ онъ остановился.

— Ты непремѣнно долженъ переѣхать ко мнѣ — у меня, какъ нарочно для тебя, есть лишняя комната. Нечего, нечего тутъ разговаривать, сейчасъ переѣзжай ко мнѣ...—добавилъ онъ голосомъ, не допускавшимъ ни малѣйшаго возраженія. Строгіе глаза Бавина съ любовью разсматривали знакомое лицо Елатомскаго и, казалось, видѣли, что ему не весело, что чѣмъ-то безнадежно-сиротливымъ въ эту минуту вѣетъ отъ этого, съ понуренной головой, среди бульвара, подъ мелкимъ дождемъ, остановившагося юноши...

— Я не хочу жить у тебя даромъ,—пробормоталъ Елатомскій, несмотря на то, что былъ очень радъ и Бавину, и тому, что онъ предложилъ ему.

— Ну, да что тамъ на твою долю будетъ приходиться, я буду... брать... только переѣзжай... Когда же мнѣ можно будетъ ждать тебя,—а?

—Ну, жди завтра... а гдѣ же ты живешь?

—А вотъ, зайдемъ ко мнѣ...—и, взявшись подъ руки, они сошли съ бульвара и направили шаги свои по Дерибасовской улицѣ къ соборной площади.

V.

Для того, чтобъ перебраться въ комнату, предложенную Бавинымъ, Елатомскому прежде всего слѣдовало расплатиться съ хозяевами подворья. Денегъ у него не было, но были отцовскіе старинные часы съ золотымъ циферблатомъ и съ довольно массивной золотой цѣпочкою. Скрѣпя сердце, онъ долженъ былъ продать это послѣднее, оставшееся у него сокровище.

Квартира Бавина состояла изъ трехъ комнатъ, кромѣ темной передней и выбѣленной кухни съ закоптѣлой печью. Между передней и комнатой съ окнами на дворъ, куда переселялся Елатомскій, помѣщалась главная, т.-е. самая просторная комната, съ кушеткой, тремя или четырьмя стульями и обѣденнымъ столомъ, въ простѣнкѣ между окнами. Это была и гостиная, и столовая, и чайная и все, что̀ хотите. Кабинетикъ самого Бавина былъ длиною съ диванъ, обитый клеенкой, и шириною съ рабочій столъ, уставленный книгами; середину его занимало кресло. Весь этотъ кабинетикъ освѣщала отворенная дверь, да окно, выходящее въ хозяйскій садикъ, днемъ занавѣшенное вѣтвями яблонь, поздно вечеромъ — опущенною сторой.

Былъ солнечный день, и Елатомскому казалось, что онъ изъ своего жидовскаго подворья переселяется въ рай, хотя въ комнатѣ, куда перенесли его чемоданъ, кромѣ желѣзной кровати, стола, стула и кривоногаго комода, не было никакой мебели. Вообще, въ квартирѣ Бавина ничего не было лишняго, ничего бросавшагося въ глаза,— если только не считать зеркальца, висѣвшаго надъ диваномъ въ его рабочемъ кабинетѣ.

Бавинъ, въ облакахъ табачнаго дыма (онъ курилъ Жукова), вытянувшись во весь ростъ и нагнувши свою курчавую голову, встрѣтилъ Елатомскаго съ тѣмъ выраженіемъ въ лицѣ, съ какимъ отцы встрѣчаютъ иногда сыновей своихъ, воротившихся съ экзаменовъ—и любовно, и серьезно въ одно и то же время. Черный же пудель его долго не унимался: онъ лаялъ серьезно, но далеко не любовно.

— Аксёнъ!—крикнулъ Бавинъ:—что̀ же ты не помогаешь, братецъ!..

— Сейчасъ... сію минуту, баринъ,—послышался голосъ изъ кухни...

— Все ли у тебя есть, что̀ нужно?..—обратился Бавинъ къ Елатомскому... — Есть ли у тебя полотенца? А простыни есть? А то бери у меня, чего нѣтъ. Довольно ли тебѣ одной подушки? Аксёнъ! есть у насъ еще подушка?

— Кажется, еще есть одна въ чуланѣ, — отвѣчалъ Аксёнъ, уже изъ комнаты, предназначенной гостю.

— Да ничего мнѣ не нужно, все у меня есть,—сконфуженнымъ голосомъ, какъ-бы досадуя за разспросы, отозвался Елатомскій. Только, знаешь, что̀ мнѣ кажется?— мнѣ кажется, что я стѣсню тебя. Гдѣ же ты будешь спать?—Я не вижу у тебя другой кровати.

— Пожалуйста, не безпокойся,—тоже съ оттѣнкомъ нѣкоторой досады, возразилъ Бавинъ.—Я сплю у себя на диванѣ—и мнѣ ничего не нужно.

«Да, онъ добрѣе меня», подумалъ про себя Елатомскій.

— Спроси себѣ чаю... а я иду сейчасъ на лекцію— обѣдаемъ вмѣстѣ.—Аксёнъ! что же ты сегодня смолкой не курилъ... а? Ну, покуда прощай, Елатомскій.

Во второй разъ Елатомскій пожалъ его костлявую, здоровую руку и, перешагнувъ порогъ своего будущаго обиталища, поглядѣлъ въ окно и увидѣлъ уходящую со двора длинную фигуру своего сожителя.

Аксёнъ — типъ русскаго парня — круглолицый и коротконосый малый, остриженный въ кружокъ и въ казакинѣ изъ сѣраго демикотона на ватной подкладкѣ (не безъ того, чтобы вата эта не выглядывала кое-гдѣ сквозь небольшія прорѣхи), былъ крѣпостнымъ слугою Бавина. Бывшій казачокъ въ домѣ покойнаго отца его, калужскаго дворянскаго предводителя, зажиточнаго помѣщика, когда-то гвардейца-силача и кутилы, — Аксёнъ чуть не съ дѣтства приставленъ былъ къ Бавину, прожилъ съ нимъ въ Москвѣ четыре года и съ тѣхъ поръ какъ-бы приросъ къ нему.

Онъ былъ грамотенъ, не пилъ водки, искренно былъ преданъ своему молодому владѣльцу, и Бавинъ настолько былъ увѣренъ въ немъ, что никогда не спрашивалъ, что онъ дѣлаетъ и куда пропадаетъ.

— Ну, теперь намъ не такъ будетъ скучно!—началъ Аксёнъ. Онъ не шутя былъ радъ новому барину и не безкорыстно усердствовалъ, ибо увѣренъ былъ, что отъ Елатомскаго получитъ—если не двугривенный, то уже навѣрное гривенникъ.

Черный Карай, неизмѣнный другъ и сожитель Бавина—худой, косматый и нестриженный пудель, какъ кажется, вовсе не раздѣлялъ ожиданій Аксёна, переходилъ съ мѣста на мѣсто, ложился то подъ кушеткой, то подъ столомъ и глухо ворчалъ, какъ-бы про себя выражая свое неудовольствіе... «Ну!» думалось, вѣрно, ему... «очень нужно! Ишь! точно дома — пришелъ гость, да еще и бѣлье свое выдумалъ раскладывать... да еще сигару закурилъ... тогда какъ я привыкъ къ одному запаху жуковскаго табака... и ужъ знаю, что лучше этого запаху ничего на свѣтѣ нѣтъ...»

— Очень буду радъ, если не стѣсню васъ, — повторилъ Елатомскій свою фразу, въ отвѣтъ на привѣтливыя слова Аксёна.—А черное бѣлье свое я оставилъ у прачки въ гостинницѣ. Въ пятницу обѣщалась принесть. А... какъ бишь зовутъ твоего барина?.. Мы вѣдь оба изъ одного гнѣзда—изъ университета московскаго.

— Я такъ и понялъ, что вы изъ Москвы—университетскіе... А какъ барина-то моего зовутъ? Его все также зовутъ... Адріанъ Владимірычъ.

Послѣднія слова свои Аксёнъ произнесъ, какъ-бы удивляясь, какъ это Елатомскій, пріятель его барина, не знаетъ, какъ зовутъ пріятеля...

— Ахъ, да... да... Адріанъ Владиміровичъ!.. Ну, а

меня зовутъ Владиміръ Григорьевичъ... А ты сигаръ не куришь?.. Хочешь— возьми одну.

— Нѣтъ, я не курю, — оскаливъ зубы и встряхнувъ головой, отвѣчалъ Аксёнъ. — Трубки барину случается раскуривать, а самъ не курю...

— А ты не замѣчаешь... или это мнѣ такъ кажется, здѣсь какъ будто чѣмъ-то пахнетъ — и Елатомскій, расширивъ ноздри, понюхалъ воздухъ.

— А неужто еще пахнетъ?.. Ишь ты!.. это все отъ этого щенка... чтобъ ему...

— Какого щенка?

— Да у барина былъ щенокъ — съ улицы они его принесли—должно быть брошенный. Такъ, самый обыкновенный... ничего нестоющій... Я этакихъ щенковъ сколько хотите могу достать...

— Ну, и что же?

— Пожилъ у насъ этакъ съ мѣсяцъ. Баринъ мой самъ его и молокомъ кормилъ. Ему бы надо было толченой сѣры дать. Не догадались... онъ и околѣлъ...

— Околѣлъ?

— Да, чортъ его знаетъ съ чего! съ чумы, должно быть... такая собачья чума бываетъ... околѣлъ... Я хотѣлъ его выкинуть. Такъ что же вы думаете—оставь, говоритъ. Положили его въ корзинку плетеную, на травку... да и держали его чуть ли не четверо сутокъ... вотъ въ этомъ самомъ углѣ...

— Да зачѣмъ же это?

— А кто его знаетъ!.. каждое утро приходилъ смотрѣть... этакую дрянь... всякое утро наблюдалъ за нимъ, пока ужъ оченно смердить не сталъ. Самъ потомъ въ саду и закопалъ его... и самую корзину эту я въ печкѣ сжегъ... Я вотъ сейчасъ смолкой покурю.

— Да не мѣшаетъ и окно раскрыть... И Елатомскій открылъ окно.

— Тутъ хозяинъ живетъ? — спросилъ Елатомскій,

разглядывая заднее крыльцо домика, выходящаго на улицу.

— Хозяинъ.

— Кто онъ такой?

— Еврей — въ ихней школѣ еврейской по-нѣмецки учитъ.

— А много твой баринъ ему за квартиру платитъ?

— Много!

— А сколько?

— Да никакъ рублевъ осемнадцать за квартиру, да еще за обѣдъ—хозяйка съ своей кухни обѣдъ присылаетъ намъ—рублевъ десять—да мнѣ на харчи... Я тутъ недалече въ лавочку хожу обѣдать. Тутъ у насъ изъ людей, кучера, лакеи, горничныя, никто дома не обѣдаетъ... потому что, коли кажинный день кухонную печь топить, одни дрова будутъ впятеро дороже... Дрова здѣсь страсть какъ дòроги.

— Знаю, что дòроги... но, понимаешь,—сказалъ серьезнымъ тономъ Елатомскій,—я потому тебя разспрашиваю, что—и за квартиру, и за тебя, долженъ буду свою долю выплачивать. Какое бишь сегодня число... надо записать... Ну, теперь ты мнѣ вотъ чтò скажи...

— Чтò прикажете?

— Я не изъ любопытства, а просто для того, чтобы ни въ чемъ не стѣснить и не обезпокоить Адріана Владиміровича... Есть у него какая-нибудь зазноба? ну, да просто, посѣщаетъ его какая-нибудь мамзель или барыня?

Аксёнъ — какъ не глупый и смѣтливый малый — съ-разу понялъ, на чтò намекаетъ Елатомскій; но, прежде, чѣмъ отвѣтить ему, полѣзъ въ нетопленую печку—и вынулъ оттуда нѣчто въ родѣ свертка изъ древесной коры, налитаго сосновой смолой, на которую кладутъ горячіе уголья и, раздувая ихъ, курятъ.

— Надо покурить,—сказалъ онъ.

— Да, надо — машинально отозвался Елатомскій и вопросительно поглядѣлъ на Аксёна.

— На счетъ женскаго пола... нашъ баринъ—святой человѣкъ... кого хотите—спросите, коли не вѣрите. Святой! — не безъ гордости произнесъ Аксёнъ — и своими бойкими, сѣрыми глазами поглядѣлъ на Елатомскаго — дескать, что̀ ты на это скажешь.

— Кого же я буду объ этомъ спрашивать!—сказалъ Елатомскій,—и отчего же мнѣ тебѣ не вѣрить? Кто васъ знаетъ! Можетъ быть, и ты великій праведникъ...

— Кто-о? Я-то праведникъ!! — тряхнувъ волосами и весело оскаливъ зубы, проговорилъ Аксёнъ.

— Чему же ты смѣешься? — засмѣявшись, сказалъ Елатомскій.

— Ой... о чемъ это мы съ вами разговоръ ведемъ, даже смѣшно! Какой я святой!.. Нѣтъ-съ, я лучше самоваръ поставлю. Не хотите ли чаю? Баринъ безпремѣнно велѣлъ мнѣ чаемъ васъ напоить... не пошлете ли за булками?

Весеннее солнце грѣло спину Елатомскаго (онъ сидѣлъ на подоконникѣ). Ему было не скучно... Рано утромъ, проснувшись на подворьѣ, онъ укладывалъ свои вещи, чтобъ взвалить ихъ на спину мужика переносчика... рано утромъ дѣвка Марина принесла ему порцію кофе и... помогла ему. Она явственно вздыхала и искоса поглядывала на карія очи и бѣлую шею беззаботнаго юноши.

Кое-какъ, безъ всякаго аппетита, проглотилъ онъ свою утреннюю порцію. Теперь былъ уже часъ по полудни. Напиться чаю Елатомскій былъ не прочь, а потому и вынулъ рублевую бумажку на булки.

Аксёнъ отложилъ въ сторону свое курево и, захвативши картузъ, побѣжалъ за ворота...

Елатомскій прилегъ на кушетку и думалъ. «Неужели этотъ Бавинъ и надъ мертвымъ щенкомъ философствовалъ!» и живо припомнился ему одинъ московскій ве-черъ...

VI.

Когда Елатомскій окончилъ курсъ въ губернской гимназіи, учитель латинскаго языка Іорданскій сказалъ ему:— а ну, какъ вы да на университетскихъ-то экзаменахъ провалитесь! Отецъ, пріѣхавшій изъ деревни продавать коноплю, сказалъ ему:—лучше-ка ты, братъ, вотъ что— поступилъ бы ты здѣсь на службу къ Антону Антоновичу: онъ мой старый пріятель, и губернаторъ имѣетъ къ нему благорасположеніе. Тетушка Глафира Семеновна, у которой онъ жилъ, сказала ему:—не набирайся грѣха, Володя. Въ этомъ «ниверситетѣ» ничему ты хорошему не научишься. Тамъ, говорятъ, и чернокнижеству учатъ. Люди хотятъ мудренѣе Бога быть! Долго ли загубить свою душеньку! Не ѣзди, отецъ родной!

— Если вы меня не отпустите, — отвѣчалъ Володя, сдерживая слезы,—я... я пѣшкомъ въ Москву уйду, пропаду, и вы меня не увидите...

Дѣлать было нечего, трудно было уговорить молодого упрямца—и его отпустили.

На третій день своего выѣзда, рано утромъ высунувъ молодое лицо свое изъ-подъ рогожаной кибитки, впервые увидѣлъ онъ, на тускло-лиловой дымной чертѣ горизонта, ярко, какъ свѣча, затеплившуюся главу Ивана-Великаго и перекрестился.

Восторженный юноша, затыкая носъ отъ вони, распространяемой кожевенными заводами, въѣхалъ въ московскую заставу. И жутко, и весело ему было... «Неужели я вернусь», думалъ онъ, «вернусь со стыдомъ, если меня не примутъ!»

Ба! что это тамъ?.. какое громадное зданіе! Какая пестрота... какой шумъ!!—Былъ какой-то праздникъ, звонили въ колокола, въ часовняхъ горѣли свѣчи. Елатом-

скій крестился—онъ былъ провинціалъ, впервые видѣлъ столицу, и былъ набоженъ.

Остановился онъ въ нумерѣ Воронежскаго подворья, занимаемомъ однимъ изъ недавнихъ гимназическихъ товарищей, который тоже хотѣлъ держать экзаменъ и даже писалъ къ нему: пріѣзжай, мѣста хватитъ на обоихъ, да и не такъ будетъ скучно вдвоемъ готовиться.

На университетскихъ экзаменахъ — изъ математики онъ получилъ—увы!—единицу. За то изъ другихъ предметовъ по пяти и по четыре. Его приняли.

Въ эту знаменательную эпоху его юности, всѣ письма его къ отцу, къ теткѣ и бывшимъ его друзьямъ, въ особенности къ Іорданскому, были восторженными до того, что были усѣяны грамматическими ошибками, недописками и недомолвками.—Я ужъ сказалъ вамъ, что не посрамлю земли русской, ну, и не посрамилъ!— писалъ онъ:—только Перевощиковъ, профессоръ, поставилъ палку—но, какъ вы видите, я перескочилъ эту палку и вчера купилъ себѣ шпагу, и, если нужно будетъ, отточу ее на страхъ врагамъ...»

Но восторженное состояніе, даже въ ранней юности, не долговременно.

Володя переѣхалъ къ своимъ родственникамъ, которые принимали въ немъ участіе, и поселился на Тверскомъ бульварѣ. Изъ окна его комнатки были видны кіоски и раскрашенныя верхушки столбиковъ, украшавшія садикъ Осташевскаго—садикъ, всей тогдашней Москвѣ извѣстный своими барскими затѣями.

Дѣйствительность — врагъ мечтателей: Елатомскій скоро сталъ хандрить, потому что былъ нервенъ, какъ любая малокровная барышня, съ синевой подъ глазами и блуждающею улыбкой. Нечего и говорить, что Елатомскій, какъ и подобаетъ всякому восемнадцатилѣтнему юношѣ, жаждалъ любви — и, разумѣется, влюбился... и,

разумѣется, писалъ пламенныя посланія, въ минуты отелловской ревности или сомнительной безнадежности на взаимность. Къ счастію, самъ онъ былъ непостояненъ, и эта юношеская добродѣтель внушала ему чувство нерѣшительности всякій разъ, когда излишняя рѣшительность могла бы повредить ему. Страстность, влюбчивость и непостоянство довели его до того, что въ 20 лѣтъ онъ разувѣрился въ самомъ себѣ настолько же, насколько и въ женщинахъ. Холодный пріемъ въ какомъ-нибудь домѣ, рѣзкій отвѣтъ пріятеля или насмѣшливый намекъ какой-нибудь хорошенькой кузины, насчетъ его безтактности или же кокетливаго желанія нравиться,—сильно задѣвали его за-живо; *мальчикъ* онъ былъ самолюбивый и это мальчишеское самолюбіе заставляло его скрывать свои неудачи и носить маску равнодушія.

Все это не мѣшало ему посѣщать лекціи, и, по временамъ, учиться съ несвойственнымъ ему прилежаніемъ. Спустя два года, въ умственномъ отношеніи онъ былъ уже далеко не тѣмъ, чѣмъ былъ когда-то. Новыя идеи стали охватывать его, и не мало безсонныхъ ночей провелъ онъ... Молитва и скептическій анализъ—двѣ вещи, подъ-часъ несовмѣстимыя. Метафизическій, философскимъ умомъ искомый Богъ былъ далеко не тотъ живой Богъ, который такъ доступенъ былъ и его нянѣ, и его тетушкѣ Глафирѣ Семеновнѣ...

Въ университетѣ того времени философія не имѣла каѳедры, такъ-сказать, находилась подъ запрещеніемъ. Но, несмотря на это, философскіе вопросы были въ такомъ же ходу, въ какомъ, спустя двадцать лѣтъ, естественныя науки. Не даромъ, студенты, подобные Бавину, казались будущими свѣтилами: они читали Канта въ подлинникѣ и понимали отвлеченный языкъ Гегеля. Елатомскій не былъ рожденъ философомъ. Увлекаемый молодою жизнью, онъ едва-ли понималъ тонкости тогдашней фи-

лософской діалектики, хоть и прикидывался, что ему все понятно, но что все это нисколько не можетъ удовлетворить его.

Подъ вліяніемъ тогдашней литературы и разныхъ настроеній общества, Елатомскій, едва перевалило ему за 20 лѣтъ, сталъ уже считать себя человѣкомъ закаленнымъ жизнью, опаснымъ сердцеѣдомъ,—чѣмъ-то въ родѣ Печорина, невозмутимымъ и не склоняющимся ницъ ни предъ какими кумирами. Это великое самомнѣніе было ни чѣмъ инымъ, какъ великимъ самообольщеніемъ. Онъ былъ въ сущности не что иное, какъ добрый и не глупый малый, искренно преданный друзьямъ своимъ. Въ средѣ товарищей, т. е. тамъ, гдѣ онъ не корчилъ изъ себя героя—его любили, какъ правдиваго, симпатичнаго юношу. Онъ охотно готовъ былъ дѣлиться съ ними и табакомъ, и чаемъ, и деньгами; но деньгами отецъ не баловалъ его, и, если бы не московское хлѣбосольство, если бы не характеръ его, въ высшей степени сообщительный (даже до безтактности—по мнѣнію хорошенькой кузины), Елатомскому плохо бы жилось въ Москвѣ — часто бы голодалъ онъ, ибо на второмъ же курсѣ онъ разстался съ своими родными и жилъ то въ chambres garnies, то у кого-нибудь изъ своихъ товарищей.

Съ Бавинымъ познакомился онъ въ домѣ у Юматовой, сыновья которой были тоже студентами.

Домъ этотъ былъ замѣчательный. Мало того, что всѣ тогдашніе знаменитости его посѣщали, мало того, что его гостиная видала въ стѣнахъ своихъ Жуковскаго, Гоголя, Хомякова, Чаадаева, Герцена, Аксакова, Грановскаго и другихъ, — кабинетъ и спальня молодыхъ Юматовыхъ были чѣмъ-то въ родѣ студенческаго клуба, куда, съ утра до ночи, голубые воротники съ неуклюжими треугольными шляпами заходили званые и незваные, знакомые и такіе незнакомцы, которымъ ничего не стоило тотчасъ

же познакомиться и сразу начать курить хозяйскій табакъ, пить хозяйскій чай, разносимый лакеемъ въ потертомъ сюртукѣ, въ цвѣтной рубашкѣ и съ сережкой въ лѣвомъ ухѣ.

Елатомскій былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ однимъ изъ сыновей Юматовой и не разъ приходилъ переписывать у него лекціи, по той причинѣ, что самъ часто ихъ пропускалъ, особливо въ такіе дни, когда въ московскихъ кандитерскихъ появлялась новая книжка «Отечественныхъ Записокъ», съ критическою статьею Бѣлинскаго или съ разсужденіями о наукѣ—Герцена.

Елатомскій раздѣлялъ всѣ симпатіи и антипатіи тогдашняго западническаго направленія—недолюбливалъ Шевырева и къ славянофиламъ относился съ недовѣріемъ. Ему, также какъ и многимъ изъ тогдашнихъ питерцевъ, казалось, что славянофилы — ретрограды, жаждущіе повернуть Россію назадъ, въ до-Петровскія времена, иначе сказать, къ византійско-татарскому пониманію семьи и государства. Когда разъ, на вакаціи, заѣхалъ онъ погостить на родину, все, что говорилъ онъ не безъ хвастовства посѣщавшимъ его товарищамъ, было совершенно дико и непонятно его благодушной и суевѣрной тетенькѣ. Одинъ разъ, подслушавши вылетѣвшую изъ устъ его фразу о томъ, будто бы въ душѣ его созрѣла какая-то новая вѣра—она пришла въ ужасъ и долго бесѣдовала объ этомъ съ няней Степанидой. Няня Степанида не даромъ на другой же день, пригорюнившись, приступила съ допросомъ къ своему бывшему милому дитяткѣ,—правда-ли, батюшка ты мой, говорятъ, будто ты приписался къ раскольникамъ—какую-то на себя ересь напустилъ? А?

Но вернемся къ Бавину.

Бавинъ былъ ежедневнымъ посѣтителемъ дома, или, лучше сказать, кружка Юматовыхъ. Имъ гордились, и

онъ самъ чувствовалъ все свое превосходство надъ юношами одного съ нимъ возраста: никто изъ нихъ не былъ такъ силенъ въ діалектикѣ, никто не могъ тягаться съ нимъ въ умѣньи озадачивать цѣлымъ рядомъ силлогизмовъ, начинающихся съ «если» и кончающихся «слѣдовательно». Бавинъ во всей Москвѣ, кромѣ Юматовыхъ, никого не зналъ и знакомился только съ тѣми молодыми людьми, которые заходили къ Юматовымъ. Не только Россіи или русскаго народа (хотя и провелъ онъ все свое дѣтство въ деревнѣ, въ богатой усадьбѣ своей матери, окруженный сотнею крѣпостныхъ) — онъ и Москвы не зналъ. Едва-ли у него хватало времени заглядывать въ другія улицы, кромѣ Воздвиженки и Моховой, по которымъ онъ ходилъ въ университетъ, да Никитскаго бульвара, который велъ его изъ дому Юматовыхъ къ себѣ на квартиру, гдѣ мальчикъ Аксёнъ каждый день перестилалъ ему постель, давалъ умываться, чистилъ трубки и—удивительное дѣло—какъ, отъ скуки и одиночества, не сдѣлался забулдыгой или пьяницей!

Бавинъ не избѣгалъ возраженій, и, чѣмъ жарче былъ споръ, тѣмъ скорѣе голосъ его переходилъ въ наставническій тонъ, но онъ снисходительно, даже съ родительскою нѣжностью, смотрѣлъ на всякій умственный трудъ каждаго изъ своихъ сверстниковъ, и когда Елатомскій, краснѣя и запинаясь, прочелъ въ его присутствіи какую-то статью свою, о вліяніи греческаго искусства на нравы римской имперіи, Бавинъ только посовѣтовалъ ему логичнѣе выразить мысль свою и развить тезисъ, что, вообще, чужеземное вліяніе размягчаетъ нравы, а размягченіе нравовъ ведетъ къ распущенности и упадку нравственности. Говоря это, подозрѣвалъ ли Бавинъ, что самъ онъ находится подъ чужеземнымъ, а именно нѣмецкимъ вліяніемъ, и что это нисколько не вліяло на его распущенность,—напротивъ, съеживало его до интересовъ од-

ного интеллигентнаго кружка, за предѣлами котораго ничего уже не могъ различить его умственный глазъ.

Статья Елатомскаго была плоха; но это не мѣшало въ кружкѣ Юматовыхъ возложить и на него надежды, иначе—видѣть въ немъ одного изъ будущихъ представителей науки. Однимъ словомъ, это былъ одинъ изъ тѣхъ кружковъ, изъ котораго выходили будущіе гамлеты Щигровскаго уѣзда, будущіе плохіе писатели и поэты, у которыхъ вдохновеніе лопнуло при первой неудачѣ ихъ на литературномъ поприщѣ; но за-то выходили и тѣ наивнорьяные, великодушные мировые посредники, которые, вскорѣ послѣ освобожденія крестьянъ, идеализировали положеніе 19 февраля, искренно радовались, что у крестьянъ является сознаніе кое-какихъ правъ своихъ, и которые своими распоряженіями возстановили противъ себя не только помѣщиковъ, но и власти.

Все вышесказанное поясняетъ, почему именно Бавинъ обрадовался Елатомскому и пригласилъ его жить съ собой. Но почему же Елатомскій, при разсказѣ Аксёна объ околѣвшемъ щенкѣ,—вдругъ вспомнилъ одинъ московскій вечеръ?

Это былъ—зимній московскій вечеръ. У Юматовыхъ въ домѣ случилось ужасное происшествіе: внезапно, отъ разрыва сердца, умеръ меньшой сынъ хозяйки, тринадцати-лѣтній отрокъ, тоже подававшій большія надежды и уже сочинявшій какую-то трагедію. Въ залѣ, на столѣ, лежалъ бездушный трупъ несчастнаго мальчика, монотонно плачевнымъ голосомъ читалась псалтырь, передъ гробомъ горѣли колеблющимися огоньками высокія восковыя свѣчи. Въ гостиной сидѣли пріѣзжія дамы въ глубокомъ траурѣ; тамъ были слышны вздохи, тихій плачъ,—запахъ нюхательнаго спирта и одеколона, а въ кабинетѣ у студентовъ, при тускломъ свѣтѣ нагорѣвшей сальной свѣчи, посыпанной желтыми крошками табаку, въ дыму

отъ запаленныхъ трубокъ, со всѣхъ сторонъ виднѣлись протянутыя ноги, протянутые чубуки, чьи-то синія очки, бѣлесоватыя пятна, вмѣсто безбородыхъ лицъ, и при этомъ слышался сдержанный, надтреснутый голосъ Бавина. Онъ говорилъ о смерти, объ ея всемірномъ значеніи, о томъ, что міръ обратился бы въ вѣчное ничто, если бы смерть, какъ зиждительница времени, не помогала ему обновляться и совершенствоваться.

И всѣ молча курили, слушали, и слушалъ Елатомскій, который въ это время былъ занятъ уже другими вопросами, подъ вліяніемъ одной *необыкновенной* барыни, съ которою онъ только-что познакомился.

VII.

Богатъ или бѣденъ былъ отецъ нашего юнаго героя Володи или—Владиміра Григорьевича Елатомскаго—надворный совѣтникъ въ отставкѣ, Григорій Дмитріевичъ?

Если бы во Франціи или въ Англіи обладалъ онъ 170 десятинами земли (исключая 67 душъ крестьянъ по послѣдней ревизіи), онъ былъ бы однимъ изъ богатѣйшихъ помѣщиковъ. Если бы его имѣніе не было заложено и онъ не уплачивалъ въ банкъ процентовъ, онъ могъ бы чаще ѣздить въ Москву и чаще бы баловалъ своего птенца присылкою денегъ; но на святой Руси онъ едва сводилъ концы съ концами: не даромъ считалъ онъ на полѣ снопы, при себѣ производилъ молотьбу, ѣздилъ на сѣнокосы и, на старости лѣтъ, мечталъ еще о томъ, чтобы вступить во второй бракъ съ какою-нибудь здоровою бабой, которая бы умѣла варить щи да кашу и никогда не покупала бы себѣ ни вѣеровъ, ни перчатокъ.

Онъ былъ когда-то усерднымъ служакой; потомъ управляющимъ въ имѣніи богатаго графа .Х., который, за 18-ти лѣтнюю службу, и подарилъ ему 170 десятинъ, съ

усадьбой, садомъ и огородомъ. Жилъ онъ въ маленькомъ флигелькѣ—около недостроеннаго господскаго дома—въ двухъ комнатахъ, оклеенныхъ допотопными обоями и украшенныхъ гравированными (акватинтами) портретами англійскихъ лордовъ и военачальниковъ XVIII столѣтія, и круглыми венеціанскими зеркалами, въ узенькихъ золоченныхъ рамкахъ, запачканныхъ мухами.

Каждый вечеръ, ложась спать, прочитывалъ онъ нѣсколько главъ изъ исторіи Карамзина,—удивлялся смѣлости пера его и снисходительности правительства, дозволившаго писать такъ смѣло о московскихъ царяхъ—Иванѣ Грозномъ, Борисѣ Годуновѣ и проч. Это было его любимое чтеніе—единственная серьезная книга, которая занимала его. Онъ не зналъ ни французскаго, ни нѣмецкаго языка; но, говорятъ, зналъ по-молдавански—да зналъ еще не мало малороссійскихъ пѣсенъ, потому что считалъ себя малоруссомъ — уроженцемъ полтавской губерніи.

Когда онъ узналъ, что сынъ его благополучно окончилъ свое ученье, онъ послалъ ему 500 руб.—и откровенно объяснилъ ему въ письмѣ, что посылаетъ ему деньги, которыя получилъ съ крестьянина своего Ѳомы Ѳедотова за то, что, вмѣсто сына его, отдалъ въ рекруты лакея Гришку, который проворовался и сталъ попивать.

Елатомскому деньги эти свалились какъ-бы съ неба и въ минуту самую для него критическую: нужно было сбросить синій воротникъ, разстаться со шпагой и обзавестись обыкновеннымъ, партикулярнымъ платьемъ, расплатиться съ долгами и что-нибудь предпринять.

Но вмѣсто того, чтобы ѣхать на западъ, къ отцу своему, въ деревню, онъ покатилъ на югъ, въ Одессу.

Хотя Елатомскій и приписывалъ свою поѣздку силѣ воли, однако, несмотря на эту силу воли, онъ не могъ

бы и совершить этого подвига, если бы не Гришка и не Ѳома Ѳедотовъ.

Какъ, однако, понять, что Елатомскій, который былъ уже настолько развитъ, что сознавалъ всю ненормальность и безобразіе крѣпостного права, обрадовался деньгамъ, взятымъ съ крестьянина за то только, что сынъ его останется крѣпостнымъ, хотя и не поступитъ въ рекруты?

Но, въ началѣ 40-хъ годовъ, никто не смотрѣлъ иначе — никто, даже философствовавшій Бавинъ не упрекнулъ бы Елатомскаго за эти деньги. Гуманныя идеи того времени еще были такъ новы и такъ безсильны, что еще и не боролись за свое существованіе, даже органовъ для этой борьбы тогда не существовало.

Елатомскій ничѣмъ не рисковалъ, давши себѣ клятву ни въ какомъ случаѣ не поднимать руки своей на существо, называемое человѣкомъ, но отослать назадъ деньги—это было бы для него рискованно, это кончилось бы тѣмъ, что старикъ Елатомскій счелъ бы сына своего умопомѣшаннымъ, а его кредиторы, начиная съ бѣдной хозяйки, назвали бы его мазурикомъ, если бы онъ уѣхалъ, не расплатившись съ ними этими крестьянскими деньгами.

Если лучшихъ людей сравнить съ алмазами, то едва ли и межъ ними существуютъ такіе алмазы, которымъ бы жизнь дала грань и блескъ со всѣхъ сторонъ. Даже геніальнѣйшіе изъ людей блестѣли только одной или двумя гранями своего нравственнаго закала—все остальное пряталось въ корѣ, т.-е. по виду ничѣмъ не отличалось отъ тѣхъ голышей, которыми мостятъ мостовую. Елатомскій же не только не былъ, но и не могъ быть великимъ человѣкомъ — у него были очень умѣренныя способности. Если авторъ этого разсказа когда-то любилъ его, — то развѣ за то только, что находилъ въ немъ искреннее стремленіе быть независимымъ — «смѣть свое сужденіе

имѣть». Можетъ быть, Елатомскій, будь указана ему цѣль, готовъ былъ бы жизнью своею жертвовать, или, чуя фальшь, проповѣдывать иную жизнь, иные нравы; но никакихъ жертвъ никто отъ него не требовалъ, и онъ вовсе не былъ способенъ на какую бы то ни было проповѣдь. Жизнь скоро показалась ему скучна и пуста, и, чтобъ наполнить эту пустоту, онъ рано сталъ искателемъ приключеній—и, безъ волненія страстей, какъ моряку въ штиль, ему было скучно. По выходѣ изъ университета, онъ началъ-было искать мѣста, но чиновная Москва стала казаться ему чѣмъ-то въ родѣ болота, испаряющаго міазмы.

«Тутъ задохнешься — тутъ, чего добраго, въ грязь уйдешь по уши, и засосетъ тебя эта грязь и тогда пиши пропало! Еще женишься, пожалуй. Боже меня избави!!»

Не разъ тѣ же мысли горячо развивалъ онъ гдѣ-нибудь за чайнымъ столомъ, среди своихъ короткихъ знакомыхъ. И что же? эта филиппика на Москву, это пламенное негодованіе на застой и всяческую неправду, вовсе не было заразительно, нерѣдко вызывало двусмысленную улыбку, а молоденькія дѣвицы, которыя не безъ удовольствія внимали рѣчамъ его, чуть не вслухъ говорили ему: ахъ вы, милый, милый Елатомскій!...

Бавинъ тоже считалъ себя человѣкомъ въ высшей степени честнымъ и нравственнымъ. Но когда онъ и Елатомскій сошлись подъ одной и той же кровлей, между ними оказалась разница.

Насколько постоянно былъ одинаковъ Бавинъ, какъ Юпитеръ на высотѣ своего Олимпа, настолько непостоянно было поведеніе и даже расположеніе духа Елатомскаго. То онъ хандрилъ—и по два, по три дня не выходилъ на улицу, то пропадалъ и былъ веселъ и даже шаловливъ, какъ ребенокъ.

Однажды, въ воскресный день, вернувшись къ обѣду

въ прескверномъ настроеніи, онъ принялся ходить по комнатѣ. Бавинъ, покончивъ съ работой, лежалъ на кушеткѣ. Его косматая голова была неподвижна. Мускулистыя длинныя ноги, въ домашнихъ, верблюжьяго цвѣта шароварахъ, тоже не двигались. Только глаза изрѣдка поглядывали въ спину изъ угла въ уголъ шагающаго Елатомскаго.

— Что̀, скука одолѣваетъ?—сказалъ ему Бавинъ.

— Нѣтъ, не скука;—впрочемъ, какъ хочешь назови это скверное расположеніе духа,—не оглядываясь на Бавина отвѣчалъ Елатомскій.

— И ты думаешь, что теперешнее пустоголовое общество можетъ удовлетворить тебя? За что ты истрачиваешь на него свои силы и только теряешь время, зачѣмъ серьезно не учишься?

Елатомскій вдругъ остановился, точно ужаленный.

Первую минуту онъ не зналъ, что̀ ему отвѣчать, и посмотрѣлъ на Бавина; но Бавинъ уже глядѣлъ на свои сапоги и только лѣвой рукой пощипывалъ свою эспаньолку, т.-е. нѣсколько вьющихся волосковъ подъ самою нижнею губою.

— Я сейчасъ только взялъ урокъ,—сказалъ Елатомскій,—а ты говоришь, что я не учусь.

— Какой урокъ, — удивился Бавинъ, и поднялъ на него глаза свои.

— А вотъ, послушай! Тому назадъ съ полчаса, не болѣе, встрѣтилъ я нѣкоего Заина. Ты его не знаешь. Ну, а я знаю, познакомился съ нимъ на дорогѣ и проѣхалъ съ нимъ на одной телѣгѣ станціи три-четыре. Препротивная морда! Рябой, курносый, ротъ—точно надрѣзанная говядина, уши тоже мясистыя и красныя, подбородокъ въ прыщахъ. Вижу, идетъ ко мнѣ на встрѣчу, въ шинели, съ собачьимъ воротникомъ, и въ ватной фуражкѣ, съ зеленымъ околышемъ.

— Ну, что?—спрашиваю: — какъ дѣла? Получили ли вы, наконецъ, мѣсто пакгаузнаго надзирателя?

— Что̀ такое пакгаузный надзиратель? — спросилъ Бавинъ, продолжая съ тѣмъ же недоумѣніемъ поглядывать на своего пріятеля.

— А чортъ его знаетъ, что это такое—пакгаузный надзиратель!—должно быть, какое-нибудь мѣсто при таможнѣ; знаю только, что хлопотать объ этомъ мѣстѣ онъ ѣздилъ въ Петербургъ, на свои послѣднія деньги, на обратный путь занялъ у меня 25 рублей и вернулся въ Одессу безъ копѣйки...

— Ну, что? спрашиваю. А онъ оскалилъ зубы, да и жалуется, что въ этой анаѳемской Одессѣ безъ денегъ ничего не подѣлаешь; что будь у него 6000 карбованцевъ, онъ всѣ бы эти 6000 ухлопалъ на взятку, чтобъ только добыть это мѣсто...

— Да, что, говорю, вы такъ этого мѣста добиваетесь?

— Да какже, говоритъ, вы этого не понимаете, а еще умнымъ человѣкомъ считаетесь. Просиди я на этомъ самомъ мѣстѣ пять, шесть лѣтъ, ну, и довольно! И не нужно больше.

— А что? спрашиваю.

— А вотъ что̀, говоритъ: выстроилъ бы себѣ во-о!-какой домино! завелъ бы лошадей и зажилъ бы паномъ. Шести лѣтъ довольно.

— Не понимаю, говорю, неужели такое большое жалованье?

— Ха, ха! засмѣялся: жалованье! что̀ жалованье!—жалованье—пустяки!

— Такъ неужели же, спрашиваю, вы стали бы съ купцовъ, или ужъ я тамъ не знаю съ кого, — взятки брать?

Онъ слегка отшатнулся и сталъ смотрѣть на меня съ

изумленіемъ. Я ужъ начиналъ-было думать, не сказалъ ли я ему что-нибудь обидное.

— А то какъ же иначе!—заговорилъ онъ вдругъ, и опять оскалилъ зубы. — Развѣ можно служить и не драть съ живого и съ мертваго, развѣ можно не брать взятокъ!

— Разумѣется, говорю, можно. Неужели вы думаете, что я могу, что я буду взятки брать!

— Невозможно, говоритъ,—всѣ берутъ, сверху до низу,—такой, говоритъ, порядокъ.

— Ну, нѣтъ, говорю, не всѣ.

— Да что вы? говоритъ—Господь съ вами! что вы меня дурачите, что ли? Али разбогатѣли, мѣстечко себѣ купили, на первыхъ порахъ притворяетесь?

Мнѣ стало досадно, индо злость разобрала меня.

— Какое, говорю,—мѣстечко: живу кое-какъ уроками.

Уро-оо-ками?—протянулъ онъ, до половины высунувъ языкъ.—Уроками! Ну, говоритъ, коли вы, любезный, да въ Одессѣ стали уроки давать, не видать вамъ мѣста, какъ ушей своихъ.

Тутъ онъ махнулъ рукой и, не простясь, зашагалъ отъ меня, какъ отъ зачумленнаго. Видно, ужъ очень озадачилъ я его своей непроходимой глупостью. Ну что, развѣ же это не урокъ! Развѣ на каждомъ шагу жизнь не учитъ насъ, какова она въ дѣйствительности? Такова ли, какою она казалась намъ, сквозь призму студенческаго, радужнаго воображенія?

— А развѣ ты до сихъ поръ не зналъ, что есть взяточники?—укорительно произнесъ Бавинъ; — какое тебѣ до нихъ дѣло? что общаго между наукой и этими молюсками?

— А то общее, что мы живемъ въ домахъ этихъ молюсковъ и за это платимъ имъ.

— Домà строитъ народъ; дай ему хлѣба на 40, на 50 дней, онъ и тебѣ домъ построитъ. Ему все равно: взяточникъ ты или не взяточникъ.

— Ну, нѣтъ, взятки-то эти я прежде всего сдеру съ народа. Значитъ, ему не все равно! Вотъ ты спрашиваешь меня, отчего я иногда волнуюсь или отчего не въ духѣ. Но чтò же я буду дѣлать, чтò могу предпринять? на чтò я годенъ? Изъ университета вышелъ я не кандидатомъ, какъ ты, а только *дѣйствительнымъ*. Значитъ, нечего и думать, чтобъ мнѣ дали каѳедру. Надо или служить, или открыть какую-нибудь мастерскую. Но какую мастерскую могу я открыть, когда я, братецъ ты мой, никакому ремеслу не обученъ. Да что! если бы и былъ обученъ, чтò бы я сталъ дѣлать съ моими грошовыми средствами?

— Значитъ, идти и взятки брать!—сказалъ Бавинъ— и въ глазахъ его промелькнула искра, точно блескъ холодной, наточенной стали. Это былъ признакъ, что въ душѣ Бавина что-то вдругъ вспыхнуло и погасло.

Опять Елатомскій остановился, какъ ужаленный.

— Идти и бороться насколько хватитъ силъ,—заговорилъ онъ горячо,—жить и сообщать эту жизнь всему, чтò мертво, бездушно и холодно!

Въ эту минуту стукнула дверь изъ передней, и Аксенъ, не безъ воркотни и гримасы отворивши дверь отчаянными толчками ноги, внесъ въ комнату миску щей и поставилъ ее на столъ между двумя приборами.

Оба пріятеля молча сѣли обѣдать. Послѣдняя фраза Елатомскаго понравилась Бавину, и онъ, разрѣзывая куски вареннаго мяса, думалъ: сообщать жизнь всему, чтò бездушно и холодно! Гм! Это задача!

Елатомскій думалъ: ужъ не приняться ли ему за какую-нибудь компиляцію, или хоть начать статью: «О вліяніи мавровъ на европейскую цивилизацію».

VIII.

Къ двадцатымъ числамъ февраля погода становилась все теплѣе и теплѣе. На дворахъ подсыхали лужи и воробьи на черепичныхъ кровляхъ чирикали съ такимъ задоромъ, что уже одинъ задоръ этотъ предрекалъ близкую весну и появленіе зелени.

Но Елатомскій простудился, заболѣлъ и, по совѣту доктора Введенскаго, долженъ былъ просидѣть дома, три-четыре дня по крайней мѣрѣ. Съ четверга масляницы студенты лицея были распущены, и Бавинъ на всѣ эти дни затворился въ своей маленькой комнаткѣ. Онъ работалъ. Елатомскій тоже что-то писалъ, или, лежа на своей постели, часто по цѣлымъ днямъ неприбранной, читалъ Пуатье: «Священныя книги Востока».

Въ квартирѣ молодыхъ людей царствовало глубокое молчаніе, изрѣдка нарушаемое побрякиваньемъ ошейника, когда Карай, лежа, чесалъ себя за ухомъ, или глухимъ стукомъ сапожнаго молотка изъ кухни. Только за чаемъ, да за обѣдомъ молодые люди сходились, но и въ эти часы были не особенно разговорчивы.

Елатомскій воображалъ, что Бавинъ дуетъ губы, потому что не доволенъ имъ, но въ субботу, около трехъ часовъ пополудни, раздался голосъ Бавина: — Елатомскій, можешь зайти ко мнѣ?

Елатомскій откликнулся, завернулся въ пледъ и въ туфляхъ вошелъ къ нему.

Бавинъ спросилъ его: расположенъ ли онъ что-нибудь послушать?

— Разумѣется, расположенъ,—отвѣчалъ Елатомскій.

— Я, видишь, не знаю, ясно-ли это у меня вышло. Послушай; и, слегка крякнувъ, Бавинъ сталъ читать ему свою рукопись.

— Гм! — началъ онъ: — «Мы видимъ природу—какъ начало или мысль, и природу—какъ явленіе. Это явленіе есть для насъ явленіе мысли, потому что оно подчинено ея законамъ.

«Но природа, какъ мысль, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и начало, и результатъ. Для насъ же, размышляющихъ, это явленіе будетъ понятно, только какъ противоположеніе результата началу и какъ подчиненіе этого же результата тому же началу — словомъ: какъ постепенность явленія природы въ пространствѣ и времени.

«Послѣдній результатъ природы, какъ явленія, есть результатъ всего предшествовавшаго развитія, т. е. явленіе, подчиненное законамъ этого развитія или законамъ природы въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова».

— Повтори, пожалуйста, это мѣсто, дай вникнуть,— сказалъ Елатомскій.

Бавинъ повторилъ.

— А! теперь понимаю, — незамѣтно вздохнувъ, сказалъ Елатомскій. Ему было совѣстно заставить Бавина въ третій разъ перечесть то же самое, да и совѣстно было за свою непонятливость.

— Гм., да! «Въ обыкновенномъ смыслѣ слова»,—продолжалъ Бавинъ, т. е. законамъ природы, уже явившейся въ многообразныхъ явленіяхъ. Въ то же время, это явленіе, какъ послѣдній и полный результатъ природы, въ которомъ природа заключилась и какъ явленіе, и какъ начало или мысль, будетъ заключать въ себѣ эту свободную мысль, подчиненную своимъ законамъ. Такое явленіе есть человѣкъ. Какъ результатъ—онъ есть животное, какъ начало—онъ есть разумъ.

«Человѣкъ есть средоточіе, въ отношеніи къ которому природа, какъ начало, есть внутренній міръ, природа, какъ результатъ, есть внѣшній міръ, — итакъ: человѣкъ есть разумное животное».

Елатомскій сильно напрягалъ мозгъ свой и очень былъ радъ, что понялъ послѣднюю фразу.

— Да, это прямой логическій выводъ, сказалъ Елатомскій. — Я, какъ начало природы — разумъ, какъ ея результатъ—животное. Вотъ—родной братъ этому псу,— добавилъ онъ, нагнувшись и потрепавъ рукой чернаго пуделя, который, высунувъ красный языкъ лежалъ подъ столомъ и, казалось, не безъ удовольствія вслушивался въ чтеніе своего хозяина. — Братъ вотъ этому бестіи, который всякій разъ всѣхъ будитъ, когда я возвращаюсь ночью, такъ что я ужъ и возвращаться не буду по ночамъ, чтобъ только никого не безпокоить. Будь у тебя разумъ, щельмецъ ты этакій...

Но шельмецъ вдругъ приподнялся, скосилъ уши и зарычалъ.

Послышался скрипъ двери, шаги въ сѣняхъ и на порогѣ явился Аксенъ, съ запиской на имя Елатомскаго.

— Отъ кого? спросилъ Елатомскій.

— Не могу знать.

— Кто принесъ?

— Дѣвка.

— Елатомскій слегка покраснѣлъ, посмотрѣлъ на облатку и, не торопясь, развернулъ записку.

«Я пріѣхала», прочелъ онъ, «и желаю тебя видѣть, братъ Елатомскій. Приходи, если ты все тотъ же,—и такъ какъ ты непремѣнно все тотъ же, то я и буду ожидать тебя съ нетерпѣніемъ.

«Сестра Нина. Гостинница Керчь, № 13».

— Вотъ не ожидалъ!—взволнованнымъ голосомъ сказалъ Елатомскій.—Пріѣхала! Только какъ же мнѣ быть? Я на микстурѣ. Выходить мнѣ еще не приказано.

— Дружище,—обратился онъ къ Бавину:—ради Бога, разрѣши одной моей знакомой, Нинѣ Александровнѣ Эвиной, навѣстить меня. Позволь пригласить на чашку чаю.

Я ей напишу, что боленъ и не могу самъ быть у ней... Да ты и не будешь раскаяваться, это не женщина—феноменъ. Я уже не разъ тебѣ говорилъ о ней и даже письма ея читалъ тебѣ. По однимъ уже письмамъ, ты можешь заключить, что...

Бавинъ насупился, все лицо его приняло сильно озабоченное выраженіе.

— Да, можетъ быть, она еще и не пойдетъ къ намъ,—проговорилъ онъ вполголоса.

— Кто не пойдетъ? Эвина-то! Да если бы мы съ тобой жили въ сыромъ подвалѣ или въ вертепѣ разбойниковъ,—не безъ паѳоса проговорилъ Елатомскій,—и тогда бы она пришла къ намъ. Не пойдетъ!—точно она нуждается въ законахъ свѣта—у ней вотъ гдѣ свѣтъ!—добавилъ онъ, прикладывая палецъ ко лбу, и пошелъ въ свою комнату писать отвѣтъ г-жѣ Эвиной.

Десять минутъ спустя, онъ опять вошелъ къ Бавину и объявилъ ему, что пригласилъ Эвину къ вечернему чаю.

— Досадно, однако же,—добавилъ Елатомскій,—что эта записка помѣшала мнѣ тебя дослушать. Скажи, Адріанъ, скоро ли ты все это напечатаешь?

Бавинъ всталъ и закурилъ трубку.

— Нѣтъ, еще не пришло время, сказалъ онъ.—Всѣ эти мои разсужденія заключаютъ въ себѣ не болѣе, какъ предчувствіе феноменологіи для будущей философіи.

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, Елатомскій рѣшился размѣнять послѣднюю трехъ-рублевую бумажку и послалъ купить лимоновъ, банку кіевскаго варенья и разныхъ печеній къ чаю. Къ семи часамъ онъ сбросилъ уже бухарскій, лѣтній халатикъ свой, одѣлся въ лѣтнее пальто, причесался и сталъ рыться въ книгахъ. Въ старомъ французскомъ лексиконѣ нашелъ онъ прилипнувшій къ страницамъ листикъ курительной бумажки, зажегъ свѣчу и покурилъ. Услыхавши этотъ ароматическій запахъ,

Бавинъ потянулъ носомъ, нехотя поднялся, повязалъ себѣ на шею галстукъ и, съ чубукомъ въ рукахъ, вышелъ въ столовую, затѣмъ, расположившись на кушеткѣ, сталъ наблюдать за Елатомскимъ.

Это, несомнѣнно, какая-нибудь старая страстишка, думалъ онъ, и при этомъ лицо его было скорѣе грустно, нежели насмѣшливо.

Елатомскій не шутя казался влюбленнымъ или поджидающимъ женщину, которой хотѣлъ понравиться, но это такъ только казалось—онъ просто находился подъ наплывомъ юношескихъ московскихъ воспоминаній. Вотъ, вспомнилось ему, сидитъ онъ вечеромъ въ кофейной Баженова и упивается статьей Бѣлинскаго. Входитъ товарищъ его и другъ Игнатьевъ, входитъ и говоритъ: ну, такъ и зналъ, что я тебя застану здѣсь. Вставай, идемъ!—Куда?—А туда, куда я поведу тебя. Умѣешь ты гвозди вколачивать?—Умѣю.—Ну, и хорошо. Allons! И вотъ они надѣли фуражки, и оба спустились на площадь, затѣмъ пошли по Тверской и завернули въ Газетный переулокъ. Игнатьевъ черезъ мощеный дворъ провелъ Елатомскаго въ какую-то маленькую, изъ двухъ комнатъ состоящую квартиру. И вотъ, встрѣчаетъ ихъ, смѣясь и болтая, какая-то высокая, стройная, блѣдная и все-таки веселая женщина, съ распущенными по плечамъ волосами. На ней была блуза изъ персидской матеріи, на ея тонкихъ пальцахъ сверкали кольца.

— Вотъ вамъ еще обойщикъ,—сказалъ ей Игнатьевъ,—пріятель мой, по фамиліи Елатомскій. Пороху не выдумаетъ—но не дуракъ. Я полѣзу шторы вѣшать, а вы уже прикажите ему въ спальной занавѣску прибить къ перекладинѣ.

Елатомскій былъ пораженъ и сконфуженъ, но въ то же время обрадованъ.

«Красивая дама!» подумалъ онъ, и что-то такое не

совсѣмъ обыкновенное! Незнакомка обошлась съ нимъ до такой степени просто и не церемонно, такъ простодушно смѣялась, что Елатомскій сразу почувствовалъ себя точно такимъ же простымъ и нецеремоннымъ, взялъ молотокъ, гвозди и, косясь на кровать и подушки, сталъ прибивать какую-то шерстяную темно-малиновую матерію къ перекладинѣ орѣховаго дерева на двухъ точеныхъ столбикахъ.

— Чучело ты заморское! ты бы спросилъ—какъ надо! Надо складки шире пускать,—закричалъ ему Игнатьевъ. стоя на подоконникѣ.—Э! все равно, — заговорила дама, помирая надъ ними со смѣху,—прибивайте, братья мои, какъ знаете. Да не пора ли чаи пить?

Въ тотъ же вечеръ, къ чайному столу г-жи Эвиной (это была она), собралось съ полъ-дюжины молодыхъ людей, изъ числа которыхъ двое были наканунѣ своего профессорства и въ университетскихъ кружкахъ считались людьми весьма авторитетными. Разговоръ за чаемъ полу-свѣтскій, полу-ученый, смѣлый по своимъ вопросамъ, и еще болѣе смѣлый по своимъ выводамъ, разговоръ дружный, почти безъ спора, до такой степени плѣнилъ юнаго Елатомскаго, что ему показалось, будто еще никогда, никогда отъ роду не былъ онъ въ такомъ обаятельномъ, интеллигентномъ обществѣ.

Г-жа Эвина только-что разошлась съ мужемъ и, съ его дозволенія, переѣхала отъ него на квартиру, и собрала вокругъ себя своихъ юныхъ пріятелей или *братьевъ*, какъ она называла ихъ.

Не прошло недѣли, какъ уже Елатомскій сталъ однимъ изъ первыхъ друзей ея. Онъ и теперь не забылъ еще тѣ поэтическіе сумерки, когда, сидя на скамеечкѣ у ногъ Эвиной, онъ благоговѣйно выслушивалъ ея признанія, какъ она воспитывалась въ институтѣ, гдѣ отличалась религіознымъ фанатизмомъ, какъ вышла замужъ, и что

послужило первымъ толчкомъ къ ея развитію; какъ она страдала оттого, что неразвитой мужъ не только пересталъ понимать ее, но запретилъ ей чтеніе; какъ онъ влюбился въ гувернантку ихъ старшей дочери, какъ онъ вооружилъ эту дочь противъ нея, прямо запретивъ ей слушаться матери, какъ онъ подозрѣвалъ каждаго молодого человѣка, который приходилъ къ ней, въ связяхъ съ ней, и какъ, наконецъ, нравственно измученная и истерзанная, она рѣшилась все бросить и начать самостоятельную, независимую жизнь.

Быть можетъ, въ дѣйствительности, все это было далеко не такъ, но разсказъ Нины былъ до того мелодично грустенъ, вдавался въ такія психическія тонкости, пересыпанъ былъ такими современными, во вкусѣ французской школы, фразами, такъ трогателенъ, что наивный студентъ и добрый малый Елатомскій готовъ былъ не только цѣловать ея бѣлыя, аристократическія руки, но готовъ былъ за нее въ огонь и въ воду.

Вспомнилъ Елатомскій лѣто, проведенное имъ въ деревнѣ у отца Игнатьева, по сосѣдству съ селомъ, куда, якобы преслѣдуемая мужемъ, пріѣхала къ матери своей Нина Александровна; вспомнилъ онъ свои ночныя прогулки съ нею по садамъ и рощамъ, мечтательную праздность и мечты о какомъ-то лучшемъ будущемъ.

IX.

Пошелъ дождь и на дворѣ сдѣлалось пасмурно. Ранѣе девяти часовъ вечера молодые люди не ожидали посѣщенія г-жи Эвиной, но не было еще и восьми часовъ, какъ Карай вскочилъ и залаялъ. Изъ небольшой, темной передней послышался шорохъ женской одежды, мягкій стукъ сброшенной съ ноги резиновой калоши, и въ дверяхъ появилась дама, въ черномъ шелковомъ платьѣ, съ

рукавчиками, обшитыми широкимъ кружевомъ, съ черною бархатною лентой надъ проборомъ свѣтлокаштановыхъ волосъ, словомъ—дама весьма элегантно одѣтая, но безъ шляпки и безъ перчатокъ. Входя въ комнату, она сильно прищурилась, и лицо ея въ первую минуту показалось сердитымъ и озабоченнымъ. Лай же собаки, повидимому, нисколько не испугалъ ее.

Придерживая Карая за ошейникъ, Бавинъ прикрикнулъ на него: цыцъ! и поднялся съ кушетки, но, проглядѣвъ его, гостья тотчасъ же схватила руку вышедшаго къ ней на встрѣчу Елатомскаго, и, какъ будто эта встрѣча, это свиданіе было однимъ изъ самыхъ радостныхъ для нея событій, лицо ея засвѣтилось улыбкой и раскатистый во-истину женскій смѣхъ зазвучалъ въ ея голосѣ.—Такъ-то ты боленъ, братъ!—сказала она и, положивъ свою руку ему на плечо, по праву сестры, поцѣловала его въ голову.

Елатомскій отрекомендовалъ ей Бавина.

— Много я про васъ слышала и давно желала съ вами познакомиться, — сказала она, крѣпко, по-мужски, пожимая ему руку.

Бавина она поразила своимъ величавымъ ростомъ, правильными, немного удлиненными чертами лица, искренностью своей веселости и тѣмъ сразу замѣтнымъ великосвѣтскимъ навыкомъ вращаться среди людей, который придаетъ особенный тонъ самой небрежной и нецеремонной простотѣ обращенія. Елатомскій, напротивъ, замѣтилъ, что она пополнѣла, что щеки ея, вѣроятно, съ дороги, утратили прежнюю интересную блѣдность, и что вся она стала похожа на тридцати-лѣтнюю барыню, тогда какъ прежде ему и въ голову не приходило соображать лѣта ея.

— Ты поздоровѣла, сестра,—сказалъ Елатомскій.

Бавинъ покосился на него и, опуская чубукъ, извинился, что куритъ.

— Э! Отбросьте, прошу васъ, всякія ненужныя церемоніи. Я сама курю пахитосы и къ табачному дыму такъ привыкла, что мнѣ легче говорится и думается, когда всѣ курятъ.

Елатомскій какъ будто не зналъ, что̀ ему говорить. И будь это не Эвина, а другая, непремѣнно послѣдовало бы то неловкое молчаніе, которое такъ свойственно первому свиданію послѣ долгой разлуки. Но Эвина сразу завязала разговоръ и стала занимательной даже для строгаго и молчаливаго Бавина. Она сѣла и стала перебирать Елатомскому ихъ общихъ московскихъ знакомыхъ. Это былъ цѣлый рядъ краткихъ характеристикъ, тонкихъ саркастическихъ намековъ и не менѣе тонкихъ сожалѣній о томъ, какъ люди скоро мѣняются и мельчаютъ, какъ скоро они изнашиваютъ свои убѣжденія, сбрасываютъ ихъ, какъ платье, которое сшито не по ихъ мѣркѣ, и остаются въ своемъ натуральномъ видѣ. И этотъ натуральный видъ, говорила она, иногда хуже, иногда лучше. Хуже, когда въ натуральномъ видѣ оказывается скотина, лучше—когда оказывается просто добрый малый, неспособный на̀-долго замаскировать себя. Съ общихъ знакомыхъ разговоръ перешелъ на деревенскія воспоминанія.

— А помнишь, Нина,—сказалъ Елатомскій,—какъ мы неудачно боролись съ крѣпостнымъ правомъ, какъ мы освободили одну рабыню, и что̀ изъ этого вышло.

— Ахъ, да, какъ не помнить!

Елатомскому хотѣлось казаться веселѣе, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ.

— Вообрази,—обратился онъ къ Бавину,—разъ идемъ мы по деревнѣ (я тогда гостилъ вотъ у нея въ деревнѣ), идемъ и видимъ крестьянскую дѣвку—рябую, приземистую, которая черезъ силу несетъ на плечѣ большущее, преболь-

шущее бревно. Вся согнулась, плачетъ и на что-то жалуется. Вотъ, мы,—я и мой другъ Игнатьевъ, тотчасъ же къ ней подлетѣли, положили бревно къ себѣ на плечи и спросили ее, куда, голубушка, намъ нести его. Дѣвка привела насъ на поповскій дворъ. Мы свалили бревно и приступили къ попу, который вышелъ на крылечко. Ну вотъ—приступили мы къ попу съ допросами:—что-де это за женщина, которую онъ заставляетъ бревна таскать. Священникъ тотчасъ же повѣдалъ намъ, что вольно-же ей бревна таскать, что она помѣщичья, сирота, зовутъ ее Маврой, и что вотъ уже третій годъ она живетъ у него на хлѣбахъ въ услуженіи. Мы,—смѣшно вспомнить—мы прочли ему проповѣдь о томъ, что всѣ люди братья и что заставлять ихъ не по силамъ работать—грѣхъ. Попъ сталъ смотрѣть на насъ, какъ на какихъ-то отчаянныхъ, и только хлопалъ глазами. Нина Александровна узнала, что эта Мавра принадлежитъ ея матери, и уговорила свою мать дать ей вольную. Потомъ, помнишь Нина, ты сама поѣхала въ Москву и привезла гербовую бумагу, засвидѣтельствованную, какъ слѣдуетъ, подписями и штемпелями. Это была вольная. Какъ мы ей обрадовались—ты представить не можешь. Торжественно, я и мой товарищъ, оба еще студенты, понесли эту бумагу къ священнику въ избу и попросили его кликнуть Мавру.

Мавра явилась. Мы вручили ей вольную, и стали ей объяснять, что она теперь совершенно свободна,—можетъ наниматься и служить у кого ей угодно, и выходить замужъ также за кого ей угодно. Можешь же вообразить наше изумленье: Мавра не только не взяла бумаги, — стала отчаянно отмахиваться, даже заревѣла: «ай, не надо! не надо! Ай, не хочу, не хочу! не хочу!!»

Священникъ краснѣлъ, потѣлъ и скомканнымъ носовымъ платкомъ теръ себѣ лобъ, виски и переносицу, — наконецъ, просіялъ, хлопнулъ обѣими руками себя по ко-

лѣнямъ и сказалъ намъ укоризненно-внушительнымъ голосомъ: «ну, вотъ видите, господа, сами видите, худо ли ей у меня! А знаете ли, что она съ вашей вольной сдѣлаетъ? Она вотъ пойдетъ, да въ церкви и засунетъ ее куда-нибудь за образъ, — тѣмъ и покончитъ. Ну, не хнычь, не хнычь, голубушка. Бери свою вольную и ступай куда хочешь». Мавра въ ноги. «Ай, не хочу!—реветъ—не надо мнѣ вольной! Не хочу я замужъ—ай, не хочу! не хочу!»

— Да вѣдь это была идіотка, — смѣясь, замѣтила Нина.

— А чортъ ее зналъ: идіотка она или нѣтъ, тоже смѣясь, отозвался Елатомскій.

— А попробуйте-ка дать вольную народу, — и ты увидишь, станетъ ли онъ отъ нея отказываться, хотя и не доросъ еще до свободы.

— Съ чего ты это взяла, что не доросъ?—замѣтилъ Елатомскій.—Нѣчего намъ доростать до того, съ чѣмъ мы родимся!

«Неправда, не родимся мы свободными», подумалъ Бавинъ, но промолчалъ.

— А помнишь чудныя слова Жоржъ-Занда? — перебила Нина Елатомскаго:—«народъ — это великанъ-ребенокъ, который на берегу океана еще только пробуетъ шаги свои. Это—младенецъ, который еще только учится ходить».

Послѣднія фразы проговорила она по-французски.

— Знаю, сестра, что Жоржъ-Зандъ—это твое евангеліе. Ты чуть ли не знаешь его наизусть. Я не разъ дивился твоей памяти.

Бавинъ опять хотѣлъ что-то замѣтить, но только сдвинулъ брови и сталъ пощипывать свою бородку, причемъ нижняя губа его слегка оттопырилась.

Когда настали позднія сумерки, Аксёнъ принесъ са-

моваръ и поставилъ свѣчи. Бавинъ пересѣлъ къ столу и сталъ заваривать чай. Елатомскій наложилъ на одно блюдце варенья, нарѣзалъ лимона и спросилъ Нину—въ стаканъ или чашку наливать ей.

— Когда же я пила чай въ стаканѣ! Ахъ, Елатомскій, Елатомскій!—съ упрекомъ, покачавъ головой, сказала веселая гостья.

— Да, можетъ быть, ты теперь уже изъ стакановъ пьешь? Вѣдь вотъ, ты прежде не курила, а теперь куришь.

— Помилуй, я уже въ Москвѣ не разъ посылала тебя за «пахитосами»: или ты безпамятенъ, или разсѣянъ, по-прежнему. Но что̀ ты все это время дѣлалъ? Жилъ?

— Нѣтъ, прозябалъ!—отвѣчалъ Елатомскій, передавая ей чашку съ чаемъ.

— Сожалѣю, а все это оттого, что ты любишь размышлять. Эхъ, братъ, Елатомскій,—живи безъ оглядокъ, безъ сожалѣній иди къ смерти. Не щади себя, пожалуйста. Долголѣтіемъ вѣдь не купишь жизни, не узнаешь ея. Будешь жить одной головой,—прозѣваешь молодость.

И долго въ этомъ тонѣ говорила Нина, — говорила она какъ по писанному, рѣчи ея можно было записывать и, не поправляя, печатать. Явно, что начитанность помогала ея памяти, и что память помогала ея природному краснорѣчію.

Елатомскій только поглядывалъ на Бавина, какъ-бы мысленно говоря ему: «что̀, братъ, не говорилъ ли я тебѣ, что феноменъ.

Бавинъ долго молча слушалъ гостью, сгорбившись и изрѣдка отхлебывая изъ стакана чай—наконецъ, какъ-бы не вытерпѣлъ и заговорилъ. Съ Москвы Елатомскій не слыхалъ изъ устъ его такого энергическаго, такого неумолимаго голоса.

— Нѣтъ!—началъ Бавинъ, повернувшись на стулѣ всѣмъ своимъ туловищемъ (галстухъ у него развязался, и вспотѣвшій лобъ его лоснился).—Это проповѣдь эгоизма и личнаго счастья! Нѣтъ! единственная дорога для человѣка, для его вѣры, любви, дѣятельности, это—путь страданія и смерти. Жизнь въ духѣ разрѣшается мыслью, духъ въ жизни—любовью, а мысль и любовь есть страданіе. Только этой тернистой дорогой пойдемъ мы по слѣдамъ тѣхъ людей, которые запечатлѣли жизнь свою проповѣдью, любовью, страданіемъ, смертью.

Нина, раскрывъ изумленные глаза, стала слушать его съ напряженнымъ вниманіемъ. На лбу ея появилась морщинка, губы сжались. Въ нихъ появилось странное, почти боязливое выраженіе.

— Если,—продолжалъ Бавинъ, вытягивая свою длинную шею по направленію къ Эвиной, потряхивая взъерошившимися волосами и упирая ей въ лице мрачнымъ огнемъ загорѣвшіеся глаза свои,—если мы свернемъ съ этого пути, если мы пойдемъ путемъ обыкновенной жизни, т.-е. за поисками личнаго счастья, мы пойдемъ только за собою, —все себѣ принесемъ въ жертву и никуда не придемъ...

— Никуда не придемъ, — продолжалъ онъ, откашлянувъ,—потому что, гм! потому что, когда мы отъ себя идемъ, — мы къ себѣ придти не можемъ, развѣ только смерть приведетъ насъ насильственно къ тому, отъ чего отрекались мы всю жизнь, во имя личнаго счастья. Смерть—это высшій законъ нашего времени, она одна спасаетъ насъ отъ пошлости, вѣками въ насъ накопившейся. Быть пошлякомъ и быть счастливымъ на землѣ—одно и то же. Нѣтъ, побѣда жизни надъ смертью достигается только страданіемъ. Ваша жажда наслажденія и все то, что называете вы блаженствомъ въ жизни,—въ сущности, бо-

лѣе ничего, какъ перевѣсъ животнаго надъ разумомъ, конца надъ началомъ, явленія надъ духомъ.

Долго въ этомъ тонѣ, все болѣе и болѣе горячась и увлекаясь, говорилъ Бавинъ.

Все непонятное въ рѣчахъ его чуть ли еще не болѣе вліяло на Нину, чѣмъ понятное. Елатомскій же, очевидно, не расположенъ былъ прицѣпляться къ словамъ или возражать своему пріятелю. Повидимому, онъ точно также гордился краснорѣчіемъ Бавина, какъ тому назадъ за полчаса гордился краснорѣчіемъ Нины. Онъ ждалъ, что̀ скажетъ на это Нина.

— Я вижу,—сказала Нина Бавину,—что все, что̀ вы говорите, есть ваше горячее убѣжденіе. Преклоняюсь передъ этою силой, но предоставьте мнѣ право соглашаться съ вами или несоглашаться. Я еще не въ силахъ отвѣчать вамъ. Все, что̀ вы говорили, можетъ быть даже слишкомъ для меня высоко, но надѣюсь, Адріанъ Владиміровичъ, мы будемъ видѣться, будемъ говорить,—и вы, новый, дорогой братъ мой (позвольте мнѣ и васъ называть своимъ братомъ), можетъ быть, убѣдите и меня въ томъ, въ чемъ сами убѣждены. Въ одномъ только вы меня не убѣдите, — добавила она серьезнымъ тономъ, слегка сморщивъ лобъ и въ то же время любуясь оригинальнымъ лицомъ Бавина и густотою красиво-взъерошенныхъ волосъ его.

— Въ чемъ это?— спросилъ Бавинъ уже надтреснувшимъ голосомъ.

— Вы не убѣдите меня въ томъ, что̀ ведетъ къ аскетизму, иначе сказать,—къ самоумерщвленію. Каждый человѣкъ имѣетъ такое же право на наслажденье, какъ и на мысль.

— Да, Нина Александровна (онъ еще былъ далекъ отъ того, чтобъ назвать ее сестрой), каждый человѣкъ имѣетъ право наслаждаться. Но вы не скажете, что я

имѣю право на мысль. Я мыслю потому, что я человѣкъ: это не право, — это сущность человѣческаго духа. Вамъ никто не далъ права имѣть такіе-то глаза, такой-то носъ, а они есть у васъ. По какому праву вы женщина? То же самое и мысль человѣческая: ее никто вамъ не дастъ и не можетъ дать, если вы сами не мыслите и неспособны мыслить.

Такъ продолжался разговоръ.

Къ концу вечера, Бавинъ, своей діалектикой, взялъ верхъ надъ Эвиной, и это замѣтно польстило его самолюбію.

Когда, около 12-ти часовъ ночи, она стала прощаться и въ передней надѣвала калоши и легонькій атласный капоръ свой, Бавинъ, къ немалому изумленію Елатомскаго, самъ вызвался проводить ее до гостинницы.

X.

На третій день утромъ, выходя со двора, Елатомскій мимоходомъ спросилъ Бавина:

— Ну, что̀? какъ тебѣ понравилась Нина?

— Да такъ себѣ: кажется, не дура, — отвѣчалъ Бавинъ.

«Только-то»! подумалъ Елатомскій, и чему-то усмѣхнулся.

Съ утра солнце свѣтило до такой степени по-лѣтнему, было такъ тепло и тихо, что Елатомскій вышелъ со двора. Онъ чувствовалъ, что микстура и горчишники помогли ему, и что онъ будетъ глупъ, если не пойдетъ подышать свѣжимъ воздухомъ.

Въ 11 часовъ онъ уже сидѣлъ въ гостинницѣ «Керчь», на маленькомъ деревянномъ балкончикѣ 13-го №, куда впустила его горничная, закурилъ сигару и дожидался Эвиной.

Съ 8-ми часовъ утра ея не было дома. Съ балкончика, изъ-за черепичныхъ и плоскихъ кровель, видѣнъ былъ темносиній кусочекъ моря. На этомъ кусочкѣ сверкала бѣлая точка—или, посеребренный солнцемъ, далекій парусъ рыболовнаго судна. На дворахъ горланили пѣтухи и кудахтали куры. На заднихъ галерейкахъ домовъ появлялись жиды въ ермолкахъ. Жидовки развѣшивали перины и пестрыя тряпки. Слышно было какъ кто-то, гдѣ-то, выколачивалъ пыль. Изъ нижняго этажа, по временамъ, доносился запахъ чего-то паленаго. Въ нумерѣ на полу стоялъ сундукъ, окованный желѣзомъ,—очевидно, съ дамскими платьями. На диванѣ лежали узлы и подушки. Сундукъ былъ запертъ, узлы перевязаны. Одинъ чемоданъ былъ раскрытъ: въ немъ былъ страшный безпорядокъ,—все въ немъ было смято и скомкано. Изъ-подъ грязнаго воротничка выглядывалъ какой-то сафьянный футляръ. Книги и связки писемъ были сунуты гдѣ попало. Горничная, съ пухлымъ, болѣзненнымъ лицомъ, маленькими калмыцкими глазками и нечесаная, сидѣла въ уголкѣ и торопилась пришивать какую-то пуговку.

— Скоро ли придетъ Нина Александровна? — спросилъ ее, не сходя съ балкона, Елатомскій.

— А Богъ ее знаетъ!—отвѣчала она подъ носъ.

— Что̀, вы крѣпостная или вольная?

«Вамъ это зачѣмъ нужно знать?» выразили недовольные глаза ея.

— Нѣтъ, не вольная,—отвѣчала она, какъ-бы нехотя, и еще ниже наклонила свою нечесаную голову.

Черезъ полчаса въ комнату вошла Эвина и, еще не замѣтивъ Елатомскаго, спросила: «никто не приходилъ?»

Горничная привстала и указала ей на балкончикъ.

— То-то я слышу запахъ сигары... это ты, милый Елатомскій! Очень рада, ну, какъ твое здоровье?—Она поглядѣла на него въ лорнетъ и протянула руку. —А я

сейчасъ нашла себѣ квартирку, недалеко отъ васъ, стòитъ только завернуть за уголъ... Нынче переѣду.

— Здѣсь, на балконѣ, тоже не дурно,—сказалъ Елатомскій, подвигая стулъ и усаживаясь противъ Эвиной.

— Здѣсь такая гадость на этомъ подворьѣ! запахъ отвратительный, да еще клоповъ не оберешься. Посмотри, какъ искусали,—и она, откинувъ широкій рукавъ, показала ему бѣлую стройную руку.

На эту стройную руку Елатомскій поглядѣлъ съ убійственнымъ равнодушіемъ.

— Значитъ, рѣшено: ты переѣзжаешь, сестра!—сказалъ онъ.—То-то у тебя узлы и такой безпорядокъ.

— Сама я этого безпорядка терпѣть не могу. Вотъ переѣду, какъ-нибудь разберусь, устроюсь. Ну, чтò твой сожитель? Какой онъ милый! И какая голова! Какая ширина и глубина мысли и кàкъ мнѣ почему-то жаль его,—кàкъ бы хотѣлось покороче сойтись съ нимъ. Надѣюсь, что ты не вздумаешь меня ревновать.

— Ревновать?—помилуй! Я даже буду радъ, если ты влюбишь въ себя этого буку...

— Нѣтъ,—сказала она, помолчавъ:—влюбиться—это было бы для него слишкомъ глупо.

— А для меня не глупо? спросилъ Елатомскій.

Эвина расхохоталась.

— Напротивъ, это бы очень и очень шло къ тебѣ.

Въ это время горничная передвинула чемоданъ. Нина поморщилась и велѣла ей на хозяйской плитѣ заварить кофе и сходить въ лавочку за сливками.

Горничная посмотрѣла на нее подозрительно, и, выходя въ корридоръ, плотно притворила дверь.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ, твой бука никого никогда не любилъ и не былъ любимъ? — спросила Эвина.

— Я увѣренъ, что никогда; мало того,—это какой-то

Іосифъ цѣломудренный. Разъ я, шутя, говорю ему: «а что̀, Адріанъ, что̀ если вдругъ я вздумаю придти домой съ какой-нибудь мамзелью?»—«Что̀-о!—зарычалъ онъ, какъ звѣрь;—да я, говоритъ, изъ окошка ее вышвырну!»

— Вздоръ! никогда бы не вышвырнулъ!

— Непремѣнно бы вышвырнулъ—такой человѣкъ!.. Ты первая, которая посѣтила насъ, и я, признаюсь тебѣ, не мало удивился, что онъ вызвался ночью проводить тебя. Какъ это онъ съ тобой любезничалъ?

— Да никакъ не любезничалъ. Развѣ бука умѣетъ любезничать! Онъ только отыскивалъ для меня тропинки, указывалъ куда идти, такъ какъ я, по своей близорукости, непремѣнно бы забрела въ лужу, отогналъ отъ меня собаку, которая, ни съ того, ни съ сего, съ лаемъ пристала къ намъ... Какое, однако же, мизерное у васъ въ Одессѣ освѣщеніе! Фонари едва горятъ, да и то изъ 5—6 фонарей одинъ чуть свѣтится. Страшно по ночамъ одной ходить, особливо переулками. Чего смотритъ ваша одесская полиція?..

— Полиція-то и хлопочетъ о томъ, чтобъ не всѣ фонари горѣли. Впрочемъ, нѣтъ худа безъ добра: больше таинственности, и если я вздумаю кого-нибудь обокрасть...

— А если тебя обокрадутъ?

— Живой не дамся.

— А если убьютъ?

— Ты меня на свой счетъ похоронишь и скажешь надъ моей могилой надгробный спичъ: человѣкъ онъ былъ! скажешь,—намъ не найти такого человѣка!

Такъ они болтали и смѣялись, сидя другъ противъ друга и дожидаясь кофе.

Между этой болтовней и разговоромъ, который вели они третьяго дня вечеромъ, была такая же разница, какъ между домашнимъ халатомъ и плащомъ съ живописными

складками. Очевидно, что Елатомскій и Эвина, когда были вдвоемъ, не чинились и не ломали головы. Елатомскій, какъ самолюбивый и самоувѣренный юноша, воображалъ, что—заговори онъ съ Эвиной языкомъ страсти, пожелай воспользоваться пріятнымъ tête-àtête или минутой женской слабости—Нина отдалась бы ему. И эта-то воображаемая легкость побѣды была одною изъ причинъ его осторожности и невольнаго къ ней равнодушія. Я говорю: одною изъ причинъ, потому что все-таки главная изъ нихъ была та, что Нина *не вся* ему нравилась. Въ ней нравилось ему кое-что, но не все; нравился ея чистый, правильный профиль, ея мягкій голосъ, ея заразительный смѣхъ, ея остроуміе; не нравился высокій ростъ, тяжелая походка, отсутствіе граціи и сухія, горячія губы, когда она задумывалась или была не въ духѣ. Онъ былъ убѣжденъ, что у нея большія ноги, хотя ни разу на этотъ предметъ не обратилъ вниманія. Что касается Эвиной, то она была въ глубинѣ души своей убѣждена, что этотъ юноша, съ перваго же дня знакомства, неравнодушенъ къ ней, что стóитъ ей захотѣть — и онъ будетъ у ногъ ея. Мало того, ей казалось, что, зная ее, видя ее и говоря съ ней, непростительно думать или мечтать о другихъ женщинахъ. Тотъ пьедесталъ, на который поставили ее *братья*, давно уже вскружилъ ей немного голову.

Напившись кофе, Елатомскій пошелъ на бульваръ, наблюдать въ какомъ положеніи море. Для чего онъ такъ наблюдалъ за очисткой рейда, онъ и самъ не зналъ.

Къ вечеру того же дня, Эвина изъ гостинницы «Керчь» переѣхала на Соборную улицу, въ домъ мѣщанки Жуковой.

Во вторникъ утромъ, Елатомскій точно также, какъ когда-то въ Москвѣ, помогалъ ей раскладывать вещи и приколачивалъ гвозди для юбокъ въ хозяйскомъ шка-

пу, въ которомъ недоставало вѣшалокъ. Но на этотъ разъ Эвина нѣсколько иначе вела себя, она капризничала и совершенно по-барски ворчала на неповоротливость своей горничной.

Елатомскій замѣтилъ это и не вытерпѣлъ, сказалъ ей шутливымъ тономъ:

— Ну, ну, сестра, не капризничай!

Нина тотчасъ же начала шутить и смѣяться.

— Въ сущности, все вздоръ,—сказала она, доставая сѣрную спичку и закуривая пахитоску, — но не я же устроила эту жизнь, которая вся состоитъ изъ мелочей и вздоровъ. Я нынче не въ духѣ; даже ты меня бѣсишь.

— Чѣмъ же я бѣшу тебя?

Эвина захохотала.

— Посмотри, какой у тебя стоптанный каблукъ.

— А чѣмъ я виноватъ, что въ Одессѣ такіе скверные сапожники. Мѣсяцъ не проносишь сапоговъ, или истопчешь, или прорвешь

— Это оттого, братъ, что ты, должно быть, очень много шляешься.

— А вотъ придетъ лѣто, еще и не такъ буду шляться.

— Ты, вѣроятно, ухаживаешь за какой-нибудь одесской куколкой?

— Ну, ужъ это мое дѣло!..

— Пожалуйста, ты мнѣ покажи ее.

— О! она этого не стóитъ, — отвѣчалъ онъ съ какимъ-то оттѣнкомъ ироніи.

— Если она стóитъ твоей любви, то...

— Это не мѣшаетъ ей быть куклой, перебилъ Елатомскій.

«Что-нибудь да есть» — подумала про себя Нина и стала копаться въ своемъ чемоданѣ, вытаскивая оттуда книги и пачки писемъ...

— Ну, что̀ мадамъ Эвина?—спрашивалъ Бавинъ Елатомскаго, когда они сѣли обѣдать.

— Поселилась отъ насъ въ двухъ шагахъ. Пойдемъ къ ней въ четвергъ вечеромъ, она очень зоветъ тебя.

— Пожалуй, пойдемъ,—отвѣчалъ Бавинъ.

— Ты, кажется, Адріанъ, произвелъ на нее сильное впечатлѣніе.

— Мало ли что̀ тебѣ кажется!

— Сознайся, однако же, что она женщина недюжинная.

— Я еще слишкомъ мало ее знаю, чтобъ судить о ней.

— Я, напротивъ, съ перваго взгляда отличаю дюжинныхъ отъ недюжинныхъ.

— Ну, положимъ, она недюжинная, что-жъ изъ этого?—спросилъ Бавинъ и исподлобья поглядѣлъ на него вопросительно.

— Да ничего,—отвѣчалъ Елатомскій, поднялъ брови и также посмотрѣлъ на него вопросительно.

XI.

Черезъ пять минутъ они уже говорили о другомъ и, казалось, ни одинъ изъ нихъ не думалъ о г-жѣ Эвиной...

Прошелъ великій постъ, наступила святая, нечего и говорить, что о льдинахъ на морѣ уже и въ поминѣ не было. Елатомскій каждое утро и каждый вечеръ могъ любоваться, какъ на далекой чертѣ этого моря выростали корабельные вымпела и, приближаясь къ берегу, казались неподвижными; какъ на свѣтломъ горизонтѣ чернѣлись полосы дыма, и пароходы, съ потрясающимъ гуломъ выпуская пары свои, медленно подвигались къ каменному молу одесской пристани, или, поднимая пронзи-

тельно-жалобный свистъ, прощались съ ней и уходили въ открытое море.

Одесса давно уже высохла и, по временамъ, страшно пылила. Иногда, вся позлащенная солнцемъ, она благоухала ароматомъ распускающихся бѣлыхъ акацій. Елатомскій любилъ этотъ запахъ, но жаловался, что у него отъ этого запаха голова болитъ. Городъ сталъ замѣтно оживленнѣе. На балконы выбѣгали дѣти. Русскія торговки, купцы, мѣщане, мѣщанки, лакеи, горничныя еще христосовались, встрѣчаясь на улицахъ. Къ англійскому магазину то-и-дѣло подъѣзжали извощичьи колясочки. Греки, въ національныхъ костюмахъ, мелькали на солнцѣ своими фесками. Итальянскій говоръ слышался у театральнаго подъѣзда, передъ выставленными на двухъ языкахъ афишами, а покойный князь Шаликовъ (литературная знаменитость временъ Карамзина и Воейкова), уже дряхлый старичокъ, съ мертвеннымъ цвѣтомъ лица, черными, точно намазанными бровями и большимъ армянскимъ носомъ, уже писалъ мадригалы и въ розовыхъ конвертикахъ подавалъ ихъ въ окна одесскимъ красавицамъ, а потомъ садился на какую-нибудь скамеечку, около фруктовыхъ лавокъ, и, упирая въ камни тротуара трость свою, съ серебрянымъ, вытертымъ набалдашникомъ, грѣлъ ноги на солнцѣ и тихо дремалъ подъ гулъ шаговъ и катящихся экипажей. По воскресеньямъ, въ такъ-называемомъ Пале-Роялѣ, играла полковая музыка. По четвергамъ та же музыка играла на бульварѣ, передъ памятникомъ дюка де Ришелье.

На Дерибасовской улицѣ открылся новый книжный магазинъ Тотти, съ читальной комнатой. Елатомскій и Эвина чаще всего встрѣчались въ этой читальнѣ.

Елатомскій жаловался иногда на недостатокъ нужныхъ ему книгъ, и Эвина по цѣлымъ часамъ говорила съ нимъ о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе.

Она, очевидно, была довольна имъ; она знала, что онъ сталъ учиться по-англійски у нѣкоего мистера Мельвиля, члена лондонскаго евангелическаго общества, который прибылъ въ Одессу съ тѣмъ, чтобы обращать ко Христу сыновъ Израиля. Мельвиль училъ его даромъ и, разумѣется, началъ съ того, что заставилъ его читать: «In the begining was the word». Эвина знала также, что, въ свободные часы, Елатомскій ходитъ въ домъ къ одному пожилому учителю, человѣку рѣдкихъ качествъ, и помогаетъ ему приводить въ порядокъ библіотеку одного магната, покинутую ему на руки. Эвина видѣла въ этомъ жажду дѣятельности и говорила Елатомскому:

— Слушай, другъ, ты самъ видишь, что наше время не отвѣчаетъ намъ ни однимъ словомъ, ни одной мыслію, ни однимъ стремленіемъ. Все сдѣлалось вопросомъ и ждетъ отвѣта. Сердце, откуда бы и должна была выбиваться наружу живая сила, загромождено, подавлено заботами практической жизни, преданіе стало обветшалой мантіей, давно уже изорванной въ клочки, на распутьяхъ жизни, и пока въ самихъ себѣ не найдемъ мы содержанія, все живое будетъ для насъ однимъ вопросомъ—и т. д.

Какое отношеніе въ дѣятельности Елатомскаго, къ его англійскому языку или библіотекѣ, имѣли всѣ эти рѣчи—Богъ знаетъ. Самъ Елатомскій не задавалъ Эвиной такого вопроса и снисходительно внималъ рѣчамъ ея. Онъ видѣлъ, какое дѣйствіе производили неопредѣленныя рѣчи ея на молодыхъ дѣвицъ и мечтательныхъ юношей. Онъ чувствовалъ, что иногда въ ея голосѣ, въ самой манерѣ говорить, есть что-то въ даль зовущее, что-то такое, что̀ подталкиваетъ на какія-то неясныя, поэтическія стремленія, и, въ то же время, заставляетъ ихъ анализировать. Онъ самъ, годъ тому назадъ, испыталъ на себѣ ея вліяніе, и такъ какъ въ обществѣ нигдѣ не встрѣчалъ другого такого образца, такой оригинально-неза-

висимой и краснорѣчивой женщины,—онъ цѣнилъ ее и молчалъ даже въ такія минуты, когда ему хотѣлось сказать ей:

— Ахъ, Нина! или я поглупѣлъ, или я выросъ, но фразы—вѣчно однѣ и тѣ же, какъ бы ни были онѣ высоко настроены, уже перестаютъ на меня дѣйствовать.

Вотъ почему, гуляя съ ней и ведя ее подъ руку, онъ иногда шелъ, повѣся носъ, и думалъ совершенно о другомъ, даже не слыхалъ иногда, о чемъ она говоритъ ему.

А онъ таки довольно часто появлялся съ Эвиной на одесскихъ улицахъ, и вотъ въ одесскомъ обществѣ распространились слухи, что изъ Москвы пріѣхала къ Елатомскому его метресса—красивая, свѣтская дама, и что эта особа не совсѣмъ обыкновенная женщина. Имя ея, по милости преувеличенныхъ сплетень, скоро стало извѣстнымъ даже въ аристократическихъ, княжескихъ салонахъ. Свѣтскія дамы вовсе не желали знакомиться съ madame Evine, но хотѣли ее видѣть и перешептывались съ своими кавалерами всякій разъ, когда встрѣчались съ ней. Одесскій полицмейстеръ, еще молодой человѣкъ, тоже заинтересовался Эвиной: онъ уже узналъ подъ рукой, что она въ разводѣ съ мужемъ, и, при случаѣ, самъ былъ не прочь поступить въ число ея поклонниковъ.

Только Бавину ни разу не пришла въ голову грязная мысль. Ему казалось, что онъ понялъ Нину, и находилъ какое-то ему самому неясное наслажденіе спорить съ ней или поучать ее; онъ уже называлъ ее *сестрой* и тоже изрѣдка по вечерамъ гулялъ съ ней по одесскимъ улицамъ.

Елатомскій уже не могъ и выдти безъ того, чтобъ не встрѣтить какого-нибудь знакомаго, но тѣ немногіе, съ которыми сошелся онъ по-пріятельски, уже были на Кавказѣ и только изрѣдка съ нимъ переписывались. Въ

тонѣ писемъ ихъ было что-то восторженное,—до такой степени природа, новый край и новая дѣятельность опьяняли ихъ.

«Ради Бога,—отвѣчалъ имъ Елатомскій,—перетащите меня туда, гдѣ вы... гдѣ борьба, гдѣ закипаетъ новая жизнь, и гдѣ, какъ видно, еще не умерла поэзія. Если не будетъ мѣста въ Тифлисѣ, я поступлю въ юнкера, и, надѣюсь, не буду трусомъ. Вашъ семидесятилѣтній старецъ, голодающій подъ свистомъ пуль и не слѣзающій по цѣлымъ суткамъ съ лошади, просто восторгъ! поклонитесь ему отъ меня. Я смѣло пишу къ вамъ: поклонитесь! потому что увѣренъ,—вы не сдѣлаете этой глупости», и т. д. и т. д.

Очевидно, Кавказъ казался ему издали обѣтованной землей, и онъ, по временамъ, стремился въ этотъ край всѣми силами души своей. Но гдѣ молодость, тамъ и поэзія, и въ прозаической Одессѣ стала она мелькать ему въ глазахъ семнадцати-лѣтней дѣвушки.

Никому еще, даже нареченной сестрѣ своей и другу Нинѣ, не говорилъ онъ ни слова о томъ, что обзавелся новымъ знакомствомъ—однимъ семейнымъ домикомъ, гдѣ его встрѣчаютъ, какъ друга, и куда по утрамъ, съ урока, онъ заходитъ иногда кофе пить! Онъ зналъ, что женская дружба такъ же ревнива, какъ и любовь, и что Нина не обойдется безъ того, чтобъ не уколоть его или, что еще хуже, вообразитъ, что его дурачатъ, и что онъ непремѣнно женится.

Зоя была низенькаго роста, тоненькая и при этомъ очень стройная дѣвушка. Издали, она могла бы показаться ребенкомъ, но далеко не ребяческое у ней было личико; оно и по цвѣту, и по влажному блеску черныхъ глазъ напоминало собою знойный югъ, такъ-сказать, какую-то Андалузію. Темно-блѣдное и продолговатое личико это было такъ же миніатюрно, какъ и вся она. Съ дѣтства

она была мечтательна и домечталась до такой нервной впечатлительности, что, если бы вы случайно дотронулись до руки ея, она бы вздрогнула. Каждое воскресенье, съ мамашей и сестрами, она ходила къ обѣднѣ, одѣвалась просто, но знала, что она хорошенькая, и исподтишка умѣла кокетничалъ.

Въ послѣднее время ей никто такъ не нравился, какъ Елатомскій. Онъ одинъ былъ похожъ на романическаго героя, а не на чиновника. Она начала съ нимъ кокетничать и увлеклась до страсти, онъ сталъ отвѣчать ей такимъ же кокетствомъ и въ то же время слегка надъ ней подтрунивалъ.

Елатомскій скоро понялъ, что она плохо учена и дурно воспитана, но она была хорошенькая, у ней былъ такой правильный, почти классическій профиль! и она была влюблена въ него! Это льстило его юношескому самолюбію, давало какую-то пищу его голодающему сердцу, чѣмъ-то болѣе реальнымъ, нежели мечта, наполняло его, такъ-сказать, *безпредметное* существованіе. Иногда ему думалось, что онъ и самъ неравнодушенъ къ ней, но, когда ему случалось по-нѣскольку дней не бывать у нихъ, образъ ея вывѣтривался, и для того, чтобъ подновить его, онъ, въ минуты хандры, самъ шелъ туда, гдѣ она, и не безъ нѣкоторой отрады ловилъ въ глазахъ ея то неуловимое мерцаніе любви, которое никакими словами передать нѣтъ возможности.

Нерѣдко въ душу Елатомскаго такъ и врывались слова Печорина: «а вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся душой—она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется на встрѣчу восходящаго солнца. Его надо сорвать въ эту минуту, и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ!» Слова эти не мало въ то время причинили зла, не мало, ради этой поэтической фразы.

пострадало бѣдныхъ, довѣрчиво-влюбленныхъ дѣвушекъ. Они не дѣйствовали только на юношей такого закала, какимъ былъ Бавинъ, но Бавиныхъ было немного.

Бавины были подъ вліяніемъ тогдашней нѣмецкой философіи, Елатомскіе—подъ вліяніемъ тогдашней французской и русской передовой литературы.

«А вѣдь есть необъятное наслажденіе!»... думалъ Елатомскій, и, не будь въ немъ самомъ горячаго и добраго сердца, онъ поддался бы искушенію, и бѣдная Зоя была бы жертвою сѣтей его.

Одно плачевное письмо изъ Москвы, о смерти и похоронахъ ему знакомой дѣвушки (тоже обманутой), сильно потрясло его. «Нѣтъ», думалъ онъ, «буду остороженъ. Каждое слово съ ней буду про себя обдумывать. Я уже отдалъ дань своему времени, уѣхалъ изъ Москвы не безъ угрызеній совѣсти. Я долженъ буду или жениться, или»...

Но мысль о женитьбѣ морозомъ подрала его по кожѣ. Онъ безъ нѣкотораго ужаса не могъ и вообразить себѣ такого великаго несчастія.

XII.

Папенька Зои, статскій совѣтникъ, съ Анною на шеѣ, Трофимъ Евлампіевичъ Меркуличъ, былъ человѣкъ замѣчательный. Такихъ замѣчательныхъ людей въ Одессѣ было не мало. Онъ пріѣхалъ въ этотъ городъ, также какъ и Елатомскій, съ пустымъ карманомъ, но, будучи діаметрально ему противоположенъ, онъ нажилъ себѣ домикъ, сколотилъ капиталъ, тысячъ въ 60, и еще думалъ: «вотъ, коли Господь Богъ да продлитъ вѣку, еще тысченокъ тридцать заработаю». Онъ началъ съ того, что сошелся съ евреями, сталъ имъ помогать, потомъ пронюхалъ кое-какія коммерческія тайны ихъ, и поступилъ

въ полицію. Въ полиціи, онъ оказался нужнымъ для нихъ человѣкомъ, и богатые купцы изъ евреевъ, боясь его нескромности, въ свою очередь стали во всемъ помогать ему. Онь перешелъ въ казенную палату и сталъ заниматься подрядами; женился на какой-то гречанкѣ и взялъ приданое. Мѣдный лобъ, юркость и взятки помогли ему.

Въ то время, когда познакомился съ нимъ Елатомскій, Трофимъ Евлампіевичъ глядѣлъ уже очень пожилымъ человѣкомъ. Ему было далеко за пятый десятокъ, хотя онъ казался моложе лѣтъ своихъ. У него были довольно рѣзкія черты лица; въ нихъ было что-то ястребиное, смягченное полнотой, доброжелательной улыбкой и желаніемъ казаться на распашку. Низенькій, плотненькій, черненькій, съ круглой стриженой головой и круглымъ животикомъ, онъ иногда казался балагуромъ— однимъ изъ самыхъ наивныхъ. Елатомскій не зналъ его прошлой жизни и смотрѣлъ на Меркулича, какъ на образчикъ практическаго дѣльца, какъ на газетную статью, изъ которой онъ почерпалъ все, что̀ касалось одесской торговли, и до ея городского управленія. Кромѣ того, Меркуличъ любилъ вдаваться въ политику, даже предрекалъ войну съ англичанами, и притомъ либеральничалъ. Елатомскій не чуждался его общества, т. е. на бульварѣ садился иногда на одну съ нимъ скамейку, и, когда встрѣчалъ его на улицѣ, какъ-то машинально останавливалъ его вопросомъ: «Какъ дѣла?» Этотъ вопросъ какъ нельзя лучше шелъ къ озабоченному лицу Меркулича. «А вотъ какія дѣла!» начиналъ онъ, и выкладывалъ передъ Елатомскимъ, такъ-сказать, всю подноготную. Елатомскому было рѣшительно все равно, кто наживаетъ милліоны и кто на-дняхъ всенепремѣннѣйшимъ образомъ обанкрутится, или какія цѣны хлѣбовъ на европейскихъ рынкахъ; но содержаніе картинъ, рисуемыхъ краснорѣчіемъ Меркулича, казалось ему отвратительнымъ, и тѣмъ болѣе

отвратительнымъ, чѣмъ колоритнѣе выходили онѣ изъ устъ его. А Меркуличъ вертѣлъ указательнымъ пальцемъ, поводя имъ то на-право, то на-лѣво, и, слегка прищуривая то правый глазъ, то лѣвый, неумолкаемо, горячо, иногда съ чувствомъ негодованія, говорилъ ему о *злобѣ дня*, или о томъ, какіе фокусы дѣлаются въ Одессѣ.

— А ко мнѣ?—иногда восклицалъ старикъ, поймавши Елатомскаго на улицѣ.—Ко мнѣ! Борщу отвѣдать. Пооолноте чиниться, милый человѣкъ, что за церемоніи! (Меркуличъ, вмѣсто церемоніи, всегда говорилъ «*черемонія*», и всегда въ разговорѣ налегалъ на букву *о*, хотя и не очень). Вотъ я послѣ обѣда завалюсь всхрапнуть, а вы съ моими дочурками побалагурьте, жена моя также будетъ очень рада, и т. д.

Елатомскій предпочиталъ заходить въ семейство Меркулича утромъ, послѣ урока, такъ какъ проходилъ мимо ихъ по Новогреческой улицѣ, или вечеромъ, когда на ихъ столѣ шипѣлъ самоваръ и выспавшійся Меркуличъ приходилъ занимать его безконечными анекдотами, или разсказывалъ о томъ, какъ его надували, какіе взяточники существуютъ на свѣтѣ, и какъ онъ проникаетъ въ самыя затаенныя козни злонамѣренныхъ враговъ своихъ.

Трофимъ Евлампіевичъ вообще любилъ приличныхъ молодыхъ людей, въ особенности не глупыхъ (на это у него была смекалка), ихъ неопытность или непрактичность приводила его въ умиленіе. Ему, какъ чадолюбивому и предусмотрительному родителю, очень хотѣлось видѣть Зою замужемъ. «Дѣвушка должна выходить на *зарѣ дней*», думалъ онъ, такъ какъ въ прочность женской красоты онъ также мало вѣрилъ, какъ и въ поэзію. Къ тому же, у него были еще двѣ дочери. Елатомскій почему-то ему очень нравился, и онъ всячески старался

обворожить его. Чортъ возьми, думалъ Трофимъ Евлампіевичъ, должно-быть, онъ изъ хорошей фамиліи. У нашихъ вельможъ въ ходу—то на обѣды, то на вечера зовутъ, умѣетъ, шельма, связи заводить, далеко пойдетъ. Можетъ быть, и глупъ, но говоритъ не глупо. Разъ, воротившись домой, онъ спросилъ Зою:

— А что этого Елатомскаго не видать? Былъ, что-ли?

— Нѣтъ, не былъ.

— Давно ужъ онъ что-то не былъ!

— Стащи-ка, матушка, сапоги!.. да скажи сестрамъ, чтобъ не шумѣли. А Елатомскій пусть не ходитъ, или пусть посватается, и, коли человѣкъ безкорыстный, я ему отдамъ тебя... ей-Богу отдамъ—не бѣда, коли не богатъ, была бы своя голова на плечахъ. Я его научу, какъ ему деньгу добывать... Зоя! вели-ка, матушка, вотъ этотъ ставень притворить. Фу, жарко!.. А я бы ему указалъ дорожку: ужъ кого я возьму себѣ подъ крыло—не пропадетъ... не... не пропадетъ!

Такимъ ширококрылымъ орломъ воображалъ себя этотъ Меркуличъ.

Зоя подала ему халатъ, вышла и притворила ставень, потомъ вернулась и прилегла на диванчикъ, въ спальнѣ своей матери. Рѣчи отца несомнѣнно подѣйствовали на ея распаленное воображеніе. — Нейдетъ! — говорила она сама съ собой, шевеля своими мягко-очерченными, полураскрытыми губками.—Нейдетъ! нейдетъ и нейдетъ! Боже мой! неужели онъ меня не любитъ? Неужели!—И она скрестила свои худенькіе пальцы и съ какимъ-то судоржнымъ отчаяньемъ потрясла ими надъ головой своей.

Не одна Зоя по цѣлымъ днямъ дожидалась Елатомскаго. Мать ея, невысокая, худощавая женщина, лѣтъ сорока-пяти, каждое утро и каждый вечеръ поджидала его съ нетерпѣніемъ. Проходя по рынку, она никакъ не позабывала купить турецкихъ конфектъ или

кіевскаго варенья къ чаю, на случай, если онъ зайдетъ къ нимъ вечеромъ. Трудно себѣ представить, чтобъ женщина ея лѣтъ, болѣзненная, желтая, какъ сухой лимонъ, съ свинцовой тѣнью подъ глазами, съ впалой грудью и гребешкомъ въ головѣ, которымъ она прикалывала къ затылку остатокъ когда-то роскошныхъ черныхъ косъ, ставшихъ уже небольшими жиденькими косичками, съ продольными морщинками на низенькомъ лбу, которыя то появлялись, то пропадали, какъ зыбь отъ пробѣгающаго вѣтра на поверхности осенней дождевой лужицы — трудно себѣ представить, чтобъ и она была также неравнодушна къ Елатомскому. Но во всю жизнь свою ни съ кѣмъ такъ странно она не вела себя, какъ съ этимъ юношей. Сухая и разсчетливая хозяйка, она готова была все валить на столъ, лишь бы только угодить ему. Когда онъ говорилъ или читалъ, брови ея поднимались и останавливались на самой серединѣ лба, что̀ придавало лицу ея выраженіе какого-то радостнаго изумленія. Когда онъ хохоталъ или другихъ смѣшилъ, она не смѣялась, только раскрывала ротъ, а когда всѣ переставали смѣяться, она упиралась глазами въ чашку, стаканъ или тарелку, и затаенный, счастливый смѣхъ начиналъ бродить по всему лицу ея. Наливать ему чай, или въ серебряной корзинкѣ подавать ему сахарные крендельки, повидимому, доставляло ей великое удовольствіе. Она и мечтать не смѣла о томъ, чтобы такой, по ея мнѣнію, блестящій, необыкновенный юноша, былъ когда-нибудь ея зятемъ, она положительно не замѣчала, что ея Зоя млѣетъ, и что каждый взглядъ ея выдаетъ ее. Меньшія дочери, изъ которыхъ Юлинькѣ было 14, а Люленькѣ 13 лѣтъ, на этотъ разъ были гораздо проницательнѣе своей маменьки и нерѣдко, подъ столомъ, щипали Зою, когда при Елатомскомъ она была ужъ очень молчалива или разсѣянна. Зоя рѣже стала ссориться и бра-

ниться со своими сестрами. Она какъ будто боялась, что язычокъ ихъ выдастъ ея завѣтную тайну, и когда онѣ забирались въ ея картонку или примѣряли на себѣ ея медальончикъ, она или молчала, или, скрѣпя сердце, уступала имъ. Зоя чаще стала заниматься музыкой, но, увы! никакъ не могла одолѣть новой пьесы Шуберта, пьесы, которую рекомендовалъ ей Елатомскій. Она знала наизусть нѣсколько вальсовъ, да еще одну какую-то фантазію, но разбирать ноты для нея было сущимъ наказаніемъ, она безпрестанно не туда попадала пальцами, лѣвая рука ея никакъ не могла поспѣть за правой, она врала чуть-ли не на каждомъ тактѣ, и обыкновенно часовая работа надъ клавишами кончалась тѣмъ, что она сердилась, бросала ноты и лепетала подъ носъ: «ничего нѣтъ въ этихъ нотахъ хорошаго!» Она знала по-французски не хуже, чѣмъ по-русски, но французскому языку ее учила какая-то итальянка, заштатная пѣвица какой-то оперной труппы, и Зоя переняла ея выговоръ.

Десятка два забористыхъ романовъ, въ родѣ Эж. Сю, да еше романъ Виктора Гюго «Notre Dame de Paris»— довершили ея умственное воспитаніе. Когда Елатомскій принесъ ей прочесть «Герой нашего времени», она съ жадностью принялась читать его, и никогда еще чтеніе не производило на нее такого сильнаго, такого подавляющаго впечатлѣнія. Ей почему-то вообразилось, что и Елатомскій не что иное, какъ герой нашего времени, что она не должна вѣрить глазамъ его, что онъ хочетъ быть только любимъ, для того, чтобъ насмѣяться, натѣшиться—и только! Ей было досадно, зачѣмъ онъ хвалитъ не только романъ, но и Печорина. Ей такъ хотѣлось спорить съ нимъ, но она не смѣла. Говорить о чемъ-нибудь, развивать мысль или что-нибудь разсказывать послѣдовательно она не могла. Это было свыше силъ ея. Только въ любви, казалось ей, она не уступитъ

ни одной въ мірѣ женщинѣ; иногда даже казалось ей, что ни одна въ мірѣ дѣвушка не способна любить такъ, какъ она. Впрочемъ, такъ думаютъ всѣ въ первый разъ влюбленныя дѣвушки.

Елатомскій повадился-было ходить къ нимъ раза два въ недѣлю, но въ послѣднее время сталъ замѣчать что-то такое, не совсѣмъ для него безопасное. Зоя стала какъ-то фамильярнѣе. Мать ея, приподнимая брови, стала переводить изумленные глаза свои съ него на Зою, съ Зои опять на него. Когда онъ уходилъ отъ нихъ, Зоя стала провожать его чуть не до самой улицы, и, казалось, поступала такъ, нисколько не стѣсняясь присутствіемъ сестеръ или матери.

Нѣтъ, думалъ Елатомскій, надо какъ-нибудь, если не прекратить свои посѣщенія, то, по крайней мѣрѣ, какъ можно рѣже къ нимъ заглядывать. На него напало что-то въ родѣ хандры и раздумья; но рѣшеніе его было твердо, и онъ, только по прошествіи двухъ недѣль, послѣ урока, утромъ, рѣшился зайти къ нимъ. Сердце его сильно билось, когда онъ дергалъ за веревочку у знакомой калитки. Калитку отворили ему дѣвочки, сестры Зои. Обѣ онѣ, въ коротенькихъ платьицахъ, низенькія и толстенькія, казались совершенными дѣвочками. Елатомскій весело съ ними поздоровался и спросилъ ихъ, что имъ вздумалось въ такой жаръ безъ зонтиковъ ходить по двору.— Мы смотрѣли, какъ ловятъ курицу, картавя, отвѣчала младшая. Старшая захохотала и покраснѣла.

— Дома ваша сестра?

— Мама дома—и Зоя дома.

Елатомскій нашелъ хозяйку въ передней, поздоровался съ ней и спросилъ: дастъ ли она ему кофе?

Хозяйка отъ радости всплеснула руками и сказала, что она сейчасъ заваритъ кофе и сама принесетъ ему.—

Пожалуйста, войдите, — добавила она и побѣжала въ кухню.

Зоя сидѣла въ маленькой гостиной, у окна съ полузакрытыми зелеными ставнями. Крошечная, запачканная фарфоровая чернильница стояла на подоконникѣ. Волосы Зои, зачесанные назадъ, отдѣлившимися прядями спадали ей на щеку, она что-то писала на клочкѣ почтоваго листика. Увидѣвши Елатомскаго, она вскочила, сунула недописанное письмо въ кармашекъ, какъ-то испуганно подала ему руку и перешла на кресло.

— Что это вы пишете на окнѣ? какъ это неловко! Неужели у васъ нѣтъ никакого столика, гдѣ бы вы могли заниматься?

— Нѣтъ никакого,—отвѣчала Зоя.

— А гдѣ же ваши сестры занимаются?

— У нихъ есть столикъ, у меня нѣтъ.

— Это вы дѣлали восковые цвѣты?

(Букетъ восковыхъ цвѣтовъ, съ отпавшими лепестками, стоялъ въ гостиной на столикѣ передъ зеркаломъ).

— Нѣтъ, не я.—При этомъ Зоя надула губки и опустила голову.

— Ну, что? — садясь съ ней рядомъ, спросилъ Елатомскій:—разыграли Шуберта?

Зоя покачала головой.

— Вамъ показалось трудно это, не правда-ли?

— Для кого-жъ бы я стала разыгрывать?

— Какъ для кого? для себя...

— Для себя!.. нѣтъ...

— Ну, такъ для меня, вѣдь вы обѣщались...

— Я думала, вы не придете, забыли насъ...

— Видите, что не забылъ, зашелъ къ вамъ...

Зоя бросила на него исподлобья взглядъ, и горько, насмѣшливо улыбнулась.

— Кто эта дама, — спросила она, какъ-бы съ уси-

ліемъ,—эта дама, которая пріѣхала... съ которой вы гуляете?..

— А зачѣмъ вамъ знать, кто эта дама? Что̀ за любопытство! Все будете знать—скоро состаритесь,—шутливымъ тономъ отвѣчалъ Елатомскій.

— Такъ это секретъ,—я не знала.

— А вы думаете у меня и секретовъ нѣтъ?—довольно рѣзко отвѣчалъ ей Елатомскій.

Зоя покраснѣла и потупилась. Профиль ея въ эту минуту былъ особенно хорошъ и тонокъ, съ опущенными внизъ густыми черными рѣсницами. Елатомскій поглядѣлъ на нее такъ, какъ обыкновенно юноши глядятъ на хорошенькихъ, и продолжалъ, въ прежнемъ шутливомъ тонѣ, какъ-бы стараясь загладить рѣзкость своего отвѣта.

— Вотъ, коли вы сыграете изъ Шуберта эту пьесу, которую нарочно, въ нотномъ магазинѣ, я для васъ выбралъ, скажу...

— Нѣтъ, не сыграю...

— Ну, такъ не скажу.

— Я и безъ васъ все знаю,—сказала она, еще ниже склонивъ свою маленькую головку. Вдругъ крупныя слезы, сами собой, помимо ея воли, покатились у ней по щекамъ: она заплакала.

Елатомскій остолбенѣлъ. Ему стало мучительно жаль ее и неловко.

— О чемъ вы?—спросилъ онъ ее, помолчавъ, и съ невольнымъ участіемъ взялъ ее за локоть.

Она не отвѣчала и отдернула локоть, какъ будто его прикосновеніе обожгло ее. Невысокая грудь ея неровно дышала подъ высокимъ вòротомъ, слезы по-прежнему сбѣгали по щекамъ и капали на руки.

— Перестаньте: какъ вамъ не стыдно! вы не ребе-

нокъ,—заговорилъ онъ вполголоса, не шутя смущенный и озадаченный.

Зоя закрылась руками и еще пуще заплакала.

— Ну, послушайте, если вы будете плакать, я уйду. Сейчасъ войдетъ ваша мама, что̀ она подумаетъ?.. я и не думалъ огорчать васъ... и не думалъ... Слышите, кто-то идетъ!

Зоя вынула изъ кармана смятый носовой платокъ и торопливо стала прикладывать его къ раскраснѣвшемуся личику.

Въ сосѣдней комнатѣ раздалось звяканье чайныхъ ложечекъ. Елатомскій поглядѣлъ на дно своей шляпы, потомъ поглядѣлъ на дверь спальной и произнесъ:

— Эхъ! взойдетъ солнышко—росу высушитъ!

— Не взойдетъ! шопотомъ отвѣчала Зоя.

Въ эту минуту, съ улыбкой на сжатыхъ губахъ, вошла сама хозяйка. Она осторожно несла подносъ съ кофейникомъ, серебряной сахарницей, сливочникомъ и чашками. Все это она поставила на столикѣ передъ диваномъ и оглянулась на Зою. Мгновенно брови ея поднялись чуть-ли не выше лба, все лицо ея выразило глубочайшее удивленіе. Зоя еще не успѣла въ должный порядокъ привести лицо свое и глаза ея были заплаканы.

— Кушайте, — сказала хозяйка, и какъ-то особенно серьезно, съ какимъ-то восточнымъ, таинственнымъ блескомъ въ зрачкѣ, поглядѣла на Елатомскаго. Выходя, за дверью, она пріостановилась и навострила уши: «неужели посватался!»—подумала она, и сердце матери сильно забилось при такомъ весьма естественномъ соображеніи.

— Ну, давайте вмѣстѣ кофе пить! Вотъ я вамъ налью,—заговорилъ Елатомскій развязно, какимъ-то заигрывающимъ тономъ. Онъ всталъ и ухватился за ручку кофейника.

— Благодарю васъ, не наливайте.

— Совѣтую вамъ выпить, и смотрите, какія густыя сливки! А что̀ касается до той барыни, о которой вы хотите знать, то... такъ какъ я совершенно потерялъ всякую надежду отъ васъ услышать пѣсню Шуберта... то скажу вамъ, что барыня эта—удивительная барыня! Зовутъ ее г-жой Эвиной. Она страстно была влюблена въ своего жениха, но, когда вышла замужъ—охладѣла. Бракъ—это могила любви,—сказалъ какой-то мудрецъ, и сказалъ, по-моему, великую истину.

Зоя вздрогнула и еще влажными отъ слезъ глазами поглядѣла на него съ выраженіемъ испуга и недоумѣнія.

— Да-да!—могила любви—повторилъ Елатомскій, замѣтивъ то впечатлѣніе, которое произвели слова его.

— Но это еще не бѣда,—продолжалъ онъ,—что она охладѣла къ мужу, она ушла отъ мужа и стала проповѣдывать. Говоритъ же она, надо вамъ сказать, милѣйшая Зоя Трофимовна, говоритъ такъ, что заслушаешься, точно соловей поетъ. Но это соловей опасный. Сто̀итъ какой-нибудь замужней женщинѣ послушать этого соловья и — конецъ семейному благополучію! Мужъ опротивѣетъ или покажется пошлякомъ первой степени, а дѣвушка—дѣвушка просто сбѣжитъ и бросится въ объятія первому встрѣчному-поперечному. Я знако̀мъ съ этой барыней чуть-ли не сто лѣтъ и положительно боюсь ея... чего добраго, она окончательно испортитъ мою нравственность.

— Вы ее любите? — нерѣшительно спросила Зоя и поглядѣла ему въ глаза.

— Люблю,—отвѣчалъ Елатомскій, нисколько не сконфузившись:—у меня вѣдь сердце любвеобильное. Я всѣхъ люблю, я и маму вашу люблю, и васъ люблю, словомъ, всѣхъ...

— А я не всѣхъ.

— Мое сердце—это большая гостинница. Всякій прі-

ѣзжающій можетъ въ него постучаться, и я никому не отказываю, никому! Но вы, кажется, опять начинаете губки дуть. Уйду, вотъ только допью свой кофе, и Богъ съ вами. Удивительно однако же вкусный кофе умѣетъ варить ваша мама!

Очевидно, что онъ говорилъ съ ней, какъ съ ребенкомъ, или—что̀ еще вѣрнѣе—не зналъ, что̀ ему говорить. Другая бы дѣвушка обидѣлась, но Зоя, смертельно оскорбленная его равнодушіемъ, была далека отъ мысли, что она ребенокъ. Ей даже и въ голову не могло прійти такое обидное предположеніе. Спустя полчаса, Елатомскій всталъ и протянулъ ей руку. Зоя хотѣла прикинуться равнодушной, но не могла: какъ утопающая, уцѣпилась она за кисть руки его и, крѣпко, крѣпко стискивая ее своими похолодѣвшими пальцами, вся трепетала отъ внутренней борьбы и нестерпимой скорби.

Это было не что иное, какъ признаніе въ любви безъ словъ, но такое краснорѣчивое, что не могъ Елатомскій всего этого не понять и не почувствовать. У него закружилась голова, какъ у пьянаго. Еще минута, и онъ бы не вытерпѣлъ, прижалъ бы ее къ груди своей.

Медлить было опасно, и, глупо улыбаясь и въ то же время стараясь быть какъ можно серьезнѣе, онъ вышелъ. Отворяя скрипучую калитку на улицу, онъ мелькомъ оглянулся и замѣтилъ, какъ на ступенькахъ крыльца появилась Зоя, блѣдная, съ ночью въ глазахъ, съ руками, прижатыми къ сердцу. Онъ затворилъ за собою калитку, и пріостановился, но не успѣлъ онъ духъ перевести, какъ услыхалъ смѣющіеся голоса дѣвочекъ, сестеръ Зои:—Ну, что̀, выбѣжала-таки женишка проводить!

«Вотъ оно что! гм!»—не безъ злости подумалъ Елатомскій.

На другой день, въ воскресенье утромъ, только-что начали благовѣстить къ обѣднѣ, и только-что Бавинъ,

напившись чаю, закурилъ трубку и ушелъ заниматься, оставивъ своего сожителя у самовара, съ сигарою во рту и какой-то книгой, — въ комнату изъ передней вошелъ юноша, скуластый, съ многообѣщающимъ носомъ, съ весьма неглупой и доброй физіономіей. Онъ былъ въ потертомъ студенческомъ сюртукѣ, и такъ какъ въ эту минуту не только Аксёнъ, но и Карай были въ отсутствіи, то безъ всякихъ помѣхъ, поклонившись Елатомскому:—А позвольте узнать,—спросилъ онъ,—могу-ли я видѣть г. профессора?... — Полагаю, что можете,—отвѣчалъ Елатомскій.

Вышелъ Бавинъ, и, подавши юношѣ руку, тотчасъ же пригласилъ его въ свою комнату.

— Я къ вамъ-съ — Адріанъ Владиміровичъ, такъ-сказать, депутатомъ отъ товарищества пришелъ,—началъ студентъ, съ какимъ-то южно-русскимъ акцентомъ въ голосѣ.

— Къ вашимъ услугамъ, — проговорилъ Бавинъ,— пожалуйста, садитесь.

— Да я вотъ что-съ, Адріанъ Владиміровичъ, съ развязнымъ смущеніемъ продолжалъ гость.—Я того-съ... пришелъ вамъ сказать, что...

— Что такое?

— Да на-счетъ нашихъ экзаменовъ.

— Что же такое на-счетъ экзаменовъ?

— Да вотъ что-съ: во всю зиму только двое могли записывать ваши лекціи. Поляки-съ. Ну-съ, мы ужъ съ ихъ тетрадокъ списывали, и боимся, Адріанъ Владиміровичъ...

— Чего же вы боитесь?

— А какъ бы намъ не провалиться. Ничего не понимаемъ-съ.

— Да что же вы не понимаете?

— Да ничего, какъ есть ничего не понимаемъ, Адріанъ Владиміровичъ.

Елатомскій ушелъ въ свою комнату. Начало этого разговора заставило его улыбнуться, но ему было не весело. Онъ понялъ положеніе студентовъ, непонимающихъ лекцій, и понялъ, отчего голосъ Бавина дрогнулъ при вопросѣ: «Да что̀ же вы не понимаете?»

Бросивъ книгу на комодъ, Елатомскій сѣлъ на окно и сталъ смотрѣть на дворъ, ярко освѣщенный солнцемъ. На дворѣ бѣгалъ Карай и огрызался, когда хозяйская дворняшка начинала съ нимъ заигрывать. На заднемъ крыльцѣ хозяйскаго дома, дѣвочка-жидовка сидѣла на корточкахъ и чистила мѣдный тазъ. Воробьи скакали по заборамъ и чирикали.

«Говорятъ, пользуйся жизнью», думалъ Елатомскій, «но какъ ею пользоваться? Вотъ Меркуличъ воспользовался ею по-своему и нажилъ деньги. Но развѣ я хочу, развѣ я могу идти по слѣдамъ его? А что̀ будетъ, если я этою жизнью по-своему воспользуюсь? Что̀ будетъ? будетъ такая же грязь. Вотъ Зоя плачетъ оттого, что я не даюсь ей. Ей некуда дѣвать свою молодость—и мнѣ некуда дѣвать свою молодость. У ней есть еще цѣль въ жизни—выйти замужъ, а у меня какая цѣль! Ни политической арены, ни честной гражданской дѣятельности! вотъ, Бавинъ погрузился въ свою науку, думалъ, сегодня одинъ, завтра будетъ десять такихъ, какъ онъ, послѣ завтра—сорокъ, черезъ сто лѣтъ—милліоны, и міръ преобразованъ, разумъ торжествуетъ надъ страстями и все человѣчество становится Богомъ. И что же!... читалъ, читалъ человѣкъ цѣлую зиму, и кончилъ тѣмъ, что ни одна живая душа не поняла его! Нынче одинъ скажетъ: философія — вздоръ, черезъ годъ 30—40 человѣкъ скажутъ то же самое, черезъ 100 лѣтъ не будетъ и помину объ абсолютной истинѣ. Что̀ же будетъ?»

Студентъ, выкуривши трубку, предложенную ему Бавинымъ, поговорилъ еще съ полчаса—и ушелъ. Елатомскій видѣлъ, какъ онъ шелъ по двору, заломя на затылокъ смятую фуражку, размахивая руками и на ходу слегка раскачиваясь. Жидовочка перестала чистить тазъ, и до самой калитки провожала его жадными, молодыми глазами. Карай понюхалъ его панталоны, и точно ошибся въ чемъ-то, отбѣжалъ, высунувъ языкъ и повѣсивъ уши. Елатомскій вздохнулъ, образъ плачущей Зои пронесся въ его воображеніи. Ему стало и смѣшно, и грустно. Чтобъ не думать о томъ, о чемъ ему не хотѣлось думать, онъ опять взялъ книгу и сталъ читать.

А Бавинъ не могъ уже ни читать, ни писать. Онъ легъ на кожаный диванчикъ, который ночью служилъ ему постелью, и цѣлый часъ лежалъ, закинувъ свою косматую голову и поддерживая ее загнутыми назадъ и подсунутыми подъ затылокъ широкими ладонями.

Когда, наконецъ, перешелъ онъ на кушетку въ среднюю комнату, гдѣ было свѣтлѣе (на полу играло солнышко), Елатомскій замѣтилъ, что брови его опустились на глаза, и что неподвижное лицо его смутно.

XIII.

На другой день утромъ, на той же самой кушеткѣ, Бавинъ сидѣлъ точно въ такой же позѣ, точно съ такимъ же лицомъ и, разумѣется, не говорилъ ни слова.

«Не понимаютъ!» думалъ онъ: «значитъ, какъ-нибудь иначе, по какой-нибудь книжкѣ двадцатыхъ годовъ я долженъ былъ читать имъ. Но какъ же иначе? Развѣ иначе я могъ читать? Значитъ, я напрасно для нихъ работалъ. Отчего же Нина меня понимаетъ? Почему она мнѣ даже сочувствуетъ? Неужели по своему развитію она выше ихъ?»

— Ну, что́ сестра? Давно ты ее видѣлъ?—спросилъ онъ Елатомскаго.

— Давно ужъ.

— Отчего же ты не идешь къ ней? Кажется, она хорошая женщина.

— Отчего же ты самъ къ ней не идешь?—помолчавъ, спросилъ Елатомскій.

— Я былъ у нея.

— Когда?

— На-дняхъ.

— Ну, и я былъ на-дняхъ, а вчера получилъ отъ нея записку.

— Какую записку? Не секретъ?

Елатомскій, безъ всякихъ заднихъ мыслей, принесъ ему записку Эвиной и сталъ одѣваться.

Вотъ слово въ слово записка Нины:

«Я сама хотѣла быть у васъ, mon cher et bon frère! но Бавинъ, какъ бука, напугалъ меня своимъ запрещеніемъ переступать за порогъ его комнаты. Онъ боится, что я, какъ недостойная взойти въ скинію свѣдѣнія, омрачу жилище духа. Я покоряюсь его приговору; но мнѣ грустно, что я давно не видала васъ. Онъ (слово «онъ» было подчеркнуто) увѣрилъ меня, что ты въ хорошемъ расположеніи духа и затѣваешь какую-то работу. Вѣрю, что ты работаешь, но чтобъ тебѣ было весело—не вѣрю. Очень ты дурно сдѣлаешь, если лишишь меня удовольствія тебя видѣть, когда ты не въ духѣ. Со мною, кажется, ты всегда долженъ быть свободенъ; хотя я и не считаю себя въ силахъ способствовать къ приведенію душевныхъ силъ твоихъ въ равновѣсіе, но я—твоя сестра, твой товарищъ, и не должна покидать тебя въ минуту тревоги. Сашинъ, котораго ты рекомендовалъ мнѣ, былъ у меня. Какой онъ славный и какой разочарованный человѣкъ! Видно, жизнь и по немъ прошла колесомъ. Онъ увѣрялъ меня,

что ты въ кого-то влюбленъ и хандришь. Правда ли это? Что дѣлаетъ бука? Кланяйся ему отъ меня.

«Прощай.

«Сестра Нина».

Бавинъ три раза прочелъ эту записку, сѣлъ, т.-е. спустилъ съ кушетки ноги на полъ, и, пощипывая бородку, сталъ покачиваться. Трудно было проникнуть въ глубину души его, но, очевидно, записка эта произвела на него сильное впечатлѣніе. Онъ узналъ, что для Нины онъ «бука»—и только «бука»! Это задѣло его самолюбіе. Онъ узналъ, что своимъ запрещеніемъ навѣщать ихъ онъ какъ будто оскорбилъ ее, и ему стало нестерпимо жаль и досадно. Что̀ значатъ слова Нины: «ты всегда долженъ быть свободенъ... Онъ не понялъ, о какой свободѣ, она говоритъ.

— Пойду къ ней, и скажу ей, что моя профессорская карьера кончена. Что̀ она мнѣ на это скажетъ?..

Надъ Одессой стояла пыль и солнце. Всѣ окна въ домахъ на полдень были уже прикрыты зелеными прорѣзными ставнями. Ровно въ 12 часовъ раздался пушечный выстрѣлъ. Эвина провѣрила свои маленькіе, золотые часики, надѣла шляпку, перчатки, взяла зонтикъ и вышла. Глядя себѣ подъ ноги, какъ это дѣлаютъ иногда высокія, близорукія женщины, и тою походкой, которая почему-то такъ не нравилась Елатомскому, она уже переходила Соборную площадь, по направленію къ Ришельевской улицѣ, какъ вдругъ услыхала за собой знакомый голосъ.

Она остановилась, опустила зонтикъ, поднесла лорнетъ къ глазамъ и увидѣла Бавина. Онъ звалъ ее и шелъ торопливыми шагами, точно догонялъ ее.

— Сестра, куда вы?

Эвина улыбнулась. Онъ взялъ ее за руку и, не выпуская ее, поглядѣлъ ей въ глаза, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто умолялъ ее извинить его.

— Ничего не случилось? — спросила Эвина, пріятно изумленная тѣмъ, что бука рѣшился остановить ее на улицѣ.

— Ничего,—отвѣчалъ Бавинъ.—А вы куда?

Нина смутно поняла, что онъ чѣмъ-то взволнованъ и что ему хочется поговорить съ ней.

— Я сама не знаю, куда мнѣ захотѣлось идти, я взяла въ карманъ книжку и иду.

— А я къ вамъ. Ну, зайду въ другое время. Прощайте, сестра.

— Но если вы шли ко мнѣ, Адріанъ, я вернусь.

— За чѣмъ же?

— А за тѣмъ, что мнѣ хочется вернуться. Я хочу побыть съ вами, Адріанъ. У васъ что-то такое есть на душѣ.

— У меня ничего нѣтъ на душѣ.

— Такъ-то вы свободны, братъ! Развѣ тотъ, кто истинно свободенъ, нуждается во лжи? Бояться друзей своихъ, значитъ, самихъ себя бояться. Или я вашъ другъ, ваша сестра, или я чужая. Если я вамъ не чужая, воротимтесь; или оставьте меня, я пойду одна, куда вѣтеръ дуетъ, куда глаза глядятъ.

Бавинъ никогда не краснѣлъ, румянца никогда не появлялось на его смуглыхъ, немного впалыхъ щекахъ. Но въ эту минуту—онъ самъ почувствовалъ, что-то знойное прошло по лицу его. «Какъ это можно такъ читать въ чужой душѣ!»—подумалъ онъ (у него не было этой способности).

— Ну, пойдемте,—произнесъ онъ.—Я... я... дѣйствительно не въ духѣ... это глупо, но это такъ...

Эвина оперлась на его руку, они повернули назадъ,

къ небольшому каменному флигелю, съ двумя невысокими пирамидальными тополями у воротъ.

Комната Нины, та, гдѣ она принимала гостей своихъ, ея гостиная и кабинетъ, съ открытыми окнами и притворенными ставнями, обдала ихъ прохладой, тонкимъ ароматомъ цвѣтовъ, и пріятный полумракъ какъ-бы обнялъ ихъ.

Нина, дочь зажиточнаго помѣщика и жена богатаго барина, не могла не привыкнуть къ комфорту и нѣкоторой порядочности въ комнатахъ. Въ углу, за диваномъ, на деревянномъ табуретѣ стояли у ней горшки съ распустившимися махровыми розами. На полкѣ съ книгами красовались бѣлыя статуэтки. Передъ диваномъ столъ былъ накрытъ сѣрой, съ красными разводами, скатертью. На столѣ стояли два бронзовыхъ подсвѣчника, съ двумя на половину сгорѣвшими восковыми свѣчами. Тутъ же, на бронзовой пѣтушиной лапкѣ, мелькала какая-то бѣлая, съ розовыми отливами, раковина для стряхиванья пепла, и лежала въ дорогомъ переплетѣ книжка пѣсенъ Беранже, въ то время запрещенная цензурою.

— Ложитесь на диванъ, Адріанъ, вотъ такъ, какъ вы ложитесь на вашу кушетку, — сказала она Бавину, стаскивая съ рукъ перчатки и какъ-бы досадуя на то, что надѣла ихъ.

Бавинъ не сталъ спорить. Ему не хотѣлось казаться букой — человѣкомъ церемоннымъ или связаннымъ. Но онъ не прилегъ, онъ просто сѣлъ на диванъ, около себя поставилъ шляпу и началъ оглядывать уже знакомую комнату. Полусумракъ отъ притворенныхъ ставень придавалъ ей какую-то особенную комфортабельность. Она казалась вдвое чище и уютнѣе.

Нина принесла ему длинный, черешневый чубукъ, трубку и картузъ его любимаго табаку (Жукова, московской фабрики).

Бавинъ медленно сталъ набивать себѣ трубку, точно былъ радъ, что нашелъ себѣ занятіе.

Нина сѣла-было около него, но опять встала, зажгла и подала ему свѣчу, такъ чтобъ онъ могъ, приподнявши чубукъ, запалить глиняную трубочку.

— Для кого это вы держите табакъ и такой длинный чубукъ?—спросилъ Бавинъ, пуская дымъ изъ ноздрей.

— Да для тѣхъ, кому вздумается курить,—для васъ. Ну, закурили? Не будемъ же больше говорить пустыхъ, банальныхъ фразъ. Скажите-ка мнѣ, милый братъ мой, отчего это вы такой хмурый, такой нехорошій?

— Нехорошій,—повторилъ Бавинъ.—Да знаете, Нина... Нина Александровна, вы правы, я бука, ненужный человѣкъ, человѣкъ ни на какое живое дѣло негодный!

— Когда я говорила вамъ, что вы ненужный, что вы негодный?! Или я мертвая, что вы на меня такъ клевещете!

— Вѣдь вы же говорили, сестра, что я не живу, что я... какъ это вы выразились,—разошелся съ жизнію.

— Да развѣ можетъ человѣкъ 25-ти лѣтъ, въ цвѣтѣ силъ, жить одной головой, дышать однимъ кабинетнымъ воздухомъ, не сталкиваться съ людьми, не изучать ихъ въ явленіяхъ добра и зла. Наконецъ, въ правѣ ли онъ сказать: «я живу»—если онъ никогда никого не любилъ и не любитъ.

— Я люблю науку, люблю истину.

— А развѣ любовь не высочайшая истина?

— Христосъ не любилъ такъ, какъ вы хотите, чтобы мы любили васъ.

— Христосъ за всѣхъ женщинъ, такъ же какъ и за всѣхъ мужчинъ, принесъ себя въ жертву. А вы, можетъ быть, и пальцемъ своимъ ни за кого незахотите пожертвовать.

— Если мой палецъ можетъ спасти васъ, отрубите его. Увидите, поморщусь ли я.

И нельзя было ему не вѣрить, сила самоувѣренности слышна была въ его кроткомъ голосѣ. На этотъ разъ онъ говорилъ какъ-то необычайно мягко и кротко, точно этотъ знойный полусумракъ и этотъ запахъ цвѣтовъ, и этотъ диванъ, и этотъ женскій голосъ дѣйствовали на него самымъ смягчающимъ образомъ.

— А вы—вы любили?—спросилъ онъ, едва прикасаясь къ янтарному мундштуку своими губами, пуская легкій дымокъ и не глядя на свою собесѣдницу.

— О, да... и пусть любовь моя была не счастлива, я вспоминаю о ней съ благодарностью. Все-таки это былъ подарокъ жизни и подарокъ цѣнный. Но, Адріанъ, то, что даетъ жизнь, то она и назадъ беретъ. Пользуйся ея дарами, пока они у тебя въ рукахъ, — ушли изъ рукъ, вспоминай съ благодарностью.

— А теперь?—помолчавъ, спросилъ Бавинъ.

— Что?

— А теперь, я спрашиваю, теперь?...

— Люблю ли я теперь, въ эту минуту?! *Это* вы хотите спросить меня?—проговорила Нина, и яркая краска румянца до самаго лба разлилась по лицу ея, даже шея покраснѣла.

Бавинъ этого не замѣтилъ, онъ смотрѣлъ куда-то подъ столъ; она помолчала... точно что-то соображала и добавила:

— Гм, да!

— Я, конечно, не такъ друженъ съ вами, какъ Елатомскій, онъ, конечно, одинъ знаетъ вашу тайну, не поднимая головы,—сказалъ Бавинъ.

— Этого никто не знаетъ, и онъ не знаетъ.

Бавинъ удивился, брови его зашевелились, онъ поднялъ на нее глаза свои.

— Такъ какой же вы его другъ, сестра и товарищъ!

— Ахъ, Адріанъ, Адріанъ! я другъ его, сестра и товарищъ, когда дѣло касается до чего-нибудь общаго, до труда, который затѣваетъ онъ для блага общества; до мысли, которую хочетъ провѣрить; до хандры, которую навѣваетъ на него наша холодная, полная противорѣчій жизнь. А до личныхъ чувствъ моихъ ему дѣла нѣтъ, да и я не желаю ихъ отъ него выпытывать.

Будь въ это время въ комнатѣ Елатомскій, онъ бы непремѣнно подумалъ: «вотъ ужъ за словомъ въ карманъ не полѣзетъ! откуда что̀ берется. Да и правда ли, что тебѣ будто до моихъ личныхъ чувствъ никакого дѣла нѣтъ!»

Но Бавинъ относился, какъ младенецъ, съ полнымъ довѣріемъ къ словамъ ея.

— Да, еслибы, — продолжала Эвина,— еслибъ и хотѣлось иногда высказаться, то... есть такія чувства, въ которыя самой не вѣрится: ка̀къ я буду повѣрять ихъ другому, когда я сама въ моемъ собственномъ чувствѣ еще не увѣрена, до такой степени оно ново и страшно... Что̀ вы такъ на меня странно смотрите! У васъ такой странный взглядъ. Я васъ боюсь, Адріанъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я живу на свѣтѣ, я никого не боялась, а васъ боюсь. Вы—бука. Вотъ, вы что-то сбираетесь спросить меня и не рѣшаетесь. Если вы такъ скованы, такъ не свободны...

— А вы, вы свободны? Вы *все* можете сказать, на *всякій* вопросъ отвѣчать?—перебилъ онъ ее съ какимъ-то оттѣнкомъ родительской строгости.

— Да, если не одно праздное любопытство заставляетъ васъ спрашивать. если я почему-либо заслужила ваше довѣріе, если я для васъ не совсѣмъ чужая, то скажите: говори, сестра, и я скажу.

— Откровенно?

— Откровенно, даже не задумываясь о томъ, что̀ изъ этого выйдетъ.

— Если такъ, если вы такая сильная, такая независимая, то говорите, я хочу знать—кого вы любите?

Нина молчала и казалась сконфуженной.

Бавинъ настойчиво повторилъ вопросъ свой.

— Васъ!—произнесла она внятно и торжественно; потомъ сдвинула брови—и искоса, сердито, взглянувъ на Бавина, отвернулась.

Видно, все-таки не дешево обошлось ей это неожиданное признаніе. За полчаса она и не воображала, что разыграетъ такую сцену, какой и въ театрѣ не всегда услышишь или увидишь. Бавинъ до того поблѣднѣлъ и растерялся, что на него смотрѣть было страшно, точно молнія обожгла его. Онъ всталъ, вытянулся во весь ростъ, скрестилъ на груди руки, губы его дрожали...

— Нина! повторите!—вотъ все, что̀ могъ онъ произнести. Но, не дождавшись отвѣта, схватилъ шляпу, не простился съ Ниной и исчезъ, точно какой вѣтеръ унесъ его.

Нина также поднялась и стала маленькими, частыми шагами изъ угла въ уголъ ходить по комнатѣ. Долго она двигалась взадъ и впередъ, задѣвая платьемъ то за столъ, то за кресло. Казалось, она не видѣла предметовъ ее окружающихъ. Наконецъ, она остановилась, перевела духъ и засмѣялась.

«Начало сдѣлано», подумала она, «а тамъ, что̀ будетъ, то будетъ!» Эта мысль ее, повидимому, совершенно успокоила. Она опять надѣла шляпку, взяла зонтикъ и пошла въ книжный магазинъ просмотрѣть новую книжку «Revue des deux Mondes»,—единственный журналъ, который въ то время интересовалъ ее.

XIV.

Бавинъ не пошелъ домой. Понуривъ голову, онъ машинально поворачивалъ изъ улицы въ улицу, и навѣрное бы ушелъ верстъ за десять отъ города, если бы не наткнулся на таможенный валъ, изъ-за котораго сверкалъ на солнцѣ ружейный штыкъ. Солнце жгло по прежнему, но къ четыремъ часамъ поднялся вѣтеръ; тучи пыли, пробѣгая, заволакивали нижніе этажи домовъ и заставляли прохожихъ отворачиваться или сильно жмуриться. Бавинъ пошелъ по вѣтру, куда глаза глядятъ. Шляпа его плотно прилегла къ потному лбу и держалась крѣпко, благодаря массѣ волосъ, которые и съ боковъ, и сзади торчали изъ-подъ полей ея и на полвершка казались шире ихъ. Лицо Бавина не выражало ни особенной тревоги, ни особеннаго восторга или радости, но, насколько могло быть блѣднымъ его лицо, покрытое загаромъ и пылью, оно казалось блѣднымъ и даже изнуреннымъ, хотя ноги его и не чувствовали ни малѣйшей усталости. Бавинъ проходилъ по дальнимъ закоулкамъ города чуть ли не до семи часовъ вечера. О чемъ онъ думалъ все это время, не пересказать и въ цѣлыя сутки, одна мысль набѣгала на другую, какъ волна на волну; одно чувство смѣнялось другимъ, и всѣмъ этимъ мыслямъ, и всѣмъ этимъ чувствамъ никто бы не пріискалъ ни одного, сколько-нибудь опредѣленнаго эпитета. «Я любимъ!» думалъ онъ, между прочимъ». Я любимъ! она меня любитъ! Не сонъ ли это? или я спалъ, и она меня разбудила! Это что-то невѣроятное, непостижимое! Вчера, даже сегодня утромъ, зналъ ли я самъ, подозрѣвалъ ли, что я люблю ее? И эта женщина рѣшается первая признаться въ своемъ чувствѣ. Что̀ это̀, водевильная фраза—или

подвигъ!? Или она нравственный уродъ, или она великая женщина. Хорошо ли это, что я какъ будто не повѣрилъ ей? Не обидно ли? Но я не былъ готовъ къ воспріятію этой великой правды, и она обожгла меня. Но не я ли самъ вздумалъ ее разспрашивать. И какое я имѣлъ на это право, и почему мнѣ это вздумалось? Что же ей оставалось дѣлать? Молчать?—значитъ, дразнить любопытство или кокетничать. Солгать? Но способна ли она, это свободное, высоконравственное существо! способна ли она притворяться или вилять предъ человѣкомъ, котораго она любитъ. Стыдно мнѣ, я бы никогда не рѣшился на такое признаніе.

«Любовь! да вѣдь это истина безъ науки, сразу угадываемая и всецѣло воспринимаемая сердцемъ. Она не можетъ быть дѣлима такъ, какъ мы дѣлимъ видимую природу или беремъ ее по частямъ, для того, чтобы намъ было легче и удобнѣе изучать ее. Будь у любви предѣлъ, она не была бы истиной. Любовь — это мысль, воплощенная въ чувство; а мысль—начало природы. Человѣкъ, какъ результатъ природы—животное, и какъ животное—онъ не можетъ любить платонически. Какъ же я долженъ любить ее?

Нѣтъ! если Нина великая женщина, буду же и я великъ и святъ въ своихъ чувствахъ къ ней! Она не должна бояться меня, какъ какого-то звѣря. А я такичувствую, что этотъ звѣрь сидитъ во мнѣ, онъ врывается въ область моего духа. Его кровь течетъ по моимъ жиламъ, бьетъ мнѣ въ голову и подъ часъ мутитъ ее.

Гм! Но ужели я не буду въ силахъ взнуздать его—этого звѣря? Посмотримъ!»

Все это, конечно, не болѣе, какъ рефлексія, но развѣ Бавинъ могъ не разсуждать. Значитъ ли это, что онъ ничего не чувствовалъ? То, что̀ ясно и просто, какъ Божій день, для Бавина было сложно и запутано, сплетаясь съ

цѣлою вереницею тѣхъ идей, изъ которыхъ съ дѣтства онъ строилъ свое міросозерцаніе. Сѣмя любви, которое запало въ душу его, разомъ пустило свои корни и внизъ, и вверхъ, разомъ захватило его сердце и голову.

Тучи, налѣзая съ моря, закрывали солнце и уже накрапывалъ дождикъ, когда, подъ вечеръ, Бавинъ направилъ шаги свои домой.

Черный Карай, тоже пыльный и растрепанный, съ обѣда сидѣлъ у воротъ, поворачивалъ морду то направо, то на-лѣво, нюхалъ воздухъ и съ великимъ нетерпѣніемъ ожидалъ своего хозяина.

Наконецъ, показалась изъ-за угла его высокая, широкоплечая фигура, на длинныхъ ногахъ, въ узкихъ брюкахъ, въ сюртукѣ и въ запылённой шляпѣ, съ выбившимися изъ-подъ ея полей вихрами. Карай стремглавъ бросился къ нему на встрѣчу и, визжа отъ радости, сталъ кружиться, пятиться, присѣдать и, высоко подскакивая, ухитрялся лизнуть его въ носъ и бороду. Бавинъ раза два нѣжно обнялъ любимаго пса, прежде чѣмъ вошелъ въ свою комнату.

— Баринъ! гдѣ это вы запропастились?—спросилъ Аксёнъ, поднимаясь съ крылечка. Что̀ это, Господи, Боже мой! Никогда этого не было. Хозяйка два раза присылала сказать, что обѣдъ готовъ.

— Поставь-ка самоваръ, да купи французскую булку, больше мнѣ ничего не надо.

— А какъ же, обѣдать-то? Столъ съ пяти часовъ накрытъ, ни васъ, ни Владиміра Григорьевича! Что это, Господи, Боже мой!

— Поставь только самоваръ, я обѣдать не буду.

Въ комнатахъ было темно отъ потемнѣвшаго неба. Дождикъ уже стучалъ въ окно, и все сильнѣе и сильнѣе шумѣло въ саду и въ воздухѣ. Раздѣвшись, Бавинъ вытеръ себѣ сухимъ полотенцемъ лобъ, лицо и шею, за-

тѣмъ, зажегъ свѣчу, закурилъ трубку и прилегъ на диванъ. Карай, махая хвостомъ, мягко постукивалъ въ чубукъ его и, пряча отъ табачнаго дыма на груди его свою кудлатую морду, все еще тихонько взвизгивалъ отъ неунявшагося прилива радости.

Влюбленіе, по теоріи Бавина, было далеко не то, что̀ любовь. Первое считалъ онъ чѣмъ-то стихійнымъ, недостойнымъ человѣка, и, по его мнѣнію, онъ, какъ человѣкъ мыслящій, влюбиться никакъ не могъ. Давно уже, въ часы досуга, онъ думалъ о московской гостьѣ такъ, какъ онъ никогда не думалъ ни объ одной женщинѣ. Мало-по-малу, она, поклонница трудовъ его, постоянно интересующаяся его здоровьемъ, его расположеніемъ духа, его лекціями, его взглядами на жизнь—овладѣла мечтой его... Онъ мысленно сталъ возводить ее въ идеалъ.

Не даромъ иногда онъ придирался къ ней. Его коробило отъ каждаго, сколько-нибудь скабрёзнаго или двусмысленнаго словца, которое иногда сквозь смѣхъ пропускали уста ея. Ему было непріятно, когда она слишкомъ ужъ за панибрата, совершенно по-мужски, обращалась съ Елатомскимъ. Въ эти минуты страдалъ идеалъ его, и, можетъ быть, въ глубинѣ души его, уже шевелилось чувство ревности.

— Нина Александровна,—сказалъ онъ ей разъ, сидя у нея вечеромъ и повертывая въ рукахъ маленькую, толстенькую книжку пѣсенъ Беранже, — что̀ вамъ за охота читать стихи этого французскаго эпикурейца?

— Какъ! — удивилась Нина: — вы не признаете, что это національнѣйшій, величайшій поэтъ Франціи?

— Стало быть, и Поль-де-Кокъ величайшій изъ романистовъ Франціи. Вѣдь и онъ націоналенъ... не спорьте, націоналенъ. Съ тою только разницею, что̀ подкладка

его цинизма — буржуазная нравственность, а подкладка сладенькихъ пѣсенъ Беранже—демократическая безнравственность. У него трудъ не обходится безъ награды въ видѣ забѣглой, вѣтреной гризетки, любовь не обходится безъ вина, а слава народа — безъ Наполеона I, иначе сказать,—безъ торжества грубой силы.

— Нѣтъ, милый Адріанъ Владиміровичъ, Беранже не идеалистъ. Онъ знаетъ, что, послѣ тяжелаго труда, любовь, даже ласка женщины, кто бы она ни была, хотя бы вѣтреная гризетка, для мужчины есть лучшая въ мірѣ награда, и чердакъ, гдѣ поются пѣсни, гдѣ— извините меня, цѣлуются и, любя, не думаютъ о томъ, что́ будетъ завтра, лучше, чѣмъ чертогъ, вызолоченный, но холодный и скучный—чертогъ, куда ни трудъ не заходитъ, ни любовь не заглядываетъ.

— Я ничего не говорю вамъ о чердачной любви. Любовь вездѣ любовь, но вотъ я вамъ прочту... Бавинъ, нагнувшись, порылся въ книгѣ и сталъ читать какое-то стихотвореніе (онъ не прочелъ его заглавія) и сталъ разбирать его...

Стихи читалъ онъ плохо, такъ же плохо, какъ и Эвина читала ихъ. Оба они не чувствовали красоты формы. Музыка стиха, гармонія словъ для нихъ были вещи совершенно постороннія. Бавинъ не разбиралъ ихъ, онъ ихъ анатомировалъ. Слѣдствіемъ такой анатоміи было то, что одно изъ прелестнѣйшихъ созданій Беранже превратилось въ трупъ, разрѣзанный на кусочки, и каждый кусочекъ самъ по себѣ казался фразой, то безсмысленной, то намекающей на утонченную чувственность самаго раздражающаго свойства. Нина вырвала у него книгу и прочла другое стихотвореніе. Они заспорили.

Въ этомъ спорѣ они оба были неискренни. Нина сама не понимала, отчего она такъ восторженно любитъ и хвалитъ Беранже. Она любила его, потому что онъ

тѣмъ, зажегъ свѣчу, закурилъ трубку и прилегъ на диванъ. Карай, махая хвостомъ, мягко постукивалъ въ чубукъ его и, пряча отъ табачнаго дыма на груди его свою кудлатую морду, все еще тихонько взвизгивалъ отъ неунявшагося прилива радости.

Влюбленіе, по теоріи Бавина, было далеко не то, что̀ любовь. Первое считалъ онъ чѣмъ-то стихійнымъ, недостойнымъ человѣка, и, по его мнѣнію, онъ, какъ человѣкъ мыслящій, влюбиться никакъ не могъ. Давно уже, въ часы досуга, онъ думалъ о московской гостьѣ такъ, какъ онъ никогда не думалъ ни объ одной женщинѣ. Мало-по-малу, она, поклонница трудовъ его, постоянно интересующаяся его здоровьемъ, его расположеніемъ духа, его лекціями, его взглядами на жизнь—овладѣла мечтой его... Онъ мысленно сталъ возводить ее въ идеалъ.

Не даромъ иногда онъ придирался къ ней. Его коробило отъ каждаго, сколько-нибудь скабрёзнаго или двусмысленнаго словца, которое иногда сквозь смѣхъ пропускали уста ея. Ему было непріятно, когда она слишкомъ ужъ за панибрата, совершенно по-мужски, обращалась съ Елатомскимъ. Въ эти минуты страдалъ идеалъ его, и, можетъ быть, въ глубинѣ души его, уже шевелилось чувство ревности.

— Нина Александровна,—сказалъ онъ ей разъ, сидя у нея вечеромъ и повертывая въ рукахъ маленькую, толстенькую книжку пѣсенъ Беранже, — что̀ вамъ за охота читать стихи этого французскаго эпикурейца?

— Какъ! — удивилась Нина: — вы не признаете, что это національнѣйшій, величайшій поэтъ Франціи?

— Стало быть, и Поль-де-Кокъ величайшій изъ романистовъ Франціи. Вѣдь и онъ національнаенъ... не спорьте, національнаенъ. Съ тою только разницею, что̀ подкладка

его цинизма — буржуазная нравственность, а подкладка сладенькихъ пѣсенъ Беранже—демократическая безнравственность. У него трудъ не обходится безъ награды въ видѣ забѣглой, вѣтреной гризетки, любовь не обходится безъ вина, а слава народа — безъ Наполеона I, иначе сказать,—безъ торжества грубой силы.

— Нѣтъ, милый Адріанъ Владиміровичъ, Беранже не идеалистъ. Онъ знаетъ, что, послѣ тяжелаго труда, любовь, даже ласка женщины, кто бы она ни была, хотя бы вѣтреная гризетка, для мужчины есть лучшая въ мірѣ награда, и чердакъ, гдѣ поются пѣсни, гдѣ— извините меня, цѣлуются и, любя, не думаютъ о томъ, что́ будетъ завтра, лучше, чѣмъ чертогъ, вызолоченный, но холодный и скучный—чертогъ, куда ни трудъ не заходитъ, ни любовь не заглядываетъ.

— Я ничего не говорю вамъ о чердачной любви. Любовь вездѣ любовь, но вотъ я вамъ прочту... Бавинъ, нагнувшись, порылся въ книгѣ и сталъ читать какое-то стихотвореніе (онъ не прочелъ его заглавія) и сталъ разбирать его...

Стихи читалъ онъ плохо, такъ же плохо, какъ и Эвина читала ихъ. Оба они не чувствовали красоты формы. Музыка стиха, гармонія словъ для нихъ были вещи совершенно постороннія. Бавинъ не разбиралъ ихъ, онъ ихъ анатомировалъ. Слѣдствіемъ такой анатоміи было то, что одно изъ прелестнѣйшихъ созданій Беранже превратилось въ трупъ, разрѣзанный на кусочки, и каждый кусочекъ самъ по себѣ казался фразой, то безсмысленной, то намекающей на утонченную чувственность самаго раздражающаго свойства. Нина вырвала у него книгу и прочла другое стихотвореніе. Они заспорили.

Въ этомъ спорѣ они оба были неискренни. Нина сама не понимала, отчего она такъ восторженно любитъ и хвалитъ Беранже. Она любила его, потому что онъ

тонической она была уже слишкомъ стара и слишкомъ многоопытна., Къ тому же, это была женщина болѣе «головная», чѣмъ сердечная. Любовь для нея была потребностью сильнаго, горячаго темперамента—и только. Бросивъ мужа, который охладѣлъ къ ней, она бы непремѣнно вышла замужъ за какого-нибудь многообѣщающаго юношу, если бы законы наши не мѣшали ей. Для ея потребностей не было законнаго выхода, и она стала проповѣдывать законность свободной любви и связей внѣ брака. Мало того, она не могла безъ ѣдкой ироніи относиться ко всякому счастливому супружеству; счастливый бракъ она называла халатнымъ сожительствомъ, постоянствомъ въ пошлости, раемъ филистеровъ, могилой всего великаго и прекраснаго...

Любовь Нины къ Бавину была далеко не та любовь, которая загорѣлась въ неопытномъ сердечкѣ Зои. Нина знала, чего она хочетъ, Зоя бредила; но, несмотря на всю пустоту свою, нервная Зоя была влюблена такъ, какъ Нина-сангвиникъ никогда отъ роду не была влюблена. Другой темпераментъ—другія страсти.

XV.

Бавинъ, на другой день послѣ своей отдаленной прогулки на солнцѣ, съ часу пополудни до семи часовъ вечера, проснулся довольно рано и хотѣлъ заниматься. Ему нужно было написать вопросные билеты для экзаменовъ. Но ему было душно, тяжело. Онъ отправился въ кухню и, отмывая вчерашнюю пыль, велѣлъ Аксёну еще цѣлый рукомойникъ вылить себѣ на голову.

— Для самовара не хватитъ, Боже мой! — говорилъ Аксёнъ.

— Лей! — приказывалъ Бавинъ, и Аксёнъ лилъ на

него воду и мокрыми, свѣсившимися волосами залѣпилъ глаза ему.

— На самоваръ воды не хватитъ, — повторилъ Аксёнъ. — Гдѣ я еще воды возьму?

— Спроси у хозяйки.

— Да, спроси у хозяйки! такъ хозяйка и дастъ!

— Вчера былъ дождь, воды довольно.

— Что это за дождь, только пыль прибилъ.

— Такъ для самовара нѣтъ воды?—спросилъ Бавинъ, вытираясь полотенцемъ и посмѣиваясь.

— Да нѣтъ же, говорю я.

— Ну, такъ мы въ трактиръ пойдемъ чай пить.

— Ну, и хорошо, и ступайте.—Аксёнъ не повѣрилъ барину.

— И Елатомскій пойдетъ со мной.

— Ну, и ступайте. А гдѣ тутъ вода? тутъ не Москва. Разъ провезутъ, успѣлъ купить—хорошо, а не успѣлъ— и такъ посидишь.

— Елатомскій, вы спите? — спросилъ Бавинъ, входя къ нему въ комнату.

— Встаю,—отвѣчалъ тотъ, надѣвая сапоги.

— Пойдемте куда-нибудь чай пить! У насъ воды для самовара нѣтъ.

— Куда же? въ трактиръ?.. великолѣпно! музыку послушаемъ.

— Какую музыку?

— Органную. Заставимъ изъ «Сонамбулы» дуэтъ сыграть, журналы пересмотримъ.

Къ чести тогдашней Одессы, я могу еще и то сказать, что въ лучшихъ русскихъ трактирахъ были тогда всѣ лучшіе русскіе журналы и, по крайней мѣрѣ, три-четыре газеты.

Не прошло и часу, какъ они — Бавинъ и Елатомскій—сидѣли въ трактирѣ за чайнымъ столикомъ. Поло-

вой принесъ порцію чаю, завелъ органъ, положилъ имъ на столъ газеты и спросилъ: — Не потребуется ли еще чего?

Елатомскому хотѣлось говорить, онъ былъ радъ, что Бавинъ рѣшился въ трактиръ идти.

Странное дѣло: Елатомскому почему-то вообразилось, что Бавинъ почувствовалъ, наконецъ, потребность сойти съ недосягаемыхъ высотъ и по-дружески, по-юношески, задушевно, искренно переговорить съ нимъ, и самому ему хотѣлось пріятельской бесѣды, той бесѣды, которая такъ часто была для него отрадой въ сообществѣ студента и друга его, Игнатьева. Онъ думалъ, что Бавинъ не даромъ рѣшился на такой подвигъ—идти въ трактиръ, и что съ этой минуты начнется ихъ интимность, ихъ сближеніе. Но ничего подобнаго не случилось...

Бавинъ молча пилъ чай, молча курилъ, молча слушалъ музыку.

Елатомскій на стойкѣ трактирщика нашелъ старый № «Отечественныхъ Записокъ», и прочитавъ заглавіе: «Андрей Колосовъ»—Тургенева, захватилъ книжку, воротился на свое мѣсто и принялся читать.

Когда Бавинъ сталъ расплачиваться съ половымъ, Елатомскій, не поднимая головы и не отрывая глазъ отъ журнала, вынулъ изъ кармана двугривенный, выложилъ его на столъ и сказалъ:—Это моя доля.

Бавинъ сдѣлалъ видъ, какъ будто не слыхалъ его.

— Моя доля, повторилъ Елатомскій.

— Я тебя позвалъ, я тебя и угощалъ,—сказалъ Бавинъ.

Елатомскій, уже не возражая, преспокойно обратно къ себѣ въ карманъ положилъ двугривенный и опять принялся за чтеніе: но не прошло пяти минутъ, какъ онъ опустилъ журналъ къ себѣ на колѣни и сказалъ:

— Знаешь ли ты, Адріанъ, что я твой должникъ. Те-

перь май, а я еще и за апрѣль не заплатилъ тебѣ, по крайней мѣрѣ рублей двадцать. Меня это мучитъ. Если тебѣ нужны деньги, ради Бога, скажи: я займу и отдамъ тебѣ.

— У кого же ты займешь?

— Ну, у сестры займу.

— У Нины?

— Ну да, у Нины.

— Не смѣй!

— Ты знаешь, я пробавлялся все это время частными уроками, но пришло лѣто—и изъ трехъ уроковъ у меня остался одинъ.

— Знаю, но не смѣй занимать. Мнѣ деньги не нужны. Хоть совсѣмъ не плати мнѣ, — проговорилъ Бавинъ, и при этомъ ноздри его расширились, что̀ выражало полнѣйшее нежеланіе выслушивать возраженія.

Елатомскій задумался.

— Впрочемъ,—сказалъ онъ,—отецъ мнѣ пишетъ, что такъ какъ я еще безъ мѣста, то сто рублей онъ вышлетъ мнѣ съ первой почтой, если я только напишу къ нему. Стало быть...

— Стало быть, занимать тебѣ нѣтъ никакой необходимости. Если же тебѣ нужны деньги, возьми у меня, я не проживаю своего жалованья, и деньги у меня всегда есть лишнія.

— Спасибо, я знаю, что ты человѣкъ добрый. Когда-нибудь воспользуюсь добротой твоей, а теперь я... Вѣришь ли, Адріанъ, всякій разъ, когда ты молчишь, мнѣ кажется, что ты не доволенъ мной, дуешься на меня или...

— Или? ну, что̀—или?

— Или ты сердитъ на меня, или влюбленъ.

— Я прошу тебя, — холодно отвѣтилъ Бавинъ,—никогда мнѣ не говорить этого слова «влюбленъ». Я не

могу выносить его. Прощай. Ты останешься читать? Разскажи мнѣ, если найдешь что-нибудь интересное.

Бавинъ ушелъ. Елатомскій остался, спросилъ сигару и расположился на диванѣ самымъ комфортабельнымъ образомъ.

Прочтя «Андрея Колосова», Елатомскій, подъ вліяніемъ разсказа, на полчаса точно оцѣпенѣлъ. Что̀ же я такое!— думалъ онъ.—Отдѣлался ли я отъ фразы? Въ силахъ ли противиться мелкому самолюбію, «мелкимъ хорошимъ чувствамъ»? Зачѣмъ я продолжалъ ходить къ Меркуличамъ, когда замѣчалъ, что страсть разгорается въ сердцѣ неопытной, молоденькой дѣвушки. А! мнѣ было пріятно, это льстило моему мелкому, скверному самолюбію. Я считалъ долгомъ на каждый взглядъ ея отвѣчать такимъ же долгимъ, глубокимъ взглядомъ, на каждое пожатіе руки, такимъ же пожатіемъ. Для чего я все это продѣлывалъ? Вѣдь у меня не хватитъ храбрости ни соблазнить ее, ни жениться на ней, ни на всегда, подобно Колосову, прекратить наши свиданія. Гдѣ же это простое, естественное, здоровое отношеніе къ жизни! И неужели все естественное въ насъ до такой степени рѣдко, что Тургеневъ «необыкновенными людьми» называетъ людей естественныхъ! Въ самомъ дѣлѣ кто изъ насъ естественъ? Бавинъ? Но вся жизнь его противоестественна. Видишь, не любитъ слова «влюбленъ»! Точно не такой же, какъ и всѣ мы, смертные. Не изъ тѣхъ же костей и не изъ того же мяса! А Нина? Неужели она естественна? Развѣ она не играетъ роли? Ахъ, нарочно скажу ей, что я влюбленъ и хочу жениться. Что-то она мнѣ наговоритъ по этому поводу?

Бавинъ, покинувъ въ трактирѣ своего сожителя, пошелъ домой. Смерть оттого и страшна, оттого и пугаетъ, что не выдаетъ глубочайшихъ тайнъ своихъ. А любовь, первая въ жизни любовь Бавина, несмотря на всю его

рефлексію, несмотря на то, что онъ изучалъ это чувство теоретически, была для него то же, что̀ и смерть—полна неизвѣданныхъ тайнъ — и онъ часто трусилъ. Вотъ почему онъ почти обрадовался, когда незамѣченнымъ прошелъ мимо одного флигелька, съ отворенными окнами.

Нина была дома; хотя она почти была увѣрена, что «бука» не заглянетъ къ ней, но на всякій случай (чѣмъ чортъ не шутитъ) рѣшилась весь этотъ день ждать его.

Бавинъ же, воротившись домой, принялся за приготовленіе билетовъ для предстоящаго экзамена. Окончивъ эту работу къ вечеру, одинъ напился чаю, покормилъ своего Карая и пошелъ пошляться на свѣжемъ воздухѣ. Онъ уже придумалъ, что̀ онъ скажетъ Нинѣ, и встрѣча съ нею начала менѣе пугать его. Но ни на бульварѣ, ни на улицахъ онъ ее не встрѣтилъ.

Медленными шагами воротился онъ домой и рѣшилъ весь слѣдующій день посвятить тому, чтобы написать письмо къ брату Ивану, и въ этомъ письмѣ, во-первыхъ, описать ему Нину такъ, какъ онъ ее понимаетъ; во-вторыхъ, признаться ему, что онъ ее любитъ, и что она отвѣчаетъ ему на любовь его; въ-третьихъ, передать ему все, что по этому поводу возникнетъ въ головѣ его и, наконецъ, просить совѣта, узнать его мнѣніе.

Братъ его, Иванъ, былъ годомъ старше Адріана, но они вмѣстѣ вступили въ университетъ, по различнымъ факультетамъ, и вмѣстѣ вышли первыми кандидатами. Иванъ жилъ въ деревнѣ, вмѣстѣ съ старшею сестрою своею, писалъ диссертацію на магистра и присматривался къ быту крестьянъ. Онъ былъ такой же гегелистъ, какъ и Адріанъ, у него была та же отвлеченная подкладка, но это былъ другой человѣкъ, болѣе живой, менѣе сосредоточенный: на жизнь глядѣлъ онъ проще и мирился со многимъ изъ того, съ чѣмъ не мирился братъ его. Не-

смотря на нѣкоторую разность въ характерахъ, это были примѣрные друзья. Все, что̀ читалъ Иванъ, непремѣнно читалъ и Адріанъ; все, что̀ дѣлалъ Иванъ, Адріану казалось разумнымъ и цѣлесообразнымъ въ высшей степени. Споря съ другими, они съ другъ другомъ никогда почти не спорили. Когда говорилъ Иванъ, Адріанъ молчалъ и только головой покачивалъ. Когда говорилъ Адріанъ, Иванъ глядѣлъ на него исподлобья, но глядѣлъ одобрительно и тоже молчалъ.

Сестра ихъ Анна была дурна собой, но не глупа, и, подъ вліяніемъ братьевъ, иногда казалась экзальтированной дѣвушкой. Она жила въ деревнѣ, окруженная старухами-тетками, племянницами и старыми лакеями. Она сама учила читать своихъ горничныхъ и оберегала ихъ нравственность.

Рѣшась писать къ Ивану, Адріанъ весь слѣдующій день посвятилъ на то, чтобы съ нимъ заочно бесѣдовать. Никто не мѣшалъ ему. Елатомскій пропалъ—и даже не ночевалъ дома.

Исписавъ чуть ли не цѣлую тетрадь, Бавинъ, въ заключеніе, просилъ Ивана дать прочитать сестрѣ Аннѣ письмо его и извѣстить, ка̀къ она на это посмотритъ и ка̀къ отзовется...

Между тѣмъ, Эвина ждала Бавина, ждала и вышла изъ терпѣнья.

«Хоть бы Елатомскій зашелъ!» думала она: «чортъ его знаетъ, гдѣ онъ таскается!»

На третій или четвертый день, послѣ ея романической выходки, около двѣнадцати часовъ, въ самый жаръ, она надѣла шляпку и пошла гулять, въ надеждѣ встрѣтить, если не Бавина, то хоть Елатомскаго.

Бавина она не встрѣтила, а встрѣтила Елатомскаго въ Пале-Роялѣ.

— Ну, что̀ твой бука?—спросила она его.

— Ничего, все такой же, впрочемъ, я нынче еще не видѣлъ его. Я ночевалъ на дачѣ Ланжерона у австрійскаго консула.

— Какія все у тебя знакомства странныя! Въ католическую вѣру, что ли, ты хочешь перейти? Въ ея голосѣ слышалась досада. Ей было досадно, что она ничего не узнала объ Адріанѣ, и что онъ, этотъ Адріанъ, *все такой же*.

— Ты, кажется, опять, братъ Владиміръ, ничего не дѣлаешь?

— Ничего не дѣлаю,—простодушно отвѣчалъ Елатомскій.

— И тебѣ не грѣхъ такъ губить свою молодость?

— А ты научи меня, что мнѣ дѣлать.

— Работать! работать! работать! Работать такъ, какъ работаетъ Бавинъ.

— Гм!...

«Сказать ей или нѣтъ»,—подумалъ Елатомскій, «до какой степени безплодно его профессорство, и какъ никто изъ студентовъ не понимаетъ ни слова изъ того, что онъ читаетъ имъ. Нѣтъ, это будетъ сплетня. Пусть онъ самъ ей это скажетъ».

Пока онъ думалъ, Нина Александровна сперва прищурилась, потомъ приставила къ глазамъ лорнетъ, и изумленіе, похожее на испугъ, выразилось на лицѣ ея.

На встрѣчу къ нимъ шелъ толстый, высокаго роста баринъ, глазастый, усастый, человѣкъ лѣтъ сорока семи или пятидесяти, въ синемъ галстукѣ, и съ массивною золотою цѣпочкою, которая выглядывала изъ-подъ разстегнутыхъ петель его венгерки. Шелъ онъ, пыхтя и переваливаясь; на немъ была соломенная шляпа, изъ грубой соломы, очевидно, фабрикованная тверскими крестьянами. Издѣлія изъ русской соломы тогда были въ модѣ у нѣкоторыхъ тверскихъ помѣщиковъ.

Эвина узнала въ немъ нѣкоего Сызранова, Андрея Потапыча, сосѣда по имѣнію мужа, и довольно частаго посѣтителя московскаго дома ихъ. Не успѣла она опустить лорнетъ, какъ уже Сызрановъ басилъ:—Ба, ба! какими судьбами... въ Одессѣ!... Нина Александровна! Васъ ли я вижу?

Елатомскій, повинуясь рукѣ своей спутницы, пріостановился и сталъ смотрѣть на незнакомаго ему барина.

— Что же тутъ мудренаго, что я въ Одессѣ,—отвѣчала, смѣясь и краснѣя, Нина. Я птица вольная, куда хочу, туда лечу. А вотъ вы, скажите-ка мнѣ, вы-то зачѣмъ привезли сюда желудокъ свой?

— Какъ желудокъ?! Ха, ха!—не одинъ желудокъ, я и весь къ вашимъ услугамъ.

— Или уже у Матерна *) ветчина стала никуда не годная, или въ московскомъ англійскомъ клубѣ обѣдъ сталъ плохъ, или вашъ собственный поваръ спился и, вмѣсто борщу, сталъ подавать какую-то бурду?

— Что вы, что вы? ха, ха, ха!

— Такъ зачѣмъ же вы пріѣхали, если въ Москвѣ, по части гастрономической, все обстоитъ благополучно?

Сызрановъ выпучилъ на нее и безъ того выпуклые каріе глаза, точно она его удивила, и захохоталъ.

— Вы все такая же насмѣшница! Ну, что вы?—какъ вы?

— Живу, какъ видите...

— И хорошѣете?

— И хорошѣю.

— Позвольте вамъ рекомендовать одного изъ моихъ друзей, Владиміра Григорьевича Елатомскаго.

Елатомскій сухо ему поклонился. Сызрановъ протя-

*) Колбасная Матерна—на Моховой—въ то время въ Москвѣ одна изъ лучшихъ.

нулъ ему свою потную, мясистую руку, и пробурчалъ: честь имѣю рекомендоваться!

— А я по одному дѣлу здѣсь, заговорилъ онъ, обращаясь къ Эвиной. Продаю свои крымскіе виноградники. Ну, да что о дѣлахъ... всѣ дѣла — вздоръ, вытертаго гроша я не дамъ за нихъ. А вотъ что: нельзя ли намъ гдѣ-нибудь позавтракать, почтеннѣйшая! я только-что пріѣхалъ и точно въ лѣсу. Выручите, голубушка, поведите меня, укажите гдѣ можно всѣмъ намъ втроемъ, во славу Божію и душѣ во спасеніе, позавтракать.

— Надо, надо помочь вамъ душу спасти, надо! пойдемте, я вамъ покажу.

И она пошла по направленію къ англійской гостинницѣ. Елатомскій неохотно пошелъ съ ними рядомъ.

— Вотъ вамъ подъѣздъ и стеклянная дверь. Здѣсь вы найдете и устрицы, и стразбурскіе пироги, и портеръ, и даже шампанское.

— Нѣтъ, ужъ извините! коли такая неожиданная встрѣча, я скоро съ вами не разстанусь. Приглашаю васъ, сударыня, и васъ, милостивый государь, вмѣстѣ позавтракать и при этомъ распить одну-другую бутылочку шампанеи. Это уже какъ вы хотите!

Нина подумала и согласилась. Ей очень хотѣлось, во-первыхъ, вывѣдать отъ этого барина: что̀ ея мужъ? всѣ ли тамъ живы, и отдана ли въ институтъ дочь ея? во-вторыхъ, ей хотѣлось съ нимъ посовѣтоваться на счетъ денегъ, высылаемыхъ мужемъ, нельзя ли, чтобъ онъ, вмѣсто 1000 руб. въ годъ, высылалъ ей полторы.

— Пойдемте! — сказала она Елатомскому: не «пойдемъ», а «пойдемте». Явно не хотѣлось ей, чтобъ старый пріятель ихъ дома, человѣкъ стараго покроя, Богъ знаетъ чего не подумалъ объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, если бы при немъ она сказала Елатомскому «пойдемъ».

Елатомскій извинился, сказалъ, что онъ завтракалъ, и что у него голова болитъ.

Эвина, уцѣпившись за руку сосѣда, повела его выручать.

«Ну, а этотъ гусь, въ какую вѣру будетъ тебя обращать!»—подумалъ Елатомскій, оставшись одинъ на тротуарѣ, въ тѣни отъ стѣнъ высокаго трехъ-этажнаго зданія съ балкономъ надъ воротами. «Не устояла-таки! А вѣдь, какъ острила надъ нимъ, какими сарказмами его встрѣтила!

«Нѣтъ совершенства на землѣ! И ты даже не совершенство, сестра моя! Странно! отчего моя дружба къ ней не приноситъ мнѣ прежней отрады. Неужели я въ одинъ годъ такъ состарѣлся! Впрочемъ, пусть она себѣ завтракаетъ съ кѣмъ хочетъ и за здоровье московскихъ помѣщиковъ пьетъ шампанское!»

Съ этими мыслями, завернулъ онъ къ Тотти, въ книжный магазинъ.

XVII.

Въ гостинницѣ «Англія», въ комнатѣ съ балкономъ, изъ аристократической гостиной превратившейся въ публичную столовую, стояли диваны, стулья, ломберные столы и небольшіе круглые накрытые столики.

Эвина и Сызрановъ, плотно закусили, толкуя о Москвѣ, о гувернанткѣ, которая замѣнила у г-на Эвина мѣсто г-жи Эвиной, объ институтѣ, о долгахъ и о прочихъ вещахъ, болѣе или менѣе ихъ интересовавшихъ.

Посѣтителей было не много. Изъ нихъ Хавазовъ, Захаръ Николаевичъ, и Сашинъ, Иванъ Ивановичъ, были уже знакомы Нинѣ Александровнѣ, такъ какъ, съ мѣсяцъ тому назадъ, были ей представлены (разумѣется—на улицѣ), и нерѣдко съ тѣхъ поръ встрѣчаясь, подхо-

дили къ ней, и, повидимому, находили нѣкоторое удовольствіе съ нею бесѣдовать, особенно Сашинъ, приземистый толстякъ, широколицый, голубоглазый, съ маленькимъ тупымъ носикомъ и маленькимъ дѣтскимъ ротикомъ, особенно расположенъ былъ къ Эвиной, послѣ того, какъ выпилъ у ней чашку чая и, по душѣ, вдоволь, наговорился съ нею.

Хавазовъ отличался грубо-энергическимъ выраженіемъ лица, длиннаго, какъ лошадиная морда, громкимъ голосомъ и безцеремоннымъ смѣхомъ. Голова его была острижена подъ гребенку, густые волосы торчали на ней, какъ щетка. Мужиковато сложенный, онъ щеголялъ бѣльемъ и большими ногтями, которые были обточены по модѣ, въ видѣ большихъ розовыхъ миндалинъ. Судя по нѣкоторымъ примѣтамъ, онъ игралъ не послѣднюю роль въ одесскомъ обществѣ.

Поздоровавшись съ Эвиной и познакомившись съ Сызрановымъ, онъ тотчасъ же спросилъ его: довольны ли помѣщики тверскимъ губернаторомъ, и, узнавши, что довольны, принялся костить его, за то, что онъ (двоюродный братъ его) помѣшался на политической экономіи и не умѣетъ хозяйничать, мечтаетъ о какихъ-то бульварахъ, а по тротуарамъ ходить нельзя.

Затѣмъ, онъ спросилъ порцію бифштекса, и, ужъ Богъ знаетъ по какому поводу, принялся пушить лакея или кельнера—единственнаго русскаго, который имъ прислуживалъ. Вѣроятно, ему не нравилось его хмурое, блѣдно-испитое лицо и гордая, неулыбающаяся физіономія.

Усѣвшись за отдѣльный столикъ, онъ тотчасъ же снялъ съ прибора салфетку, подозвалъ къ себѣ этого кельнера и, ткнувъ пальцемъ въ тарелку, внушительно спросилъ его, отчего не чиста тарелка?

— Тарелка чиста, отвѣчалъ Кельнеръ.

— А я тебѣ говорю, что не чиста, жирными пальцами захватана. Смотри!

Кельнеръ, молча, взялъ тарелку, посмотрѣлъ ее на свѣтъ и поставилъ на прежнее мѣсто.

— Ахъ ты, негодяй этакій! Скотъ! Прими, говорю тебѣ, вымой ее, или принеси другую.

Кельнеръ взялъ тарелку, вышелъ въ другую комнату, поплевалъ на нее, вытеръ салфеткой и принесъ ее обратно.

— Ты у меня смотри, братъ!—взъѣлся на него Хавазовъ, ты у меня не слишкомъ!.. Знаю я васъ! чай, также бѣглый! А что, если я у тебя паспортъ спрошу?

— Можете спросить,—отвѣчалъ кельнеръ и, не обращая вниманія на слова его, подалъ Сызранову прейсъкурантъ и, перекинувъ салфетку на руку, однимъ ухомъ выслушалъ его приказаніе—поставить въ ледъ двѣ бутылки шампанскаго.

— Да что въ самомъ дѣлѣ!—шумѣлъ Хавазовъ, обращаясь уже не къ кельнеру, а къ Ивану Ивановичу Сашину, который смотрѣлъ на него съ оттѣнкомъ нѣкотораго соболѣзнованія.—Что это въ самомъ дѣлѣ! Отъ кавказскихъ побѣдъ его сіятельства намъ тутъ ни тепло, ни холодно. А что онъ распустилъ народъ, такъ намъ отъ этого не легче. Вотъ, я увѣренъ, что этотъ каналья — бѣглый. Извѣстно, что бѣглымъ здѣсь лафа! Ихъ тутъ чуть не на рукахъ носятъ. Тысячами они проживаютъ здѣсь, какъ у Христа за пазухой. Я самъ,—вы только меня спросите— я самъ своего собственнаго бѣглаго, Митьку сапожника, на базарѣ встрѣтилъ. Тому назадъ лѣтъ пять изъ деревни бѣжалъ. Каналья! Ну, я, разумѣется, его, друга милаго, за шиворотъ. Вотъ ты гдѣ!—говорю, препроводить его въ полицію, мой крѣпостной, бѣглый, говорю, Митька Егоровъ. И что̀ вы думаете отвѣтилъ мнѣ квартальный:—«Мы, говоритъ, этого не можемъ знать, и брать

мы его также не можемъ, не «приказано», говоритъ. Такъ и упустилъ. Это порядокъ по-вашему?! Давать полиціи наживаться, такъ какъ она несомнѣнно порядочную подать собираетъ съ нихъ! Это—порядокъ!

И челюсти его при этомъ пришли въ движеніе. Это было видно по движенію его подбородка, по подергиванью личныхъ его мускуловъ. Явно, что злость его душила.

— Всякому хочется быть на свободѣ, также какъ и вамъ,—замѣтила Эвина.

— Съ чего вы это взяли, что я на свободѣ? я такой же крѣпостной человѣкъ на службѣ, какъ и всякій Митька, Филька, Петька. Я развѣ смѣю бѣжать изъ присутствія или уѣхать за-границу безъ отпуска?

— Службу вы можете оставить, если пожелаете, — замѣтилъ Сашинъ. Кто же не знаетъ, что вы, Захаръ Николаевичъ, и крѣпостной,—большая разница.

— Я и безъ васъ знаю, что я не холопъ. Ну, что же дальше?

— Вашему Митькѣ,—вмѣшалась Нина Александровна,—надоѣло у васъ служить и онъ вышелъ въ отставку по своему, т.-е. бѣжалъ отъ васъ.

— А вамъ это, я вижу, нравится!? Э! вотъ вы что изволите проповѣдывать!—уже работая ножемъ и вилкой, рычалъ Хавазовъ.—А небось, если завтра ваша горничная сбѣжитъ, да некому будетъ воды подать или тамъ юбку выгладить, что̀ вы скажете?

— Найму другую.

— Покорно васъ благодарю! Мы сами знаемъ, что можно нанять вольную, попробуйте. Наймите вольную, она завтра же васъ обокрадетъ и—гм! хорошо сдѣлаетъ. Не либеральничайте, особливо въ публичномъ мѣстѣ. Либеральничайте гдѣ-нибудь тамъ у себя, за ширмами, а то не ровенъ часъ... Такъ разсуждать, значитъ и женамъ позволять бѣгать отъ мужей своихъ.

Эвина поняла намекъ, но не потерялась.

— Да онѣ это и безъ вашего позволенія дѣлаютъ,— сказала она, смѣясь. — Вотъ, попробуйте только — женитесь.

— Нечего пробовать!—проворчалъ Хавазовъ, выпивая рюмку хереса (онъ былъ женатъ на какой-то княжнѣ и былъ въ разводѣ съ женой своей).—Чортъ знаетъ, что за время!—продолжалъ про себя ворчать Хавазовъ и затѣмъ какъ будто сталъ потише. «Что мнѣ съ ней связываться»,—подумалъ онъ:—«не ругаться же съ нею. Баба задорная».

Минутъ десять продолжалось молчаніе. Кельнеръ съ гордой физіономіей принесъ бутылку шампанскаго и, откупоривъ ее, сталъ сверкающею пѣной, въ нѣсколько пріемовъ, наполнять бокалы Эвиной и Сызранова.—Еще два бокала шепнулъ Сызрановъ, и когда они были поданы, налилъ и велѣлъ поднести ихъ Сашину и Хавазову.

— Это прохладительное, не угодно ли, господа.

— Покорно васъ благодарю,—сказалъ Хавазовъ, кивнувъ головой. Я отъ шампанскаго никогда не отказываюсь.

— Ваше здоровье!—сказалъ Сашинъ, встрѣтясь глазами съ глазами Эвиной и слегка выдвинувъ впередъ блинообразное лицо свое.

— А здоровъ ли Елатомскій? — спросилъ онъ, выпивши бокалъ и утеревши салфеткой маленькій ротикъ свой.—Я что-то давно уже не встрѣчалъ его. Что онъ дѣлаетъ?

— Работаетъ и, кажется, собирается служить,—отвѣчала Эвина.

— Служить!—подхватилъ Хавазовъ. — Служить! молодо еще, зелено. Еще молоко на губахъ не обсохло.

— А вы какихъ лѣтъ поступили на службу?

— Я никогда не былъ такимъ фатишкой, какъ этотъ

вашъ Елатомскій; ходитъ, точно ему и чортъ не братъ, точно звѣзду получилъ или аренду. Съ самимъ его превосходительствомъ, г. Фабромъ говоритъ такъ, какъ будто это какой-нибудь титулярный совѣтникъ. Куда ему служить! порядочнаго носового платка нѣтъ въ карманѣ, а туда же!

— По вашему, все достоинство человѣка заключается въ его носовомъ платкѣ, да въ умѣньѣ иначе говорить съ генераломъ, чѣмъ съ титулярнымъ совѣтникомъ?

— Да, конечно! кто хочетъ служить, тотъ долженъ для службы и воспитать себя. Не знаю, да и знать не хочу, какія тамъ у васъ дружескія отношенія, но только— *швахъ* вашъ Елатомскій. Швахъ, швахъ! — повторилъ онъ. — Я думаю, заставь его дѣловую бумагу написать, онъ, вмѣсто запятыхъ, вездѣ восклицательные знаки поставитъ. Какой это ученый! помилуйте! Вотъ этотъ Бавинъ, ну, это... да, это ученый—только глупъ.

Эвина вспыхнула.

— Бавинъ глупъ!

— Да какъ же! Сынъ дворянскаго предводителя, помѣщикъ—и въ профессора полѣзъ. Ха, ха! Карьера, нечего сказать! нашелъ по-себѣ карьеру! Все хочется, знаете, удивлять, звѣзды съ неба хватать, и ничего не схватишь. Ну, да что̀ говорить—экцентрикъ, съ дѣтства такой.

— А вы знали его съ дѣтства?

— А вы думаете нѣтъ! Моего родного дяди имѣніе было по сосѣдству съ этими Бавиными. Я также когда-то наѣзжалъ туда. Знавалъ ихъ — этихъ Бавиныхъ-то, еще мальчуганами; точно арестанты, въ сѣренькихъ курточкахъ бѣгали. Ха! Разъ, прочли они, знаете, какую-то древнюю греческую исторію. Ну, и вообразили себѣ, что они спартанцы. Кузены мои, какъ, бывало, ни поѣдутъ къ нимъ, непремѣнно вернутся избитыми. Разъ я самъ засталъ

ихъ на озерѣ. Раздѣлись это они до-гола, и ну лупить, ну лупить другъ друга хворостинами, и по бокамъ, и по спинѣ, и по всему прочему. Что вы тутъ, говорю, дѣлаете? Съ ума, что ли, спятили! А мы, говорятъ, учимся терпѣть, физическія страданія выносить безъ слезъ и жалобы. Ха, ха! Ну, совсѣмъ дураки! Я и говорю, такъ ужъ дайте мнѣ, я васъ великолѣпнѣйшимъ образомъ высѣку. Нѣтъ, говорятъ, мы и безъ васъ обойдемся. Ха-ха-ха!.. И такъ-то они, эти милые братцы, каждый день другъ друга изволили подчивать по-спартански. Ха, ха!

«Какъ это, однако, похоже на нашего буку»,—подумала Эвина: «пріучать себя къ страданію! какъ это на него похоже!»

— Что же тутъ глупаго или смѣшного?—продолжала она вслухъ. Мы всѣ такіе дряблые именно потому, что чего-то спартанскаго недостаетъ въ нашемъ воспитаніи.

— Ну, да вы не только за Елатомскаго, вы и за Бавина готовы заступаться. Всѣ вы, я вижу, одного поля ягоды!

— Ну да, одного поля.

— Женится-перемѣнится.

— Кто же женится!

— Какъ кто? А Елатомскій! что вы такъ на меня смотрите? Я же вамъ говорю, женится, и, можетъ быть, кое-какія денежки перепадутъ. Губа-то не дура, даромъ что либералъ! ха-ха-ха!

Когда Хавазовъ смѣялся, онъ открывалъ верхніе, клыкастые зубы, и смѣхъ его былъ какой-то короткій, ѣдкій смѣхъ. Въ немъ выражалась не веселость, а скорѣй насмѣшка и недоброжелательство. Онъ вѣрилъ сплетнѣ, что Эвина—метресса Елатомскаго, и вообразилъ себѣ, что слова его непремѣнно задѣнутъ ее за-живое, разбередятъ раны ея сердца, въ самое чувствительное мѣсто поразятъ ее—и былъ совершенно счастливъ.

— Какъ же! какъ же! — повторилъ онъ: — полъ-Одессы объ этомъ кричитъ, а вы не знаете.

— Не знаю...

Эвина, дѣйствительно, была поражена этимъ извѣстіемъ и машинально сразу допила бокалъ свой.

— И знаете! что всего интереснѣе, женится на дочери перваго въ Одессѣ плута и мошенника. Хорошъ либералъ!

— Тсс! что вы это такъ? — испуганно пробурчалъ вполголоса Сашинъ. — Онъ, можетъ быть, тутъ, въ сосѣдней комнатѣ...

— А хоть бы и въ сосѣдней комнатѣ! Да я ему и въ глаза скажу, что онъ мошенникъ и плутъ. Не безпокойтесь, на дуэль не вызоветъ. Знаемъ мы его, друга любезнаго. Взялся выстроить амбары для казеннаго хлѣба... Каналья! Потолки провалились, году не выдержали. Подрядчикъ! Я бы его на первую осину, да и архитектора бы вмѣстѣ съ нимъ за-одно, чтобъ имъ не скучно было.

— Кто же это такой?—просила Эвина.

— Кто такой? Скажи вамъ! Вы, знаю я васъ, вы еще, чего добраго, свадьбу разстроите.

— Если глупъ, пусть женится, я мѣшать не стану,— съ досадой произнесла Эвина.

— А почему-жъ бы это: «если глупъ»? А по-моему, умнѣе онъ ничего во всю свою жизнь не придумаетъ. Выведутъ его, друга сердечнаго, на практическую дорожку. Университетскую-то фанаберію немного повытрясутъ и пойдетъ человѣкъ — наживетъ себѣ этакій капитальчикъ—тысчёнокъ въ 40, въ 50, какого же ему еще рожна, съ позволенія сказать! Вѣдь не на княжнѣ же Гагариной или Долгорукой ему жениться!

И, закуривъ сигару, онъ вышелъ на балконъ, разставилъ ноги, заложилъ руки подъ сюртукъ за спину и

сталъ смотрѣть на жаркую улицу, потомъ опять вошелъ въ комнату, поклонился Эвиной, насмѣшливо оскалилъ зубы, попросилъ у ней извиненія за непріятную новость и вышелъ.

Затѣмъ, минутъ пять или шесть слышно было, какъ онъ у буфета съ кѣмъ-то, за что-то бранился и кого-то называлъ свиньями.

— Ненавижу такихъ людей,—проговорила Эвина.

— Отчего?—спросилъ Сызрановъ, которому, напротивъ, Хавазовъ очень понравился.

— Иванъ Ивановичъ, что вы такъ сидите,—проговорила Эвина, закуривая пахитосу. — Выпейте-ка еще бокальчикъ! Вотъ вамъ стулъ, присядьте къ намъ.

Иванъ Ивановичъ перевалился съ своего кресла на предложенный стулъ и сталъ краснымъ фуляровымъ платкомъ вытирать потное, какъ-бы расплывшееся лицо свое.

— Вы знаете,—спросила Эвина,—на комъ это женится Елатомскій, или онъ вретъ, дуракъ!

— Я знаю, кого онъ разумѣлъ,—отвѣчалъ задумчиво Сашинъ.—Это онъ про Меркулича говоритъ. У него есть дочка Зоя, не дурна собой. Что же касается того, вѣрить или не вѣрить—то кто же вѣритъ! Одесса только тѣмъ и живетъ, что питается всякими сплетнями. Тутъ и меня уже раза четыре женили и переженили. Меня-то-съ!! Вы поглядите-ка на меня хорошенько. Какая дура пойдетъ за меня. Два раза на Сакскія грязи ѣздилъ, съ единственной цѣлью похудѣть! Другіе возвращаются—кожа да кости, а меня все претъ да претъ. Ну, и начинаю пить съ горя. Пью, пью и хоть бы что! Другимъ весело, а мнѣ плакать хочется. Думалъ повѣситься, но я и этого не могу. Шеи нѣтъ. Гдѣ у меня шея? Вотъ подбородокъ, а вотъ другой, а подъ галстукомъ еще третій. Неудобно-съ. Утопиться тоже не могу. По водѣ, какъ пузырь, плаваю.

Все это Сашинъ говорилъ, улыбаясь, но что-то дѣйствительно горькое и грустное просвѣчивалось въ голубыхъ глазахъ его. Полная дисгармонія души и тѣла такъ и отзывалась въ его голосѣ, такъ и отпечатывалась на его физіономіи.

Душою онъ былъ маленькій Гамлетъ, тѣломъ — маленькій Фальстафъ. У него было нѣжное, романически настроенное сердце, онъ часто не ѣлъ, не пилъ по цѣлымъ суткамъ, и все-таки издали походилъ на комъ двигающагося человѣческаго жиру. Ему хотѣлось чуть не летать, а между тѣмъ, тридцати лѣтъ отъ роду, онъ, не задыхаясь, не могъ взойти ни на какую лѣстницу. Онъ влюблялся, а умныя барыни дарили его за это своей дружбой, и эта дружба только увеличивала томленіе души его.

XVIII.

Въ комнату, гдѣ они сидѣли и, слегка выпытывая другъ друга, бесѣдовали, вошелъ молодой человѣкъ, средняго роста. Одѣтъ онъ былъ по-лѣтнему, въ платье изъ англійской парусины, которая, какъ-бы выглаженная утюгомъ, мѣстами лоснилась. На одной рукѣ его была замшевая надорванная перчатка. Онъ опустилъ на столъ свою соломенную шляпу, взглянулъ на всѣхъ, кивнулъ курчавой головой своей Ивану Ивановичу Сашину, сѣлъ поодаль за столикъ, положилъ на него хлыстикъ свой и велѣлъ подать себѣ кофе. Во всемъ этомъ не было ничего необыкновеннаго, но Эвина тотчасъ же поняла, что это джентльменъ самаго высшаго качества.

Онъ былъ смуглъ,—смуглѣе Бавина. Маленькіе бакенбарды и черная раздвоенная бородка оттѣняли не совсѣмъ правильное, цыганское лицо его.

— Кто это?—спросила Эвина.

— А это нѣкто графъ Гикель, бессарабскій помѣщикъ,—началъ Иванъ Ивановичъ, почти у самаго рукава ея, таинственно шевеля своими пухлыми, совершенно дѣтскими губками. — Это графъ Гикель. Года два тому назадъ онъ былъ въ Одессѣ и блисталъ, проживалъ чуть-ли не сотни тысячъ, лукулловскіе обѣды задавалъ и по вечерамъ у него подъ балкономъ играла музыка. Теперь онъ нищій, продулся въ пухъ, и у него ни гроша. А все-таки вездѣ онъ принятъ; онъ любезенъ, смѣлъ и отваженъ, какъ никто.

— Познакомьте меня съ нимъ.

— Зачѣмъ?—удивился Сашинъ.

— Какъ зачѣмъ?

— Да развѣ съ вами надо любезничать?—Нѣтъ, не познакомлю.

— Чѣмъ же онъ живетъ?

— А на счетъ нашихъ барынь. Барыни его кормятъ, поятъ, одѣваютъ, обуваютъ, можетъ быть, даже спать укладываютъ. Такой человѣкъ нигдѣ не пропадетъ.

Какъ ни шепталъ Сашинъ, графъ Гикель повернулъ голову въ его сторону, слегка приподнялъ брови, скривилъ губы и усмѣхнулся.

— Вы, кажется, мнѣ завидуете, Иванъ Ивановичъ?

Сашинъ растерялся. Онъ повернулся къ нему не однимъ сконфуженнымъ лицомъ своимъ, повернулся всѣмъ своимъ туловищемъ, и такъ неестественно быстро, что одна ножка у стула подломилась, и онъ бы непремѣнно грохнулся на полъ, если бы не ухватился за руку Эвиной. Эвина сама чуть не упала и расхохоталась. Сызрановъ тоже.

— Я, графъ... вы не такъ меня поняли,—началъ Сашинъ, задыхаясь: я... я... совсѣмъ не въ томъ смыслѣ. Ради Бога не сердитесь!

— И не думаю сердиться,—отвѣчалъ графъ, отхле-

бывая изъ чашки кофе и веселыми глазами исподлобья покосившись на Нину Александровну.

— Такъ какъ вы встали, Иванъ Ивановичъ,—сказала Эвина, то и я встану. Мнѣ пора, засидѣлись мы здѣсь.

Но Иванъ Ивановичъ сѣлъ на другой стулъ, поближе къ графу и казался растеряннымъ.

— Какъ же мы въ такой жаръ пойдемъ!—глухо басилъ Сызрановъ. — Не дождаться ли мнѣ здѣсь обѣда? Вѣдь, чай, и обѣдать скоро! Вотъ я тутъ гдѣ-нибудь прилягу, дождусь пяти часовъ, а потомъ подъ вечерокъ выйду поразмяться на свѣжемъ воздухѣ.

Гордый кельнеръ молча вынесъ сломанный стулъ и пришелъ за расчетомъ.

— Я за стулъ заплачу,—сказалъ ему Сашинъ.

— Какъ я радъ, что вы не упали, — сказалъ ему графъ.

— А я, знаете, чему не радъ, — сказалъ ему Сашинъ,—вы такой гордый человѣкъ, что даже сердиться на меня, какъ слѣдуетъ, не почли за нужное.

— Я гордъ, а вы самолюбивы,—милѣйшій мой Иванъ Ивановичъ!

— Счастливая у васъ комплекція.—Завидую я вамъ. Дайте мнѣ сегодня сто тысячъ рублей, и я ни на волосъ не буду ни веселѣе, ни счастливѣе.

— Вò-она! — пробасилъ Сызрановъ, это вы все на толщину-то свою жалуетесь. А я развѣ не толстъ. Я, батюшка вы мой, тоже махина порядочная, а дайте-ка мнѣ сто тысячъ, такое колѣнце выкину, что мое почтеніе!

— Такъ вы остаетесь, Андрей Потапычъ? Ну, спасибо вамъ за новости... и за то, что вы человѣкъ добрый. — Надѣюсь, мы еще увидимся.—Пойдемте, Сашинъ!—Эвина надѣла шляпку, вмѣстѣ съ толстякомъ прошла буфетъ и спустилась на улицу.

XIX.

А въ это время Елатомскій сидѣлъ у Тотти, въ читальной комнатѣ.

Зналъ ли онъ, что въ англійской гостинницѣ шелъ о немъ разговоръ, и что ему порядочно досталось отъ его знакомца Хавазова?

Когда онъ пришелъ въ книжный магазинъ, синьоръ Тотти, молодой хозяинъ магазина, маленькій итальянецъ съ добродушнымъ лицомъ и пріятельскими ухватками, встрѣтилъ его особенно какъ-то радушно.

— Ба! г. Елатомскій, какъ вы кстати! Во-первыхъ, вотъ къ вамъ письмо, его занесла сюда какая-то барыня, а во-вторыхъ, не можете ли вы десять-двадцать минутъ посидѣть у меня въ магазинѣ и постеречь его. За мной присылала невѣста, мнѣ непремѣнно надо къ ней забѣжать.

Елатомскій взялъ письмо и сказалъ, что онъ посидитъ въ лавкѣ, но если придутъ покупатели, онъ скажетъ, что хозяинъ пошелъ къ невѣстѣ и сейчасъ придетъ.

— И прекрасно! такъ и скажите. Съ этимъ словомъ синьоръ Тотти схватилъ шляпу и выскочилъ на улицу.

Елатомскій распечаталъ письмо, прочелъ строчку и не понялъ,—прочелъ другую—и все понялъ. Сердце его болѣзненно сжалось. Письмо было отъ Зои. Вотъ оно слово въ слово:

Владиміръ Григорьевичъ!

«Вы, конечно, не знаете, отчего я плакала. Я плакала оттого, что люблю васъ. Мнѣ тяжело въ этомъ признаться, но вы это и сами знаете. Вы читали любовь мою въ глазахъ моихъ, и я читала ее у васъ въ глазахъ. Но вы не ошибались, а я ошибалась. Можетъ быть, я глупа,

но какова я—такова и любовь моя. Знаю, что вы на мнѣ не женитесь, хотя родители мои и желаютъ этого. Но не въ томъ горе, что вы не женитесь. Сердце мое говоритъ мнѣ, что вы уже у насъ не будете. И не приходите къ намъ—но если я найду случай и возможность видѣться съ вами, неужели вы мнѣ откажете? Клянусь! Я готова на всѣ муки и страданія, лишь бы видѣть васъ. Напишите мнѣ хоть одну строчку, я кого-нибудь зашлю къ вамъ за отвѣтомъ. Ахъ, если бы вы знали, какъ мнѣ горько! Я скоро выплачу глаза мои. Неужели нѣтъ никакой надежды? Кажется мнѣ, что какую-то надежду я прочла на вашемъ миломъ лицѣ, когда вы послѣдній разъ отъ насъ уходили. Вы добры. Вы не можете быть «героемъ нашего времени.»

Ваша на вѣки

З.»

Елатомскій не ожидалъ, чтобы даже и такъ могла выражаться Зоя, какъ она выражалась въ этомъ письмѣ. Очевидно, что страсть водила перомъ ея. Письмо показалось ему ясно и просто, оно тронуло его до глубины души. Онъ же былъ самъ нервенъ и впечатлителенъ, не лучше иной барышни. Зоя сказала ему правду: онъ не могъ быть героемъ своего времени.

Опустивъ въ боковой карманъ это любовное посланіе, онъ сѣлъ на табуретъ, закрылъ лицо руками и задумался.

Черезъ часъ (не раньше) явился хозяинъ, радостный, какъ женихъ и сіяющій, какъ солнце.

— Никого не было?—спросилъ онъ Елатомскаго.

— Никого.

— Ну, такъ и зналъ! такъ и зналъ, что никого! Плохо, чортъ возьми, я торгую! плохо! Плохой товаръ эти книги. А въ читальной комнатѣ никого не было?

— Никого.

— Право, только вы, да м-мъ Эвина и поддерживаете мою коммерцію.

Синьоръ Тотти былъ въ хорошемъ расположеніи духа. Елатомскій—напротивъ. Онъ скоро ушелъ въ читальную, взялъ на удачу первую, попавшуюся ему подъ руку, газету и сталъ читать. Попался № «Сѣверной Пчелы»; въ фельетонѣ Ѳ. Булгаринъ тѣшился надъ Гоголемъ. Ему стало противно. Онъ бросилъ газету прилегъ на диванъ и сталъ думать — не о Ѳ. Булгаринѣ и не о Гоголѣ.

«Какое глупое, чортъ возьми, положеніе», размышлялъ Елатомскій. «Если бы даже я безъ ума былъ влюбленъ въ нее, и тогда мнѣ было бы тяжело и страшно. Я не хочу быть ни Ловеласомъ, ни Печоринымъ. Я не хочу, не хочу!—Но что же мнѣ дѣлать!»

Вынувъ письмо Зои, онъ опять пробѣжалъ его. Опять сердце его сжалось, но на этотъ разъ онъ уже замѣтилъ примѣсь французскихъ буквъ, грамматическія ошибки и отсутствіе запятыхъ, но отнесея къ этому безъ всякой ироніи. Его подкупала ея любовь, — ея готовность на самоотверженіе—ея наивная откровенность.

А все-таки «*вѣчно любить невозможно*!» — припомнилъ онъ стихъ Лермонтова. Но что̀ же вѣчно? Вѣдь и жизнь не вѣчна—но кто же, какой звѣрь, какая мошка не любитъ жизни! Какой жалкій мизантропъ станетъ отворачиваться или презирать цвѣты, только оттого, что они цвѣтутъ не вѣчно!

Пробило четыре часа, Елатомскій уже собирался домой—обѣдать, какъ вдругъ на порогѣ появился Сашинъ. Онъ тяжело сопѣлъ, все лицо его было въ поту, и воротнички рубашки, выглядывавшіе изъ-подъ его двухъэтажнаго подбородка, казались смятыми.

— Уфъ! жара проклятая! Къ ночи будетъ гроза, помяните вы мое слово. А какими судьбами я здѣсь обрѣтаю васъ?

— А вотъ какими судьбами—синьоръ Тотти бѣгалъ къ своей невѣстѣ, а я стерегъ его магазинъ.

— Господи, Боже мой! у всѣхъ невѣсты!—вздохнулъ Сашинъ, и грузно сѣлъ на диванчикъ, обитый темнозеленою клеенкой, разстегнулъ жилетъ и вытеръ фуляромъ широкое лицо свое и губы, и маленькій носикъ, мягкій и подрумяненный, какъ спѣлая слива.

— Да, у всѣхъ невѣсты, только у насъ съ вами нѣтъ,— сказалъ Елатомскій.

Сашинъ поглядѣлъ на него съ нѣкоторымъ недовѣріемъ,—дескать, притворяется юноша, или правду истинную говорить изволитъ. Неужели же этотъ зубоскалъ Хавазовъ все вралъ? Откуда же онъ все это выдумалъ?

— Гм! А у васъ такое лицо, какъ будто вы женитесь—какъ будто и у васъ невѣста есть,—сказалъ онъ, многозначительно приподнимая такой же, какъ и онъ, толстенькій указательный палецъ свой, и упирая въ Елатомскаго глаза.

— А развѣ вы находите, что я очень веселъ! Вотъ хозяинъ магазина прибѣжалъ отъ своей невѣсты веселый-развеселый. Слышите, какую-то арію про себя мурлычитъ!

— Ну, это не примѣръ. Онъ итальянецъ, а мы русскіе, мы такъ не можемъ. Я разъ былъ у одного жениха, такъ, кажется, и влюбленъ былъ въ свою невѣсту, очень даже влюбленъ; а какъ пришло время въ церковь ѣхать, поблѣднѣлъ, какъ полотно, думали въ обморокъ упадетъ человѣкъ... еле-живой въ карету сѣлъ. Вотъ вы сегодня какъ будто помяты. Не то что блѣдны очень, а такъ, какъ будто бы не спали двѣ-три ночи и все мечтали.

— Какой, однакоже, вы прозорливый Иванъ Ивано-

вичъ. Я бы васъ обнялъ, да вѣдь вамъ отъ моихъ объятій не будетъ прохладнѣе.

— Что это, вы смѣетесь, что-ли?

— Нѣтъ! кто такъ вникаетъ въ мое лицо, тотъ или мой врагъ, или, несомнѣнно, расположенъ ко мнѣ. Вы мнѣ не врагъ, и уже за это я люблю васъ.—Ей-Богу!

— Вотъ какъ — любите... спасибо... А знаете что? Если вы меня возненавидите, мнѣ будетъ еще пріятнѣе. Ей-Богу!

Елатомскій улыбнулся.

— Ну вотъ! только-что хотѣлъ спросить вашего совѣта, а вы мнѣ такую фразу ляпнули, что приходится промолчать.

«То-то онъ ко мнѣ и подольщается», подумалъ Сашинъ.

— Какого же это совѣта? Я люблю давать совѣты; это мое единственное призваніе—и, знаете что?—вы можете на меня разсчитывать: по душѣ искренній совѣтъ дамъ вамъ.

— Ну, такъ вотъ что, Иванъ Ивановичъ! скажите мнѣ по совѣсти, какъ бы вы поступили, если бы вдругъ, ни съ того, ни съ сего, получили бы письмо отъ какой-нибудь хорошенькой барышни, и если бы въ этомъ письмецѣ она признавалась бы вамъ въ любви? А? какъ бы вы поступили?

— Гм! какъ бы я поступилъ?—помолчавъ и подозрительно оглядѣвъ юнаго Елатомскаго, переспросилъ Сашинъ.—Да я бы никакъ и поступить не могъ. Получи я такое признаніе... да я бы... знаете что? я бы умеръ. Такой бы кондрашка хватилъ, что я бы такъ вотъ, какъ сидѣлъ, такъ бы и повалился. Вы, пожалуйста, ко мнѣ ничего этакого не примѣняйте, это никогда со мной не случалось и не можетъ случиться. Видимо, Господь Богъ бережетъ меня. Что же касается другихъ, то я, конечно...

могу, такъ сказать... разсудить или направить. Тутъ вѣдь можетъ быть и канальство какое-нибудь... сѣти коварныя. Я это не разъ видѣлъ, какъ попадаютъ въ сѣти. Это я видѣлъ! А самую записку можете мнѣ показать?

— Нѣтъ, не могу, Иванъ Ивановичъ. Спасибо вамъ за предостереженіе. Который часъ у васъ? Пора мнѣ и домой. Я же дома и не ночевалъ.

— А гдѣ же вы ночевали? — не безъ любопытства спросилъ его Сашинъ.

— На дачѣ у австрійскаго консула.

— А! знаю...

Когда Елатомскій вышелъ, Сашинъ сложилъ на животѣ руки и понурилъ голову.

«Знаемъ мы отъ кого это письмо!» подумалъ онъ,— знаемъ: отъ Зои Меркуличъ. Очень нуженъ ему мой совѣтъ! Ну какой я ему другъ?!—я думаю, у него на каждомъ перекресткѣ друзей, какъ собакъ. Правду говоритъ Хавазовъ—молодо-зелено».

XX.

Вернувшись домой, Елатомскій на письменномъ столѣ своемъ нашелъ визитную карточку: «Трофимъ Евлампіевичъ Меркуличъ». Что это, подумалъ онъ, откуда такая внимательность? Дочка съ одной стороны, папенька—съ другой. Кто изъ нихъ кому помогаетъ?

Ничто такъ не охладило его, какъ эта визитная карточка.

Бавинъ былъ дома и читалъ письмо, полученное имъ отъ Эвиной. Супъ съ клёцками стоялъ на столѣ и простывалъ; ни тотъ, ни другой не садились за столъ, точно у нихъ аппетитъ пропалъ, или было не до того, чтобъ заниматься такими пустяками—ѣдой какого-нибудь супа!

Но оставимъ молодыхъ людей и обратимся къ моло-

дой дѣвушкѣ. Что̀ было съ Зоей съ тѣхъ поръ, какъ Елатомскій въ послѣдній разъ простился съ нею въ гостиной съ притворенными ставнями?

«Что̀, небось, выбѣжала женишка проводить»—вотъ та милая фраза, которою встрѣтили ее на крыльцѣ ея сестрицы.

Отъ этой фразы у ней повернулось сердце. Не думая о послѣдствіяхъ, она рѣзко отвѣчала имъ:

— Ну, что вы меня дразните! былъ женихъ, да сплылъ. Я сейчасъ ему отказала.

Затѣмъ, она вернулась въ комнаты и пробиралась въ дѣтскую съ тѣмъ, чтобы броситься на постель, уткнуть носикъ въ подушки и, если можно, забыться. (Она еще спала въ дѣтской, тѣсной отъ трехъ дѣвственныхъ кроватокъ, отъ ширмъ, сундуковъ, комодовъ, картонокъ, ящиковъ и всякой всячины). Но въ корридорѣ встрѣтилась ей мать и взяла ее за руку.

— Зоя, поди ко мнѣ.

Онѣ пришли въ спальню, и сѣли рядомъ на диванчикѣ. Мать посмотрѣла на дочь, дочь поглядѣла на мать и потупилась.

— Зоя, отчего ты плакала?

— Да такъ, сама не знаю, стало грустно, я и заплакала.

— Значитъ, ты любишь этого, какъ его... этого... Мать какъ будто забыла или не могла выговорить фамилію Елатомскаго.

— Та̀къ, не очень, не то чтобы очень, а та̀къ...

— Ничего между вами не было?

Зоя не была такъ наивна, чтобъ не понять значенія этого вопроса, и, съ удивленіемъ, поглядѣла на свою мать.

— Что же могло быть между нами?—отвѣчала она, подумавши.—Вѣдь мы никогда на-единѣ или тайкомъ не видались съ нимъ.

— Никогда?

— Ахъ, мама, что̀ вы такое спрашиваете!?.

— Ты не очень вѣрь ему, Зоя...

— Да я ему и не вѣрю...

Зоя дѣйствительно не вѣрила—въ его равнодушіе.

Мать осталась не совсѣмъ довольна своимъ объясненіемъ съ дочкой. Судя по себѣ, она не совсѣмъ довѣряла ей. Она не могла понять, какъ можно не влюбиться въ такого красиваго, умнаго и занимательнаго юношу, какъ Платомскій! Будь она молода, она бы бросила для него все на свѣтѣ и ушла бы съ нимъ. Глядя на него, она не разъ вздыхала о своей молодости. Она помнила, какъ она была влюбчива, когда ей было 14—15 лѣтъ, и какъ, наканунѣ свадьбы своей, порывалась убѣжать (разумѣется, не съ женихомъ).

«Конечно, Зоя не въ меня», — думала простодушная мать, и все-таки инстинктивно не совсѣмъ довѣряла ей

На другой день рано утромъ, когда она только-что поднималась съ постели, пришла къ ней Люлинька, ея меньшая дочь, и, картавя, стала ей сплетничать.—Мама! Зоя вѣрно больна, ночью бредила, и я сама слышала, какъ она кричала: могила, могила! Такъ что я хотѣла разбудить ее—но... было темно—и я боялась.

— Что это съ ней!—произнесла мать, натягивая нитяный чулокъ себѣ на ногу.—Что̀ она, встала?

— Нѣтъ еще, лежитъ.

— Проснулась?

— Да, она раньше насъ проснулась, и не встаетъ, все лежитъ.

— А знаете, мама, отчего у нея вчера глаза были заплаканы?

— Отчего?

— Да оттого, что она ему отказала.

*

— Отказала! Кому отказала?—вытараща глаза, воскликнула Вѣра Георгіевна.

— Елатомскій вздумалъ свататься, а она ему отказала.

— Елатомскій! сватался!

— Ну да, мама, кому же иначе? Къ намъ теперь, кромѣ него, никто не ходитъ. Только вы этого никому не сказывайте.

Пожилая гречанка не вѣрила ушамъ своимъ. Брови ея поднялись, и башмакъ, который она только-что хотѣла надѣть себѣ на ногу, выпалъ изъ рукъ ея и шлепнулся на полъ.

— Ты почемъ это знаешь, глупая дѣвчонка?

— Знаю, мама.

— Подслушала, что-ли? А?

— Нѣтъ, она намъ сама проговорилась, а то мы ничего бы не знали... Я никогда еще не видала, какъ мужчины сватаются. Мама! становятся они на колѣнки, а?

Въ эту минуту кто-то сгибомъ пальца постучалъ въ затворенную дверь и изъ гостиной послышался женскій голосъ:

— Вы встали, Вѣра Георгіевна?

— Встаю, встаю! сейчасъ, милая Клара Петровна, да войдите. Что̀ за бѣда, что я еще не совсѣмъ одѣта.

Вошла Клара Петровна, женщина почти однихъ лѣтъ съ г-жой Меркуличъ, но совершенно другого покроя. На узенькомъ, блѣдноватомъ лицѣ ея, черныя бровки были точно нарисованы очень тоненькой кисточкой. Черные глазки ея не имѣли въ себѣ ничего восточнаго. Это были небольшіе, нѣмецкіе глаза, добрые и въ то же время зоркіе и безпокойные. Ея правильный носъ, съ небольшой горбиной, очевидно, принадлежалъ бывшей красавицѣ. Надъ ея губами пробивались усики. На вискахъ были букольки, онѣ были фальшивыя, но эту фальшь прикрывала черная кружевная косынка, концы которой схо-

дились у подбородка и, приколотые булавкой, закрывали шею. Клара Петровна была несчастлива замужемъ. Мужъ ея пилъ запоемъ и пропилъ половину ея состоянія. Сынъ ея, на воспитаніе котораго она не щадила ни трудовъ, ни денегъ, только-что выйдя изъ лицея, сошелъ съ ума. Года два тому назадъ, онъ умеръ въ домѣ умалишенныхъ, и съ тѣхъ поръ Клара Петровна уже не снимала траура.

Во всей Одессѣ не было у ней лучшаго друга, какъ Вѣра Георгіевна Меркуличъ. Къ ней приходила она плакать, передъ ней изливалась въ жалобахъ на судьбу, на свое одиночество, на холодъ людскихъ сердецъ и пр. И Вѣра Георгіевна ухаживала за ней, какъ за родной, поила ее кофеемъ и считала ее великой умницей.

Дѣйствительно, Клара Петровна была не глупа, она даже была не безъ претензіи на образованіе, которое цѣликомъ почерпнула изъ старыхъ газетъ и нѣмецкихъ романовъ, любила разсуждать о жизни, о любви, о томъ, какіе бываютъ на свѣтѣ мужчины и кому какое на роду написано счастье.

Ей также, какъ и Вѣрѣ Георгіевнѣ, нравился Елатомскій, что̀, впрочемъ, не мѣшало ей изъ угла наблюдать за нимъ. Ее мучилъ вопросъ, женихъ онъ Зоѣ или не женихъ? Есть ли у него какіе-нибудь виды или нѣтъ никакихъ?—и Елатомскій оставался для нея загадкой.

Къ Зоѣ она относилась съ родственной нѣжностью—и, какъ только замѣтила въ ней тревогу страсти, тотчасъ же сообщила матери свои наблюденія. Разъ не утерпѣла: погрозила Зоѣ пальцемъ, и когда та взглянула на нее вопросительно, подошла и шепнула ей:

— Ахъ, Зоя, Зоя! Хорошо ты, Зоя, дѣлаешь, что не скрываешь отъ него чувствъ своихъ. Всѣ мужчины самолюбивы, и если имъ нравится, что ихъ любятъ, это, по

моему замѣчанію, очень хорошо!—Это значитъ, что они и сами когда-нибудь влюбятся.

Зоя долго ни въ чемъ не сознавалась, все отнѣкивалась—но когда двухнедѣльное отсутствіе Елатомскаго поставило Клару Петровну въ тупикъ, когда слухъ о пріѣздѣ какой-то барыни, съ которой онъ гуляетъ по одесскимъ улицамъ и, безъ зазрѣнія совѣсти, со всѣми ее знакомитъ, дошелъ до Зои, она прибѣжала къ Кларѣ Петровнѣ, бросилась ей на шею, зарыдала и призналась, что она скоро съ ума сойдетъ или утопится.

Итакъ, въ спальню вошла Клара Петровна. Вѣра Георгіевна при ней умылась, прикрѣпила на затылкѣ, высокимъ черепаховымъ гребнемъ, свернутый колечкомъ пучокъ косы своей, надѣла на себя старенькую блузу, изъ матеріи съ восточными узорами, и прогнала отъ себя Люлиньку. Юлинькѣ приказала распорядиться на-счетъ кофе, потомъ прошла въ дѣтскую и, заставъ Зою еще въ рубашкѣ передъ зеркальцемъ, пощупала ей рукой голову, заглянула ей въ глаза, и, когда та, молча, поцѣловала ей руку, воротилась въ спальню къ Кларѣ Петровнѣ.

— Знаешь что̀, Клара Петровна?—начала она полушопотомъ.—Вѣдь она ему отказала. Онъ посватался—и она отказала!

— Что вы!?—всплеснула руками Клара Петровна.—Быть не можетъ! Такъ влюблена—и отказала! ай, ай, ай!

И, затѣмъ, у обѣихъ подругъ началось шушуканье и продолжалось до самаго полудня. Оно прерывалось только, когда входила Зоя. Обѣ, и мать, и гостья, смотрѣли на нее молча, съ затаеннымъ любопытствомъ.

Зоя поняла, что рѣчь идетъ о ней, — можетъ быть даже думала, что Клара Петровна выдала матери ея тайну; но ей было уже все-равно. Послѣ обиднаго подозрѣнія, такъ просто высказаннаго матерью, что̀ значило все остальное?—пустяки! Она теперь готова была всѣмъ,

всѣмъ сказать—что она безумно, безумно, безумно влюблена въ него.

Дня черезъ два-три, и то ночью, и то потому только, что Трофимъ Евлампіевичъ самъ заговорилъ съ женой своей объ Елатомскомъ, она рѣшилась по секрету сказать ему, что этотъ молодой человѣкъ вовсе не такой, какъ онъ думаетъ, что онъ приходилъ и сватался за Зоиньку, но что Зоя отказала ему на отрѣзъ и при этомъ сама расплакалась.

— Какъ!—привскочилъ на постели Трофимъ Евлампіевичъ. Но тотчасъ же опять улегся и, глядя въ потолокъ, ничего не сказалъ своей супругѣ.

Подумавши, онъ кувырнулся въ подушки и минутъ черезъ пять захрапѣлъ.

Но что̀ же значило восклицаніе Меркулича и о чемъ онъ думалъ, прежде чѣмъ захрапѣлъ?

Новость эта—изумила его, обрадовала или огорчила?

Изумила, потому что эту новость узнаётъ онъ отъ жены своей, а не отъ самого Елатомскаго.

Обрадовала, потому что объ Елатомскомъ онъ былъ самаго высокаго мнѣнія ужъ за одно то, что онъ не пьетъ, не играетъ въ карты и—такая каналья!—со всѣми знакомится—и всѣ его любятъ.

Огорчила, потому что дочь осмѣлилась отказать ему, тогда какъ она, по мнѣнію Меркулича, должна была сказать Елатомскому: «обратитесь къ моему родителю»—или придти къ отцу и раньше его совѣта Елатомскому не отказывать.

Все это быстро повертѣлось у него въ головѣ и тотчасъ же улеглось подъ обаяніемъ могущественной дремоты. Съ юности имѣлъ онъ это завидное свойство. Какія бы каверзы ему ни дѣлали, какія бы запутанныя денежныя соображенія ни мутили его голову, какія бы

ни угрожали ему непріятности, онъ всегда вò-время засыпалъ и вò-время просыпался,—признакъ натуры глубоко самоувѣренной, не трусливой и ни на какую меланхолію не податливой.

Утромъ, онъ только-что всталъ, умылся, обрился, выпилъ два стакана чаю, одѣлся при помощи дѣвки и тотчасъ же вышелъ со двора. Еще лавки только-что отворялись, а уже барабанный бой извѣщалъ просыпающуюся Одессу, что будетъ аукціонъ.

Къ обѣду вернулся Трофимъ Евлампіевичъ въ довольно хорошемъ расположеніи духа; за обѣдомъ, онъ то и дѣло изподлобья поглядывалъ на Зою, а послѣ обѣда, ложась спать, позвалъ ее въ свой кабинетъ и, по обыкновенію, приказалъ ей съ себя сапоги стащить.

— А чтò, дѣвка, правду ли говорятъ, что Елатомскій за тебя сватался? А?

Зоя дрогнула и поблѣднѣла.

— Кто говоритъ?—прошептала она.

— А отчего же ты ему отказала?

— Я не могла, я...—начала-было Зоя.

— Не могла, не могла! — вспылилъ отецъ. — А не могла ты сказать ему,—обратитесь-молъ къ папенькѣ или къ маменькѣ. А не могла ты сказать ему: дайте, дескать, подумать, я должна спросить согласія моихъ родителей... Эхъ, ты! Онъ, чай, также не безъ самолюбія! Еще захочетъ ли въ *другой разъ* посвататься. Дура ты этакая! Ну, вотъ теперь и лови его, и лови! Ступай, чтò стоишь, точно тебя кипяткомъ ошпарили. Я тебя не браню, не ругаю,—я, какъ любящій отецъ, говорю тебѣ.

Зоя все время смотрѣла на него неподвижными, горящими глазами, точно столбнякъ на нее нашелъ. Она такъ потрясена была словами своего родителя, что была минута, когда ей казалось, — ужъ не дѣйствительно ли Елатомскій за нее сватался, ужъ не дѣйствительно ли

она ему отказала? Можетъ быть, все это она забыла, потому что съ ума сошла. Поблѣднѣвшія губки ея пошевелились, она какъ-бы собиралась съ силами сказать отцу: «Да когда же это было? Правда, я что-то такое въ этомъ родѣ отвѣчала моимъ сестрамъ», промелькнуло у ней въ головѣ. «Но вѣдь мнѣ отъ нихъ проходу нѣтъ. Онѣ меня дразнятъ, онѣ слѣдятъ за мной. Но вѣдь я же потомъ и сказала имъ, что это — неправда. Что же это такое?»

— Вотъ, какъ выдамъ тебя замужъ за какого-нибудь стараго пройдоху, вотъ ты у меня и будешь знать, что значитъ не уважать родителей!—проворчалъ Меркуличъ.

При этомъ, онъ повернулся, такъ что диванъ скрипнулъ подъ нимъ, уложилъ голову на подушку и закрылъ глаза.

Зоя вышла, спустилась съ крылечка, плотнѣе притворила ставень и стала ходить по двору. Она чувствовала стѣсненіе въ груди. Ей хотѣлось быть одной. Намаявшись на жаркомъ солнцѣ, она сѣла на бревно, въ тѣни между людской и новымъ строющимся флигелемъ.

Долго сидѣла она, и вотъ какія рѣчи беззвучно вырывались изъ глубины души ея.

— А, такъ вотъ какъ! лови его! лови! такъ я же теперь не такъ буду ловить его. Пусть думаютъ, что онъ сватался. Пусть! Буду молчать! Нѣтъ, для чего молчать? Буду всѣмъ говорить. Сватался—отказала. Ну, да, отказала—сватался... ну, да... да... Хорошо же! думаютъ, я ребенокъ, глупенькая дѣвчонка!

И, дѣйствительно, въ эту минуту она не была ребенокъ. Въ ея головѣ зрѣлъ хитрый планъ, и этотъ планъ какъ-будто улыбался ей. Она готовилась сыграть такую комедію, которая должна будетъ кончиться или свадьбой или трагедіей.

На другой день она уже сидѣла за учебнымъ столикомъ сестеръ своихъ и писала къ Елатомскому письмо.

— Къ кому ты пишешь? Къ кому? Къ кому?—приставали къ ней задорныя сестры и стали толкать ее подъ локоть.

Она перешла за ширмы къ ночному столику и перенесла туда съ собою чернильницу, но Люля вырвала у нея чернильницу, выпачкала себѣ руки и закричала:

— Не твоя это, не твоя чернильница!!

Зоя, блѣдная, съ розовыми пятнами на лицѣ, вышла изъ дѣтской, достала изъ шкапчика запачканную фарфоровую чернильницу, въ которую мать ее макала тупымъ гусинымъ перомъ всякій разъ, когда записывала бѣлье и свои расходы, ту самую чернильницу, изъ которой она, Зоя, уже разъ писала *къ нему* любовное посланіе, сидя въ гостиной на подоконникѣ (въ тотъ день, когда онъ самъ такъ неожиданно вошелъ въ комнату и такъ напугалъ ее). Она стала на колѣни у того же подоконника, нагнулась и стала писать. Ночью, когда сестры ея спали, она зажгла свѣчу, и кое-какъ, подмостившись къ ночному столику, переписала письмо свое, положила его въ конвертъ палеваго цвѣта, запечатала зеленой облаткой, надписала, подышала на адресъ и, когда чернила высохли, спрятала конвертъ подъ подушку, погасила огонь и снова погрузилась во мракъ и въ неотвязныя, жаркія мечты свои.

— Папаша,—болтала на другой день Люля, ласкаясь около отца и наивничая:—Зоя все какія-то письма пишетъ. Къ кому ей писать?!

— А тебѣ какое дѣло? — крикнулъ на нее отецъ. — Тебѣ, дрянная ты дѣвчонка, какое дѣло, куда и что пишетъ старшая сестра твоя! Ахъ ты, шпіонъ мозглявый! Вотъ, попробуй ты мнѣ что-нибудь про сестру! Я тебѣ, доносчица ты этакая!

Люленька надула губки, ушла въ дѣтскую, бросилась

къ себѣ на постель и, уткнувшись носомъ въ подушку, стала ревѣть.

У всѣхъ трехъ сестеръ постель была убѣжищемъ въ тѣ минуты, когда капризныя слезы душили ихъ.

— Самъ же приказывалъ, чтобы мы все ему говорили,—бормотала въ подушку Люленька.—Самъ же онъ насъ училъ, и вотъ я—шпіонъ и доносчица. И все это проклятая Зойка такъ настроила! Думаетъ, что выросла, такъ и можетъ надъ нами командовать. Вишь, я—дрянная дѣвчонка, а она не дрянная! Ахъ! хотя бы ужъ замужъ она поскорѣе вышла. Хоть бы за кого-нибудь, легче бы было.

Такъ она бормотала и ревѣла до тѣхъ поръ, пока Юлинька не пришла сказать ей, что мама зоветъ ее на базаръ идти.

Содержаніе письма Зои мы уже знаемъ. Она вручила его Кларѣ Петровнѣ и упросила ее отдать его въ магазинъ Тотти, такъ какъ Елатомскій почти каждый день туда заходитъ.

Клара Петровна, воображая, что въ этомъ письмѣ Зоя извиняется и изъявляетъ ему *свое согласіе*, охотно согласилась исполнить ея просьбу, и въ десятый разъ подтвердила, что она все, все для нея сдѣлаетъ, что она во всемъ будетъ ей помогать, лишь бы состоялась свадьба и лишь бы она, милое дитя, была совершенно счастлива.

Милое дитя коварно улыбнулось, когда Клара Петровна положила письмо въ ридикюль и вышла за ворота.

XXI.

«Mon bon et cher ami, Адріанъ Владиміровичъ, вотъ уже трое сутокъ, какъ мы не встрѣчались. Надѣюсь, что въ эти трое сутокъ вы успѣли уже забыть тотъ невольный

порывъ, который выдалъ вамъ мою тайну. Пожалуйста, забудьте этотъ несчастливый для меня день, или будьте снисходительны ко мнѣ, какъ другъ, какъ братъ. Протяните мнѣ по-прежнему вашу руку и скажите: «такъ и быть, прощаю!» Было бы очень грустно потерять ваше расположеніе. Мы сходились не во имя личнаго чувства, а во имя общихъ интересовъ, во имя мысли и симпатіи убѣжденій. Неужели личное чувство мое, какъ бы свято и дорого оно для меня не было, я не съумѣла бы принести въ жертву тому чувству человѣчности и братства, которое соединило насъ. Вы вѣрите, Адріанъ Владиміровичъ, въ силу разума, я вѣрю вамъ, и было бы грѣхъ намъ дуться другъ на друга изъ-за одного, неосторожно высказаннаго мною признанія. Если оно вамъ не обидно, докажите, что вы не обидѣлись, приходите сегодня вечеромъ на бульваръ. Я въ восемь часовъ тамъ буду ждать васъ, обѣщаюсь не говорить вамъ ничего такого, что̀ можетъ напомнить вамъ наше послѣднее свиданіе, буду такая умница, что даже бука погладитъ меня по головкѣ и похвалитъ.

«Итакъ, до свиданія, Адріанъ.

«Сестра Нина».

Нина написала письмо Бавину также легко, какъ писала и всѣ свои письма, т.-е. сразу, ничего не поправляя, не вымарывая. Она никогда не перечитывала своихъ писемъ и, посылая ихъ на почту, иногда сама не могла бы повторить ихъ содержанія. Ясно, что у ней были въ своемъ родѣ импровизаторскія способности, почти не задумываясь, изъ одной фразы вывести тотчасъ же другую, изъ другой—третью и такъ безъ конца.

Нельзя сказать, чтобы письмо ея къ Бавину не было плодомъ скрытой досады, самолюбія,—нетерпѣнія, наконецъ. Оно даже было не безъ умысла, но у Эвиной разсчетъ женскаго ума до такой степени прикрывался самою

беззавѣтною искренностью, что подозрѣвать въ ней умысла не было никакой возможности. На этотъ разъ она не ошиблась: — письмо ея произвело потрясающее дѣйствіе на Бавина.

Когда Бавинъ разрывалъ конвертъ, онъ предполагалъ, что все начертанное рукой Нины есть глубочайшая тайна души ея, что Эвина говоритъ ему о любви своей или о великомъ счастіи любить и быть любимой.

И что же! Она проситъ его забыть объ ихъ послѣднемъ свиданіи, она обѣщается ему никогда не говорить о своемъ чувствѣ и — о, ужасъ! — она думаетъ, что обидѣла его!

Не даромъ супъ съ клёцками стылъ на столѣ, и не даромъ, послѣ на-скоро проглоченнаго обѣда, онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ восьми часовъ и, сердито насупивъ брови, изъ окна поглядывалъ на небо. На это вечерѣющее небо, изъ-за черепичныхъ кровель, поднимались тучи—цѣлыя горы сплывшихся сѣро-синихъ и синевато-бурыхъ облаковъ, съ ярко-розовыми краями; эти свѣтлые края уже къ восьми часамъ вечера ползли надъ сосѣдними кровлями; уже слышался громъ, и молнія раза-два или три пронизала вечерніе сумерки.

Уже Карай залегъ подъ кушетку и, вытянувъ по полу морду свою, приподнималъ уши, шевелилъ вихрами бровей, и робко выглядывалъ. Елатомскій отворилъ окно въ своей комнатѣ и сталъ дышать грозовымъ освѣжившимся воздухомъ.

Онъ любовался игрою молній и, какъ къ музыкѣ, прислушивался къ раскатамъ грома. Раза-два въ окнахъ продребежжали стекла, но громовой грохотъ просыпался гдѣ-то не близко. Еще тишина стояла въ воздухѣ, и заходящее солнце по временамъ отражало на тучахъ румянецъ свой.

На дворѣ вдругъ показалась фигура Бавина. Онъ

шелъ къ воротамъ и несъ подъ мышкой дождевой, еще московскій зонтикъ.

— Куда вы, Бавинъ?—крикнулъ ему изъ окна Елатомскій.

Но Бавинъ не оглянулся и вышелъ на улицу, не затворивъ за собою калитки.

«Не къ Эвиной ли?» подумалъ Елатомскій. «Коли къ ней, то до дождя успѣетъ. Небось, не пригласилъ меня съ собой, промолчалъ. Что-то ужъ очень угрюмъ и молчаливъ все это время. Не влюбленъ ли?! Гдѣ ему! А, впрочемъ, чѣмъ чортъ не шутитъ, или это экзамены его сокрушаютъ».

А Бавинъ все шагалъ, да шагалъ, поглядывая на небо. Гроза шла все шире да шире, все ближе да ближе. Вотъ онъ ужъ дошелъ до памятника дюка де-Ришелье, повернулъ на-право по бульвару, какъ вдругъ налетѣвшій вихрь сорвалъ съ него шляпу, и она закружилась, покатилась назадъ на улицу. Если бы Бавинъ тотчасъ же не погнался за ней, она бы затерялась въ тучахъ поднявшейся пыли и онъ бы не нашелъ ее. Съ развѣвающимися волосами онъ воротился на бульваръ.

Городъ, самые ближніе дома его, исчезли въ пыли, какъ-бы въ густомъ, непроницаемомъ туманѣ; море, шумя и, широкими черными грядами, двигаясь внизу у самаго берега, также постепенно исчезало въ водяной пыли приближающагося ливня.

Все кругомъ потемнѣло.

Бавинъ, держа шляпу въ рукахъ, пошелъ вдоль бульвара. Онъ уже на надѣялся на встрѣчу съ Эвиной, онъ хотѣлъ пройти къ биржевому зданію и спрятаться отъ дождя, подъ колоннами его подъѣзда. Но Эвина ждала его, она разглядѣла въ лорнетъ его рослую фигуру, встала со скамейки и, еще боясь ошибиться, щурясь, подошла къ нему.

— Вы таки-пришли!—задыхаясь на вѣтру, произнесла она.

Бавинъ жадно схватилъ ея протянутыя руки (безъ перчатокъ) и также задыхающимся голосомъ произнесъ:

— А вамъ какъ не грѣхъ въ такую погоду, Нина!..

— Я была увѣрена, что встрѣчу васъ.

Яркая молнія освѣтила радостно улыбающееся лицо ея. Ударъ и раскатъ грома заглушили ея слова. Бавинъ надѣлъ шляпу, развернулъ зонтикъ и крупныя капли косого дождя, прибивая пыль, забарабанили по растянутой шелковой матеріи, и по платью Нины.

Онъ взялъ ее за талію; она плечомъ прижалась къ плечу его, правой рукой ухватилась за вырывающійся изъ лѣвой руки его зонтикъ и глядѣла прямо въ глаза его, съ тѣмъ выраженіемъ, съ какимъ только молящіеся глядятъ на образъ, отъ котораго ждутъ они всѣхъ земныхъ благъ и небесныхъ радостей. Сквозь влажный, шумящій мракъ онъ видѣлъ только эти глаза.

Какъ-бы загороженные со всѣхъ сторонъ потоками воды и мглою быстро наступившей ночи, они не двигались. Кто-то, шлепая по грязи, прошелъ мимо нихъ по бульвару. Бавинъ оглянулся на море и что-то сказалъ. Нина не разслушала словъ его.

Въ первый разъ Бавинъ стоялъ такъ близко къ женщинѣ, въ первый разъ онъ слышалъ ея горячее дыханіе на лицѣ своемъ. Желѣзную волю надо было имѣть, чтобъ въ эту минуту не поцѣловать любимой женщины.

Но Бавинъ, даже въ эту минуту, былъ во власти какой-то высшей нравственной силы. Всѣ начинаютъ съ поцѣлуя (быть можетъ, думалъ онъ), всѣ... я могу обойтись и безъ этого.

А Эвина помнила письмо и не смѣла. Она была уже и тѣмъ довольна, что сильная рука его обняла ее, что она

въ глазахъ его читаетъ страсть, чувствуетъ ея атмосферу.

— Дождь усиливается, пойдемте!

— Куда же? Ко мнѣ, Адріанъ?

— Куда-нибудь.

Нога въ ногу, рука съ рукой, по водѣ, роющей мостовую, перешли они на тротуаръ и вышли въ улицу. Проходя Дерибасовскую, Бавинъ повернулъ налѣво, и по ступенькамъ вошли они на внутреннюю площадку Пале-Рояля, обсаженную деревьями.

На широкихъ торцовыхъ тротуарахъ еще стояли неприбранные стулья, но изъ публики не было ни души.

Только вода изъ дождевыхъ трубъ, журча, скатывалась въ канавки, и ярко освѣщенныя окна магазиновъ отражали на тротуарахъ свѣтъ свой, пересѣкаемый черными тѣнями простѣнковъ.

Здѣсь вѣтра почти не было. Давно уже высохшіе цвѣты акацій висѣли мокрыми на мокрыхъ вѣткахъ, едва колыхались и, подъ утихающимъ дождемъ, только вздрагивали иногда вмѣстѣ съ намокшими листьями.

Но въ просторной кондитерской Карруты двигались человѣческія тѣни, слышались голоса и стучали билліардные шары. Бавинъ не рѣшился войти въ кондитерскую вмѣстѣ съ Эвиной. Они сѣли подъ парусиннымъ навѣсомъ, не далеко отъ входа. Скамейка была сыра, но несравненно суше, чѣмъ платья ихъ. Не прошло и десяти минутъ, какъ дождь пересталъ. Вода съ кровли, бульбулькая по водосточнымъ трубамъ, стала течь все тише и тише. Изъ стеклянной двери кондитерской, застигнутая грозой, публика стала выходить на воздухъ.

Бавинъ всталъ, за нимъ тотчасъ же поднялась и Нина.

— Пойдемъ!—сказалъ онъ.

— Веди меня куда хочешь, — сказала она. — Ты видишь, я безпрекословно иду всюду, куда ты ведешь меня.

Эвина какъ будто обрадовалась, что онъ сказалъ ей «пойдемъ» и стала тотчасъ же говорить ему—*ты*, вмѣсто—*вы*.

— Не правда ли,—продолжала она, когда они подходили къ театру,—не правда ли, чтобъ говорить другъ другу *ты*, намъ не нужно съ тобой пить брудершафтъ, какъ это дѣлаютъ школьники. Я, какъ сестра, имѣю на это право.

— У тебя, — отвѣчалъ онъ съ разстановкой, прерывающимся голосомъ,—у тебя есть еще другое право.

— Какое?

— Право любящей женщины.

— Да, любящей... и не любимой,—пролепетала Нина, низко повѣсивъ голову.

Она ждала, что̀ на это скажетъ Бавинъ; но, слыша одинъ стукъ каблуковъ его по мокрымъ плитамъ, опять выпрямилась и сказала:

— Прости, братъ, я дала тебѣ слово не говорить о любви и чуть—было не проговорилась.

— То, что̀ было уже разъ тобою сказано,—отвѣчалъ онъ,—то уже и топоромъ, какъ говорятъ, не вырубишь.

— Нѣтъ, братъ, не то, что̀ сказано, а то, что написано, того, говорятъ, топоромъ не вырубишь.

— А я никогда не писала къ тебѣ, что люблю тебя.

— Развѣ не все равно: слово написанное или слово сказанное?

— Ну, не всегда все равно! Отъ слова можно отречься. Огорченная женщина можетъ въ шутку обратить его.

Бавинъ пріостановился.

— И ты можешь въ шутку обратить слова свои?

— Да, Адріанъ, я не только могу, я бы желала отъ всей души превратить въ шутку все то, чему ты не со-

чувствуешь, чему ты не откликаешься, все то, что тебя не радуетъ.

— Чему же я не откликаюсь и чему не сочувствую?

— Любви моей!

— Нина, ты не искренняя, ты сама видишь, что происходитъ въ душѣ моей. Если я кажусь тебѣ холоднымъ, такъ это потому, что въ душѣ моей небо, а небо, чѣмъ оно выше, чѣмъ ближе къ солнцу, тѣмъ холоднѣе. Ты подняла меня такъ высоко въ собственныхъ глазахъ моихъ, что не скоро еще спущусь я на землю. Знаешь, отчего я не шелъ къ тебѣ?

— Отчего? Я никого такъ не слушала, какъ слушаю тебя. Отчего ты *съ тѣхъ поръ* ни разу не зашелъ ко мнѣ?

— Оттого, что все, что хотѣлъ... все, что языкъ мой собирался сказать тебѣ, казалось мнѣ такъ банально, такъ водевильно—пошло!..

— Но развѣ, любя, думаютъ о томъ, что нужно говорить? Нѣтъ такого простого, самаго пошлаго словца, которое бы, проникнувшись истиннымъ чувствомъ, не утратило бы всей своей пустоты и всей своей пошлости...

Незамѣтно поворачивая изъ улицы въ улицу, мимо запертыхъ магазиновъ и лавокъ, дошли они до собора и минутъ черезъ пять уже очутились подъ тополями у воротъ того домика, гдѣ жила Эвина.

Тутъ только замѣтили они, что на небѣ мѣсяцъ, и что ночь послѣ грозы, точно вымытая, таинственно сіяетъ имъ среди тишины и прохлады.

Эвина стала звать Бавина зайти къ ней, но, увы! напрасно. Бавинъ съ минуту простоялъ въ нерѣшимости. «Нѣтъ, это будетъ слишкомъ», сказалъ онъ, поцѣловалъ ея руку и пошелъ домой медленными, очень медленными шагами.

XXII.

«Странный, исключительный человѣкъ», подумала Эвина, входя въ свою спальню.

Сонная горничная хотѣла-было зажечь свѣчу, поставить самоваръ, но...

— Ничего не надо, ступай спать,—сказала ей Эвина,—только завтра пораньше разбуди меня.

Несмотря на то, что ноги ея до колѣнъ были сыры, ей было жарко, и спальня показалась ей душною. Она сбросила съ себя платье и стала отворять окно на улицу.

Но рама забухла отъ дождя, и, какъ она ни дергала ее за мѣдную ручку, ни одна половинка ея не растворялась. Она уже начинала сердиться и хотѣла разбудить свою Акулину, чтобъ та помогла ей окно раскрыть, какъ вдругъ съ улицы показалась тѣнь, привстала у самаго окна, придавила раму и окно раскрылось. Эвина испугалась:

— Кто это?—вскрикнула она.

— Воръ и душегубецъ!—послышался голосъ Елатомскаго.

Эвина тотчасъ же его узнала и стала бранить. Затѣмъ, накинула себѣ на плечи большой черный платокъ, и, облокотясь на подоконникъ, еще разъ назвала его—*дурнемъ*.

— Я видѣлъ, какъ ты сейчасъ простилась съ Бавинымъ и какъ онъ цѣловалъ твои ручки. Прошу покорно, какимъ Донъ-Жуаномъ сдѣлался!

— Хорошъ Донъ-Жуанъ! Звала его зайти чаю напиться. Ни за что! уперся, какъ быкъ.

— Боится, что ты соблазнишь его!

— Отчего же ты не боишься?

— Да оттого, что я вѣтренникъ, не солидный юноша. А право, Нина, какъ досадно, что я въ такую ночь, въ такую прекрасную, лунную, свѣжую, майскую ночь, не влюбленъ въ тебя. Ну, будь я влюбленъ, ей-Богу влѣзъ бы къ тебѣ въ окошко, ну, ей-Богу бы влѣзъ.

Нина захохотала.

— Что же ты,—сказала она насмѣшливо, — не бродишь подъ окномъ твоей невѣсты? Ступай туда, и, если окно открыто, пользуйся случаемъ. Влюбленному, да еще такому сумасшедшему, какъ ты, все простительно.

Елатомскій почему-то засмѣялся въ свою очередь.

— Конечно, все простительно; но святость моихъ отношеній къ ней не позволяетъ мнѣ пускаться на такіе подвиги.

— Выдумаетъ же!—разсердилась Нина. — Святость отношеній! Развѣ невѣста, какая бы она тамъ ни была, не такая же, какъ я или всякая другая! Развѣ въ любви не всѣ мы одинаковы?

— Конечно, не всѣ. Развѣ можно сравнить—ну, хоть съ тобой, какую-нибудь невинную, наивно-стыдливую дѣвушку?

— Конечно, нельзя! Я никому уже не могу продать свою скромность и свою неопытность; къ моей любви не примѣшивается разсчета выйти замужъ. Я уже не желаю, въ награду за любовь мою, сдѣлать изъ мужчины батрака, который бы за меня работалъ, который бы всю свою жизнь служилъ моимъ капризамъ и барскимъ прихотямъ. Эхъ, Елатомскій, Елатомскій! Правда, поздно, очень поздно, позднѣе всѣхъ узнала я, что ты женишься. Но—mieux vaut tard que jamais. Поздравляю тебя. Дай тебѣ Богъ совѣтъ, да любовь. Эхъ! дай огня! Нѣтъ ли у тебя спички?

Елатомскій, ухмыляясь, зажегъ восковую спичку и подалъ ей въ окно. Она въ это время заглянула ему въ лицо, озаренное свѣтомъ маленькаго пламени. Закуривая

пахитоску, она думала увидѣть сконфуженное лицо, и что же? — все оно, свѣжее и подрумяненное загаромъ, дышало чѣмъ-то лукаво-веселымъ и беззаботно-радостнымъ.

Нина закурила пахитоску и бросила въ него потухшую спичку.

— Ну, чему ты радъ, безсовѣстный! Чему? Напяливаетъ на себя ярмо, въ упряжь лѣзетъ, чтобъ его понукали, да осаживали. Двадцати-трехъ лѣтъ хочетъ къ юбкѣ навсегда пришить себя, и еще смѣется! Гдѣ же твои убѣжденія, твои стремленія, твоя жажда дѣятельности? Будешь няньчиться съ дѣтьми, съ няньками, съ мамками, бѣгать, кланяться, подличать, чтобы не умереть съ голоду, или раздобрѣешь на женины деньги. Напялишь на себя халатъ—и, разумѣется, будешь съ рогами.

— О! о! почему же—разумѣется? Но—глупости въ сторону. Кто это сообщилъ тебѣ такую новость?

— Какую новость! Что ты женишься? Да это весь городъ знаетъ. Ныньче въ гостинницѣ только и было рѣчи, что о твоей женитьбѣ, и Сашинъ, и этотъ чурбанъ, Хавазовъ,—всѣ это знаютъ. Видно, шила въ мѣшкѣ не утаишь.

— Гм! странно это! Ну, а кто же невѣста? И это также говорятъ?

— И это.

— И называютъ по имени?

— Фамиліи не помню. Но какая-то Зоя, дочь какого-то разжившагося буржуа и мошенника.

Елатомскій пересталъ смѣяться.

— Что̀, замолчалъ? Досадно стало, что тайну твою похитили?

— Не то досадно! досадно, что люди вмѣшиваются не въ свое дѣло, что они врутъ, сплетничаютъ, клевещутъ.

— Гдѣ дымъ, тамъ и огонь. Не станутъ же безъ причины сплетничать.

— Не станутъ! Говорили же въ Одессѣ, que tu es ma maitresse. Что же, это правда? похоже на правду? Я не скрываюсь, я знакомъ съ этой Зоей, можетъ быть, даже всей душой расположенъ къ ней, но и не думалъ свататься, и не воображаю жениться. Мало того, пересталъ къ ней въ домъ ходить. Откуда же такая сплетня? Кто первый могъ распустить ее? Признаюсь, мнѣ хотѣлось немножко подразнить тебя, но коли ужъ имена стали вмѣшивать, то...

— Какъ же, дурень, ты смѣешь дразнить меня?

— А хочешь, окажу тебѣ дружеское довѣріе.

— Окажи.

— Прочти это письмо; ныньче утромъ я получилъ его. Прочти съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой, и дай мнѣ совѣтъ, что̀ мнѣ дѣлать.

Елатомскій вынулъ изъ кармана письмо Зои. Протянутая рука Эвиной, какъ фарфоръ, забѣлѣлась на лучахъ мѣсяца. Она взяла письмо и опять ушла въ тѣнь.

— Гдѣ ты завтра утромъ?

— Завтра утромъ, если будетъ также жарко, я рѣшилась начать купаться. И мнѣ совѣтуютъ на Платоновской пристани, а не на Пароходной. Тамъ, по крайней мѣрѣ, никто не подглядываетъ.

— А послѣ купанья?

— А послѣ купанья буду пить кофе у Карруты въ кондитерской.

— Часу въ 9-мъ утра?

— Ну да, около девяти часовъ.

— Хорошо, я тамъ тебя подожду, а ты мнѣ занеси и отдай это письмо. Слышишь! непремѣнно занеси.

— Слышу.

— Прощай! Постой! Само собою разумѣется, что о письмѣ никому ни слова.

— Разумѣется.

Послѣ цѣлаго дня хандры, Богъ знаетъ отчего, Елатомскій возвращался домой въ самомъ пріятномъ настроеніи духа. Гроза ли его вылѣчила, или новое видѣніе, новый женскій образъ, который встрѣтилъ онъ,—Господь его вѣдаетъ! Но весь этотъ вечеръ въ его воображеніи возникалъ и всплывалъ то образъ Зои, то образъ какой-то незнакомки. Они то сливались, то въ одиночку мелькали передъ нимъ и какъ будто пѣли ему на ухо: радуйся, пока ты молодъ, радуйся, пока ты любимъ, пока можешь еще быть любимъ глубоко и искренно.

XXIII.

На другой день утромъ было такъ жарко, что мужчины ѣхали купаться совершенными разгильдяями, въ холстинныхъ или канаусовыхъ шароварахъ, въ холстинныхъ сюртукахъ на распашку, безъ жилетовъ и галстуковъ. Красныя шелковыя рубашки, съ растегнутыми воротами, появились на балконахъ; дамы на улицу выходили въ однѣхъ блузахъ, съ распущенными волосами, и несли узелки, закрываясь зонтикомъ при встрѣчѣ съ мужчинами.

Эвина также пошла купаться. На рукѣ у ней висѣлъ большой дорожный ридикюль на стальной цѣпочкѣ.

Та женская купальня, куда направила она шаги свои, находилась гдѣ-то подъ горой, за Воронцовскимъ садомъ, гораздо дальше пароходной пристани.

Шагахъ въ шести отъ берега вбиты были сваи, настланъ полъ, съ лѣсенкой въ море и веревками для неумѣющихъ плавать. Скамьи, на которыхъ раздѣвались, окружены были парусинными стѣнками.

Случалось иногда, что парусину эту срывало вѣтромъ, доски, на которыхъ раздѣвались, взламывало волнами, а лѣсенку и скамейку уносило въ море, такъ что нужно было особенную силу и ловкость для того, чтобы поймать ихъ въ волнахъ и воротить на мѣсто. Обыкновенно, послѣ такой катастрофы, съ 5 часовъ утра до 7, пловцы пускались въ море, и все опять приводилось въ порядокъ, опять настилались пойманныя въ волнахъ доски, прибивалась парусина и привязывалась лѣстница.

Эвина нашла въ купальнѣ около полдюжины еще невыкупавшихся женщинъ, простывающихъ въ тѣни парусинныхъ стѣнокъ.

Всѣ лавки были завалены бѣльемъ, платьями и всякими женскими вещами, узелками и мѣшечками. Нѣсколько паръ черныхъ, сѣрыхъ, голубыхъ и коричневыхъ глазъ устремили взгляды свои на высокую фигуру Эвиной. Купальщицы подвинулись и дали ей мѣсто.

Близорукая Нина, никого не видя, поблагодарила ихъ, опустила свой сакъ-вояжъ и стала раздѣваться.

Не прошло десяти минутъ, какъ уже наша героиня стояла среди купальни въ одной, продуваемой вѣтромъ, рубашкѣ и перебрасывалась съ присутствующими отборными французскими фразами.

Она попала въ довольно образованное и благовоспитанное общество.

Ея французское остроуміе, ея простота и свобода обращенія съ особами ей совершенно неизвѣстными, пріятно подѣйствовали на это случайное женское общество, въ особенности на одну молодую, недавно вышедшую замужъ дамочку и на двухъ сестрицъ, очень скромныхъ дочерей какого-то очень чиновнаго папеньки.

Только горничныя не обращали на нее никакого вниманія, да еще одна до того сухопарая нѣмка, что̀ глядѣть на нее даже дамамъ было совѣстно. Въ то наивное

время, на нашихъ южныхъ берегахъ, еще и въ заводѣ не было купальныхъ костюмовъ и даже чепчики изъ прозрачной клеенки, для сохраненія женскихъ волосъ, рѣдко были въ употребленіи.

Отъ бѣглыхъ фразъ и замѣчаній Нина Александровна какъ-то незамѣтно вошла въ колею свою—стала не то что проповѣдывать, а полусмѣясь, полусерьезно высказывать свои задушевныя убѣжденія.

— Вы, я вижу, послѣдовательница Жоржъ-Занда и Сенъ-Симона,—замѣтила ей молоденькая дамочка, съ голубыми глазками, вздернутымъ носикомъ и съ черной родинкой на блѣдно-розовой груди, съ голубыми тѣнями и жилками.

Она сначала возражала ей, потомъ стала смотрѣть на нее полунасмѣшливо, потомъ, подкупленная ораторскими способностями Нины и, главное—ея витіеватымъ, французскимъ языкомъ, возымѣла сильное желаніе съ ней познакомиться. Дѣвицы-сестрицы не спускали съ нея глазъ: онѣ, стыдливо прикрываясь, сидѣли неподвижно, какъ двѣ мраморныя нимфы.

Только солнце, заглядывая сквозь парусину на ихъ обнаженную и какъ атласъ лоснящуюся кожу, чертило на ней свои золотые, точно огненные круги и точки. По испуганнымъ глазамъ и полураскрытымъ губкамъ ихъ, видно было, что слова Нины производили на этихъ сестрицъ невыразимое впечатлѣніе.

Это были дѣвицы, которымъ, вѣроятно, не давали читать никакихъ современныхъ французскихъ романовъ.

Эвина увлеклась (никто уже не возражалъ, даже на ея очевидные парадоксы) и, какъ бы подстрекаемая всеобщимъ вниманіемъ, говорила, говорила и говорила. Она нападала на пошлость жизни и продажность женщинъ, изъ разсчета вступающихъ въ законный бракъ, на ихъ неволю, на ихъ неразвитость и дѣтскую безсмысленность,

которую величаютъ въ свѣтѣ невинностью, чистотою души, и проч. и проч.

Въ самый разгаръ ея рѣчи, изъ моря, выкупавшись, на мокрыхъ ступенькахъ лѣстницы появилась маленькаго роста стройная дѣвушка.

На второй ступенькѣ она выжала свою длинную, черную, блестящую косу, потомъ кокетливо отбросила ее за спину, повела глазами на какой-то рыбацкій ботикъ, качавшійся на волнахъ, саженяхъ въ тридцати отъ купальни, быстро поднялась на верхъ, и по досчатому полу, оставляя слѣды своими мокрыми ножками, торопливо перебѣжала въ уголокъ, на край лавочки, гдѣ ожидала ее кривая, тупорылая горничная. Проворно завернувшись въ простыню, сѣла она, поджала ножки, и не прошло минуты, какъ уже неподвижное вниманіе облекло всѣ черты ея овальнаго красиваго личика. Она стала вслушиваться въ рѣчи Нины, и чѣмъ больше она ихъ слушала, тѣмъ все шире и шире раскрывались ея черные, блестящіе глазки, опушенные длинными, загнутыми вверхъ рѣсницами.

«Бракъ, — могила любви» прозвучала въ ушахъ ея фраза Елатомскаго.

Ужъ не то ли самое говорятъ уста и этой высокой «belle femme», съ такимъ тонкимъ и правильнымъ профилемъ, съ такими большими сѣрыми глазами, и съ такой небольшой, коротенькой косой на затылкѣ.

Эта только-что выкупавшаяся дѣвушка была Зоя.

Не двигаясь ни однимъ суставчикомъ, только слегка вздрагивая, она съ ногъ до головы оглядывала Нину, слѣдя за ея малѣйшимъ движеніемъ.

Эвина, продолжая говорить, кончила тѣмъ, что стала смѣшить своихъ слушательницъ и звать ихъ въ море. Прищурясь и наклонивъ голову, она стала спускаться по ступенькамъ. Солнце освѣтило ея полныя плечи, покатую

спину, розовую полоску на ея таліи отъ снурковъ или тѣснаго кушака и такіе же слѣды подвязокъ на ея бѣлыхъ икрахъ.

Ничего особенно хорошаго не нашла Зоя въ фигурѣ этой рослой, не очень молодой и уже очень пожившей женщины, только голосъ ея и рѣчи запали ей въ душу.

Эвина не смѣло вошла въ воду и ухватилась за веревку.

«Мочите голову, голову!» — закричали ей, и дамочка съ вздернутымъ носикомъ, и двѣ сестрицы, и еще какая-то пожилая, худощавая женщина, сѣдая, голая и въ очкахъ.

Эвина окунулась въ воду.

— Et vous, mesdames, qu'est ce que vous attendez?

— Ай, какіе-то мужчины съ лодки глядятъ, — пропищала одна изъ сестрицъ.

— Гдѣ вы видите мужчинъ? это—рыбаки,—отвѣчала дамочка. И, смѣясь и прикрываясь руками съ растопыренными пальчиками, одна за другой сошли онѣ по слѣдамъ Эвиной въ море, окунулись и стали точно на пружинахъ присѣдать и выскакивать изъ воды, подставляя голову подъ набѣгающій валъ и разводя руками.

Въ купальнѣ осталась только Зоя со своей горничной.

Только-что всѣ вышли, она сбросила простыню, которая уже успѣла на ней совершенно высохнуть, и стала обуваться.

Ища подвязки, она увидѣла около себя ковровый сакъ-вояжъ. Этотъ сакъ былъ раскрытъ, точно ротъ разинулъ, и изъ этого рта, съ полосатой подкладкой, выглядывало полотенце, гребень и кончикъ какого-то письма въ конвертѣ палеваго цвѣта.

Зоя, какъ дикій звѣрекъ надъ добычей, остановила на немъ взглядъ свой. Цвѣтъ конверта поразилъ ее. Потихоньку, осторожно, двумя пальчиками вытянула она его до половины и въ ужасѣ не повѣрила глазамъ своимъ.

Не даромъ эта бумажка показалась ей сразу подозрительной.

Сердце у ней точно замерло, дыханіе стѣснилось въ груди. Она узнала свой почеркъ, свое вчерашнее письмо къ Елатомскому.

Съ лихорадочнымъ проворствомъ обувшись и одѣвшись въ свое холстинковое, розовое платьице, она оглянулась на купающихся въ морѣ и, убѣдившись, что подпрыгивающія въ волнахъ фигуры уже сцѣпились руками и на нее не обращаютъ ни малѣйшаго вниманія, выхватила изъ сакъ-вояжа письмо свое, опустила его въ свой кармашекъ, и вышла изъ купальни, точно потерянная. Горничная, догнавъ ее, подала ей забытую соломенную шляпку и оставленный ею на гвоздикѣ золотой крестикъ.

Взбѣжавши на крутой берегъ, она еще разъ оглянулась на купальню, и, когда повернула въ Графскій переулокъ, вынула, развернула несчастное письмо свое, и, окончательно убѣдившись въ его несомнѣнности, медленными, колеблющимися шагами пошла домой.

Головка у ней кружилась; она не плакала, но слезы злѣйшей обиды, горькія, жгучія слезы стояли въ глазахъ ея.

«Или», думала она, «Клара Ивановна» меня обманула, потеряла письмо на улицѣ и его кто-нибудь поднялъ, или не Елатомскій, а кто-нибудь другой изъ магазина Тотти получилъ его.

«Или эта барыня, высокая и краснорѣчивая,—та самая, что пріѣхала изъ Москвы и все гуляетъ съ Елатомскимъ, и Елатомскій самъ отдалъ это письмо ей — на посмѣяніе!

«О, если это такъ... Боже мой! Боже мой! что мнѣ дѣлать! какъ мнѣ отомстить ему!»

Подойдя къ воротамъ своего дома, она остановилась

и сказала горничной: — проводи меня до Клары Петровны.

— Нѐкогда васъ провожать, и безъ васъ дѣла много,—отвѣчала та съ досадой.

— Ради Бога, проводи меня!

Горничная увидѣла, что ея барышня чуть не плачетъ.

— Да что это съ вами?

— Ничего... Клара Петровна сказала, что будетъ ждать меня чай пить... Не хочешь проводить меня... не хочешь?!..

И Зоя пошла дальше, мимо воротъ. Горничная подумала, подумала и пошла за ней.

XXIV.

Въ тотъ же день, около десяти часовъ утра, Елатомскій и Эвина сидѣли въ кондитерской Карруты. Эвина пила кофе, Елатомскій курилъ сигару,

— Ну, какой же мнѣ дать тебѣ совѣтъ, между прочимъ,—говорила Эвина.—Совѣтъ мой простой: если любишь, иди смѣло, ты не въ правѣ отворачиваться отъ тѣхъ жертвъ, которыя любящая душа приноситъ тебѣ на алтарь любви; а не любишь—не ходи.

— Все это, кромѣ алтаря любви (какой тутъ алтарь!)— все это справедливо. Ты ныньче разсуждаешь не глупо!

— А бываетъ, что и глупо?

— Бываетъ.

Эвина захохотала. Простодушно-серьезный отвѣтъ Елатомскаго насмѣшилъ ее.

— Я, должно быть, простудилась, до сихъ поръ не могу согрѣться, и голова тяжела.

— Это ты вчера у окна простудилась. Иди домой и выпей цѣлый самоваръ чаю съ липовымъ медомъ. Пей

до девятаго пота, и все какъ рукой сниметъ. А теперь, Нина, ты мнѣ отдай вчерашнее письмо. Гдѣ оно у тебя?

— Сейчасъ.

И Нина принялась рыться у себя въ сакъ-вояжѣ.

— Да куда же оно дѣлось?

— Ищи, ищи, — шутливымъ тономъ понукалъ Елатомскій.

Но, въ продолженіи двадцати минутъ, всѣ ея поиски оказались тщетными.

— Нѣтъ ли его у тебя въ карманѣ?—спросилъ сконфуженный юноша.

Нина, побрякивая ключами, пошарила у себя въ карманѣ.

— Не оставила ли ты его у себя дома?

— Нѣтъ, я взяла его въ купальню. Я сама видѣла его, когда вынимала вещи. Очень можетъ быть, оно и теперь лежитъ подъ скамейкой, на томъ мѣстѣ, гдѣ я одѣвалась.

— Ахъ, Нина, Нина, что ты сдѣлала? что если его подняли и прочли? Да еще, пожалуй, во всеуслышаніе! тамъ мое имя. Нѣтъ, это невозможно! Я сейчасъ побѣгу туда. Спрошу, разыщу. Это ужасно!

Нина сама сконфузилась. Кровь пятнами прилила къ лицу ея.

Елатомскій надѣлъ шляпу и выбѣжалъ изъ кондитерской.

Въ пыли, въ поту, весь красный и запыхавшись, добѣжалъ онъ до Платоновой пристани и прямо бросился къ подмосткамъ, на которыя какая-то пожилая женщина, въ одной пестрой юбкѣ, развѣшивала сырыя простыни и полотенца.

— Куда вы бѣжите, господинъ! что вы?..

— Да развѣ есть еще кто-нибудь въ купальнѣ?

— Что вы, что вы! конечно есть. Видите сами, дверь притворена.

— Пожалуйста, тутъ была одна дама... такая высокая... Ну, такъ вотъ что... Она, эта дама, послала меня поискать... Она уронила здѣсь письмо. Не упало ли подъ лавку или куда-нибудь.

— Еще успѣете.

— Пожалуйста, поищите. Вотъ она прислала рубль, отдать, кто найдетъ.

Женщина поправила развѣшенное бѣлье, повѣсила на перекладину сушить еще какой-то женскій чулокъ, и, не говоря ни слова, вошла въ купальню.

Елатомскій стоялъ на берегу точно на раскаленныхъ угольяхъ. Сердце его билось отъ усталости и отъ непріятной для него случайности.

— Ну, что?—спросилъ онъ, когда скрипнула на ржавыхъ петляхъ холстинная рама двери и на подмосткахъ показалась та же женщина.

Она поглядѣла на него.

— Ничего нѣтъ, никакого письма...

— Ничего!

— Можетъ, въ какую щель провалилось?

— Щели большія, кто его знаетъ.

Изъ купальни, пріотворивши на вершокъ дверь, выглянули любопытные женскіе глаза и профили.

— Мы сейчасъ готовы, сейчасъ,—послышались дѣвическіе голоса. Это были двѣ горничныхъ. Имъ вообразилось, что, подъ предлогомъ какого-то письма, барину очень хочется забраться къ нимъ.

— Пожалуйста, если найдете, то спрячьте,—сказалъ Елатомскій.

— Да гдѣ же его найти! Хоть сами осмотрите!

— А можно?

Елатомскій вошелъ въ купальню.

— Эхма!—скаля зубы, — сказала одна изъ горничныхъ, дѣвка плотная и румяная,—что такъ поздно? Вмѣстѣ бы и выкупались!

Другая горничная захихикала.

— Ну, вы—выдумали!—сказала имъ женщина въ юбкѣ, съ притворнымъ неудовольствіемъ. Елатомскому было не до горничныхъ. Онъ также нигдѣ не нашелъ письма и вышелъ на берегъ.

— Возьмите же рубль,—сказалъ онъ женщинѣ.

— Не за что,—отвѣтила она и все-таки подошла къ нему.

— За то, что я обезпокоилъ васъ.

— Ну, покорнѣйше васъ благодарю, сударь! Какое же это было такое письмо, позвольте васъ спросить? Паспортъ какой, или билетъ?

— Нѣтъ, это было письмо къ брату этой барыни, отъ его невѣсты. Ей, понимаете, надо воротить его, и вдругъ такая бѣда, потеряла его въ купальнѣ... изъ мѣшка выронила,—чуть ли не со слезами на глазахъ толковалъ ей Елатомскій.

А Зоя между тѣмъ сидѣла у Клары Петровны за чайнымъ столикомъ.

— Вотъ что̀, тетя,—говорила Зоя,—если вы мнѣ не поможете, я... я и не знаю, что̀ я съ собой сдѣлаю.

— Да чѣмъ же я могу помочь тебѣ, скажи ты мнѣ, ради Христа Господа, ну—чѣмъ? Ахъ, Зоя, прилично ли мнѣ, сама посуди.

— Вы будто бы моя родственница или мой другъ, зайдите къ нему и ничего не говорите, даже не намекайте на то, что онъ за меня сватался. Ему это будетъ очень непріятно—очень, я его знаю. Вы только спросите его: получилъ ли онъ письмо мое, и если получилъ, то

скажите, что я очень раскаяваюсь, что писала, и очень прошу воротить мнѣ мою записку.

— Что̀ же ты такое къ нему писала?

— Эхъ, какъ будто я вамъ не сказывала! Писала, что если онъ еще не измѣнилъ своему намѣренію, то я согласна за него выйти замужъ. Впрочемъ, вы сами прочтете это письмо, когда онъ вамъ отдастъ его, а, можетъ быть, онъ согласится самъ въ субботу къ вамъ прійти сюда—и со мной переговорить. Вы его въ субботу пригласите. Я такъ и маменькѣ скажу, что въ субботу я назначила ему у васъ свиданіе. Знаю, что маменька согласится, она все знаетъ.

— Какъ же я его приглашу, душа моя?

— Да какъ-нибудь пригласите его на чашку чаю; скажите, что я буду у васъ, и что мнѣ нужно два-три слова сказать ему.

— Да будетъ ли это ловко, душа моя?

— Что̀ же тутъ неловкаго? Вы знаете, что я до безумія влюблена въ него. Вы знаете, что я умру, если я его не увижу. Вы знаете, что я... я... отказала ему такъ только, изъ одного каприза. Вы знаете, что онъ благородный человѣкъ и что я ему нравлюсь. Чего же вы боитесь! Вѣдь это дѣло рѣшенное: или я выйду за него замужъ, или въ море брошусь! Ахъ! вы не знаете, что̀ значитъ любить!

— Ахъ, знаю, какъ это мучительно. Если бы не знала, другъ мой...

На черныхъ рѣсницахъ Зои повисли слезы.

— Перестань, перестань, я вѣдь не отказываюсь, только завтра мнѣ никакъ нельзя, завтра я поѣду на могилку моего Карлуши и...

— Ну, такъ послѣ завтра. Я ужъ васъ научу, тетя. Вы же и сами такая умная! Вы съ нимъ еще лучше обо всемъ переговорите. Почемъ знать! можетъ быть, онъ ску-

чаетъ, груститъ по мнѣ. Можетъ быть даже и письмо мое не дошло до него. Богъ его знаетъ, ему ли оно отдано въ магазинѣ. Можетъ-быть, кто-нибудь другой зашелъ да и взялъ. А у папа есть его адресъ, и я знаю, гдѣ онъ записалъ его. А папà сегодня уѣхалъ въ Ялту по дѣлу и тамъ недѣлю цѣлую пробудетъ. И знаете, чтò еще однажды сказалъ пàпа: что есть случаи, когда благородный человѣкъ обязанъ жениться. А Елатомскій—благородный человѣкъ. Помните, какъ онъ говорилъ, чтò такое честь! Какъ онъ это все высоко понимаетъ!

— Ахъ, душа моя, мало ли чтò говорятъ эти мужчины!

— Да развѣ онъ мужчина!

— Да что же онъ?

— Онъ выше мужчины: Всѣ мужчины чиновники, или купцы, или мастеровые, или военные; а онъ развѣ чиновникъ или военный—онъ просто честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ.

— Ахъ, Зоя, Зоя, ну, такъ и быть, не плачь, пойду къ нему и переговорю съ нимъ.

— И пригласите его въ субботу?

— Почему же въ субботу?

— Самый это удобный день, тетя. Мама и сестры пойдутъ ко всенощной, а вы зайдите за мной и скажите, что мы пойдемъ въ Михайловскій монастырь. Мама меня и отпуститъ.

— Ну, хорошо, хорошо! А ужъ какъ мнѣ горько и больно, что сынъ-то мой покинулъ меня въ сиротствѣ. Будь онъ живъ, полюбила бы ты его, Зоя, и женился бы онъ на тебѣ. Я такъ и думала, такъ и прочила тебя ему въ невѣсты. Помнишь, какой онъ былъ красавецъ, да какой добрый, какой умный.

И Клара Петровна прослезилась въ свою очередь.

Наступило молчаніе. Обѣ—отжившая и начинающая жить, каждая думала о своемъ горѣ.

Но непоправимое старое горе понимало молодое и поправимое. Клара Петровна искренно сочувствовала Зоѣ. Любовь этой дѣвочки давала пищу ея романическому воображенію, наполняла дни ея жизни, однообразные и скучные, какими-то новыми, молодыми заботами. Ей и въ голову не приходило, что Зоя хитритъ съ ней; она смотрѣла на нее, какъ на дитя, на простодушнаго, милаго ребенка, жаждущаго стать женщиной и, можетъ быть, обреченнаго на слезы и страданія.

XXV.

Эвина напрасно до двухъ часовъ пополудни ждала Елатомскаго въ кондитерской Карруты. Зашелъ Сашинъ, очень обрадовался, что увидѣлъ ее, взялъ ее за руку и замѣтилъ, что лицо у ней нехорошее, глаза красные и руки холодныя. Затѣмъ, онъ, бодрясь и вздыхая, пошелъ проводить ее до дому. На головѣ его была бѣлая фуражка съ бѣлымъ околышкомъ, коротенькая трость въ лѣвой рукѣ его тихо постукивала въ тротуаръ. Чтобъ онъ не отсталъ и не очень запыхался, Эвина умѣряла шаги свои, и разсѣянно слушала, какъ онъ завидовалъ Елатомскому, называя его счастливцемъ, лучше всѣхъ умѣющимъ пользоваться дарами юности.

А счастливецъ Елатомскій все это утро ходилъ по берегу моря, какъ человѣкъ, съ которымъ судьба поступила самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Онъ ругалъ себя, зачѣмъ это вздумалось ему дать прочесть Эвиной письмо Зои. «Точно я хотѣлъ передъ ней похвастаться, — говорилъ онъ самъ съ собой:—вотъ-де какіе мы молодцы, какъ насъ любятъ! Фу, какая я скотина! А что будетъ,—

думалъ онъ,—если это несчастное письмо, переходя изъ рукъ въ руки, дойдетъ до ея отца или матери?..»

Потомъ и досада забрала его: онъ совершенно даромъ, ни за что отдалъ свой послѣдній рубль! «Чортъ знаетъ, что такое! За то, что баба зашла въ купальню, да заглянула подъ лавку — я ей рубль даю... Господи, да когда же, наконецъ, я буду практичнѣе?»

Безпощадно браня себя, Елатомскій машинально подошелъ къ пароходной пристани и сталъ глядѣть на пароходъ, отчаливающій отъ берега. Уже смолкли призывные звуки пароходнаго колокола, уже оттащили мостки, уже машина, медленно пыхтя, начала работать, уже шлепнулся въ воду канатъ, котораго петля была закинута за дамбу, какъ вдругъ Елатомскій съ парохода услыхалъ голосъ. Кто-то громко назвалъ его по имени. Онъ поднялъ глаза и, подъ раскинутымъ тентомъ, рядомъ съ толстымъ пріѣзжимъ помѣщикомъ, знакомцемъ Нины, увидѣлъ отца Зои, Трофима Евлампіевича. Весь сѣренькій, въ сѣренькомъ картузѣ, съ фляжкой на ременной перевязи, стоялъ онъ у самаго борта и махалъ ему платкомъ.

— Я былъ у васъ! хотѣлъ звать васъ съ собой, въ Крымъ,—въ Ялту! въ Ялту! — кричалъ онъ, указывая пальцемъ на горизонтъ.

Елатомскій поклонился и молча глядѣлъ на него съ натянутой улыбкой.

«Я бы и безъ тебя удралъ куда-нибудь», думалъ онъ, да карманъ пустъ. Вотъ что! Ужъ не пришла ли и Зоя съ маменькой провожать его, мелькнуло у него въ головѣ, и онъ вдругъ какъ будто струсилъ чего-то.

Точно встрѣча съ Зоей въ эту минуту была для него чѣмъ-то въ родѣ новой, угрожающей ему непріятности. Невольно покосился онъ на толпу провожающихъ, еще стоящую на берегу, живую, пеструю, перекликающуюся съ пассажирами, машущими платками и шляпами.

Машина сильнѣе задвигала рычагами, и, вспѣнивъ воду своими колесами, пароходъ пошелъ быстрѣе. Сѣренькій Меркуличъ все еще смотрѣлъ на Елатомскаго и все еще дѣлалъ ему руками какіе-то знаки.

Дымъ изъ пароходной трубы поднялся столбомъ, потомъ нагнулся и сталъ вытягиваться. Проводивъ его глазами, Елатомскій прошелъ къ другимъ деревяннымъ, городскимъ купальнямъ, устроеннымъ между пристанью и воронцовской лѣстницей.

«Ужъ не выкупаться ли и мнѣ», подумалъ юноша. «Тьфу! и того нельзя! Чортъ знаетъ, за что отдалъ послѣдній рубль, и—ни копѣйки!!

— Елатомскій! Елатомскій!—услышалъ онъ дружескій голосъ джентльмена, только-что вышедшаго изъ дверей мужской купальни, въ гороховомъ пальто, въ лоснящемся цилиндрѣ, въ золотыхъ очкахъ и подъ зонтикомъ.—Куда вы! куда вы?

Елатомскій увидѣлъ пріятеля своего, австрійскаго консула, усиливающагося говорить по-русски, и подошелъ къ нему.

— Что вы не были у насъ такъ давно?—сказалъ ему консулъ, ломая русскій языкъ. — Мы всѣ безъ васъ соскучились. Куда вы? Поѣдемъ къ намъ... Ну, ну, поѣдете. Такъ я говорю? Поѣдете?

— «Поѣдемте», — отвѣчалъ, поправляя его, Елатомскій.

— Поѣдемте, такъ надо? Ну, хорошо, хорошо... Какъ я радъ, что васъ видѣлъ... ахъ да, увидѣлъ, увидѣлъ!

И они вдвоемъ стали подниматься по колоссальной лѣстницѣ на бульваръ.

Консулъ вдругъ остановился посреди лѣстницы. Où est donc votre parapluie, cher ami?» Гдѣ же вашъ зонтикъ?

Какъ это можно безъ зонтика... Солнце!.. Ахъ, вы!... ну, поѣдемъ, поѣдемъ.

Консулъ этотъ былъ женатъ на русской, учился по-русски, и Елатомскій, когда бывалъ у нихъ на дачѣ, читалъ съ нимъ русскія книги, толковалъ ему значеніе словъ и посвящалъ, насколько могъ, въ трудности россійской грамматики. Онъ былъ очень радъ развлеченью и охотно бы всякому позволилъ увезти себя. Около бульвара на улицѣ ожидала ихъ двухъ-мѣстная коляска, и они поѣхали.

Вотъ почему Эвина напрасно ожидала Елатомскаго въ кондитерской.

XXVI.

На другой день, вечеромъ, часу въ девятомъ, на обратномъ пути съ дачи, Елатомскій зашелъ къ нарѣченной сестрѣ своей.

На крылечкѣ сидѣла Акулина, горничная Эвиной, и какой-то солдатъ. Сидя рядомъ, они не то обнимались, не то боролись. Акулина сдержанно хохотала. Солдатъ скалилъ зубы. За ними въ раскрытыя двери глядѣлъ мракъ.

— Дома Нина Александровна?—спросилъ Елатомскій.

Акулина встала, встряхнула фартукъ и отвѣчала: — Спятъ-съ.

— Что это съ ней?

— Ничего-съ, должно быть не здоровится. Не обѣдали сегодня. Какъ легли, такъ и не просыпались.

— Зажги мнѣ свѣчу, я войду.

И она пошла за нимъ въ гостиную, нашла спички, зажгла свѣчу и, подозрительно улыбаясь, воротилась на крылечко.

Елатомскій подошелъ къ полуоткрытой двери въ сосѣднюю комнату. Тамъ было темно и тихо.

Елатомскій постучался.

— Кто тамъ?—послышался стонущій голосъ Нины.

— Это я, Нина, что̀ съ тобой?

— Ни-и-и-чего. Войди!

Елатомскій вошелъ къ ней со свѣчой.

Нина лежала въ постели поверхъ одѣяла, въ разстегнутой бѣлой блузѣ и съ туфлями на ногахъ.

Она тяжело дышала, щеки ея были красныя, какого-то неестественнаго красно-кирпичнаго цвѣта,—такъ, по-крайней-мѣрѣ, показалось Елатомскому, когда онъ освѣтилъ лицо ея.

Онъ положилъ ей руку на лобъ.

Она раскрыла глаза.

— У тебя жаръ, Нина, ты больна!

Она поглядѣла на Елатомскаго, подала ему руку, и когда онъ сѣлъ, стала его спрашивать: нашелъ ли онъ письмо и что̀ дѣлаетъ бука?

Елатомскій сталъ-было разсказывать свои похожденія и вдругъ замолкъ. Онъ замѣтилъ, что она морщится и его не слушаетъ.

— Да что съ тобой! ужъ не съѣздить ли мнѣ за докторомъ?

— Отгони эту собаку,—пробормотала Нина,—фи!—и она отдернула свѣсившуюся съ кровати руку и договорила съ выраженіемъ какой-то гадливости: — она меня все лижетъ, отгони!

«Эге! да это бредъ», подумалъ Елатомскій.—Никакой собаки нѣтъ,—началъ-было онъ ее успокоивать.

Она быстро поднялась и повернула къ нему свою голову. Глаза ея были мутны.

— Елатомскій,—пробормотала она, — ты не одинъ... съ этой Зоей... А?.. Куда же мнѣ спрятать васъ!.. И нехорошимъ смѣхомъ засмѣялась Эвина.

Елатомскій всталъ и тихо, на цыпочкахъ, переставилъ свѣчу съ ночного столика на окошко.

Голова Нины опять упала на подушку. Она быстро подогнула колѣни и разбросала руки. Одна рука ударилась въ стѣну, другая—свѣсилась.

Елатомскій, услыхавъ шорохъ блузы и этотъ стукъ, бросился вонъ изъ комнаты и сунулся въ темную кухню.

— Акулина! гдѣ ты тутъ? Неужели она ушла со своимъ солдатомъ?

— Акулина! — закричалъ онъ громче, выйдя на крыльцо.

Скрипнула калитка и въ тускломъ лунномъ свѣтѣ показалась фигура горничной.

— У барыни твоей горячка, она больна, можетъ-быть, умираетъ.

— Какъ умираетъ?!—повторила она съ недовѣріемъ.

— Да такъ-же. Я сію минуту побѣгу за докторомъ, а ты, пожалуйста, голубушка, пойди къ ней, раздѣнь ее и уложи, какъ слѣдуетъ. Да что это за солдатъ?

— Онъ ушелъ,—отвѣчала она, потупившись, и съ недоумѣніемъ вошла въ комнаты.

Елатомскій ощупью нашелъ въ гостиной свою шляпу и вышелъ на улицу.

— Адріанъ!—вскрикнулъ онъ, прибѣжавши домой и заставши Бавина посреди комнаты, съ чубукомъ въ рукахъ, въ рубашкѣ, помочахъ и брюкахъ.

Отъ нагорѣвшей свѣчи, на стѣнѣ и на потолкѣ, большимъ темнымъ пятномъ колыхалась длинная тѣнь его.

— Адріанъ! Эвиной плохо, она въ жару. Я просто въ ужасъ пришелъ, увидѣвши ее въ такомъ положеніи.

Бавинъ, какъ стоялъ, такъ и замеръ на одномъ мѣстѣ. Лицо его вытянулось. Расширенные глаза, съ выраженіемъ испуга и изумленія, остановились на лицѣ Ела-

томскаго. Елатомскій еще никогда не видалъ его въ такомъ ужасѣ.

— Вообрази, горитъ, какъ въ огнѣ, Богъ знаетъ, что̀ такое бредитъ, собака какая-то!.. не разберешь!.. И въ постели лежитъ нераздѣтая и никого при ней нѣтъ. Горничная съ какимъ-то солдатомъ за воротами, и даже не знаетъ, что Нина больна. Который-то теперь часъ? Какъ ни поздно, а я сейчасъ бѣгу за докторомъ, а ты, Адріанъ, ей-Богу, хорошо сдѣлаешь, если пойдешь къ ней. Ее надо поберечь, самъ посуди!

— Да что̀ ты говоришь? Неужели, не шутя, больна?— проговорилъ, очнувшись, Бавинъ. Онъ выронилъ чубукъ и сложилъ ладони рукъ у самаго ворота рубашки, точно собирался молиться въ минуту горя или ужаса.

— Я боюсь, что умретъ, уже нарочно, для пущаго эффекта,—добавилъ Елатомскій.

Бавинъ тряхнулъ Елатомскаго за плечи и задыхавшимся голосомъ проговорилъ:

— Поѣзжай за докторомъ. Возьми у меня деньги на извозчика, на лекарства, на все. А я сейчасъ...

И съ лихорадочной торопливостью, какъ будто-бы домъ горѣлъ. Бавинъ сталъ одѣваться. Одной рукой застегивалъ онъ жилетъ, другой, выдвинувши ящикъ въ письменномъ столѣ, указывалъ пальцемъ на нѣсколько ассигнацій.

— Бери, говорятъ тебѣ! и ступай сейчасъ, привези къ ней лучшаго доктора. Я буду тамъ ожидать тебя.

Елатомскій вышелъ и тотчасъ же на улицѣ поймалъ извозчика.

Какъ ни жаль было Елатомскому Нины, но, сидя на дрожкахъ, онъ невольно улыбался. Испугъ Бавина, его вытянутое лицо, торопливость, совершенно ему не свойственная, все это въ первый разъ съ достаточною ясностью подсказало ему, что это не даромъ. Ему пріятно было

вообразить, что Бавинъ влюбленъ, можетъ быть, точно также, какъ и остальные смертные.

Нина, уже раздѣтая и разутая горничной, еще до прихода Бавина, все еще продолжала спать и не подозрѣвала, что Бавинъ сидитъ у ея изголовья, прислушивается къ дыханію и глядитъ на нее съ такою же нѣжностью и съ такимъ же глубокимъ вниманіемъ, какъ мѣсяца два тому назадъ глядѣлъ онъ на первые побѣги посаженнаго имъ растенія.

Она была все еще въ жару, по временамъ бредила и, сквозь сонъ, ей казалось, что опять пришелъ Елатомскій, требуетъ отъ нея письмо и угрожаетъ ей выдать всѣ ея тайны, всѣ ея помышленія.

Но когда Елатомскій привезъ, наконецъ, доктора, оттого ли, что спалъ жаръ, или оттого, что Эвина услыхала мужскіе голоса, она очнулась, мутными, широко раскрытыми глазами, оглядѣла присутствовавшихъ, узнала Бавина и саркастически улыбнулась.

Молодые люди вышли. Докторъ пощупалъ ей пульсъ и началъ ее исповѣдывать.

— Будь у васъ другая комплекція,—сказалъ онъ,— и не будь вы такая полнокровная, вы бы не бредили. У васъ есть жаръ, но не такъ великъ, чтобъ быть въ забытьи. Впрочемъ, это хорошо, что вы весь день спали и ничего не ѣли.

— Если не принять мѣръ,—сказалъ тотъ же докторъ Елатомскому, который въ другой комнатѣ приготовилъ для него перо и бумагу,—если не принять мѣръ, то можетъ развиться горячка. Ей вовсе не слѣдуетъ купаться. Я пропишу ей микстуру и хининъ, а главное—прежде всего поставьте ей горчичники?

— Горчичники?

— Да. Одинъ вотъ сюда, на спину, пониже шейнаго позвонка и два на икры.

— На икры?—машинально повторилъ Елатомскій.

— Ну-да!.. Да не мѣшало бы вызвать мужа, крови много, приливы къ головѣ, звонъ въ ушахъ. Все это, понимаете, не нормально, при ея комплекціи.

Елатомскій понялъ, что̀ онъ хотѣлъ сказать; Бавинъ не понялъ. Вслѣдъ за отъѣздомъ доктора, Елатомскій сказалъ Бавину:

— Ну, братъ, ставь ей горчичники, а я пойду въ аптеку.

— Да гдѣ же я ихъ возьму, эти горчичники?

Елатомскій чуть не прыснулъ со смѣху, такимъ ребячески-смущеннымъ тономъ спросилъ его Бавинъ.

— Пошли горничную на хозяйскую кухню за сухой горчицей, да и вели ей сдѣлать горчичники.

И Елатомскій объяснилъ ему, ка̀къ ихъ сдѣлать. Затѣмъ, взялъ шляпу, и, съ рецептомъ въ карманѣ, побѣжалъ въ аптеку.

XXVII.

Аксёнъ и Карай, слуга и пудель, оба были скандализированы ночнымъ отсутствіемъ и позднимъ возвращеніемъ своего барина. Бавинъ вернулся домой въ четвертомъ часу ночи, засталъ Елатомскаго уже въ постели и, чтобъ не разбудить его, всячески старался унять Карая, взвизгивавшаго отъ радости. Но Елатомскій не спалъ—у него была безсонница: онъ слышалъ, какъ Бавинъ закурилъ трубку, какъ, раздѣваясь, просилъ Аксёна къ 9-ти часамъ утра приготовить ему фракъ и какъ, затѣмъ, насасывая чубукъ свой, сѣлъ къ столу и принялся писать.

Зачѣмъ ему завтра утромъ фракъ? — подумалъ Ела-

томскій, но этотъ неинтересный для него вопросъ такъ и остался вопросомъ, потому что мысли его неслись скачками, ни на чемъ не останавливаясь, перебирая въ немъ все, чѣмъ была переполнена душа его: а душа его была переполнена чѣмъ-то хаотичнымъ и томительно неопредѣленнымъ. Это была и вѣра въ людей, и невѣріе, и любовь, и презрѣніе, и насмѣшка надъ своимъ мелкимъ, трусливымъ себялюбіемъ, и боль этого самаго себялюбія, и жажда наслажденія, и безпристрастный анализъ этихъ жадно ожидаемыхъ наслажденій; образъ Зои, прелестный и наивный, и въ любви, и въ ревнивыхъ слезахъ своихъ, и та пропитанная запахомъ помады и неряшливая семейная атмосфера, которая носилась вокругъ этой дѣвушки; затѣмъ, больная Нина, влюбленный Бавинъ, докторъ, фонари, аптекарь: все это носилось передъ нимъ, несмотря на закрытые глаза и тишину ночи. Жизнь, какъ двулицый Янусъ, глядѣла на него и смѣясь, и плача. Если бы Елатомскій, вообще, доросъ до опредѣленной и ясной мысли, онъ былъ бы человѣкъ съ характеромъ, но онъ былъ бы и тогда гораздо сильнѣе, если бы, подобно Бавину, вѣрилъ въ полную возможность доискаться истины, единой, какъ тотъ евангельскій пастырь единаго стада...

Поздно, подъ самое утро заснулъ Елатомскій и на другой день, проснувшись въ 10 часовъ утра, узналъ отъ Аксёна, что Бавинъ уже напился чаю, одѣлся и ушелъ въ лицей.

«Въ лицей!» подумалъ Елатомскій, «значитъ, онъ сегодня будетъ экзаменовать! Бѣдный Бавинъ! Воображаю себѣ, какъ провелъ онъ ночь и какъ проведетъ утро. Не завидую я его головѣ и его характеру».

Бавинъ же, дѣйствительно, облекся во фракъ и отправился въ лицей на экзамены.

Смутный отъ безсонной ночи и внутренняго волненія, вошелъ онъ въ низенькія пасмурныя сѣни двухъ-этаж-

наго, желтой краской выкрашеннаго зданія. Лицейскій сторожъ, отставной солдатъ, почистивъ его спину щеткой, смахнулъ пыль съ сапоговъ его, и Бавинъ поднялся на лѣстницу, не поднимая глазъ и не замѣчая студентовъ, которые попадались ему на встрѣчу, или видя не лица ихъ, а только фалды ихъ форменныхъ сюртуковъ, и смутно сознавая, что эти молодые люди глядятъ на него, какъ на человѣка, который черезъ полчаса начнетъ ихъ *рѣзать* и, непремѣнно, *зарѣжетъ*.

Лицо Бавина было такъ строго и такъ холодно, что даже тотъ, который приходилъ къ нему депутатомъ отъ товарищей и былъ такъ развязенъ у него на квартирѣ, не рѣшился подойти къ нему, несмотря на подталкиванія пріятелей.

Судя по ихъ, не кстати шаловливымъ, движеніямъ, неестественнымъ улыбкамъ, остротамъ, которыхъ никто не замѣчалъ, смѣху, который никого не заражалъ, явно было, что господа студенты находятся въ томъ нравственномъ настроеніи, которое сродни лихорадкѣ и есть что-то среднее между удалью и отчаяньемъ.

Въ залѣ накрытъ былъ столъ. На зеленомъ сукнѣ его покоилась книга, что-то въ родѣ свода законовъ, лежали списки студентовъ и возвышалась казенная, усердно вычищенная чернильница съ неразлучною песочницей. За столомъ былъ рядъ креселъ, а не далеко отъ входа, вдоль стѣны, въ два ряда тянулись косые столы и скамейки для экзаменующихся.

Директоръ лицея, человѣкъ средняго роста, смуглый, съ крупными чертами лица, съ выразительнымъ взглядомъ, безпрестанно мѣняющимъ свое выраженіе, и крупными губами, изъ-подъ которыхъ рѣзко выставился верхній рядъ крѣпкихъ зубовъ, когда онъ, улыбаясь, привсталъ съ креселъ и протянулъ руку входящему Бавину.

Кромѣ директора, была небольшая кучка профессо-

ровъ, изъ которыхъ двое, одинъ молодой, другой старый, стояли у окна и миролюбиво о чемъ-то спорили. Всѣ они довольно разсѣянно протянули руку молодому ихъ сотоварищу, едва замѣтно покосившись на костюмъ его.

Всѣ они были въ вицъ-мундирахъ съ гербовыми пуговицами, одинъ Бавинъ былъ въ черномъ фракѣ и безъ гербовыхъ пуговицъ.

— Какъ ваше здоровье? — спросилъ Бавина директоръ,—продолжая наидружелюбнѣйшимъ образомъ улыбаться.

— Благодарю васъ, слава Богу.

— Вы какъ будто того... похудѣли немного, — продолжалъ директоръ, и на всемъ лицѣ его, особливо въ большихъ, выпуклыхъ глазахъ, живо отпечатлѣлось нѣчто весьма серьезное, соединенное съ искреннимъ участіемъ.

— Кажется мнѣ, я совершенно здоровъ, — надтреснутымъ голосомъ отвѣчалъ Бавинъ.

— Нѣтъ, вы... вы... похудѣли. Слишкомъ много занимаетесь. А что, господа,—добавилъ онъ, потирая руки, какъ это дѣлаютъ иные передъ рюмкой водки,—не пора ли намъ, такъ-сказать, приступить къ священнодѣйствію...

Молодой профессоръ вышелъ на лѣстницу и пригласилъ студентовъ войти.— Сейчасъ начнется экзаменъ! — сказалъ онъ.

Директоръ посмотрѣлъ на часы.

— Я полагаю, господа, если мы и раньше начнемъ, не бѣда. Если положить по десяти минутъ на человѣка, то—такъ какъ всѣхъ студентовъ около тридцати человѣкъ, надо предположить, что раньше трехъ часовъ мы не кончимъ. Впрочемъ, я думаю—пять-шесть минутъ на каждаго весьма достаточно. Милости просимъ.

Бавинъ сѣлъ за столъ, разложилъ вопросные билеты, вынулъ изъ кармана платокъ, утерся, чуть слышно крякнулъ (по московски), и пока онъ засовывалъ обратно пла-

токъ свой, всѣ разсѣлись и на всѣхъ лицахъ, сквозь обычную скуку, выступило натянутое ожиданіе.

Бавинъ развернулъ алфавитный списокъ и сталъ вызывать.

— Авакинъ!

Никто не вышелъ.

— Авакинъ! Гдѣ же Авакинъ?—спросилъ директоръ, повернувши голову свою къ стѣнѣ, вдоль которой сидѣли студенты.

— Авакинъ!

Авакинъ пошевелился и, покачиваясь, вышелъ.

— Возьмите вопросъ.

Авакинъ взялъ вопросъ, прочелъ его, помялся, возвелъ глаза, кашлянулъ, сталъ что-то говорить, запутался и, какъ приговоренный къ смерти, поникъ.

— Довольно,—сказалъ Бавинъ.

— Авиновъ!

Вышелъ Авиновъ. Глаза у него были красны, нижняя губа дрожала. Онъ взялъ билетъ, прочелъ его, потеръ себѣ переносицу и попросилъ себѣ другой билетъ. «Источники по предмету законовѣдѣнія», прочелъ онъ.

— Укажите на источники,—сказалъ Бавинъ.

— Моисей, — отвѣчалъ Авиновъ,— Юстиніанъ, т.-е. кодексъ Юстиніана, Гуго-Гроцій, Жанъ-Жакъ Руссо, Гегель, т.-е. философія права.

— Довольно,—сказалъ Бавинъ и сдѣлалъ въ спискѣ отмѣтку.

И затѣмъ отъ А до Ѳ отвѣты студентовъ, съ нѣкоторыми варіацами, были то немного хуже, то немного лучше. Упомяну только о двухъ исключеніяхъ: одинъ Рженецкій,—полякъ, судя по фамиліи и интонаціи голоса,— благодаря своей удивительной памяти, сказалъ отвѣтъ слово въ слово по записанной имъ тетрадкѣ, да еще

одинъ какой-то Трухинъ, отличился совершенно особеннымъ образомъ.

Косой и сутуловатый, онъ взялъ билетъ, прочелъ его однимъ глазомъ, заложилъ руку за спину и, скрививши на сторону лицо свое, не переводя духу, началъ нести такую ахинею, что даже Бавинъ ротъ разинулъ. У директора чуть глаза не выскочили отъ изумленія

«Начало права, отношеніе субъекта къ субъекту и субъекта къ личности порождаютъ безчисленныя развѣтвленія правъ, вся сущность которыхъ проявляется не столько въ народныхъ обычаяхъ, сколько въ законѣ положительномъ. Человѣкъ, какъ начало природы, доходитъ до результата—результатъ этотъ есть его разумъ, и разумъ этотъ тождественъ съ началомъ права» и т. д. и т. д. все въ томъ же родѣ безъ остановки и безъ малѣйшаго смущенія.

Присутствующіе профессора прыснули со смѣху, на студенческихъ скамьяхъ послышалось сдержанное фырканье.

— Что это вы?—началъ-было директоръ, еще не зная, сердиться ему или смѣяться.

— Довольно,—сказалъ Бавинъ.

Около часу пополудни, кончился этотъ знаменитый экзаменъ, и скамьи, занимаемыя студентами, опустѣли. Когда всѣ поднялись, всѣмъ было неловко.

Бавинъ былъ блѣденъ. Директоръ исподлобья поглядывалъ на всѣхъ съ недоумѣніемъ. Подойдя къ Бавину со спискомъ экзаменовавшихся и съ ихъ отмѣтками, онъ то глядѣлъ на списокъ, то взбрасывалъ на философа глаза свои, двигалъ бровями, пожималъ плечами и замѣтно не зналъ, какъ и что ему говорить.

— Что это! — глухо воскликнулъ директоръ.—Это, это невѣроятно! Вы всѣмъ поставили хорошіе балы, Адріанъ Владиміровичъ. Какъ же это?

— Они не виноваты,—сказалъ Бавинъ,—я виноватъ. Я читалъ имъ предметъ свой такъ, какъ я самъ его понимаю. Я именно обработывалъ его на началахъ современной философіи и не зналъ, что... гм! они такъ дурно подготовлены. Я не желаю, чтобъ моя вина помѣшала имъ перейти на слѣдующій курсъ. Если по другимъ предметамъ они хороши, то...

— Но какъ же это? это, это... невозможно! — вскричалъ директоръ, и это «невозможно!» такъ и раздалось по всей залѣ.

Бавинъ опустилъ глаза и сказалъ:

— Завтра я буду имѣть честь подать въ отставку.

Директоръ быстро откинулъ назадъ свою голову. Природная доброта его боролась въ немъ съ напускною оффиціальною строгостью.

— Я не съ тѣмъ, чтобъ—въ отставку. Вы, конечно, у насъ такъ недавно, не ознакомились, и, дѣйствительно, можетъ быть, читали ваши лекціи не совсѣмъ привычнымъ для нихъ языкомъ... Все это возможно,—но зачѣмъ же въ отставку?

— Я очень жалѣю, что я не читалъ имъ по книгѣ Неволина. Я виноватъ и прошу васъ меня уволить.

Директоръ взялъ Бавина за руку, жалобно-строго посмотрѣлъ на него своими глазами на выкатѣ и сталъ его уговаривать остаться еще хоть на годъ.

Но Бавинъ оставался непреклоненъ. Онъ какъ будто предчувствовалъ, что, рѣшись онъ остаться, ему, для острастки, слѣдуетъ переправить балы и почти всѣмъ поставить по единицѣ, если не по нулю.

Онъ этого не хотѣлъ.

Услыхавши, что дѣло идетъ объ отставкѣ, къ Бавину подошли профессора и, какъ бы ему въ утѣшеніе, стали бранить студентовъ.

— Ничего они не дѣлаютъ! Ничего-съ!—говорили они.—Надо ихъ безпрестанно, безпрестанно спрашивать...

— Я такъ и дѣлаю,—сказалъ старый профессоръ въ очкахъ, съ узкими губами и маленькими, мышиными глазками.— Я каждый разъ спрашиваю ихъ, о чемъ я читалъ въ прошедшей лекціи. Вы слишкомъ на нихъ понадѣялись.

Бавинъ отвѣчалъ:—Гм... да!.. можетъ быть,—и поспѣшилъ съ ними раскланяться.

Профессора, сначала, когда Бавинъ только-что присланъ былъ въ лицей, смотрѣли на него, какъ на выскочку, воображали, что чуть ли не самъ министръ просвѣщенія ему протежируетъ, — боялись, что Бавинъ сядетъ имъ на шею; но скоро успокоились.

Бавинъ, хотя и не сходился съ ними на пріятельскую ногу, но никого не безпокоилъ, не забѣгалъ къ начальству и, повидимому, не искалъ популярности даже между студентами. На него стали смотрѣть, какъ на оригинала, какъ на московскаго чудака, какъ на человѣка *не отъ міра сего.*

Не полюбили его и не возненавидѣли. Онъ былъ въ лицеѣ чѣмъ-то совершенно особеннымъ, двигающимся внѣ служебнаго кружка, внѣ его маленькихъ интригъ и интересовъ, далеко ненаучнаго свойства.

Понятно почему, услыхавши объ его отставкѣ, профессора какъ-будто пожалѣли о немъ. Они давно уже перестали считать его опаснымъ соперникомъ, и это одно уже мирило ихъ съ его пребываніемъ въ одномъ съ ними учебномъ заведеніи.

Не знаю, какими путями, черезъ какія щели, тотчасъ же дошло до студентовъ, столпившихся въ сѣняхъ, что Бавинъ всѣмъ имъ поставилъ хорошіе балы: это ихъ и поразило, и ребячески обрадовало. Когда Бавинъ показался

на лѣстницѣ блѣдный, съ опущенными рѣсницами, всѣ они смолкли и разступились.

Для Бавина эта минута, съ тѣхъ поръ, какъ онъ себя помнилъ, была одна изъ самыхъ тяжелыхъ. Онъ какъ-будто самъ себя изгонялъ изъ этого высшаго учебнаго заведенія, онъ, съ такою гордою самоувѣренностью, съ такими надеждами, вступившіи на каѳедру, сходилъ съ нея, никѣмъ не понятый и, быть можетъ, даже осмѣянный.

— Прощайте, господа, — сказалъ онъ, спуская ногу съ послѣдней ступеньки лѣстницы,—мы съ вами больше не увидимся.

На одномъ глазу его показалась слеза.

Этого было достаточно: студенты бросились къ нему, стали ловить его руки, чуть не цѣловать ихъ.

— Виноваты! Адріанъ Владиміровичъ, останьтесь съ нами!—слышались голоса.—Неужели вы, вы насъ покинете!

Не странно ли это? профессоръ, котораго слушатели не понимали, былъ ими любимъ и уважаемъ.

Или молодыя сердца ихъ чувствовали, что Бавинъ—одинъ изъ всѣхъ ихъ наставниковъ—стремится къ какой-то высочайшей, недоступной ихъ пониманію истинѣ, или имъ казалось, что за свои, непонятныя имъ идеи, человѣкъ этотъ пожертвуетъ жизнью, и что ему не нужно ни чиновъ, ни крестовъ, никакихъ поощреній.

Можетъ быть, двѣ—три фразы его, горячо имъ сказанныя о высокомъ назначеніи человѣка и его безконечномъ развитіи, о непобѣдимой силѣ человѣческаго разума, о самоотреченіи, глубоко врѣзались въ ихъ памяти, и кто знаетъ, можетъ быть, у двухъ, у трехъ изъ нихъ, эти фразы на всю жизнь оказались не безъ благотворнаго вліянія на обуреваемую совѣсть ихъ...

Далеко на улицу проводили Бавина студенты. И то

чувство, съ которымъ они простились съ нимъ, не мало ободрило и утѣшило самолюбиваго Бавина.

XXVIII.

Воротившись домой, Адріанъ Владиміровичъ засталъ своего пріятеля Елатомскаго въ такомъ же молчаливомъ и странномъ настроеніи духа.

— Ну, что̀ экзамены?—спросилъ Елатомскій.

— Да ничего, гм! все было такъ, какъ я ожидалъ,— отвѣчалъ Бавинъ. — А ты былъ у Нины? Узналъ, какъ ея здоровье?

И Бавинъ ушелъ въ свою комнату.

Отчего же это, — живя подъ одной кровлей и, повидимому, любя другъ друга, они были такъ неоткровенны, такъ несообщительны между собою: они могли обо всемъ говорить, кромѣ того, что̀ мучило или волновало ихъ.

Это происходило потому, быть можетъ, что Бавинъ считалъ Елатомскаго просто добрымъ малымъ, но пустымъ и вѣтреннымъ, а, стало быть, и неспособнымъ понимать его, а Елатомскій считалъ его человѣкомъ, который не живетъ, а только размышляетъ о жизни, который никогда не былъ юношей, доступнымъ увлеченіямъ и страстямъ, какъ другіе его друзья и пріятели.

«Какъ я скажу ему, ну, хоть о письмѣ Зои?—думалъ Елатомскій. Онъ непремѣнно начнетъ, по поводу его, задавать мнѣ разные вопросы, на которые мнѣ самому тяжело отвѣчать и которые только безъ всякой нужды заставятъ меня краснѣть передъ его непогрѣшимостью. Нѣтъ, лучше молчать: хорошій онъ человѣкъ, но я его приговорамъ не намѣренъ подчинять души своей».

Вчерашній вечеръ окончательно убѣдилъ Елатомскаго, что и Бавинъ, съ своей стороны, носитъ передъ нимъ

маску, да еще такую непроницаемую, такую холодную маску! Влюбленъ, задрожалъ весь, когда узналъ, что Нина больна,—и что же! хоть бы слово, хоть бы намекъ какой-нибудь о своемъ чувствѣ!

«Нѣтъ», — продолжалъ думать Елатомскій, — «онъ скрытенъ и, стало быть, моя откровенность покажется ему болтовней, а я этого не хочу,—ergo, буду молчать».

Елатомскій же, пока Бавинъ экзаменовалъ своихъ студентовъ, выдержалъ своего рода экзаменъ.

Проснувшись довольно поздно, не успѣлъ онъ умыться и повязать на шею галстукъ, какъ въ комнату его вошелъ Аксёнъ:

— Тамъ опять какая-то барыня пришла и васъ спрашиваетъ, сказалъ онъ.

— Какая барыня!—удивился Елатомскій.—Попроси ее подождать.

«Опять!» подумалъ онъ. Что значитъ это «опять!» Развѣ ужъ была какая-нибудь...

Услыхавъ въ сосѣдней комнатѣ шорохъ платья, онъ заглянулъ въ щелку двери и узналъ женщину, которую довольно часто встрѣчалъ у Меркулича. Непріятное чувство прошло у него по душѣ; онъ тотчасъ же предугадалъ, что будетъ разговоръ о Зоѣ, и что она пришла не даромъ.

И Елатомскій, уже совсѣмъ одѣтый, безъ всякой нужды, прошелся раза-два по комнатѣ, прежде чѣмъ отворить дверь.

— А! какими судьбами? — сказалъ онъ, подавая ей руку.

Клара Петровна, потряхивая букольками, встала съ кушетки, на которую она присѣла, чтобъ обождать его.

— Извините, Владиміръ Григорьевичъ,—начала она, судорожно пожавъ ему руку своими чахоточными пальцами и съ улыбкой на узенькомъ, восковомъ лицѣ, — я

очень хорошо понимаю, что мой визитъ удивитъ васъ. Очень, очень прошу васъ, извините меня!

— Я къ вашимъ услугамъ, садитесь, Клара... Клара Ивановна.

— Петровна, — слегка наклонившись, поправила его гостья и сѣла.

— Ахъ, да, да! Клара Петровна. Извините меня за мою разсѣянность.

— Я пришла... Владиміръ Григорьевичъ, но думаю, разговоръ нашъ... я бы желала, чтобъ это было между нами. У васъ никого нѣтъ въ той комнатѣ?

— Никого, я одинъ.

— Я пришла спросить васъ, получили ли вы то письмо, которое я оставила для васъ въ книжной лавкѣ?

— Гм, да, получилъ. Вы пришли спросить меня, отъ кого оно?

Клара Петровна махнула рукой и засмѣялась.

— Знаю-съ отъ кого, все знаю-съ! Зоя вѣритъ мнѣ, какъ родной; она знаетъ, что я всею душой моей люблю ее, какъ родную дочь люблю, и довѣряетъ мнѣ.

— Такъ вы знаете содержаніе письма?

— Нѣтъ-съ, этого я не знаю. Она мнѣ его не читала, но вѣдь я... Вы посмотрите-ка на меня: первой ли я молодости и не страдала ли такъ, какъ, можетъ быть, въ мірѣ никто не страдалъ. Я, и не читая, могу себѣ представить... я ужъ и бранила ее за это, но сердце— не камень... Упрашиваетъ, Христомъ Богомъ: отнесите, да отнесите, ну, и взялась. Сердце не камень, Владиміръ Григорьевичъ.

«Вижу, что не камень», подумалъ Елатомскій.

— Теперь вотъ что-съ, Владиміръ Григорьевичъ! Если вы намѣрены отвѣчать ей, то отвѣчайте. Я, такъ и быть, передамъ ей вашъ отвѣтъ. Знаю, что вы человѣкъ благородный! Если же вы ничего отвѣчать не на-

мѣрены, то Зоя проситъ васъ черезъ меня воротить ей это письмо. И... это я понимаю, Владиміръ Григорьевичъ.

— А я не понимаю: неужели она думаетъ, что я употреблю во зло ея довѣрчивость?

— Нѣтъ, она этого не думаетъ, Владиміръ Григорьевичъ, она этого не думаетъ. Но зачѣмъ же вамъ ея письмецо, если вы, такъ сказать, равнодушны, Владиміръ Григорьевичъ! Я отнесу ей ея письмо, и этимъ все будетъ покончено.

И она такъ провела рукой своей, какъ будто стерла что-то написанное въ воздухѣ.

— А вѣдь надобно-съ, непремѣнно надобно какъ-нибудь съ ней покончить. Она истерзалась, измучилась, на ней лица нѣтъ. Пусть ужъ лучше все это сразу... понимаете...

Елатомскій задумался и, смущенный, не зналъ, что̀ ему отвѣчать ей. Воротить письмо! Но этого завѣтнаго письма у него не было. Говорить съ ней откровенно ему не хотѣлось.

— Я или напишу ей, или какъ-нибудь увижусь,— сказалъ Елатомскій.

— А вы позволите, Владиміръ Григорьевичъ, задать вамъ нескромный вопросъ. Вы на нее не сердитесь? Вы желаете съ ней видѣться?

— Почему же нѣтъ, Клара Петровна, совѣсть моя чиста. Я всегда всего лучшаго желалъ и желаю Зоѣ Трофимовнѣ.

— А если такъ, такъ я же вамъ скажу, что и она желаетъ васъ видѣть, и если вы хотите переговорить съ ней... Вы такой человѣкъ, вы можете ее и уговорить, и успокоить... Вы все можете! Пожалуйста, не спорьте со мной. Вы великій человѣкъ, Владиміръ Григорьевичъ. Итакъ, если вы желаете, я попрошу васъ къ себѣ на чашку чаю. Когда вы свободны вечеромъ?—Свободны вы въ субботу?

— Я почти всегда свободенъ,—вздохнувши, сказалъ Елатомскій.

— Такъ приходите ко мнѣ въ субботу. Вотъ вамъ мой адресъ. Я живу отъ нихъ не далеко, около синагоги, тамъ, гдѣ кузница. Помните, еще такая вывѣска: карета и золотая лошадь?..

— Не помню-съ. Но позвольте вашъ адресъ... Въ которомъ же часу мнѣ придти къ вамъ?

— Да часу въ восьмомъ, или во время всенощной. Вѣрьте, Владиміръ Григорьевичъ, я буду отъ всей души рада вамъ. Я не изъ корысти дѣйствую, изъ чистой преданности. И будь у меня живъ сынъ мой, я лучшей невѣсты, какъ Зоя, не пожелала бы для него. Истиннымъ Богомъ клянусь вамъ! Но, что̀ дѣлать, Богъ далъ—Богъ взялъ. А лучше бы и не давалъ,—добавила она, сокрушенно махнувъ рукой—и стала прощаться. Ея чахоточные, длинные пальцы опять потрясли его за руку, и тутъ Елатомскій, совершенно безъ умысла, сдѣлалъ ей великое удовольствіе; провожая ее, онъ спросилъ:—что̀ же случилось съ ея сыномъ и отчего онъ умеръ?

Клара Петровна разсказала ему всѣ подробности объ его умопомѣшательствѣ и смерти, и, при этомъ, нѣсколько разъ поднесла платокъ къ увлаженнымъ глазамъ своимъ. Клара Петровна убѣждена была, что она тронула его до глубины души и уходила отъ него въ самомъ пріятномъ настроеніи духа. Улыбка, такъ-сказать, извивалась поперекъ всего узенькаго лица ея. Припоминая весь свой разговоръ, она сама себѣ, своему собственному уму, дивилась, и ло̀кончики на вискахъ ея, казалось, сочувствовали ей: также слегка дрожали, какъ и вся голова.

«Я не дала ему, ни единымъ словечкомъ не дала понять ему, что знаю объ его сватовствѣ. Ужасно гордый человѣкъ! Трудно будетъ Зоѣ поправить свою ошибку—трудно! Ну, да теперь не только мать, самъ Трофимъ

Евлампіевичъ увѣренъ, что мѣшать не слѣдуетъ; такъ какъ у него благородныя намѣренія, — мѣшать не слѣдуетъ...».

XXIX.

Елатомскій вышелъ и пропалъ. Бавинъ ждалъ его до самаго вечера и недождался. Мысль, что Эвиной хуже, что у ней горячка, какою-то невѣдомою тоской, чѣмъ-то мучительно-безпокоющимъ, мѣшающимъ думать, наполняла душу философа — и онъ не вытерпѣлъ, пошелъ вечеромъ самъ навѣстить ее. (Онъ и утромъ, передъ тѣмъ, какъ идти на экзаменъ, заходилъ узнать объ ея здоровьѣ; но нашелъ дверь въ сѣни запертою изнутри и не хотѣлъ стучаться).

Не люди, не Нина, сама судьба, положившая ее въ постель, приготовляла для Бавина такія сильныя искушенія, избѣжать которыхъ, даже для его отвлеченной головы и цѣломудреннаго духа, было труднѣе, чѣмъ побороть свое ученое самолюбіе, выйти въ отставку и пр. и пр.

Эвина же была вовсе не изъ такихъ, чтобъ не понимать всей выгоды своего положенія. Въ душѣ она была очень рада, что занемогла, даже желала быть какъ можно дольше въ жару, лишь бы Бавинъ всю ночь подавалъ ей лекарство и прислуживалъ ей, какъ сидѣлка или сестра милосердія. Былъ уже двѣнадцатый часъ ночи, когда Бавинъ, который отъ роду не имѣлъ дѣла съ больными, котораго воображеніе преувеличивало болѣзнь Нины, увидѣлъ, что руки ея стали свѣжѣе, что на лбу ея выступила испарина, и, успокоившись, въ короткихъ словахъ разсказалъ ей, какое впечатлѣніе произвели на него экзамены, какъ онъ рѣшился выйти въ отставку и уѣхать.

— Но что̀ же ты будешь дѣлать, милый мой!

— То же, что̀ и теперь,—учиться.

— Но куда же ты поѣдешь? — сѣвши на своей постели, спросила Эвина.

— Я еще и самъ не знаю, — сказалъ онъ, припавъ курчавой головой къ ея подушкѣ и спрятавъ въ ней лицо свое.

Она положила свою обнаженную руку на его густые волосы, потомъ рука эта какъ-то сама собою соскользнула, обвила его шею, и, когда онъ поднялъ голову, губы ихъ слились въ долгій, горячій поцѣлуй.

— Теперь я уйду, Нина, я не долженъ такъ тебя тревожить, такъ волновать,—пролепеталъ взволнованный Бавинъ, всталъ и взялъ шляпу.

— Нѣтъ! поди сюда,—отвѣтила она своимъ обыкновеннымъ, вовсе не взволнованнымъ голосомъ (она поняла, что онъ боится не столько за нее, сколько за себя). И она взяла шляпу изъ рукъ его и бросила ее себѣ подъ ноги.

— Поди и вели поставить самоваръ. Я давно не пила чаю. Сдѣлай мнѣ чаю, будемъ пить вмѣстѣ и поговоримъ. Мнѣ такъ много, такъ много надо сказать тебѣ!

Бавинъ разбудилъ горничную и велѣлъ ей поставить самоваръ. Онъ былъ точно въ чаду, и, будя горничную, со свѣчою въ рукахъ, даже не замѣтилъ, до какой степени разметалась она на своемъ войлокѣ, по милости жаркой и душной ночи.

Когда въ гостиной Нины появился самоваръ, Бавинъ заварилъ чай, потомъ самъ налилъ чашку и подалъ ее больной.

— Ну, теперь поговоримъ,—сказала Эвина.—Ты хочешь уѣхать, но не хочешь ли ты, чтобъ и я съ тобой уѣхала?—говори откровенно. Вѣдь я знаю, что ты меня любишь. Не лукавь. Будь свободенъ также, какъ сво-

бодна душа твоя. Скажи мнѣ, связанъ ли твой умъ, когда ты мыслишь? Зачѣмъ же ты связалъ свое сердце и вмѣстѣ съ тѣмъ всего себя? Развѣ не былъ ты счастливъ, полчаса тому назадъ, когда схватилъ шляпу и хотѣлъ бѣжать? Неужели—здоровая—я хуже больной? или ты хочешь, чтобъ я желала быть больной, была бы рада горячкѣ? Ну, хорошо, уходи. Докторъ запретилъ мнѣ купаться, а я завтра утромъ соберу мои послѣднія силы и пойду купаться.

— Ты этого не сдѣлаешь, Нина, ты этимъ убьешь себя. Ты знаешь, что ты дорога мнѣ, и ты этого не сдѣлаешь.

— Я дороже для тебя, когда я больна, такъ почему же мнѣ не заболѣть еще вдвое, втрое.

— Я нужнѣе тебѣ, когда ты больна. Ты одна, Нина. Даже,—увѣряетъ Елатомскій,—даже въ горничной твоей нѣтъ ни малѣйшей къ тебѣ привязанности. Вотъ почему я готовъ ночи не спать, лишь бы ты выздоровѣла, Нина! — досказалъ онъ съ необычайно-трогательною нѣжностью.

— Я выздоровѣю, а ты уѣдешь— и безъ меня! Нѣтъ, я не хочу выздоравливать!

И съ выраженіемъ отчаянья, закинувъ руки, она упала спиной на подушки и тяжело дышала, сомкнувъ влажныя отъ слёзъ рѣсницы...

Уже свѣтало и въ утреннемъ воздухѣ раздавался благовѣстъ, когда Бавинъ разстался съ Эвиной и въ измятой шляпѣ вышелъ на улицу.

Сонный Аксёнъ, отомкнувши дверь, подозрительно поглядѣлъ ему въ лицо. Бавинъ замѣтилъ этотъ взглядъ, сконфузился и, войдя въ свою комнату, оттолкнулъ Карая, который-было полѣзъ къ нему; кое-какъ раздѣвшись, онъ легъ на постланный диванъ и закурилъ свою трубку.

XXX.

На другой день утромъ Елатомскій шелъ навѣстить Эвину, но у воротъ ея квартиры встрѣтилъ Сашина.

— Вы къ вашей нарѣченной сестрицѣ? — спросилъ его Сашинъ, и я къ ней.

— А, кажется, насъ обоихъ не пустятъ, — сказалъ Елатомскій.—Она больна и лежитъ. Позвольте, я узнаю, можно ли намъ войти.—Акулина!—крикнулъ онъ, подойдя къ крыльцу. Горничная высунулась изъ окна кухни.

— Что̀ Нина Александровна?

— Спитъ,—отвѣчала горничная.

— Спитъ,—сказалъ Елатомскій Сашину, воротясь къ воротамъ.

— Тоска! Пойдемте ко мнѣ, Елатомскій, у меня есть бутылка рейнвейну,—разопьемъ съ горя. Видите, день какой пасмурный.

— Пойдемте.

По дорогѣ онѣ вошли въ городской садъ, ворота котораго выходили на Дерибасовскую улицу, и присѣли на скамейку.

Запыленныя акаціи печально висѣли надъ ними своими обезцвѣченными, пыльными листьями, какъ-бы предчувствуя, что скоро ихъ и совсѣмъ не будетъ. Дорожки, усыпанныя не пескомъ, а толченымъ кирпичомъ, чуть слышно хрустѣли подъ ногами прохожихъ; но прохожихъ было немного.

Сашинъ между колѣнями помѣстилъ трость свою, сложилъ руки на животѣ и, играя большими пальцами, встрѣчалъ прохожихъ и провожалъ ихъ, медленно переводя голубые, выпуклые глаза свои справа налѣво, слѣва направо.

— Ну, что̀, отдохнули?—спросилъ его Елатомскій.

— Нѣтъ еще, посидимъ...

— Скажите, пожалуйста, Елатомскій, за что васъ такъ не любитъ Хавазовъ и все вретъ про васъ, будто вы женитесь?

— А почемъ я знаю! Съ мѣсяцъ тому назадъ, встрѣтилъ я этого барина у Меркулича, и знаю, зачѣмъ онъ приходилъ къ нему. Онъ приходилъ занимать у него деньги. Меркуличъ ему отказалъ, — а отчего и почему отказалъ,—это не мое дѣло. Они тамъ около двухъ часовъ толковали въ кабинетѣ, а я въ это время былъ въ залѣ и болталъ съ барышнями. Почему не поболтать съ глупенькими, если умные только болтовней и занимаются. Вошелъ Хавазовъ, весь красный, точно изъ бани.—Что вы тутъ? — говоритъ. — Ничего, говорю, въ гости пришелъ. — Небось, говоритъ, никогда ко мнѣ не зайдете. Потомъ присталъ къ старшей дочери, Зоѣ, сталъ скалить зубы, просить ее, чтобъ она къ себѣ его на свадьбу пригласила, да чтобъ купила ему самыхъ лучшихъ конфектъ, да чтобъ поднесла ихъ ему въ самой лучшей бонбоньеркѣ и тому подобное. Тутъ же я смекнулъ, что у него разыгрывается на мой счетъ какая-то фантазія. Но за что онъ меня не любитъ? Чортъ его знаетъ, да я и не нуждаюсь въ любви его.

— А Зоя не дурная дѣвочка! Хорошенькая!—медленно проговорилъ Сашинъ, продолжая наблюдать прохожихъ.— Я, знаете, я самъ когда-то бывалъ у нихъ, даже, скажу вамъ по секрету, былъ не равнодушенъ... Глаза у ней,— того-съ... удивительные! нѣга какая-то восточная и что-то этакое, фосфорическое.

— Да вы, можетъ быть, и теперь не совсѣмъ равнодушны. Хотите я васъ посватаю?

Сашинъ тяжело оперся обѣими руками на свою трость и, глубоко вздохнувъ, не отвѣчалъ ему.

— Ну, пойдемте, я отдохнулъ,—сказалъ Сашинъ.

Оба встали и пошли.

— А я теперь понимаю, отчего Хавазовъ васъ не любитъ,—на ходу проговорилъ Сашинъ, не глядя на своего юнаго пріятеля.

— Отчего?

— Ну, ужъ этого я вамъ не скажу пока...

— И не говорите. Я до такой степени равнодушенъ къ его превосходительству, что мнѣ все равно, что̀-бы онъ обо мнѣ ни думалъ. Я еще, слава Богу, не у него подъ начальствомъ.

— А почемъ вы знаете? Можетъ быть, онъ-то именно и будетъ вашимъ начальникомъ.

— Ну, ужъ нѣтъ!

— Нѣтъ!—а если такъ придется!.. Вѣдь вы же служить будете... не все же вы будете такимъ счастливцемъ? Эхъ! молоды вы, Елатомскій, — страшно молоды! Впрочемъ, молодость, какъ говорятъ, такой недугъ, отъ котораго время или годы непремѣнно всякаго вылечатъ.

Елатомскій помолчалъ.

— Вотъ, вы говорите, я молодъ, а вѣрите ли, какъ начну я сравнивать, какимъ я былъ тому назадъ годъ и чѣмъ сталъ теперь, такъ не узнаю себя. Куда дѣвалась моя прежняя восторженность, идеализмъ! Это желаніе корчить изъ себя какого-то героя нашего времени! Куда все это дѣвалось? Вѣрите ли, Сашинъ, въ какомъ ореолѣ сіяла передо мной —ну, хоть бы эта Эвина, хоть я и никогда не былъ влюбленъ въ нее, а благоговѣлъ. Бывало, сижу у ней, слушаю ее, упиваюсь, горжусь ею...

— Какъ! вы не были влюблены въ нее? не пользовались ея благосклонностію?

— Т.-е., по-просту сказать, вы думаете, что я былъ ея любовникомъ?

— Не думаю, а увѣренъ.

— Не хочу васъ разувѣрять. Только вы жестоко

ошибаетесь. Если бы это было такъ, я бы не называлъ ее сестрой, я бы...

— «Сестра!» что̀ такое «сестра?» По-моему, это даже смѣшно. «Сестра!»

— Можетъ быть, это смѣшно, пахнетъ какимъ-то студенчествомъ, чѣмъ-то романически-идеальнымъ. Но сестрой я называю ее по привычкѣ, по старой памяти. Не одно кровное родство, но и родство духовное признавали мы... Не однѣ сестры были у меня, но и братья, т.-е. люди однихъ со мною убѣжденій. Теперь, чѣмъ я больше живу, чѣмъ больше самого себя анализирую, тѣмъ болѣе убѣждаюсь...

— Въ чемъ? — спросилъ Сашинъ, переваливаясь съ ноги на ногу.

— А въ томъ, что у меня не было, нѣтъ да и быть не можетъ никакихъ убѣжденій.

Сашинъ пріостановился и поглядѣлъ на Елатомскаго. «Онъ не глупъ», подумалъ онъ про себя.

— Я въ одномъ только убѣжденъ,—сказалъ Елатомскій.

— Въ чемъ?

— А въ томъ, что на святой Руси есть подлецы и есть люди честные; есть обскуранты и есть люди, ищущіе свѣта, есть рабы и есть люди независимые.

— Я и въ этомъ не убѣжденъ,—сказалъ Сашинъ.— Честныхъ людей не знаю, а независимыхъ—тѣмъ паче. Вотъ вы, напримѣръ.—Сашинъ опять пріостановился.— Вы, во-первыхъ, не всегда правдивы; во-вторыхъ, если и независимы, то только благодаря вашей молодости, да безпечности, да случайной обстановкѣ. Сто̀итъ вамъ сдѣлаться немного поблагоразумнѣе, да попрактичнѣе, и тогда сами поймете, что вы отъ каждаго полицейскаго, отъ каждаго столоначальника, отъ каждой, съ позволенія сказать, бабы зависите. Скажутъ вамъ: идите налѣво—

и пойдете налѣво; скажутъ вамъ: нюхайте навозную кучу—и навозную кучу, да, да,—и навозную кучу нюхать будете!

И Сашинъ при этомъ такъ на что-то разсердился, что сталъ указательнымъ пальцемъ правой руки тыкать внизъ, какъ будто навозная куча, о которой онъ говоритъ, была у него подъ ногами.

Елатомскому не хотѣлось увѣрять его, что онъ подлецомъ не будетъ.

— Не знаю, что̀ будетъ, — сказалъ онъ.—Вотъ, можетъ быть, вдругъ поднимется буря, да такая, что схватитъ насъ съ вами въ охабку, да и понесетъ. Можетъ быть... Но куда же это мы идемъ?

— А вотъ тутъ мое логовище, — сказалъ Сашинъ, указавъ рукой на подъѣздъ двухъ-этажнаго дома. Зайдите, если не раздумали.

XXXI.

Зоя нетерпѣливо ждала субботы. Трудно себѣ представить, какъ она стала добра къ своимъ капризнымъ, неугомоннымъ сестрицамъ. Она готова была имъ все отдать и даже имъ прислуживать. Къ матери своей также стала она особенно нѣжна и ласкова. Но все, что̀ она ни дѣлала:—читала ли, разбирала ли ноты, записывала ли расходъ подъ диктовку матери, подрубала ли носовые платки для Люлиньки, мысль о свиданіи съ Елатомскимъ поддерживала ее постоянно въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи. Точно раскаленный уголекъ носила она ее въ груди своей.

Наканунѣ субботы, всю ночь она не спала, все думала, что̀ она ему скажетъ, и какъ она будетъ съ нимъ вести себя, что̀ онъ ей скажетъ, какъ будетъ лгать, когда

она покажетъ ему письмо свое, и будетъ ли Клара Петровна ихъ подслушивать.

Воображеніе, развитое у ней на счетъ ея умственныхъ способностей, въ эту ночь играло съ ней, по своей чародѣйной прихоти, до тѣхъ поръ, пока нравственное изнеможеніе и сознаніе окружающей ея дѣйствительности (перекличка пѣтуховъ, шумъ налетѣвшаго дождя, внезапно брызнувшаго по стекламъ оконъ, постукиванье въ доску сосѣдняго сторожа и близкій шорохъ сестеръ, ворочающихся на своихъ скрипучихъ кроваткахъ) на нѣсколько минутъ не отрезвили головы ея. Въ эти минуты силилась она размышлять, и — то пугала ее мысль, что Елатомскій оттолкнетъ и осмѣетъ ее, то радовала удачнолукавая затѣя,—сочинить цѣлую исторію о томъ, какъ онъ просилъ руки у ней, тогда какъ онъ и не думалъ свататься.

Она понимала, что, безъ этой неожиданной лжи, не могла бы она послать къ нему письмо свое. Но врядъ-ли понимала она, что, если та же ложь дастъ ей возможность видѣться съ предметомъ ея страсти, то она не остановится, она будетъ лгать, лгать и лгать,—до тѣхъ поръ, пока все, ею тайно задуманное, не осуществится къ ея счастію или къ ея погибели.

Ни разу не пришло ей въ голову, что явно искать свиданія съ молодымъ человѣкомъ, который ни разу не сказалъ ей, что онъ ее любитъ, значитъ ронять свое достоинство. Ни разу не раскаялась она въ томъ, что солгала; напротивъ, съ наслажденіемъ припоминала разсказъ свой матери о томъ, въ какихъ именно выраженіяхъ Елатомскій обратился къ ней съ предложеніемъ, какъ она, изъ ревности къ какой-то пріѣзжей московской дамѣ, отказала ему, и при этомъ заплакала. Какъ онъ былъ взволнованъ и какъ старался замять, обратить въ шутку сватовство свое.

Она такъ правдоподобно сочинила эту сцену, что мать и Клара Петровна не могли не повѣрить ей. Отецъ ея тоже все узналъ, и если бы онъ засталъ Елатомскаго дома, то не шутя предложилъ бы ему, ради разсѣянья, проѣхаться съ нимъ на пароходѣ въ Крымъ, и, затѣмъ, въ добрую минуту, далъ бы ему замѣтить, что Зоя раскаивается въ своемъ отказѣ, что она, какъ дура, по уши влюблена въ него, и что онъ не прочь имѣть его своимъ зятемъ.

Пришла суббота, насталъ вечеръ. Елатомскій весь день былъ въ самомъ радостномъ настроеніи духа. Почтальонъ принесъ ему объявленіе, на которомъ значилось *сто рублей*—большая сумма для Одессы того времени. Эти деньги, несомнѣнно посланныя ему отцомъ, развязывали ему руки, сбрасывали съ души его тяжелый гнетъ тѣхъ маленькихъ долговъ, отъ которыхъ подъ-часъ было тяжело ему. Это настроеніе души, эти мысленные счеты и разсчеты, кому сколько заплатить и сколько ему останется, весь день отвлекали мысль его отъ предстоящаго ему свиданія съ Зоей. Только къ вечеру вспомнилъ онъ, что обѣщалъ выпить чашку чаю у Клары Петровны, съ трудомъ отыскалъ бумажку съ ея адресомъ—и, когда стало смеркаться, вышелъ на улицу.

Клара Петровна нанимала квартирку у каретника. Домишко, въ которомъ она обитала, стоялъ въ уголкѣ обширнаго двора, и изъ-за кучи дровъ выставлялся только однимъ окномъ своимъ, и виденъ былъ отъ воротъ, около которыхъ помѣщалась кузница.

Квартирка ея состояла изъ трехъ маленькихъ, низенькихъ, но уютно, хотя пестро убранныхъ комнатокъ. Одна изъ нихъ, лучшая, была когда-то кабинетомъ ея покойнаго сына. Тамъ стоялъ диванъ, письменный столъ, шкафъ съ книгами, глобусъ и пустой, уже высохшій, акваріумъ, обложенный раковинами и кусками какого-то

ноздреватаго, сѣраго камня. На столикѣ, передъ раскрытымъ окномъ, стояла лампа. Надъ лампой кружились ночныя бабочки. На диванѣ, вся въ бѣломъ, съ пунцовой лентой въ черныхъ волосахъ, прижавшись въ уголокъ, сидѣла Зоя, — сидѣла какъ-то съёжившись и поджавши ножки (точно ей отъ самой себя хотѣлось спрятаться), и вздрагивала всякій разъ, когда на дворѣ слышались шаги или скрипъ калитки.

Въ другой комнатѣ, на скатерти съ синими разводами, горѣли двѣ свѣчи, стоялъ самоваръ. чайникъ подъ бисерною покрышкою, сливочникъ, сахарница, сухари и—все, что слѣдуетъ.

Клара Петровна, въ новомъ чепцѣ, сидѣла за самоваромъ, то вытирала чашки, то изъ маленькой шкатулки вынимала чайныя ложечки и тоже перетирала ихъ, то дѣлала тартинки, то поглядывала въ окно, и также замѣтно была въ ненормальномъ состояніи духа. Ей не вѣрилось, чтобъ Елатомскій—этотъ будущій великій человѣкъ—этотъ будущій,—если не министръ, то ужъ навѣрное губернаторъ почтитъ ее своимъ посѣщеніемъ. Она сама не знала, желать или не желать ей этого посѣщенія. Она боялась за Зою и въ идеальную честность мужчинъ плохо вѣрила, несмотря на свое знакомство съ разными идеальными героями, перебравшимися въ ея голову изъ разныхъ нѣмецкихъ романовъ, ею когда-то проглоченныхъ.

Но вотъ раздался звонокъ, пробѣжала дѣвка и въ тѣсную переднюю вошелъ Елатомскій.

Зоя хотѣла-было вскочить, сдѣлала движеніе и опять замерла, прижавшись къ уголку дивана.

Клара Петровна не успѣла встать, какъ уже въ комнату вошелъ Елатомскій.

— Ну ужъ, искалъ же я васъ,—заговорилъ онъ.— Цѣлый часъ искалъ. Ходилъ я, ходилъ, и въ кузницѣ былъ, и въ прачечной былъ. Встрѣтилъ кузнеца, спра-

— Ваше письмо? Да его нѣтъ со мной. Какъ же я вамъ ворочу его?

— Ну, такъ оставьте меня. Пока я назадъ не получу моего письма, я не могу... мнѣ тяжело... Ступайте къ Кларѣ Петровнѣ!

— Значитъ, прощайте,—сказалъ взволнованный Елатомскій. Этого письма я вамъ никогда не ворочу.—Никогда!

— Почему?

Зоя повернула къ нему свою голову и, страшно блѣдная, темными глазами такъ и впилась въ глаза его.

— Зачѣмъ вамъ знать: почему?

— Оно вамъ дорого?

— Да...

Зоя опять отвернулась къ спинкѣ дивана и рукой закрыла верхнюю часть лица.

Это движеніе, этотъ быстрый шорохъ ея кисейнаго платья, эта поза—не то гнѣва, не то грусти, не то отчаянія, минуты на двѣ, на три сковали языкъ Елатомскаго. Онъ никогда такою не видалъ ее.

Молча, сѣлъ онъ на диванъ у ногъ ея и, съ притворнымъ равнодушіемъ, машинально сталъ осматривать комнату.

«Чортъ возьми!»—подумалъ онъ, наконецъ. «Скажу ей всю правду. Вѣдь не убьетъ же она меня за это! Вѣдь въ письмѣ не было ея подписи. Мнѣ же хуже. На конвертѣ стоитъ и мое имя, и фамилія».

— Если я вамъ скажу всю правду, вы на меня не разсердитесь?—началъ онъ, слегка дотронувшись до той руки ея, которая, вытянувшись, лежала неподвижно на неподвижныхъ складкахъ ея бѣлаго, воздушнаго платьица.

— Не разсержусь, говорите.

И Елатомскій разсказалъ ей все, какъ было: какъ

онъ отдалъ это письмо—на одну только ночь, другу своему, Эвиной, и какъ она потеряла его въ купальнѣ.

— И вамъ не грѣхъ, Владиміръ Григорьевичъ, мое письмо, мою тайну отдавать въ чужія руки? И отдавать, можетъ быть, на посмѣяніе?

И въ голосѣ Зои послышались сдержанныя рыданія.

— А вамъ не грѣхъ вашу тайну довѣрять другу вашему, Кларѣ Петровнѣ? Если у васъ есть другъ, которому вы вѣрите, который отъ чистаго сердца желаетъ вамъ добра, почему вы воображаете, что я не могу имѣть точно такого же друга! Эвину я знаю около трехъ лѣтъ и все это время зову сестрой своей. Вѣдь не даромъ же я и многіе изъ насъ, зовутъ ее сестрой! Значитъ, заслужила она чѣмъ-нибудь это названіе. Будь я влюбленъ въ нее или она въ меня, я никогда бы не рѣшился на такую нескромность. Никогда бы...

Въ эту минуту Клара Петровна прошла въ корридорчикъ и стала слушать.

— Я увѣрена, что вы влюблены въ нее! — сказала Зоя.—За дверью послышался шорохъ. Она сѣла, вытянулась и спустила ножки.

— Какимъ образомъ вы въ этомъ можете быть увѣрены? Вѣрьте мнѣ или не вѣрьте, но я люблю ее, какъ братъ, какъ пріятель; люблю ее, какъ очень умную и честную женщину—и только! Стало быть...

«Экая ревнивица!» подумала Клара Петровна.

— А что же?—спросила она, входя къ нимъ въ комнату.—Что же вы?.. Такъ-то вы привели ее?.. Не угодно ли вамъ еще чаю?.. Если хотите, пожалуй, я вамъ и сюда пришлю. Эхъ, вы, молодые люди! — молодые люди! Богъ васъ знаетъ, изъ-за чего вы ссоритесь!

— Напротивъ, мы миримся,—сказалъ Елатомскій.

Зоя облокотилась на столикъ и улыбнулась.

— Ну, такъ я вамъ сюда пришлю,—сказала, оглядывая ихъ, Клара Петровна.

— Пришлите ужъ и мнѣ,—сказала Зоя.

«Идетъ на ладъ!»—подумала Клара Петровна, и, потряхивая головой, опять пошла къ самовару.

— Ахъ, какъ жаль, что печка не топится,—пролепетала Зоя, исподлобья, лукаво поглядывая на Елатомскаго и ласково улыбаясь.

— Какая печка! Помилуйте, вамъ развѣ холодно?—сказалъ Елатомскій.

— Нѣтъ, я бы сію минуту, при васъ, сожгла вотъ это письмо. Вотъ это... — повторила она, вынувши палевый конвертикъ откуда-то изъ-подъ рукава, и показывая его издали.

— Какими судьбами оно у васъ?!—чуть не вскрикнулъ Елатомскій.

— А я была въ купальной и нашла его. И такъ мнѣ теперь хочется сжечь его,—такъ хочется!..

— Ну, слава Богу, что вы нашли. Ухъ! Слава Богу! Точно гора съ плечъ! Я приходилъ въ ужасъ при мысли, что его нашли другіе. Я такъ боялся сплетень и за васъ, и за себя. Дайте же мнѣ его, оно не ваше.

— Нѣтъ, зачѣмъ вамъ?

— Я на память сберегу его.

«Я и не воображалъ, что она такъ кокетлива», подумалъ про себя Елатомскій: «или ужъ всѣ онѣ такія?.. Крѣпись, Елатомскій!..» И онъ рѣшился, во что бы то ни стало, говоря съ ней, взвѣшивать слова свои.

— На память!—помолчавъ, сказала Зоя.—Я не хочу на память. Что̀ вамъ забывать! Я лучше себѣ на память сберегу его. Я—глупая... я любила, и...

И опять въ ея голосѣ задрожали слезы. Она отвернулась. Щека ея, освѣщенная лампой, ярко румянилась. На груди тихо колыхалась пунцовая лента. Елатом-

скій хотѣлъ что-то сказать, но горничная нѣмка вошла съ подносомъ.

Зоя отняла свой локоть, передвинула столикъ на середину и сказала:

— Ставьте сюда свой стаканъ.

Елатомскій взялъ стаканъ и, не отвѣдавъ его, сталъ размѣшивать чай серебряной ложечкой. Она взяла чашку и поставила ее на кругленькій столикъ.

Нѣмка спросила по-нѣмецки:—Aber den Kringel?

Елатомскій отказался, Зоя взяла машинально цѣлыхъ два и сказала: «merci». Нѣмка вышла, точно каменная, тяжело ступая по полу.

— Какая, однако-жъ, темная ночь!—сказалъ Елатомскій, глядя въ окно.

— Гдѣ ночь?—спросила Зоя, и темные глаза ея вопросительно остановились на лицѣ его.

— Какъ гдѣ? не безъ удивленія спросилъ Елатомскій—и глаза ихъ встрѣтились.

«Нѣтъ, не стану лукавить, это невыносимо!» подумалъ онъ: «невыносимо!»

— Зоя Трофимовна, у меня есть одинъ порокъ,—началъ онъ говорить, заложа ногу на ногу: — одинъ недостатокъ. Я не умѣю обманывать. Я прямо скажу вамъ, что вы мнѣ нравитесь, т.-е. ваши глаза, ваше милое, блѣдное личико, ваши черныя косы. Но что же изъ того, что вы мнѣ нравитесь? Если бы даже я безумно былъ въ васъ влюбленъ, что же изъ того? Я бѣденъ, я еще не началъ ни служить, ни трудиться. У меня нѣтъ ни мѣста, ни опредѣленныхъ занятій. Я не знаю даже, годенъ ли я на что-нибудь! Мало того, будь даже я богатъ, мнѣ еще и 24-хъ лѣтъ нѣтъ, я жажду свободы, простора, мнѣ еще дорога моя независимость. Какой я буду семьянинъ, какъ могу я ручаться за ваше счастіе, когда я не испыталъ себя, даже не знаю, хватитъ ли

моего постоянства на два, на три года. Что̀ же мнѣ дѣлать? Въ правѣ ли я отвѣчать вамъ на ваше чувство, если я не могу, не долженъ искать вашей руки?

Зоя оглянулась на дверь и прислушалась.

— Я это знаю. Я сама не хочу замужъ, — прошептала она, и что-то таинственное, дикое промелькнуло въ глубинѣ глазъ ея.

— Чего же вы хотите?

— Или вы не читали моего письма, или вы его не поняли! Я хочу видѣть васъ, слышать васъ! Я хочу, чтобъ хоть разъ въ недѣлю вы приходили... чтобъ я могла... Ахъ, Владиміръ Григорьевичъ, я... я сама не знаю, чего хочу! Возьмите меня, пусть ужъ лучше мнѣ отъ васъ погибнуть, чѣмъ...

И на ея рѣсницахъ показались слезы. Вся дрожа и тяжело дыша, она схватилась за чашку съ чаемъ и трепетно, какъ больная лихорадкой, поднесла ее къ губамъ своимъ.

— Не хочу я, не хочу, чтобъ вы погибли,—сказалъ, склонившись къ ней, Елатомскій.—Я хочу, чтобъ вы были счастливы, милая Зоя!

— Да, если нельзя, если нельзя мнѣ быть счастливой!—упрямо дернувъ плечикомъ и какъ-бы съ горечью, проговорила дѣвушка.

Какъ ни старался сдерживать себя Елатомскій,—онъ чувствовалъ, что слова этой глупенькой дѣвочки начинаютъ горячо пробирать его. Никогда еще не былъ онъ въ такомъ дурацкомъ положеніи. Мысли его путались; все, что̀ хотѣлъ онъ сказать, казалось ему, то глупо, то подло, то жестоко, то ужъ слишкомъ нѣжно. Задумчиво и молча, глядя на нее, взялъ онъ ее за руку и невольно сталъ пожимать ее. Какъ мертвая лежала въ рукахъ его эта маленькая, бѣленькая ручка, и чѣмъ больше онъ молча жалъ ее, тѣмъ все блѣднѣе и блѣднѣе становилось ея ли-

чико—тѣмъ все темнѣе и темнѣе становились глаза ея—только отъ сосѣдства лампы двѣ яркія точки таинственно мерцали въ нихъ. Вся она какъ-бы преобразилась... застыла—и въ то же время, какъ-бы инстинктивно торжествуя, сознавала, что на бѣднаго юношу дѣйствуетъ она—какъ магнитъ на желѣзо, что, по крайней мѣрѣ, въ эту минуту онъ влюбленъ въ нее—и какъ онъ ни бейся, какъ ни разсуждай, какъ ни борись съ собой, долженъ будетъ признаться ей въ своемъ безсиліи.

Точно такія же двѣ яркія точки загорѣлись въ глазахъ Елатомскаго, и, наклонившись, потянулъ онъ къ губамъ своимъ ея трепетную руку.

Вдругъ, въ передней, раздался звонокъ. Зоя вздрогнула, вскочила и пересѣла на стулъ.

Послышались опять тяжелые шаги горничной, щелкнула задвижка, кто-то прошелъ, черезъ переднюю, въ комнату съ самоваромъ, и, судя по шороху шаговъ, не мужчина, а женщина.

— Это мама!—пролепетала Зоя и бросилась вонъ изъ двери.

— Мама! это вы?—услыхалъ Елатомскій голосъ Зои уже изъ другой комнаты.

— Я за тобой. Мы давно уже воротились отъ всенощной — заговорила Вѣра Георгіевна. — Пождала, пождала я тебя, ну, думаю, вѣрно у Клары Петровны, и пошла... да такая ночь темная! Ужъ хотѣла вернуться...

— Мы здѣсь чай пьемъ... и Елатомскій здѣсь... — пролепетала Зоя.

— Кажется, что дѣло на ладъ идетъ! — прошептала своими губками Клара Петровна.

Она была очень рада, что пришла сама Вѣра Георгіевна. Ей такъ не хотѣлось, чтобъ Елатомскій ночью пошелъ провожать благородную дѣвушку.

«Что это они тамъ шепчутся?» подумалъ Елатомскій,

разомъ выпилъ свой простывшій чай, и, двумя пальцами взявшись за блюдечко, самъ понесъ стаканъ свой въ комнату, гдѣ былъ самоваръ.

Какъ ни въ чемъ не бывало, поздоровался онъ съ Вѣрой Георгіевной. Взглядъ Зои, какъ молнія, скользнулъ по немъ.

— Къ Кларѣ Петровнѣ хо̀дите, а къ намъ не ходите?—упрекнула его Вѣра Георгіевна.

— Что̀ дѣлать! И хотѣлось мнѣ быть у васъ — вы такая добрая, такая милая, Вѣра Георгіевна; но мало ли бываетъ разныхъ причинъ, которыя мѣшаютъ намъ располагать собой такъ, ка̀къ бы хотѣлось.

«Знаемъ мы эту причину», подумала Клара Петровна.

«Вотъ оно что!» подумала маменька Зои: «не можетъ простить ей—совѣстно ему»...

— Что за причины!—Причинъ никакихъ нѣтъ,—пробормотала она себѣ подъ носъ, и, сморщивъ лобикъ свой приподнятыми бровями, — ласково взглянула на задумавшагося юношу.

Вечеръ этотъ кончился тѣмъ, что Елатомскій проводилъ до дому и маменьку, и дочку, безъ особенныхъ приключеній. Нельзя же назвать приключеніемъ пожатіе руки, когда, прощаясь у воротъ съ Зоей, ему такъ хотѣлось, подъ прикрытіемъ ночи, поцѣловать ее.

«Нѣтъ!» думалъ Елатомскій, возвращаясь домой. «Самое лучшее—никогда, никогда мнѣ не встрѣчаться съ ней, не видѣть ее. Тутъ не Москвой, тутъ какимъ-то востокомъ или югомъ пахнетъ. Какая страсть! Какой характеръ! Погубите меня!—говоритъ. Какова?!»

И не подозрѣвалъ Елатомскій, какой отравой была для этой неопытной, плохо воспитанной дѣвушки, фраза его: «бракъ—могила любви».

XXXII.

Впечатлительный Елатомскій, долго лежа въ постели, не могъ переварить прожитого вечера. Что̀ за особа—эта Клара Петровна?—Почему она такъ явно помогаетъ Зоѣ?—Какую при этомъ роль играетъ сама маменька?—Не сѣти ли это?—Неужели Зоя можетъ думать, что онъ рѣшится быть ея соблазнителемъ? или,—какъ она сама говоритъ,—погубить ее. Но что̀ такое губить?! Воспользоваться ея страстью, овладѣть не только ея воображеніемъ, но и всѣмъ существомъ ея! Боже мой, какъ это легко! Сто̀итъ пожелать. Развѣ въ глазахъ ея не свѣтится эта жажда до послѣднихъ предѣловъ довести безумную страсть... Или у меня не хватитъ смѣлости! Но потомъ что̀? — потомъ? Не противно ли, не больно ли сознавать, что, не ради какого-либо высоко-нравственнаго чувства, а просто—ради эгоизма, ради самосохраненія, я готовъ бѣжать, готовъ отречься отъ минуты всепрощающаго счастья? Но что̀, если... Тогда? Что̀ тогда? или женись и плыви по теченію, плыви туда, куда грязный потокъ понесетъ тебя,—или плыви противъ теченія, и разстанься съ ней съ упрекомъ на душѣ, съ тоскою на сердцѣ. Но буду ли я виноватъ, если не я, если она сама испортитъ или разобьетъ жизнь свою! Если же несчастная страсть ея не найдетъ себѣ никакого выхода, будетъ ли она отъ этого счастливѣе?! О, какая безвыходность! Что̀ же мнѣ дѣлать? Попробуй-ка я совѣта у людей спросить? одни скажутъ мнѣ: дуракъ, тряпка ты, если ты не воспользуешься случаемъ; случай — это богиня,—говоритъ Гёте. Другіе скажутъ: ты будешь мерзавецъ, негодяй, скотъ,—если воспользуешься. Нина сказала правду: слушайся сердца—и тогда жертва за жертву.

Но готовъ ли я собою жертвовать? Да и какая это жертва съ моей стороны? — Насладиться и удрать при первой возможности! Фу, какая подлость! Такъ, если я не на столько люблю, чтобъ жениться — (т.-е. въ омутъ головой броситься)—честно ли, изъ сожалѣнія, раскрыть ей свои объятія? А развѣ сожалѣніе — дурное чувство?! Вѣдь и собаку не всегда оттолкнешь, если она любитъ и ласкается. Или это сожалѣніе не что иное, какъ недостатокъ твердости? Неужели я такъ безхарактеренъ? Вонъ, Лермонтовскій Печоринъ: безъ всякаго сожалѣнія погубилъ Бэлу и безъ всякаго угрызенія совѣсти оттолкнулъ отъ себя влюбленную Мери. Дорого бы я далъ, чтобъ быть Печоринымъ! Но развѣ Печоринъ — идеалъ? Развѣ идеальные люди такъ жалко и такъ безплодно кончаютъ жизнь свою? Господи, какой хаосъ у меня въ головѣ, какой хаосъ у меня въ сердцѣ! Помогите мнѣ, силы небесныя!

И, дѣйствительно: несмотря на врожденную способность анализировать свои чувства и свои поступки, у него въ душѣ былъ хаосъ, и тѣ мысли его, которыя мы привели сейчасъ, далеко не въ такой послѣдовательности слагались въ его головѣ. Все было отрывочно. Онъ—то поддавался соблазну, то взывалъ къ небеснымъ силамъ и самъ не зналъ, какія это силы, отъ которыхъ онъ требуетъ себѣ помощи.

Закрывши голову простыней, онъ и не слыхалъ, какъ вернулся его сожитель, и только тогда поднялъ голову, когда Бавинъ, подойдя къ двери, спросилъ:

— Ты спишь, Елатомскій?

— Нѣтъ, не сплю,—сказалъ онъ.—Войди, Адріанъ, я зажгу свѣчу, у меня безсонница.

Бавинъ сѣлъ на его постель.

— Ты отъ Нины?—спросилъ Елатомскій.

— Да, ей теперь легче. Докторъ говоритъ, что если завтра будетъ хорошая погода, она можетъ выйти.

— Скажи, Бавинъ... — началъ-было Елатомскій, но остановился.

Бавинъ поглядѣлъ на него подозрительно. Онъ не желалъ никакихъ разспросовъ, и, чтобъ не отвѣчать пріятелю, въ свою очередь спросилъ его:

— Гдѣ ты будешь жить, и какъ ты будешь жить, когда я уѣду?

— А скоро ты уѣдешь?

— Я уѣзжаю на той недѣлѣ. Сперва въ Москву, потомъ въ деревню.

— А Нина?

— Гм! Нина ѣдетъ со мной. Я провожаю ее до Москвы, тамъ она хочетъ навѣстить дѣтей своихъ... Но не въ этомъ дѣло. Мнѣ тебя жаль, съ чѣмъ ты останешься? У тебя ни копѣйки. Эвина хочетъ предложить тебѣ,—я, съ своей стороны, также...

— Не нужно. Завтра или послѣ-завтра я расплачусь съ тобой за столъ и за квартиру, а потомъ найму себѣ какой-нибудь уголъ и буду жить; видишь,—я же теперь богатъ, получилъ сто рублёвъ. Хочешь, займи у меня рублей двадцать-пять на дорогу.

— Ну, на долго ли хватитъ тебѣ сто рублей? И, къ тому же, сообрази, въ правѣ ли я брать съ тебя за обѣдъ, когда ты дома обѣдалъ чуть ли не разъ въ недѣлю, и развѣ не лишнюю комнату въ моей квартирѣ я предложилъ тебѣ. За какого же интересана ты меня считаешь?

— Уговоръ паче денегъ,—настойчиво отвѣтилъ Елатомскій. — Пожалуйста, не лишай меня сна и аппетита. Мнѣ и безъ того больно, что въ Одессѣ я останусь безъ васъ, хоть мы и не были другъ съ другомъ откровенны, хоть душа твоя и была для меня—

потемки, но я все-таки и тебя любилъ, и Нину любилъ. Особливо жаль мнѣ разстаться съ Ниной. Несмотря на всѣ ея недостатки, она предобрая и пресимпатичная женщина.

— Какіе же, по-твоему, у ней недостатки?—спросилъ его Бавинъ, не безъ нѣкотораго удивленія.

— И у солнца есть пятна,—отвѣчалъ Елатомскій.

— Я это знаю, что и у солнца пятна... но, все-таки, я желаю знать, какіе ты видишь въ ней недостатки?

Уже по одному голосу Бавина можно было догадаться, что онъ расположенъ видѣть въ Нинѣ одни только совершенства, и что ни о какихъ недостаткахъ ея и рѣчи быть не можетъ. И все-таки надо было отвѣчать ему, такъ какъ молчаніе или уклончивый отвѣтъ могли бы еще болѣе раздражить его.

— Если ты знаешь, что и солнце не безъ пятенъ, то и сестра наша не безъ слабостей. Во-первыхъ, она немного, не то, что суетна, а славолюбива и непослѣдовательна: вооружается противъ барства, а сама подъ-часъ такая барыня, что нà, поди! Во-вторыхъ, иногда мнѣ казалось, что фразы, которыя она произноситъ, отзываются болѣе книгой, чѣмъ дѣйствительной жизнью, мыслью болѣе заемной, чѣмъ прочувствованной.

— Гм!—промычалъ Бавинъ и потупился.

Слова Елатомскаго, на этотъ разъ, выслушалъ онъ съ особеннымъ вниманіемъ, и, повидимому, они произвели на него впечатлѣніе, но какое именно,—трудно было рѣшить, судя по лицу его. Онъ сидѣлъ, надувши губы и слегка покачиваясь, точно самого себя убаюкивалъ.

— Впрочемъ, я, можетъ быть, ошибаюсь,—изъ деликатности, помолчавъ, добавилъ Елатомскій—и, за неимѣніемъ сигаръ, свернувъ папироску, закурилъ ее.

— Ну, прощай, — сказалъ Бавинъ, — я мѣшаю тебѣ спать.

— Нисколько! ты видишь, я курю! Эхъ, Бавинъ! твоя молодость впереди, а я начинаю разсуждать,—плохо дѣло! Въ жизни, въ истинной жизни, нѣтъ вопросовъ и нѣтъ отвѣтовъ. Каждый мигъ настоящаго, каковъ бы онъ ни былъ, приноситъ ли онъ блаженство или страданіе, дороже милліона вѣковъ прошедшихъ и милліона вѣковъ будущихъ.

— Человѣкъ такъ жить не можетъ, — отвѣтилъ Бавинъ, продолжая покачиваться.—Для него каждый мигъ настоящаго есть все прошлое природы и все ея будущее. Та жизнь вѣчнаго настоящаго, о которой ты говоришь, есть жизнь природы, но не человѣка. Природа не знаетъ своего назначенія,—человѣкъ знаетъ.

«Много онъ знаетъ!» подумалъ Елатомскій. Бавинъ пустился въ философскія отвлеченности, а онъ дорого бы далъ, если бы кто-нибудь, въ эту минуту, рѣшилъ ему простой, жизненный вопросъ: долженъ онъ или не долженъ отдаться своему влеченію къ дѣвушкѣ, которая такъ плѣняетъ его въ мимолетномъ ореолѣ своей дѣвственной страсти, тогда какъ ореолъ этотъ, яркій и охватывающій тепломъ его сердце, можетъ погаснуть при первомъ къ ней прикосновеніи?

— Все это такъ, — прервалъ онъ разсужденія Бавина,—но знаешь ли ты, что у тебя на столѣ два письма, и успѣешь ли ты сегодня прочитать ихъ.

— Два письма!—удивился Бавинъ.—Не зналъ. Что же это Аксёнъ не сказалъ мнѣ ни слова. Прощай, Елатомскій, покойной ночи.

— Покойной ночи, Бавинъ!

Бавинъ зажегъ свѣчу и нашелъ у себя на столѣ письма. Это были давно ожидаемыя письма отъ брата Ивана и сестры Анны.

Онъ легъ, и помѣстивъ подсвѣчникъ между плечомъ своимъ и задкомъ дивана, принялся читать.

Письма были длинны, страшно длинны; братъ благословлялъ его на любовь,—доказывалъ, что любовь безъ взаимности — то же, что пустоцвѣтъ, и совѣтовалъ ему сойтись съ Ниной и смотрѣть на нее, какъ на законную. Богомъ данную подругу жизни. Сестра писала, что она заочно въ восторгѣ отъ сестры Нины, что она жаждетъ ее видѣть, что она будетъ счастлива, если Нина позволитъ ей писать къ ней, или сама къ ней напишетъ. Оба звали его и ее на вакацію въ деревню и писали, что будутъ съ нетерпѣніемъ ожидать ихъ обоихъ.

Бавинъ, прочтя эти письма, потушилъ свѣчу, и душевно былъ радъ, что тамъ, вдали, ему сочувствуютъ; только удивился, почему братъ какъ-будто измѣнилъ себѣ: цѣлыхъ двѣ страницы написалъ противъ платонической любви, называя ее безсильными потугами трусливаго, далеко незрѣлаго, немужественнаго чувства. Само собой разумѣется, что онъ доказывалъ это изреченіемъ Гегеля, что любовь — это *тождество воли двухъ,* возможное только между мужчиною и женщиной.

Въ концѣ письма приписано,—деньги 400 рублей будутъ высланы съ слѣдующей почтой.

Гегелизмъ и жоржзандизмъ, такимъ образомъ, подавали другъ другу руку; крѣпостное право, получавшее оброки, благословило ихъ, — и Бавинъ заснулъ съ болѣе спокойною совѣстью.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ДЕШЕВЫЙ ГОРОДЪ.

ХРОНИКА-РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Юноши шестидесятыхъ годовъ, нерѣдко вступавшіе въ бракъ чуть не на школьной скамьѣ, едва ли поймутъ, почему юноша сороковыхъ годовъ, Елатомскій, боялся брака, какъ чортъ—ладана.

Неужели на Елатомскаго, какъ на вѣрующаго въ текстъ изъ священной книги, Печоринская фраза о женитьбѣ могла имѣть такое неотразимое вліяніе?

Но что̀ значитъ фраза,—хотя бы и геніальнаго писателя, если бы цѣлою массой лично нами пережитыхъ впечатлѣній не признавали мы законности ея появленія, и не откликались ей!

Припомнимъ, что наши знаменитѣйшіе писатели сороковыхъ годовъ всѣ почти остались холостяками. Значитъ, не одинъ Печоринъ боялся или чуждался семейной жизни. Что̀ же мудренаго, что общее настроеніе повліяло и на впечатлительнаго Елатомскаго, наклоннаго къ нѣкоторому скептицизму и анализу.

Откуда же? Неужели только изъ французскихъ романовъ повѣяло на насъ такою фанатической враждой къ гименею и цѣпямъ его?

Не думаю. Поверхностное, чисто салонное воспитаніе дѣвицъ того времени; скандальныя исторіи, безпрестанно случавшіяся въ высшемъ аристократическомъ обществѣ, и, за отсутствіемъ научныхъ, политическихъ и иныхъ интересовъ, разносимыя по всей Россіи—«отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Тавриды» — праздность и жажда любовныхъ приключеній; съ одной стороны хвастовство, съ другой поклоненіе побѣдамъ надъ сердцемъ женщины и насмѣшка надъ ея добродѣтелью... все это, вмѣстѣ взятое, порождало не только Печориныхъ, но и женщинъ въ родѣ Эвиной.

Въ наше время, Эвина и въ средній классъ женской гимназіи не выдержала бы экзамена; по части наукъ каждая серьезная дѣвушка, слушающая курсы, заткнула бы ее за поясъ—и что же? — въ тѣ годы, Эвина не только могла блистать своимъ образованіемъ, но и—вліять на молодые умы своими отборными фразами,—была чѣмъ-то въ родѣ Рудина въ юбкѣ. Успѣхъ ея опять-таки обусловливался настроеніемъ тогдашняго интеллигентнаго общества, начинавшаго сознавать—то ненормальность крѣпостного права, то судебныхъ порядковъ, то семейныхъ безобразій, слишкомъ явныхъ для того, чтобъ не видѣть ихъ. Въ неясныхъ рѣчахъ краснорѣчивой Эвиной слышался протестъ, — и этого было достаточно, чтобъ ее слушали.

Бавинъ не испугался бы брака,—какъ юристъ и философъ, онъ признавалъ неизбѣжную роль его въ развитіи человѣчества, а то, что̀ признавалъ Бавинъ, было для него свято, и никакая барыня не могла бы его въ этомъ случаѣ съ толку сбить. Одними своими проповѣдями Эвина не могла бы имѣть на него никакого вліянія;—но она

съумѣла стать съ нимъ чуть не въ братскія отношенія и при этомъ нравилась ему, какъ женщина. Кто не знаетъ, что люди, избѣгающіе женщинъ, буки, дикари, и даже такъ-называемые тюфяки и увальни, по бо̀льшей части, страстно привязываются къ тѣмъ изъ нихъ, которыя ближе всѣхъ съумѣютъ подойти къ нимъ.

Бавинъ сошелся съ Эвиной такъ, какъ въ письмѣ совѣтовалъ ему братъ его,—и далъ ей скоро почувствовать, что онъ уже смотритъ на нее не иначе, какъ на жену свою.

Не прошло и недѣли со времени ея торжества надъ неподатливой дикостью Бавина, какъ она уже стала трусить... страхъ за себя, за свою независимость уже зародился въ самыхъ затаенныхъ уголкахъ души ея.

Но такъ какъ отъѣздъ ея изъ Одессы съ Бавинымъ замедлился, то мы еще вернемся къ ней. Теперь же начнемъ прерванный нами разсказъ съ Зои Меркуличъ.

«Ну, я уже сказалъ Зоѣ»,—думалъ про себя Елатомскій,—«я уже прямо и откровенно сказалъ ей, что я не женюсь на ней. Ну, и значитъ, я правъ, и не о чемъ мнѣ больше думать»...

«Да—да!» думала про себя Зоя, «что̀ онъ тамъ ни говори, какъ ни хитри, а онъ меня любитъ, любитъ! Не приди мама и не помѣшай намъ, онъ бы кончилъ тѣмъ, что признался бы мнѣ въ любви своей».

Съ этой мыслью, вернувшись домой отъ Клары Петровны и еще чувствуя въ рукѣ своей пожатіе руки его, Зоя хотѣла какъ можно скорѣе лечь, задуть свѣчу и думать, думать...

Но Вѣра Георгіевна позвала ее къ себѣ въ комнату.

— Мама, я хочу спать,—сказала Зоя.

— Еще успѣешь... погоди... сядь вотъ тутъ... Ну, такъ ка̀къ же? что̀ же ты ничего не сказала мнѣ?.. Можно тебя поздравить? А?..

Такими словами, ложась въ постель, начала Вѣра Георгіевна допрашивать дочь...

— Съ чѣмъ же поздравить? Я... не знаю...

И Зоя исподлобья поглядѣла на мать...

— Да ты, можетъ быть, согласилась... Не даромъ же эта Клара Петровна шепнула мнѣ, будто бы у васъ дѣло-то на ладъ идетъ... А?..

— Да, мама... я... я подала ему надежду...

Зоя отвѣчала нерѣшительно, ей какъ будто не хотѣлось въ эту минуту лгать своей матери.

— Какъ же ты подала ему надежду?

— Какъ я подала ему надежду! да просто: я сказала, что...—(Зоя при этомъ зѣвнула и поглядѣла въ темный уголъ, гдѣ на креслахъ кучей лежали сброшенныя пыльныя юбки и платье матери). Я сказала ему, что прежде, чѣмъ дать ему слово... я должна еще убѣдиться, — такъ ли еще онъ меня любитъ, какъ я хочу... Вообще, что̀ онъ за человѣкъ... Мама, отпустите меня... такъ хочется спать!

— Да погоди... Ради Бога!.. какая ты право!.. точно я не мать тебѣ... Ну... и ты сказала ему, чтобъ онъ какъ можно чаще бывалъ у насъ...

Зоя опять поглядѣла на мать.

— Ахъ, мама! что̀ же мнѣ говорить. Я, можетъ быть, и глупо поступила... я сказала, чтобъ онъ лучше и не приходилъ къ намъ... Да, потому, мама, вдругъ, — съ необыкновенной живостью заговорила Зоя,—что у насъ, я не могу, не могу съ нимъ разговаривать... то папа̀, то вы, то сестры... Ахъ... Боже мой! какія онѣ глупыя, какія несносныя! Когда Владиміръ Григорьевичъ въ послѣдній разъ былъ у насъ, — что̀ вы думаете? не успѣлъ человѣкъ за ворота выйти, какъ онѣ на цѣлый дворъ кричать: «ну, что! проводила женишка! проводила женишка!!»

Какъ вы думаете,—развѣ это было пріятно ему слушать... въ такую минуту... когда...

— У! противныя дѣвчонки!—произнесла Вѣра Георгіевна, набрасывая на себя легонькое лѣтнее одѣяло и опуская свою голову на подушки.

— И когда я сказала ему,—лучше вы и не ходите къ намъ, Владиміръ Григорьевичъ, пока... — О, да, это, говоритъ, гораздо лучше... Такъ какъ я женюсь на васъ не скоро—то и не хочу вамъ мѣшать... Можетъ быть, въ это время вы кого-нибудь и другого полюбите...

— Ну?..

— Тутъ я... Ахъ! что̀ бишь такое? Ахъ, да... я ему поклялась, что... никогда, никого я любить не буду...

— Что же мнѣ сказать твоему отцу? Надо вѣдь и приданое готовить... и все...

Зоя задумалась. Мысль о приданомъ ни разу не пришла, да и не могла еще прійти ей въ голову. Готовить приданое! а что, если папенька израсходуется, и—ничего...

— Зачѣмъ, мама, приданое... Это еще мы успѣемъ... Знаете что̀... Хотите, чтобъ я откровенно передала вамъ слова его... хотите?..

— Хочу.

— Ну, такъ вотъ что... онъ сказалъ мнѣ, что онъ до тѣхъ поръ не рѣшится назвать меня своей невѣстой, пока не найдетъ мѣста—и я ему сказала: ищите... хоть два, три года ищите,—я буду ждать... Ну, теперь я все сказала; кажется, ничего не осталось. Можетъ быть, онъ и еще что-нибудь сказалъ бы мнѣ, если бы вы не пришли и не помѣшали... Намъ еще о многомъ, о многомъ надо переговорить... Спите, мама. Можно мнѣ вашу свѣчку взять?.. Ахъ, Боже мой! я ушла... и не потушила свѣчи за ширмами... Я не знала, что вы меня такъ

долго задержите. Ахъ... долго ли до пожара! Прощайте, мама...

Зоя задула свѣчу, и, при тускломъ свѣтѣ нагорѣвшей лампадки, оставила чему-то улыбающуюся мать свою, а сама, черезъ корридоръ, ощупью, пробралась въ свою комнату. Свѣча ея, дѣйствительно, не была потушена и страшно нагорѣла... Сестры ея спали. Юлинька храпѣла. Одно окно на дворъ было настежъ отворено, ночь была темная, претемная...

Зоя щипцами поправила свѣтильню, сняла юбку и стала молиться; едва-ли не впервые Зоя, такъ сказать, импровизировала молитву... говорила съ Богомъ своими словами...

Радостная надежда, что она любима, особенно располагала ее къ такимъ душевнымъ изліяніямъ. И до тѣхъ поръ стояла она на голомъ полу голыми колѣнями, пока не почувствовала въ нихъ боли и усталости. Затѣмъ, потушивъ свѣчу, она бросилась въ постель и заснула... такъ, какъ давно не спалось ей, съ тѣхъ поръ, какъ она, не шутя, влюбилась.

II.

Трофимъ Евлампіевичъ, воротившись изъ Крыма, не встрѣтилъ въ семьѣ своей ни радостныхъ объятій супруги, ни бѣготни дѣтей, ни разспросовъ, ничего такого, что̀ воображалось Гоголю, когда писалъ онъ: «счастливъ семьянинъ, у котораго есть такой уголъ; но горе холостяку!» Жену свою засталъ онъ въ кухнѣ, и очень былъ радъ, что она завариваетъ макароны,—его любимое кушанье; Зоя встрѣтила его въ корридорѣ и молча поцѣловала у него руку. Онъ снялъ съ себя дорожную, плетеную фляжку съ водкой, и, отхлебнувъ одинъ глотокъ, отдалъ Зоѣ отнести ее, куда слѣдуетъ.

— Будете спать?—спросила Зоя.

— На пароходѣ спалъ,—отвѣчалъ отецъ.—Вели мнѣ дать закусить... Мнѣ некогда, нужно по дѣламъ...

Позавтракавъ, Трофимъ Евлампіевичъ переодѣлся и торопливо посмотрѣвъ на часы, вышелъ на улицу.

О томъ, что онъ покупаетъ въ Крыму виноградники, онъ ни слова не сказалъ женѣ; онъ вообще не считалъ за нужное толковать съ нею о дѣлахъ своихъ, или посвящать ее въ свои намѣренія.

«Чорта съ два она понимаетъ!» думалъ про нее Трофимъ Евлампіевичъ.

Влюблена или не влюблена въ Елатомскаго дочь его, до этого ему также мало было дѣла, какъ и Вѣрѣ Георгіевнѣ до его хлѣбнаго магазина; но о томъ, дать или не дать ей деньги въ приданое (если состоится свадьба), и сколько именно дать—объ этомъ онъ думалъ. Что Елатомскій, сватаясь за Зою, прежде всего имѣлъ въ виду его денежки, а вовсе не черные глазки Зои, въ этомъ онъ былъ увѣренъ, и это его нисколько не печалило, напротивъ, ему казалось, что такъ и слѣдуетъ.

Не разъ мечталъ онъ выдать дочь свою за такого богача, который и не подумаетъ залѣзать къ нему въ карманъ; но онъ зналъ чуть ли не всю Одессу, зналъ, что богатые негоціанты или женаты, или имѣютъ на содержаніи чистокровныхъ француженокъ; зналъ, что великосвѣтскіе фаты, молодые и старые, увиваются около великосвѣтскихъ дамъ и барышенъ, и что Зоѣ далеко до нихъ,—какъ до звѣзды небесной. Одинъ Сашинъ, повидимому, собирался свататься, да, видно, раздумалъ, пересталъ ходить и даже гдѣ-то, кому-то сказалъ, что отъ обѣдовъ Меркулича у него по три дня въ животѣ бурчитъ; зналъ, что за Зою сватался какой-то бѣдный учитель, и что она ему отказала. Елатомскій же, несмотря на то, что самъ не разъ признавался, что у него всего

только полтораста десятинъ земли, въ глазахъ практическаго Меркулича, былъ ловкій молодой человѣкъ—и какъ будущій мужъ его дочери, подъ его руководствомъ, можетъ нажить состояніе. Кромѣ странной симпатіи, которую возбуждалъ въ немъ этотъ юноша, онъ удивлялся его способности сразу стать на равную ногу не только съ какимъ-нибудь Сашинымъ, но и съ Хавазовымъ, и съ генераломъ Охотышевымъ, и съ княземъ Д... и съ княгинею Ш...ль.

То, что̀ Елатомскому давалось безъ всякаго съ его стороны разсчета, безъ всякой мысли о томъ, чтобы пользоваться своимъ положеніемъ, Меркуличъ понималъ по-своему.

«Не мѣшаетъ», думалъ онъ, «имѣть въ зятѣ своемъ такого человѣка, который такъ воспитанъ или такъ ловокъ, что вездѣ пролѣзетъ».

Но, захлопотавшись по дѣламъ своимъ, Меркуличъ, повидимому, совсѣмъ забылъ объ Елатомскомъ, и только на третій день по пріѣздѣ почему-то вздумалъ заговорить о немъ, сидя въ однихъ носкахъ и въ одномъ нижнемъ бѣльѣ, въ спальнѣ жены своей.

— Ну, что̀,—равнодушнымъ голосомъ, какъ о чемъ-то постороннемъ, спросилъ онъ:—какъ идутъ дѣла: слаживается или... того... прозѣвали?

Вѣра Георгіевна сѣла около него на диванчикъ, вздохнула и проговорила:

— Да, Троша, кажется, идетъ на ладъ. Только вотъ, у него еще мѣста нѣтъ...

— Гм!.. онъ, значитъ, такъ и говоритъ, что, будь у него мѣсто, онъ бы... того... Гм! дѣло!

— Да, кажется, что такъ... А какъ ты думаешь, — добавила она, помолчавъ,—могутъ они видѣться?..

— А кто же имъ запретилъ! — зѣвая во весь ротъ, проговорилъ Трофимъ Евлампіевичъ.

— А если что-нибудь этакое... — робко произнесла Вѣра Георгіевна, поглядывая на окиснувшее отъ сна и жары лицо его.

Трофимъ Евлампіевичъ очень хорошо понялъ, что̀ она хочетъ сказать, но прикинулся, будто не понимаетъ.

— Что-жъ такое этакое? — спросилъ онъ, вставая и наливая себѣ въ стаканъ холоднаго квасу. Стаканъ и бутылка съ квасомъ на сей разъ дожидались его на туалетѣ жены, между помадной банкой, подсвѣчникомъ и коробочкой отъ конфектъ съ булавками и головными шпильками.

Иная благовоспитанная русская маменька можетъ быть совершенно спокойна въ отношеніи къ своей дочкѣ, хотя бы женихъ этой дочки каждый вечеръ, потихоньку отъ всѣхъ, обнималъ и цѣловалъ ее. Вѣра Георгіевна думала иначе: на ея родинѣ, въ греческой семьѣ, никто, никогда бы не повѣрилъ въ благоразуміе поцѣлуевъ, или въ платонизмъ объятій.

— Что-жъ это такое... этакое?—повторилъ супругъ, освѣжившись холоднымъ квасомъ.

— Фу! Мало ли что̀ можетъ быть,—люди молодые.

— Да что же такое можетъ быть, коли она ему отказала... Не влечетъ, значитъ... Не по̀ хорошу милъ, а по̀ милу хорошъ... Такъ-то!

— А если онъ опять посватается?

— Ну, такъ что-жъ?

— Ну, и будутъ вести себя, какъ женихъ съ невѣстой...

— Ну, и повѣнчаемъ, — съ сердцемъ договорилъ Меркуличъ.—Нѐшто мы, когда ты была моей невѣстой, дурачились, а? Что же ты это выдумала? Али на тебя дурь нашла?

Вѣра Георгіевна покраснѣла.

— Ныньче вѣкъ другой, не тѣ люди... Все другое,— проговорила она, какъ-бы оправдываясь.

— Ну, матушка... И тутъ Трофимъ Евлампіевичъ привелъ ей такую русскую пословицу, которую повторить печатно нѣтъ никакой возможности. Даже Вѣра Георгіевна, и та сморщила свой носъ и проговорила: — фу! какая гадкая пословица!

Горничная принесла только-что вычищенные сапоги и платье, и Меркуличъ, свирѣпо сдвинувъ брови, сталъ натягивать сапоги, потомъ повязалъ галстухъ, напялилъ сюртукъ, (не безъ помощи супруги, которая всунула ему одну руку въ лѣвый рукавъ), пощупалъ, въ карманѣ ли письма и очки, о чемъ-то подумалъ и вышелъ.

А Вѣра Георгіевна совершенно успокоилась: она уже убѣдилась, что мужъ браку Зои съ Владиміромъ Григорьевичемъ препятствовать не будетъ; что Зоя смѣло можетъ съ нимъ видѣться, даже кокетничать—даже увлекать его.—Не бѣда! повѣнчаютъ! Къ тому же, подумала она, никакой бѣды быть не можетъ: Клара Петровна будетъ строго наблюдать за ихъ поведеніемъ. Она же будетъ молча радоваться, глядя на ихъ пламенную взаимность и внушать, внушать, внушать!..

И вотъ она тотчасъ же пошла въ дѣтскую съ намѣреніемъ внушить Зоѣ нѣчто, въ высшей степени нравственное и честное. Но Зою застала она за ширмочкой, на постели, съ французской книжкой въ рукахъ, и ничего не внушила. Сказала только, что читать лежа въ жаркую пору вредно; что сынъ Клары Петровны именно отъ этого самаго и съ ума сошелъ.

— Да мы всѣ этакъ любимъ читать, — замѣтила Юлинька,—потому что весь день неглиже... Ну, и лежа гораздо пріятнѣе.

— Вотъ посмѣй ты у меня только, только посмѣй!— пригрозила ей мать и тотчасъ же вышла.

И тотчасъ же Юлинька взяла свою грамматику, легла на свою кроватку, подняла ноги и вслухъ стала долбить урокъ свой.

— Да перестань!—съ досадой сказала Зоя, вскочила съ постели и пошла искать себѣ въ домѣ какой-нибудь другой уголокъ, гдѣ бы ей было хоть сколько-нибудь уютнѣе, гдѣ бы никто не мѣшалъ ей ни читать, ни мечтать, ни думать.

Убѣдившись, что папаши дома нѣтъ, Зоя пришла въ гостиную; подогнувъ ноги, сѣла на подоконникъ и стала читать. Окно было открыто; ставни притворены; яркая полоска солнечнаго свѣта позолотила ей волосы, прошла по ея плечу и голому локтю.

Иногда къ щели, между ставнями, Зоя прикладывала глазъ свой и та же солнечная полоса отчетливо отбрасывала ей на щеку стрѣльчатыя тѣни приподнятыхъ рѣсницъ, а въ этихъ тѣняхъ, какъ черный брилліантъ, загорался и мелькалъ ея зрачокъ; потомъ на всемъ ея личикѣ являлось какое-то млѣющее ожиданіе, что-то похожее на безнадежность или на такое душевное настроеніе, при которомъ все прочитанное въ романѣ, какъ бы ни былъ онъ нелѣпъ и фантастиченъ, кажется чѣмъ-то реальнымъ, а все реальное чѣмъ-то въ родѣ тяжелаго сна, котораго никакъ одолѣть нельзя. Жизнь, не похожая на романъ, жизнь безъ любви, тайныхъ свиданій, поцѣлуевъ и проч. и проч., для Зои была именно тотъ тяжелый сонъ, отъ котораго ей хотѣлось какъ можно скорѣй очнуться.—«Лучше страдать, чѣмъ такъ прозябать», думала бѣдная Зоя. «Лучше бѣжать на край свѣта, чѣмъ жить въ одной комнатѣ съ этими несносными дѣвчонками!»

III.

Былъ двѣнадцатый часъ дня. Хавазовъ только-что выбрился и, умытый, сидѣлъ у себя въ комнатѣ въ зеленомъ шелковомъ халатѣ и въ туфляхъ; откинувшись на задокъ сафьянныхъ креселъ, онъ занимался тщательною отдѣлкою крупныхъ ногтей своихъ. Онъ былъ въ хорошемъ настроеніи духа, потому что вчера выигралъ въ палки около двухъ тысячъ: везло такъ, какъ давно не везло.

Изъ раскрытаго окна вѣтерокъ подувалъ на полуобнаженную, волосатую грудь его и относилъ голубой дымъ сигары, которая торчала у него въ зубахъ; руки его пахли одеколономъ; подъ ногами, на полу, стояла тоже сафьянная скамеечка.

Въ трехъ шагахъ отъ него, развалясь на диванѣ, полулежалъ пріятель его Сашинъ, надъ которымъ онъ постоянно трунилъ, и котораго какъ-то особенно любилъ за то, что тотъ ни разу съ нимъ за это не поссорился и никогда не отказывается идти на вечеръ туда же, куда и онъ. — Отлично ѣстъ и пьетъ, и въ преферансъ играетъ,—«дворянская косточка!» думалъ про него Хавазовъ.

Сашинъ зналъ уже о клубномъ выигрышѣ Хавазова и предвидѣлъ, что въ этотъ день злость его будетъ самаго безобиднаго свойства, будетъ подправлена не задирательнымъ, а весело подтрунивающимъ смѣхомъ, съ тѣмъ же оскаливаніемъ зубовъ, но безъ той же желчи. Къ тому же, Сашинъ такъ привыкъ къ злорадному ржанію Хавазова, что безъ него ему было скучно.

— Воображаю себѣ,—говорилъ Хавазовъ о какомъ-то ново-пріѣзжемъ франтѣ, — какъ этотъ петербургскій маменькинъ сынокъ будетъ финтить въ Тифлисѣ! Видѣлъ ты, съ какимъ хлыстикомъ расхаживаетъ и какимъ козы-

ремъ! Ха, ха! Какъ же!.. Показывалъ мнѣ греческіе костюмы: феску, куртку какую-то атласную, шитую золотомъ. Что̀ это такое, говорю?.. Да это, говоритъ, мой костюмъ, нарочно, говоритъ, заказывалъ: — на прошлой масляницѣ у графа Салтыкова въ маскарадѣ былъ.— Везу, говоритъ, съ собой въ Тифлисъ. Дуракъ, а предвидитъ, значитъ, что въ Грузіи маскарады затѣются. Какъ же!.. Безъ маскарадовъ невозможна никакая цивилизація. Охъ, ужъ эти мнѣ цивилизаторы!

Сашинъ глядѣлъ въ окно и какъ будто не слушалъ.

— А ты былъ сегодня утромъ въ маскарадѣ?—спросилъ Сашинъ, намекая на купальню.

— Нѣтъ!.. проспалъ.

— Гдѣ же ты ныньче вечеромъ?

— Еще не знаю. Звали на преферансъ къ Росконаки—да не знаю. А ты гдѣ?

— Тоже не знаю. Ахъ, да, собираюсь быть у этого Меркулича, знаешь?

— Охота тебѣ таскаться къ этому скоту Меркуличу. Тоже, виноградники въ Крыму покупаетъ... Какъ же!.. Терпѣть не могу этого прохвоста, съ позволенія сказать. И всегда бѣсило меня, что этотъ графъ, бывало, руку ему подаетъ. Скажите пожалуйста!.. Написалъ человѣкъ, что въ 10 лѣтъ въ Ялтѣ новыхъ 10 домовъ прибавилось, да что въ Керчи, а не въ Ѳеодосіи, долженъ быть портъ устроенъ, а его сіятельство и улыбается... Терпѣть не могу... Что тебѣ за охота?..

— Господинъ Меркуличъ!—доложилъ, появившись въ дверяхъ, камердинеръ, и, судя по испуганнымъ глазамъ его, точно недоумѣвалъ: слѣдовало ли или не слѣдовало ему докладывать.

Хавазовъ, вмѣстѣ съ сигарою, перекосилъ ротъ и поглядѣлъ на Сашина. Сашинъ поглядѣлъ на Хавазова.

— Зачѣмъ это его чортъ принесъ? — проговорилъ Хавазовъ.

— Позови, узнаешь,—отвѣчалъ Сашинъ, не двигаясь ни однимъ суставомъ.

— Проси! — сказалъ Хавазовъ и, взявъ съ туалета маленькія ножницы, занялся заусеницей на правомъ большомъ пальцѣ.

Вошелъ Трофимъ Евлампіевичъ въ сюртукѣ форменнаго темнозеленаго цвѣта, но безъ форменныхъ пуговицъ, съ старой, немного помятой шляпой, которую, входя, держалъ онъ надъ животомъ, и тотчасъ же опустилъ, когда Хавазовъ, слегка кивнувъ головой, молча протянулъ ему два пальца.

— Зналъ, что застану!—началъ гость, стараясь быть какъ можно развязнѣе. — Ну, ей-Богу, зналъ! Такъ и шелъ въ увѣренности... День воскресный, думаю—отплачу визитъ. — Ну, вотъ, и вы здѣсь, милѣйшій человѣкъ,— обратился онъ къ Сашину и, подойдя къ нему довольно фамильярно, обнялъ его за талію.—Что это вы, милый, давно у насъ не были?

Сашинъ не пошевелился.

— А вы ко мнѣ по дѣлу, или такъ?—спросилъ Хавазовъ, вынувши сигару изо рта и повернувши къ гостю длинное, зубастое лицо свое.

— Какія дѣла, помилуйте!..

— Ужъ не хотите ли новый подрядъ взять? А?..

Меркуличъ озадаченными глазами поглядѣлъ ему въ глаза и засмѣялся.

— Ну ихъ—съ этими подрядами!

— А что? или довольно дескать, а? — уже ядовито подсмѣиваясь, началъ Хавазовъ и потрепалъ рукой по тому мѣсту своего халата, гдѣ былъ карманъ. — Не сребролюбивы же вы, почтеннѣйшій!

Трофимъ Евлампіевичъ присѣлъ на стулъ, слегка скривилъ ротъ и, какъ-бы рѣшась не сдаваться, началъ:

— Нѣтъ, я сребролюбивъ. Кто же не сребролюбивъ, Захаръ Николаевичъ! я люблю деньги—да вѣдь и вы ихъ любите—только, ради Бога, не считайте вы меня такимъ богачомъ, что... Ну, вотъ, право же, въ пять разъ могъ бы богаче быть, да совѣсть одолѣваетъ... Ей Богу!

— Полноте, почтеннѣйшій, какая совѣсть! А по скольку вы скупали векселя графа Гиккеля? Смотрите, не обмишультесь. Ничего, ни лысаго чорта онъ вамъ не заплатитъ.

— И потеряю... Пять тысячъ и 600 рублей потеряю,—что дѣлать!

— А выгодно вы купили въ Крыму виноградники?

— Да еще не купилъ... Куда купить! Не себѣ же въ убытокъ...

— А сколько съ васъ проситъ этотъ Сызрановъ—а?

— Да шесть тысячъ... Шутка сказать, гдѣ я ихъ возьму?

— За 100 десятинъ—шесть тысячъ не дорого. Если вы не купите, я куплю. Сашинъ, купимъ? Своего собственнаго издѣлія будемъ вино пить, хочешь? ха, ха, ха!

— Такъ, по-вашему, шестьдесятъ рублей за десятину запущеннаго виноградника не дорого?

— Дешевле пареной рѣпы!

— Гм! А если я куплю по 50 рублей десятину, дадите вы мнѣ 60?

— Да скажите вы мнѣ: на кой лядъ вамъ виноградники? Крымъ изъ году въ годъ пустѣетъ, разваливается... скоро тамъ жить будетъ негдѣ. Али вы за дочерью въ приданое хотите дать?..

— А, можетъ быть, и дамъ, коли куплю.

— А женихи есть?

— Хоть нѣтъ, такъ будутъ.

— А вашъ Елатомскій, что-жъ онъ не женится!

— А дайте ему мѣсто въ тысячу рублей, можетъ быть и женится.

— Мѣсто?.. Гм!.. Молоко еще на губахъ не обсохло. Какое же ему мѣсто дать? На что онъ годенъ?..

У Хавазова была особенная страсть трунить или дурно отзываться о тѣхъ, кого любятъ или кого хвалятъ.

— Дайте ему сначала мѣсто и увидите: годенъ-ли,— возразилъ Меркуличъ.—А то, что̀ онъ? ни Богу свѣча, ни чорту кочерга,—та̀къ только землю бременитъ.

— Ужъ точно, что землю бременитъ! А что̀, сами вы пришли ко мнѣ, или онъ просилъ васъ, чтобы вы ко мнѣ обратились?

— Признаться сказать, онъ именно просилъ меня обратиться къ вамъ... Но... какое же я могу имѣть на васъ вліяніе... никакого... не такой я человѣкъ, чтобъ за кого-нибудь просить...

Пока Меркуличъ говорилъ это, Сашинъ приподнялъ голову, и поглядѣлъ на ухмыляющагося хозяина.

— Я такъ и сказалъ ему,—продолжалъ Меркуличъ, разведя руки и слегка нагнувъ свою круглую голову, — такъ и сказалъ: захотятъ — сдѣлаютъ, не захотятъ — не сдѣлаютъ.

— Гм!.. (Хавазовъ весело оскалилъ зубы)—Хорошо-съ! А если я съ васъ за это возьму взятку...

— За что?

— А за это...

— Почему же взятку? Вотъ, если вы дадите мнѣ вексель, то съ маленькими процентами,—извольте...

— Знаемъ мы ваши маленькіе проценты!.. ну, а безъ векселя?

На лицѣ Меркулича сперва изобразилось что-то въ родѣ недоумѣнія, даже брови приподнялись... потомъ онъ захохоталъ.

— Какъ безъ векселя?

— Да такъ... На честное слово...

— Да какъ же это на честное слово? Ну вотъ, я живу пятый десятокъ; вотъ, у меня, извольте поглядѣть, какая плѣшь начинается, а Господомъ Богомъ поклянусь, что никто еще и 25 рублей не далъ мнѣ на честное слово.

— Да его, можетъ быть, и нѣтъ у васъ.

— Чего? Честнаго-то слова нѣтъ? да такое же, какъ у всѣхъ, совершенно такое же. Родному отцу не повѣрю... Кто же въ наше время честному слову вѣритъ?.. Что вы, Иванъ Ивановичъ, на это скажете? обратился онъ къ Сашину.

Сашинъ ничего не сказалъ, только налился кровью пуще прежняго.

— Ну, это еще бабушка на-двое сказала, — возразилъ Хавазовъ,—это еще неизвѣстно. Впрочемъ, мнѣ теперь вашихъ денегъ и не нужно-съ... Не нуждаемся, Трофимъ Евлампіевичъ. Мнѣ прислали оброкъ, такъ какъ я уже вамъ и докладывалъ, что я оброка жду. Ха, ха, ха! Сашинъ, не надо ли тебѣ, братецъ, денегъ? а?..

— Спасибо!..—промычалъ Сашинъ.

— Мнѣ тоже не надо. А что касается до этого молодца, Елатомскаго, то, дѣйствительно, у насъ въ канцеляріи открывается одно мѣсто. Только почему же онъ самъ не идетъ ко мнѣ, а васъ, своего будущаго тестя, выбралъ въ посредники. Пришлите его ко мнѣ,—погляжу. Семенъ!—крикнулъ онъ въ дверь, и позвонилъ въ колокольчикъ.

— Вѣдь, я думаю, этотъ вашъ Елатомскій и докладной записки самъ написать не съумѣетъ... Знаемъ мы этихъ университетскихъ!

Хавазовъ опять позвонилъ въ колокольчикъ.

Въ дверяхъ показался камердинеръ.

— Сколько ты мнѣ разъ звонить прикажешь... болванъ!.. Одѣваться.

Хавазовъ одной ногой отодвинулъ скамеечку и, запахнувши халатъ свой, далъ почувствовать, что вотъ онъ сейчасъ встанетъ и начнетъ одѣваться.

Меркуличъ тотчасъ же это почувствовалъ и своею шляпой опять прикрылъ желудокъ свой.

— Значитъ, позволите обнадежить и направить къ вамъ молодаго человѣка... подъ ваше, такъ сказать, покровительство?—сказалъ онъ, вставая.

— Можете, можете... а тамъ увидимъ! Прощайте.

— Ну, я васъ больше не безпокою... Прощайте, ваше превосходительство!

Хавазовъ опять протянулъ ему два пальца.

— А вы, милѣйшій, когда же это вы ко мнѣ соберетесь,—обратился Меркуличъ къ Сашину.

— Да вотъ... почемъ знать! Если ничто не помѣшаетъ, сегодня вечеромъ забреду къ вамъ на чашку чаю.

— И великолѣпно!.. До свиданія, значитъ...

Едва онъ вышелъ, какъ Хавазовъ оскалилъ зубы и заржалъ отъ удовольствія.

— Ну что̀, не говорилъ я тебѣ, что Елатомскій женится!?.

— Это ясно!—пробормоталъ Сашинъ, вытирая фуляромъ вспотѣвшее лице свое.

— А ты еще спорилъ...

— Какая однако̀ же бестія, этотъ Елатомскій!.. Не дальше, какъ третьяго дня, вообрази, встрѣчаю... Ну, что? говорю... Хотите, говоритъ, я вамъ Зою Трофимовну посватаю? Я говорю: сватайте... шутя, разумѣется... Хорошо, говоритъ... и хоть бы намекъ о томъ, что самъ за ней пріударяетъ,—никакого намека!.. Какой каналья!.. Дай ему, видишь, какое-нибудь мѣсто, и онъ тебя же въ посаженные отцы попроситъ... Эхъ!.. знаешь что?—доба-

вилъ Сашинъ, до такой степени разгорячась и приходя въ паѳосъ благороднаго негодованія, что одна рука его сжалась въ кулакъ и все туловище пришло въ какое-то колебаніе:—Лукавство, подъ видомъ идеальнѣйшаго простодушія, чуть-чуть не младенческой чистоты, вотъ что ужасно!.. Ныньче же постараюсь уличить его.

— Да, чорта съ два, получитъ онъ мѣсто! облекаясь въ лѣтній пиджакъ, проворчалъ Хавазовъ.

IV.

Прошла недѣля съ тѣхъ поръ, какъ Бавинъ объявилъ Елатомскому, что онъ и Эвина уѣзжаютъ, но...

Эвина, какъ благовоспитанная барыня, не хотѣла ѣхать на счетъ Бавина, а у ней самой деньги были на исходѣ. Денегъ отъ мужа, который далъ ей паспортъ и весьма охотно отпустилъ ее на всѣ четыре стороны, лишь бы она къ нему не являлась ни подъ какимъ предлогомъ и никакихъ претензій не имѣла ни на него, ни на дочерей,—денегъ отъ мужа Эвина ждала не раньше первыхъ чиселъ августа, и подъ разными предлогами уговаривала своего Адріана не спѣшить въ деревню...

— Къ чему спѣшить,—говорила она:—отъ добра—добра не ищутъ. Я счастлива, мнѣ и здѣсь тепло...

Нечего и говорить о томъ, что Эвина скорѣе удавилась бы, чѣмъ пошла бы къ кому бы то ни было на содержаніе... Бавинъ даже и не подозрѣвалъ, что у ней денегъ нѣтъ...

Одна надежда оставалась ей: попросить въ займы у Сызранова. Зашелъ Елатомскій, и она стала просить его разузнать: воротился ли Сызрановъ изъ Крыма, продалъ ли свои виноградники и гдѣ остановился.

Елатомскій выслушалъ ея просьбу и сказалъ:

— Пожалуй... Но отъ кого же я это узнать могу?..

— Да узнай отъ Меркулича—говорятъ, онъ покупаетъ его виноградники...

— Да я не хожу къ нему...

— Это почему?

— Да такъ... что̀ мнѣ тебѣ объяснять?.. не хочу да и только... А что, сестра, читала ты «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда»—Тургенева?—А?

— Нѣтъ еще, не читала...

— Прочти...

— Что же это такое?.. почему именно тебя интереересуетъ этотъ Гамлетъ?.. и почему ты такимъ страннымъ голосомъ сказалъ мнѣ: прочти!

— Не знаю, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ разсказъ на тебя, но я цѣлый день не могъ отъ него успокоиться, цѣлую ночь спать не могъ. Многое онъ мнѣ уяснилъ... Чортъ возьми!.. Вѣришь ли?.. Да что̀ говорить! Если ты не читала, то... ты и не поймешь меня, — да если и прочтешь, можетъ быть, не поймешь. Ты — оригинальная женщина. Бавинъ, хоть и гегелистъ, тоже въ своемъ родѣ оригиналъ; а я?.. Есть ли во мнѣ что-нибудь оригинальное?.. я тоже, какъ будто и люблю, и трушу: и волнуетъ меня всякій вздоръ... и, какъ муха въ паутинѣ, путаюсь я въ своихъ собственныхъ мысляхъ... Вотъ, у тебя сегодня, сестра, такое веселое, счастливое лицо, ну, и давай по этому поводу разсуждать съ тобой по-гамлетовски!

— Веселое лицо!.. а въ сущности мнѣ, братъ, не весело. Не дальше, какъ часъ тому назадъ, у меня былъ разговоръ съ Адріаномъ... Я... ты знаешь, откровенна... онъ присталъ ко мнѣ, чтобъ ѣхать... я сказала, что я дожидаюсь Сызранова, отъ котораго мнѣ слѣдуетъ получить деньги... Какія? спрашиваетъ. Отъ мужа, говорю. Отъ какого мужа?... Отъ моего, говорю... Онъ сѣлъ въ уголъ и надулся... И тебѣ не совѣстно, говоритъ, полу-

чать деньги съ человѣка, съ которымъ ты не живешь, котораго не уважаешь, не любишь... и на эту тэму столько наговорилъ мнѣ разныхъ вещей, что я не знала, что̀ отвѣчать ему. Адріанъ правъ, совершенно правъ, но какъ же жить безъ денегъ?..

— Значитъ, и правъ, и неправъ,—усмѣхнувшись отвѣтилъ Елатомскій.

— Я только тѣмъ его и успокоила, что эти деньги вовсе не мужа, а мои,—оброкъ съ моего же имѣнія.

— И онъ на это ничего не возражалъ тебѣ?

— Ничего.

— Гм! а ты бы его спросила: не совѣстно ли и ему получать деньги съ крестьянъ, съ которыми онъ тоже не живетъ. Эхъ! что̀ бы тебѣ стоило спросить!.. Впрочемъ, далеко еще намъ до такой совѣстливости... Вотъ и мнѣ отецъ прислалъ 100 рублей, тоже, чай, крестьянскіе... А любить или отдаться влеченію сердца—совѣстно!.. Чортъ знаетъ, что такое!..

— А ты, братъ, все еще влюбленъ... въ эту... Зою... или еще въ кого-нибудь?..

— И самъ не знаю... Ну, точно «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда»! Чортъ возьми!.. Съ тѣхъ поръ, какъ я на отрѣзъ сказалъ ей, что никогда не женюсь на ней, и что любить ее не нахожу никакой,—ни физической, ни нравственной возможности, съ тѣхъ поръ, ну, вотъ такъ и тянетъ... зайти, поглядѣть, пошутить съ ней, поболтать... такъ и тянетъ... Ей-Богу!.. Господи! хоть бы нищая она была... или хоть бы горничная какая-нибудь, было бы легче... Кажется, если бы я встрѣтилъ ее въ обществѣ падшихъ женщинъ, воспользовался бы ея любовью, чтобъ вытащить ее изъ грязи, нравственно поднять и просвѣтить ее... былъ бы хоть подвигъ съ моей стороны, — а то... Меркуличъ... дочь бывшаго взяточника и афериста...

которому... право, если только половину вѣрить тому, что̀ говорятъ... руку протянуть совѣстно...

— Что же ты намѣренъ дѣлать?.. бѣдный мой, бѣдный Владиміръ!..—съ нѣжнымъ участіемъ спросила его Нина.

— Ничего не намѣренъ... Развѣ Гамлетъ знаетъ, что̀ онъ будетъ дѣлать?.. И, знаешь, до чего я могу дожить?.. До того, что будутъ не замѣчать меня, пренебрегать, считать хуже всякаго, на чужой счетъ, съ фальшивыми вѣсами, разжившагося лабазника; хуже всякаго туза-негодяя или лакея съ гордой миной, разжирѣвшаго отъ подачекъ, купленныхъ лестью и поклонами... Это весьма можетъ быть, Нина... Прочти «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» Тургенева.

Эвина видѣла, что Елатомскій разстроенъ, что никогда еще на свою будущность не смотрѣлъ онъ такими глазами, сквозь такія черныя очки,—и, насколько могла разговорами и смѣхомъ развлекать его, развлекала, т. е. сама надѣла розовыя очки и въ розовомъ сіяніи стала казать ему его будущность.—Только не женись, добавила она, полюби женщину такую, которая могла бы вполнѣ сочувствовать твоему благородному сердцу и понимать твои стремленія.

— У меня одно стремленіе, Нина, — что-нибудь дѣлать... До такой степени противно мнѣ мое бездѣлье! Но что̀ дѣлать, что̀ начать, къ чему пристать, къ какой плодотворной дѣятельности себя пріурочить! — убей меня Богъ, — не знаю! Я начинаю думать, что, или я ровно ни на какое дѣло не гожусь, или потому только не гожусь ни на какое дѣло, что нѣтъ праведныхъ дѣлъ, нѣтъ дѣлъ, которыя бы нуждались въ молодыхъ, честныхъ, непочатыхъ силахъ... Вся надежда на Кавказъ: тамъ, какъ кажется, идетъ работа, которая обѣщаетъ въ будущемъ принести золотые плоды. Но, кажется, и на Кавказъ на-

дежды нѣтъ. Крылья связаны у меня безденежьемъ и, нѣтъ мнѣ пути... «Всѣ пути мнѣ заказаны!»

Елатомскій задумался и пропустилъ мимо ушей цѣлый потокъ великолѣпныхъ фразъ, которыя полились изъ устъ Нины Александровны...

Ничего не возражая, молча, просидѣлъ онъ съ полчаса, — потомъ, тряхнувъ головой, сказалъ: ну, что будетъ, то будетъ! Прощай, сестра!

— Узнай же, пожалуйста, пріѣхалъ ли и гдѣ остановился Сызрановъ, — напомнила ему Нина, дружески, крѣпко, пожавъ ему руку и до дверей проводивъ его.

V.

Бавинъ, по поводу вышеприведеннаго Эвиной разговора съ нимъ, воротившись домой, тотчасъ же принялся за перо и написалъ ей письмо, излагая ей, что, рано или поздно, оба они должны готовиться къ тому, чтобъ жить на свои собственныя средства, — трудомъ заработывать право на жизнь.

Богъ вѣдаетъ, почему это вздумалъ онъ «писать», когда и такъ, чуть ли не каждый день видѣлся съ ней. И какимъ именно трудомъ, думалъ онъ, можетъ Эвина заработывать жизнь свою, тогда какъ онъ, отказавшись отъ каѳедры, а стало быть и отъ жалованья, самъ не зналъ, чѣмъ, какимъ трудомъ, будетъ онъ заработывать деньги? Или онъ надѣялся, что его «Феноменологію духа», если онъ ее напечатаетъ, будутъ раскупать, вся Россія будетъ читать ее, и, просвѣтленная разумомъ, почуя въ себѣ Бога, увѣнчанная цвѣтами и лаврами, подъ музыку, торжественно и побѣдоносно, пойдетъ по пути прогресса... «Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло ему на свѣтѣ».

Запечатавъ письмо облаткой, Бавинъ крикнулъ Аксёна и сказалъ:

— Эту записку отнесешь ты къ Нинѣ Александровнѣ...

— Не понесу!—отвѣтилъ Аксёнъ такъ смѣло и дерзко, что Бавинъ остолбенѣлъ и вскинулъ на него удивленные глаза свои.

— Отчего же ты не понесешь?—помолчавъ немного, спросилъ его Бавинъ.

— Что хотите дѣлайте, хоть на кострѣ меня жгите, хоть распинайте!—горячо заговорилъ Аксёнъ, не глядя на своего барина и какъ-бы опасаясь увидѣть гнѣвъ на лицѣ его.

— Гм! такъ ты не хочешь у меня служить?—сдержаннымъ голосомъ, тихо проговорилъ Бавинъ.

— У васъ до гробовой доски готовъ...

— Ступай вонъ!

Аксёнъ тотчасъ же вышелъ.

Бавинъ съ полчаса сидѣлъ, понуривъ голову, и о чемъ-то думалъ, пощипывая свой подбородокъ.

— Аксёнъ!

Аксёнъ показалъ изъ-за двери свою голову. Глаза его были красны, лицо смутно. Тому, кто въ эту минуту, ничего не зная, заглянулъ бы ему въ лицо, оно показалось бы заспаннымъ.

— Не понесешь записки?

Аксёнъ, молча, покосился на него и потупился.

— Ну, оставайся здѣсь, въ Одессѣ: — здѣсь я дамъ тебѣ паспортъ, а изъ деревни пришлю тебѣ вольную...

Аксёнъ испуганно поглядѣлъ на барина.

— Зачѣмъ мнѣ вольная!..—пробормоталъ онъ...

Не поѣхать въ деревню, не дохнуть роднымъ воздухомъ, не увидать ни старой рощи, ни дяди Трифона, ни тетки Марѳы, ни Марѳутки племянницы; не посидѣть на

томъ крылечкѣ, на тѣхъ вытертыхъ ступенькахъ, гдѣ онъ, будучи ребенкомъ, сиживалъ; не лазить по той крышѣ, съ которой онъ когда-то голубей гонялъ, и ни одной знакомой горничной орѣхами или тыквенными сѣмячками не попотчивать, а остаться въ Одессѣ, да поступить на службу къ какому-нибудь незнакомому барину — все это показалось Аксёну такъ ужасно, что и воля показалась ему чѣмъ-то для него обиднымъ и огорчительнымъ. Ему въ эту минуту и въ голову не пришло, что съ вольной онъ можетъ точно также когда-нибудь вернуться на свое родное пепелище.

— Что мнѣ вольная!—проговорилъ онъ, стоя бокомъ и вертя желѣзную ручку двери... точно эта ручка была виновата, и онъ хотѣлъ въ наказаніе сломать ее.

— Что̀ же тебѣ сдѣлала Нина Александровна?

— Она мнѣ ничего не сдѣлала... Что̀ она мнѣ сдѣлала?.. Ничего она мнѣ не можетъ...

— Такъ за что же ты?—хотѣлъ-было спросить его Бавинъ, но что-то какъ-будто ущипнуло его за сердце: онъ вспомнилъ, что Аксёнъ перемѣнился къ нему,—сталъ какъ-то нѐхотя служить даже хозяйскую посуду бить, именно съ тѣхъ поръ, какъ занемогла Эвина, съ тѣхъ поръ, какъ онъ цѣлыя ночи сталъ у ней просиживать. Онъ вспомнилъ, съ какимъ недовольнымъ лицомъ отворялъ онъ ему ночью дверь, когда Карай веселымъ визгомъ встрѣчалъ его позднее возвращеніе.

Бавинъ смутно понялъ, что его слуга недоволенъ его поведеніемъ, и—смутился... Неужели, подумалъ онъ,—кто-нибудь знаетъ,—смѣетъ догадываться!.. Почему же Елатомскаго онъ не подозрѣваетъ, даромъ что тотъ иногда и вовсе дома не ночуетъ? Почему Елатомскій имѣетъ право возвращаться поздно, а я не имѣю?.. Гм!..

И прекративъ разговоръ свой съ Аксёномъ, Бавинъ

на обѣденномъ столѣ позабылъ запечатанное облаткой письмо свое, и мрачный ушелъ въ свою комнату.

Аксёнъ же, Богъ знаетъ зачѣмъ, прошелъ сперва въ пустую комнату Елатомскаго, Богъ знаетъ для чего, машинально, взбилъ подушку на его постели, поправилъ на столѣ положенныя книги, — ребромъ поставилъ ихъ къ стѣнкѣ, и, на обратномъ пути въ переднюю, какъ-бы нечаянно, мимоходомъ захватилъ забытое на столѣ письмо къ Эвиной и минуты черезъ двѣ, съ фуражкою на головѣ, былъ уже на улицѣ.

Чтобы объяснить поведеніе Аксена, слѣдуетъ сказать одно: ни Акулина, горничная Эвиной, ни онъ—не вѣрили въ ея болѣзнь. — Прикидывается, — думала горничная,— не въ первый разъ ей шутки-то эти продѣлывать!.. Притворяется... — облапошить хочетъ, — говорилъ Аксёнъ, дѣлясь съ Акулиной своими мыслями... Ишь, больная!—Какая же больная, коли во всю щеку румянецъ такъ и пышетъ! Ишь ты, въ постель разлеглась!—Знатную штуку придумала...

При этомъ нужно вспомнить, съ какой гордостью сказалъ однажды Аксенъ Елатомскому, что баринъ его святой. Мало того, не разъ, за воротами онъ, балагуря съ сосѣдними горничными, хвастался имъ, что, какъ ни верти онѣ хвостомъ,—шалишь!—барина его не осѣдлаешь, не таковскій! Не то-что какой-нибудь...

И вдругъ, эта пріѣзжая барыня, ненависть къ которой со стороны Акулины сообщилась и ему,—барыня, уже не молодыхъ лѣтъ,—заворожила, причаровала, одурачила!

Иначе нельзя объяснить поведеніе Аксёна, который, дѣйствительно, не только совершенно иначе относился къ Елатомскому, но самъ готовъ былъ познакомить его съ какой-нибудь разудалой дѣвушкой, нарядившейся въ платокъ или шляпку своей барышни.

Письмо Бавина передалъ онъ Акулинѣ и сказалъ: передай барынѣ.

— Передай самъ, — отвѣчала она, стоя надъ корытомъ и мыльными руками выжимая какія-то бѣлыя тряпочки, можетъ быть, воротнички, манишки, рукавчики и прочія мелкія туалетныя принадлежности Нины Александровны.

— Ну, вотъ еще, толкуй съ тобой! Есть мнѣ время...

И, бросивъ письмо на кухонный столъ, Аксёнъ вышелъ на улицу.

На улицѣ, въ трехъ саженяхъ отъ воротъ, онъ встрѣтилъ молоденькую барышню, очень хорошенькую, блѣдную, съ черными глазками...

— Не знаете ли вы, гдѣ живетъ г-жа Эвина?..— робкимъ голоскомъ спросила его барышня.

Съ Аксёна тотчасъ же сошла вся суровость, онъ любезно предложилъ ей свои услуги, воротился, и, черезъ растворенную калитку, показалъ ей на низенькое крылечко.

— Пожалуйте, вонъ туда, сударыня. — Онѣ-съ тутъ живутъ... тутъ ихъ самая квартира...

Барышня поглядѣла въ калитку, постояла, подумала, и, вмѣсто того, чтобъ войти на дворъ, прошла мимо воротъ.

Аксёна это немножко удивило, долго глядѣлъ онъ, какъ легко ступали ея маленькія ножки, развѣвалась лента и колыхалось бѣлое платьице.,.

«Хоть бы этакую... не ей чета», подумалъ онъ о своемъ баринѣ... «По крайности, молоденькая... да еще дѣвица... барышня, должно быть... Какіе глаза чудесные, расчудесные!.. Есть же вѣдь такое канальство!.. И зачѣмъ это только на свѣтѣ бабы живутъ?.. — Безъ нихъ и грѣха бы не было.—Ей Богу!..»

VI.

Сашинъ сдержалъ свое слово, и вечеромъ, того же дня, отправился къ Трофиму Евлампіевичу.

Онъ давно былъ неравнодушенъ къ Зоѣ и, таи отъ всѣхъ безъисходную страсть свою, вздыхалъ по ней и ревновалъ... Всю прошлую зиму Зоя и не подозрѣвала, зачѣмъ онъ такъ часто ходилъ къ нимъ, садился въ гостиной на диванъ, и то молчалъ, какъ истуканъ, то разсказывалъ ей и ея сестрамъ разные смѣшные анекдоты и, позволяя дѣвочкамъ чуть не за уши и за̀ носъ теребить себя...—словомъ, было время, когда Сашинъ былъ въ домѣ Меркулича чѣмъ-то въ родѣ одушевленной мебели. Вѣра Георгіевна выносила его, потому что онъ самъ требовалъ, чтобы на него никто не обращалъ вниманія. Зоя не разъ подчивала его имъ же самимъ преподнесенными конфектами; Юлинька откровенно насмѣхалась надъ его несоразмѣрной толщиной. Люлинька называла его «папасей». Одинъ практическій Трофимъ Евлампіевичъ думалъ иногда, что Сашину надоѣла холостая жизнь, что онъ мечтаетъ о подругѣ жизни и въ Зоѣ высматриваетъ себѣ невѣсту.

Немного знакомыхъ посѣщало Меркулича. Дѣловые или коммерческіе люди заходили прямо къ нему въ кабинетъ. Два-три молодыхъ человѣка, изъ сферы мелкотравчатыхъ чиновниковъ, въ манишкахъ и модныхъ галстухахъ, большіе любители женскаго пола, но невлюбчивые, иногда, по воскреснымъ днямъ, заглядывали къ нему въ гостиную; но Сашинъ, тоже воскресный гость, въ каждомъ изъ нихъ умѣлъ подмѣчать смѣшную или пошлую сторону и, подстрекаемый ревностью, какъ-то очень ловко въ глазахъ Зои умѣлъ окарикатурить ихъ. Ему же безпрестанно казалось, что Зоя глядитъ на всѣхъ

такими огненными глазами, что каждый брѣющій усы и бороду, можетъ Богъ знаетъ что̀ вообразить себѣ.

Появленіе Елатомскаго въ стѣнахъ, за которыми обитало маленькое божество его, наполнило душу Сашина смятеніемъ и тоской.

Съ особенной прозорливостью онъ сталъ слѣдить за его поведеніемъ и на тему, что Елатомскій фатъ, вѣтренникъ... стрекоза и чортъ знаетъ что̀ воображаетъ о своемъ умѣ, сталъ острить такъ зло и ядовито, какъ еще никогда не острилъ онъ въ присутствіи Зои.

Увы! Зоя уже не смѣялась. Зоя слушала его безъ улыбки, и разъ, въ спальнѣ матери, разговаривая съ Кларой Петровной, назвала Сашина *морскою чучелой*. (Можетъ быть, Зоя и не подозрѣвала, что онъ уже сидитъ въ гостиной). У Сашина слухъ былъ чуткій. Лицо его налилось кровью и дневной свѣтъ показался ему краснымъ, какъ будто къ солнечнымъ лучамъ примѣшалось ночное зарево...

Крехтя, поднялся онъ съ дивана, почувствовалъ удушье, и вышелъ на свѣжій воздухъ. Съ тѣхъ поръ, онъ почти прекратилъ свои посѣщенія. Если же и заходилъ иногда, то больше изъ злостнаго желанія подразнить себя, или изъ любопытства узнать, что̀ дѣлаетъ Зоя.

Онъ слышалъ, что Елатомскій сталъ у Меркулича чуть не ежедневнымъ гостемъ, что вся семья на рукахъ его носитъ, не знаетъ, гдѣ посадить, чѣмъ угостить и что Елатомскій у нихъ, какъ сыръ въ маслѣ катается. Но ему ни разу не удалось застать Елатомскаго у Меркулича.

Съ весны онъ находилъ большую перемѣну въ Зоѣ. Она точно вся въ самой себѣ сосредоточилась: была уже не такъ рѣзва и кокетлива, и глаза ея стали задумчивы, тогда какъ прежде они блестѣли, какъ черные алмазы— и только... То, нѣчто новое, что̀ появилась въ выраже-

ніи ея миловиднаго лица, не ускользнуло отъ вниманія Сашина. Онъ рѣшилъ, что она влюблена... и непремѣнно въ Елатомскаго, потому что въ Елатомскаго всѣ влюблены, всѣ находятъ, что у него чудесные каріе глаза, красиво выведенныя брови и такая нѣжная на лицѣ кожа, что любая дѣвушка можетъ ему позавидовать.

Неизвѣстно, завидовали ли дѣвушки цвѣту лица Елатомскаго, но Сашинъ въ глубинѣ души своей завидовалъ ему и ненавидѣлъ, хотя и встрѣчался съ нимъ, какъ добрый малый съ добрымъ малымъ. Вѣсть, разлетѣвшаяся по-городу, что Елатомскій женится на Зоѣ, для Сашина была тѣмъ же, что набатный колоколъ для провинціала, предупрежденнаго, что какіе-то злодѣи, не сегодня-завтра, подожгутъ домъ его или весь городъ. Онъ долго этому не вѣрилъ и вѣрить не хотѣлъ; но когда Меркуличъ пришелъ къ Хавазову просить Елатомскому мѣста, онъ убѣдился, что это правда. Теперь,—подумалъ онъ,—самъ чортъ не разубѣдитъ меня!..

И вотъ, чтобъ раздразнить себя, быть можетъ, даже сказать дерзость, бросить ядовитое слово, и, такимъ образомъ, какъ бы вынырнуть хоть на минуту изъ той прозы, которая, какъ стоячая, мутная вода, со всѣхъ сторонъ заливала его, Сашинъ отправился къ Меркуличамъ.

Но и на этотъ разъ онъ не засталъ Елатомскаго и долженъ былъ засѣсть играть въ карты, такъ какъ Меркуличъ пригласилъ двухъ преферансистовъ — ради того только, чтобы составить партію и тѣмъ доставить удовольствіе Ивану Ивановичу Сашину.

«Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ никогда не вынырнуть!» думалъ несчастный Сашинъ, жирными ручками подбирая карты и меланхолическими глазами слѣдя за игрой и взятками.

Ему везло — онъ выигрывалъ. Но что значила временная хандра Елатомскаго, навѣянная на него разсказомъ о какомъ-то чудакѣ-Гамлетѣ, передъ этой глубоко-

оскорбленной душой, заплывшей жиромъ... Сашинъ мысленно злился даже на то, что выигралъ.

— Ну, а гдѣ же вашъ женихъ?..—спросилъ онъ Зою, когда разъ удалось ему встать изъ-за ломбернаго стола и на нѣсколько минутъ перекочевать въ гостиную.

— Его нѣтъ — лаконически отвѣчала Зоя.

— Что̀ вы такое читаете?

— «Современникъ».

— Кто вамъ далъ?

— Сама... взяла...

— Прощайте.

— Развѣ вы уходите?

— Нѣтъ, я еще не ухожу.

Зоя холодными глазами (такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Сашину), поглядѣла на него и опять, облокотившись на столъ, принялась за чтеніе.

Она была очень рада, что ея сестры въ гостяхъ, а гости играютъ въ карты.

VII.

На другой день Сашинъ, по обыкновенію, обѣдалъ все въ той же гостинницѣ «London» и, встрѣтившись съ Хавазовымъ, подтвердилъ ему, что, судя, по всему, Елатомскій женится на Зоѣ Трофимовнѣ.

— Коли дастъ взаймы тысячи три-четыре, безъ процентовъ, такъ и быть — сдѣлаю его (т.-е. Елатомскаго), помощникомъ столоначальника; поглядимъ, что̀ изъ него выйдетъ,—проговорилъ Хавазовъ, скаля зубы.

«Не только взаймы, я и такъ, — въ видѣ взятки, не откажусь взять три тысячи. Ей Богу, не откажусь!» уже про себя думалъ Хавазовъ. «Что̀ ему въ зубы-то глядѣть—мошеннику!»

Затѣмъ, начался безконечный разговоръ о картахъ— любимый разговоръ Хавазова; да и вообще разговоръ о картахъ на святой Руси замѣняетъ всякій иной разговоръ между людьми солидными, ничего кромѣ вреда не видящими въ разговорахъ объ общественныхъ дѣлахъ, о школахъ, о литературѣ или о политикѣ.

А Елатомскій и не подозрѣвалъ, что о немъ хлопочутъ. Озабоченный порученіемъ Эвиной (узнать, гдѣ остановился Сызрановъ), онъ отчасти радъ былъ случаю идти къ Меркуличу, отчасти чувствовалъ нѣкоторое безпокойство, въ родѣ сосанія подъ ложечкой, при мысли о встрѣчѣ съ Зоей. Какими глазами онъ, благоразумный молодой человѣкъ, будетъ глядѣть на эту влюбленную дѣвушку! Неужели онъ будетъ ей мораль читать?

«Какъ это глупо!» думалъ Елатомскій... «Какое я ничтожное созданіе!! Боюсь, что она лишній разъ руку мнѣ пожметъ! боюсь сплетень... и чортъ знаетъ чего! Пойду къ нимъ».

И онъ пошелъ.

Но на поворотѣ въ улицу, гдѣ жила Зоя, на тротуарѣ, встрѣтилъ онъ ея папеньку,

Трофимъ Евлампіевичъ былъ не одинъ. Жестикулируя всѣми десятью пальцами, онъ разговаривалъ съ какимъ-то юнымъ херсонскимъ помѣщикомъ въ сѣрыхъ клѣтчатыхъ брюкахъ и въ сѣрой шляпѣ.

«Чего вы боитесь, я непремѣнно надую васъ!»—выражало собой ястребиное круглое лицо коротенькаго Меркулича.

«Ты меня не надуешь, но я все-таки боюсь тебя»,— выражало лицо херсонскаго джентльмена.

Меркуличъ хотѣлъ по дешевой цѣнѣ купить у него прошлогодніе запасы хлѣба, для того, чтобы осенью продать его заграницу чуть не вдвое дороже. Юный хозяинъ увѣрялъ, что ему деньги не нужны (несомнѣнно

вралъ—нужны были до-зарѣзу), и что онъ самъ подождетъ продавать свой хлѣбъ до осени—благо есть магазины, гдѣ можно будетъ его ссыпать.

До того ли было Меркуличу, чтобъ замѣтить Елатомскаго, но онъ все-таки однимъ глазомъ увидѣлъ его и махнулъ рукой: дескать, погодите, любезнѣйшій!

Елатомскій подошелъ.

— Извините, Трофимъ Евлампіевичъ, я шелъ къ вамъ, спросить, гдѣ остановился Сызрановъ... и вернулся ли онъ изъ Крыма?

— А вамъ зачѣмъ?

— Барыня одна желаетъ его видѣть: онъ ей нуженъ.

— А ей зачѣмъ?.. Вотъ и мнѣ тоже нужно васъ видѣть... Куда вы запропастились, милѣйшій?.. Фу! какая пыль!.. Господинъ Маревичъ! зайдемте за уголъ, здѣсь какъ будто потише... А этотъ Сызрановъ поѣхалъ сухимъ путемъ: качки, изволите видѣть, выносить не можетъ. Когда пріѣдетъ—не знаю, а остановиться хотѣлъ у Оттона въ гостинницѣ.—Вы въ Крыму были, г. Маревичъ? Я тамъ покупаю виноградники... Жду я этого, Сызранова. Еще, чего добраго, придется въ Херсонъ ѣхать съ нимъ.

Такъ говорилъ Меркуличъ, поворачиваясь животомъ своимъ, то къ Елатомскому, то къ херсонскому помѣщику.

Елатомскій понялъ, что въ эту минуту онъ мѣшаетъ Меркуличу обдѣлывать дѣла свои, пробормоталъ, что въ наискорѣйшемъ времени, всенепремѣннѣйше онъ зайдетъ къ нему, попросилъ поклониться Вѣрѣ Георгіевнѣ и Зоѣ Трофимовнѣ, и, съ облегченнымъ сердцемъ, пошелъ домой.

Между тѣмъ Бавинъ, сообразивши, что письмо его къ Эвиной унесено Аксёномъ, ибо само собою оно не могло исчезнуть, успокоился и принялся за свою головоломную работу...

Прошелъ часъ—онъ услышалъ шаги Елатомскаго.

— Ты опять куда-то уходишь, Елатомскій. Если увидишь Нину, г-м! спроси ее, получила ли она письмо мое.

— Хорошо. А ты, другъ Адріанъ, получи отъ меня долгъ мой за квартиру и столъ.

— Не нужно, прибереги деньги... Я тебѣ говорю, что не нужно...—разсердился Бавинъ и сморщилъ лобъ, осѣненный вихрами, разлетѣвшимися во всѣ стороны.

Елатомскій настаивалъ (живи онъ съ Бавинымъ, какъ когда-то съ студентомъ Игнатьевымъ — душа въ душу, онъ бы не настаивалъ). Бавинъ, по-неволѣ, долженъ былъ получить слѣдуемыя ему деньги и заперъ ихъ въ столъ, взявши съ Елатомскаго честное слово написать ему о высылкѣ денегъ въ минуту крайности.

Давши ему адресъ своей деревни, Бавинъ спросилъ:

— А гдѣ ты, братъ, сегодня обѣдаешь?

— Обѣдаю съ поляками у Карруты.

— Съ какими поляками?

— Да такъ, съ молодыми людьми.

«Какъ это онъ такъ можетъ со всѣми знакомиться?» подумалъ Бавинъ. «Вотъ и Нина тоже... Не понимаю»...

Елатомскій заказалъ у Карруты дорогой обѣдъ на четыре персоны, съ устрицами, спаржей, фруктами и шампанскимъ.

Изъ числа молодыхъ людей, которыхъ ждалъ онъ, явились только двое: студентъ четвертаго курса Ясицкій и молодой человѣкъ Зыбко, съ пожилымъ, какъ-бы закаленнымъ лицомъ, съ рыжеватыми бакенбардами и въ очкахъ, съ синими стеклами, изъ-за которыхъ выглядывали зеленоватые глаза, грустно-мрачные и углубленные...

— Панна Жозефина шлетъ вамъ свой поклонъ, — сказалъ онъ Елатомскому

— А! спасибо. Что же это она не пришла съ вами? Какъ жаль!.. Ну, господа, шестого половина, давайте обѣдать.

И Ясицкій, и Зыбко были люди недюжинные, у нихъ была цѣль. И такъ какъ у Елатомскаго никакой цѣли не было, они думали перетянуть его на свою сторону. Елатомскій долго поддавался имъ и заслужилъ ихъ полное довѣріе; но они пересолили, и Елатомскій, хотя и не былъ политикъ (думать тогда о политикѣ было чѣмъ-то въ родѣ преступленія), сталъ съ ними спорить.

— Только, почему, по какому праву вы Одессу называете вашимъ городомъ?—возражалъ Елатомскій.

— Потому, что намъ нужно море,—откровенно отвѣчалъ дипломатъ Ясицкій.

— Потому, что еще до перваго раздѣла Польши, до границъ крымскаго ханства все это была Польша, — утверждалъ политикъ Зыбко.

— Нѣтъ, тутъ были турки и—хотите—я найду вамъ свидѣтеля. Здѣсь, въ Одессѣ, у собора, стоитъ нищій, длинный, худой старикъ, который говоритъ, что ему девяносто лѣтъ съ хвостикомъ; я зимой отдалъ ему свой сѣрый плащъ, за который меня здѣсь прозвали молью Я разговорился съ нимъ, и оказалось, что еще при Потемкинѣ онъ былъ здѣсь солдатомъ. — «Вишь, какой теперь городъ, говоритъ, а тогда здѣсь былъ край степи и росли травы да бурьянъ, да такъ росли, что человѣкъ могъ въ нихъ спрятаться; на берегу стояло турецкое укрѣпленіе, на земляномъ валу расхаживали турецкіе часовые и по ночамъ горѣлъ фонарь». — Какой фонарь, гдѣ фонарь—этого онъ хорошо объяснить мнѣ не могъ, помнитъ только день штурма, — бой и бѣгство турокъ. Значитъ, мѣсто это отвоевано русскими у турокъ.

Зыбко увѣрялъ, что Турція была въ союзѣ съ Поль-

шею, и такъ какъ этотъ край былъ пустымъ мѣстомъ, то его могли занимать то поляки, то турки.

Такимъ образомъ, иногда молодые люди спорили о древнихъ границахъ Польши, и Елатомскій, нерѣдко, уходя отъ нихъ, забѣгалъ въ библіотеку Тотти и искалъ, нѣтъ ли какихъ-нибудь книгъ, относящихся къ польской исторіи и, разумѣется, никакихъ такихъ книгъ не находилъ. Кто же въ то время на святой Руси интересовался такими книгами, кромѣ лицъ, спеціально посвятившихъ себя славянству или русской исторіи, но такія лица были на перечетъ, и не изъ ихъ числа былъ нашъ юноша Елатомскій.

Пока молодые люди обѣдали и пили шампанское, въ первую комнату, гдѣ, съ романомъ Эжена-Сю, сидѣла конторщица, зашелъ Хавазовъ, и закурилъ сигару (тогда еще фосфорныя спички только что распространялись и не были во всеобщемъ употребленіи). Услыхавъ голоса спорящихъ и въ томъ числѣ голосъ Елатомскаго, Хавазовъ постоялъ, послушалъ, оскалилъ зубы и вышелъ... «Чортъ знаетъ что̀ такое!» подумалъ онъ, собралась эта сволочь и пророчитъ всякія бѣды и напасти отъ крѣпостного права! Чего зѣваетъ полиція»...

Хавазовъ, раскачиваясь, пошелъ на бульваръ: надо же походить и поразмяться между обѣденнымъ и карточнымъ столомъ... между утреннимъ и ночнымъ сидѣніемъ. Елатомскому подали счетъ; онъ его провѣрилъ, расплатился, далъ мальчику на водку, простился съ новыми пріятелями, послалъ поклонъ свой паннѣ Жозефинѣ, и, выходя изъ Палерояля, натолкнулся на Аксена.

— Я къ вамъ, — сказалъ Аксенъ и подалъ ему записку отъ Эвиной.

«Другъ Елатомскій,—писала Эвина,—мы сегодня въ театрѣ. Приходи къ намъ въ ложу, № 6. Непремѣнно. Бука тебя приглашаетъ».

— Скажи, что буду,—отвѣтилъ Елатомскій, и въ веселомъ настроеніи духа пошелъ на бульваръ, гдѣ уже играла военная музыка.

VIII.

«Не встрѣчу ли Зои?» думалъ онъ.

На бульварѣ было много гуляющихъ, но встрѣтилъ онъ не Зою, а другую поразительную красавицу, въ бѣломъ бедуинѣ и греческой красной фескѣ съ золотою кистью. Она шла подъ руку съ графомъ Гиккелемъ, и, улыбаясь, встрѣчала пристальные взгляды мужчинъ, какъ-бы сознавая торжество своей красоты...

Елатомскій тоже встрѣтилъ ея веселый взглядъ, и затѣмъ, обернувшись, полюбовался ея походкой, плавной и мѣрной, какъ музыка, точно она на ходу сдерживала или умѣряла жажду танцовать, жажду, помимо ея воли, ощущаемую всѣмъ ея тѣломъ, стройнымъ и легкимъ, какъ нѣчто воздушное.

Елатомскій сѣлъ на скамью и задумался.

«А! вотъ онъ! вотъ онъ!» послышался голосъ Хавазова, сопровождаемый, повидимому, дружелюбнымъ хохотомъ.

Елатомскій привсталъ и приподнялъ шляпу.

Хавазовъ сѣлъ возлѣ него, а Сашинъ, который, запыхавшись, шелъ по слѣдамъ Хавазова, остановился, и, посоловѣлыми отъ рейнвейна глазами, уныло сталъ глядѣть въ открытое море. Онъ съ умысломъ не подошелъ къ скамьѣ, чтобъ не протягивать руки Елатомскому, котораго, въ эту минуту, онъ презиралъ всѣми силами своей души.

— Ну-съ! теперь, кажется, можно, такъ-сказать, оффиціально поздравить васъ,—началъ Хавазовъ, заглядывая въ лицо Елатомскому и скаля зубы.

— Съ чѣмъ это?—спросилъ Елатомскій.

— Съ невѣстой и съ деньгами... Смотрите же вы—того... Я вамъ по́-просту, по-человѣчески, говорю: смотрите въ-о̀ба... Трофимъ-то Евлампіевичъ, будущій тесть-то вашъ, человѣкъ хорошій — а надуетъ. Обѣщаетъ съ три короба—и ничего не дастъ. Это ужъ такъ... Это вы имѣйте въ виду, любезнѣйшій. А что касается до мѣста, которое вы просите, то я очень радъ помочь, чѣмъ могу. Не все же вамъ, молодой человѣкъ, баклуши бить...

Пока говорилъ Хавазовъ, Елатомскій сидѣлъ, потупившись, и то краснѣлъ, то блѣднѣлъ.

— О чемъ вы говорите, ничего не понимаю... — не безъ досады, тихимъ, сдержанно-раздраженнымъ голосомъ проговорилъ Елатомскій...—Какая такая невѣста! Впрочемъ, это еще я извиняю вамъ. Ходилъ я въ домъ, гдѣ есть взрослая дочь на выданьѣ, стало быть, могъ дать пищу всевозможнымъ сплетнямъ. Такова ужъ видно наша милая Одесса! Сочинили изъ меня жениха и поздравляютъ, — это въ порядкѣ вещей. Но о какомъ мѣстѣ вы говорите—не знаю. Я... никогда васъ объ этомъ не просилъ...

— Ха, ха, ха!—залился Хавазовъ, тогда какъ шампанское ударило въ голову Елатомскаго, и злость шевельнулась у него на сердцѣ.

— За васъ, милѣйшій, просили, отъ вашего имени обращались именно ко мнѣ, знали, что коли чего я захочу, такъ ужъ дѣло то будетъ въ шляпѣ... Такъ-то.

— Кто же это васъ за меня просилъ?

Елатомскій поднялъ голову и, подозрительно, поглядѣлъ въ лицо Хавазову.

— Да кто!.. Вашъ будущій тесть, Меркуличъ. Кому же больше? Что̀ вы такъ смотрите... невинный человѣкъ! Ха, ха, ха!..

— Скажите этому Меркуличу, что онъ вретъ.

— Полноте, молодой человѣкъ, не сердитесь. Съ чего

ему врать! Онъ пронюхалъ,—а эта каналья вездѣ все пронюхаетъ,—что у меня одинъ чиновникъ опился и Богу душу отдалъ. Вотъ, такимъ образомъ, на ваше счастье, и очистилось мѣстечко въ помощники столоначальника.

— А я лучше буду бить баклуши, чѣмъ пойду къ вамъ на службу...

— Это отчего?—удивился Хавазовъ, и тотчасъ же пересталъ смѣяться.

— Да такъ—блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ...

— Да никто васъ и не зоветъ на совѣтъ,—перебилъ Хавазовъ, сильно озадаченный.—Вамъ даютъ мѣсто для того, чтобъ вы служить начали...

— У васъ подъ начальствомъ?—въ свою очередь перебилъ его Елатомскій.

— А хоть бы и у меня подъ начальствомъ.

— И это для того, чтобъ я за 20 или за 25 рублей въ мѣсяцъ слушалъ ваши дерзости или у приказныхъ учился взятки брать! Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ лучше баклуши бить.

— Да чортъ васъ возьми! — крикнулъ взбѣшенный Хавазовъ, и скулы его задвигались. — Что я, развѣ навязываюсь вамъ или кланяюсь: дескать пожалуйста, сдѣлайте такое одолженіе, московскій умникъ!.. Да какъ вы смѣете, милостивый государь, такъ мнѣ отвѣчать!.. Да стóитъ мнѣ слово сказать, чтобъ упечь васъ туда... куда Макаръ телятъ не гонялъ...

Елатомскій поблѣднѣлъ. Сашинъ, съ испуганнымъ лицомъ, полураскрывъ припухшій ротикъ, уже стоялъ противъ нихъ и умоляющими глазами смотрѣлъ на Хавазова. Проходящая публика пріостанавливалась и какъ-бы вслушивалась въ исторію.—Захаръ Николаевичъ!.. Захаръ Николаевичъ!—шепталъ Сашинъ.

— Знаемъ мы васъ, — вставая и разставляя ноги.

чуть не на весь бульваръ голосилъ Хавазовъ.—Революцію вы тутъ затѣваете! Освобожденіе крестьянъ проповѣдуете! Развратъ, вмѣсто брака!.. Общественные порядки подрываете! съ подозрительными лицами, съ поляками якшаетесь! Знаю я васъ! Берегитесь!

Онъ погрозилъ Елатомскому пальцемъ и пошелъ по бульвару, пошатываясь въ одну сторону и размахивая лѣвою рукой больше обыкновеннаго.

Какъ сидѣлъ Елатомскій, слегка сгорбившись, такъ и остался сидѣть. Онъ былъ такъ взволнованъ, такъ блѣденъ, какъ никогда. И—хоть это и недостойно героя,—я долженъ добавить, что Елатомскій струсилъ. Послѣднія слова Хавазова пахли доносомъ и курьерской тройкой съ жандармами.

— Владиміръ Григорьевичъ! Елатомскій!—услыхалъ онъ плаксивый голосъ не менѣе его встревоженнаго толстяка Сашина.

— Что вамъ угодно?

— Ей-Богу, это... это удивительно... Ей-Богу! онъ, съ самымъ добрымъ намѣреніемъ, подходилъ къ вамъ. Меркуличъ, дѣйствительно, просилъ его за васъ, при мнѣ просилъ... я... я свидѣтель...

— Я не умѣю говорить съ вами, чиновниками!—глухимъ, взволнованнымъ голосомъ проговорилъ Елатомскій, и горькая слеза обиды—признакъ нервности—показалась у самаго глаза его на щекѣ...—Скажите вашему другу—этому Хавазову, что я его не боюсь, и что я скорѣй въ Сибирь пойду, чѣмъ подъ его начальство! Такъ и скажите.

И, чтобъ скрыть свое волненіе или горечь обиды—(впервые отъ роду на него кричали, какъ на мальчишку), Елатомскій всталъ, надвинулъ шляпу и пошелъ по бульвару, въ противоположную сторону той, въ которую Хавазовъ направилъ шаги свои...

«Что же это?» думалъ Сашинъ, слегка пошевеливаясь и приложивъ къ губамъ набалдашникъ своей трости. Значитъ, опять вздоръ!.. Будь онъ женихъ... развѣ онъ могъ бы такъ?.. Этакій однако дерзкій, этотъ Елатомскій! Отчего я не могу... хочу иногда дерзость сказать какую-нибудь и... никакими судьбами!.. Эхъ!»

Въ это время въ Одесскомъ театрѣ раздавались рукоплесканія... хлопали не только мужчины, хлопали и кричали дамы... Пѣла синьора Паска, итальянская примадонна, бывшая любимица невзыскательной публики.

Бавинъ сидѣлъ въ ложѣ, за плечомъ Эвиной, глядѣлъ и слушалъ. Не безъ нѣкотораго презрѣнія глядѣлъ онъ на толпу, шумящую отъ райка до первыхъ рядовъ креселъ. Дѣти мрака идутъ на маленькій огонекъ, который свѣтится имъ въ звукахъ вдохновенной музыки, и, какъ мотыльки хлопаютъ своими крыльями, такъ они хлопаютъ руками. Завтра погрузятся они въ такой же мракъ и будутъ, какъ черви, копошиться въ немъ. Но эти дѣти мрака искренно восторгались разбитымъ голосомъ пожилой примадонны и плохой обстановкой оперы, а онъ, Бавинъ, слушая, ничего не слышалъ и только разсуждалъ о музыкѣ, о содержаніи «Нормы» и о толпѣ. Присутствіе любимой имъ женщины не вдохновило Бавина. Изрѣдка онъ высказывалъ ей свои замѣчанія, и она на-лету ловила ихъ и, съ гордостью влюбленной женщины, удивлялась ихъ глубинѣ и широкому смыслу.

Въ антрактѣ передъ третьимъ дѣйствіемъ, въ ложу къ нимъ вошелъ Елатомскій.

Лицо его еще было блѣдно, но онъ уже справился съ самимъ собою и казался спокойнымъ.

— Погляди, Елатомскій!—не много въ носъ проговорилъ ему Бавинъ.—Погляди, какая противъ насъ въ ложѣ сидитъ красавица. Это по твоей части.

— Почему же это по моей части! Кажется, и по твоей

точно также,—почему-то разсердясь, отвѣчалъ Елатомскій.

Бавинъ покосился на него и не сказалъ ни слова, но Эвина вмѣшалась въ разговоръ.

— Развѣ не говорилъ ты, братъ Елатомскій, что красота имѣетъ на тебя неотразимое вліяніе, развѣ красота не есть гармонія, развѣ она не такая же музыка! Если бы ты не любилъ красоты, ты бы не понималъ и поэзіи, а ты ее понимаешь; и мы тебя любимъ за то, что ты еще не успѣлъ грязью прозы замарать себя.

«Да, но на меня кричатъ, какъ на мальчишку», подумалъ про себя Елатомскій, и—опять живо припомнивъ себѣ сцену на бульварѣ—поблѣднѣлъ.

Въ это время, изъ противоположной ложи, красавица, которую встрѣтилъ онъ на бульварѣ, навела на него свой бинокль. Она сидѣла рядомъ съ графомъ Гиккелемъ.

— Кто этотъ молодой человѣкъ?—по-французски, спросила красавица у графа Гиккеля.

— А! я не знаю его фамиліи, я его разъ мелькомъ встрѣтилъ въ кабинетѣ своего кредитора—стараго князя Д—кова. Онъ, должно быть, филологъ. Князь читалъ ему свой переводъ изъ одной старинной русской пѣсни, которую никто понять не можетъ,—кажется, о какомъ-то князѣ Игорѣ. Если хотите, я съ нимъ познакомлюсь, и представлю его вамъ.

— Онъ богатъ?

— Не знаю... Но, chère Doudou, если вы его въ себя влюбите, онъ, какъ кажется, будетъ приличный кавалеръ для васъ...

— Я сама то же думаю. Отчего онъ такъ блѣденъ?

— Или проигрался, или влюбленъ, или страдаетъ малокровіемъ. Вотъ онъ взялъ бинокль у этой барыни... и глядитъ на васъ... Опустите глаза... вотъ такъ...

И они оба засмѣялись. Нечего и говорить, что рѣчь шла о Елатомскомъ.

IX.

На три четверти сократившійся мѣсяцъ золотымъ серпомъ стоялъ на небѣ; и надъ засыпающимъ городомъ, въ темной синевѣ, мигали и жмурились звѣзды, когда въ театрѣ опустился послѣдній разъ занавѣсъ, музыканты стали укладывать свои инструменты, а публика начала расходиться... «Сыны Авзоніи счастливой», можетъ быть, и въ эту ночь напѣвали какой-нибудь игривый мотивъ, но нашъ Елатомскій, несмотря на то, что ночь казалась волшебной и располагающей къ мечтамъ, такимъ же неопредѣленно сладкимъ, какъ и музыка,—несмотря на то, что въ этомъ темномъ и душисто-пыльномъ сумракѣ мелькала передъ нимъ бѣлый бедуинъ какой-то пріѣзжей красавицы, Елатомскій былъ молчаливъ и грустенъ. На всѣ вопросы Эвиной: «Что съ нимъ?»—онъ отвѣчалъ:—Ничего... у меня сегодня голова болитъ. Отказавшись отъ ея приглашенія, вмѣстѣ съ Бавинымъ, зайти къ ней на чашку чаю, онъ ушелъ, и дома, не зажигая огня, раздѣлся, и легъ въ постель... Ночью онъ всталъ и хотѣлъ писать, но не найдя ни трута, ни сѣрной спички снова улегся.

Но едва показался день и засвѣтилось въ окнахъ, Елатомскій бросился къ перу и на почтовомъ листикѣ, безъ помарокъ, написалъ слѣдующее посланіе:

«Милостивый Государь, Захаръ Николаевичъ!

«На мою необдуманную дерзость Вы могли бы отвѣчать мнѣ тѣмъ же, чѣмъ я отвѣчаю Вамъ на Ваши клеветы и угрозы, а именно: вызовомъ. Записку эту получите Вы изъ рукъ моего секунданта, съ которымъ я всепокорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Государь, пе-

редать мнѣ Ваши условія и сообщить ему о мѣстѣ и времени.

«Остаюсь Вашъ покорный слуга
«В. Елатомскій».

Несомнѣнно, что онъ всю ночь сочинялъ и обдумывалъ эти строки и въ какія-нибудь пять минутъ письмо было положено въ конвертъ, надписано и запечатано маленькой гербовой печатью (изображающей въ щитѣ пустой колчанъ, съ маленькими крыльями и увѣнчанный чѣмъ-то въ родѣ рогатаго шлема съ страусовыми перьями). Елатомскій рѣдко, почти никогда не употреблялъ этой фамильной печати, но въ настоящую минуту онъ употребилъ ее не безъ умысла: дескать, я такой же дворянинъ, какъ и ты, и, стало быть, знай, что «noblesse oblige»... Онъ даже посмотрѣлъ на свѣтъ, чисто ли эта печать оттиснулась и достаточно ли ясно на красномъ сургучѣ вышелъ гербъ и колчанъ съ крыльями.

Затѣмъ, Елатомскій хотѣлъ, по примѣру всѣхъ людей съ сильной волей или характеромъ, выспаться и встать съ освѣженной головой и съ новыми силами, но не тутъ-то было! Не столько мысли, сколько забѣгающая впередъ услужливая фантазія безпрестанно возбуждала, шевелила его мозгъ: онъ то воображалъ себя убитымъ, то раненымъ, то убійцей, то сосланнымъ и, къ чести его, ни разу не вообразилъ себя струсившимъ или поколебавшимся въ своемъ рѣшеніи. Но вдругъ вопросъ, о которомъ онъ менѣе всего думалъ, когда писалъ,—простой вопросъ: а кто же будетъ секундантомъ?—озадачилъ, и даже смутилъ нашего юношу.

Чтобъ рѣшить его, онъ одѣлся, и пошелъ прогуляться на свѣжемъ утреннемъ воздухѣ. Карай изъ-подъ кушетки поглядѣлъ на него съ убійственнымъ равнодушіемъ, и сталъ, чавкая, языкомъ облизывать свои лапы, какъ-бы

напоминая Елатомскому, что и ему слѣдуетъ умыться или позаботиться о чистотѣ рукъ своихъ.—Кого же я позову въ секунданты? продолжалъ самого себя вопрошать Елатомскій, шагая по узенькимъ тротуарамъ, мимо отпирающихся харчевень и лавочекъ. Окна домовъ были открыты настежъ,—признакъ, что еще не наступила жара и что не мѣшаетъ утренней прохладой освѣжить душныя, дыханіемъ спящихъ зараженныя комнаты.

Перебравши мысленно всѣхъ своихъ знакомыхъ, Елатомскій, съ нѣкоторою увѣренностію, остановился только на своемъ сожителѣ. Бавинъ, думалъ онъ, самъ же не разъ говорилъ, что путь страданія и смерти есть единственный путь для современнаго человѣка, не утратившаго мысли: стало быть, что̀ ему сто̀итъ подвергнуть себя кое-какимъ непріятностямъ.

Вернувшись домой около восьми часовъ, Елатомскій уже засталъ Бавина у самовара. Нагибаясь къ столу, онъ то читалъ, то прихлебывалъ чай изъ стакана, въ промежутки же между чтеніемъ и прихлебываніемъ, длинный черешневый чубукъ съ янтарнымъ мунштукомъ дымился во рту его, и, затѣмъ, тотъ же дымокъ поднимался изъ глиняной, на полъ опущенной трубочки. Карай, поджавши хвостъ, чинно сидѣлъ противъ Бавина и ожидалъ подачки.

— Налей и мнѣ стаканчикъ, Адріанъ,—сказалъ Елатомскій, усаживаясь на стулъ спиной къ окну. — Какъ тебѣ понравилась вчерашняя опера?

— Гм! Музыку эту я въ Москвѣ слыхалъ... но видѣлъ ли ты гравюры, плохо оттиснутыя на какой-нибудь сѣрой бумагѣ... или оттиски сбитыхъ клише?

— Видалъ.

— Ну, такъ вотъ такое же точно было и исполненіе этой оперы. Кое-что разобрать можно, и для толпы не дурно...

Затѣмъ, Бавинъ, молча, подалъ ему стаканъ съ чаемъ и поглядѣлъ на него. Вчера, разговаривая съ Эвиной, онъ пришелъ къ заключенію, что Елатомскій его ревнуетъ, или не безъ зависти смотритъ на его отношенія къ Эвиной, или,—уже про себя думалъ онъ, Елатомскій, точно также, какъ и Аксенъ, не доволенъ моимъ поведеніемъ и съ пошлой, чисто животной точки зрѣнія смотритъ на мою любовь, если только подозрѣваетъ, что я любимъ и люблю.

Такъ, по крайней мѣрѣ, старался онъ объяснить себѣ вчерашній рѣзкій отвѣтъ его въ ложѣ, разстроенную физіономію и нежеланіе зайти къ Эвиной, къ ея немалому удивленію.

— А у тебя все еще голова болитъ? — спросилъ Бавинъ.

— Нѣтъ... но... со мной вчера была непріятность.

— Непріятность!—удивился Бавинъ.—Что̀ такое?

Елатомскій подробно разсказалъ ему вчерашнюю сцену на бульварѣ—и Бавинъ едва ли не впервые изъ устъ его услыхалъ имя Зои и отца ея—Меркулича.

Бавинъ сперва задумался, потомъ, сдвинувъ брови и расширивъ ноздри, устремилъ взглядъ свой прямо въ глаза своему пріятелю...

— Ну, что̀ же ты теперь намѣренъ дѣлать?..

— Я долженъ буду съ нимъ драться и уже написалъ ему вызовъ. Иначе, какъ дуэлью, это не можетъ кончится. Надѣюсь, другъ Адріанъ, ты не откажешься быть моимъ секундантомъ.

Бавинъ еще пристальнѣе поглядѣлъ ему въ глаза, какъ-бы сомнѣваясь, въ здравомъ ли умѣ этотъ Елатомскій.

— Ты же виноватъ,—и ты же хочешь убивать...

— Я знаю, что я виноватъ, но я не угрожалъ ему Сибирью и при всѣхъ не грозилъ ему пальцемъ. Онъ

вскочилъ, какъ бѣшеный, и принялся вотъ такъ грозить мнѣ...

Елатомскій всталъ со стула, поднялъ свой указательный палецъ и, потрясая имъ, изобразилъ сцену, какъ Хавазовъ осмѣлился грозить ему... Елатомскій въ эту минуту былъ въ такомъ возбужденномъ состояніи, что весь дрожалъ и голосъ его прерывался.

Но это нисколько не повліяло на Бавина.

— Все это не что иное,—началъ онъ разсуждать,— какъ результатъ твоей распущенности. Кто просилъ тебя сходиться съ этимъ народомъ? Если ты со всѣми знакомъ, всѣхъ знаешь, и всѣ тебя знаютъ,—значитъ, и неси на себѣ ярмо ихъ мнѣній, страстей и пороковъ. Хавазовъ,—я его знаю: онъ иначе и не могъ поступить съ тобой. Ты укололъ его въ самое чувствительное мѣсто. Что значишь ты для всѣхъ этихъ Меркуличей, Швабровъ, Хавазовыхъ?.. Ничего ты для нихъ не значишь. Зачѣмъ же ты лѣзешь къ нимъ? Я говорилъ тебѣ... учись, занимайся... думай, пиши, или иди и работай, если работа есть, но ты предпочелъ разсѣявать хандру свою, — ну, вотъ... это вчерашнее твое приключеніе... развѣ это не разсѣяніе? Ты говорилъ мнѣ: для того, чтобы жить, — нужно изучать жизнь. Ну, вотъ тебѣ и урокъ! Живя съ волками, ты и вой по-волчьи... а я-то что? зачѣмъ же я-то буду вмѣстѣ съ тобой по-волчьи выть...

Нельзя сказать, чтобъ эта рѣчь не подѣйствовала на Елатомскаго, отрезвляющимъ образомъ, но онъ все-таки проговорилъ:

— Ты отказываешься. Я найду себѣ другого.

— А я тебѣ говорю, — ухватясь за рукавъ Елатомскаго, продолжалъ Бавинъ, — я тебѣ говорю, что эта дуэль — безсмыслица, непростительная глупость. Изъ-за чего ты принесешь жизнь свою въ жертву?

— Изъ-за того, что честь мнѣ дороже жизни.

*

— А ты развѣ не оскорбилъ честь его? Ну, и жди, пока онъ тебя не вызоветъ. Мечта твоя объ освожденіи крестьянъ—для него хуже смерти. Понятно, отчего онъ взбѣсился, а ты, — развѣ ты слышалъ отъ него, что взятка — вещь хорошая, или что онъ мечтаетъ о томъ, чтобы нажиться взятками... Какое же ты имѣлъ право бездоказательно дурно говорить о немъ?..

— Я сказалъ вслухъ только то, что̀ всѣ говорятъ.

— А кто эти всѣ? — пигмеи, въ родѣ Меркуличей. Да имъ, можетъ быть, завидно, что Хавазову взятки даютъ, а имъ никто не даетъ,—вотъ они и кричатъ. Да ужъ если быть послѣдовательнымъ, такъ прежде всего виноватъ этотъ твой Меркуличъ. Г-мъ! Зачѣмъ онъ, не спросясь твоего согласія, вздумалъ о тебѣ хлопотать... его и вызывай. А, можетъ быть, ты при немъ какъ-нибудь и высказалъ желаніе получить какое-нибудь мѣстечко,—ну, вотъ онъ и захотѣлъ доброе дѣло сдѣлать. Во всякомъ случаѣ, онъ—главный виновникъ этой исторіи. Нѣтъ... все это... глупости! я тебѣ говорю — глупости! Ступай къ сестрѣ Нинѣ и спроси ее, что̀ она тебѣ скажетъ?..

Елатомскій сокрушенно поникъ головой: для него было ясно, что секунданта нѣтъ, что послать записки не съ кѣмъ, медлить не слѣдуетъ.

Онъ ушелъ къ себѣ въ комнату и, ка̀къ былъ, не раздѣваясь, прилегъ на свою измятую, еще не прибранную постель.

Черезъ часъ зашелъ къ нему Бавинъ и засталъ его спящимъ. Елатомскій спалъ, какъ убитый, или какъ набѣгавшійся ребенокъ. На блѣдномъ лицѣ его выступила краска, лобъ былъ покрытъ каплями пота, вокругъ головы его кружились мухи—какъ надъ лакомымъ блюдомъ.

Бавинъ, не безъ нѣкотораго умиленія, поглядѣлъ на

него и, взявши шляпу, отправился узнать о здоровьѣ Эвиной.

X.

Часа въ три пополудни Елатомскій испуганно раскрылъ глаза... и увидѣлъ, что возлѣ него стоитъ какая-то плотная сѣрая масса, и мелькаетъ что-то въ родѣ золотой цѣпи и перламутровыхъ пуговицъ.

Эта сѣрая масса былъ не кто иной, какъ Иванъ Ивановичъ Сашинъ. Около десяти минутъ стоялъ онъ у кровати, даже успѣлъ прочесть письмо съ надписью: «Его превосходительству З. Н. Хавазову», — даже подумалъ, что̀ въ этомъ письмѣ Елатомскій проситъ Хавазова извинить его и мысленно былъ радъ, что Елатомскій, ничуть не лучше какъ и всѣ. Вчера былъ пьянъ, немного нагрубилъ, а сегодня выспался, струсилъ и извиняется.

«Какъ же я разбужу его?» думалъ Сашинъ. Наконецъ, фуляровымъ платкомъ смахнулъ муху съ лица спящаго соперника и разбудилъ его.

— Это вы? — очнувшись и мигая глазами, спросилъ Елатомскій, спустилъ съ кровати отекшія въ узкихъ сапогахъ ноги и провелъ рукою по волосамъ своимъ.

— Это я.

— Вы отъ кого? отъ Хавазова?

— Нѣтъ, я такъ зашелъ къ вамъ.

— Ни разу у меня не были и вдругъ удостоили заглянуть... Спасибо! Чему приписать такое лестное для меня вниманіе?

— А почемъ вы знаете?—Я, можетъ быть, зашелъ къ вамъ для того, чтобы на дуэль васъ вызвать,— храбро проговорилъ Сашинъ, досадуя, что Елатомскій ему не обрадовался и даже не подалъ руки.

— Ну, очень радъ. Это вы за Хавазова?

— Нѣтъ... это я за самого себя... не за Хавазова.

— Хорошо. Напрасно только вы не прислали мнѣ своего секунданта, а сами изволили побезпокоиться.

Елатомскій, должно быть съ просонья, не шутя, за чистую монету принялъ слова Сашина и такимъ серьезнымъ тономъ отвѣчалъ ему, что Сашинъ измѣнился въ лицѣ и уставилъ на него глаза свои...

— Я не за Хавазова...—уже тяжело дыша, началъ Сашинъ: — я даже очень радъ, что вы его вчера такъ отдѣлали. Я не ожидалъ отъ васъ. Вы на сто саженей выросли въ глазахъ моихъ... вы — молодецъ... и если я когда-нибудь вызову васъ на дуэль...

— Какъ когда-нибудь?—Вы теперь меня вызываете?

— Я это дѣлаю просто для эмоціи, ради того, чтобъ испытать какую-нибудь эмоцію. Чѣмъ чортъ не шутитъ! Если вы меня подстрѣлите, ибо цѣлить въ такую просторную цѣль (одна нога моя толще вашей таліи),—цѣлить въ такую цѣль, согласитесь, Елатомскій, совѣстно... а я не допускаю мысли, что вы такъ безсовѣстны: я думаю, что вы или ваша пуля только задѣнетъ меня за руку или за ногу и я — похудѣю. А если я какъ-нибудь убью васъ нечаянно, захочу выстрѣлить въ сторону и попаду въ васъ,—то ужъ навѣрное похудѣю отъ угрызеній совѣсти. Такъ съ гигіенической точки зрѣнія такая эмоція для меня дѣло подходящее.

Елатомскій уже по голосу Сашина догадался, что онъ струсилъ и отшучивался.

— Уже это ваше дѣло—съ какой точки зрѣнія: мое дѣло принять вашъ вызовъ, и я его принимаю... Есть у васъ пистолеты? Если нѣтъ, я сегодня же ихъ достану... и какъ вы думаете? За дачей Ланжерона или въ Ботаническомъ саду?.. У меня же кстати и секундантъ готовъ.

— Секундантъ? Оставьте его при себѣ, пожалуйста,—

тяжело дыша и вытирая потный лобъ свой, проговорилъ Сашинъ... Что̀ вамъ за охота шутить? Да и что̀ это будетъ за дуэль? Меня—кондрашка хватитъ, прежде чѣмъ вы успѣете выстрѣлить. Нѣтъ, ужъ это вы оставьте, Владиміръ Григорьевичъ. Терпѣть не могу никакого кровопролитія! ненавижу...

— Да, помилуйте, вѣдь вы же меня вызвали?—проговорилъ Елатомскій, у котораго сквозь досаду и ожесточеніе уже пробивалась наружу веселая сторона его характера. Онъ всячески старался не захохотать, но губы его невольно растянулись въ улыбку, и каріе глаза заискрились.

— Да мало ли что?—сталъ оправдываться Сашинъ...— Нашла на меня храбрая минута, а вы уже и рады... Ну, сами посудите, за что̀ я стану вызывать?.. За что̀?!.. Вѣрите ли, до вчерашняго вечера я ненавидѣлъ васъ... презиралъ,—думалъ, что вы говорите одно... поступаете иначе. И вѣрите ли, что я со вчерашняго вечера обожаю васъ... удивляюсь вамъ... завидую... Сколько разъ хотѣлось мнѣ этому Хавазову дать щелчокъ по носу... этакую какую-нибудь дерзость сказать ему, — и никакъ... никакимъ способомъ! Дайте же мнѣ вашу руку. Вы по части дерзости превзошли меня. Я уважаю васъ.

— Хорошо, — вотъ вамъ моя рука. Только сдѣлайте мнѣ одолженіе, отнесите вы вотъ это письмецо къ Хавазову.

— А что̀ вы ему тутъ написали? Извиняетесь... или...

— Можетъ быть, извиняюсь.

«Никогда я ему не прощу, если онъ извиняется», про себя подумалъ Сашинъ.

— А вы не скажете мнѣ содержаніе письма?

— Это вамъ самъ Хавазовъ скажетъ, даже непремѣнно покажетъ вамъ мое письмо.

— Хорошо... я ему его снесу... И ужъ это не мое

пойти въ секунданты. Хавазовъ-же, если не извинится, непремѣнно, пришлетъ къ нему какого-нибудь господина—сообщить ему часъ и мѣсто, ибо Хавазову поступить иначе нѣтъ уже никакой возможности.

Мысль, что не ныньче, завтра онъ можетъ отправиться на тотъ свѣтъ, легкой дрожью прошла у него по спинѣ и отозвалась нѣкоторой слабостью въ ногахъ и, такъ сказать, легкой потягóтой...

«Все это оттого, что я ночь не спалъ», утѣшалъ себя Елатомскій.

— Что вы ныньче такъ поздно?—спросилъ его Аксенъ, когда, умывшись въ кухнѣ, молодой баринъ полотенцемъ вытиралъ себѣ лицо.—Пора обѣдать, а вы... только-что за умываніе...

— Поздно легъ,—нехотя отвѣчалъ Елатомскій.

— Чай, опять *къ ней* собираетесь?

— Къ кому: къ ней?

— Ну, да ужъ извѣстно къ кому, — къ этой Нинѣ Александровнѣ.

— Ты ее за что не любишь? Она любитъ русскій народъ, желаетъ всѣмъ свободы и всякаго добра, а ты ее не любишь!

— Знаемъ мы, чтó она любитъ!.. А не слыхали вы, баринъ, никакъ она къ намъ въ деревню собирается?

— Не слыхалъ... Можетъ быть!..—разсѣянно отвѣчалъ Еламомскій.

Черезъ часъ, онъ уже былъ въ Пале-Роялѣ—сборномъ мѣстѣ всѣхъ холостяковъ передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ. Хотя онъ и зналъ, что Хавазовъ обѣдаетъ въ гостинницѣ, но, не желая до дуэли встрѣчаться съ нимъ, зорко поглядывалъ во всѣ стороны.

У Карруты въ кондитерской, онъ засталъ поляка, Зыбку, съ французской газетой въ рукахъ, которую тотъ читалъ, сгорбившись, низко опустивъ вооруженные очками

глаза и слегка приподнявъ верхнюю губу, изъ-за которой виднѣлся кончикъ оскалившагося зуба.

Новости изъ Франціи до такой степени занимали его, что онъ и не замѣтилъ, какъ вошелъ Елатомскій.

Другой изъ числа посѣтителей былъ графъ Гиккель,— въ томъ же самомъ коротенькомъ сюртучкѣ, изъ англійской лоснящейся парусины, въ той же соломенной шляпѣ шляпѣ и съ хлыстикомъ. Онъ, сидя на диванѣ, поднялъ брови и, съ выраженіемъ особеннаго любопытства, поглядѣлъ на Елатомскаго.

— M-r Зыбко! Извините... — сказалъ Елатомскій:— что́ вы читаете?.. Могу я обезпокоить васъ... на пару словъ...

Зыбко, какъ-бы спохватясь, пожалъ ему руку, разогнулся и, не выпуская изъ рукъ, газеты отошелъ съ нимъ къ окну...

...— Это не въ нашихъ правилахъ,—слегка поблѣднѣвъ, сказалъ ему Зыбко, выслушавъ его разсказъ...— Мы вамъ сочувствуемъ, но это не въ нашихъ правилахъ... увеличивать собою количество ссыльныхъ... Каждый изъ насъ бережетъ... обязанъ беречь себя...

— Такъ вы отказываетесь? — проговорилъ взволнованный Елатомскій.

— Да... отказываюсь,—рѣшительно сказалъ Зыбко,— и не изъ трусости... нѣтъ!..

— Я понимаю васъ... Но что же мнѣ дѣлать? «Эхъ! Токаревъ уѣхалъ въ Тифлисъ»... — подумалъ про себя Елатомскій, вспомнивъ, что этотъ москвичъ, какъ истый романтикъ своего времени, на каждомъ шагу дѣлалъ невѣроятныя вещи и на все былъ готовъ ради друзей и пріятелей.

Графъ Гиккель, вытянувши ноги, въ маленькихъ щегольскихъ полуботинкахъ съ стальными пряжками, все время слѣдилъ глазами за выраженіемъ лицъ обоихъ моло-

дыхъ людей и, несомнѣнно, уловилъ два-три слова изъ ихъ разговора...

Когда Елатомскій, закуривъ сигару, вышелъ, онъ тоже закурилъ сигару и вышелъ вслѣдъ за нимъ, на широкій тротуаръ, подъ холстяной навѣсъ кондитерской.

Елатомскій оглянулся и увидѣлъ привѣтливо улыбающееся, цыгански-смуглое лицо графа, осѣненное полями соломенной шляпы.

— Извините меня,—началъ графъ... Вы о чемъ-то просили этого господина въ синихъ очкахъ, и онъ отказалъ вамъ... Не могу ли я... быть въ чемъ-нибудь полезенъ вамъ?

— Извините меня, я не имѣю чести васъ знать...

— Ну, такъ познакомимтесь. Имѣю честь рекомендоваться: графъ Гиккель...

— А я—Елатомскій!—протягивая руку, проговорилъ Елатомскій.

«Этотъ на Токарева смахиваетъ», подумалъ онъ: «такой же смуглый, худой и черноглазый и такимъ же смотритъ отчаяннымъ джентльменомъ... Попробую-ка я пригласить его... Не согласится,—ну, и чортъ съ нимъ! а, можетъ, быть и согласится...»

— У меня есть просьба очень щекотливая, и для перваго знакомства съ вами, мнѣ не хотѣлось бы...

— Какая просьба?.. Можетъ быть... вамъ нуженъ... секундантъ?..—лукаво прищуря глаза и весело усмѣхаясь, процѣдилъ, сквозь зубы, курчавый графъ.

— Именно... да... Но почемъ вы знаете?

— Я слышалъ, на бульварѣ у васъ была съ кѣмъ-то какая-то непріятность. Да?..

— Такъ неужели вы согласны?—воскликнулъ Елатомскій.

— Мнѣ не совсѣмъ удобно,—сказалъ графъ,—но я согласенъ... Съ одной стороны—неудобно, съ другой—

полезно... Неудобно, потому что полиція взяла съ меня подписку о невыѣздѣ изъ города, и есть такіе люди, которые, какъ за дикимъ звѣремъ, слѣдятъ за мной. Удобно, потому что если меня вышлютъ изъ Одессы, то чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.

Елатомскій не совсѣмъ его понялъ.

— Если такъ, — сказалъ онъ,—то благодарю васъ... Гдѣ вы живете? Позвольте мнѣ зайти къ вамъ и подумать... что́ и какъ... здѣсь мѣсто въ высшей степени неудобное.

— Пожалуй, зайдемте ко мнѣ, но хоть я и графъ, знайте, что у меня помѣщеніе вовсе не графское... Я живу, какъ бѣдный студентъ... и, какъ птица небесная, питаюсь, чѣмъ Богъ пошлетъ...

— Значитъ, вы моего поля ягода,—отвѣтилъ ему Елатомскій.

«Ну, не совсѣмъ»,—подумалъ про себя графъ—великосвѣтскій левъ своего времени.

XII.

Трофимъ Евлампіевичъ, когда встрѣтился съ Сашинымъ и узналъ отъ него исторію Хавазова съ Елатомскимъ, ни слова не сказалъ Сашину, но былъ озадаченъ. «Ишь вѣдь, какъ можно влопаться!» думалъ онъ: «не спросясь броду не суйся въ воду... И чортъ знаетъ изъ-за чего я хлопоталъ! А что онъ не признается въ томъ, что Зоя носъ ему наклеила — ну, и чортъ его возьми, пусть не признается!

Затѣмъ, на аукціонѣ, совершенно случайно, чуть не даромъ, пріобрѣлъ онъ кое-какія вещи, преимущественно мебель для строющагося у него на дворѣ флигеля, куда онъ хотѣлъ перебраться на жительство, съ тѣмъ, чтобы домикъ свой отдавать въ наймы, ибо предчувствовалъ

повышеніе квартирныхъ цѣнъ, по милости увеличивающагося одесскаго народонаселенія.

Вернувшись домой къ обѣду, онъ былъ въ нормальномъ настроеніи духа, т. е. не ворчалъ на жену, не величалъ ее дурой, не кричалъ на дочерей и не грозился пустить семью свою по міру, ибо, всякій разъ, когда онъ очень злился, то клялся и божился, что все продастъ, все промотаетъ, уѣдетъ, всѣхъ пошлетъ къ чорту или оставитъ семью свою безъ копѣйки денегъ. Это, конечно, не мѣшало ему на другой же день, облекшись въ халатъ, предаваться нѣгѣ и мирному отдохновенію въ нѣдрахъ семьи, даже казаться добродушнымъ и нѣжнымъ папенькой.

Итакъ, вернувшись домой, Меркуличъ, какъ-бы совершенно забылъ о новости, слышанной имъ отъ Сашина: слишкомъ ужъ былъ поглощенъ онъ своими дѣлами, слишкомъ ужъ былъ радъ, что на аукціонъ не явились его враги—евреи-скупщики. А не явились они потому, что, въ то же самое утро, былъ другой аукціонъ: на биржѣ продавали вещи, захваченныя таможней, да товары, отнятые у контрабандистовъ усердіемъ кордонной стражи,—товары, количество и достоинство которыхъ уже напередъ было оцѣнено торговцами-евреями.

Меркуличъ сѣлъ за столъ и кушалъ съ аппетитомъ. Бараній бокъ съ кашей въ особенности раздразнилъ его, и онъ, огладывая ребрышко (зубами, которымъ бы позавидовалъ любой петербургскій золотушный юноша), что-то сначала промычалъ, потомъ сказалъ, не то вслухъ, не то себѣ подъ носъ!—«а этотъ шутъ гороховой, Елатомскій, преглупо повелъ себя; Зоя хорошо сдѣлала, что наклеила ему носъ».

Зоя дрогнула, поблѣднѣла и потупилась.

Вѣра Георгіевна подняла свои маленькія бровки такъ высоко, что весь ея низенькій лобъ покрылся ровными складками, а въ черныхъ глазахъ промелькнулъ тотъ

блескъ, который появляется иногда, въ ожиданіи молніи, грома или страшнаго налета бури, при слабомъ мерцаніи оконъ въ потемнѣвшихъ комнатахъ.

И какъ Трофимъ Евлампіевичъ ни слова не сказалъ Сашину, такъ и онѣ ни единымъ звукомъ не отозвались на мимолетное замѣчаніе Трофима Евлампіевича.

То, что̀ пробурчалъ онъ себѣ подъ-носъ, могло обратиться въ нѣкій громъ, и—онѣ боялись... Такъ, съ недоумѣвающимъ чувствомъ страха, и встали онѣ изъ-за стола...

Папенька пошелъ спать. Юлинька сняла съ него сапоги (видно была ея очередь). Люлинька повисла на шею Вѣры Георгіевны и шепелявила: «мамася! дай намъ мелмеладу... у тебя въ шкапчикѣ есть мелмеладъ и олѣхи и финики»... Зоя пошла въ дѣтскую за свои ширмы, сѣла на кровать и стала думать... съ тѣмъ же пугливымъ блескомъ въ глазахъ, который за обѣдомъ промелькнулъ въ глазахъ ея матери...

Страшная тоска легла ей на сердце. До самаго поздняго вечера, она мѣста не находила себѣ въ отцовскомъ домѣ, не могла ни читать, ни работать...

— Какія это глупости могъ надѣлать Елатомскій?— И то воображалось ей, что онъ сошелся съ какой-нибудь актрисой, то лишнее выпилъ и заснулъ въ гостяхъ, то попалъ въ вертепъ картежниковъ и проигралъ всѣ свои деньги... Богъ знаетъ, что̀ приходило ей въ голову... Она была увѣрена, что ея папенька, также, какъ и маменька, чуть не влюбленъ въ Елатомскаго, и вдругъ говоритъ, что онъ очень радъ, что она ему отказала! Давно ли онъ бранилъ ее, именно за то, что она отказала!.. Что же это такое? Господи! что это?!..

Пришелъ вечеръ, потемнѣло на дворѣ, подали самоваръ и свѣчи. Трофимъ Евлампіевичъ, напившись чаю, тотчасъ же ушелъ въ свой кабинетъ работать...

Зоя выбѣжала на дворъ, и долго не сводила глазъ съ того окна, за которымъ, при свѣтѣ лампы, круглилась темная, съ плѣшью голова ея родителя, обрисовывались брови, носъ и его указательный палецъ, каждое движеніе котораго сопровождалось то щелканьемъ костяшекъ, нанизанныхъ на мѣдныя проволоки счетъ, то неслышнымъ ей поскрипываніемъ пера, уткнутаго въ большую приходо-расходную книгу.

Ничего, ровно ничего не пояснилъ ей образъ ея родителя. «Можно-ли, думала она, такъ перемѣниться къ человѣку, осудить друга дома и быть такимъ спокойнымъ, писать какіе-то счеты!»

И вотъ, Зоя, безъ всякой опредѣленной мысли, подошла къ воротамъ, отодвинула засовъ и вышла на улицу.

Будь у ней крылья, полетѣла бы она по всѣмъ улицамъ, заглянула бы въ каждый переулокъ, въ каждую кондитерскую, въ каждый ресторанъ, въ каждое окно, лишь бы только узнать, что дѣлаетъ Елатомскій, лишь бы хоть мелькомъ увидѣть его...

Мѣсяцъ серпомъ стоялъ на темномъ небѣ, воздухъ не двигался; не шевелился сосѣдній, одинокій тополь, тускло горѣли фонари; у перекрестка, стуча колесами, двигались экипажи, слышались шаги, приближающіеся, удаляющіеся, медленные, торопливые... и опять все было тихо; только собаки лаяли, да высоко, сквозь пыльную мглу, мигали, какъ бисеръ, звѣзды.

Зоя присѣла у калитки на скамеечку и погрузилась въ думы, не замѣчая времени.

Вдругъ, показалось ей, на противоположной сторонѣ улицы прошла тѣнь мужчины: точно Елатомскій, — его ростъ, его шляпа. Вотъ онъ замедлилъ шаги, остановился; поглядѣлъ въ ихъ темныя окна, съ раскрытыми на ночь ставнями; постоялъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, дошелъ до половины улицы... Вотъ онъ, показалось ей,

увидѣлъ и не узналъ ее,—спрятавшуюся въ тѣнь глухой калитки, и, вдругъ, поворотивъ назадъ, сталъ удаляться, постепенно исчезая въ сумракѣ.

Замерло сердце Зои... Ей хотѣлось вскрикнуть: Елатомскій! вы ли это? Но и голосъ замеръ... Что̀, если папа услышитъ и выбѣжитъ! Что̀, если это не онъ?!..

О! это, непремѣнно, онъ! И Зоя, какъ маленькая дѣвочка, побѣжала вдоль тротуара, одними только носками прикасаясь къ камнямъ, — побѣжала за нимъ, въ ту же сторону; но тѣнь Елатомскаго исчезла. Зоя или не успѣла догнать его, или это ей просто мерещилось...

— Зоя! это ты?—послышался изъ темнаго корридора сдержанный окликъ Вѣры Георгіевны, когда та вбѣжала въ переднюю и на крючокъ заперла за собою дверь въ темныя сѣни.

— Я, мама.

— Гдѣ ты была?

— За воротами.

— Отчего ты вся дрожишь?

— Онъ, мама, сейчасъ, проходилъ по улицѣ и глядѣлъ къ намъ въ окна. Я его узнала, а онъ не узналъ меня... не узналъ и... убѣжалъ... Я хотѣла позвать его, и... и не могла. Ахъ, какъ тяжело, какъ тяжело любить! Какое это ужасное мученіе!

— Зоя, успокойся!..

— Ничего папа̀ не сказалъ... какія такія глупости?

— Да видно нѐчего и сказать, такъ, сбрендилъ... Будь что-нибудь, небось, не сталъ бы молчать!.. Но прощай, спи, Богъ съ тобою!

И мать въ темномъ корридорчикѣ перекрестила Зою, поцѣловала ее и, шлепая туфлями, исчезла за скрипучей дверью, въ лампадномъ свѣтѣ своей спальни.

Мать вела себя не лучше любой сантиментальной, молоденькой дѣвушки: также волновалась, приходила въ

испугъ и смятеніе и отъ всей души сочувствовала страсти, загорѣвшейся въ груди ея старшей, любимой дочери...

На другой же день, около 4-хъ часовъ пополудни, подъ кровлей Меркуличей раздался негодующій, бранчливо-скрипучій голосъ почтеннаго Трофима Евлампіевича.

Войдя въ гостиную, съ притворенными отъ солнца ставнями, гдѣ сидѣла его жена и слушала, какъ Зоя читаетъ русскую книгу, Меркуличъ сбросилъ съ себя сюртукъ и началъ:

— Ну ужъ, матушка... Чортъ его побери, этого вашего Елатомскаго! Чтобъ ему ни дна, ни покрышки! Мороженую собаку ему въ зубы!..

— Что̀ такое, Троша, душа моя!

— Дуракъ... дурачина... изъ дураковъ дуракъ!.. Отъ васъ же узналъ я, что ищетъ онъ себѣ мѣста, ну, и пошелъ я къ Хавазову за него попросить. Его превосходительство принялъ меня очень ласково... и чѣмъ же мнѣ отплатилъ этотъ молокососъ, вашъ Елатомскій?!. Я, говоритъ, скорѣй буду баклуши бить, чѣмъ пойду служить у васъ подъ начальствомъ, потому что вы, говоритъ, и такіе, и этакіе... подлецы, говоритъ... взяточники, казнокрады... и, чортъ знаетъ, чего, какихъ дерзостей не наплелъ! И кому же? Хавазову! который того и гляди что выскочитъ въ директоры генералъ-губернаторской канцеляріи... Какъ это вамъ нравится, уменъ онъ послѣ этого? А?... Уменъ, я васъ спрашиваю? — Вмѣсто того, чтобы поблагодарить меня, — я же за него кланялся... просилъ. И что же? Вралемъ меня назвалъ! Ну, не бестія ли онъ послѣ этого! не каналья-ли?

И, стащивъ съ себя галстукъ, еще громче продолжалъ Трофимъ Евлампіевичъ.

— Мало этого... никогда, говоритъ, я за Зою Меркуличъ не сватался, никогда, говоритъ, она мнѣ не отка-

зывала и, если эти слухи распустилъ Трофимъ Евлампіевичъ, то онъ вретъ!

Зоя крѣпко ухватилась за спинку креселъ, чтобъ не упасть въ обморокъ, но отецъ, въ однихъ брюкахъ, сталъ ходить по гостиной и кричалъ, не обращая на нее вниманія.

— И опять, значитъ, я враль! Чортъ его побери!.. Свинья онъ этакій! И чѣмъ вы думаете это кончилось? Сошелся онъ съ графомъ Гиккелемъ, съ тѣмъ самымъ промотавшимся графчикомъ, котораго, не позже первыхъ чиселъ августа, за долги, я же посажу въ тюрьму, въ долговое отдѣленіе, и послалъ его къ Хавазову. Какъ вы думаете, зачѣмъ? Ну, какъ вы думаете? Вызвать его на дуэль... Это сегодня утромъ... на дуэль!. Не успѣлъ Хавазовъ глазъ продрать... на дуэль! Разумѣется, его превосходительство, выслушавъ графа, показалъ ему на дверь и даже не сталъ съ нимъ разговаривать... Еще бы! Такъ вотъ онъ на какія фортели сталъ пускаться,— вашъ-то Елатомскій!– А я-то принималъ его... я-то думалъ!.. Ахъ, ты канальство этакое!.. какимъ умникомъ прикинулся!.. думалъ, звѣзды съ неба хватаетъ... Знаетъ, гдѣ раки зимуютъ! и что же!.. Да я... я пускать его къ себѣ не велю!.. да и вы... строго я вамъ запрещаю принимать его!..

— Папа... я дала ему слово,—тихо пролепетала Зоя, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Какъ! Ты... А какъ ты смѣла?..

— Да вы бранили меня, зачѣмъ я ему отказала, вы меня бранили...

И Зоя залилась такими истерическими слезами, что мать бросилась поддержать ее, а Трофимъ Евлампіевичъ остановился въ недоумѣніи, съ открытымъ ртомъ, откинувъ назадъ голову и выпятивъ животъ.

Что всякая дѣвчонка строитъ глазки и любитъ раз-

ныя шуры-муры, что за каждой изъ нихъ нужно присматривать—это онъ зналъ; но, что Зоя влюблена, это ни разу еще не пришло ему въ голову. Онъ былъ слишкомъ практиченъ для такихъ наблюденій, въ первый разъ онъ это подумалъ, и пришелъ въ недоумѣніе...

— Ужъ ты не влюблена ли въ него? А?—спросилъ онъ дочь свою тономъ ниже.

— Я виновата, я во всемъ виновата,—рыдая и ломая руки, проговорила Зоя.—Бейте меня, браните, выгоните вонъ меня... я виновата!..

— Никто не будетъ бить тебя... никто, Зоя! Что ты! Что съ тобою!—лепетала растерявшаяся мать, ухаживая за дочерью.

Въ это время, изъ дверей спальной, показались головки Юлиньки и Люлиньки. Увидѣвъ рыдающую Зою, онѣ ей высунули языки и засмѣялись.

— Пошли вонъ! — притопнувъ ногой, крикнулъ на нихъ Трофимъ Евлампіевичъ и, сурово поглядѣвъ на жену свою, ушелъ къ себѣ въ комнату.

— Что же обѣдать! — сказалъ онъ черезъ полчаса, полурастворивъ дверь въ сумрачную, отъ закрытыхъ ставенъ, гостиную.—Слезы слезами, а обѣдъ обѣдомъ. Я и самъ не радъ, что вашъ Елатомскій дуракъ; я самъ не радъ, а плакать не стану... Ей-Богу! Ну... оставь ее, жена... Пускай себѣ хнычетъ... Такая же видно дура! Какъ будто даннаго слова нельзя и назадъ воротить. Слова—не деньги, что за церемонія!

XIII.

А надъ Елатомскимъ стряслась такая бѣда, которой никто и ожидать не могъ, которой даже самъ Трофимъ Евлампіевичъ не могъ бы ему предсказать.

Не дождавшись съ вечера отвѣта отъ Захара Нико-

лаевича Хавазова, онъ предположилъ, что Сашинъ, изъ трусливой подлости, не передалъ ему его записки, и въ 11-мъ часу ночи пошелъ къ графу Гиккелю, не засталъ его дома, и оставилъ ему записку, совершенно ненужную, послѣ разговора ихъ, — записку, въ которой значилось:

«Будьте такъ добры, графъ, отъ Х., завтра утромъ, пріѣзжайте прямо ко мнѣ, буду ждать васъ... съ нетерпѣніемъ».

Ночью, вернувшись домой, онъ писалъ коротенькія письма и заключилъ ихъ длиннымъ письмомъ на Кавказъ къ Уютину, которому онъ описывалъ свое столкновеніе съ Хавазовымъ, и, на случай смерти, прощался съ нимъ. «Каждый человѣкъ, — писалъ онъ, — видя передъ собой бѣду неминучую, становится фаталистомъ, такъ и я. Нуженъ я еще для чего-нибудь въ экономіи природы или въ жизни человѣческой,—буду цѣлъ, здравъ и невредимъ; не нуженъ — судьба меня вычеркнетъ изъ списка и хорошо сдѣлаетъ... Увы! сдается мнѣ, что я ни для чего не нуженъ. Будь я нуженъ для теперешняго строя русской жизни, или хоть для приплода, я бы иначе велъ себя. Итакъ, если пуля уложитъ меня спать вѣчнымъ сномъ, не брани меня! Вѣдь ты не станешь же бранить дерево за то, что вѣтеръ его повалитъ... да и вѣтра ты бранить не станешь—«*что дѣйствительно—то разумно*», по философіи Гегеля, а Гегель... это солнце; только орлы и могутъ на него глядѣть, а я бы, непремѣнно, ослѣпъ, если бы вздумалъ упирать въ него свои слабыя очи»... и т. д.

Всѣми этими разсужденіями Елатомскій думалъ себя совершенно успокоить, но... не все спокойно было у него на душѣ... Жаль было жизни... досадно было портить свою молодость.—По временамъ, слова Бавина отзывались въ ушахъ его: «глупости! глупости! все это глупости!»

Но если Хавазовъ не глупъ, кто мѣшаетъ ему написать и прислать свое извиненіе.

«Я самъ,—продолжалъ онъ думать,—ничуть не кровожаденъ. Но... что же мнѣ слѣдуетъ дѣлать? Неужели позволить всякому болвану пальцемъ грозиться мнѣ! Если онъ не глупъ, пусть извиняется!»

Хавазовъ, дѣйствительно, былъ не глупъ. Когда, на другое утро, явился къ нему графъ Гиккель, въ качествѣ секунданта, онъ сказалъ ему: «дайте еще подумать, пріѣзжайте черезъ часъ, я буду дома».

Графъ пришелъ къ нему черезъ часъ, но ему сказали:—барина дома нѣтъ!

— Ну, такъ я буду ожидать его,—сказалъ графъ.

— И не дождетесь, — сказалъ ему камердинеръ. — Уѣхали и пріѣдутъ не скоро, развѣ къ ночи...

А Хавазовъ, захвативъ съ собой записку, полученную имъ отъ Сашина, поѣхалъ къ генералъ-губернатору и предъявивъ ее, сказалъ:

— Считаете ли вы возможнымъ, ваше высокопревосходительство, чтобъ всякій недоучившійся молокососъ имѣлъ право вызвать на дуэль лицо, состоящее на службѣ и въ такомъ чинѣ, что такіе вызовы могутъ только компрометировать!

— А! я распоряжусь! — сказалъ генералъ-губернаторъ, знаменитый въ то время, Павелъ Ивановичъ Ѳедоровъ.

Скажу о немъ нѣсколько словъ.

Представьте себѣ человѣка—высокаго, широкоплечаго, остриженнаго по-солдатски и съ манерами, далеко не свѣтскими это былъ совершенный контрастъ графу Воронцову, котораго аристократическое достоинство нисколько не страдало отъ его утонченной вѣжливости, или отъ того, что его сіятельную руку не разъ пожимала рука бѣднаго колониста, ремесленника или татарина.

Когда кто-то упрекнулъ графа Воронцова за его покровительство бѣглымъ крѣпостнымъ людямъ и за ихъ распущенность, онъ сказалъ: «мое дѣло заселить пустынный и обширный край, мнѣ нужны рабочія руки; водворять же между ними порядокъ, это дѣло будущаго».

Можетъ быть, не слово въ слово привелъ я этотъ отвѣтъ, но смыслъ его былъ именно таковъ.

Генералъ-губернаторъ Ѳедоровъ, въ отсутствіе графа, повидимому, вовсе не сталъ дожидаться этого будущаго и тотчасъ же весь край взялъ въ ежевыя руки. Затрепетали жиды-контрабандисты, затрепетали губернскіе и уѣздные лихоимцы, притихли бѣглецы, стали трусить воры, душегубцы и фальшивые монетчики.

Ѳедоровъ, какъ снѣгъ на голову, иногда вдругъ, неожиданно, являлся то въ уѣздный судъ, то въ пожарную часть, то въ острогъ, то наѣзжалъ на исправника, то ловилъ станового, и, безъ всякаго снисхожденія, каралъ малѣйшее злоупотребленіе или упущеніе.

Разсказываютъ, что когда исправники получали отъ него бумагу: поймать или изловить такого-то (бродягу или разбойника), только тогда и начинали дышать свободнѣе, когда въ подписи Ѳедорова не находили какого-то, имъ однимъ извѣстнаго условнаго знака, какой-то черточки или закорючки, такъ какъ эта черточка или закорючка въ переводѣ означала слѣдующее: «если ты, такой-сякой, въ самый кратчайшій срокъ, да не исполнишь моего предписанія, то, берегись! Я тебя, голубчикъ, въ бараній рогъ согну».

Одинъ изъ приближенныхъ графа М. С. Воронцова мастерски-картинно, разсказывалъ, какъ, однажды, во время поѣздки графа по краю, въ какомъ-то мѣстечкѣ, евреи встрѣтили его у своей синагоги, какъ пророка, съ длинными свѣчами, и какъ эти свѣчи спокойно и торжественно горѣли; но едва только въ свитѣ графа уви-

дѣли они загорѣлое лицо Ѳедорова, фигуры ихъ вытянулись, руки стали лихорадочно трястись и свѣтильники стали подплясывать.

Несомнѣнно, что Ѳедоровъ о Елатомскомъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, и, какъ человѣкъ, вышедшій изъ простого званія, не имѣлъ утонченнаго понятія о дворянской чести, иначе сказать, на дуэль смотрѣлъ только съ дѣловой точки зрѣнія, а въ дуэлистахъ видѣлъ не болѣе, какъ нарушителей порядка, причиняющихъ немало всяческихъ хлопотъ, какъ людямъ, такъ и администраціи.

— Хорошо,—сказалъ онъ Хавазову,—будьте спокойны, я распоряжусь.

Хавазовъ уѣхалъ на службу и, говорятъ, все утро ни на кого не ворчалъ, молча подписывалъ бумаги, не хохоталъ и не ругался...

А одесскій полицмейстеръ, — еще молодой человѣкъ, съ небольшимъ лѣтъ тридцати и уже полковникъ, франтъ, любезникъ и волокита,—въ то же утро получилъ приказъ арестовать дѣйствительнаго студента Елатомскаго за вызовъ на дуэль дѣйствительнаго статскаго совѣтника Хавазова, посадить его на гауптвахту и внушить, ему что, если онъ не оставитъ своего намѣренія, то будетъ высланъ изъ края немедленно.

«Чортъ возьми! — подумалъ полицмейстеръ, моргнувъ и глазами и усомъ,—какая глупѣйшая исторія!..»

Давно-ли, дня три-четыре тому назадъ, на бульварѣ онъ подсаживался къ Елатомскому, къ этому милѣйшему малому, отъ котораго сама графиня III—ель была въ восторгѣ, и сообщалъ ему, какъ новость, что въ Одессу прибыла изъ Тріеста удивительная красавица, родомъ изъ Бухареста, воспитанная въ Питерѣ и жена какого-то итальянскаго банкира, старика лѣтъ 60-ти, что этотъ банкиръ далъ ей полную волю жуировать, и что, стало быть, не грѣхъ за ней пріударить.

Онъ готовъ былъ на амикошонство сойтись съ Елатомскимъ и вдругъ—долженъ арестовать его.

Дѣлать было нечего, съ Ѳедоровымъ шутить нельзя.

Около двухъ часовъ пополудни того-же дня у Елатомскаго въ комнатѣ, на томъ же стулѣ, на которомъ сидѣлъ наканунѣ Сашинъ,—сидѣлъ теперь графъ Гиккель.

Онъ давно уже передалъ Елатомскому о своихъ неудачныхъ визитахъ къ Хавазову. Оба они курили и, весело остря, смѣялись.

У Елатомскаго отлегло отъ сердца. Онъ сдѣлалъ свое дѣло: вызвалъ за дерзкое съ нимъ обращеніе и былъ очень радъ, что дуэли не будетъ. Онъ даже мысленно торжествовалъ: Хавазовъ оказался трусомъ, и одесская интеллигенція этого не проститъ ему... Одно было ему досадно,—письмо его въ Тифлисъ уже съ утра отнесено было Аксеномъ на почту... Если-бъ было возможно, Елатомскій воротилъ бы его, и написалъ бы другое, безъ предчувствій и разсужденій о своей ненужности.

Бавинъ, который все время, молча, слѣдилъ за Елатомскимъ, и догадывался, что онъ затѣваетъ, что-то недоброе, въ первый разъ, послѣ разговора о дуэли, издали, услыхалъ смѣхъ и голосъ своего сожителя. Смѣхъ этотъ для него былъ добрымъ вѣстникомъ: «Эге!» подумалъ онъ: «видно трагедіи-то не будетъ!»

Съ длиннымъ чубукомъ, онъ вышелъ изъ своего одиночнаго заключенія, прошелъ въ комнату къ Елатомскому, сухо отрекомендовался гостю, и снисходительно, молча, сталъ слушать ихъ разговоры.

— О, да,—сказалъ графъ — l'amour c'est une folie, mais c'est une jolie folie.

«Что на это скажетъ Елатомскій?» — подумалъ про себя Бавинъ. Но Елатомскій ничего не сказалъ,—только засмѣялся.

— Да, есть люди,—сказалъ Бавинъ,—для которыхъ вся жизнь, по мнѣнію Лермонтова,—пустая и жалкая шутка! Для кого она пуста, тому и простительно наполнять ее всякими любовными шутками...

— А вы были влюблены? — спросилъ графъ, точно выстрѣлилъ, и насмѣшливыми, цыганскими глазами, снизу вверхъ, поглядѣлъ на Бавина.

Бавинъ сконфузился,—онъ не ожидалъ такого вопроса.

— Нѣтъ... не былъ,—проскрипѣлъ онъ, нахмурившись.

— Ну, такъ вы и не знаете, что это за штука, какая это милая и измѣнчивая игра фантазіи... У меня ея много... этой фантазіи, и я бы удавился, если бы у меня ея не было...

Богъ знаетъ, чѣмъ бы окончилось это начавшееся между ними препирательство, если бы, вдругъ, въ сосѣдней комнатѣ, не послышалось бряцанье шпоръ и сабли, заглушаемое неистовымъ лаемъ Карая...

На порогѣ появилось румяное, съ лоснящимися глазами и усами, лицо полицмейстера...

— Здѣсь г-нъ Елатомскій?

— А! здравствуйте... какими судьбами?

— Я за вами. Уфъ!—усталъ. Думалъ, что не застану васъ. Здравствуйте, графъ, ваше сіятельство!

— Куда же вы хотите везти меня?—не безъ удивленія спросилъ Елатомскій.

— Ужъ и не спрашивайте!—махнувъ рукой—отвѣчалъ полицмейстеръ. — Дайте чего-нибудь покурить! — цѣлое утро затянуться не успѣлъ... — проклятая должность!

Аксёнъ принесъ чубукъ, картузъ съ табакомъ и свѣчку.

— Благодарю... Собирайтесь, милѣйшій Елатомскій,— время дорого.

Елатомскаго что-то кольнуло подъ самое сердце. Глаза всѣхъ обратились на незванаго гостя, туго перетянутаго шарфомъ, затянувшагося и, съ легкимъ шумомъ, пускающаго длинную струю табачнаго дыма изъ молодцоватой груди своей.

— Что дѣлать!—пожавъ золотыми плечами, сказалъ полицмейстеръ.—Мнѣ велѣно васъ арестовать и отвезти на гауптвахту. Вотъ, полюбуйтесь-ка, какое я получилъ сейчасъ предписаніе...

Елатомскій прочелъ бумагу и передалъ ее Бавину...

— Такъ этотъ подлецъ ѣздилъ жаловаться на меня къ генералъ-губернатору! — Ну, что̀ дѣлать — по̀ѣдемте. Эй, Аксёнъ, собери мнѣ...

...Надѣюсь, вы позволите мнѣ взять хоть подушку...

— Это вы все получите: пришлете какого-нибудь солдата, и напишите, что̀ вамъ будетъ нужно, не въ острогъ же я везу васъ, въ самомъ дѣлѣ!.. Да и законъ не запрещаетъ...

— А меня вы арестуете?—спросилъ графъ.

— Васъ?—нѣтъ.

— Слѣдуетъ вамъ и меня арестовать—я въ секунданты напрашивался...

— «*Вамъ!*»—да развѣ это я? Какое мнѣ дѣло! Да у насъ, въ гвардіи, я самъ не разъ былъ свидѣтелемъ... Дуэль — дѣло самое обыкновенное. Тутъ не я, а вотъ эта бумажонка.—Читали?

— А на-долго? — спросилъ Елатомскій, съ помутившимся лицомъ, кусая губы, и, въ то же время, стараясь быть какъ можно равнодушнѣе.

— Увѣренъ, что не на-долго... — Увѣренъ! Ну, дней пять-шесть посидите... — не велика бѣда!.. Я же самъ поѣду къ Ѳедорову, и буду хлопотать за васъ. Поѣдемте!..

— А если я отъ васъ убѣгу?

Полицмейстеръ удивился, вытаращилъ глаза и захохоталъ.

— А если убѣжите?.. — Ѳедоровъ шутить не любитъ.

— Какой Ѳедоровъ?

— Генералъ-губернаторъ. — Неужели вы и этого не знаете, милѣйшій вы человѣкъ!..

— Ахъ, да! — слышалъ. — Ну, прощай, Адріанъ! — Жаль, если ты уѣдешь. Впрочемъ, кланяйся Нинѣ.

— Эвиной? — подсказалъ полицмейстеръ, какъ-бы въ доказательство, что онъ все и всѣхъ знаетъ въ Одессѣ.

— До свиданія, графъ...—Благодарю васъ за рискъ. Удержите на всякій случай для меня ту комнату, которую мы съ вами видѣли... А что, monsieur le colonel, могутъ они до этой гауптвахты проводить меня?

— Да вѣдь это близехонько—на Соборной площади,— сказалъ полицмейстеръ.—У меня же дрожки, я живо довезу васъ.

Такимъ образомъ, онъ утѣшалъ Елатомскаго, который крѣпко, раза три поцѣловался съ Бавинымъ, взялъ свою шляпу, захватилъ со стола, первую попавшуюся ему подъ-руку книгу, засунулъ въ карманъ пачку сигаръ, пощупалъ, съ нимъ ли носовой платокъ, и блѣдный—вышелъ изъ комнаты, рядомъ съ полковническими эполетами.

За воротами ждала ихъ легонькая пролетка, запряженная парою ухорскихъ лошадей въ пристяжку и съ кучеромъ на козлахъ, который тоже, выпуча глаза, глядѣлъ русскимъ ухаремъ.

XIV.

Была уже ночь. Хавазовъ въ клубѣ игралъ въ преферансъ. Сашинъ на этотъ разъ измѣнилъ ему...—его не было ни за карточнымъ столомъ, ни въ газетной. Два, три человѣка военныхъ (отправляющихся въ Тифлисъ), прохаживались по комнатамъ, и, не находя себѣ партнеровъ или не желая проигрываться, скучали въ ожиданіи ужина. Нѣкто Ильинъ, знаменитый въ то время разсказчикъ, ходячее собраніе всевозможныхъ исторій и смѣшныхъ анекдотовъ (тотъ самый Ильинъ, котораго присутствіе до такой степени было необходимо для процвѣтанія одесскаго клуба, что клубъ, въ стѣнахъ своихъ, отвелъ ему даровую квартиру, такъ какъ человѣкъ онъ былъ бѣдный, нигдѣ не служилъ и пользовался всеобщимъ расположеніемъ) былъ тоже не въ ударѣ и, засѣвши въ уголокъ, въ неизмѣнномъ холстиномъ сюртукѣ и шароварахъ, разговаривалъ въ полголоса съ княземъ Г—, будущимъ кутаисскимъ губернаторомъ, не предчувствуя, что онъ, будущій кутаисскій гость его, погибнетъ у него въ кабинетѣ вмѣстѣ съ нимъ отъ кинжала разсвирѣпѣвшаго осетинскаго князя.

— Правда ли,—спросилъ этотъ Ильинъ, подходя къ играющему въ карты Хавазову,—правда ли, что Елатомскій на гауптвахтѣ за то, что вызывалъ васъ на дуэль?

— А почемъ я знаю!—красный, какъ красная мѣдь,—отвѣчалъ Хавазовъ... — А что этотъ молокососъ нагрубилъ мнѣ и меня же вызвалъ... это правда. Тоже—секунданта прислалъ! Какъ же! Да я... я его спровадилъ, друга любезнаго... Всякій недоросль, всякій дуракъ будетъ изъ фанфаронства вызывать... а я буду такой дуракъ, что ради его буду подставлять ему свою голову или портить свою жизнь! Какъ же, держи карманъ!

— А вы на него жаловались?—спросилъ Ильинъ, облизываясь, заложа руку за пазуху и глядя на него съ боку своими свѣтлосѣрыми, немного оплывшими глазками.

— Пасъ!... пробормоталъ Хавазовъ, разбирая на ружахъ карты.

— Я куплю...—отозвался одинъ изъ игравшихъ.

— Дошла эта исторія до Ѳедорова... онъ и того... и распорядился... и хорошо сдѣлалъ. Это не то, что вашъ графъ Михаилъ Семеновичъ... баловства не любитъ... Знаю, знаю, вы готовы заступаться! знаю...—продолжая играть, ворчалъ Хавазовъ.—Сами вы... небось... того... Ну, да что̀ съ вами говорить!..—А вы съ чего это пошли?—обратился онъ, вдругъ, къ своему партнеру...—Какъ же вамъ не грѣхъ! Игра какъ на ладони, а вы... Чортъ знаетъ, что это такое!.. Съ вами играть нельзя! Какую игру погубили!.. Почему вы не пошли съ трефъ?!. Что̀, мы лапти, что-ли, плетемъ? Это не игра... это чортъ знаетъ что!

Въ это время Сашинъ, пользуясь темнотою душной ночи, прохаживался мимо дома Меркулича, и, увидавши что-то бѣлѣющееся въ раскрытомъ окнѣ гостиной, подошелъ къ нему.

Бѣлѣющееся пятно въ окнѣ отскочило въ глубь комнаты и стушевалось.

— Это у васъ резеда на окнѣ? Слышу, такъ хорошо, сладко пахнетъ, я и остановился,—проговорилъ Сашинъ, стоя на улицѣ.

Бѣлѣющееся пятно услыхало знакомый голосъ и опять выступило изъ мрака.

— Это вы, Иванъ Ивановичъ?

«А! я зналъ, что это Зоя!.. Остальные спятъ, она не спитъ... я... я зналъ...»—подумалъ про себя Сашинъ.

— Что̀ же это вы не спите, Зоя Трофимовна?

— А вы что не спите?

— Я все хожу, да все думаю о нашемъ другѣ, Елатомскомъ.

— Развѣ вы его другъ? — Что̀ же вы о немъ думаете?

— Я сожалѣю о немъ. Жизни не знаетъ... не понимаетъ людей, думаетъ, что можно лбомъ стѣну прошибить. Я говорилъ ему... я говорилъ... будьте осторожны! Ну, вотъ, и... допрыгался.

— Да что съ нимъ такое?

— А вы не знаете?

— Не знаю...

— Подъ арестомъ, въ тюрьмѣ сидитъ.

Зоя помолчала.

— Не правда...—произнесла она шопотомъ.

— Я такъ слышалъ... въ тюрьмѣ сидитъ.

— На гауптвахтѣ, а не въ тюрьмѣ...

— Ну, вотъ, вы лучше меня знаете... Оттого и не спите.

Зоя уже сидѣла, рядомъ съ резедой, на подоконникѣ, и Сашинъ видѣлъ уже не пятно, а дѣвушку въ шемизеткѣ, съ коротенькими рукавчиками и въ юбкѣ, дѣвушку съ глазами, которые чернѣлись и какъ-бы расплывались въ темнотѣ, слабо озаренной фонаремъ съ противоположной стороны улицы.

— А скоро его оттуда выпустятъ?

— Если похлопотать, то скоро. Хотите, я похлопочу.

— Развѣ вы умѣете... хлопотать?

— Я хоть и «морское чучело», а все-таки человѣкъ... захочу хлопотать, такъ ужъ все пущу въ ходъ... все, барынямъ ручки стану цѣловать, самого Хавазова уговорю, пристыжу, усовѣщу...

— Хорошо, похлопочите, милый Иванъ Ивановичъ.

— Ага! «милый!» А что вы мнѣ за это... чѣмъ вы меня за это наградите?

— Я не знаю чѣмъ... Чѣмъ же я могу вознаградить васъ—чѣмъ?!—уже съ увлеченіемъ проговорила Зоя...

— И я не знаю.

— Ну, я за это при немъ поцѣлую васъ.

— При немъ!—съ горечью повторилъ Сашинъ.—Вы все еще думаете, что онъ на васъ женится.

— Нѣтъ, я этого не думаю.

— Что же вы думаете?

— Я ничего не думаю.

— Нѣтъ... я... я хлопотать за него не стану... нѣтъ!.. Еще чего добраго, надѣлаетъ онъ дѣлъ... Сумасшедшихъ держать надо на привязи...

— Что же онъ можетъ надѣлать?

— Что?..—а возьметъ пистолетъ, да и выстрѣлитъ.

— Въ кого?

— Въ меня,—въ Хавазова, въ вашего папашу. Почемъ я знаю.

— Ну... въ васъ онъ не выстрѣлитъ...—какъ-бы сомнѣваясь въ словахъ его, медленно проговорила Зоя.

Сашину вообразилось, что въ словахъ Зои таится самая ядовитая насмѣшка, или такое презрѣніе, какого еще никто, съ тѣхъ поръ, какъ на свѣтѣ живетъ онъ, не смѣлъ выражать ему. «Гм!» подумалъ онъ,—я такое ничтожество, по ея мнѣнію, что даже не зачѣмъ и стрѣлять въ меня! Я никому не помѣшаю—я не могу быть ни опаснымъ соперникомъ, ни врагомъ—словомъ, ничтожество... въ полномъ смыслѣ слова!.. и... не только досада—злость на Зою шевельнулась въ душѣ его...

А Зоя просто думала, что Сашинъ боится за свою жизнь, и хотѣла его успокоить. Не до того ей было, чтобы шутить или ядовито острить надъ Сашинымъ.

— Ну, прощайте,—сказалъ Сашинъ, — если будетъ возможно, похлопочу, чтобъ Елатомскаго изъ Одессы выслали. Я его ненавижу... и ненавижу оттого, что вы... съ тѣхъ поръ, какъ онъ пріѣхалъ, стали презирать меня. Прощайте!

И, медленно повернувшись, онъ удалился отъ окна и исчезъ во мракѣ.

Зоя закрыла окно, прилегла на диванъ и слезы... о! эти слезы!—капля за каплей, неудержимо потекли по щекамъ ея. Она похудѣла. Мысль, что своей ложью довела она Елатомскаго до такого раздраженія, что онъ «вралемъ» назвалъ отца ея и вызвалъ на дуэль Хавазова, день и ночь не давала ей покою... «О! если бы только могла я за него пострадать, съ какою бы радостью за него я мучилась... чего бы не вынесла!»

А Сашинъ медленными шагами дотащился до своей квартиры.

Затѣмъ, всю ночь, лампочка подъ зеленымъ абажуромъ горѣла въ его комнатѣ, съ развѣшанными по стѣнамъ литографированными и раскрашенными нимфами, и освѣщала тускло-зеленоватымъ свѣтомъ грузное туловище Сашина. Онъ лежалъ не на постели, а насвоемъ широкомъ канапе, на которомъ нерѣдко проводилъ онъ цѣлыя ночи, особливо лѣтомъ. Передъ нимъ стоялъ низенькій столикъ, съ откупоренною бутылкой дорогого рейнвейна; темно-зеленый, точно черный, стаканчикъ, какъ-бы завязнувши въ мягкой рукѣ его, то опускался, то медленно приподнимался къ его маленькому припухшему ротику; если бы не этотъ стаканчикъ, трудно было бы, издали, и отличить, гдѣ у него голова, гдѣ грудь, гдѣ шея. Лежалъ онъ въ одной канаусовой желтаго цвѣта рубашкѣ, и только голыя ноги его были прикрыты плэдомъ. Завѣшанныя пестрыми гардинами окна были отворены настежъ, и такъ какъ Сашинъ жилъ въ нижнемъ

этажѣ, то всякій воръ могъ бы весьма легко съ улицы перелѣзть къ нему въ комнату, но онъ не думалъ о ворахъ, онъ думалъ объ Елатомскомъ, которому завидовалъ; о Хавазовѣ, котораго мысленно осуждалъ и которому покорялся; о Зоѣ, которую любилъ, и о своемъ ничтожествѣ.

— Какъ я сегодня тонко выпыталъ у нея и признаніе въ любви къ этому счастливцу... и что̀ она обо мнѣ думаетъ...—Экое горе, что попалъ на гауптвахту! да я бы за такое горе тысячи рублей не пожалѣлъ. Еще героемъ бы прослылъ, заставилъ бы всѣхъ говорить о себѣ... Бываютъ же на свѣтѣ такіе счастливцы!

Зеленый стаканчикъ приподнялся и прикоснулся къ губамъ его.

Ему вспомнилось открытое окно, запахъ резеды и легкое, какъ дымка, очертаніе полураздѣтой дѣвушки. Онъ вспомнилъ ту злость, которая закипѣла въ душѣ его... и Сашинъ опять опустилъ свой стаканчикъ.

— Какая безплодная злость!.. Какое ей дѣло!

Ночной воздухъ покачнулъ гардины, онѣ надулись, зашуршали и слегка раздвинулись. На Сашина пахнуло предразсвѣтной ночною свѣжестью. Онъ вздохнулъ, ему показалось, что какой-то незримый духъ посѣтилъ его... Но опять все стало тихо, зеленовато-сумрачно и сонно... Онъ закрылъ глаза, опять поднялъ стаканчикъ, и губы его чмокнули, точно онъ поцѣловалъ воображаемую имъ красавицу.

Когда онъ допилъ до дна всю бутылку и задремалъ, ему причудилось, что кто-то треплетъ его и ласкаетъ. Точно струйки ручейка набѣгаютъ на него... Точно Зоя, въ видѣ русалки, опускаетъ надъ нимъ черные, какъ смоль, щекочущіе волосы... Зубы Зои сверкаютъ надъ нимъ ослѣпительной бѣлизной... голосокъ ея насмѣшливо говоритъ ему:—ну! вотъ и я!.. ну, что же? что же ты лежишь,

какъ чурбанъ!.. Не двигаешься, точно каменный! Эхъ, ты... чучело, чучело ты заморское!..

И тяжело ему — ни рукой, ни ногой не можетъ онъ двинуться.—Боже мой! кто это? Неужели это она?.. Зоя встала однимъ колѣномъ на грудь его, соскользнула и опять хохочетъ...

Какъ видно, бутылка стараго вина, прежде чѣмъ усыпить его, стала наполнять мучительную дремоту его безпрестанно измѣняющимся, соблазнительнымъ образомъ Зои. Наконецъ, пустой стаканчикъ выпалъ изъ руки его и послышался легкій храпъ.

Во снѣ Сашинъ былъ и тонокъ, и смѣлъ, и ловокъ. Безъ одышки взбѣгалъ онъ на какія-то высокія, мраморныя лѣстницы, чей-то черный, восточный глазъ все время любовно и робко слѣдилъ за нимъ, а онъ скакалъ верхомъ на бѣшенной лошади, вызвалъ кого-то на дуэль и убилъ своего соперника.

Лампочка его погасла и распространила чадъ на всю комнату. Заря заглянула въ окна.

Поздно проснулся Сашинъ. Долго, лежа, старался припомнить онъ, кого это убилъ онъ во снѣ и думалъ:

«Какъ я жилъ, какъ полна была жизнь моя, пока я грезилъ. О, противная, жалкая дѣйствительность! Пора одѣваться, плестись въ канцелярію и слушать длинные разсказы Хавазова о томъ, какая у него была вчера масть на рукахъ, какъ онъ ремизилъ, и какъ его ремизили».

XV.

Въ сороковыхъ годахъ, Одесса вмѣщала въ стѣнахъ своихъ около 60—70 тысячъ жителей. Верхній слой одесскаго общества, какъ масло на поверхности воды, былъ не особенно глубокъ и не особенно блестящъ, несмотря

на множество именъ съ преданіемъ и людей зажиточныхъ. Всѣ другъ друга знали и, несмотря на интриги и сплетни, рѣдко ссорились. Каждый другъ другу прощалъ грѣшки его, и никто другъ друга не уличалъ настолько, чтобы изъ-за этого выходилъ скандалъ на весь городъ. Ссора неоперившагося юноши съ такимъ пѣтухомъ, какимъ казался Хавазовъ, можетъ, быть потому и произвела нѣкоторый шумъ, что это былъ едва-ли не первый скандалъ впродолженіе всего лѣтняго сезона.

Масса проѣзжихъ,—ѣдущихъ, кто въ Крымъ, кто на соленыя озера, кто на Кавказъ, по слѣдамъ намѣстника, разумѣется, объ Елатомскомъ и о Хавазовѣ не имѣла ровно никакого понятія; но постоянное одесское общество (хотя и оно тоже по бо̀льшей части разъѣхалось) скучало, и, стало быть, ничего нѣтъ мудренаго, что за арестъ Елатомскаго оно ухватилось, какъ за развлеченіе: одни стали бранить, другіе хвалить его, и бранили не за то, за что̀ слѣдовало, и хвалили не за то, за что̀ слѣдовало.

Богъ знаетъ, почему многіе изъ числа людей, болѣе или менѣе отъ службы независимыхъ, воображали себѣ, что Елатомскій одинъ изъ молодыхъ людей, подающихъ надежды. Какія надежды? на какую такую должность или общественный трудъ въ будущемъ?—этого, конечно, никто изъ просвѣщенныхъ одесситовъ даже и не позаботился объяснить себѣ.

Одинъ Бавинъ думалъ, что онъ будетъ ученый труженикъ—и разочаровался. Только невѣжественный Меркуличъ полагалъ, что Елатомскій отлично пойдетъ по службѣ: получитъ, рано или поздно, хорошее содержаніе, и, по милости связей, будетъ кое-какія дѣлишки направлять вправо и влѣво, смотря по надобности,—и тоже разочаровался.

Напротивъ, тѣ, которые Богъ знаетъ что̀ воображали себѣ подъ словомъ «надежды», услыхавъ объ его вы-

зовѣ Хавазова и его арестѣ, еще пуще прежняго утвердились въ этихъ надеждахъ, туманныхъ и безотчетныхъ. Особенно тѣ, которые мысленно терпѣть не могли Хавазова, задѣтые рѣзкимъ языкомъ его, отнеслись къ Елатомскому съ большимъ сочувствіемъ.

Но то, чего не объяснили себѣ эти надѣющіеся и сочувствующіе, было вовсе не трудно объяснить.

Когда наступаетъ время или, что̀ одно и то же, подростаетъ племя, предчувствующее неизбѣжность тѣхъ или другихъ реформъ въ будущемъ; когда въ интеллигенціи (какова бы она ни была) просыпается сознаніе, что такъ дѣла идти не могутъ, что старый порядокъ идетъ не въ гору, а подъ гору, невольно взоры обращаются на тѣхъ молодыхъ людей, которые, иногда по неопытности или наивности, высказываютъ то, что̀ другіе таятъ про себя.

Елатомскій былъ именно однимъ изъ этихъ неопытныхъ и наивныхъ смѣльчаковъ. Почему, думалъ онъ, не говорить мнѣ противъ крѣпостного права, если оно претитъ мнѣ! Почему я долженъ хвалить то заскорузлое, рутинное чиновничество, которое, по-моему, утратило божій образъ, а стало быть и человѣческій! Почему я долженъ быть слѣпъ къ скандаламъ и безобразіямъ семейнаго быта, и проч. и проч.

Елатомскій не былъ краснорѣчивъ, подобно Эвиной, и не думалъ о томъ, чтобы пропагандировать свои убѣжденія; онъ даже не вполнѣ вѣрилъ ей, даже въ себѣ сомнѣвался. Но онъ былъ настолько искрененъ среди неискреннихъ, настолько наивенъ среди многоопытныхъ, и настолько свѣжъ среди увядающихъ, что, въ средѣ этихъ лицемѣрящихъ, трусливыхъ и малодушныхъ, производилъ самое пріятное впечатлѣніе, т. е. внушалъ такія же неопредѣленныя надежды, какъ неопредѣленны были его собственныя цѣли и стремленія.

Не даромъ Сашинъ, которому судьба отказала въ

возможности быть героемъ не только въ жизни, но и на страницахъ романа, и который, къ несчастію, былъ такъ уменъ, что не могъ не сознавать своего безсилія, глубоко, отъ всей души, завидовалъ и завидовалъ никому другому, какъ Елатомскому, одному изъ самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ, но съ такими качествами, которыя, несмотря на его безхарактерность и безденежье, придавали ему видъ человѣка, независимаго ни отъ какихъ Фабровъ, Ахлестышевыхъ, Хавазовыхъ, Росконаки и tutti quanti.

Ничего этого даже и не подозрѣвалъ самъ Елатомскій первые три дня, на гауптвахтѣ провелъ въ такой тоскѣ и отчаяніи, что похудѣлъ, позеленѣлъ даже. Онъ уже воображалъ себѣ, что для него все кончено, что онъ ошельмованъ и обезчещенъ насиліемъ; что просидитъ онъ не шесть дней, какъ увѣрялъ его полицмейстеръ, а шесть мѣсяцевъ; что когда его выпустятъ, онъ будетъ окончательно безъ всякихъ средствъ къ существованію; что отецъ махнетъ на него рукой, какъ на погибшаго сына, и что нигдѣ никакого мѣста, ни въ Одессѣ, ни на Кавказѣ, онъ уже не найдетъ себѣ. И въ обществѣ его совершенно забудутъ; даже Зоя въ это время успѣетъ выйти замужъ и, встрѣтившись съ нимъ, постарается не узнавать его. А Хавазовъ донесетъ на него за какія-то связи съ какими-то подозрительными лицами, и курьерская тройка умчитъ его туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

Комната, гдѣ его помѣстили, была довольно просторная, съ рѣшетчатымъ окномъ (обыкновенныхъ размѣровъ), выходившимъ въ переулокъ, но она показалась ему отвратительной. Онъ тотчасъ же сталъ курить, чтобъ избавиться отъ ея запаха, какого-то особеннаго запаха водки, тютюна и пареныхъ вѣниковъ.

Несмотря на то, что караульный офицеръ (который принялъ его подъ росписку) оказался говоруномъ и

добрымъ малымъ, тотчасъ же, съ наступленіемъ сумерокъ, послалъ унтера за его одѣяломъ, простыней и подушками, и затѣмъ, предложивъ ему закусить и выпить, весь вечеръ развлекалъ его разными разсказами изъ своей ранней молодости, ранней трактирной жизни и ранняго разврата, причемъ хохоталъ, хвастаясь своимъ удальствомъ, и... увѣрялъ Елатомскаго, что все трынъ-трава, но что не выручи его какой-то дядюшка коннозаводчикъ, быть бы ему подъ судомъ, за то что разъ въ Лебедяни, для того, чтобы поддержать свою репутацію въ обществѣ, проигралъ онъ казенныхъ денегъ три тысячи, и проч. и проч. Елатомскій былъ молчаливо унылъ, и, въ 8 часовъ вечера, жалуясь на головную боль, легъ спать на жесткій, въ двухъ мѣстахъ продавленный диванчикъ, и закрылъ одѣяломъ свою голову, чтобы не слышать разсказовъ добраго малаго.

А добрый малый, подходя къ нему, спрашивалъ:— Знаете вы пѣсню: «На зарѣ ты ее не буди?»

— Знаю,—изъ-подъ одѣяла отвѣчалъ Елатомскій.

— Я ее... ха-ха-ха! Я ее пересочинилъ по-своему:

На зарѣ ты ее разбуди,
На зарѣ не давай ты ей спать.
. . . . . .

— А знаете вы, какой богатый русскій языкъ?,. А?..

— Гм! да!—отвѣчалъ изъ-подъ одѣяла Елатомскій.

— Напримѣръ: чего, чего не выражаетъ собой слово «драть»? «Я деру», напримѣрь, значитъ: бѣгу... труса праздную — «деру» — раздираю... «деру» — «сѣку кого-нибудь на обѣ корки»... «деру»—скачу во всю Ивановскую... Ха-ха-ха! «Драло!» значитъ—валяй по всѣмъ по тремъ!.. Въ какомъ хочешь смыслѣ употребляй... Не правда-ли? Удивительное богатство языка!.. А у васъ очень голова болитъ? А выпили бы стаканчикъ сивухи,

и... все бы прошло... Ну, спите, съ Богомъ. Я не мѣшаю вамъ... А вы и въ картишки не играете?

— Нѣтъ.

— Ну, спите, спите... Эй, Андрей! Нельзя ли, братецъ, достать гдѣ соленыхъ огурчиковъ? А?..

«Ну, слава Богу, отсталъ!» думалъ про себя несчастный Елатомскій, сжимая виски, въ которыхъ стучала кровь.

Вдругъ, на соборной башнѣ ударило девять, трескъ и дробь барабаннаго боя заставили его привскочить и оглянуться...

Это били вечернюю зорю!

— Тьфу! точно надъ самымъ ухомъ... думалъ, голова треснула! — про себя пробормоталъ Елатомскій и перевернулъ подушку.

Затѣмъ, онъ слышалъ, какъ солдаты возвращались въ сѣни, стуча по доскамъ корридора, какъ брякнули ружья... и какъ караульный офицеръ воротился къ себѣ въ караульную, пить и ожидать соленыхъ огурцевъ.

Тревожно спалъ Елатомскій, то садился на диванъ и прислушивался къ солдатскому храпу, то проклиналъ клоповъ и день своего рожденія; но такой же точно рѣзкій барабанный бой на зарѣ, при восходѣ солнца, уже не испугалъ его...

На другой день, къ счастью его, пришла на смѣну другая рота, и вошелъ другой офицеръ, который только поглядѣлъ на него, покрутилъ усы, слегка поклонился, и вышелъ.

На третій день утромъ, посѣтили его Бавинъ и Эвина. Они принесли ему полфунта чаю и фунтъ колотаго сахару. Съ полчаса онъ съ ними бесѣдовалъ и, къ немалому ихъ изумленію, казался веселъ.

На четвертый день, тоже утромъ, по сосѣдству съ его комнатой, въ сѣняхъ, на деревянной скамьѣ, съ

растопыренными ножками, сѣкли какого-то провинившагося кантониста. Елатомскій замеръ, услышавъ, какъ хлестали розги и какъ кто-то охалъ и вскрикивалъ.

Вся кровь прилила къ лицу Елатомскаго. Онъ даже у себя въ деревнѣ ни разу не видалъ и не слыхалъ, какъ наказываютъ розгами... Отецъ его никогда въ его присутствіи не прибѣгалъ къ этимъ мѣрамъ; только разъ при немъ далъ въ зубы какому-то лохматому мужичонкѣ, за то, что тотъ нагрубилъ старостѣ и не пошелъ на барщину.

Когда офицеръ, находившійся при экзекуціи, съ задумчивымъ и почти унылымъ лицомъ, проходилъ черезъ комнату Елатомскаго, онъ не вытерпѣлъ и сказалъ: вотъ, если бы вы меня такъ наказали, я бы сдѣлался негодяемъ, пошелъ бы въ разбойники...

— И я бы тоже,—отвѣчалъ онъ сквозь зубы, и затѣмъ, молча, прошелъ въ свою караульную комнату.

Сильно весь этотъ день хандрилъ раздражительный Елатомскій. Онъ такъ и жаждалъ свободы, такъ и порывался... Какое счастье, думалъ онъ, выйти на улицу и подышать другимъ, не казарменнымъ воздухомъ!

Вечерняя заря,—не та, которую бьютъ барабаны,—а та золотая, небесная заря, которая предшествуетъ ночи, которую могучая фантазія древней Эллады воплотила въ младую, съ перстами пурпурными, Эосъ, мелькнула въ окнѣ, и заставила скучавшаго Елатомскаго присѣсть на подоконникѣ и, сквозь пыльныя стекла и желѣзныя полосы, глядѣть въ переулокъ, глядѣть на противоположную каменную стѣну, изъ-за которой торчало деревцо,—глядѣть на прохожихъ...

Переулокъ заволакивали сумерки. Стѣна темнѣла, прохожіе равнодушно проходили мимо.

Но вотъ, на тротуарѣ, около стѣны, появились двѣ женщины: онѣ остановились и стали смотрѣть въ окошко.

Елатомскій отскочилъ, сердце его сильно забилось: онъ узналъ Вѣру Георгіевну и дочь ея Зою... Обѣ онѣ показались ему такими худенькими, такими блѣдными...

Но изъ какого-то гордаго стыда ему не хотѣлось, чтобы онѣ его видѣли, чтобъ онъ показался имъ чѣмъ-то въ родѣ звѣря, посаженнаго въ клѣтку, чтобъ онѣ какъ-нибудь не вздумали жалѣть его... Онъ глядѣлъ на нихъ отступя настолько, что, сквозь пыльныя стекла, онѣ не могли разглядѣть его физіономіи... Онъ видѣлъ, какъ Зоя, не поднимая руки, таинственно показала на его окно своимъ пальчикомъ, какъ Вѣра Георгіевна сомнительно покачала головой, какъ онѣ оглянулись и ушли, по направленію къ Соборной площади.

«Нѣтъ!»—подумалъ Елатомскій, «онѣ не зайдутъ ко мнѣ... не рѣшатся; но я дорогъ имъ... они меня любятъ, и, кто знаетъ, можетъ быть, въ цѣломъ мірѣ никто меня такъ не любитъ...»

Не зналъ Елатомскій, что не солги Зоя, никто бы и не поздравлялъ его съ невѣстой, да еще съ деньгами. Не скажи она своей матери, что онъ ищетъ мѣсто, и что до тѣхъ поръ, пока не найдетъ его, на ней не женится, ея папенька не пошелъ бы хлопотать за него у Хавазова, и, стало быть, не было бы взаимной обиды, не было бы вызова, и не сидѣлъ бы онъ, какъ звѣрь. за рѣшеткой...

Но развѣ и онъ не заставилъ ее страдать тѣмъ, что вначалѣ увлекся ея красотой и, ради ея, познакомился съ Меркуличемъ.

XVI.

Хавазовъ и Сашинъ пришли въ гостинницу «London» обѣдать,—застали въ общей столовой человѣка три-четыре незнакомыхъ, сидящихъ передъ своими кувертами—

кто съ ножомъ и вилкой, кто съ зубочисткой и запоздалыми московскими газетами, и оба тотчасъ же замѣтили, что на диванѣ, головой къ растворенному балкону, спитъ какой-то грузный господинъ, широколицый, въ усахъ, въ шароварахъ и сюртукѣ на распашку, а подтяжки и часть бѣлья видны изъ-подъ приподнятаго жилета. Животъ большой, на одной рукѣ перстень...

Хавазовъ покосился и тотчасъ же вознегодовалъ.

— Здѣсь не кабакъ... какъ можно позволять себѣ спать въ комнатѣ гдѣ обѣдаютъ? Мало еще тутъ всякой вони!.. Эй! человѣкъ!.. Что у васъ сегодня?.. А это, что̀ еще за порядки! А!—спросилъ онъ кельнера и указалъ ему на спящаго.

— Пріѣзжій помѣщикъ—пообѣдалъ и заснулъ,—отвѣчала прислуга.

— Это тотъ самый помѣщикъ, что угощалъ насъ шампанскимъ — пріятель Эвиной, — сказалъ Сашинъ, — тотъ самый, у котораго Меркуличъ покупаетъ виноградники.

Дѣйствительно, это былъ Сызрановъ, сухимъ путемъ воротившійся изъ Крыма. Онъ заѣзжалъ въ Херсонъ справиться о формальностяхъ при совершеніи купчей крѣпости, и запоздалъ въ дорогѣ. Въ часъ пополудни, прибылъ онъ въ Одессу, послалъ за Меркуличемъ, пообѣдалъ, выпилъ бутылочку шампанскаго, прилегъ и заснулъ, продуваемый вѣтеркомъ съ балкона.

— Блаженны спящіе, которыхъ сны лучше, чѣмъ дѣйствительность,—проговорилъ Сашинъ.

— Дѣйствительность! Что такое дѣйствительность?—придрался къ нему Хавазовъ.—Какія ты все теперь длинныя, неуклюжія слова употребляешь: дѣй-ствительность, нашелъ словечко! Право, иной со стороны подумаетъ, что ты литераторъ.

— Очень было бы пріятно, если-бъ сочли меня за литератора.

— Человѣкъ! Сначала водки, да двѣ дюжины устрицъ подай мнѣ. Пошелъ, хлопочи, не два же часа ждать намъ...—Ну да-а! Какъ же!—обратился онъ къ Сашину, который усѣлся противъ него и снялъ съ прибора салфетку.—Какъ же! Вы вѣдь и Гоголю поклоняетесь. Знаю я васъ... А я такъ и читать-то не могу теперешнихъ вашихъ литераторовъ. Чортъ знаетъ что! Булгаринъ и тотъ былъ чище... Да вотъ еще баронъ Брамбеусъ, такъ себѣ: по крайней-мѣрѣ, сейчасъ видно, что образованный... Эй, человѣкъ, поди сюда! Накрой намъ въ другой комнатѣ. Я въ свиномъ хлѣвѣ не привыкъ обѣдать... Коли хочетъ спать, скотина, пусть въ свой нумеръ идетъ... Что за безобразіе!

Но въ эту минуту въ комнату вошелъ Меркуличъ. Поклонившись Хавазову, онъ тотчасъ же подошелъ къ Сызранову и по плечу потрепалъ его.

Сызрановъ раскрылъ свои коричневыя вѣки, выпучилъ на него глаза, и не то испуганно, не то сконфуженно, тотчасъ же, тряхнувъ животомъ, спустилъ свои ноги, сѣлъ и пообтянулъ съ боковъ жилетку.

— Фу! капальство! чуть-было не заснулъ!.. Ну ужъ эти херсонскія степи! Не будь онѣ въ недобрый часъ помянуты—измучили... Ну, какъ ваше здоровье?

— А я какъ пришелъ домой, такъ сейчасъ прочелъ вашу записку, и—къ вамъ въ нумеръ, а вы вотъ гдѣ?.. Ну-съ... хорошо, что я заглянулъ сюда. Милости просимъ, любезнѣйшій! поросеночекъ подъ хрѣномъ ожидаетъ васъ,—я какъ будто предчувствовалъ, что вы сегодня у меня обѣдать будете...

— Да я ужъ обѣдалъ!

— Обѣдали!.. Какъ же поросенокъ-то! Нѣтъ, ужъ мы

пойдемте; я вовсе не желаю, чтобы вы меня огорчали... Не отбояритесь... мой милый—не отбояритесь!

— Да еще рано... еще успѣю...—сказалъ Сызрановъ: —нельзя ли намъ пока выпить... ну, хоть бутылочку шампанскаго.

— Какое теперь шампанское?—угощу я васъ такой водочкой, что аппетитъ къ вамъ тотчасъ воротится, и хоть бы вы сто разъ обѣдали, захочется вамъ еще три обѣда съѣсть.

— Ха-ха-ха!—заржалъ Хавазовъ. — Отчего же вы, Трофимъ Евлампіевичъ, не хотите покупки вашей спрыснуть? Купили дешево, да еще скупитесь. Это не порядокъ! Вы намъ, по-крайней-мѣрѣ, дюжину должны поставить въ ледъ... Да-а! Это уже вы какъ хотите!

— Въ другое время... отчего не спрыснуть, но вѣдь я еще ничего не купилъ... далеко это дѣло еще не кончено, еще, можетъ быть, и откажусь... Кто знаетъ.

— Конечно, кромѣ васъ, знать этого не кому. Ну, а что вашъ другъ, Елатомскій? А? скоро свадьба?,. Я уже и мѣсто ему приготовилъ... Какъ же!.. Очень, говоритъ, благодаренъ я Трофиму Евлампіевичу... что похлопоталъ за меня. Пойду, говоритъ, и ручки у него за это поцѣлую...

— Что ему мои ручки, я просто ожидалъ, что онъ благодаренъ будетъ, а онъ оказался скотина неблагодарная, меня же конфузитъ...

— Да про кого вы это говорите?—забасилъ Сызрановъ, протирая глаза свои.—Если про Елатомскаго, то я слыхалъ о немъ... Фатоватъ, говорятъ, а ничего—съ сокомъ. Я знаю барынь, которымъ онъ очень по вкусу.

— Онъ и не барынямъ, онъ и Трофиму Евлампіевичу тоже по вкусу,.. приходилъ за него съ поклономъ... какъ же! Взятку хотѣлъ дать... Ха-ха!.. засмѣялся Хавазовъ.

— А нельзя-ли, господа, завтра намъ и его позвать сюда, да съ вами вмѣстѣ и пообѣдать,—простодушно проговорилъ Сызрановъ.

Меркуличъ захохоталъ, Сашинъ, съ умиленіемъ, поглядѣлъ на Сызранова. Хавазовъ, точно его блоха укусила, накинулся на Сашина.

— Ну-съ... вы ужъ этого вашего Елатомскаго и съ его благородіемъ познакомьте.—Извините,—обратился онъ къ Сызранову,—не имѣю чести знать вашего имени и отчества.

— Андрей Потаповичъ Сызрановъ,—сказалъ Сызрановъ, и, слегка привставъ, кивнулъ ему головой.

— Захаръ Николаевичъ Хавазовъ,—сказалъ Хавазовъ, тоже привсталъ, и, какъ-бы пародируя кивокъ Сызранова, тряхнулъ головой, но тотчасъ же опять обратился къ несчастному Сашину.

— Это вы... вы меня съ Елатомскимъ познакомили... этого я никогда вамъ не прощу! Чего усмѣхаетесь? — Елатомскій проповѣдуетъ, что мы должны крестьянъ освободить,—то, чего никогда не будетъ, да и быть не можетъ. — А вы — чиновникъ, состоящій на службѣ, съ этимъ негодяемъ не только сами знакомитесь, да еще и меня знакомите, еще и меня подъ отвѣтственность подводите. Что̀ простительно всякой мелюзгѣ, всякому верхогляду, всякому...

— Милостивый государь! — раздался рѣзкій голосъ, изъ другого угла комнаты, и, изъ-за столика, на которомъ стояла недопитая чашка кофе, поднялся какой-то молодой человѣкъ, худощавый, подслѣповатый, горбоносый, съ узенькими губами и длиннымъ подбородкомъ, на которомъ были еще какія-то красноватыя пятна, также какъ и на его правой щекѣ, не далеко отъ уха.—Знайте, что я товарищъ Елатомскаго, и не позволю вамъ, въ моемъ присутствіи, порицать его.

Всѣ обернулись на этотъ незнакомый голосъ. Сызрановъ разинулъ ротъ, подъ Сашинымъ затрещалъ стулъ, Хавазовъ сталъ красенъ, и гордо поглядѣлъ на этого новаго негодяя, осмѣлившагося возразить ему.

— А кто вы такой, милостивый государь?

— А если вамъ угодно знать мою фамилію, то позвольте мнѣ узнать вашъ адресъ...

— Зачѣмъ вамъ мой адресъ?

— Вотъ вамъ моя карточка. Остановился я въ 1-мъ нумерѣ этой гостинницы, и къ вашимъ услугамъ, если вамъ угодно будетъ поговорить со мной, а бранить Елатомскаго, въ моемъ присутствіи, я не позволю.

Хавазовъ прочелъ карточку, и поблѣднѣлъ: онъ прочелъ одну изъ очень въ то время извѣстныхъ фамилій. И догадался, что это или сынокъ, или племянничекъ одного изъ очень вліятельныхъ особъ.

— Такъ вы товарищъ Елатомскаго? — тономъ ниже спросилъ Хавазовъ.— Ну-съ, извините... если вы его товарищъ, мы, такъ и быть, помолчимъ до поры до времени. И, сказавъ это, Хавазовъ поспѣшилъ сѣсть за столъ и какъ-бы, съ явнымъ намѣреніемъ, прекратить эту непріятность, сталъ ѣсть. Чувствовалъ ли онъ въ эту минуту вкусъ того, что̀ жевалъ,—неизвѣстно.

Юный незнакомецъ, съ впалой грудью и длинными руками, тоже опустился на свой стулъ, допилъ чашку чернаго кофе, потомъ вытянулъ ноги, свѣсилъ голову, и, точно погрузился въ сонъ, — о чемъ-то задумался. Судя по всему, — это былъ одинъ изъ тѣхъ, которые, также, какъ и генералъ-губернаторъ Ѳедоровъ, шутить не любятъ.

Хавазову угрожала новая дуэль, отъ которой онъ врядъ-ли бы отдѣлался, не потерявши мѣста, а стало быть и не утративши всего своего значенія. Онъ былъ не глупъ, тотчасъ же сообразилъ опасность, и, не будучи

въ силахъ переждать этого новаго негодяя, спокойно усѣвшагося и какъ-будто застывшаго въ одной и той же задумчивой позѣ, Хавазовъ ушелъ вслѣдъ за Меркуличемъ и Сызрановымъ.

Остался Сашинъ. — Пересѣвъ па диванъ, онъ сталъ глядѣть на юнаго незнакомца, окатившаго такой холодной водой горячую желчь Хавазова.

«Да что же это онъ не двигается?» думалъ Сашинъ. Ишь ты, про себя, должно быть, говоритъ, улыбается... Что за человѣкъ!.. Нельзя ли заговорить, познакомиться?.. Не-е-возможно!.. Чувствую, что нѣтъ никакой человѣческой возможности. Вотъ онъ куда-то покосился... Какіе глаза! узенькіе, сѣрые, золотушные, даже какъ-будто и рѣсницъ нѣтъ... Поклянусь чѣмъ угодно, что онъ и забылъ даже о томъ, что сразилъ всю нашу честную компанію, даже и не думаетъ о насъ... Фа! какое я ничтожество!.. по три дня готовъ волноваться изъ-за пустяковъ, могу цѣлыя недѣли злиться, и хоть бы слово! Никто и не догадывается, что я злюсь... Ну, догадывается ли Хавазовъ, что я на него такъ золъ, что, будь у меня юпитеровскіе перуны, я бы трахъ!... на мѣстѣ бы поразилъ его!—А!.. Встаетъ наконецъ! распрямляется... кости свои вытягиваетъ. Человѣку на водку три рубля оставилъ на подносикѣ... Должно быть, богатъ... остановился въ первомъ нумерѣ.—Ну, слава Богу, ушелъ!..»

Въ тотъ же день вечеромъ Сашинъ до полуночи засидѣлся у Эвиной.—«Милый, добрый, Иванъ Ивановичъ! Вы отличный человѣкъ, Иванъ Ивановичъ! Подъ вашей оболочкой хорошая, очень хорошая душа спрятана», — говорила ему Эвина, и до того довела его, что онъ, дѣйствительно, выложилъ передъ ней всю свою хорошую душу: каялся въ зависти къ Елатомскому; разсказалъ ей утренній анекдотъ въ гостинницѣ, и, стуча себя въ грудь, ку-

лакомъ, говорилъ: «Ну, почему я,—пріятель вашего пріятеля, я не могъ заступиться? Почему онъ, а не я осмѣлился въ его защиту возвысить голосъ свой! Развѣ я не то же самое чувствовалъ? Развѣ я такой нравственный уродъ, что могу сочувствовать Хавазову? И что же? Эхъ! что говорить, Нина Александровна, я несчастное существо, я и васъ подозрѣвалъ въ связи съ Елатомскимъ, и смотрѣлъ на васъ съ самой пошлой точки зрѣнія... Вы мнѣ сегодня глаза раскрыли... Но я вовсе не хорошій! я никуда негодный комъ сала и больше ничего! Вотъ пойду домой и до утра буду пить... Ей-Богу!.. Эхъ, Нина Александровна, я цѣню ваше дружеское участіе... да вѣдь на одномъ-то участьи далеко не уѣдешь. Хорошо участіе, когда человѣкъ, дѣйствительно, заслужилъ его, а чѣмъ я его заслужилъ? только тѣмъ, что приплелъ къ вамъ, вмѣсто того, чтобъ засѣсть за зеленый столъ, да душу мою передъ вами обнажилъ... Ну, и что̀ же вы увидѣли въ ней новаго или занимательнаго для васъ, въ этой-то душѣ?!»

— Ничего новаго я въ ней не увидѣла, Иванъ Ивановичъ; но не все то хорошо, что̀ ново... вѣчное не можетъ быть ни старымъ, ни новымъ. Любовь не нова, какъ содержаніе, только форма ея мѣняется... Ваша любовь къ человѣчеству ищетъ себѣ новой формы и еще не нашла ее. Вотъ отчего вы и грустите, хорошій мой!

«Чортъ знаетъ, что̀ она такое говоритъ», думалъ Сашинъ, «а слушаешь, и какъ будто вѣришь ей, точно и въ самомъ дѣлѣ у меня въ душѣ есть какая-то любовь къ человѣчеству! Можетъ быть, и есть! Господь ее вѣдаетъ»...

— Ну, когда же вы уѣзжаете? И какъ вамъ не грѣхъ, Нина Александровна, покидать насъ...

— Я только жду Сызранова, мнѣ нужно съ нимъ переговорить о своихъ дѣлахъ.

— Сызранова!.. этого помѣщика съ мѣдными пята-

ками вмѣсто глазъ и съ усами отставного драгуна? Онъ здѣсь и остановился въ гостинницѣ «Лондонъ»... гдѣ, помните, подо мной подломился стулъ, и вы спасли меня отъ паденія.

— А, такъ онъ пріѣхалъ! Ну, Иванъ Ивановичъ, если намъ скоро суждено разстаться, и Елатомскаго еще не выпустятъ, пожалуйста, всѣми вашими силами хлопочите за него, бѣднаго. Поручаю я его вашему вниманію и вашей любви, если вы его любите; не дайте ему погибнуть!

— Ахъ, Нина Александровна,—отъ всѣхъ насъ гибель на волосокъ виситъ, стòитъ только сдѣлать шагъ куда-нибудь въ сторону, не по той линіи, ну, и провалишься. Со всѣхъ сторонъ прòпасть. Вы бы лучше посовѣтовали ему не дѣлать козлиныхъ прыжковъ... Мы всѣ должны произростать и плоды приносить, а онъ, чего добраго, захочетъ самостоятельнымъ звѣремъ быть... ну, и... попадется въ капканъ. Кто же будетъ виноватъ!..

Такъ бесѣдуя, Сашинъ досидѣлся у Нины Александровны до перваго часу пополуночи...

XVII.

Разнообразіе или измѣнчивость нравственнаго настроенія, такъ-сказать, разносторонность чувства, можетъ быть, и доказываетъ богатство души, но чѣмъ богаче душа, тѣмъ неуловимѣе цѣльность характера. Елатомскаго никто бы не любилъ и никто бы не ненавидѣлъ, и даже Сашинъ ему бы не завидовалъ, если бы у него не было ровно никакого характера.

На четвертый день своего ареста, Елатомскій, казалось, свыкся съ своимъ положеніемъ. По крайней мѣрѣ, онъ сѣлъ за работу... и не столько на свой арестъ, сколько на самого себя изливалъ свою желчь, или негодованіе...

Въ этотъ день, утромъ, получилъ онъ записку отъ Тр—цкаго, съ просьбой написать фельетонъ къ слѣдующему воскресному нумеру «Одесскаго Вѣстника».—«Разумѣется»—говорилось въ запискѣ, «за обычное съ нашей стороны вознагражденіе».

Елатомскій отвѣчалъ «постараюсь». Затѣмъ, съ дозволенія караульнаго офицера, послалъ вѣстового купить себѣ десть бумаги, и принялся за перо, придвинувъ къ окну столикъ, обитый клеенкой, съ явными слѣдами чайниковъ, стакановъ и чернильныхъ пятенъ, съ присохнувшими къ нимъ песчинками.

Елатомскій мастеръ былъ писать письма. Иногда, эти письма интересовали друзей его болѣе, чѣмъ онъ самъ; но всякій разъ, когда брался онъ за перо для печати или для публики, когда онъ принимался *сочинять*, слогъ его становился натянутымъ, языкъ безцвѣтнымъ, и чѣмъ больше старался онъ, чѣмъ больше зачеркивалъ слова, и сокращалъ фразы, тѣмъ болѣе сознавалъ, что все имъ написанное—весьма неудовлетворительно.

Явно, что литературнымъ талантомъ нашъ герой не обладалъ, и что на это поприще едва ли онъ могъ разсчитывать.

Въ однихъ брюкахъ и рубашкѣ, съ разстегнутымъ воротомъ сидѣлъ и макалъ онъ свое перо въ казенную, писарскую чернильницу.

Началъ писать онъ объ одесской пыли—и зачеркнулъ... Началъ писать о томъ, что въ Одессѣ на 70 т. жителей всего только двѣ книжныя лавки, что книгопродавцы порядочные невѣжды, и что для нихъ выписать новую книгу такъ же трудно, какъ «Левіаѳана на удѣ вытянуть на берегъ»,—и тоже зачеркнулъ. Наконецъ, подумалъ онъ, что̀ будетъ, если я такъ начну:

«Недавно, въ нашемъ богоспасаемомъ градѣ совершилось слѣдующее, не совсѣмъ обыкновенное приключеніе...

Одинъ поваръ—крѣпостной одного изъ нашихъ магнатовъ, встрѣтилъ на бульварѣ какого-то школьника, растерявшаго свои тетради и книги, а потому и находившагося въ мрачной меланхоліи, и сталъ приглашать его плюнуть на ученіе и поступить къ нему въ поварню, въ качествѣ поваренка. — А что, дяденька, сказалъ ему озадаченный школьникъ—что̀, если я выучюсь у васъ воровать крупу, муку, масло, сахаръ и разныя овощи, вы меня не высѣките?.. Поваръ взбѣленился (правда всегда глаза колетъ) и сталъ говорить школьнику, что если онъ такой дерзкій, смѣетъ говорить ему такія вещи, то онъ донесетъ на него и директору, и инспектору, и смотрителю училища, и что его, непремѣнно, изъ школы выгонятъ за пьянство, буянство и ночное шатаніе. Тогда школьникъ тоже взбѣленился и вызвалъ повара на дуэль».

«Кажется, это будетъ не дурно»,—подумалъ Елатомскій, но, когда перечелъ написанное, сообразилъ—во-первыхъ, что если никто не пойметъ этой аллегоріи, то къ чему писать ее; во-вторыхъ, если поймутъ, то, чего добраго, меня же станутъ обзывать школьникомъ; въ третьихъ—что за *поварня?*.. Не лучше ли сказать, просто-напросто «кухня». Это меня дѣдушка Крыловъ съ толку сбилъ,—продолжалъ думать Елатомскій: «какой-то поваръ грамотѣй съ поварни побѣжалъ своей». Въ четвертыхъ... да... все это надо переправить.

Но въ эту минуту кто-то подошелъ къ нему сзади и остановился за стуломъ. Елатомскій обернулся и, прежде чѣмъ досада (на самого себя) успѣла сойти съ лица его, увидѣлъ знакомое лицо...

Ничего не могло быть неожиданнѣе появленія этого знакомаго лица. Это былъ одинъ изъ его товарищей по университету — нѣкто Олафьевъ, окончившій курсъ кандидатомъ, и, добавлю, тотъ самый, который, не дальше какъ вчера, въ гостинницѣ, обѣдалъ съ Хавазовымъ и,

такъ неожиданно поразилъ его, своимъ заступничествомъ за Елатомскаго.

Олафьевъ родился въ Петербургѣ, наслѣдовалъ громадное состояніе и получилъ соотвѣтственное воспитаніе. Племянничекъ одного туза, чуть не министра, жилъ онъ въ отдѣльномъ флигелѣ, имѣлъ воспитателемъ нѣмца, гувернеромъ — француза, учителемъ — нѣкогда знаменитаго латиниста и педагога Классовскаго, и другихъ лучшихъ преподавателей.

Олафьевъ былъ сирота. Его дядя опекунъ двѣнадцати лѣтъ отдалъ его въ пажескій корпусъ, но, по совѣту врачей, хилый и золотушный, мальчикъ шестнадцати лѣтъ отправленъ былъ за-границу на воды.

Мальчикъ онъ былъ прилежный, но дикій, молчаливо подозрительный, не въ мѣру застѣнчивый и сосредоточенный. Трудно было чѣмъ-нибудь развеселить или растормошить его. Вяло и нехотя принималъ онъ участіе въ играхъ своихъ сверстниковъ, въ тѣхъ княжескихъ и графскихъ домахъ, куда возили его по праздникамъ или на имянины. Даже ѣсть и пить надо было заставлять его, точно у него никогда даже и аппетиту не было... Мальчишки-друзья—обзывали его мозглякомъ, тихоней, старой дѣвой. Онъ молчалъ и въ глубинѣ души своей ненавидѣлъ ихъ... Сашка Олафьевъ чувствуетъ, что ему не долго жить, говорили одни; Сашка золъ и завистливъ, говорили другіе. Начиная съ дяди, всѣ почему-то видѣли въ немъ одни недостатки, хоть и надѣялись, что онъ выровняется, вышлифуется, оботрется, и если вдобавокъ женится на благовоспитанной, великосвѣтской барышнѣ, то будетъ, со временемъ, человѣкъ, какъ и всѣ... лицомъ въ грязь неударитъ, т. е. съумѣетъ воспользоваться своими деньгами, родствомъ связями и протекціей.

Заграницей Олафьевъ какъ будто ожилъ. Подъ лучами итальянскаго солнца стали краснѣть его блѣдныя щеки.

Онъ сталъ смѣлѣе даже разговаривать... и ученый нѣмецъ, который сопровождалъ его, часто по цѣлымъ днямъ не видалъ его. Олафьевъ пропадалъ Богъ знаетъ гдѣ, и Богъ знаетъ съ кѣмъ знакомился. Въ это время вся Италія была наэлектризована революціонными идеями... Папа раскаявался въ своемъ либерализмѣ, народъ раскаявался въ своемъ довѣріи къ Пію IX. Разумѣется, то, что̀ Сашѣ Олафьеву и въ голову не приходило, когда онъ учился въ корпусѣ, въ стѣнахъ Рима или Флоренціи стало волновать его. Долгія, безсонныя ночи, проводилъ онъ читая «Les paroles d'un Croyant», брошюры Мадзини, вообще книги, несомнѣнно неодобрительныя. Ученый нѣмецъ не мѣшалъ ему. Онъ только не разъ говорилъ ему... «Къ чему все это для васъ... вы не французъ и не итальянецъ... вы русскій. Другая исторія, другіе нравы, другая судьба у вашего отечества. Вамъ, батушка, добавилъ онъ уже по-русски, трепля его по плечу,—вамъ еще далеко до Запада... Россія... это большой ребенокъ... ей еще соску нужно...»

Олафьевъ—вытянувшійся, худой, съ длинными ногами и длиннымъ носомъ, не спорилъ съ нѣмцемъ, но... думалъ по своему. Онъ не зналъ ни Россіи, ни русскаго народа, какъ и всѣ, на иностранный ладъ воспитанные, русскіе, въ особенности петербургскіе баричи,—онъ носилъ въ душѣ своей воображаемую Россію и съ недовѣріемъ относился къ брюзгливымъ рѣчамъ своего наставника. «Эка вретъ!..» думалъ онъ... «тысячу лѣтъ растетъ Россія и все еще не выросла... эка вретъ!» думалъ Олафьевъ.

Наконецъ, объѣздивши чуть ли не всю Европу, юноша Олафьевъ вдругъ объявилъ своему наставнику, что онъ ѣдетъ въ Москву и будетъ тамъ готовиться къ университетскому экзамену. Видно, слава тогдашнихъ молодыхъ профессоровъ: Крюкова, Рѣдкина, Грановскаго и

другихъ, достигла ушей его. Нѣмецъ отвѣчалъ ему, что онъ очень радъ,—но что̀ на это скажетъ опекунъ? «А какое мнѣ до него дѣло?» отвѣчалъ Олафьевъ. — Ка̀къ какое дѣло?» изумился нѣмецъ.—«Я васъ очень прошу ни слова не писать ему». — «Какъ же я могу не писать?»—«А вы развѣ крѣпостной его?»—«Нѣтъ, не крѣпостной».—«Или боитесь мѣсто потерять?» потупившись и краснѣя произнесъ Олафьевъ (онъ, въ высшей степени на обиду щекотливый и отзывчивый, боялся обидѣть своего воспитателя).—«А, разумѣется, мнѣ это будетъ очень непріятно», кривя ротъ и хитро улыбаясь, отвѣчалъ ему нѣмецъ.—«Ну, такъ не мѣшайте мнѣ, и вы будете получать хорошую пенсію... а будете мѣшать... какъ вамъ угодно!» Нѣмецъ покраснѣлъ: онъ понялъ угрозу будущаго милліонера и процѣдилъ сквозь зубы: «Я, батушка вы мой, я никогда вамъ не мѣшалъ... и мѣшать не буду...»

Какъ-бы проѣздомъ черезъ Москву, молодой Олафьевъ остановился у своей тетки—княгини Гальской. Княгиня была очень рада и отвела ему въ своемъ домѣ двѣ комнаты, обитыя коврами и установленныя дорогою старинною мебелью. Такъ въ этихъ двухъ комнатахъ и поселился будущій студентъ.

Когда весной 1842 года, до ушей его петербургскихъ родственниковъ дошла новость, что ихъ Саша поступилъ въ московскіе студенты, — ихъ озадачило его своеволіе, и... та̀къ, между собою, принялись они разсуждать или судачить: «Ну, возможно ли съ его здоровьемъ, съ его слабой грудью записываться въ цехъ ученыхъ? Да и къ чему съ его состояніемъ? Да и чему онъ тамъ научится? Еще, чего добраго, наберется разныхъ либеральныхъ идей и собьется съ пути-дороги...»

Много общаго было между его знатной петербургской родней и провинціальной тетушкой Глафирой, кото-

рая тоже боялась, что ея Володя Елатомскій въ университетѣ научится чернокнижію и душу свою ни за что продастъ бѣсу, врагу человѣчества. Какъ часто среди такъ-называемаго образованнаго общества случалось мнѣ подслушивать опасенія того же невѣжества, надъ которымъ иная столичная барыня готова трунить и смѣяться, не замѣчая своего кровнаго родства съ этимъ самымъ невѣжествомъ.

И какое при этомъ отсутствіе логики! Пребываніе въ Парижѣ или Лондонѣ считать чѣмъ-то въ высшей степени невиннымъ (съ консервативной точки зрѣнія), и — волноваться при мысли, что русскій журналъ, какая-нибудь критическая статья или какая-нибудь горячо прочитанная лекція могутъ повліять на умъ молодого человѣка сильнѣе жизни, сильнѣе факта. Какъ-будто фраза, какова бы ни была она, сильнѣе впечатлѣній, получаемыхъ внѣ нашего отечества.

Поѣздивши по Европѣ, Олафьевъ, напротивъ, ожидалъ отъ университета чего-то бо̀льшаго и былъ удивленъ, что на такъ-называемыхъ философскихъ факультетахъ не читается философія. Но все, чему онъ удивлялся, чѣмъ восхищался и что̀ его огорчало,—все это до такой степени тщательно пряталось въ душѣ его, что ни его тетка, ни ея гости, ни товарищи, — никто даже и не подозрѣвалъ въ немъ ни сильныхъ страстей, ни медленно совершающихся процессовъ въ его мозгу.

Только его чудачества и бросались всѣмъ въ глаза, дѣлали его замѣтнымъ среди фешенебельнаго общества,— замѣтнымъ, какъ человѣка разсѣянно-скрытнаго и при томъ непостижимаго меланхолика. Цѣлые часы могъ просиживать онъ въ своихъ креслахъ и, разглядывая свои ногти, о чемъ-то думать, — онъ часто не слыхалъ обращенныхъ къ нему вопросовъ и только улыбался, вмѣсто того, чтобъ отвѣчать. Всѣмъ казалось, что Олафьевъ ни-

когда не читаетъ лекцій—и всѣ удивлялись его хорошимъ балламъ при переходѣ съ одного курса на другой. И странно же онъ велъ себя на этихъ экзаменахъ! Бывало, вызванный, прочтетъ онъ билетикъ, скажетъ двѣ-три фразы и замолчитъ, — долго молчитъ, точно копается въ своей памяти; затѣмъ опять что-нибудь проговоритъ — и всегда проговоритъ то самое, что̀ нужно... никогда не совретъ... Ясно, что мозгъ его былъ далеко не изъ числа поворотливыхъ. Не оттого ли иногда и оставался онъ безотвѣтнымъ, что отвѣтъ его слишкомъ поздно являлся въ головѣ его... Ясно, что для салоннаго разговора онъ былъ никуда не годенъ, для ученаго спора — тоже, для товарищескихъ бесѣдъ былъ нѣсколько способнѣе, но мало было у него товарищей. Многимъ изъ нихъ, и въ томъ числѣ Елатомскому, было какъ-то жутко ходить къ нему черезъ какіе-то длинные корридоры, по коврикамъ, и въ сопровожденіи лакея—въ ливрейномъ фракѣ. Такимъ образомъ, рѣдко кто посѣщалъ его.

Разъ пригласилъ его къ себѣ студентъ О—въ, не разъ танцовавшій на вечерахъ, даваемыхъ его фешенебельной тетушкой, — пригласилъ его къ себѣ на пирушку. Это было на святкахъ.

Цѣлый часъ Олафьевъ думалъ, ѣхать ему или не ѣхать?—рѣшилъ ѣхать и велѣлъ закладывать сани.

Веселый кружокъ молодежи встрѣтилъ его радушно и весело. «Какъ это онъ пріѣхалъ?» думалъ О—въ. «А что если его подпоить?» думалъ Н—въ. «Глупъ онъ или уменъ?» думалъ третій. Елатомскій распоряжался жженкой и ничего не думалъ.

Вечеръ прошелъ, по обыкновенію, безалаберно-весело,—не безъ умничанья однихъ, не безъ остротъ, ро̀зсказней и смѣха другихъ. За ужиномъ пили шампанское и орали во все горло: «Edite, bibite, collegiales!», или «Gaudeamus igitur», или «Ich ging ein Mal spazieren», —

или «Студентъ молодой, студентъ удалой, ровнехонько въ часъ полуночи...» и Олафьевъ подтягивалъ—онъ былъ въ духѣ.

Послѣ ужина всѣ поднялись, вооружились бокалами и стали пить по-очереди, обращаясь то къ одному, то къ другому:

Наполнимъ кубки мы скорѣй,
И вкругъ тебя мы станемъ,
И въ честь красавицы твоей
Мы дружно пѣсню грянемъ:
Какъ, братъ, твою красу зовутъ?
Какъ, братъ, твою красу зовутъ?

И каждый долженъ былъ произнести имя своей возлюбленной. Пришла очередь съ тою же пѣсней обратиться къ Олафьеву.

— У меня нѣтъ никакой красавицы,—отвѣчалъ онъ, какъ-бы озадаченный.

— Какъ нѣтъ?.. ты не хочешь... ты скрываешь... думаешь, что мы старые сплетники, бабы... а не товарищи...

Разгоряченныя головы вообразили себѣ, что Олафьевъ, какъ богачъ, презираетъ ихъ,—плюетъ на всѣ ихъ порядки и обычаи... и какъ съ ножомъ къ горлу пристали къ Олафьеву.

— Не скажу... — брякнулъ имъ Олафьевъ и поблѣднѣлъ...

Поднялся ропотъ, послышались колкости: Олафьевъ стоялъ съ бокаломъ въ рукахъ, потупившись, глядѣлъ исподлобья и, въ глубоко-сѣрыхъ, прищуренныхъ глазахъ его, уже загоралась и бродила искорка, готовая вспыхнуть...

Еще одно лишнее слово—и бокалъ его съ шампанскимъ летѣлъ бы въ чью-нибудь физіономію, была бы исторія... и Богъ знаетъ, чѣмъ бы это окончилось...

Какъ вдругъ раздался звонкій голосъ:

— Господа, я знаю, какъ зовутъ его красавицу.

Олафьевъ дрогнулъ. «Неужели», подумалъ онъ, «этотъ Елатомскій знаетъ мою Александру Степановну!» Это была просто хорошенькая швейка, которую инкогнито посѣщалъ иногда Олафьевъ. Тайная ревность заговорила въ душѣ его... Никого такъ не любилъ онъ, какъ эту простенькую, безграмотную Сашу—разумѣется, не щадилъ денегъ и требовалъ отъ нея вѣрности...

— Знаю, — повторилъ Елатомскій: — ее зовутъ Маланьей.

Раздался хохотъ и хоромъ поющіе голоса:

Да здравствуетъ Маланья!
Да здравствуетъ Маланья!

Затѣмъ всѣ полѣзли чокаться и обниматься съ Олафьевымъ.

Олафьевъ стоялъ какъ истуканъ,—со всѣми чокался и чувствовалъ, какъ сильныя руки хватаютъ его за шею, и какъ горячія губы цѣлуютъ его въ раскраснѣвшіяся, хотя и впалыя, щеки. Наконецъ, онъ разомъ выпилъ бокалъ свой, захохоталъ... и, просидѣвъ чуть не до разсвѣта, уѣхалъ домой, ухмыляясь и не переставая думать объ Елатомскомъ... Что̀ бы было, если бы не онъ?.. И какъ это онъ самъ не догадался выдумать какое-нибудь имя?!.

Но этотъ случай, повидимому, нисколько не сблизилъ его съ Елатомскимъ. Они, встрѣчаясь, жали другъ другу руки—и только. Елатомскій, почему-то, считалъ Олафьева олухомъ царя небеснаго и даже не подозрѣвалъ одного его качества... его непомѣрной щедрости. Олафьевъ, гдѣ только могъ и сколько могъ, раздавалъ свои карманныя деньги. Выгодно было быть его камердинеромъ,—выгод-

но было и Александрѣ Степановнѣ потихоньку, въ условленные часы, отворять ему свою дверь...

Никто еще изъ числа тѣхъ, которые нуждались и имѣли смѣлость говорить ему о своихъ нуждахъ, не уходилъ отъ него безъ денегъ, при чемъ онъ же благодарилъ просящаго за то, что онъ обратился къ нему съ такой щекотливой просьбою. Самъ же онъ былъ такъ конфузливъ, что никогда не рѣшился бы спросить: нужны ли вамъ деньги? Этой конфузливости никогда онъ не могъ побороть въ себѣ...

И вотъ этотъ самый Олафьевъ, кандидатъ университета двадцати-четырехъ лѣтъ, ѣхалъ служить на Кавказъ и въ Одессѣ случайно узналъ, что Елатомскій сидитъ на гауптвахтѣ... и бѣдствуетъ.

XVII.

«Что за чудеса!» подумалъ Елатомскій, глядя на Олафьева... «Этотъ маменькинъ сынокъ, этотъ богачъ, страдающій золотухой, рѣшается посѣтить меня въ моемъ неказистомъ заключеніи...»

Онъ былъ очень радъ всякому посѣщенію—и все-таки не бросился обнимать Олафьева. Олафьевъ тоже не обнаружилъ на таковыя объятія ни малѣйшаго поползновенія.

— Извините,—сказалъ Елатомскій,—что застаете меня въ такомъ *дезабилье*...

— Я очень радъ, что вижу васъ... — ласково щуря глаза и улыбаясь, произнесъ Олафьевъ,—слегка выставивъ впередъ худое, длинное съ запыленными бровями лицо свое...—Здравствуйте.

— Садитесь на сіе жосткое ложе мое... Какими судьбами вы въ Одессѣ?

— Ѣду служить на Кавказъ...—отвѣчалъ Олафьевъ, садясь на диванъ около подушки и свернутаго одѣяла...

Вы вотъ сидите на гауптвахтѣ—и, какъ кажется, судя по глазамъ, не хандрите, а я не знаю, куда мнѣ дѣваться отъ тоски... Впрочемъ, я посѣтилъ васъ не оттого, что хандрю или скучаю. . Я всегда любилъ васъ, хоть вы меня и не жаловали; о... да... я знаю... не жаловали... но я помню, какъ вы меня однажды выручили...

— Я васъ выручилъ?

— Да... Помните Маланью? усмѣхаясь глуповатой усмѣшкой, спросилъ Олафьевъ.

— Маланью? — пожавъ плечами, не безъ удивленія переспросилъ его Елатомскій.—Кто такая Маланья?

— Гм!.. Вы забыли... да, вамъ, конечно, не стòитъ и вспоминать объ этомъ... а я... никогда ничего не забываю...

— И, стало быть, никогда ничего не прощаете?

— Гм... Зло прощаю, обиду—нѣтъ...

— Это не хорошо!..

— Почему?

— Обида... это личное чувство. Кто очень самолюбивъ или себялюбивъ, тотъ и обидчивъ... Вотъ и я... и я тоже не выношу обиды... но укажите мнѣ на зло, отъ котораго страдаю не я одинъ, но и вы, и все общество, непростительно будетъ, если я не забуду обиды, лично мнѣ нанесенной... Такъ мнѣ кажется...

Олафьевъ поглядѣлъ на него исподлобья.

— Вся наша жизнь есть одно неисчерпаемое зло...— потупившись началъ Олафьевъ... Зло — нищета; зло—богатство; зло—деспотизмъ; зло—свобода; зло — излишнее здоровье, зло — болѣзнь... все зло... Я объ этомъ много думалъ.

Елатомскій былъ немного озадаченъ и съ любопытствомъ поглядѣлъ на молодого человѣка, который хандритъ, получая одинъ около полутораста тысячъ годового дохода.

— Мнѣ васъ жаль, если вы такъ думаете. Есть же, наконецъ, выборъ... все же имущій — счастливѣе неимущаго, здоровый—счастливѣе больного, независимый человѣкъ—счастливѣе раба... Такъ, напримѣръ, вы несомнѣнно счастливѣе меня: вы можете ходить по улицамъ, а я подъ карауломъ... вы можете путешествовать—я не могу, вы можете не служить, а я... что̀ я буду дѣлать, если не получу какого-нибудь мѣста съ жалованьемъ?—мостовую гранить... или въ деревнѣ ругать мужиковъ, да за дѣвками бѣгать.

Олафьевъ сгорбился и погрузился въ задумчивость... онъ соображалъ — и, очевидно, не безъ труда, копался въ мозгу своемъ, чтобъ отыскать подходящій отвѣтъ.

— Вы не такъ скучаете, сидя за рѣшеткой, какъ я у себя, въ лучшемъ нумерѣ гостинницы. Вы хотите путешествовать, а мнѣ, правду сказать, страшно надоѣло таскаться, перекочевывать съ мѣста на мѣсто. Я хандрилъ и въ Римѣ, на лѣстницѣ Капитолія, и на Вандомской площади, въ Парижѣ... Научите меня быть счастливымъ и возьмите мои деньги...

— Счастье условно... Я былъ бы счастливъ, если бы сознавалъ, что живу не даромъ, что отъ моей жизни — всѣмъ тепло и никому не холодно...

Олафьевъ поднялъ на него глаза свои — странные глаза, сухіе и въ то же время точно заплаканные...

— Такъ, такъ! Гм!.. Только трудно это... Мнѣ самому не тепло, какъ же могу я другихъ согрѣть?..

— А нельзя ли вамъ наоборотъ сказать... оттого, что я не могу или не умѣю другихъ согрѣть, мнѣ не тепло...

— Не понимаю...

— Не понимаете?

— Да... если вы намекаете на больницы, на школы, на пенсіи, то... все это есть у меня въ имѣньи... Заведена

больница, есть крестьянская школа... и восемь тысячъ въ годъ идетъ на пенсіи, да пособія... Но больницъ крестьяне не жалуютъ, докторамъ не довѣряютъ,—бѣгутъ отъ нихъ лечиться у знахарокъ да у колдуновъ... Изъ школъ выходятъ иногда писаря, которые обманываютъ народъ... Пособія размножаютъ дармоѣдовъ... Гдѣ же добро?.. Я невыразимо хандрилъ и страдалъ, когда гостилъ у себя въ деревнѣ... Что же значитъ ваше согрѣваніе другихъ? Если это любовь... то и Христосъ, любя все человѣчество, не согрѣлъ его. Одно есть счастье, возможное на землѣ—это мечта о счастьѣ... мечта о томъ, что все идетъ къ совершенству, и что, рано или поздно, всѣ будутъ благоденствовать. Когда я былъ заграницей—разъ и мнѣ улыбнулось это счастіе... но... развѣ мечта эта живуча? развѣ можетъ она продержаться?.. Много тысячъ лѣтъ помнитъ себя человѣчество, и — какая грубость!.. какое еще невѣжество!.. Вотъ, помяните мое слово, что еще доживемъ мы до ужасной войны... Я это чувствую... душно стало... Неужели вы не чувствуете этого?..

Пришла очередь задуматься Елатомскому... Ему очень хотѣлось утѣшить словомъ своего хандрящаго молодого товарища,—но... не давалось ему это слово.

Долго думалъ Елатомскій—наконецъ выдумалъ.

— Если не удовлетворяетъ дѣйствительность, — сказалъ онъ, — остается одно — идеалъ... Вѣрьте въ него, какъ апостолы вѣрили въ Спасителя—и къ этому идеалу стремитесь всѣми вашими чувствами и всѣми вашими мыслями; стремитесь для того, чтобъ, если не въ другихъ, то хоть въ самомъ себѣ воплощать его.

Олафьевъ долго молчалъ.

— Неужели вы... такъ вѣрите... и такъ стремитесь?..— проговорилъ онъ, наконецъ, не безъ удивленія.

— Я... нѣтъ...—произнесъ Елатомскій и покраснѣлъ.— Мы оба съ вами скептики... Великій будетъ геній тотъ

человѣкъ, который придетъ и когда-нибудь скажетъ намъ: вотъ идеалъ — достигать его слѣдуетъ, потому что возможно такое достиженіе и докажетъ намъ эту возможность, такъ докажетъ, что ни во мнѣ, ни въ васъ не останется уже ни малѣйшаго сомнѣнія. Тогда и вы, и я будемъ во-истину вѣрующіе люди и хандрить не будемъ. Такъ ли я говорю, Олафьевъ?..

— А если такой геній... тоже невозможенъ... что̀ тогда?.. Чѣмъ тогда мы наполнимъ свою жизнь?..

— Ну, чѣмъ Богъ послалъ, лишь бы не вонючимъ навозомъ и не щебнемъ! съ оживленіемъ сказалъ Елатомскій.

Ему надоѣло уже говорить о томъ, о чемъ можно трое сутокъ говорить и, все-таки, ни до чего не договориться.

Олафьевъ повѣсилъ голову—и въ разговорѣ наступила пауза.

Елатомскій думалъ.

«А что̀, не изложить ли мнѣ всѣ эти мысли въ этомъ самомъ воскресномъ фельетонѣ?.. Съумѣю ли только... А что, если съумѣю?..»

— За что вы здѣсь?—спросилъ его Олафьевъ.

Елатомскій откровенно разсказалъ ему, за что онъ посаженъ.

— Гм!.. Вы никогда не жили въ Петербургѣ?

— Никогда; ни разу не былъ... А что?

— Да такъ...

— Былъ бы умнѣе, практичнѣе?.. не это ли вы хотите сказать?

— Да... практичнѣе... но хуже...

— Странная вещь, вѣрите ли, я самому себѣ иногда кажусь необыкновенно практическимъ человѣкомъ, даже страсти не отдаюсь всецѣло, боясь опошлить свою жизнь...

— Гм! настоящіе-то практическіе люди не боятся пошлости, напротивъ... въ ней одной видятъ свое спасеніе. Ну, а какъ вообще... относительно денегъ... нуждаетесь?

— Теперь нѣтъ... три-четырѐ недѣли могу прожить, а тамъ... что̀ Богъ дастъ... Похлопочите только тамъ, въ Тифлисѣ, чтобъ меня выпустили на волю... право, кусаться не буду... Да найдите тамъ нѣкоего Уютина... скажите ему, что я здѣсь пропаду, если не получу мѣста на Кавказѣ... Тамъ началось движеніе, тамъ жизнь... Тифлисъ становится европейскимъ городомъ... Затѣваются ученыя экспедиціи, думаютъ о новой газетѣ, о календарѣ, о театрѣ, о библіотекѣ,—изучаютъ естественныя богатства края... Словомъ, тамъ что-то двигается... а это-то меня и влечетъ туда... Ну, какъ я вернусь въ свой губернскій городъ, гдѣ, впродолженіе 10-ти лѣтъ, не прибавилось ни одного домика, ни одной лавчонки, ни одного фонаря... гдѣ, какъ въ болотѣ стоячая вода, жизнь засасываетъ въ свою тину всякаго, кто вообразитъ себѣ, что по болоту можно плавать, какъ по морю!

Олафьевъ всталъ и, слегка потянувшись, сказалъ:

— Прощайте, Елатомскій...

— Прощайте, Олафьевъ.

Они пожали другъ другу руку дольше и крѣпче, чѣмъ при свиданіи.

— Денегъ не нужно вамъ?—покраснѣвъ до ушей и смутившись, проговорилъ Олафьевъ. — Возьмите... сто, двѣсти... пятьсотъ... сколько нужно.

— Не искушайте, Олафьевъ!.. Поступлю, какъ человѣкъ практическій... Вообразите себѣ, что я возьму у васъ деньги—и вдругъ, вызываютъ меня въ Тифлисъ, и тамъ я безпрестанно встрѣчаю васъ—своего кредитора... Хорошо, если у меня будутъ средства съ вами расплатиться, а если не будутъ... придется краснѣть... Нѣтъ,

не искушайте... Не будь Одесса такой дешевый городъ, можетъ быть, вы бы соблазнили меня; но... за 5 р. въ мѣсяцъ я уже нашелъ себѣ комнату меблированную и съ прислугой... Спасибо вамъ!.. великое спасибо!

Олафьевъ все время стоялъ, потупившись, точно осужденный.

— Не наводите на меня пущей хандры, — проговорилъ онъ,—возьмите...

— Нѣтъ, не возьму... Но вотъ что: обѣщаю вамъ написать въ Тифлисъ, когда судьба доведетъ меня до того, что... хоть въ петлю... тогда я буду на васъ разсчитывать... я не гордъ, и прямодушно обращусь къ вамъ съ моей всепокорнѣйшей...

— Такъ вы хотите, чтобъ я дожидался всепокорнѣйшей просьбы... Прощайте, Елатомскій!—Богъ съ вами!..

Проводивъ Олафьева, Елатомскій сѣлъ на тотъ же стулъ, но уже спиной къ столу, и, охвативши скрещенными пальцами рукъ одно изъ колѣнъ своихъ, сталъ думать...

Елатомскій мысленно раскаялся, что не взялъ денегъ. Ему уже казалось, что Олафьевъ и ждалъ отъ него такой церемоніи, что Олафьевъ съ этой цѣлью только и посѣтилъ его, чтобъ помочь ему. Живо представилось ему странное, болѣзненное выраженіе лица его, брови— точно запыленныя, красноватые бѣлки глазъ, — горячія руки... и... это «Богъ съ вами!» произнесенное такъ, какъ будто съ этимъ словомъ тяжелый вздохъ вырвался изъ груди его...

«Чортъ знаетъ, для чего я поцеремонился!» думалъ Елатомскій. «Что ему значатъ какихъ-нибудь 300—400 р., когда онъ самъ не знаетъ, повидимому, куда ему дѣваться съ своими деньгами!.. и хандритъ. — А я!.. я бы могъ, въ тотъ же день или на другой же день, послѣ моего освобожденія—купить билетъ на пароходѣ, отпра-

виться за море, и тамъ на Кавказѣ—искать себѣ мѣсто; въ крайнемъ случаѣ, поступить въ юнкера и испытать походную, боевую жизнь. Все же это была бы жизнь, а не прозябаніе. Чего бы я, кажется, ни сдѣлалъ, чтобъ не встрѣчаться ни съ Хавазовымъ, ни съ его другомъ Сашинымъ, ни съ этимъ противнымъ Меркуличемъ, и—что же? сдѣлалъ то, что отказался отъ возможности не видѣть ихъ... Единственное существо, которое мнѣ было бы жаль—это Зоя... но... ей слѣдуетъ выйти замужъ, а мнѣ жениться не слѣдуетъ! Что же дѣлать?.. Эхъ, жизнь!»

XIX.

Эвина въ послѣднее время стала рѣже выходить изъ дому, рѣже стала появляться на бульварѣ и передъ кафе-рестораномъ, предпочитая вечернія прогулки, подъ руку съ Бавинымъ, гдѣ-нибудь въ болѣе отдаленныхъ и менѣе населенныхъ кварталахъ города. Дорогой цѣной оплачивала она рѣдкія, порывистыя ласки своего новаго друга, который училъ ее самообладанію и самъ держалъ въ желѣзной уздѣ свои страстныя, или, какъ говорилъ онъ, чисто животныя побужденія. Трудно было до самозабвенія увлекать его. Малѣйшая побѣда надъ нимъ казалась ей торжествомъ ея воли, ея любви, ея женской хитрости, и это торжество давало ей такія сладкія минуты, до такой степени удовлетворяло ея самолюбіе, что она покорно сносила его деспотическія, часто необъяснимыя, почти дикія выходки... Она боялась своего философа, боялась не измѣны и даже не его деспотизма,—боялась сойти съ того пьедестала, на который вознесъ ее Бавинъ, какъ безукоризненно честную, идеально-правдивую и сильную волей женщину.

Чтобы угодить ему, она принялась за изученіе ботаники, за рисованіе цвѣтовъ и заучиванье латинскихъ на-

званій ихъ. Снова начала учиться по-нѣмецки, чтобы, подъ руководствомъ Бавина, со временемъ читать философскія сочиненія... Такъ поняла она слово «трудиться»; но, задавая себѣ умственный трудъ, ни разу не задала себѣ вопроса: въ какой мѣрѣ будетъ полезенъ этотъ трудъ, и кто, какой смертный, будетъ нуждаться въ ея дилеттантическихъ, поверхностныхъ познаніяхъ. Одна изъ героинь Жоржъ-Занда—кажется, Женевьева—собирала цвѣты и занималась ботаникой, стало быть, почему же и Эвиной не заниматься изученіемъ лепестковъ, пестиковъ и не удивляться силамъ природы, заключеннымъ въ цвѣточной пыли и въ таинственномъ процессѣ оплодотворенія.

Узнавъ отъ Сашина о прибытіи Сызранова, она, на третій день, въ воскресенье, въ десятомъ часу утра, отправилась къ нему въ гостинницу «Лондонъ», и страшно сконфузила, заставъ его съ голой шеей и голой грудью. Сызрановъ бросился одѣваться—и пока извинялся, Эвина, безъ всякихъ церемоній, объявила ему, что ей нужно двѣсти рублей, и что деньги эти онъ получитъ отъ ея благовѣрнаго супруга, въ Москвѣ, предъявивъ ему ея росписку. Разумѣется, всѣ свои требованія высказала она шутя и смѣясь, и съ такимъ тактомъ, что Сызрановъ былъ умасленъ, какъ только можетъ быть умасленъ старый бонвиванъ, отецъ семейства, помѣщикъ и въ то же время сущій обжора-ребенокъ пятидесяти лѣтъ, любимый всѣми своими сосѣдями.

— Радехонекъ, матушка вы моя—радехонекъ услужить вамъ... только погодите денька два—три... все вожусь я съ этимъ Меркуличемъ, покупщикомъ моихъ крымскихъ виноградниковъ—чтобъ имъ провалиться! Жарюсь я здѣсь—прѣю, такъ что моченьки моей нѣтъ... Домой, въ свою нору—въ березовую рощу тянетъ... а тутъ, голубушка моя, ни тпру, ни ну! Этотъ жидъ, Меркуличъ,

какъ кажется, хочетъ меня зарѣзать—торгуется, и чуть не за даромъ покупаетъ эти мои виноградники. Увѣряетъ, что запущены. Самъ я знаю, что запущены—да, вѣдь и земля чего-нибудь да стòитъ, и я то же что-нибудь маракую... не даромъ же нажилъ вò-какую лысину!

— Развѣ нельзя найти другого покупателя, кромѣ Меркулича?

— Можно, голубушка,—да вѣдь гдѣ-же я найду его? въ такое короткое время. А не продай я этихъ проклятыхъ виноградниковъ, вносить въ ломбардъ будетъ нечего, вотчину мою опишутъ... продадутъ—по міру пустятъ! Вотъ какія времена подошли! Еще хорошо, что здѣсь дешево все.

— А небось... нарядовъ женѣ, да дочкамъ не позабудете накупить въ Одессѣ, благо—дешево. Смотрите, какъ бы на таможнѣ не пощипали васъ.

— Всего накуплю, матушка моя... ліонскаго бархату, и лентъ, и перчатокъ, и всякой дряни, а пощиплютъ, ну, что же дѣлать! Нельзя же съ пустыми руками... А на счетъ двухсотъ рублей—я ихъ занесу къ вамъ. Дайте только адресъ, гдѣ мнѣ васъ найти. Охъ! лѣнивъ я на эти прогулки по улицамъ... и не понимаю, какъ это вы въ этакую жарищу выходите... Ну, чтò сказать вашимъ?

— Поцѣлуйте за меня Анету... и мою любимицу Соню... Эта Соня—такая славная дѣвочка! Скажите мужу, что... можно бы ему и двѣ тысячи въ годъ давать мнѣ на расходы. Лишніе пятьсотъ рублей не разорятъ его... Похлопочите-ка за меня, Андрей Потаповичъ... Вы такой мастеръ хлопотать... Авось раскошелится. Угостите его за это хорошимъ обѣдомъ, познакомьте съ какой-нибудь чернобровой цыганкой, на гитарѣ ее заставьте сыграть—словомъ, утѣшьте его, сироту. А эти двѣсти рублей, которыми вы намѣрены одолжить меня, онъ выключитъ изъ

посылаемыхъ мнѣ денегъ и заплатитъ вамъ. Ну, понимаете?

— Какъ, матушка, не понять, развѣ я сомнѣваюсь... что-ли! А не пообѣдаете ли вы со мной сегодня гдѣ-нибудь... Одолжили бы... Смерть люблю веселыхъ барынь... и денегъ не жаль... Что вы на это скажете?..

— Нѣтъ... я теперь не могу... Есть такой бука, который меня не пуститъ.

И Эвина засмѣялась.

— Да вѣдь онъ, кажется, на гауптвахтѣ сидитъ?

— Это не онъ сидитъ... это другой...

— Вона! кто же это? Я и его приглашу.

— Не пойдетъ.

— Да какъ же это? Да вѣдь это хуже мужа. Помилуйте, голубушка вы моя!..

— Что же дѣлать! строгъ—баловать не любитъ.

— Да какъ... какъ его... Разумѣется, вы и на ухо мнѣ не скажете его фамиліи?

— Отчего не сказать... Его зовутъ Адріанъ Владиміровичъ Бавинъ.

— Сынокъ покойнаго Владиміра Петровича Бавина, бывшаго предводителя!..—подпрыгнувъ на диванѣ верхней частью своего туловища, не безъ удивленія, пробасилъ Сызрановъ.

— Ну, да.

— А вы, матушка, не боитесь, что я сболтну съ дуру... кому-нибудь?

— Не боюсь, Андрей Потаповичъ,—также смѣясь и какъ-бы тѣшась надъ его простотой,—отвѣчала Эвина.— Вѣдь я же знаю, что мужъ живетъ съ Луизой, съ гувернанткой моихъ дочерей, и не въ претензіи. Стало быть... болтайте сколько вамъ угодно, и кому угодно — мнѣ все равно. Я горжусь тѣмъ, что сошлась съ однимъ изъ умнѣйшихъ людей въ Россіи. Мой мужъ и могъ

его не стòитъ... потому что отъ такихъ людей, какъ мой муженекъ—Россіи гибель, а отъ такихъ, какъ мой Бавинъ—спасеніе.

— Ой-ли?!..—еще пуще прежняго удивился Сызрановъ и вытаращилъ на нее глаза.

Эвина еще минутъ десять поболтала съ нимъ, дала ему свой адресъ и по-пріятельски простилась съ нимъ.

Такимъ образомъ, священная тайна Бавина была выдана Ниной Александровной сосѣду-помѣщику, пріятелю ея мужа, этому милому, хотя и пожилому enfant terrible.

Эвина вернулась домой, истомленная полуденнымъ зноемъ и легла у себя на диванѣ, распаренная, усталая.

Ставни ея маленькой гостиной, по обыкновенію, были притворены, лучи солнца, пыльными полосками, пробивались сквозь щели; запахъ цвѣтовъ наполнялъ душный полусумракъ и располагалъ къ дремотѣ. Эвина вытянула ноги, заложила руки за голову, и—мечтала. Мечтала, какъ вообще мечтаютъ влюбленныя барыни... Уже сладкая дремота стала смыкать ей рѣсницы... какъ вдругъ, неожиданно, вошелъ Бавинъ и стукомъ шаговъ своихъ разбудилъ ее.

Бавинъ сѣлъ подлѣ нея и, повидимому, очень нѣжно взялъ ее за руку.

— Встань, Нина!

— Не хочется...—пролепетала она, закинувъ назадъ голову... и огонь страсти, робко, какъ-бы украдкой, промелькнулъ въ глазахъ ея, покосившихся на дорогого гостя.

— Зачѣмъ ты такъ нѣжишься, Нина? Много ты сегодня занималась?

— Ахъ, да!..

— Это вредно, особенно тебѣ, ты не привыкла... Нина, встань и пляши.

— Какъ «пляши!..»—удивилась Эвина.

— Да такъ, встань и пляши...

— Ты съ ума сошелъ, Адріанъ!

— Я тебѣ не шутя говорю—встань и начни плясать.

Эвина на половину приподнялась и, съ любопытствомъ, поглядѣла въ лицо его.—«Да»... подумала она, «онъ не шутитъ».

— Зачѣмъ я буду плясать?.. Адріанъ... Помилуй...

— А затѣмъ, что ты обрѣтаешься въ состояніи лѣни... нѣга сковала члены твои такъ, что ты еле движешься. Ну вотъ, побѣди лѣнь, побѣди свое самолюбіе, заставь себя встать и сдѣлай то, что въ эту минуту тебѣ всего менѣе хочется... начни плясать...

— Адріанъ! милый мой! право подумаютъ, что я съ ума сошла.

— Кто подумаетъ? — никого нѣтъ... встань, встряхнись и пляши...

— Ты этого хочешь?

— Не я, а ты сама должна желать, чтобъ духъ твой былъ сильнѣе страсти и бодрѣе тѣла. Если ты меня любишь—встань и пляши.

Что̀ чувствовала въ эту минуту Нина, трудно изобразить... Но все то, что̀ она чувствовала, ей, какъ умной женщинѣ, не хотѣлось обнаруживать...

Не ссориться же мнѣ изъ-за такого вздора, — подумала она, наконецъ, и встала.

— Ah! comme c'est bête:—процѣдила она сквозь зубы.

— Я самъ знаю, что это глупо, но все же не глупѣе, чѣмъ всю ночь танцовать до упаду на балѣ, повинуясь модѣ или прихоти.

— Я не Иродіада—плясать не умѣю.

— Дѣлай, на зло себѣ, именно то, чего тебѣ не хочется...

Эвина нервно засмѣялась, стала посреди комнаты и

начала дѣлать па̀, какъ-бы танцуя вторую фигуру французской кадрили.

Бавинъ всталъ, обнялъ ее и поцѣловалъ.

Въ это время отворилась дверь и влетѣлъ Елатомскій.

Сконфуженная, раскраснѣвшаяся Эвина дрогнула, обернулась и бросилась обнимать его.

XX.

Какъ могъ Бавинъ такъ деспотически требовать отъ Эвиной подчиненія своему капризу и какъ могла Эвина не возмутиться духомъ и его послушаться?!.. Но сцена не выдумана: дѣйствительно, Бавину иногда приходили въ голову разныя странныя фантазіи, и, въ одно прекрасное утро, Эвина, которая на чудачества Бавина смотрѣла какъ на особенныя проявленія его геніальности,— именно плясала, по милости одной изъ его фантазій. При этомъ, всякая мѣщанка, непремѣнно бы, стала ругаться, и всякая свѣтская дама, непремѣнно, расхныкалась бы, или не на жизнь, а на смерть поссорилась бы со своимъ возлюбленнымъ. Эвина же не только не заплакала — готова была хохотать и, затѣмъ, всѣмъ разсказывать о необычайныхъ чудачествахъ милаго, нѣжнаго и внимательнаго къ ней Бавина; намекать, что ей часто отъ него достается, но что все это вздоръ передъ вѣчностью или любовью... (что̀ одно и то же, по мнѣнію Адріана Владиміровича).

Итакъ,—не успѣлъ Эвину поцѣловать Бавинъ, какъ милое, послушное дитя—ее наградилъ Господь Богъ другою радостью: она увидѣла Елатомскаго и, какъ я уже сказалъ, бросилась обнимать его.

Бавинъ также обрадовался, но и смутился... Вопросъ: видѣлъ или не видѣлъ Елатомскій поцѣлуй его?.. смутилъ его.

Елатомскій, конечно, видѣлъ, но, зная характеръ своего сожителя, воздержался отъ восклицанія... Тотчасъ же принялся разсказывать о своихъ недавнихъ впечатлѣніяхъ.

— Какъ я радъ!.. какъ я однако же радъ, что вы еще не уѣхали... что я успѣю съ вами проститься... Когда вы уѣзжаете? и куда?..

— Ѣдемъ на той недѣлѣ,—сказала Эвина.

— Нина Александровна ѣдетъ въ Москву—повидаться съ своими дѣтьми, и, можетъ быть, по дорогѣ, гм! заѣдетъ ко мнѣ въ деревню. Ее приглашаетъ къ себѣ моя сестра...—сказалъ Бавинъ.

— А вѣришь ли, сестра, — обращаясь къ Эвиной, началъ Елатомскій, веселый, какъ школьникъ, только-что выпущенный изъ карцера. Вѣришь ли, тому назадъ недѣли двѣ, я даже желалъ, чтобы вы какъ можно скорѣй уѣхали.

— Ахъ, дурень!.. Это почему?

— Да ужъ и самъ не знаю почему... Мнѣ просто хотѣлось испытать, какъ это я останусь безъ васъ... А теперь я очень радъ, что вы еще не уѣхали...

— А что, если мы еще мѣсяца на два останемся,— неужели въ это время мы такъ успѣемъ надоѣсть тебѣ, что ты возненавидишь насъ?..

— Эге! надоѣсть! Не съумѣете,—не хватитъ васъ на то, чтобъ надоѣсть Володькѣ Елатомскому. Я не таковскій, чтобъ сталъ передъ вами торчать денно и нощно, не таковскій, чтобъ вамъ дозволить денно и нощно со мной бесѣдовать... Я люблю разнообразить жизнь и только этимъ спасаю себя отъ хандры и отчаянія... Прощайте, до свиданія!.. Приходите обѣдать къ Каррутѣ... я буду тамъ около пяти часовъ. А теперь побѣгу домой, отмою казенную грязь, перемѣню бѣлье и отправлюсь бродить по городу—куда глаза глядятъ.

И Елатомскій схватилъ шляпу, пожалъ имъ руки и скрылся за дверью, тщательно за собою притворивъ ее, что̀ не скрылось отъ вниманія Эвиной.

Минутъ черезъ десять, Елатомскій уже былъ дома — и обнималъ Аксёна, который обрадовался ему гораздо болѣе, чѣмъ черномазый пудель Бавина... Карай только повилялъ хвостомъ и поглядѣлъ на молодого человѣка съ нѣкоторою благосклонностію; какъ-бы глазами и всей своей усатой мордой песъ говорилъ ему: «очень я доволенъ, что ты вернулся, но прыгать и визжать все-таки не стану... Ты не мой господинъ, и далеко не такъ пахнешь, какъ пахнетъ Бавинъ, — далеко не такъ!»

Умывшись, причесавшись и одѣвшись щеголемъ — въ лучшую свою крахмальную рубашку, и повязавши на шею атласный, черный, съ голубыми каемочками галстухъ, Елатомскій вышелъ за ворота... и, подумавъ немного, отправился къ графу Гиккелю.

Графа Гиккеля онъ не засталъ дома, но рядомъ съ нимъ нанялъ себѣ комнату и далъ за нее задатокъ хозяину-греку, съ тѣмъ, чтобъ онъ ее вычистилъ, провѣтрилъ и подбѣлилъ. «Черезъ недѣлю», сказалъ онъ греку, «я переѣду... такъ ужъ вы, пожалуйста, похлопочите».— «Все будетъ сдѣлано... все, все... не безпокойтесь», отвѣчалъ грекъ, дѣлая рукой успокоительный жестъ и разглядывая новый, атласный галстучекъ—и даже пуговки на жилеткѣ будущаго своего жильца.

Елатомскому понравилась нанятая имъ комната, не потому, чтобы она была очень для него удобна, а потому, что была оригинальна: въ маленькомъ окошечкѣ противъ двери были цвѣтныя стекла, каминъ былъ въ восточномъ вкусѣ и также размалеванъ,—тахта, или низенькій, деревянный диванъ былъ широкъ и обитъ войлокомъ; на полу лежалъ старый персидскій коврикъ, въ стѣнахъ были шкапы и полъ былъ кирпичный... «Зимой

будетъ холодно», думалъ Елатомскій, «но нечего еще думать о зимѣ».

Сосѣдство новаго знакомца, графа Гиккеля, такъ обязательно предложившаго себя въ секунданты, тоже не мало способствовало къ тому, что Елатомскій рѣшился дать задатокъ.

«Не мѣшаетъ никогда имѣть подъ рукою какого-нибудь знакомаго,—мало ли что̀ можетъ случиться!»

Дверь въ будущее обиталище нашего героя шла прямо съ деревяннаго балкона, протянувшагося во всю длину каменнаго, двухъ-этажнаго флигеля, уходившаго въ глубь двора и примыкавшаго къ другому, низенькому флигельку, гдѣ жилъ хозяинъ. Подъ балкономъ были кладовыя со сводами; остальную часть двора занимали евреи, съ ихъ семействами и съ ихъ мастерскими, гдѣ работали портные, слесаря, золотильщики, сапожники... и гдѣ на порогахъ сидѣли босоногія дѣвчонки, такія же страшно кудрявыя и смуглыя, какъ и запачканные братишки ихъ, ползавшіе по двору въ тѣни развѣшанныхъ одѣялъ, перекрашенныхъ за̀-ново суконъ и простынь, съ подозрительными желтоватыми пятнами.

Отобѣдавши въ кондитерской Карруты, вмѣстѣ съ Бавинымъ и Ниной Александровной, Елатомскій, Богъ знаетъ почему и для чего, поцѣловалъ ручку у француженки, сидѣвшей за конторкою, чѣмъ заставилъ ее покраснѣть, закурилъ сигару и пошелъ на бульваръ...

На бульварѣ, у памятника, играла военная музыка и народа было множество. Елатомскій пошелъ боковой дорожкой, видѣлъ и Хавазова, и Сашина, и другихъ своихъ знакомыхъ, и очень былъ радъ, что они, двигаясь съ толпой, его не замѣтили...

Быстро наступили сумерки... Мѣсяцъ низко всталъ надъ горизонтомъ и не обѣщалъ свѣтлой ночи. По угламъ площади затеплились фонари. Елатомскій сбѣжалъ

съ бульвара и, шагая изъ улицы въ улицу, въ полумракѣ, медленнымъ шагомъ прошелся мимо домика Меркуличей.

«Неужели я не шутя влюбленъ?» подумалъ онъ, чувствуя, какъ сильно забилось въ немъ сердце...

Онъ заглянулъ въ окна, но въ окнахъ былъ мракъ, и даже въ спальной Вѣры Георгіевны не горѣла лампадка.

«Неужели спятъ?.. А, можетъ быть, онѣ и ложатся рано, когда никто не приходитъ къ нимъ. Или... не уѣхали ли? Этотъ Меркуличъ, чего добраго, куда-нибудь спровадилъ ихъ!»

Гдѣ-то вдали раздался бой часовъ... Елатомскій сталъ считать... «Неужели только 9» подумалъ онъ: «какъ еще рано. а уже совсѣмъ темно!..»

Жажда, подъ кровомъ этой ночи, если не увидѣть, то хоть услышать голосъ Зои, овладѣла Елатомскимъ. Въ романтическомъ настроеніи духа, онъ былъ и веселъ, и, грустенъ, и, какъ ему казалось, на все готовъ.

Вотъ присѣлъ онъ на ту самую досчатую скамеечку, близъ глухой калитки, гдѣ въ тотъ же самый часъ (дней шесть тому назадъ) сидѣла Зоя, видѣла его въ темнотѣ очами души своей, даже побѣжала за его тѣнью, какъ дѣвочка за убѣжавшей отъ нея няней, и, воротившись, призналась матери, какъ тяжело ей любить, и какая она несчастная.

Елатомскій, снявши шляпу, долго прислушивался—не скрипнетъ ли дверь, не послышится ли за дверью шорохъ... и задумался.

Вдругъ онъ вздрогнулъ, хотѣлъ встать и тотчасъ же удалиться... Онъ увидалъ передъ самымъ лицомъ своимъ что-то худое, тускло-блѣдное,—чью-то головку, покрытую черной косынкой, съ букольками около висковъ, которыя

въ темнотѣ казались не то собачьими ушами, не то какими-то рожками...

— Быть не можетъ! — проговорилъ женскій, робкій голосъ... Букольки затряслись и тощая рука холодноватыми пальцами коснулась до руки его.

Елатомскій узналъ Клару Петровну.

«Чортъ возьми!» подумалъ Елатомскій: «еще, чего добраго, подумаетъ, что я на ранде-ву пришелъ!..»

— Ахъ какъ вы меня испугали!—сказала Клара Петровна, задыхаясь, прерывистымъ голосомъ.

— А, ужъ какъ вы-то меня испугали! — отозвался Елатомскій.

— Могла ли я ожидать... Вы въ тюрьмѣ...—и вдругъ... Какъ же это?

— Бѣжалъ...—прошепталъ Елатомскій.

— Бѣжали?!... Боже мой!—всплеснула руками Клара Петровна... и оглянулась.

— Бѣжалъ,—глухо подтвердилъ Елатомскій. — Скитаюсь. Шелъ вотъ мимо... думалъ, увижу въ окно хоть Вѣру Георгіевну. Никого нѣтъ—я и присѣлъ... Пойдемте, Клара Петровна. Не сдобровать мнѣ, коли увидитъ Трофимъ Евлампіевичъ... Донесетъ,—не правда ли?

— Ахъ, непремѣнно донесетъ!—проговорила испуганная Клара Петровна.

— Такъ вотъ что... я пойду къ вамъ. Вы затворите ставни и напоите меня чаемъ...

— Пойдемте... пойдемте!..

— А потомъ я переночую гдѣ-нибудь у васъ въ дровяномъ сараѣ, или хоть у васъ въ чуланѣ...

— Ахъ! это неудобно, Владиміръ Григорьевичъ... Но пойдемте, пойдемте! Я пойду впередъ, а вы за мной. Какъ вы думаете: никто не узнаетъ васъ? Бѣдная Зоя! какъ бы она была рада видѣть васъ... какъ она стра-

даетъ, ангелъ мой!... А что, если какъ-нибудь узнаютъ васъ?..

— Бѣда! опять посадятъ... А покамѣстъ ищутъ, я посижу у васъ... Идите.

— Ахъ, несчастный вы, несчастный! — сокрушенно пробормотала Клара Петровна, и пошла по тротуару, по тому направленію, гдѣ жила она.

На соборной колокольнѣ пробило «десять». Народу еще не мало попадалось на улицѣ. Клара Петровна шла, спѣша и задыхаясь, даже боялась оглядываться.

А Елатомскій, около фонаря на перекресткѣ, разглядѣлъ ему знакомую фигуру, вспомнилъ, что это Сызрановъ и остановился.

Сызрановъ нанималъ извозчика, и своимъ хриплымъ баскомъ говорилъ ему:

— Я тебѣ на водку рубль дамъ, братецъ ты мой! Только удружи.

— Да ужъ мы свое дѣло знаемъ,—отвѣчалъ извозчикъ.

— Чтобъ хорошенькая была—молодая... Слышишь?

— Да ужъ будьте спокойны... Знамо дѣло...

— Да ты въ какую-нибудь трущобу не завези меня... смотри ты!

— Помилуйте, баринъ.

Елатомскій засмѣялся и прошелъ мимо Сызранова, который испуганно оглянулся и полѣзъ въ крытыя дрожки.

«Э! да гдѣ же она?» подумалъ Елатомскій, вглядываясь въ перспективу фонарей и темной улицы.

Клара Петровна, пока онъ пріостановился, ушла такъ далеко, подгоняемая страхомъ, что, дѣйствительно, Елатомскій потерялъ ее изъ виду.

«Да ужъ идти ли мнѣ къ ней? И такъ напугалъ достаточно... Ба, вонъ и докторъ знакомый»...

На извозчичьихъ дрожкахъ, съ откинутымъ назадъ кожанымъ верхомъ, въ полумракѣ улицы, обрисовался профиль,—длинный носъ, очки... и ротъ, всегда почти полуоткрытый—и, несомнѣнно, принадлежавшій доктору и эллинисту В—у. Елатомскій громко его окликнулъ.

Полураскрытый ротъ и длинный носъ повернулись въ его сторону, рука протянулась къ козламъ,—толкнула въ спину извозчика, и лошади остановились.

— Елатомскій?

— Я... Куда вы ѣдете?

— Ѣду въ гостинницу Лондонъ, — заболѣлъ одинъ проѣзжій. А васъ выпустили?

— Да... но позвольте мнѣ сѣсть съ вами рядомъ... Довезите меня хоть до гостинницы. Вы почемъ знаете, что я выпущенъ?

И Елатомскій однимъ прыжкомъ помѣстился около доктора.

— А... батюшка... докторъ всегда все знаетъ. Князь Д—кій ѣздилъ хлопотать за васъ, Шепулянскій и... одна дама... не скажу какая... А вы думаете, что вы бы такъ скоро отдѣлались! Э! нѣ-ѣ-тъ!.. Плохо... плохо тому, за кого и похлопотать некому, плохо, плохо!.. — говорилъ докторъ, вздыхалъ и любовно поглядывалъ на Елатомскаго.

Онъ любилъ его и за то, что древній греческій языкъ былъ не чуждъ ему, и за то, что онъ хвалилъ Иліаду, и за то, что разъ позвалъ его лечить себя, и за то, что Елатомскій еще такъ юнъ — и такъ подъ-часъ гуманно говоритъ, что *подаетъ надежды*.

— А много больныхъ въ городѣ, докторъ?..

— Довольно больныхъ, довольно... весьма достаточно... не совсѣмъ чтобы очень мало, но и не очень много... А вы не поѣдете къ Ѳедорову?

— Зачѣмъ?

— А благодарить его.

— За что? за то, что онъ велѣлъ посадить меня?

— Нѣтъ, за то, что велѣлъ выпустить.

— Нѣтъ! съ какой стати?..

«Подаетъ, большія надежды подаетъ!» насупившись, думалъ докторъ: «чего добраго пропадетъ... пропадетъ... такъ-таки и пропадетъ раньше времени»...

— Помните, Елатомскій... стихи?

— Какіе, докторъ?

— «Не доцвѣлъ и отцвѣлъ — въ утрѣ пасмурныхъ дней».

— Полежаева?

— Кажется, Полежаева.

— Ну, я здѣсь сойду. Прощайте, докторъ.

Елатомскій спрыгнулъ на мостовую, и минутъ черезъ пять стоялъ уже на площадкѣ передъ театральнымъ подъѣздомъ.

Въ антрактѣ, изъ партера высыпавшая на чистый воздухъ публика группировалась на мостовой и на ступенькахъ театральнаго зданія. Кто закуривалъ сигару, кто что-то насвистывалъ, кто, засунувъ руки въ карманы, глядѣлъ куда-то вверхъ, точно ждалъ, не брызнетъ ли сверху дождичекъ; кто вытиралъ платкомъ потный лобъ, хваля своимъ пріятелямъ новаго комика.

И всю эту группу зѣвакъ, а въ томъ числѣ и Елатомскаго, остановившагося нѣсколько поодаль, освѣщалъ полумѣсяцъ, уже настолько высоко поднявшійся надъ горизонтомъ, что могъ заглянуть и въ одесскія улицы.

XXI.

Елатомскій собирался уже уходить, куда глаза глядятъ, какъ вдругъ двинулся впередъ къ подъѣзду, какъ будто кто сзади подтолкнулъ его.

— Это вы, графъ?

Графъ Гиккель, только-что вышелъ изъ театра, подъ руку съ тою же дамой, въ бѣлой бедуинкѣ, съ блѣдно-золотыми протканными каймами и въ той же красной греческой фескѣ на пышныхъ бѣлокурыхъ волосахъ.

— Ба! Mon cher!—сказалъ графъ, — вы уже на свободѣ. Ну вотъ, очень кстати... Рекомендую вамъ, кузина, того молодого человѣка, съ которымъ вы желали познакомиться.

Дама улыбнулась, протянула ему руку, ласково поглядѣла ему въ лицо, и спросила:

— Вы были въ театрѣ?

— Нѣтъ... я здѣсь случайно.

— А мнѣ,—проговорила она;—не понравилось сегодня въ театрѣ, и я хочу домой... Пойдемте къ намъ, чай пить.

Все это проговорила она по-русски, медленно, какъ-то особенно явственно произнося каждую гласную.

— Пойдемте, Елатомскій — и, пожалуйста, не церемоньтесь... Мы на всѣ эти церемоніи смотримъ, какъ на коварныя ухищренія самого дьявола, или, что еще хуже, какъ на мѣщанство, задающее тонъ.

Графъ говорилъ совершенно иначе, чѣмъ его кузина. Онъ, какъ бы сквозь зубы, процѣживалъ слова свои, также улыбался, но не глядя на того, съ кѣмъ разговаривалъ, и, если взглядывалъ, то быстро взбрасывалъ глаза свои, съ особеннымъ выраженіемъ любопытства, лукавства или насмѣшливости.

— Хотите, я уступлю вамъ мою даму? Ахъ, да... я забылъ вамъ сказать—княгиня Аделаида Корси...

Не успѣлъ онъ такимъ образомъ ее представить, какъ уже рука княгини повисла на рукѣ Елатомскаго, и всѣ трое пошли они по направленію къ бульвару, такъ какъ княгиня жила на Бульварной улицѣ.

Елатомскій не зналъ, что̀ ему говорить, и, смущенный, покорялся своей участи.

Вотъ они повернули въ калитку, подъ сквозныя ворота — и поднялись на третій этажъ, по каменной лѣстницѣ. Тамъ, въ крытой, стеклянной галереѣ, заставленной сундуками и ширмами, встрѣтила ихъ горничная, мигая, поглядѣла на Елатомскаго и, поднявъ свѣчу, проводила ихъ въ гостиную.

— Поставьте самоваръ и пошлите за Августомъ сказала княгиня.

Она занимала всего только двѣ меблированныхъ комнаты:—гостиную и спальную, съ дверями на балконъ и съ широкимъ видомъ на бульваръ и Черное море.

Въ двѣнадцатомъ часу ночи хозяйка и ея гости сидѣли на балконѣ и наслаждались прохладой.

Принесенъ былъ столикъ, на который поставили, тарелку съ поджаренымъ миндалемъ, изюмомъ и пряниками, съ инбирнымъ вкусомъ. Лакей — молодой нѣмецъ, румяный, съ висячими, рыжеватыми бакенбардами,—подалъ всѣмъ на подносѣ по чашкѣ крѣпкаго чаю — и скрылся.

Княгиня и молодые люди болтали.

Елатомскій давно уже не слыхалъ такого артистическаго, такого тонкаго переливанія изъ пустого въ порожнее.

Но самъ онъ развѣ не былъ въ игривомъ настроеніи духа—развѣ онъ былъ способенъ въ этотъ вечеръ разсуждать или о чемъ-нибудь серьезно думать?.. Онъ снова чувствовалъ себя на свободѣ—и наслаждался.

Графъ очень мило ловилъ слова его и нанизывалъ на нихъ свои собственныя, такъ ловко, что... надъ ухомъ Елатомскаго, безпрестанно, слышался свѣжій, серебристый смѣхъ молодой, красивой женщины.

Иногда они молчали—и глядѣли на темныя верхушки

акацій, на темное море, на огоньки, слабо мерцавшіе на судахъ, стоявшихъ въ карантинной гавани.

Иногда Елатомскій любовался игрою луннаго свѣта на миловидномъ лицѣ молодой женщины, на ея растрепавшихся, слегка закрученныхъ волосахъ; на ея бриллiантовыхъ кольцахъ, надѣтыхъ на блѣдные пальцы,—и едва сдерживался, чтобъ не сказать ей какого-нибудь комплимента. Графъ же подалъ ему примѣръ совершенно иного рода любезности... Онъ сталъ увѣрять свою кузину, что любитъ въ ней одни только недостатки.

— Какіе же?—спросила княгиня.

— Во-первыхъ—вы безпечны... до такой степени, что даже ночью забываете запирать ваши двери... Во-вторыхъ—довѣрчивы,—совершенно довѣряете вашей горничной и вашему Августу, который, въ эту минуту, я увѣренъ, въ погребкѣ на углу Греческой улицы, подъ жидовскую скрипку отплясываетъ французскую кадриль съ какой-нибудь горничной и суетъ ей въ руки ваши запонки. Въ-третьихъ, вы кокетка и въ особенности съ тѣми, кто не любитъ васъ. Да и мало ли у васъ такихъ пороковъ, за которые я обожалъ бы васъ, если бы не ваши добродѣтели.

— Какія же добродѣтели?

— Вы хотите быть вѣрной женой, тогда какъ вы вовсе для этого не созданы. Вы пріѣхали сюда затѣмъ, чтобы видѣться съ какой-то вашей родственницей, а я родныхъ терпѣть не могу; вы завидуете, что у ней куча дѣтей, — тогда какъ эти пострелята — вещь совершенно лишняя для особъ, подобно вамъ одаренныхъ разными милыми и привлекательными пороками.

— Да мнѣ кажется,—сказалъ Елатомскій,—что если бы на землѣ всѣ были счастливы, если бы у каждаго былъ досугъ, балконъ и серебряный чайникъ, то на землѣ и не было бы другихъ пороковъ, — кромѣ милыхъ, и

другихъ добродѣтелей—кромѣ любви къ роднымъ, да зависти къ дѣтямъ... Каждый былъ бы довѣрчивъ и не сердился бы, если бы у него пропали какія-то запонки...

— Нѣтъ,—сказалъ графъ,—этого мало, надо, чтобы всѣ были такіе же расточители, какъ я, и всѣ такія же кокетки, какъ моя кузина...

— Если я и кокетничаю, то... только съ вами... графъ.

— Это не правда. Но почему же только со мной?

— Да потому, что вы это любите. Не сами ли признались, что любите мои пороки и не любите моихъ добродѣтелей?

— Ахъ, кузина! Кто не любитъ пороковъ? Если бы я не былъ такъ пороченъ, никто бы не простилъ мнѣ моихъ долговъ—и женщины не смотрѣли бы на меня съ соболѣзнованіемъ, какъ на разорившагося, несчастнаго принца. Я ничего не скрывалъ: ни своего мотовства, ни своего разврата, ни своего бездушнаго эгоизма... и что же?—свѣтъ на рукахъ носилъ меня... Свѣтъ и теперь готовъ на рукахъ носить меня, изъ одного предположенія, что въ будущемъ, когда я получу наслѣдство, я окажусь такимъ же точно расточителемъ и развратникомъ. Кредиторы хотятъ посадить меня въ тюрьму... и будутъ презирать меня, пока я буду безвреденъ, — и какъ они же мнѣ, подлецы, поклонятся, когда я вдругъ разбогатѣю, и стану человѣкомъ вреднымъ...

— Для кого?—спросилъ Елатомскій.

— Да для нихъ же... Они опять дадутъ мнѣ сотню тысячъ въ займы, въ надеждѣ на проценты, и я опять всенепремѣннѣйше надую ихъ... Ахъ, эти кредиторы!.. Вы себѣ представить не можете, какъ они мнѣ надоѣли, и какъ, въ то же время, они веселятъ меня...

— Чѣмъ же? — спросилъ Елатомскій, для котораго

нравственный образъ графа уяснился нѣсколько, по милости его салонной откровенности.

— Да тѣмъ, что они воображаютъ, что имъ удастся засадить меня...

При этомъ черные глаза графа засверкали веселой злостью. Лунный свѣтъ выдалъ эту злость и жесткій блескъ, промелькнувшій въ зрачкахъ его.

Затѣмъ, опять наступило задумчивое молчаніе...

Съ бульвара доносилось стрекотаніе кузнечиковъ. Иногда, въ тишинѣ, слышались хрустящіе шаги, по дорожкѣ, прикрытой темными верхушками неподвижныхъ акацій. Гдѣ-то вдали, пропѣлъ пѣтухъ.

Елатомскій невольно сравнилъ вчерашнюю ночь, проведенную имъ на жесткомъ диванѣ, въ комнатѣ, вонючей и душной запертой на ночь, — съ этой волшебной ночью. Онъ не могъ оставаться равнодушнымъ ни къ этому свѣжему простору, ни къ этой тишинѣ, прерываемой мелодическимъ женскимъ, голосомъ.

Въ два часа пополуночи, вернулся онъ домой и, встрѣченный ворчаніемъ Карая, раздѣлся, легъ на свою постель и заснулъ, какъ убитый.

XXII.

А бѣдная Клара Петровна все еще не спала и не могла заснуть: вставала съ постели, подходила къ окну, прислушивалась и вздрагивала всякій разъ, когда кто-нибудь отворялъ калитку или слышались шаги по̀ двору.

Въ послѣднее время Клара Петровна уже и не думала о женитьбѣ Елатомскаго на Зоѣ. Ей даже казалось, что Зоя поступитъ умно, если его забудетъ. Эта дуэль, этотъ арестъ, и всѣ эти толки—разочаровали ее. Ясно,—подумала она,—что Елатомскій не будетъ ни министромъ, ни губернаторомъ, а если и будетъ — то

очень не скоро. Стало быть, что̀ же изъ него выйдетъ? Годится ли онъ въ мужья, если онъ такой неосторожный и пылкій. Онъ просто душка-человѣкъ, герой изъ романа—и больше ничего. Будь она молода—она бы въ него влюбилась и назначила бы ему свиданіе... но... назначить свиданіе еще не значитъ выйти замужъ. Конечно,—думала она,—Елатомскій не пьяница, какъ мой покойный мужъ, не игрокъ—и остепенится; но до тѣхъ поръ, пока онъ остепенится и сдѣлается подходящимъ зятемъ для Меркулича и его супруги,—Зоя можетъ выйти замужъ... и, можетъ быть, будетъ совершенно счастлива...

Пока она шла по улицѣ, и воображала, что Елатомскій крадется по слѣдамъ ея, она думала: слѣдуетъ ли ей послать за Зоей — и рѣшила, что не слѣдуетъ. Сводить жениха съ невѣстой — это похвально, — это не то, что сводить бѣглеца съ сумасшедшей, неопытной дѣвушкой. Она даже сомнѣвалась, слѣдуетъ ли ей принимать у себя бѣглаго.—Что̀, какъ, на самомъ дѣлѣ, онъ останется ночевать, и вдругъ, придетъ полиція—и вдругъ, всѣ узнаютъ—что онъ ночевалъ у ней... Что̀ о ней подумаютъ! Съ тѣхъ поръ, какъ она потеряла сына, ни одинъ еще мужчина не ночевалъ у нея—и вдругъ, Елатомскій! (Изъ мужчинъ—мужчина, по ея мнѣнію). Не оглядываясь, шла она—и слыша за собой чьи-то шаги, принимала ихъ за шаги Елатомскаго—и боялась.

Только у воротъ оглянулась она — и удивилась, что никого нѣтъ...

«Вѣрно отсталъ... боится встрѣчъ...» — подумала она и прошла дворомъ къ себѣ на крылечко.

На крылечкѣ она тоже подождала его, но Елатомскій исчезъ—точно провалился сквозь землю...

— Ну, дорогу знаетъ — придетъ навѣрное... гдѣ же ему ночевать. Я его, милаго, положу въ комнату сына, на диванчикѣ, сама постельку постелю ему... Завтра,

дò-ночи, не позволю ему выходить... Господи, помоги ему!...

И чѣмъ больше она ждала его—тѣмъ больше ему сочувствовала и за него боялась.

Неужели пойманъ! Чтò, если поймали и заковали! За чтò?.. Господи! Вѣдь онъ не разбойникъ, не душегубъ, не воръ... Ну, вызвалъ на дуэль, жизнью своей жертвовалъ... Ну, и выстрѣлилъ бы куда-нибудь въ сторону, чтобы человѣка не убить. Да и дуэли бы не было... За что же! за что?.. Гдѣ же справедливость! Гдѣ справедливость! Боже мой!.. И Клара Петровна, прослезившись, складывала руки, вздыхала, качала головой изъ стороны въ сторону, и, по временамъ, ждала Елатомскаго, съ такимъ напряженнымъ нетерпѣніемъ, что забывала о своемъ преклонномъ возрастѣ и воображала, что ей 17 лѣтъ, что она ждетъ не дождется того, въ кого влюблена, за чью любовь готова отдать всю свою жизнь...

Не скоро, подъ утро, заснула бѣдная, блѣдная, высохшая Клара Петровна, и на другой день, въ 11-мъ часу утра, помолившись Богу, побѣжала къ Меркуличамъ—кофе пить.

Съ какимъ замираніемъ сердца, съ какимъ сладкимъ волненіемъ узнала Зоя, что Елатомскій вечеромъ сидѣлъ у воротъ ихъ дома и, быть можетъ, также точно жаждалъ увидѣть ее, какъ она жаждала увидѣть его!..

Лучшаго доказательства, что бѣдный, молодой человѣкъ влюбленъ въ нее, трудно было бы и придумать. А если онъ влюбленъ, то... неужели она останется равнодушной къ злосчастной судьбѣ его... Нѣтъ, этого быть не можетъ!..

Долго, на одномъ мѣстѣ, сидѣла она и ничего не сказала, когда Клара Петровна простилась съ ней. Но вотъ, мать ушла на кухню, — она встала, потихоньку отъ сестеръ достала изъ кардонки свою новую шляпку, взяла

перчатки, зонтикъ, и, накрывшись вуалью, вышла на улицу.

Въ то же утро Эвина сидѣла дома и, несмотря на зной и слегка прикрытыя ставни, сидѣла за урокомъ... Цѣлыхъ три книги разныхъ авторовъ (по части ботаники) лежали у ней на столикѣ. Изъ каждой она должна была выбрать все, что̀ говорится объ одномъ и томъ же предметѣ, провѣрить, сличить, одно мѣсто пополнить другимъ и записать.

Систематическій, кропотливый трудъ былъ вовсе не по характеру Эвиной—она тяготилась имъ, и все-таки, насколько могла, занималась, чтобъ угодить *ему*.

Отъ наклоннаго положенія головы — глаза ея были немного красны, на среднемъ пальцѣ правой руки виднѣлось чернильное пятнышко. Лицо казалось сердитымъ.

Занимаясь, она ждала его, и ей было пріятно думать, что бука застанетъ ее за работой и уже, конечно, плясать не заставитъ...

Горничная скрипнула дверью, — Эвина поморщилась, велѣла подать себѣ склянку съ одеколономъ и убираться.

Акулина вынесла изъ спальни узорно-плетеную бутылочку и сказала ей:

— Тутъ пришла какая-то барышня... Прикажете принять?

— Э! Какая барышня! Скажи, что я занята... Кто такая? Ну, скажи, что я только на одну минуту могу принять ее.

Горничная вернулась въ сѣни, и пришедшей барышнѣ сказала только:

— Дома-съ. Пожалуйте...

Это была Зоя. Она слышала капризный голосъ Эвиной и минуты двѣ не рѣшалась войти.

Наконецъ, она отворила дверь. Эвина, съ недоволь-

нымъ видомъ, повернулась къ ней, прищурилась и приложила къ носу лорнетъ.

Въ черныхъ глазахъ блѣдной Зои свѣтилась робость... и еще что-то такое, чему нѣтъ имени... робость невольницы, замышляющей убійство... Такое, по крайней мѣрѣ, было выраженіе въ глазахъ ея, когда она вошла въ комнату и остановилась.

— Что̀ вамъ угодно?—обратилась къ ней Эвина, нѣсколько пораженная красотой ея.

— Извините-съ... я... я пришла... мнѣ хотѣлось видѣть васъ...

— Садитесь... (Какая миленькая!—подумала Эвина,— и ка̀къ еще молода, счастливица!).

Зоя торопливо пожала ей протянутую руку и сѣла у столика, не спуская съ нея блестящихъ глазъ, точно хотѣлось ей прочесть на лицѣ Эвиной, слѣдуетъ ли ей говорить съ ней откровенно или не слѣдуетъ.

— Я, можетъ быть, мѣшаю вамъ,—сказала она по-французски, и покосилась на книги, тетрадь и чернильницу.

Эвина обрадовалась французскому языку, такъ какъ на этомъ языкѣ она была и любезнѣе, и краснорѣчивѣе.

— Да, дитя мое...—начала она по-французски,—я занята—учусь... Но... всякая живая душа дороже мнѣ любой, самой хорошей книги. Я рада вамъ; но... не знаю, не могу понять, чѣмъ я могу быть полезной вамъ.

— Вы сдѣлаете мнѣ большое одолженіе, если вы мнѣ скажете... если вамъ что-нибудь извѣстно о Владимірѣ Григорьевичѣ.

— Объ Елатомскомъ? О немъ вы хотите спросить меня?

— Да... да... о немъ...

— Вы Зоя?.. не правда ли?

Зоя вспыхнула... но преодолѣла свое волненіе и сказала:

— Онъ, конечно, что-нибудь говорилъ вамъ обо мнѣ... И даже... — добавила она стыдливо — даже показывалъ вамъ письмо мое.

— Да, мы друзья, мы родные по духу. Мы другъ друга настолько знаемъ и любимъ, что не боимся взаимнаго суда. Но что̀ же вы хотите знать о немъ? Вы знаете, онъ сидѣлъ на гауптвахтѣ и только вчера, около двухъ часовъ пополудни, былъ выпущенъ.

— Онъ выпущенъ! — обрадованно удивилась Зоя, и разсѣянно повела глазами, точно хотѣла сказать:—какъ же это странно! Зачѣмъ же это я пришла сюда!

— Выпущенъ на всѣ четыре стороны, — засмѣялась Эвина, — и свободенъ, какъ вѣтеръ или какъ птица небесная... что̀ не жнетъ и не сѣетъ. Вчера онъ былъ такъ радъ, такъ счастливъ, что не сидитъ за рѣшеткой. Потомъ, вечеромъ,—пропалъ. Хотѣлъ быть на бульварѣ, но мы не нашли его. Вы еще не видѣлись съ нимъ?

— Нѣтъ! Мы... мы никогда съ нимъ не видимся. Онъ пересталъ бывать у насъ.

— Признайтесь, дитя мое, вы его любите?

Зоя потупилась.

Дамы, искушенныя жизнью, любятъ иногда выслушивать признанія молодыхъ, еще наивныхъ дѣвушекъ. Это, можетъ быть, напоминаетъ имъ то блаженное время, когда и онѣ были также наивны и также влюбчивы.

— Гдѣ же... и ка̀къ вы съ нимъ познакомились?

— Гдѣ?... Ахъ, да... Въ первый разъ я видѣла его въ греческой церкви, на Святой, у заутрени...

— А потомъ?

— Потомъ... не помню... Ахъ, да!.. Прежде всего я замѣтила... Мама не замѣтила, а я замѣтила: какъ, послѣ заутрени, ночью, онъ, издали, проводилъ насъ до самаго

дому... Потомъ, вдругъ, это было на Ѳоминой, пришелъ папà и привелъ его къ намъ обѣдать. Мнѣ все казалось, что онъ не даромъ съ нами познакомился и сталъ часто бывать у насъ. Зачѣмъ ему было съ нами знакомиться?! Потомъ... ужъ гораздо, гораздо позднѣе... я повѣрила глазамъ его... его благородству и написала ему то письмо... Я очень раскаяваюсь въ этомъ... Мнѣ бы вовсе не слѣдовало писать къ нему...

— Отчего же не писать, если сердце молчать не можетъ... — заговорила Нина.—Я же думаю, милая Зоя, вы не ошиблись въ немъ... Правда, онъ немного вѣтренъ, — надо отдать ему справедливость; но... никогда не сталъ бы онъ за вами ухаживать, если бы вы ему не нравились... Я даже могу утѣшить васъ... — добавила Нина, замѣтивъ слезу на рѣсницахъ Зои... Разъ, онъ признался мнѣ, что неравнодушенъ къ вамъ... И такой странный! Увѣрялъ меня, что будь вы нищая—безъ роду и племени, или будь вы хоть горничная, ему было бы легче... онъ не боялся бы своего увлеченія и отвѣчалъ бы вамъ взаимностью. Я бранила его за это—прилгала она въ эту минуту—я его очень бранила... Какъ можно такъ хитрить съ собой! Неужели надо быть нищей или падшей женщиной—говорила я, чтобы самолюбіе мужчины утѣшилось, чтобъ онъ утѣшалъ себя, воображая, что онъ не только любитъ, но и оказываетъ благодѣяніе своей любовью, своимъ великодушіемъ или своимъ безкорыстіемъ. Неужели горничныя должны пользоваться особыми правами, и, любя, можно ласкать ихъ, не опасаясь ни папà, ни мама, ни послѣдствій. И неужели, любя женщину или дѣвушку другого сословія, необходимо или жениться, или бояться ихъ какъ огня, или какъ заразы?

Личико Зои прояснилось, да и нельзя было ему не проясниться подъ музыку французской рѣчи Нины Александровны. Эвина показалась ей не только необычайно

умной, но и симпатичной, сердечной, искренней женщиной, заслуживающей полнаго ея довѣрія.

— Что же мнѣ дѣлать? говорите, совѣтуйте! — съ особеннымъ оживленіемъ пролепетала Зоя, и, если бы Эвина не успѣла отдернуть руки своей, она покрыла бы ее своими поцѣлуями.

Эвина была тронута ея порывомъ, и все забыла—и свою ботанику, и даже Бавина, который обѣщался зайти къ ней именно около этого времени. Былъ случай поговорить, повліять на молодую душу—и можно ли было ей упустить этотъ случай!

— Милая Зоя! — начала она, взявъ ее за холодныя руки, наклоняясь и приблизивъ къ лицу ея оживленное лицо свое.—Зачѣмъ мы такъ поздно познакомились? Мнѣ кажется, я бы какъ сестру полюбила васъ. Я такъ рада... такъ рада, что вы пришли ко мнѣ за совѣтомъ. Но что же мнѣ вамъ совѣтовать? Вашъ лучшій совѣтчикъ—это ваше собственное сердце. Беззавѣтно отдайтесь вашему чувству и—не бойтесь страдать. Помните, что свободу сильную и дѣйствующую надо выстрадать. Мы всѣ, особливо женщины, родимся съ такой маленькой, ничтожной долей воли или характера, такъ испорчены искусственнымъ воспитаніемъ, что малѣйшаго дуновенія вѣтерка достаточно, чтобъ опрокинуть насъ, окунуть въ грязь или дать намъ какое угодно направленіе... Нужно закалить себя въ чувствѣ и въ мысли, чтобы не безъ пользы жизнь прожить. Вѣдь намъ, бѣднымъ, во всемъ отказано. Mais la femme a aussi sa fierté et cette fierté est légitime. Но, все-таки, самая гордая женщина безъ людей и взаимности—какая жалкая, безжизненная односторонность! Кто любитъ, тотъ бери на себя не одно счастье, но и всю горечь жизни, и всѣ невзгоды—будь также силенъ мыслію, какъ сильна безсмысленная, роковая дѣйствительность. Если вы отдадитесь вашей страсти, знайте, что

ваше своеволіе ведетъ за собой много горя и надломитъ васъ, если вы не будете сильны и чисты сердцемъ.

Такъ, около четверти часа, въ томъ же тонѣ, говорила Эвина. Нужно ли добавить, что, увлекаясь теченіемъ рѣчи своей, она меньше всего думала объ Елатомскомъ... Но вліяніе Бавина уже слышалось... Она пророчила Зоѣ не одно эпикурейское наслажденіе любовью, но и посылала ее на трудъ, горе и страданіе.

Понимала ли Зоя все, что̀ говорила ей Нина? Едва ли... Но слова ея все же потрясали ее—западали ей въ душу. Ни отъ матери, ни отъ Клары Петровны, ни отъ своихъ знакомыхъ, ни разу, нигдѣ не слыхала она ничего подобнаго... Елатомскій говорилъ иногда что-то въ этомъ родѣ, но и слова Елатомскаго не производили на нее такого впечатлѣнія. Во всякомъ случаѣ, необразованная Зоя гораздо лучше поняла Эвину, чѣмъ студенты понимали Бавина.

— Я слушаю, слушаю васъ, говорите, говорите!— мысленно лепетала Зоя, и уже, конечно, Эвина воспользовалась бы своимъ вліяніемъ; но...

Отворилась дверь и вошелъ Бавинъ, слегка нагнувъ свою курчавую голову, какъ-бы боясь удариться головой о невысокую притолку.

Эвина протянула ему руку, потрясла ее, и тотчасъ же рекомендовала его Зоѣ,—какъ друга и сожителя Владиміра Григорьевича Елатомскаго.

Бавинъ молча поклонился и сѣлъ въ уголокъ, на старое кресло, у окна, въ тѣни отъ закрытаго ставня...

Зоя, большими глазами, какъ испуганный ребенокъ, поглядѣла на Бавина. Бавинъ поглядѣлъ на Нину и замѣтилъ, что давно уже щеки ея не были такъ румяны и глаза такъ веселы...

— Ну, братъ Адріанъ, я все утро сегодня работала...—сказала Нина.

— Гм! А когда же мы соберемся въ ботаническій садъ? Теперь я свободенъ, но ѣхать жарко, да тамъ и тѣни нѣтъ.

— Поѣдемъ сегодня вечеромъ.

— Гм! поглядѣть, какъ засыпаютъ цвѣты.

Зоя опять исподлобья поглядѣла на Бавина. Но бука какъ будто далъ себѣ слово ни разу не взглянуть на нее (видно замѣтилъ красоту ея). Онъ глядѣлъ только на Эвину или на свои собственные ногти.

— А когда же,—началъ онъ,—мы будемъ убираться въ дорогу... Вѣдь уже пора—насъ ждутъ, Нина Александровна.

— Скоро, Адріанъ... на той недѣлѣ.

Зоя поднялась и машинально руками поправила на головѣ своей легкую, лѣтнюю шляпку...

— А! вы уже уходите... Прощайте, дитя мое... Можетъ быть мы уже не увидимся...

— И... *онъ* ѣдетъ съ вами?—полушопотомъ спросила ее Зоя...

— Да, и онъ со мной,—отвѣчала Нина,—вообразивъ себѣ, что Зоя намекаетъ на Бавина.

Зоя вышла, шатаясь.

Проводивъ ее до крыльца, Эвина хотѣла поцѣловать ее, но Зоя схватила ее за руку... и не безъ внутренней, страшной борьбы повторила вопросъ свой.

— Вы и Елатомскаго съ собой увозите?

— Нѣтъ, онъ остается,—засмѣялась Эвина... — Онъ ждетъ, что его на Кавказъ потребуютъ...

— Ждетъ... остается... Прощайте!..

— Прощайте. Спасибо, большое вамъ спасибо, что зашли ко мнѣ, дали мнѣ поглядѣть на васъ. Прощайте.

— Кто такая?—спросилъ Бавинъ.

— Ты также, Адріанъ, никогда не видѣлъ ее?

— Никогда.

— Это та самая Зоя Меркуличъ, которая влюблена въ нашего Владиміра. И... какой онъ дурень!.. Любимъ и не пользуется!..

— Что это значитъ «не пользуется»! расширивъ ноздри, строго проговорилъ Бавинъ и устремилъ на Нину глубокіе, сѣрые, съ синимъ отливомъ глаза свои.

— Ничего... Адріанъ. Это просто значитъ, что онъ заставляетъ ее страдать безплодно и безнадежно—и это дурно, добавила она, уходя въ свою спальную.

Минуты черезъ двѣ вынесла она въ одной рукѣ зажженную свѣчу, въ другой чубукъ и набитую трубку.

— Нѣтъ безплодныхъ страданій. Любовь же, какъ и вѣра, едва ли можетъ страдать безнадежностью...—спокойно проговорилъ Бавинъ, который въ ея отсутствіе обдумывалъ ея послѣднія слова.

Затѣмъ, протянувъ чубукъ къ свѣчѣ, онъ закурилъ свою трубку, и перешелъ на диванъ, чтобъ просмотрѣть *учебную* тетрадку Эвиной.

XXIII.

Мы уже знаемъ, какъ юноша Елатомскій провелъ праздничный день своего освобожденія... Но, такъ какъ за каждымъ праздникомъ слѣдуютъ будни—будни эти начались для Елатомскаго, и начались не съ того, что онъ перешелъ къ работѣ, а съ того, что одна изъ работъ его оказалась не нужной или неудовлетворительной.

Редакція «Одесскаго Вѣстника», куда онъ послалъ фельетонъ свой, когда прочла его, въ лицѣ одного изъ своихъ представителей, пожала плечами и изобразила на лицѣ своемъ нѣчто въ родѣ знака удивленія!

Фельетонъ этотъ начинался аллегоріей всѣмъ весьма понятной и косвеннымъ намекомъ задѣвалъ людей, вообще никѣмъ не задѣваемыхъ. Затѣмъ излагалась исторія ка-

кого-то молодого человѣка, который побывалъ заграницей и затѣмъ, вернувшись къ себѣ въ деревню, отчаялся— не только за Россію, но и за все человѣчество, который ясно увидѣлъ, что русскому народу никогда не догнать Европы: если онъ будетъ догонять ее—то скорѣй устанетъ, одышку схватитъ, языкъ высунетъ, чѣмъ догонитъ. А если не будетъ догонять—умретъ отъ застоя крови или отъ паралича.

— Этого нельзя печатать!—рѣшила редакція.—Да и что это за слогъ! Какіе длинные періоды... И какъ это все неровно: то слишкомъ серьезно, то какимъ-то игривымъ слогомъ написано.

Однимъ словомъ, Елатомскій разочаровалъ редакцію, и редакція небольшой запиской разочаровала его въ свою очередь.

Затѣмъ, Елатомскій узналъ отъ Бавина о вчерашнемъ посѣщеніи Зои и отправился къ Эвиной разспросить, зачѣмъ приходила къ ней эта барышня.

— Узнать, что съ тобой,—сказала Эвина.

— А какое ей до меня дѣло!—отвѣчалъ онъ вспыльчиво и тотчасъ же мысленно обвинилъ себя.

Онъ вспомнилъ, что Клару Петровну онъ увѣрилъ въ своемъ бѣгствѣ изъ-подъ ареста, и что Зоя могла повѣрить ей... Зная же при этомъ, до какой степени Зоя дика и несообщительна, до какой степени она не привыкла говорить съ людьми, особливо съ дамами, ей совершенно незнакомыми, Елатомскій понялъ, чего это стоило бѣдной Зоѣ.

На другой день онъ пошелъ къ Кларѣ Петровнѣ, попросить у ней извиненія, и засталъ ее въ такомъ возбужденномъ нервномъ состояніи, что и самъ былъ не радъ.

Кто бы повѣрилъ, что добрѣйшая Клара Петровна

была такъ зла, что увидѣвъ его... не подала ему руки... и заговорила:

— Уходите... уходите... Владиміръ Григорьевичъ: я больна по вашей милости... Я не знаю, чѣмъ я заслужила такое съ вашей стороны поведеніе... Я уважала васъ, Владиміръ Григорьевичъ! а вы... насмѣялись... на смѣхъ меня подняли...

Клара Петровна была желта, какъ воскъ, и голова ея дрожала, кисти рукъ дѣлали какіе-то судорожные жесты. Она кашляла... чуть не плакала... и, когда Елатомскій началъ-было извиняться, вдвое сильнѣе закачала она головой и забормотала:

— Нѣтъ, нѣтъ, не прощу... не прощу... не могу я вамъ этого простить, Владиміръ Григорьевичъ! Я слишкомъ любила и почитала васъ... Вы мнѣ были все равно, что сынъ родной, и... вотъ вы какъ со мной поступили!.. Не прощу... не могу... что̀ хотите! Зачѣмъ я буду притворяться, будто бы я простила васъ... Лучше прямо говорить... я женщина прямодушная, Владиміръ Григорьевичъ.

— Ну, пойду къ Вѣрѣ Георгіевнѣ, и попрошу ее за меня заступиться...—сказалъ, наконецъ, Елатомскій, залитый горькими, неудержимыми потоками рѣчей ея, оглушенный стрекотаніемъ ея оскорбленнаго самолюбія.

— Нѣтъ, вы не пойдете къ Вѣрѣ Георгіевнѣ. Вы не можете, никоимъ образомъ не можете быть у Вѣры Георгіевны...

— Да почему же?

— Да потому, что Трофимъ Евлампіевичъ, мужъ ея... и глава! Потому что онъ запретилъ ей и своимъ дочерямъ съ вами видѣться. Вы всѣхъ оскорбили... всѣхъ!.. Трофимъ Евлампіевичъ сталъ хлопотать за васъ.. потому-что, надо правду сказать, никого Трофимъ Евлампіевичъ не любитъ, а васъ полюбилъ... и полюбилъ отъ

чистаго сердца... какъ сына родного полюбилъ васъ, Владиміръ Григорьевичъ!

— Да развѣ я просилъ его хлопотать обо мнѣ?

— Ахъ! вы не просили! Вотъ, ужъ я чего не ожидала... Развѣ надо, непремѣнно, просить о томъ, чтобъ любили насъ... Нѣтъ... вы гордый... вы язвительный человѣкъ, Владиміръ Григорьевичъ!.. Удивляюсь, что Зоя до сихъ поръ еще не раскусила васъ... Бѣдное дитя мое! Но... вы и ее разочаруете... Увидитъ она... какая вы хитрая змѣйка, Владиміръ Григорьевичъ! Извините меня, что я такъ выражаюсь...

— Ну, прощайте... Извиняю и желаю вамъ всего хорошаго,—сухо сказалъ Елатомскій, взялъ шляпу и, холодно поклонившись ей, вышелъ. А Клара Петровна залилась слезами и плакала до тѣхъ поръ, пока не слегла въ постель отъ мигрени, которая постоянно слѣдовала за каждымъ ея нервнымъ напряженіемъ.

Хоть Елатомскій и самъ боялся навѣщать Меркуличей, все же новость, что его не велѣно принимать, не могла быть пріятна для его самолюбія... Впрочемъ,—думалъ онъ,—я назвалъ Меркулича вралемъ, и Сашинъ, разумѣется, ему на меня насплетничалъ; стало быть, и Меркуличъ тоже въ правѣ на меня злиться; но это мнѣ не мѣшаетъ видѣться съ Зоей, если я захочу съ ней видѣться... Что общаго между ею и ея папенькой... между ея любовью и его исканіемъ ей жениховъ, чтобъ какъ можно дешевле сбыть ее съ рукъ!.. А если и Зоя вообразитъ себѣ, что я змѣя подколодная или что-нибудь въ этомъ родѣ, ну, и Богъ съ ней!

Вечеромъ того же дня получилъ онъ анонимное письмо, слѣдующаго содержанія:

«Берегитесь!.. на васъ стряпается доносъ, гдѣ обвиняютъ васъ въ политической неблагонадежности. Примите

мѣры, или вы будете высланы или сосланы. Вашъ другъ... Сожгите эту записку».

Елатомскій показалъ записку Бавину. Бавинъ раскурилъ ею свою трубку и совѣтовалъ ему удаляться общества... и не метать бисера передъ свиньями.

На другой день, въ воскресенье, Елатомскій отправился на одну изъ дачъ Ланжерона, гдѣ на это лѣто австрійскій консулъ въ Одессѣ основалъ свою резиденцію.

Семейство этого консула, состоящее изъ жены, тещи и маленькой дочки, было именно таково, что Елатомскій могъ въ его нѣдрахъ найти себѣ нравственное, душевное успокоеніе...

Это семейство было какое-то невиданное и неслыханное гармоническое сочетаніе образованности, ума, любви, доброты и свободы, никѣмъ во зло не употребляемой и никого не стѣсняющей.

Все это понималъ Елатомскій и чувствовалъ, что, «въ минуту жизни трудную», онъ нигдѣ не найдетъ такой простоты, такого искренняго радушія, такой непритязательной дружбы и такого порядка, о которомъ онъ, какъ москвичъ, прежде не имѣлъ никакого понятія. Все дѣлалось по часамъ въ семействѣ этого консула (еще молодого человѣка), и это нисколько не мѣшало свободѣ Елатомскаго, какъ гостя. Напротивъ, онъ зналъ, въ какіе часы поутру онъ лишній и уходилъ въ назначенную для него комнату. Онъ зналъ, что всѣ ложатся спать въ половинѣ двѣнадцатаго ночи, и съ половины двѣнадцатаго, могъ тоже, какъ ему угодно, располагать своимъ временемъ.

— Боже мой!—говорилъ имъ вслухъ Елатомскій. — Если бы всѣ были такіе, какъ вы, если бы всѣ дошли до такого нравственнаго и матеріальнаго благосостоянія—исторія бы остановилась и геній сталъ бы невозмо-

женъ, потому что не нашелъ бы матеріала для своего творчества.

— Не сглазьте,—отвѣчала ему хозяйка, — на землѣ нѣтъ прочнаго счастья. Вокругъ насъ ходятъ грозы, дуютъ бури... и метутъ мятели... Никто не можетъ поручиться, что громъ не ударитъ въ нашу кровлю, и что мятель гдѣ-нибудь на дорогѣ не захватитъ насъ; но мы не хотимъ заглядывать въ будущее и пользуемся настоящимъ.

— Ну да... а когда вся земля, все человѣчество будетъ пользоваться только настоящимъ—что̀ тогда? Счастливая неподвижность — міровой Китай, новая Небесная имперія, съ китайскими стѣнами, отдѣляющими нашу планету отъ остальной вселенной, т. е. съ стѣнами изъ непроходимаго эѳира, попрочнѣе тѣхъ каменныхъ стѣнъ, которыми китайцы думали навсегда охранить себя отъ остальныхъ государствъ и народовъ.

— Какая однакоже у васъ фантазія! Ну, такъ что-жъ... Чѣмъ это дурно!.. Только насъ тогда съ вами не будетъ, m-r Елатомскій!

— Да то дурно, что и эти эѳирныя стѣны тоже когда-нибудь рухнутъ, хоть это и самыя прочныя стѣны...

— Ну, тогда свѣто-преставленіе! — смѣясь, говорила хозяйка. Она какъ будто знала, что не скоро еще будетъ это свѣто-преставленіе и что до того времени она успѣетъ еще покормить свою дочку, распорядиться по хозяйству и совершить маленькую прогулку вечеромъ, разумѣется, подъ руку съ мужемъ, который ей дороже всего на свѣтѣ...

Тутъ никакая Эвина ничего не подѣлаетъ: всѣ ея протесты разобьются въ пухъ и прахъ, и никто даже не пойметъ, чего она хочетъ, и о какой такой любви она проповѣдуетъ.

Наконецъ, Эвина получила отъ Сызранова деньги и сама стала торопить Бавина ѣхать, сама стала укладываться, при помощи своей Акулины, которую она оставляла въ Одессѣ.

— Куда дѣвался этотъ дурень, Елатомскій? — сердилась Эвина. — Вотъ уже двѣ ночи не ночевалъ дома. Неужели труситъ и скрывается? Адріанъ... пошли за нимъ... Мы завтра ѣдемъ... Неужели мы не дадимъ ему знать, что уѣзжаемъ и желаемъ проститься съ нимъ...

— Онъ мнѣ говорилъ, что поѣдетъ къ какому-то консулу,—сказалъ Бавинъ.

Эвина послала Акулину къ Сашину узнать, гдѣ живетъ австрійскій консулъ.

Получивъ отвѣтъ, она увидѣла, что консулъ этотъ живетъ въ окрестностяхъ Одессы, на дачѣ Ланжерона, не далеко отъ публичнаго сада—около Пущинскаго павильона.

«Кого бы послать?» — подумала Эвина. И разыскивать Елатомскаго послала солдата — любовника своей горничной, который принесъ ей починенный имъ чемоданъ и спрашивалъ, нѣтъ ли еще какой работы. Вмѣсто работы, ему была вручена записка и деньги на проѣздъ.

На другой день, утромъ, въ саду, получивъ записку Эвиной, Елатомскій послалъ сказать гостепріимнымъ друзьямъ своимъ, что, не желая безпокоить ихъ, онъ съ съ ними прощается заочно и уходитъ въ городъ.

Тотчасъ же, пѣшкомъ, по берегу моря отправился онъ въ Одессу.

Онъ шелъ пустынною, глухой тропинкой, между сухимъ бурьяномъ и валунами.

Волны моря мѣрно катились и, крутясь около берега,

шумѣли и вздымали пѣну, или раскатывались тамъ, гдѣ камни не мѣшали имъ разбѣгаться по отлогому берегу.

XXIV.

За два дня до своего выѣзда, Эвина вспомнила о своемъ московскомъ тарантасѣ, и, справившись о немъ въ той самой гостинницѣ «Керчь», гдѣ она останавливалась, узнала, что тарантасъ этотъ ею самой былъ отданъ каретнику,—для починки. Но какому каретнику — она забыла...

Нужно было спрашивать, разспрашивать, бѣгать, хлопотать... Бука былъ вовсе на это не способенъ, и Эвина не даромъ горевала объ отсутствіи Елатомскаго... Онъ всегда довольно исправно выполнялъ ея порученія...

Бавинъ зналъ, что имъ слѣдуетъ выѣхать до обѣда, такъ какъ таможенный досмотръ вещей, вывозимыхъ изъ дешеваго города, на заставѣ, прекращался съ четырехъ часовъ по-полудни, а безъ досмотра нельзя было ѣхать... развѣ безъ чемодановъ и ящиковъ... да и то врядъ ли... потому что кромѣ чемодановъ и ящиковъ, есть еще карманы и всякія другія помѣщенія... Вывозились же кружева, обмотанныя кругомъ тѣла...

Эвина сдѣлала себѣ кое-какія покупки, по части женскаго туалета, и страшно устала...

Бавинъ загорѣлъ и наканунѣ отъѣзда казался совершенно коричневымъ, когда вернулся со станціи, гдѣ потребовалъ почтовыхъ лошадей на слѣдующій день, къ одиннадцати часамъ утра и, заплативъ прогоны, далъ адресъ Нины Александровны.

Въ день отъѣзда, Аксёнъ, утромъ, вынесъ чемоданы, заперъ квартиру, отдалъ ключъ хозяйкѣ и, съ помощью носильщика, перетащилъ къ Эвиной въ сѣни вещи своего барина.

А баринъ, вмѣстѣ съ Ниной Александровной, пошли завтракать въ одну изъ ближайшихъ гостинницъ и вернувшись, застали передъ воротами почтовыхъ лошадей, а дома Ивана Ивановича Сашина, который пришелъ проститься съ отъѣзжающей.

И Бавину, и Сашину, и Эвиной, всѣмъ было какъ-то не весело — никому не хотѣлось говорить... Бавину— оттого, что онъ засталъ Сашина. Сашину — оттого, что уѣзжаетъ женщина, которой онъ недавно открылъ нутро души своей и которая (такъ, по крайней мѣрѣ, онъ думалъ) одна, во всемъ городѣ, способна понимать и цѣнить его. Эвиной—оттого, что пропалъ Елатомскій, точно съ умысломъ, точно онъ не хочетъ и не желаетъ проститься съ ней.

Но, за полчаса до отъѣзда, — когда уже и лошади были пристегнуты къ тарантасу, и ямщикъ успѣлъ уже сбѣгать и выпить свою утреннюю порцію, и Карай уже былъ пойманъ, приведенъ къ Бавину на веревочкѣ и лежалъ у ногъ его, помавая бровями и тихонько взвизгивая...—вдругъ появился Елатомскій.

Онъ вошелъ потный, пыльный, растрепанный, съ покосившимся на сторону галстукомъ... и сказалъ: — Ну, слава Богу, я еще живъ, а вы еще не уѣхали.

— Наконецъ-то, дурень!—сказала Нина, которая, по своей близорукости, узнала его лишь по голосу.

— Что это съ тобой?—спросилъ его Бавинъ.

— Чуть было не убили!

— Какъ?!..

И Елатомскій разсказалъ имъ, какъ въ полуверстѣ отъ города, за карантиномъ, напали на него двое какихъ-то мазуриковъ, какъ одинъ изъ нихъ замахнулся на него кистенемъ, и размозжилъ-бы ему голову, если бы онъ не успѣлъ во-время схватить его за руку. Какъ онъ боролся, какъ вынули у него изъ кармановъ портмоне, но-

совой платокъ и кожаную сигарочницу... Какъ на той же самой тропинкѣ появился солдатъ, тотъ самый, что принесъ ему письмо отъ Эвиной... Какъ, увидѣвъ его, грабители его бросили и, выронивъ портмоне, спрятались въ ямахъ, за бурьяномъ и камнями; и какъ онъ радъ, что деньги его, 44 рубля, для него не пропали, ибо, если бы пропали деньги, ему ничего больше не оставалось бы, какъ самому пойти въ разбойники.

— Я бы умеръ отъ одного страху, — замѣтилъ Сашинъ...—Неужели вы не струсили?

— Разумѣется, струсилъ—сознался Елатомскій. Да и досталось мнѣ... рука болитъ... Вотъ этой рукой всѣми силами держался я за кистень, а этой рукой отбивался отъ кулаковъ... Еще двѣ-три минуты—и мнѣ бы капутъ... По счастью, не были они вооружены ножомъ... или, кто знаетъ, можетъ быть хотѣли только оглушить меня ударомъ—и оставить меня жить жизнію идіота—отъ потрясенья мозга.

— Богъ спасъ тебя, Владиміръ!

Въ это время солдатъ въ кухнѣ разсказывалъ Акулинѣ и Аксёну, какъ онъ спасъ молодого барчонка и— дай Богъ ему здоровья — получилъ отъ него три рубля на водку.

— Берегитесь, — сказалъ Сашинъ Бавину, который, молча, ласкалъ своего Карая и исподлобья, дружелюбно поглядывалъ на своего бывшаго сожителя.—Берегитесь, какъ бы у васъ сзади чемоданъ не отрѣзали! Не только ночью,—среди бѣлаго дня, онъ можетъ пропасть у васъ.

— Ну... придется тогда въ Москвѣ новое платье шить,—равнодушно отозвался Бавинъ.

— Тебѣ не жаль насъ? — спросила Эвина Елатомскаго, завладѣвъ рукой его и любуясь имъ.

Елатомскій хотѣлъ ей что-то отвѣчать, но удержался—посмотрѣлъ на Сашина и только сказалъ.

— Пиши ко мнѣ, сестра, какъ можно чаще... Бавинъ записалъ мой адресъ.

— И ты... братъ, будешь писать ко мнѣ?

— О! да, если буду живъ... и если клеветники и доносчики не сошлютъ меня.

Сашинъ поглядѣлъ на Елатомскаго, и Елатомскій почувствовалъ на себѣ взглядъ его...

«Не его ли это анонимное письмо?» подумалъ онъ.

— Поклонись Москвѣ, сестра... да кланяйся Игнатьеву... Эхъ! вотъ былъ товарищъ! Не найти мнѣ такого товарища!

— А я... развѣ я дурной товарищъ? — спросила Эвина.

Елатомскій ничего не отвѣтилъ — только пожалъ ей руку.

— Владиміръ! Кланяйся отъ меня Зоѣ и скажи ей, что я желаю ей надолго, если не навсегда, побѣдить твое капризное сердце и, затѣмъ, не пускать тебя одного шляться, чортъ знаетъ гдѣ, по глухимъ одесскимъ окрестностямъ.

Сашинъ навострилъ уши.

Елатомскій дорого бы далъ, чтобы въ эту минуту его не было. Онъ чувствовалъ, что этотъ толстякъ... точно онъ у него въ зубахъ увязъ и мѣшаетъ его откровенности, какъ свидѣтель ненадежный и завистливый.

— Ничего я не скажу Зоѣ, — проговорилъ Елатомскій,—да и врядъ ли увижусь съ ней... Папенькѣ ея уже извѣстно, что я недостаточно вѣжливо отношусь къ вранью его—и... онъ... запретилъ меня принимать...

— Какой онъ скотъ, должно быть... — замѣтила Эвина.

— Препятствія разжигаютъ любовь, — замѣтилъ налившійся кровью Сашинъ.

— Оскорбленное человѣческое достоинство гаситъ всякое чувство...—сказалъ Елатомскій.

— Не всегда,—сказалъ Сашинъ, вздохнувъ, и подумалъ: — у меня должно быть нѣтъ ни малѣйшаго достоинства...

— Готово-съ...—сказалъ Аксёнъ.

— Ну... надо ѣхать!—сказала Эвина... вставая, но не выпуская изъ рукъ своихъ руку Елатомскаго—точно въ эту минуту, послѣ страшной опасности, угрожавшей его жизни, она боялась за судьбу его — и онъ сталъ дорогъ ей.

«Кого же это она любитъ?» — подумалъ про себя Сашинъ.—Бавина или Елатомскаго?

— Ну, прощай, братъ!—сказала Эвина, и поцѣловала Елатомскаго въ губы, какъ родная сестра — и подала руку Сашину...

Сашинъ поднялся съ креселъ. Печать меланхоліи лежала на всемъ лицѣ его.

— Что же вы мнѣ-то скажете!.. Мнѣ-то, что̀ вы скажете на прощанье!..

— Что мнѣ сказать вамъ, милый Иванъ Ивановичъ... развѣ одинъ совѣтъ я дамъ вамъ... Не противорѣчьте сами себѣ, не боритесь съ своей собственной добротой и честностью. Вы человѣкъ хорошій, но энергіи въ васъ нѣтъ... и вы отъ этого страдаете...

— Аминь! — сказалъ Сашинъ... Вы правы... нѣтъ у меня никакой энергіи... и я страдаю...

Онъ чуть не прослезился и крѣпко пожалъ руку Эвиной.

Въ это время Бавинъ прощался съ Елатомскимъ... И никогда еще губы его такъ крѣпко не сходились съ губами друга и товарища.

Наконецъ, всѣ вышли на улицу. Эвина первая взлѣзла въ тарантасъ и сказала:—Садись, Адріанъ.

Адріанъ зашелъ съ другой стороны, не торопясь помѣстился возлѣ нея и казался сконфуженнымъ.

Аксёнъ поднялъ Карая за спину, и Карай, побарахтавшись на воздухѣ, благополучно спустился на заднія лапы, между Бавинымъ и его спутницей, и тотчасъ же рядомъ съ лицомъ ея уставилъ свою усатую, черную морду, съ высунутымъ краснымъ языкомъ.

Елатомскій опять пожалъ руку Эвиной. Богъ знаетъ, почему кошки скребли у него на сердцѣ: ему хотѣлось смѣяться и плакать,—хотѣлось и удержать отъѣзжающихъ, и какъ можно скорѣй разстаться съ ними, и уже не видѣть ихъ.

— Не пропади, братъ Елатомскій!—говорила, съ чувствомъ, Эвина.—Будь счастливъ, будь свободенъ отъ всѣхъ мелочей жизни... Эти мелочи хуже цѣпей желѣзныхъ.— Люби Зою — она тебя очень любитъ... Но береги себя отъ сѣтей лукаваго... Не продавай за деньги ни своей зависимости, ни своихъ убѣжденій. Прощай, братъ!

Елатомскій опять замѣтилъ слезы на щекахъ ея... поцѣловалъ ей руку и отошелъ.

Хлопнулъ бичъ... Тарантасъ слегка треснулъ, захрустѣлъ и тронулся.

Аксёнъ уже сидѣлъ на козлахъ и крестился на соборную колокольню.

Акулина стояла у воротъ, пригорюнившись. Эвина оставила ей паспортъ и обѣщала прислать вольную; но Акулинѣ все же стало грустно по деревнѣ, по родной избѣ и березовой рощѣ.

Тарантасъ завернулъ за уголъ и пропалъ.

Позабывши Сашина, Елатомскій побѣжалъ домой... но нашелъ дверь запертою.

Дѣвка хозяйская, жидовочка Гайза—увидѣвъ его, побѣжала за ключомъ, и, минуты черезъ двѣ, Елатомскій уже стоялъ среди опустѣвшихъ комнатъ, среди пыли,

рваной бумаги, какихъ-то пустыхъ стклянокъ и разсыпавшагося по полу табаку, вмѣстѣ съ золой и разбитой глиняной трубочкой.

Ему стало грустно и жутко...

Но вотъ, изъ передней отворилась дверь и вошла хозяйка лѣтъ 30-ти, полная, круглолицая еврейка, съ крупными губами и круглыми бровями, надъ сѣрыми, также круглыми глазками.

Она прибѣжала посмотрѣть—цѣла ли мебель.

— Неужели думаете вы, — сказалъ ей Елатомскій, когда она прошла въ комнату, гдѣ спалъ Бавинъ, и поглядѣла на стору, — неужели вы думаете, что Бавинъ увезъ вашъ диванъ?

— Ай!.. нѣтъ, я этого не думаю.—Нѣтъ, какъ можно...—произнесла она, на ломаномъ языкѣ, опуская стору.—Я такъ уважала господина Бавина... Я такъ только—взглянуть... Отчего же вы не хотите здѣсь остаться?.. Я бы такъ была рада. Я бы вамъ еще мебель поставила...

— Нѣтъ, зачѣмъ мнѣ три комнаты. Я уже нанялъ одну... маленькую... съ меня довольно...

— А може, женитесь... вотъ вамъ спальня... вотъ гостиная... вотъ вамъ все... Я бы занавѣски красныя дала вамъ...

И, лукаво прищуря одинъ глазъ, хозяйка кокетливо поглядѣла на Елатомскаго.

— Нѣтъ, ужъ вы пошлите лучше вашу Гайзу за носильщикомъ.

— Гайзу... Сейчасъ!..—Она выбѣжала послать Гайзу—и опять, Богъ знаетъ для чего, вернулась къ Елатомскому.

Елатомскій нашелъ, что уже чемоданъ его затянутъ ремнями. Подушка принесена съ гауптвахты и связана вмѣстѣ съ одѣяломъ. Книги тоже перевязаны, и даже

двѣ забытыхъ имъ сигары лежатъ на столѣ, возлѣ хозяйскаго подсвѣчника.

«И что это за странность», думалъ онъ, «вся Одесса говоритъ мнѣ про женитьбу, да про женитьбу!

— А вы здоровы?—спросила его хозяйка.

— Нѣтъ—руки, ноги точно переломаны.

— Ай, ай!—вздыхая, заговорила молодая хозяйка, и не довѣряя словамъ юноши, поглядывала то на него, то въ окно на дворъ... то опять, Богъ знаетъ для чего, уходила въ бывшій кабинетикъ Бавина, съ опущенной сторой.

Но Елатомскій былъ не въ такомъ настроеніи духа чтобы замѣчать или отвѣчать на ея заигрыванія.

XXV.

Было около полуночи, а Елатомскій все еще не спалъ (вообще говорятъ, плохо спится на новомъ мѣстѣ).

Наконецъ, погасилъ онъ свѣчу. И дверь, запертая изнутри желѣзною задвижкою, и узенькій каминъ, съ лѣпными украшеніями въ восточномъ вкусѣ, и растворенный, стѣнной шкапъ, и его собственное платье, вмѣстѣ съ носками повѣшенное на спинку плетенаго стула, и самъ Елатомскій — погрузились въ непроглядную темноту.

— «Ну, буду спать!» подумалъ Елатомскій.

Но чуткость слуха его, среди ночной тишины, казалось, возрастала вмѣстѣ съ тоскливымъ чувствомъ одиночества, и онъ никакъ не могъ уснуть.

Какъ всѣ впечатлительные люди, онъ скоро отвыкалъ отъ старыхъ и скоро привыкалъ къ новымъ впечатлѣніямъ. По-неволѣ, постоянство не было однимъ изъ его добродѣтелей, но переходъ отъ однихъ впечатлѣній къ другимъ раздражалъ его.

Мысль, что онъ уже не встрѣтитъ завтра ни Бавина, ни Эвиной, ни даже Аксёна; что Вѣра Георгіевна уже не посмѣетъ его принять къ себѣ; что Зоя,—влюбленная Зоя, не будетъ до самыхъ воротъ провожать его;—мысль, что у него во всей Одессѣ нѣтъ уже ни одного человѣка, къ которому онъ могъ бы относиться съ прежнимъ довѣріемъ, однимъ словомъ, цѣлый рядъ мыслей, изъ которыхъ ни одной бы онъ не высказалъ, наводилъ на него хандру, и хотѣлось ему заснуть, какъ можно скорѣй, чтобъ, какъ можно скорѣй, ни о чемъ не думать.

Но какія-то насѣкомыя стали кусать его. Какіе-то шорохи стали ему слышаться. За стѣной налѣво кто-то простоналъ, и такъ внезапно, такъ плачевно, какъ-будто отъ боли и жалобы. Затѣмъ, слабо отозвался въ ушахъ его мягкій стукъ руки или ноги, ударившейся объ стѣну.

За стѣной направо кто-то ходилъ; подъ поломъ бѣгали, скреблись и возились крысы; у камина скрипѣлъ сверчокъ.

Елатомскій хотѣлъ зажечь свѣчу, чтобъ найти и унять этого сверчка-нахала, потому что скрипъ его уже сталъ надоѣдать ему; но спичекъ онъ не нашелъ и остался въ той же темнотѣ, къ которой уже привыкли глаза его и могли уже разглядѣть слабое пятно свѣта на томъ мѣстѣ, гдѣ было окошечко изъ разноцвѣтныхъ стеколъ,—а это окошечко было надъ самой головой его.

Было душно, но вѣтеръ завылъ въ трубѣ камина, и отворить дверь на балконъ Елатомскій не рѣшался. Къ тому же, онъ чувствовалъ легкій ознобъ и ноющую боль въ рукахъ, покрытыхъ синяками съ самаго утра, когда отбился онъ отъ двухъ грабителей, покусившихся на жизнь или на тощій кошелекъ его.

Поздно, очень поздно, удалось заснуть Елатомскому; но и поутру не удалось ему выспаться.

Въ семь часовъ, раздался стукъ въ дверь. Елатомскій

вскочилъ, босикомъ подбѣжалъ къ порогу, ухватился за задвижку и закричалъ:

— Кто тамъ?

— Я, я.

— Кто—вы?

— Я—я—я...

— Да что за чортъ! Почемъ я знаю, кто ты!..

Онъ отодвинулъ задвижку, опять вскочилъ въ свою тахту и прикрылся одѣяломъ.

Отворилась дверь: ослѣпительный блескъ солнечнаго лѣтняго утра, вмѣстѣ съ тепломъ, ворвался въ его комнату, и на порогѣ показалась старуха, смуглая, сморщенная, косматая.

Въ качествѣ служанки, вошла она за сапогами и платьемъ.

Потомъ принесла мѣдный тазъ и мѣдный кувшинчикъ съ водой для умыванія.

Наконецъ, притащила походный, на выгнутыхъ ножкахъ самоварчикъ, напустила чаду и скрылась.

Елатомскій хотѣлъ-было заговорить съ ней, но безуспѣшно. Старуха была или глуха, или не расположена къ болтовнѣ, да и по-русски едва говорила: «я свое дѣло знай! я свое дѣло знай!» Вотъ все, что̀ услыхалъ Елатомскій на свою просьбу— никогда такъ рано не будуть его, и на вопросъ,—кто живетъ въ сосѣднемъ нумерѣ налѣво.

Заваривши чай, Елатомскій вышелъ на крыльцо или на деревянный балконъ, который оканчивался у воротъ лѣсенкой, ступенекъ въ двѣнадцать; вышелъ онъ на солнце простоволосый, въ однихъ шароварахъ, безъ сюртука и галстука.

Слишкомъ чиниться было не съ кѣмъ. Весь дворъ, какъ улей, кишѣлъ мастеровыми, жидами и ихъ семействами. Неряшество было образцовое, да и пухъ какой-

то леталъ по двору, точно прорвалась чья-то перина или новую подушку набивали новымъ пухомъ. Пахло чеснокомъ и жженымъ кофе, и этотъ запахъ, къ счастію, заглушалъ всѣ другіе запахи.

«Ну, пошла теперь другая полоса моей одесской жизни!» подумалъ Елатомскій. «Тутъ уже не пахнетъ ни Гегелемъ, ни Жоржъ-Зандомъ... Что-то будетъ! Цо то бензе, цо то бензе!

Елатомскій зѣвнулъ и вернулся въ свою комнату пить чай и одѣваться, чтобъ идти. Но куда идти и зачѣмъ идти—онъ и самъ не зналъ.

Продлись такимъ образомъ молодая жизнь его, и Елатомскій излѣнился бы и сдѣлался бы шелопаемъ. И сколько русскихъ людей излѣнилось и сдѣлалось шелопаями только потому, что умственный трудъ не дался имъ, а другому труду никто ихъ не научилъ, и никто по части какой бы то ни было работы не нуждался въ нихъ. Для всякаго юнаго дворянина того времени было два исхода для того, чтобы совершенно не заплѣсневѣть,—это или быть героемъ времени, влюбляться, влюблять и донжуанствовать, или служить—и добиваться денегъ, чиновъ, орденовъ и власти. Нечего и говорить, что первое поприще въ нѣкоторомъ родѣ было поэтичнѣе второго, настолько же, насколько Печоринъ привлекательнѣе Сквозника-Дмухановскаго, насколько разочарованіе лучше пошлаго самодовольства. Вспомнимъ, при этомъ, что въ пресловутые, сороковые годы не было еще ни мировыхъ посредниковъ, ни адвокатовъ, ни присяжныхъ повѣренныхъ, ни земскихъ дѣятелей, ни концессій, ни желѣзно-дорожныхъ управленій, ни частныхъ банковъ, словомъ, ничего такого, въ чемъ современные россійскіе джентльмены могутъ находить пищу для своей дѣятельности—и, при этомъ, потирая руки, говорить: мы не зѣваемъ, мы работаемъ, мы боремся или, по мѣрѣ силъ нашихъ, со-

вершаемъ гражданскіе подвиги, и слава нашихъ именъ ничѣмъ не уступаетъ славѣ вашихъ ученыхъ и вашихъ писателей.

Могъ ли бы Елатомскій, потирая руки, говорить въ то время: я совершаю гражданскій подвигъ, ибо служу подъ начальствомъ Хавазова, пріучаюсь гнуть шею, взятки брать и пр. и пр.

Не оттого ли онъ такъ идеализировалъ все, что̀ дѣлается на Кавказѣ, стремился туда и думалъ, что тамъ, и только тамъ, онъ не будетъ баклуши бить.

Съ этими мечтами въ головѣ, засѣлъ онъ писать письма на Кавказъ, сообщилъ Уютину свой новый адресъ, и уже готовился свои письма отнести на почту.

Вдругъ, по досчатому полу балкона послышались тяжелые шаги.

Въ дверяхъ появилась какая-то фигура, длинная, мругая, съ бровями толще пальца, съ маленькими, тараканьяго цвѣта глазками, и въ густыхъ, во всю щеку щетинистыхъ бакахъ.

Незнакомецъ вошелъ, снялъ свою треугольную шляпу, осмотрѣлся, поглядѣлъ на Елатомскаго, развернулъ какую-то бумагу, про себя прочелъ ее и спросилъ:

— Вы господинъ... какъ бишь того, Владиміръ Елати... Елати... Ела—тимской?

— Я «Елатомскій», что̀ вамъ угодно?

— Да такъ, мнѣ угодно поглядѣть на васъ.

Елатомскій поглядѣлъ на него, какъ на привидѣніе. Тревожное недоумѣніе отразилось на всемъ молодомъ, блѣдномъ лицѣ его.

— Что̀ такое? Зачѣмъ я нуженъ вамъ?

— Вы-то, зачѣмъ мнѣ нужны? Ха! вы мнѣ не нужны, я такъ пришелъ.

— Ну, и уходите,—проговорилъ Елатомскій, мотнувъ головой по направленію къ двери.

— Нѣтъ, я еще немножко посижу у васъ...

И полицейскій преспокойно, поправивъ шпагу, сѣлъ на стулъ и сталъ оглядывать стѣны.

Елатомскій, съ бьющимся сердцемъ, сталъ слѣдить за его движеніями, и когда глаза ихъ встрѣтились, посѣтитель усмѣхнулся, потомъ принялъ строгое выраженіе и проговорилъ:

— Долженъ же я знать, кто вы такой, и что̀ вы такое?

— Зачѣмъ?—спросилъ Елатомскій.

Онъ едва удерживался отъ гнѣва и вспышки, не зная, что̀ все это значитъ. Мысль, что этотъ господинъ съ тѣмъ и пришелъ, чтобъ опять его за что-нибудь арестовать, заставила его поблѣднѣть и умѣрить страстное желаніе—вытолкать его за дверь.

— Я, господинъ Елат... Тьфу пропасть! Бѣда съ этими польскими фамиліями! Никакъ не могу запомнить вашей фамиліи.

— «Елатомскій».—И я вовсе не полякъ—я русскій.

— Я, господинъ Елатомскій, могу и не говорить вамъ, зачѣмъ я здѣсь. А я здѣсь, изволите видѣть, по службѣ.

— Да какая же это служба,—врываться въ чужую квартиру и безобразничать.—Я не знаю, кто вы, зачѣмъ вы, и ни малѣйшаго желанія не имѣю съ вами знакомиться.

— Да что вы сердитесь! Позвольте! Я, можетъ быть, и самъ не желаю съ вами знакомиться. А знать васъ—это мой долгъ, потому-что я квартальный... Понимаете?

— Не понимаю.

— Не понимаете?

— Развѣ здѣсь такое обыкновеніе, чтобы всѣ квартальные заходили въ каждую квартиру и всѣмъ говорили грубости?

— Грубости! Какія грубости! Что вы? Я еще оченно вѣжливъ съ вами, а вы тутъ приплетаете какія-то грубости! Васъ велѣно взять подъ надзоръ полиціи, и я...

— Какъ! подъ надзоръ полиціи! — сдвинувъ брови, вскрикнулъ Елатомскій и вскочилъ со стула, какъ ужаленный.

— Да, также, — тоже сдвинувъ брови и глядя исподлобья, отозвался квартальный.

— Я! подъ надзоръ!—За что?

— А ужъ этого я не знаю — значитъ, за что-нибудь...

— Я сейчасъ ѣду къ полицмейстеру и спрошу его.

— А вы знакомы съ нимъ?

— Еще бы!

Елатомскій сталъ ходить по комнатѣ, какъ звѣрь, очутившись въ клѣткѣ, увидѣлъ свою шляпу и надѣлъ ее на голову.

«Я съ ума сойду», думалъ Елатомскій.

— Ну, что-жъ, надзирайте! Можетъ быть, вамъ приказано сдѣлать обыскъ у меня.—Что же вы не дѣлаете обыска?

— Э! Кабы обыскъ! нѐшто бы я одинъ пришелъ! съ понятыми бы... Да и приказанія такого не было... Велѣно надзирать—ну, я и надзираю.

— И часто вы будете такъ надзирать?

— А когда мнѣ вздумается.

— Да вамъ вздумается каждый день раза по-три заходить ко мнѣ!

— А, можетъ быть...

— Нѣтъ, ужъ пусть лучше придутъ и меня обыщутъ, какъ вора, какъ фальшиваго монетчика, какъ какого-нибудь негодяя или измѣнника! Пусть! Совѣсть у меня чиста, и я ничего не боюсь—и васъ не боюсь.

— Да что вамъ меня бояться-то! Я не тигра и не

левъ—людей не ѣмъ. Я такъ только, на всякій случай, пришелъ на васъ поглядѣть. А то скажутъ: «Елатинскій, Елатинскій», а я и не знаю, кто такой Елатинскій.—Ну, прощайте, больше мнѣ нечего у васъ дѣлать. А къ полицмейстеру не ходите. Нѐшто къ Ѳедорову — къ генералъ-губернатору, его высокопревосходительству, или къ полковнику Черкесову—ну, это еще, пожалуй! А то, на чтò вамъ полицмейстеръ!

— А на то, чтобъ онъ оградилъ меня отъ своеволія полицейскихъ чиновъ.

— Какого своеволія! Э! да вы того! Ну, прощайте!

И квартальный вышелъ, одной рукой придерживая шпагу, а другой надѣвая треугольную шляпу съ кокардой, вродѣ какъ у факельщика, идущаго передъ гробомъ, во время погребальной процессіи.

XXVI.

Едва онъ ушелъ, Елатомскій бросился на свою тахту въ совершеннѣйшемъ отчаяніи. «Вотъ»,—думалъ онъ,—«не сдѣлаю я никому зла, и у меня враговъ не будетъ. Чтò же это,—какъ не сѣти враговъ—Хавазова, Сашина, можетъ быть, Меркулича, можетъ быть, и еще десятка, сотни... доносятъ, клевещутъ, явно хотятъ меня запутать, погубить, съ ума свести!

«Боже мой, Боже мой! Зачѣмъ я въ Одессѣ?.. И это самый либеральный, самый, такъ-сказать, европейскій городъ нашъ! Что же дѣлать? Бѣжать! — но куда бѣжать? Я — я подъ надзоромъ! Ждалъ ли я такого безчестія!»

У Елатомскаго на глазахъ показались слезы. Какъ и всѣ молодые люди, онъ страшно преувеличивалъ свое несчастіе — докапывался причинъ, подозрѣвалъ тайные

ковы и замыслы, и казалось ему, легче въ тюрьмѣ сидѣть, легче быть въ солдатахъ, чѣмъ подъ надзоромъ.

Опять надѣлъ онъ шляпу и уже совсѣмъ собрался идти къ полицмейстеру, какъ вошелъ къ нему графъ Гиккель.

Елатомскому такъ было тяжело, и такъ скверно на душѣ, что ему показалось — этого графа самъ Богъ послалъ. Онъ высказалъ ему свое новое горе,

Графъ весело оскалилъ зубы и сказалъ, что онъ тоже подъ надзоромъ своихъ кредиторовъ, и что это нисколько не мѣшаетъ ему жуировать, даже, напротивъ, доставляетъ ему нѣкоторое удовольствіе.

— Главное, — заговорилъ графъ, стоя у порога, въ своей соломенной шляпѣ,—главное—нуженъ тактъ. Вотъ, вы сейчасъ съ-горяча хотите бѣжать къ нашему милѣйшему полицмейстеру и этимъ напакостите самому себѣ жестоко, т. е. уроните себя въ его глазахъ. Онъ добрый малый, но пороху не выдумаетъ, и, непремѣнно, подумаетъ, что вы отъ него зависите, что держать васъ въ этой зависимости—его прямая обязанность. Но я ужъ васъ научу, что дѣлать!

— Что же мнѣ дѣлать! неужели и тогда молчать, если этотъ варваръ, какъ въ свою спальню, будетъ, каждый день входить въ мою комнату и надзирать, какъ я умываюсь, какъ я надѣваю брюки, къ кому пишу и проч.

— Не жалуйтесь, Боже васъ сохрани, а такъ, при случаѣ, смѣясь, слышите, непремѣнно, смѣясь, разскажите при полицмейстерѣ эту исторію и всю эту сцену съ квартальнымъ, представьте въ самомъ комическомъ, карикатурномъ видѣ. Сдѣлайте видъ, что вамъ наплевать, и повѣрьте, всѣ, кто будетъ слушать васъ, придутъ въ негодованіе — и полицмейстеръ тоже придетъ въ негодо-

ваніе, и даже воскликнетъ: этого быть не можетъ, вы шутите!

— Откуда вы набрались такой житейской мудрости? И если вы такъ разсудительны, то какъ понять, что вы пріѣхали въ Одессу, что васъ здѣсь за долги преслѣдуютъ.

— А гдѣ же лучше?—Я, cher m-r Елатомскій, долженъ во всей Европѣ и вездѣ мнѣ было бы хуже, чѣмъ здѣсь, кромѣ Константинополя да Аѳинъ, куда я и проберусь всенепремѣннѣйше. Я съ тѣмъ и живу въ Одессѣ, чтобъ удрать или въ Турцію или въ Грецію. Буду скитаться, пока батюшка не вздумаетъ помереть — у него много денегъ, а скупъ онъ, какъ гарпагонъ, и старъ, какъ Мельхиседекъ. Зажился старикъ.

Елатомскаго слегка покоробило такое нетерпѣливое ожиданіе родительской смерти; но все же слова графа не могли не подѣйствовать на него успокоительно. Въ немъ самомъ была практическая жилка, и онъ мысленно согласился съ графомъ, что бѣжать, запыхавшись, къ полицмейстеру, значитъ явно признать его своимъ единственнымъ заступникомъ и покровителемъ.

— Но, графъ, вы другое дѣло, вы знаете за что̀ васъ караулятъ и чего отъ васъ добиваются; а я!

— Да что толку, если вамъ и скажутъ за что!

— Какъ, развѣ я не могу оправдаться!

— Не можете.

— Почему?

— Да потому, что нельзя же оправдываться въ своихъ невольныхъ чувствахъ, мысляхъ и убѣжденіяхъ, а, можетъ быть, они-то имъ и не нравятся... Ну, какъ я оправдаюсь предъ своимъ родителемъ: получилъ я отъ него тридцать тысячъ, а прожилъ слишкомъ триста, даже не понимаю, въ чемъ тутъ преступленіе. Въ Одессѣ я долженъ всего на всего около сорока тысячъ. Пустяки,

въ сравненіи съ Вѣной, Парижемъ и Гамбургомъ. Сидѣть-бы мнѣ тамъ въ каменномъ мѣшкѣ, если бы не я первый прочелъ въ газетахъ, что отецъ не платитъ моихъ долговъ и покорнѣйше проситъ не вѣрить мнѣ. Можетъ быть, онъ и правъ, старый шутъ, съ своей точки зрѣнія; но и я правъ. Однако, извините, я долженъ сію минуту забѣжать въ греческую кофейную.

— Въ какую греческую кофейную?

— А вы ни разу тамъ не были?

— Ни разу.

— Пойдемте, и если у васъ есть лишнихъ три копѣйки, угостите меня кофеемъ, и мы... мы кое-что придумаемъ.

Графъ плутовски подмигнулъ ему глазомъ. Елатомскій взялъ шляпу, перчатки и вышелъ.

— Ба! вы запираете комнату! Это зачѣмъ? — спросилъ графъ. — Оставьте дверь настежь и повѣрьте, что все будетъ цѣло.

— А если обокрадутъ?

— Да если будете запираться, то, чего добраго, вообразятъ, что у васъ и серебро, и золото. Развѣ не видите: дворъ — жидовское царство: надуть васъ надуютъ, но обокрасть — никогда... Если же увидятъ, что вы и дверей своихъ днемъ не запираете, то даже и надувать васъ не станутъ. На ночь запирайтесь, пожалуй; особливо коли вдвоемъ... Мало ли кто можетъ зайти,—какой-нибудь забулдыга, вашъ же пріятель, вздумаетъ не кстати затесаться къ вамъ...

— Или кварташка,—сказалъ Елатомскій.

— Или жена кварташки, — перебилъ графъ, и оба захохотали.

— Нѣтъ, я все-таки запру мою дверь, — подумавъ, сказалъ Елатомскій: — тамъ у меня письма. Не хочу, чтобъ читали ихъ въ моемъ отсутствіи.

— Охота вамъ письма писать!

Греческая кофейная помѣщалась на одномъ изъ угловъ Ришельевской улицы. Это была низенькая, но довольно просторная комната, вся заставленная столами, разнокалиберными стульями, деревянными табуретами и съ утра до обѣда биткомъ набитая иностранцами: матросами съ купеческихъ кораблей, шкиперами разныхъ націй— итальянцами, греками, армянами, жидами и англичанами. И какихъ костюмовъ не встрѣчалось тамъ, начиная съ чалмы и коричневой куртки изъ верблюжьяго сукна, вышитой синей, узенькой тесьмой или красными шнурочками, до лаковой, твердой какъ козырекъ, круглой и низенькой шляпы на бекрень, или до длиннополаго нѣмецкаго сюртука и бѣлаго галстуха. Все это курило, играло въ засаленныя карты, въ кости и домино, но вело себя необыкновенно чинно и не мѣшало купцамъ толковать между собой о биржевыхъ дѣлахъ или коммерческихъ сдѣлкахъ.

Елатомскій и графъ нашли себѣ мѣсто только у самой двери, да и то по милости двухъ янки, которые только-что встали, разумѣется, не для того, чтобъ кому-нибудь уступить свои стулья, а для того, чтобъ расплатиться и выйти.

Каждыя десять минутъ, среди пьющихъ, кейфующихъ и играющихъ, изъ заднихъ дверей появлялся мальчикъ, въ сѣрой запачканной блузѣ, косой, сутулый, рыжій и весь испещренный коричневыми веснушками; онъ очень ловко, съ помощью длинныхъ желѣзныхъ щипцовъ, разносилъ раскаленный уголь, и кричалъ, какъ бы торгуя огнемъ: ȍгонь!—ȍгонь!—ȍгонь! Заслыша это восклицаніе, длинные чубуки протягивались, и къ трубкамъ, набитымъ табакомъ, то турецкимъ, то южно-американскимъ, то мелко-крошеннымъ, то висящимъ длинными, желтыми прядями, прикладывался раскаленный уголь, и мальчикъ,

шагая черезъ ноги, до тѣхъ поръ повторялъ свое восклицаніе: ôгонь! пока не убѣждался, что всѣ трубки и всѣ сигары закурены.

— Тутъ не русскій духъ, и не Русью пахнетъ,— замѣтилъ Елатомскій.

Черезъ минуту, не спрашивая, хотятъ они или не хотятъ, передъ ними, на столикъ поставили двѣ чашки, въ видѣ низенькихъ ступочекъ, изъ плохого фарфора, и изъ громаднаго кофейника, съ узенькимъ и длиннымъ горлышкомъ, полилась въ нихъ струя густого, горячаго кофе.

О сливкахъ и сухаряхъ въ этой кофейной, казалось, и помина не было. Елатомскій, по-неволѣ, долженъ былъ отвѣдать эту черную кофейную гущу; которая отзывалась горечью, и, по его русскому вкусу, въ чашкѣ было мало сахару. Графъ, не мало скитавшійся по востоку, напротивъ, находилъ, что лучше такого кофе ничего и быть не можетъ.

Допивая свою чашку, графъ безпрестанно поглядывалъ куда-то въ толпу, и когда закурилъ узенькую, въ видѣ чернаго корешка, австрійскую сигару, тотчасъ же покинулъ Елатомскаго, пробрался въ самый уголъ и примостился около какого-то, очевидно, восточнаго человѣчка въ красной фескѣ, коричневаго отъ загару, съ рубцомъ на лбу, съ длиннымъ носомъ и длинными черными усищами.

Елатомскій замѣтилъ, что графъ тотчасъ же вступилъ съ нимъ въ разговоръ и даже показалось — что-то ему передалъ.

Коричневое лицо въ фескѣ подозрительно покосилось на двухъ жидовъ съ козлиными бородками, съ помятыми цилиндрами на затылкахъ и съ необыкновенно широкими спинами, пустило изо-рту клубъ табачнаго дыму и что-то сунуло себѣ за-пазуху.

Елатомскій всему этому не придавалъ никакого значенія, удивлялся только юркости графа, который даже въ этой демократической кофейной нашелъ себѣ какого-то пріятеля.

Онъ всталъ, вышелъ на тротуаръ и сѣлъ подъ навѣсъ на скамейку, посреди которой была начерчена шахматная доска, съ черными квадратиками, уже истертыми десятками тысячъ людей, которые на нее присаживались.

«Гдѣ-то теперь наши?» — подумалъ Елатомскій о Бавинѣ и Эвиной. И опять припомнилось ему, что онъ подъ надзоромъ полиціи, и онъ вообразилъ, что никто не можетъ поручиться за дальнѣйшую судьбу его, и что угроза Хавазова — сослать его, вовсе не такая пустая фраза, чтобъ можно было смѣяться и—только смѣяться!

— О чемъ это вы задумались, Елатомскій?—сказалъ ему графъ и сѣлъ по другую сторону шахматной доски съ истертыми, черными клѣтками.

— Да развѣ это порокъ, по-вашему—задумываться?

— А замѣтили вы, что задумчивые люди по бо̀льшей части порядочные рохли. Вотъ, въ родѣ вашего Сашина. Кто способенъ быстро соображать, тотъ никогда не бываетъ задумчивымъ.

— Можетъ быть.

— Слушайте. Гдѣ сегодня гулянье вечеромъ — въ Палероялѣ или на бульварѣ?

— Не знаю.

— Кажется, на бульварѣ. Ну, да это все ровно!— Слушайте! Къ вечеру нарядитесь франтомъ, зайдите къ моей кузинѣ, возьмите ее подъ руку и ступайте гулять такъ, чтобы всѣ васъ видѣли, и, главное, будьте веселы... торжествуйте!..

Елатомскій чуть рта не разинулъ—до такой степени изумили его совѣты графа.

— Хорошо,—сказалъ онъ,—я очень радъ, но что изъ этого?

— А! вы ничего не понимаете! Исполните мой совѣтъ, и помяните мое слово, что не вы къ полицмейстеру, а полицмейстеръ первый подойдетъ къ вамъ и съ вами заговоритъ.

— Почему вы это знаете?

— А ужъ такъ.

— Да княгиня, можетъ быть, и не пойдетъ со мной?

— О! не пойдетъ! Почему же? Вы ей очень нравитесь, да вы еще и не знаете, какая она актриса.

— Актриса?

— Да.

— Какую же она при этомъ будетъ роль играть?

— Предоставьте ей играть роль, какую ей вздумается. Ей нельзя навязывать ролей—это вдохновенная женщина и съ чутьемъ... Спросите ее, почему она сама пожелала съ вами познакомиться? Чутье!..

На щекахъ Елатомскаго заигралъ румянецъ. Его сильно заинтересовали слова графа и предстоящій вечеръ.

— Исполню все, что вы мнѣ посовѣтуете, графъ. Богъ васъ знаетъ, что вы за человѣкъ; но кажется мнѣ, что играть людьми, также какъ вы играете своей судьбой, — вы великій мастеръ. Можетъ быть, въ эту минуту вы и на мнѣ играете.

— Какъ на флейтѣ, — засмѣялся графъ. — Я буду играть, а васъ будутъ слушать и скажутъ: вотъ такъ флейта! Ха-ха!

— Согласитесь, впрочемъ, что для меня это вовсе не лестно!

— Да ужъ лестно или нелестно, а я васъ выручу — и кварташка носу къ вамъ не покажетъ... Увѣряю васъ.

— Вы думаете?

— Да объ этомъ и думать не стòитъ.

— Ну, и не будемъ объ этомъ думать. А что, скажите по совѣсти, влюблены вы здѣсь въ кого-нибудь?

— То-есть, вы хотите спросить меня, влюбленъ ли я въ княгиню Аделаиду Корси — вопросъ нескромный, но понятный. Вы сами боитесь въ нее влюбиться.

Елатомскій вспыхнулъ. Графъ поглядѣлъ на него, и продолжалъ, не останавливаясь.

— Не будь вы мой сосѣдъ и пріятель, — я бы на васъ рукой махнулъ, но я бы не совѣтовалъ вамъ воспылать къ ней страстью. Волочитесь сколько вашей душѣ угодно, но не воспылайте. Потому что, чего добраго, она одурачитъ васъ.

— На себѣ испытали,—улыбнувшись, замѣтилъ Елатомскій.

— И на себѣ испыталъ.

— И не пришли въ отчаяніе?

— Я никогда ни отъ чего не прихожу въ отчаяніе а ужъ отъ любви и подавно. Черезъ двѣ недѣли меня здѣсь засадятъ въ тюрьму, въ долговое отдѣленіе. И Богъ знаетъ, сколько времени мнѣ придется тамъ высидѣть, — и чтò же? замѣчаете ли вы, что я хандрю или скучаю? А вы, — вы и недѣли не высидѣли на гауптвахтѣ, — а похудѣли такъ, какъ будто горячку вынесли.

Такъ съ полчаса болтали между собой наши пріятели.

«Этотъ графъ — великая каналья», думалъ про себя Елатомскій, идя домой за письмами. «Какіе, однако-жъ бываютъ люди! Чтò общаго между нимъ и Бавинымъ? этотъ—выжига, а тотъ — философъ... Только нельзя не признаться, что въ моемъ положеніи этотъ выжига скорѣй поможетъ мнѣ, чѣмъ десятки философовъ».

Онъ отперъ свою комнату, распечаталъ одно письмо въ Тифлисъ и приписалъ къ нему цѣлыхъ двѣ страницы, о томъ, чтò случилось съ нимъ по-утру. Онъ удивительно

ловко и живо изложилъ утреннюю сцену съ квартальнымъ, потому именно, что не сочинялъ ее, не задавался никакой задачей, а просто писалъ письмо къ тому самому Уютину, который больше всѣхъ въ Одессѣ хлопоталъ о немъ, объ его урокахъ и объ его будущности.

XXVII.

Добрая, романтическая Клара Петровна была такъ раздражена поступкомъ Елатомскаго, что, чѣмъ больше она объ этомъ думала, тѣмъ сильнѣе билось ея сердце, а въ глазахъ навертывались слезы оскорбленнаго самолюбія.

Хотя она и говорила Вѣрѣ Георгіевнѣ: «Богъ его прости, какъ я его прощаю», но это нисколько не мѣшало ей разочаровывать Зою и пророчить ей всякія напасти, если она не перестанетъ думать объ Елатомскомъ.

Это человѣкъ безъ сердца, неблагодарный человѣкъ,— говорила она.—Я ли его не обожала, я ли не принимала участіе въ судьбѣ его, — и что̀ же? ничего, кромѣ насмѣшки, не дождалась».

Но Зоя не только продолжала думать о своемъ миломъ Елатомскомъ, — она вся, съ ногъ до головы, была наэлектризована мечтой о немъ, особливо съ того незабвеннаго для нея утра, когда она побывала у Эвиной. Мысль, что она любима, все больше и больше укоренялась въ ней, и дразнила и подсказывала ей, что не будь она Меркуличъ, не слыви богатой невѣстой, а будь просто бѣдной дѣвушкой, да живи гдѣ-нибудь на чердакѣ, и Елатомскій не боялся бы прижать ее къ груди своей, и пламенная страсть ея увѣнчалась бы полною взаимностью.

Вѣра Георгіевна, выслушивая жалобы и нареканія друга своего, Клары Петровны, ничего не говорила, была

точно въ воду опущена,—все о чемъ-то вздыхала, морщила маленькій лобикъ свой, вязальной спицей почесывала у себя въ затылкѣ или за ухомъ и... ничего...

Бѣдная Вѣра Георгіевна!

Она по-прежнему любила Елатомскаго, который такъ непохожъ на ея другихъ знакомыхъ. Она сама Богъ знаетъ чего бы не дала, чтобы только услыхать его голосъ, его веселыя, откровенныя рѣчи,—и, право, вынесла бы отъ него десять такихъ насмѣшекъ, изъ которыхъ Клара Петровна и одной не вынесла.

Мало того, она была увѣрена, что Зоя, ея милая Зоя, увлеклась за предѣлы всякаго благоразумія, и что уже нѣтъ ей возврата.

И эта мысль укоренилась въ ней съ того же самаго утра, когда Зоя отправилась къ Эвиной. Она не знала, куда вдругъ на цѣлыхъ два часа пропала изъ дому дочь ея.

И когда та вернулась сіяющая, съ блестящими глазами и какъ-бы вся трепещущая отъ прикосновенія волшебнаго жезла, Вѣра Георгіевна долго не рѣшалась спросить ее: «Зоя, гдѣ ты была?»

Наконецъ, рѣшилась.

— Гдѣ ты была, Зоя? — спросила она ее уже подъ вечеръ, съ подозрительной нѣжностью заглянула ей въ глаза и вздохнула.

Зоя потупилась и молчала.

— Ты у *него* была?—спросила мать. И этимъ вопросомъ подсказала ей новую ложь.

— Не спрашивайте, мама... Не доводите меня до признанія...

— Лучше признайся, Зоя.

— А если я признаюсь?

И Зоя вопросительно поглядѣла на мать.

«Что̀ ей сказать?» подумала про себя Вѣра Георгіевна.

«А что, если я солгу?» подумала про себя Зоя.

— Увѣрена ли ты въ *немъ*, Зоя?

— Въ комъ, мама?

— Въ Елатомскомъ.

— Ни въ комъ я такъ не увѣрена, мама!

— Ты у него была?.. Что̀ же ты молчишь?

— Поклянитесь, мама, что вы не будете проклинать меня.

— Никогда... никогда, Зоя, что̀ бы ни случилось, никогда я не буду проклинать тебя.

— А что, если я и вправду... была у него... и... цѣловалась съ нимъ... и...

— Боже мой, милостивый! Лучше хоть тайно отъ отца обвѣнчайся съ нимъ. Ты и не подозрѣваешь, Зоя, какія могутъ быть страшныя послѣдствія!

— Ахъ, мама! ничего я такъ не желаю, какъ пострадать... Я такая грѣшница, такая грѣшница, что если я не буду страдать, Богъ не проститъ меня.

— Господи! Мать пресвятая Богородица, въ кого ты уродилась!..

— Ну, довольно, мама... Я призналась, и ты не сердись... Поцѣлуй меня... крѣпче, крѣпче поцѣлуй!.. Ахъ, ради Бога, не плачь! Развѣ ты не видишь, что еще никогда, никогда мнѣ не было такъ весело!

И Зоя подбѣжала къ раскрытому фортепіано и громко заиграла вальсъ, — единственный вальсъ, который она знала наизусть и играла недурно.

Мать поглядѣла на нее, какъ на безумную, въ слезахъ ушла къ себѣ въ комнату и стала молиться.

Вотъ почему Вѣра Георгіевна ни слова не говорила и съ стѣсненнымъ сердцемъ слушала Клару Петровну, которая, сидя передъ кофейникомъ, потряхивала своими

букельками, жаловалась на Елатомскаго и хвалила Трофима Евлампіевича за то, что онъ не велѣлъ своей женѣ его принимать.

Узнавши, что вечеромъ на бульварѣ играетъ военная музыка, Зоя упросила мать идти гулять.

«Ей хочется повстрѣчать его, поглядѣть на него», подумала Вѣра Георгіевна, припоминая свою собственную молодость и первую, свою неудавшуюся, горькую любовь.

— Ну, пойдемъ. Эй, вы, Люля, Юля! одѣвайтесь, — мы на бульваръ гулять идемъ.

Дѣвочки тотчасъ же бросились принаряжать себя. Зоя осталась въ томъ же платьѣ, надѣла только шляпку, натянула на руки перчатки и взяла зонтикъ.

Съ семи часовъ на бульварѣ звучали духовые инструменты, билъ турецкій барабанъ, и звенѣли бубны. Съ семи часовъ капельмейстеръ, въ военномъ сюртукѣ безъ эполетъ, отбивая тактъ, приподнималъ и опускалъ кисти своихъ рукъ, дирижируя полковымъ оркестромъ, и толпа гуляющихъ своими пестрыми группами заливала широкую дорожку бульвара и площадку передъ колоссальной, подпирающей крутой берегъ моря, лѣстницей,—монументъ, вѣчно напоминающій графа Воронцова, который воздвигъ ее.

Кромѣ пріѣзжихъ, которыхъ въ это лѣто было особенно много, тутъ можно было встрѣтить и бѣлокураго остряка Льва Пушкина, и живую руину — князя Шаликова, и генерала Ахлестышева, добрѣйшаго изъ генераловъ, и княженъ Гагариныхъ, и княгиню Долгорукую, и Хавазова, и Сашина, и полицмейстера, и жандармскаго полковника, и даже Меркулича, вмѣстѣ съ Сызрановымъ.

Вечеръ былъ восхитительный. Рано повѣяло свѣжестью, рано взошелъ надъ моремъ полный мѣсяцъ и по

волнамъ до самого горизонта серебряной дорогой ознаменовалъ свое воздушное путешествіе.

Богъ знаетъ, о чемъ шла рѣчь между пріѣзжими помѣщиками, помѣщицами, ихъ сынками и дочками, но между одесситами только и было толковъ, что о княгинѣ Корси.

Она блистала, она увлекала взоры всѣхъ, она бѣсила великосвѣтскихъ дамъ оригинальностію своего дорогого костюма, и своимъ кокетствомъ, она повергала мужчинъ въ недоумѣніе. Она шла уже подъ-руку не съ графомъ Гиккелемъ, а съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, — не съ Елатомскимъ ли? Какъ, неужели съ Елатомскимъ? Съ тѣмъ самымъ, что вызывалъ на дуэль Хавазова, и который былъ посаженъ за это?—Да, да, съ тѣмъ самымъ, съ тѣмъ самымъ!!

И разступались мужчины передъ этой молодой парочкой, и лорнировали дамы—и завидовали, и сплетничали, и шушукали.

— Да гдѣ же графъ Гиккель, — можетъ быть, онъ боленъ?

— Ничуть не бывало!—онъ тутъ гдѣ-то шляется, мы сейчасъ его видѣли.

— Ишь, подцѣпилъ!.. Губа-то, знать, не дура,—проворчалъ Хавазовъ, сидя на одной скамеечкѣ съ Сашинымъ.

— Не то, что мы съ вами,—пробурчалъ завистливый Сашинъ.

— Фатъ, фатъ, вашъ Елатомскій! А еще демократа корчитъ. Чортъ его возьми!

— Я тебѣ говорилъ, что этотъ арестъ послужитъ къ его же выгодѣ. Ради Бога, арестуйте меня за что-нибудь!—промямлилъ Сашинъ.

Вдругъ онъ всталъ и пошелъ на-проломъ сквозь толпу,

краснѣя, пыхтя и отдуваясь. Передъ нимъ промелькнуло личико Зои.

Долго не замѣчала Зоя, что около нея пыхтитъ и отдувается Сашинъ.

— А, каковъ?.. каковъ? А?.. — забормоталъ онъ. — Каковъ!

— Какъ здѣсь много сегодня. Ужасъ, какъ много!— пролепетала Зоя.

— А видѣли вы Елатомскаго? А? Каковъ! Подходилъ онъ къ вамъ?

— Нѣтъ,—отвѣчала Зоя.—А вы подходили къ нему?

— Нѣтъ, зачѣмъ я первый подойду къ нему. Да и какъ же я подойду, когда онъ такъ торжествуетъ. Видѣли, съ какой красавицей ходитъ подъ руку?

— Онъ и самъ не хуже...

— Отчего это всѣмъ вѣтренникамъ такое счастье?

— Кто же это вѣтренникъ?

— Какъ кто? Да нашъ другъ — Владиміръ Елатомскій.

— Отчего?—ускоренными шагами догоняя мать, спросила Зоя.

Сашинъ тоже ускорилъ шаги свои; но ему не удалось отвѣтить Зоѣ: широкимъ и жирнымъ туловищемъ своимъ натолкнулся онъ на другое туловище, тоже весьма почтенныхъ размѣровъ: нѣкто, богачъ Роконаки, тотчасъ же опустилъ ладонь свою на плечо Сашина и напомнилъ ему, что сегодня вечеромъ у него въ домѣ *игра*, и чтобъ онъ этого не забылъ. Такъ Сашинъ и не догналъ увертливой Зои.

XXVIII.

Всякій юноша, такъ сказать, студентъ, еще не совсѣмъ остывшій, конечно, былъ бы очень радъ вести подъ-

руку элегантную красавицу и такимъ образомъ обращать на себя вниманіе публики,—и, конечно, Елатомскій ощущалъ въ самолюбивомъ сердцѣ своемъ нѣчто въ родѣ пріятнаго щекотанія... Но онъ далеко еще не былъ настолько отполированъ свѣтомъ, чтобы прикидываться простымъ, совершенно равнодушнымъ — и въ то же время—любезничать или «строить куры».

Лицо его было, повидимому, гордо и весело, но мысленно онъ вовсе не былъ расположенъ къ тому, чтобы занимать свою даму какими-нибудь разсказами или тѣшить слухъ ея пошлыми комплиментами...

Но, какъ видно, хорошенькая княгиня и не требовала отъ него никакой болтовни, или твердо была увѣрена, что пожелай она разговорить его, — и онъ бы разговорился. Въ краткихъ словахъ, между прочимъ, она разсказала ему, что родилась въ Молдавіи, рано вывезена отцомъ въ Петербургъ, гдѣ и училась въ Смольномъ. Затѣмъ тотчасъ же увезена была заграницу, рано вышла замужъ за австрійскаго фрейгерра и фабриканта, который ровно три дня и три ночи любилъ ее больше денегъ; затѣмъ она не мало вращалась въ свѣтѣ, была на многихъ водахъ, гдѣ лечился ея мужъ, пробовала играть въ рулетку, но проигралась и бросила; пробовала играть въ любовь—и также бросила: узнала людей, узнала, что возбуждать страсти—для женщины это то же, что̀ для мужчины добиваться власти и почестей; но что властвовать надъ страстями гораздо труднѣе, чѣмъ надъ подчиненными или рабами; что она совсѣмъ почти забыла русскій языкъ и едва знакома съ русской литературой. За то она знакома лично съ m-me du Devant (Жоржъ-Зандъ) и находитъ, что для французскихъ женщинъ произведенія ея слишкомъ возвышенны, а для русскихъ — слишкомъ соблазнительны.

Все это было разсказано безъ всякой связи, и Ела-

томскому казалось, что у этой барыни природнаго ума хватитъ на тридцать одесскихъ барынь, да еще и съ мужьями ихъ—на придачу.

И Елатомскій никакъ не могъ понять, отчего всякій разъ, когда на бульварѣ показывались золотые полковничьи эполеты полицмейстера, и всякій разъ, когда молодое и румяное, съ карими глазами, лицо его обращалось въ ихъ сторону, графиня дарила его такими долгими, задумчивыми взглядами, такъ томно улыбалась и опускала рѣсницы, что каріе глаза полковника раскрывались шире, и онъ (какъ будто совѣсть его мучила) самъ потуплялъ глаза и отходилъ въ сторону...

«Что это она съ нимъ продѣлываетъ?»—думалъ Елатомскій, который, конечно, при встрѣчѣ съ полицмейстеромъ очень вѣжливо ему поклонился, и съ его стороны удостоенъ былъ не только наивѣжливѣйшимъ поклономъ, но и какимъ-то движеніемъ правой руки въ бѣлой, замшевой перчаткѣ, движеніемъ, которое можно было понять слѣдующимъ образомъ: «очень радъ, очень радъ видѣть васъ, но не подхожу къ вамъ потому, что вы заняты... не хочу мѣшать вамъ, милѣйшій!»...

«Ну, такъ и я же буду кокетничать», — подумалъ Елатомскій, когда увидѣлъ, что въ толпѣ прямо на него идетъ семейство Меркуличей, и прямо въ глаза ему глядятъ, черные, какъ ночь, и яркіе, какъ звѣзды, глаза Зои.

Но едва ли Елатомскій въ эту минуту кокетничалъ. Кровь сама собой прилила къ щекамъ его, сердце забилось, какая-то жгучая жалость къ молодой дѣвушкѣ охватила его душу, и онъ невольно отвѣчалъ ей такимъ же взглядомъ, даже разъ обернулся, чтобы посмотрѣть на нее и обернулся въ то самое мгновеніе, когда и она обернулась.

И Зоя не кокетничала, потому что любила и потому

что (не странно ли) умѣла лгать и не умѣла притворяться.

Не оттого ли это, что лгать выучилъ ее отецъ, прислуга, сестры и, наконецъ, случай, — а притворяться, играть роль холодной, благовоспитанной барышни еще никто не выучилъ.

Что касается до княгини и красоты ея, то едва ли Зоя успѣла и разглядѣть ее; но Елатомскій успѣлъ разглядѣть и оторопѣлое, точно испуганное лицо Вѣры Георгіевны, и глупо насмѣшливыя, полудѣтскія, полубабьи лица меньшихъ дочерей ея, даже ихъ коротенькія бѣлыя платьица и голубыя ленты.

«Нечего сказать!» продолжалъ думать Елатомскій, «пріятно будетъ будущему мужу Зои, если только онъ будетъ человѣкъ порядочный, имѣть такихъ сестрицъ или belles soeurs! Дрянь, большая дрянь, будутъ эти существа женскаго пола, когда онѣ выростутъ. Онѣ и теперь дрянь, онѣ и теперь дочки, достойныя своего папеньки».

Ясно, что не столько Зоя, сколько вся обстановка ея жизни ему претила или стала претить съ той минуты, когда онъ поближе, да попристальнѣе разглядѣлъ ея семейную жизнь.

А что̀ значила эта обстановка для развитыхъ юношей сороковыхъ годовъ и до какой степени они были щекотливы, это можно доказать фактами: одинъ изъ нашихъ молодыхъ тогдашнихъ писателей, вдругъ разлюбилъ молодую женщину,—за что̀ бы вы думали? За то, что она разъ при немъ завтракала и кусочекъ жиру прилипъ къ ея щекѣ;—другой не женился на дѣвушкѣ, въ которую онъ былъ влюбленъ, только потому, что разъ при немъ она поцѣловала котёнка. При этомъ вспомните непростительную щепетильность Тургеневскаго героя, влюбленнаго въ Асю. Къ счастью, эта барская брезгливость и при-

чудливый нюхъ остались весьма за немногими, чуждыми идей или вѣяній послѣдняго десятилѣтія.

Графъ Гиккель былъ русскій развѣ только потому, что умѣлъ говорить по-русски. Богъ его знаетъ, къ какой націи принадлежалъ онъ, владѣя почти-что всѣми, не только европейскими языками, но и турецкимъ и даже новогреческимъ. Память у него была замѣчательная; по желанію отца, благоговѣвшаго передъ императоромъ Николаемъ, началъ онъ свою службу въ гвардіи, потомъ состоялъ при русскомъ посольствѣ въ Константинополѣ и, разумѣется, ничего не дѣлалъ. Потомъ перешелъ на службу къ молдавскому господарю Кази, присталъ къ его врагамъ, и долженъ былъ выѣхать. Затѣмъ отправился въ Парижъ, путешествовалъ по Египту и жилъ въ Каирѣ, былъ годъ тому назадъ въ Одессѣ и блисталъ своею роскошью, своими обѣдами, своимъ волокитствомъ à la Казанова и своею щедростью. Затѣмъ опять пропалъ и зимой, черезъ Варшаву, прикатилъ вдругъ въ Одессу, безъ денегъ, и сразу былъ осажденъ кредиторами.

Это былъ человѣкъ на все способный и ни на что не годный, простой въ обращеніи и хитрый, утонченно-вѣжливый и смѣлый до наглости, иногда злой, иногда добрый и откровенно безнравственный.

Это послѣднее его качество почему-то нравилось нѣкоторымъ женщинамъ, особенно тѣмъ, которыя всячески старались навести его на путь спасенія и кончали тѣмъ, что сами нравственно погибали въ его сѣтяхъ.

Пока Елатомскій прохаживался по бульвару съ княгиней Корси, графъ Гиккель раза два подсѣлъ на скамеечку, къ одной барынѣ, нѣкоей Капитолинѣ Александровнѣ Чертилиной.

Барыня эта была почти старуха: блѣдно-желчное, страстное, черноглазое лицо ея дышало энергіей и каза-

лось злымъ или холоднымъ, какъ высѣченное изъ мрамора лицо римской матроны. Темное платье ея безъ всякой претензіи на моду, издали казалось траурнымъ. Ея черные, на-половину сѣдые волосы прятались подъ чепецъ или подъ шляпку, украшенную какимъ-то красненькимъ цвѣточкомъ, съ вѣчно-распущенными лиловыми лентами, которыя должны были завязываться въ бантикъ у ея подбородка, но никогда не завязывались... Говорили, что разъ шляпку эту снесъ вѣтеръ и долго бы катилась она по пыльной мостовой, если бы не наткнулась на фонарь, гдѣ ее и подхватилъ какой-то франтъ и долго не зналъ, куда дѣвать ему это сокровище. Ясно, что Чертилина была чудачка, но чудачка суровая; у нея былъ какой-то подленькій, невзрачный мужъ, который безвыѣздно жилъ въ деревнѣ, спалъ въ конторѣ и не смѣлъ выходить изъ ея повиновенія. Злые языки распускали, будто бы она, здороваясь съ нимъ, говорила ему: «Здравствуй, дорогое мое ничтожество!», да и то, если была въ хорошемъ расположеніи духа. Дѣтей у нея не было; была одна воспитанница, которая сбѣжала и вышла замужъ за станового пристава.

Чертилина пріѣзжала въ Одессу каждое лѣто, привозила съ собой много денегъ, много помогала бѣднымъ, много тратила, постоянно останавливалась на одной и той же квартирѣ и, повидимому, избѣгала общества.

И эта-то барыня, на склонѣ лѣтъ своихъ, почувствовала нѣчто въ родѣ страсти къ графу Гиккелю.

Потому ли, что она никогда никого не любила,—вѣчно подъ ледяной корой таила огонь души своей, или просто, ради оправданія старой русской пословицы: сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро?

Графъ долго заходилъ къ ней безъ всякой цѣли, кромѣ одной: — хорошо закусить и выпить стаканъ или два лучшаго французскаго лафита и выкурить при этомъ

дорогую гаванскую сигару изъ ящика, нарочно для него купленнаго, словомъ, съ цѣлью ублажать плоть свою въ такія минуты, когда у него въ карманѣ не было, буквально, ни одной полушки.

Чтобы не скучать у ней, графъ иногда разсказывалъ ей о своихъ любовныхъ похожденіяхъ и, когда замѣтилъ, что старухѣ это нравится, пересталъ чиниться и сталъ иногда вдаваться въ такія циническія подробности, что не только Бавинъ,—Елатомскій бы покраснѣлъ, если бы графъ и съ ними точно также сталъ откровенничать.

— Вотъ ты жилъ, ты жилъ, ты не то, что̀ другіе, и себя, и другихъ потѣшилъ,—говорила ему Капитолина Алексѣевна. Она на правахъ пожилой женщины,—говорила ему «ты», видѣла въ немъ героическую натуру, подозрѣвала въ немъ презрѣніе къ богатству и къ деньгамъ, и воображала себѣ, что это презрѣніе есть не что иное, какъ сознаніе такихъ неоцѣненныхъ душевныхъ и физическихъ качествъ, такихъ сокровищъ ума и сердца, передъ которыми золото—прахъ и тлѣнъ, а женщины—тряпки.

— Очень я рада, что ты прожился и все-таки не сдѣлался пьянчужкой, все-таки не истощилъ себя, какъ иные—нѣкоторые... и все-таки всѣ тебя любятъ, и я люблю тебя, люблю и жалѣю.

И нельзя было не жалѣть. Хитрый графъ иногда такими мрачными красками описывалъ ей свое положеніе въ Одессѣ, близкій срокъ векселямъ, гнѣвъ отца, лишеніе милліоннаго наслѣдства и будущее свое заключеніе въ долговомъ отдѣленіи одесскаго острога, что старуха не разъ задумывалась, какъ бы помочь ему!

Никогда не ссорилась она съ графомъ и никогда не читала ему никакой морали; но съ того самого дня, когда въ Одессѣ появилась княгиня Корси и стала на улицѣ по-

являться подъ руку съ графомъ, неожиданно для нея самой, старуха почувствовала припадки ревности.

— Не ври, не ври!—говорила она графу,—не ври, что это жена твоего кузена. Вовсе она не родня тебѣ. До сихъ поръ ты былъ со мною чистосердеченъ. Какъ на духу, всю душу свою передо мной выворачивалъ и вдругъ—врать сталъ.

Графъ давно уже замѣчалъ, что эта херсонская матрона неравнодушна къ его цыганскому лицу, чернымъ глазамъ, чернымъ курчавымъ волосамъ и бѣлымъ, какъ слоновая кость, зубамъ.

«Ну, такъ что-жъ», думалъ графъ, «пусть себѣ страдаетъ—какое мнѣ дѣло!»...

Послѣднія претензіи, заявленныя графу на счетъ княгини, чуть-было его не взбѣсили, и весьма возможно, что графъ съ этой чудачкой, безъ малѣйшаго сожалѣнія, прервалъ бы всѣ сношенія, если бы вдругъ въ головѣ его не сложился замыселъ...

«Кузина не привезла съ собой лишнихъ денегъ, и она помочь мнѣ не можетъ,—сообразилъ графъ.—Поможетъ выпутаться изъ бѣды только эта старушенція... О! какъ это кстати, что она влюблена въ меня!» Графъ самъ прикинулся неравнодушнымъ къ ней, самъ подлилъ масла въ огонь и—только боялся одного—пропустить тотъ срокъ, когда ему нужны будутъ деньги.

И вотъ, къ этой-то самой барынѣ, Капитолинѣ Алексѣевнѣ Чертилиной, подсѣлъ теперь графъ.

Стало темно. Мѣсяцъ зашелъ за облака. Вдали гдѣ-то, можетъ быть, на той самой гауптвахтѣ, гдѣ сидѣлъ Елатомскій, барабаны пробили зарю. Военный оркестръ, игравшій на бульварѣ, сложилъ свои пюльпитры, свернулъ ноты и—направо кругомъ—маршъ!—не въ ногу, и довольно разбившейся сѣрой кучей перешелъ площадь и скрылся за угломъ на поворотѣ въ улицу. Гуляющихъ

стало меньше, даже Меркуличи пошли домой. Разговоръ графа и Капитолины Алексѣевны Чертилиной продолжался.

— Что̀, измѣнила тебѣ твоя кузина! что же ты прикидываешься, будто это тебѣ ни по чемъ. Ишь! нашла себѣ новаго кавалера. Молода, оттого и вѣтрена. Эхъ, кабы и я была вѣтрена!

— Кузина мнѣ сказала: вотъ этотъ молодой человѣкъ мнѣ нравится, познакомь меня съ нимъ, и я навязался нарочно къ нему въ секунданты для того, чтобы доставить ей это удовольствіе... Я же давно ее знаю, и такъ къ ней привыкъ, что совершенно равнодушенъ къ ея прелестямъ.

— Ты равнодушенъ! Къ кому же ты неравнодушенъ?

— Я человѣкъ страстный и люблю только страстныхъ женщинъ, люблю тѣхъ, кто меня любитъ. А эта княгиня Аделаида холодна какъ сливочное мороженое. Отъ нея скорѣй горло заболитъ, чѣмъ сердце.

Чертилиной, должно быть, понравилось это сравненіе, по блѣдно-нервному лицу ея и сухимъ губамъ пробѣжала легкая судорга смѣха.

— Такъ ты любишь страстныхъ и горячихъ женщинъ... Ха! А каково мнѣ было? Я сама такая же, какъ ты, и что же? Если бы я вышла замужъ, ну, хоть за тебя, примѣрно, ты бы и не повѣрилъ, что я была замужемъ. Да знаешь ли ты, что я невиннѣе вотъ той дѣвчонки, которая прошла—и что̀ же! Ты думаешь, щадили меня. Да знаешь ли, что весь уѣздъ, вся наша провинція барабанитъ, что я всю жизнь свою только затѣмъ и уѣзжаю изъ дому, только затѣмъ и шляюсь, чтобы кутить да развратничать.

— Ахъ, какъ мнѣ жаль васъ, какъ жаль, какъ жаль!..

— Вотъ тебя запрутъ за долги, и мнѣ ты думаешь легко будетъ не видѣть тебя? Эхъ! зачѣмъ я не прежняя красавица! Какъ бы съумѣла я тебя привязать къ себѣ. Не сталъ бы ты у меня такую безпутную жизнь вести.

— А что, если я—ну, хоть бы для того, чтобы испытать любовь пожилой женщины, вдругъ ни съ того, ни съ сего да и привяжусь къ вамъ. Что тогда?

— Не ври, никогда этого не будетъ—не ври. Пойдемъ-ка лучше чай пить, а то на насъ съ тобой будутъ пальцами показывать. Ишь, скажутъ, сѣдая чертовка какого черномазаго парня приворожила. Еще, чего добраго, вѣдьмой назовутъ. А, ей-ей, жаль, что я не вѣдьма или не колдунья, приворотный бы корешокъ дала тебѣ; но пойдемъ чай пить. Или ты къ своей кузинѣ? Иди къ ней, голубчикъ, я не держу тебя...

— Нѣтъ, я провожу васъ. Черезъ недѣльку, вы меня ужъ не увидите.

— Куда же тебя чортъ унесетъ?

— Въ тюрьму, дорогая моя, милая моя Капитолина Алексѣевна; но пойдемте, обопритесь мнѣ на руку и, пожалуйста, позабудьте ваши лѣта. Вы еще такъ молоды душой и сердцемъ,—быть не можетъ, чтобы и вы сами не были также молоды и пылки.

— Испытай!—пробормотала старуха, и тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ они сошли съ бульвара на улицу.

Итакъ, графъ, спѣша привести къ концу свой какой-то замыселъ, не безъ нѣкотораго умысла заставилъ Елатомскаго прохаживаться съ своей хорошенькой кузиной.

Онъ просто хотѣлъ разомъ поймать двухъ зайцевъ— и полицмейстера расположить въ пользу Елатомскаго, и ревность своей старухи какъ-нибудь угомонить, при помощи того же Елатомскаго.

И поймалъ двухъ зайцевъ.

Онъ зналъ, что этотъ самый полицмейстеръ почему-то

возымѣлъ такое мнѣніе о его кузинѣ, что хотѣлъ купить ее, и подослалъ къ ней одну по этой части ловкую француженку. Онъ зналъ, что княгиня чуть не дала ей оплеухи; онъ зналъ, что сконфуженный полковникъ всячески ищетъ случая оправдать себя въ глазахъ княгини, ибо красота ея не даетъ ему покоя, и что, стало быть, послѣ этого вечера онъ самъ начнетъ ухаживать за Елатомскимъ и его задобривать.

Онъ зналъ въ то же время, какъ и что̀ ему говорить съ Капитолиной Алексѣевной, чтобъ добиться отъ нея денегъ.

Ничего гамлетовскаго въ немъ не было, но лучше ли онъ былъ отъ этого?

XXIX.

Въ то самое время, какъ съ одного конца бульвара уходила Зоя съ матерью и сестрами, съ другого конца, вслѣдъ за музыкой, уходилъ Елатомскій съ своей дамой.

— М-г Елатомскій,—сказала княгиня у воротъ того дома, гдѣ жила она,—пожалуйста, ступайте, купите мнѣ немного миндалю и финиковъ. Затѣмъ приходите ко мнѣ на балконъ и мы будемъ съ вами чай пить, а я пока переодѣнусь. Видите, какъ я для васъ нарядилась.

— Ужъ будто бы для меня!

— Для васъ...

Елатомскій поддержалъ ее за локоть, когда она переступала порогъ калитки, — и она исчезла подъ темными сводами воротъ.

«Какая женщина!» подумалъ Елатомскій,—и, продолжая думать на эту тэму, дошелъ до греческаго базара, гдѣ еще фруктовыя лавки были отворены и гдѣ подъ холстинными навѣсами, при свѣтѣ фонарей, лежали цѣлыя кучи всяческихъ плодовъ земныхъ, начиная съ не-

аполитанскихъ апельсиновъ до орѣховъ изъ курской губерніи.

Елатомскій остановился у одного прилавка и потребовалъ лучшихъ финиковъ, самыхъ что ни на есть лучшихъ, такихъ, чтобъ сами таяли во рту, и чтобы имѣли видъ длинныхъ, немного сморщенныхъ виноградинъ или сосковъ красно-янтарнаго цвѣта.

Онъ шутилъ съ торговцемъ, пожилымъ грекомъ, который медленно двигался въ своей фескѣ и обиженнымъ тономъ увѣрялъ, что товаръ его самый *земилихонскій* (что̀ такое значило *земилихонскій*, никто бы понять не могъ, но въ его устахъ это вѣроятно выражало верхъ совершенства,—то же что̀ *субдительный*, *сюперфлю* въ устахъ Ноздрева).

Вдругъ Елатомскаго сзади схватилъ кто-то за руку. Онъ обернулся.

Свѣтъ отъ фонаря упалъ на личико Зои; — и какое это было одушевленное, испуганно-радостное личико!

— Эвина уѣхала?—спросила она, какъ-бы слегка запыхавшись.

— Уѣхала.

— А куда вы переѣхали?

Елатомскій назвалъ улицу и домъ.

— А, знаю, тамъ башмачникъ еврей... Владиміръ Григорьевичъ, зайдите къ намъ.

— Не могу, — отступая отъ прилавка на тротуаръ, тихо сказалъ Елатомскій.—Клара Петровна сообщила мнѣ, что вашъ отецъ не велѣлъ вамъ пускать меня.

— Ахъ, вздоръ!.. Во вторникъ папа̀ уѣдетъ... зайдите... хоть на минутку, хоть на секунду. Владиміръ Григорьевичъ!

Говоря это, Зоя дрожала и не выпускала руки его изъ похолодѣлыхъ рукъ своихъ.

— Зайду... постараюсь зайти, Зоя Трофимовна.

— Въ четвергъ вечеромъ!.. да?.. да?..

— Но какъ приметъ меня ваша мама?

— Мама? мама любитъ васъ... и всѣ... и... я... я... люблю васъ... Au revoir!

Она стиснула ему руку и побѣжала по тротуару догонять свою семью.

Давно не видѣлъ Елатомскій такой лукавой, такой криво ухмыляющейся физіономіи, какую изображало изъ себя лицо пожилого грека, когда онъ вернулся къ прилавку.

— Хорошая барышня, эта Меркуличъ, а? — подмигнувъ ему глазомъ, сказалъ грекъ. Правду говоритъ русская пословица «на то щукъ въ морь, чтобь карась не спалъ».

— Кто же это-то, щука, по-твоему?

— А вы щукъ — и торговецъ захохоталъ, прищуривъ на Елатомскаго желчно-черные, заплывшіе глаза свои.

— Ну, братъ, я плохая щука, — произнесъ сконфуженный Елатомскій.

— Вы плохой! вижу я, какой вы плохой! вижу, вижу! Эге! — плохой!... Ну, вотъ вамъ фунтъ финиковъ. Чего еще?

Елатомскій купилъ все, что̀ ему было поручено княгиней и вернулся по той же дорогѣ.

«Кто же изъ нихъ опаснѣе», думалъ Елатомскій. «Княгиня—актриса» сказалъ графъ, «стало быть съ ней надо ухо востро держать, а Зоя—бѣдная Зоя! Зачѣмъ я съ ней познакомился, зачѣмъ я сказалъ ей, что она мнѣ нравится!..

И опять жгучее чувство жалости проникло ему въ душу и на цѣлыхъ полчаса испортило то веселое настроеніе духа, съ какимъ онъ шелъ за своими грошовыми покупками.

До двѣнадцати часовъ ночи Елатомскій сидѣлъ на балконѣ вдвоемъ съ княгиней Аделаидой—пилъ чай, грызъ миндальные орѣхи, исподтишка любовался красотой ея, поджидалъ графа, удивлялся, куда онъ пропалъ, и, какъ слѣдуетъ, переливалъ изъ пустого въ порожнее. Но мало-по-малу къ разговору ихъ примѣшалось нѣчто въ родѣ дружескаго препирательства.

Княгиня сказала, между прочимъ, что она въ августѣ уѣдетъ въ Яссы и, затѣмъ, отправится въ Вѣну.

Елатомскій сказалъ, что, если онъ когда-нибудь будетъ въ Вѣнѣ, то, непремѣнно, навѣститъ ее.

— Напишите раньше, и я заочно отрекомендую васъ всему нашему обществу, въ особенности вѣнскимъ красавицамъ.

— Какъ же вы меня отрекомендуете?

— Какъ человѣка совсѣмъ, совсѣмъ еще свѣжаго, у котораго и ума, и сердца ровно настолько, насколько ихъ нужно для того, чтобы быть счастливымъ, т. е. пользоваться возможнымъ и не желать невозможнаго.

— И ошибаетесь — у меня и ума, и сердца именно настолько, чтобъ никогда не быть во-истину счастливымъ. Я такъ самолюбивъ, что боюсь любить, и не настолько люблю, чтобы не страдать отъ своего самолюбія.

— Да это оттого, что вы не встрѣтили еще ни одной женщины, которая разомъ удовлетворила бы и ваше сердце, и ваше самолюбіе.

— Можетъ быть, но если вы меня такъ понимаете, то и я также немножко понимаю васъ.

— Какъ же вы меня понимаете?

— Во-первыхъ, вы очень милая кокетка.

— Ну, а во-вторыхъ?

— А во-вторыхъ, вы очень умная кокетка, и, наконецъ, въ-третьихъ, очень опасная. Одного я не знаю, раз-

дѣляете ли вы мнѣніе графа, что любовь не что иное, какъ милая шалость.

— А что̀ же она такое по вашему?

— По-моему, тамъ, гдѣ шалятъ, тамъ нѣтъ любви... И такъ какъ въ наше время все болѣе или менѣе расположены играть въ любовь, я чуть-было не послѣдовалъ за общимъ теченіемъ и, можетъ быть, былъ бы гораздо счастливѣе, если бы ни въ чемъ себѣ не отказывалъ; но умъ мой именно настолько развитъ, что предчувствуетъ трагическій или пошлый конецъ всякой затѣваемой мной шалости, и я страдаю—неудовлетворенный.

— Жаль!.. пожалуйста, поглупѣйте. Впрочемъ, я за васъ не отчаяваюсь. Встрѣтите еще и такую, которая заставитъ васъ сдѣлать всевозможныя глупости и побѣдить всѣ ваши страхи. Вѣдь вы еще очень молоды, m-r Елатомскій! сколько вамъ лѣтъ?

— Мнѣ въ маѣ стукнуло ровно двадцать три года.

— А мнѣ казалось, что вамъ девятнадцать... Оказывается, я вамъ ровесница, мнѣ также двадцать три года, и, вообразите, я уже пять лѣтъ какъ замужемъ!

— Что за бѣда! Если любовь — шутка, то, вѣдь, и бракъ такая же шутка.

— Для нѣкоторыхъ — да.

— Для кого же это? Кто же эти нѣкоторые?

— А тѣ, для которыхъ одно въ мірѣ не шутка— деньги, остальное все вздоръ, потому что развѣ не вздоръ все то, что̀ покупается золотомъ. Развѣ не вздоръ женская красота для богатаго человѣка, если онъ съ юности до старости можетъ покупать ее. Пріѣзжайте въ Вѣну и привезите какъ можно больше денегъ. Вы тамъ научитесь смотрѣть на любовь не иначе, какъ на милую шалость—для мужчинъ, и какъ на нѣкоторую жертву— для женщинъ. Впрочемъ, кто привыкъ къ такимъ жертво-

приношеніямъ, тому все равно, все вздоръ, вся жизнь— шутка.

Елатомскому невольно припомнился стихъ Лермонтова, и онъ задумался.

— О чемъ вы думаете?

— Такъ, припоминаю стихъ Лермонтова:

«И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,
Такая пустая и жалкая шутка».

— А! это надо запомнить, и княгиня стала твердить это двустишіе.

— Значитъ и вы такого же мнѣнія?

— О, да, развѣ я не принесена была въ жертву. Впрочемъ, вздоръ я говорю, что̀ за жертва! Я сама мечтала быть богатой и, можетъ быть, не была бы такъ свободна, если бы меня не выдали за старика.

— Почему же, княгиня, за всѣ сокровища міра сего я не позволилъ бы женить себя на старухѣ?

— Да оттого, что вы еще почти студентъ. Вы въ жизни новичекъ, и... будь я кокетка... съ вами мнѣ было бы въ особенности пріятно кокетничать!

— А съ нашимъ полицмейстеромъ? Съ нимъ также пріятно кокетничать?

Княгиня слегка поморщилась.

— А! съ этимъ m-r colonel! Пожалуйста, вы меня познакомьте съ нимъ. Я на него очень зла, и мнѣ бы очень хотѣлось наказать его.

— А если онъ васъ накажетъ?

— Этого быть не можетъ. онъ дерево, а я — желѣзо.

— Вы — желѣзо! — удивился Елатомскій и оглянулъ весь мягко очерченный, женственно-стройный, на раскладныхъ креслахъ покоющійся станъ ея, окруженный бѣлыми складками широкой блузы, перетянутой золотымъ поясомъ.

— Вотъ развѣ вы въ меня влюбитесь?—пролепетала

она и улыбнулась. Смыслъ этой улыбки былъ неуловимъ на томномъ лицѣ ея при свѣтѣ мѣсяца.

Затѣмъ, нѣсколько смущенный, Елатомскій заговорилъ о графѣ Гиккелѣ. Княгиня стала осуждать его за мотовство.—Впрочемъ, сказала она, онъ хоть и великій плутъ, но характеръ не дюжинный, людей видитъ насквозь и любитъ дурачить ихъ.

— Какъ и вы, княгиня?..

— Я?!.

— Да, вы... развѣ, не любя, возбуждать страсти, не значитъ дурачить?

— Умнаго не одурачишь, а дурака дурачить самъ Богъ велѣлъ.

И она засмѣялась.

Елатомскій, тоже самъ не зная чему, засмѣялся и всталъ, чтобы проститься съ ней.

— А завтра вы у меня будете?

— Завтра!—удивился Елатомскій.

— Приходите чаще. Постойте, я провожу васъ, на лѣстницѣ темно.

Она взяла свѣчу со стола, и, приподнявъ обнаженную руку, посвѣтила ему, пока онъ спускался съ лѣстницы.

XXX.

Придя домой, Елатомскій долго не могъ заснуть и такъ былъ поглощенъ разными мыслями, что не слыхалъ уже никакихъ ночныхъ шороховъ.

Избытокъ молодыхъ силъ еще кипѣлъ въ груди его, *какъ охмѣляющій, отравленный напитокъ*, который онъ не успѣлъ еще ни разлить, ни истощить, несмотря на свои юношескія безплодныя страсти и московское печоринство.

Въ концѣ-концовъ, когда стала одолѣвать его поздняя

дремота, онъ далъ себѣ слово окончательно урезонить Зою и не поддаваться заразительному кокетству или обаятельной простотѣ изящной Аделаиды, княгини Корси— и — если только онъ не дождется никакихъ писемъ съ Кавказа, писать къ Бавину или къ Олафьеву, просить у нихъ денегъ ѣхать обратно въ Москву или дальше на сѣверъ—въ Петербургъ, и найти тамъ мѣсто во что бы то ни стало. Если же и этого не удастся, вернуться въ деревню, къ мужикамъ и заняться огородами. Никакого иного исхода Елатомскій и вообразить не могъ. О политической аренѣ никто въ то время и мечтать не смѣлъ, даже никто и не говорилъ о политикѣ. Къ литературной или журнальной дѣятельности, послѣ своей неудачи съ фельетономъ, онъ считалъ себя не призваннымъ по своей бездарности. Испытать впечатлѣнія боевой, походной жизни онъ былъ не прочь; но къ военной службѣ въ мирное время не чувствовалъ никакого влеченія, такъ какъ всякій формализмъ былъ ему не по сердцу.

На другой день, утромъ, ему также не удалось порядкомъ выспаться. Ровно въ семь часовъ старуха служанка стала стучаться къ нему въ дверь за сапогами и платьемъ.

Она *знала свое дѣло*, и какъ машина двигалась по часамъ. Стучаться и всѣхъ будить въ семь часовъ, она считала своимъ правомъ и пользовалась имъ деспотически.

Графъ Гиккель спалъ съ раскрытою дверью—она, не стучась, могла входить къ нему, и графъ могъ спать сколько ему угодно. Онъ зналъ, что его берегутъ, что жизнь его дорога его кредиторамъ, что за нимъ всюду слѣдятъ нанятые шпіоны и подкупленные полицейскіе. Простуды онъ не боялся и, стало быть, могъ спать съ дверью открытой на ночь, несмотря на то, что въ душ-

ныя, неподвижныя ночи дворъ этотъ издавалъ не совсѣмъ пріятные запахи.

Въ это утро, когда старуха вошла къ нему, она остановилась, похлопала глазами и пожевала губами.

— Или не ночевалъ дома, — подумала она, — или ушелъ на зарѣ.

Ни платья, ни сапогъ не нашла она на обычномъ мѣстѣ.

— Не ночевалъ,—рѣшила она, замѣтивъ, что постель его не смята, и прошлогоднее шелковое одѣяло было такъ аккуратно сложено, что для старухи стало ясно,—никто не спалъ подъ нимъ.

Она уже хотѣла вернуться и заявить хозяину, что графъ пропалъ, какъ увидѣла этого самаго графа входящимъ по ступенькамъ на балконъ съ измятымъ лицомъ и злыми глазами.

— А! ты за ботинками! На̀, тащи ихъ, — сказалъ графъ, садясь на постель свою и протягивая ноги.

Старуха сняла съ него ботинки.

— На̀, возьми платье и встряхни его. Графъ снялъ свой холстинковый сюртукъ, жилетъ и, прежде чѣмъ стянуть съ себя брюки, выложилъ изъ кармана на столъ какой-то черный сафьяновый футлярчикъ. Когда старуха, покосившись на вещицу, вышла, графъ тотчасъ же притворилъ дверь и заперъ.

— Что мнѣ этотъ фермуаръ? Мнѣ нужны деньги, мнѣ нужно золото... Обѣщала достать на-дняхъ шесть тысячъ, какъ будто эти шесть тысячъ могутъ освободить меня. Что, если она меня надуетъ... проклятая старуха! Очень весело притворяться влюбленнымъ селадономъ и таять!—Тьфу!

Такъ ворчалъ графъ, въ туфляхъ ходя по комнатѣ, тускло освѣщенной точно такимъ же окошечкомъ на чужой дворъ, какимъ освѣщалось и жилище Елатомскаго.

А въ это время со двора на запертую дверь его, изъ-за полурастворенной двери флигеля, выглядывалъ чей-то любопытный глазъ и, казалось, хотѣлъ, во что бы то ни стало, проникнуть въ полусумракъ запертой комнаты.

Казалось, вдругъ проникъ онъ въ этотъ полусумракъ и не захотѣлъ больше шпіонить. Тотчасъ же изъ-за двери показался другой, точно такой же глазъ, снизу высунулся носъ, губы и подбородокъ.

Затѣмъ и весь человѣкъ, тощій, приземистый въ жидовскомъ, штопанномъ сюртукѣ, въ грязномъ бѣльѣ и съ грязными руками, появился на порогѣ; исчезнувъ на минуту за дверью, вышелъ онъ на дворъ уже въ картузѣ и преспокойно, не торопясь, не оглядываясь, прошелъ сначала къ тому крылечку, гдѣ старуха освобождала отъ пыли графскія ботинки, гнусливо поговорилъ съ нею на жидовско-нѣмецкомъ жаргонѣ и, заложивъ руки за спину, вышелъ за ворота.

Часа черезъ два послѣ этой сцены, графъ уже былъ у Елатомскаго,—веселъ, милъ, разговорчивъ и шутилъ надъ нимъ.

О княгинѣ, и о томъ, какъ онъ провелъ вечеръ, графъ не спрашивалъ — или не хотѣлъ, или это не интересовало его.

Елатомскій томился неизвѣстностью, что̀ онъ будетъ дѣлать весь день—останется ли дома въ духотѣ или пойдетъ блуждать по знойнымъ улицамъ, или будетъ сидѣть въ книжной лавкѣ у синьора Тотти и читать, что̀ Богъ пошлетъ. Онъ никуда не торопился и потому былъ очень радъ болтать и спорить съ графомъ.

Но разговоръ ихъ былъ прерванъ появленіемъ новой, Елатомскому совершенно незнакомой личности.

На порогѣ обрисовался невысокаго роста, рыхлый,

пожилой человѣкъ, круглолицый, голубоглазый, гладко выбритый, рябой и въ вицъ-мундирномъ зеленомъ фракѣ.

Улыбаясь большимъ, мягкимъ ртомъ своимъ, онъ снялъ шляпу и спросилъ, можетъ ли онъ видѣть графа?..

— Можете,—отвѣчалъ графъ, не вставая съ мѣста и не подходя къ нему.—Елатомскій, позвольте ему войти... Входите, я здѣсь, что̀ вамъ отъ меня угодно?

— Милости просимъ,—сказалъ, привставая, Елатомскій. — Вошедшій поклонился, сѣлъ на пустой стулъ, замѣтилъ, что на дворѣ жарко, вытеръ носовымъ платкомъ потное лицо свое, вынулъ гребешокъ, причесалъ остатокъ бѣлокурыхъ волосъ своихъ съ затылка на плѣшь, оглядѣлся, кашлянулъ и началъ:

— Я къ вамъ, ваше сіятельство! Ну, что же-съ. какъ-же, наконецъ?..

— Да все также,—отвѣчалъ графъ.

— Вѣдь, черезъ недѣлю послѣдній срокъ, ваше сіятельство.

— И вы пришли сказать, что если я не заплачу по векселямъ, вы меня засадите...

— Да, вѣдь, что же дѣлать-съ! Законъ... неужели, графъ, вы это не понимаете... неужели же намъ это пріятно?

— Зачѣмъ же вы дѣлаете себѣ такую непріятность!

— Да, потому-что терять свои деньги еще непріятнѣе.

— Да, вѣдь, вы этимъ ничего не возьмете.

— Э, помилуйте графъ, ваше сіятельство, въ одной Одессѣ найдутся особы, которыя будутъ вносить за васъ; хоть по-немногу, да будутъ уплачивать. Вы счастливецъ. Свобода ваша—дорогая свобода... да!..

И рябой гость вздохнулъ при этомъ.

— Степанъ Степановичъ, это вы?—неожиданно прозвучалъ другой, непріятный, нѣсколько визгливый голосъ, и съ балкона, накаленнаго солнцемъ, въ дверь вошелъ

сухощавый господинъ, высокій, съ узкимъ лбомъ и узкой грудью и изжелта-сѣрыми, непривѣтливыми глазами оглядѣлъ присутствующихъ.

— Это я, — протягивая вошедшему руку, отвѣчалъ первый гость.—Графу угодно было принять меня въ чужой квартирѣ, я и за это весьма ему благодаренъ.

— Что-жъ, я всегда радъ съ вами побесѣдовать, — сказалъ графъ.—Елатомскій, рекомендую вамъ: вотъ это Степанъ Степановичъ Балалайкинъ, а вотъ это—это Антонъ Исаевичъ Брышевскій... вмѣстѣ съ Меркуличемъ скупали мои векселя, люди хорошіе, только я отъ нихъ такъ спрячусь, что они ни за какіе пряники не найдутъ меня.

— Не спрячетесь, дудки!—со злобой проговорилъ Антонъ Исаевичъ, разглядывая, куда ему сѣсть, и не зная куда дѣвать руки и ноги! Очень радъ, графъ, что хоть здѣсь, въ чужой комнатѣ, я засталъ васъ. Надо же, наконецъ, поговорить.

— Вотъ, признаюсь вамъ, не вижу въ этомъ никакой надобности.

— Какъ, ка-а-акъ не видите?—заикнувшись, удивился Антонъ Исаевичъ.—Вы въ самомъ дѣлѣ думаете шутками отъ насъ отдѣлаться.

Антонъ Исаевичъ всѣми силами старался быть вѣжливымъ и никакъ не могъ. Онъ былъ раздражителенъ до-нельзя, ему явно хотѣлось кричать и ругаться—изругать графа самымъ поноснѣйшимъ образомъ, мало того—поколотить его.

А графъ былъ спокоенъ: весело улыбалось цыганское, смуглое лицо его.

— За сколько вы скупили векселя мои?

— Это не ваше дѣло.

— Я васъ не знаю и не занималъ у васъ. И вотъ

что, господа: честное мое слово даю вамъ, что убѣгу отъ васъ.

— Вы... вы убѣжите! высунувъ впередъ пепельно-зеленоватое, желчное лицо свое, выкрикнулъ Антонъ Исаевичъ.—Да я... я... я высѣчь себя позволю, если вы убѣжите.

— Хотите, господа, объ закладъ побьюсь.

— Не бейтесь, ваше сіятельство, — мягко перебилъ его вѣжливый и кроткій Степанъ Степановичъ и, съёживши носъ свой, чихнулъ, отклонившись въ сторону.— Извините, господа, насморкъ ужаснѣйшій... Такая погода прекрасная и... что̀ прикажете дѣлать!?

Онъ громко высморкался и продолжалъ невозмутимо сладкимъ голосомъ:

— Вамъ никакъ нельзя убѣжать, графъ, всѣ мѣры приняты, мы знаемъ каждый вашъ шагъ—мы все знаемъ... Вы сами про себя того не знаете, что̀ мы знаемъ.

Графъ захохоталъ, зубы его такъ и засверкали изъ-подъ коротенькихъ, черныхъ усиковъ.

— Очень пріятно... Ну, знаете ли вы, что у меня въ карманѣ?

— Знаемъ, графъ,—футлярчикъ съ бриллiантовой вещицей.

Графъ не много опѣшилъ.

— И если угодно, я скажу вамъ, кто вамъ подарилъ эту вещицу... Конечно, при постороннихъ зачѣмъ же все говорить... Это не въ моихъ правилахъ, ваше сіятельство; а если это не секретъ для васъ...

— Вы слышали звонъ, да не съ той колокольни. Вещица точно у меня есть, но не моя... Мнѣ дали ее съ тѣмъ, чтобы я оцѣнилъ ее.

— Ваша, графъ, со вчерашняго дня—ваша... и цѣна ея—цѣна уже извѣстная... Пройдемтесь немного по балкончику, и я еще кое-что скажу вамъ...

— Извольте... погляжу я, что̀ вы мнѣ скажете.

Онъ вышелъ и сталъ прохаживаться вмѣстѣ съ Степаномъ Степановичемъ по балкону.

— Гм! думаетъ... Гм! гм! графъ!.. такъ ужъ и того— и платить не обязанъ!.. Гм! улизнуть хочетъ!.. Поглядимъ, какъ-то онъ улизнетъ!—бурчалъ Антонъ Исаевичъ, тряся головой и поглядывая исподлобья на Елатомскаго, который сидѣлъ у себя на тахтѣ, молча слушалъ и молча о чемъ-то думалъ. — Нѣ-ѣтъ, онъ у насъ напляшется! О! вы... вы еще не знаете, каковъ онъ есть гусь!..

— Не знаю-съ, мы недавно познакомились,—холодно отвѣчалъ Елатомскій.

— Не онъ, такъ любовница его заплатитъ.

— А кто его любовница?

— А вы не знаете?.. Живете въ Одессѣ—и не знаете! Такъ я и повѣрю вамъ!

Въ это время вернулись графъ и Степанъ Степановичъ.

— Ну, пойдемте, Антонъ Исаевичъ,—мы уже сговорились. Если его сіятельству не удастся убѣжать, къ сроку онъ все сполна заплатитъ намъ, и капиталъ — и проценты... Я вамъ, вашему графскому слову, вѣрю, графъ... Извините, что, можетъ быть, немножко побезпокоили. Пойдемте, Антонъ Исаевичъ.

Елатомскій поглядѣлъ на графа: взглядъ большихъ, карихъ глазъ его былъ укорительно вопрошающій, одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какимъ смотритъ дѣвушка на того, кого полюбила, и о комъ вдругъ услыхала чортъ знаетъ что̀, или что-то такое, о чемъ ей совѣстно спрашивать.

Но графъ, казалось, и не способенъ былъ въ эту минуту обращать вниманіе на своего сосѣда. Улыбающееся лицо его приняло злое выраженіе и холоднымъ блескомъ засвѣтились глаза его.

— Я скорѣй погибну, въ море брошусь, — сказалъ

онъ,—чѣмъ отдамся въ руки этимъ мошенникамъ, этимъ негодяямъ!—Такъ за мной шпіонить! Врываться въ частную жизнь мою! Это хуже вашего квартальнаго: тотъ, по крайней мѣрѣ не исподтишка, а прямо сказалъ, что надзирать пришелъ... Негодяи! Да, чорта съ два они отъ меня получатъ... Дожидайтесь!.. Гм! Впрочемъ, не стòитъ изъ-за нихъ и крови портить... Чтò вы молчите, Елатомскій? Вы недовольны, что эти плуты сунули носъ свой въ вашу комнату?

— Нѣтъ, — чтò за бѣда! Вѣкъ живи — вѣкъ учись! Появленіе этихъ личностей даже поучительно въ нѣкоторой степени.

— Въ нѣкоторой степени даже забавно, не правда ли?—Пусть ихъ слѣдятъ за мной!—А не сдѣлаете ли вы мнѣ великое одолженіе, не возьмете ли вы у меня вотъ этотъ фермуаръ. Видите какой! старинный фасонъ: должно быть, при царѣ Горохѣ какая-нибудь бабушка щеголяла въ немъ. Но бриллiанты крупные. Не соблаговолите ли вы мнѣ, у какого-нибудь ювелира, продать его... А онъ, если не ошибаюсь, старой венеціанской работы и стòитъ около 4,500 р... Уступите его за 4,000 р., а впрочемъ, сколько дадутъ, столько и берите.

Елатомскій вскользь поглядѣлъ на бриллiантовый фермуаръ, какъ на нѣчто, нестоющее вниманія, и отвѣчалъ графу:

— Я не берусь, графъ.

— Отчего? — спокойно спросилъ графъ, укладывая фермуаръ обратно въ его бархатное вмѣстилище.

— А потому, что... Да просто потому, что если я приду продавать его, да еще за безцѣнокъ (а въ такихъ вещахъ я ничего не смыслю), то любой ювелиръ подумаетъ, что я укралъ его, да еще, чего добраго, пошлетъ за полиціей.

— Да, да! Вы правы, — задумчиво отозвался графъ.

—Вы правы,—повторилъ онъ съ удареніемъ и поглядѣлъ на Елатомскаго, какъ-бы совѣтуясь съ нимъ: — что̀ же дѣлать?

— Да,—продолжалъ онъ, — васъ тутъ не слѣдуетъ впутывать; вещь эта—моя, была въ прошломъ году мною куплена и подарена на память одной молоденькой женщинѣ, и возвращена мнѣ, такъ какъ я все-таки наслѣдникъ милліоннаго состоянія, и, стало быть, рано или поздно, могу цѣлой дюжиной такихъ фермуаровъ отблагодарить за помощь и великодушіе. Что̀ же мнѣ чиниться! Я и самъ продамъ его... и меня не надуютъ... Прощайте, Елатомскій.

— Постойте, что же вы сдѣлаете съ этими деньгами? Начнете долги ваши выплачивать?—спросилъ Елатомскій.

— Pas si bête — pas si bête, mon cher. — Колодца не заткнешь веретеномъ, — стало быть, и затыкать его не слѣдуетъ.—Впрочемъ, я, можетъ быть... и внесу ихъ, какъ проценты, т. е. прежде проценты, а потомъ капиталъ... Но, до свиданія, Елатомскій! Будете вы у моей кузины сегодня?

— Нѣтъ, не буду.

— Ну, какъ хотите.

XXXI.

За часъ до обѣда, Елатомскій зашелъ къ Тотти и усѣлся въ задней комнатѣ съ клеенчатымъ диваномъ, гдѣ на столѣ лежали журналы и газеты. Онъ взялъ послѣдній іюльскій № «Отечественныхъ Записокъ» и сталъ читать статью Бѣлинскаго. Онъ же былъ одинъ изъ самыхъ страстныхъ его поклонниковъ. Разъ, въ Москвѣ, въ кофейной Бажанова, актеръ Ленскій, послѣ завтрака

съ шампанскимъ, ухватившись за пустую бутылку, произнесъ слѣдующій экспромтъ:

Въ смыслѣ, такъ, не философскомъ,
Съ чѣмъ тебя сравняю я?—
Въ Наблюдателѣ московскомъ—
Философская статья!

Елатомскій, который сидѣлъ въ это время въ другомъ углу той же комнаты, покраснѣлъ и подумалъ: видно, братъ, не про тебя она писана!

Елатомскій, впрочемъ, не могъ не замѣтить, какъ перемѣнился Бѣлинскій съ тѣхъ поръ, какъ перебрался въ Питеръ. Въ статьяхъ его все меньше и меньше попадались отвлеченные философскіе термины. Онъ уже не хватался за то, чтобы популяризировать Гегеля, котораго не читалъ въ подлинникѣ, и выходилъ на дорогу своеобразнаго критика, горячимъ истолкователемъ Пушкина, Гоголя и Лермонтова, порицателемъ Марлинскаго и другихъ, болѣе или менѣе фразистыхъ писателей.

Елатомскій не могъ также не чувствовать, что и онъ, съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ въ Одессу, уже далеко не тотъ, чѣмъ былъ въ Москвѣ; что и Бавинъ—этотъ строгій и цѣломудренный Бавинъ, какъ-бы измѣнилъ себѣ—и уѣхалъ съ женщиной, передъ которой не устоялъ гордо философствующій умъ его. Жизнь,—стòитъ только погрузиться въ ея волны, работаетъ надъ нами по-своему, и дѣлаетъ изъ насъ все то, чтò можетъ сдѣлать: одного превратитъ въ гнилушку, другого— обсахаритъ, третьяго—пропитаетъ солью, четвертаго — закалитъ, какъ желѣзо.

Елатомскій любилъ нареченную сестру свою Эвину, но уже не такъ, какъ въ Москвѣ. Къ прежнимъ чувствамъ его примѣшался анализъ. Онъ былъ даже не тотъ Елатомскій, который, увидѣвъ хорошенькую Зою у заутрени, пошелъ, издали, провожать ее, и, быть можетъ, воображалъ себѣ, что нашелъ то, о чемъ мечталъ всю жизнь

Вотъ почему Елатомскій, хоть и прочиталъ статью Бѣлинскаго, задумался вовсе не о содержаніи статьи его, онъ сталъ припоминать и анализировать все, что̀ онъ слышалъ о княгинѣ Корси, и все, что̀ онъ слышалъ изъ устъ ея, — все, что̀ онъ слышалъ о графѣ, и все, что̀ онъ слышалъ изъ собственныхъ устъ его, — и пришелъ къ заключенію, что если вѣрить словамъ, то княгиня сильно имъ заинтересована, чуть не влюблена въ него, но что въ то же время она любитъ графа, что она дала ему этотъ фермуаръ, и что графъ, каналья, проговорился: сначала сказалъ, что фермуаръ — старинный и носила его *чья-нибудь* бабушка, потомъ сказалъ: что онъ купилъ его и подарилъ. «Ну, можетъ-ли это быть, чтобъ для подарка молодой женщинѣ онъ выбралъ вещь стараго фасона.

«Просто, этотъ фермуаръ достался княгинѣ по-наслѣдству, и она отдала ему его, какъ своему любовнику. А если послѣднее справедливо, то первое есть не что иное, какъ кокетство, не заслуживающее ни малѣйшаго довѣрія».

Потомъ Елатомскій думалъ о томъ, пойдетъ ли онъ въ четвергъ къ Меркуличамъ, и что̀ онъ скажетъ Зоѣ.

«Графъ можетъ быстро соображать — я не могу, я невольно задумываюсь и, можетъ быть, по-неволѣ рохля», съ горечью о самомъ себѣ, подумалъ Елатомскій.

Въ это время въ магазинъ кое-кто заходилъ: иные требовали книгъ, иные бесѣдовали съ синьоромъ Тотти и опять выходили; но никто не заглядывалъ въ читальную комнату. Елатомскій смутно сознавалъ, что въ магазинѣ идетъ болтовня и торговля; но ничего не слышалъ и ни на что не обращалъ вниманія, даже сигара его безпрестанно тухла и, такъ-сказать, безъ всякаго смысла торчала въ губахъ его.

Вдругъ онъ встрепенулся, знакомый хохотъ коснулся ушей его—это былъ хохотъ Хавазова.

— Да что вы мнѣ суете все ту же дребедень на постномъ маслѣ,—голосилъ Хавазовъ.—Нравственность! Очень нужна мнѣ ваша нравственность! Ха-ха-ха! Вы мнѣ что-нибудь въ родѣ Поль-де-Кока, или нѣтъ ли еще чего-нибудь этакъ попикантнѣе, позаористѣе? Это что? «Лукреція Флоріани». Ну, это мы и въ подлинникѣ прочтемъ... Чепуха, должно быть, а?

— Прекрасный романъ,—слышится голосъ Тотти.

— Знаемъ мы, все у васъ прекрасный романъ! У васъ и «Мертвыя души» Гоголя, тоже, чай, прекрасный романъ, или — ха-ха! — поэма! Скажите, пожалуйста,— поэма! Этакихъ-то поэмъ и я настрочу вамъ съ три короба! Что̀ смѣетесь? Право, настрочу... Дайте мнѣ только хорошія деньги—и настрочу.

— Ахъ, скотина! Инда руки чешутся! — проворчалъ про себя Елатомскій. — А что, если онъ войдетъ сюда! Но голосъ и короткіе припадки саркастическаго смѣха скоро замолкли. Послышался другой, тоже знакомый, какъ-бы придавленный, затхлый голосъ.

— А давно у васъ не былъ Елатомскій?

— Да онъ здѣсь, если не ушелъ, — отвѣчалъ Тотти.

За симъ водворилось молчаніе, и минутъ черезъ пять Елатомскій увидѣлъ, какъ зашевелилась зеленая портьера, и какъ изъ-за нея выглянула объемистая голова, ушедшая въ плечи.

— Можно войти?—спросилъ Сашинъ.

— Не знаю, я не хозяинъ, — отвѣчалъ Елатомскій, полуразвалившись на клеенчатомъ диванѣ.

— Синьоръ Тотти, можно мнѣ войти?

— Отчего же нельзя, — изъ-за прилавка засмѣялся Тотти.

— Да оттого, что тамъ синьоръ Елатомскій, а я ни-

кому не люблю мѣшать.—Я не мѣшаю вамъ, Владиміръ Григорьевичъ? Вы одни?

— Нѣтъ, не одинъ, — сухо отвѣчалъ Елатомскій, не улыбнулся и даже не привсталъ при входѣ Сашина.

— Вы встрѣчаете меня, какъ врага, Елатомскій.

— Я не знаю, врагъ вы мнѣ или доброжелатель, да и не желаю знать, Иванъ Ивановичъ.

Сашинъ присѣлъ на кресло, между ногъ поставилъ свою трость, и минуты двѣ-три только одно дыханіе его было слышно въ комнатѣ.

Елатомскій тоже молчалъ и думалъ: уйти ему или не уходить.

— Ужъ не графъ ли Гиккель вашъ другъ? — спросилъ Сашинъ и, не поворачивая головы, повернулъ къ Елатомскому свои выпуклые, влажные глаза.

— У меня нѣтъ друзей.

— Да, что и говорить! Любовь слаще всякой дружбы! Вы же, какъ кажется, умѣете влюблять въ себя.

— Все же это лучше, чѣмъ умѣть сочинять доносы.

Глаза Сашина, очевидно, хотѣли выскочить и стали еще выпуклѣе, а щеки и подбородокъ дрогнули.

— Я скорѣй позволю себѣ руку отрубить, чѣмъ стану заниматься доносами!

— Но, съ особеннымъ удовольствіемъ, пожмете ту руку, которая напишетъ ихъ. Я понимаю васъ, Иванъ Ивановичъ, и, знаете что? — Не совѣтую вамъ со мной часто встрѣчаться и разговаривать: я на дурномъ счету и даже подъ надзоромъ полиціи. Наши прежнія отношенія могутъ бросить очень невыгодную тѣнь на васъ, и такъ какъ вы, конечно, бережете свою репутацію...

На глазахъ Сашина какъ будто навернулись слезы, и онъ сморгнулъ ихъ.

— Ну, договаривайте, что̀ же вы остановились, Елатомскій? Ужъ принялись рѣзать, такъ рѣжьте до конца.

Зачѣмъ щадить вамъ этого толстяка, этого нравственнаго урода, это чучело! Пронимайте его хорошенько, негодяя! Да такъ, чтобъ онъ во-сто лѣтъ этого забыть не могъ!.. Ну, говорите, я буду слушать, что́ еще вы мнѣ скажете?

— Я все сказалъ,—вполголоса отозвался Елатомскій, свѣсивъ голову и глядя подъ столъ.

Укоризны Сашина повергли его въ недоумѣніе: хохотать ему или сожалѣть его?

— Недавно,—началъ Сашинъ послѣ непродолжительной паузы,—недавно я говорилъ Хавазову: попроси ты, ради Бога, не только на гауптвахту, въ какую-нибудь тюрьму засадить меня... Посудите же сами, Елатомскій, счастливъ ли я, если завидую всякимъ вашимъ невзгодамъ? Вы подъ надзоромъ, — и думаю я про себя: вотъ человѣкъ значитъ, есть за что надзирать! значитъ, еще не совсѣмъ нуль! — тогда какъ я — нуль и нулемъ себя чувствую, именно нулемъ безвреднымъ и безполезнымъ. Если нѣтъ карточной игры, нѣтъ виста или преферанса, да некого вмѣсто меня усадить за ломберный столъ, чтобы составить партію,—то кому я нуженъ? Выходитъ, что я только и нуженъ тѣмъ, кто въ картишки любитъ поигрывать. Долженъ ли я ихъ отъ себя отталкивать? вѣдь только для нихъ я и существую! Для женщинъ—я чучело, для молодежи—ни рыба, ни мясо; для ученыхъ, для художниковъ и даже для свѣтскихъ балагуровъ—нуль. И если бы я этого не сознавалъ! А то я сознаю это, страдаю, пью — и даже до́-пьяна не могу напиться! Только въ грезахъ, въ полуснѣ начинаю жить... Правда ваша,—продолжалъ онъ тише, какъ-бы боясь, чтобъ его не подслушали,—я знаю того, кто доносилъ, кто клеветалъ на васъ, но какъ могу я негодовать на это, когда у меня своя собственная логика? Да, да. Если вы на меня донесете или меня оклевещете, я буду радъ, я ручку у васъ за это поцѣлую, да... да... ручку... ручку поцѣлую! скажу:

спасибо, Елатомскій! Пусть они себѣ воображаютъ, что я человѣкъ такой-сякой, опасный! Пусть хоть на телѣжкѣ съ жандармами порастрясутъ меня. Можетъ быть, это отъ хандры, отъ страшной тоски меня вылечитъ.

И Сашинъ ударилъ себя въ грудь—до такого лиризма дошла его горячая исповѣдь.

Елатомскій привсталъ, — казалось, онъ заглянулъ въ потайной уголокъ души его, и жалость взяла въ немъ верхъ надъ желаніемъ посмѣяться надъ тѣми двумя слезинками, которыя Сашинъ выдавилъ своими рѣсницами.

— Васъ сажали подъ арестъ,—продолжалъ Сашинъ, —и что̀ же? разлюбила ли васъ за это Зоя? Нѣтъ, еще, быть можетъ, вдвое, втрое она стала мечтать о васъ. Вы были на гауптвахтѣ, вы подъ надзоромъ полиціи—и что̀ же? Помѣшало ли это вамъ вчера прохаживаться по бульвару, съ женщиной, въ которую влюблены всѣ наши волокиты, красота которой съ ума ихъ сводитъ, и которые не знаютъ съ какой стороны подъѣхать къ ней? Нѣтъ, не помѣшало. Вы были веселы, вы торжествовали, и я вамъ завидовалъ; мало того, я вчера ненавидѣлъ и даже сплетничалъ на васъ Зоѣ. Но отчего я завидовалъ, отчего я ненавидѣлъ васъ, да оттого, что... по какому праву вы такъ счастливы, и по какому безправью я такъ несчастливъ?

— Иванъ Ивановичъ, я вѣрю, что вы несчастны, но не вѣрьте моему вчерашнему лицу, моему важничанію, моей вѣтренности. Я часто хандрю и отчаяваюсь не меньше вашего.

— Вы! Да отчего вамъ хандрить! вы молоды, женщины открываютъ вамъ свои объятія, старые товарищи васъ любятъ. Вонъ, одинъ изъ нихъ при мнѣ за васъ на дуэль вызывалъ Хавазова... Чего же вы еще хотите?

— Ни въ чьи объятія я не брошусь, потому что... Ахъ, да! виноватъ, Иванъ Ивановичъ, съ прошлой осени

и до сего дня, я два или три раза былъ на Молдаванкѣ, и тамъ пользовался благосклонностью растрепанныхъ красавицъ. Но у васъ больше денегъ, чѣмъ у меня, стало быть, къ вамъ будутъ еще благосклоннѣе. Вотъ и всѣ мои побѣды, которымъ вы завидуете!.. Наконецъ, какъ вы не можете понять, что человѣкъ безъ средствъ и безъ труда жить не можетъ. А я—что̀ я дѣлаю? Обстоятельства такъ сложились, что умри я сто разъ, и все-таки никто не дастъ мнѣ никакого занятія, никто не задастъ мнѣ никакой задачи, рѣшеніе которой могло бы заинтересовать меня. Я такой же нуль, какъ и вы. Что̀ мнѣ изъ того, что дѣвицы со мной кокетничаютъ или строятъ глазки, когда ни мужемъ, ни любовникомъ я быть не могу.

— Почему?

— Да просто потому, что не хочу, а не хочу оттого, что слишкомъ совѣстливъ. Мнѣ кажется, я недостаточно люблю, чтобъ принимать жертвы или собою жертвовать, и слишкомъ бѣденъ для того, чтобъ свить себѣ гнѣздо или, по-просту, дать приличную обстановку любимой женщинѣ. Вотъ, графъ, тотъ не таковъ, тотъ бы и Зою не пощадилъ, если бы съ ней встрѣтился.

— Благородный вы человѣкъ, Елатомскій; но Богъ вамъ судья, если вы считаете меня подлымъ человѣкомъ, не стоющимъ...

И на глазахъ Сашина навернулись слезы.

Елатомскій всталъ, обнялъ его за толстую шею и въ лобъ поцѣловалъ его.

— Ну, теперь довольно объ этой матеріи,—сказалъ Елатомскій,—я высказался и, надѣюсь, вы нашли, что не стоитъ мнѣ завидовать. Завидуйте лучше Хавазову. Этотъ человѣкъ до старости будетъ хохотать надъ всѣмъ, что̀ истинно, свято и прекрасно, и умретъ съ полнымъ убѣжденіемъ, что прожилъ такъ, какъ дай Богъ всѣмъ прожить.

— Съ этой минуты, клянусь вамъ, я люблю васъ, уважаю и не завидую.

— Пора обѣдать. Прощайте, Сашинъ. Миръ заключенъ, и не будемъ возвращаться ни къ какимъ объясненіямъ.

Елатомскій пожалъ его руку, взялъ со стола шляпу и вышелъ.

«Нѣтъ, все-таки... того... Не я съ собой примирилъ его, а онъ меня примирилъ съ собой, не онъ прослезился, а я... Хоть немножко да не позавидовать—невозможно!» подумалъ про себя Сашинъ—и тяжело вздохнулъ.

XXXIII.

Не разъ, въ этотъ день, припоминалъ Елатомскій разговоръ свой съ Сашинымъ; долго думалъ и наконецъ усумнился въ искренности его признаній. Ну, что-жъ, сообразилъ Елатомскій, онъ завидуетъ, что меня считаютъ опаснымъ либераломъ,—кто же мѣшаетъ ему тотчасъ же превратиться въ опаснѣйшаго изъ смертныхъ; стоитъ ему только гдѣ-нибудь промурлыкать подъ носъ марсельезу или публично, въ какой-нибудь гостинницѣ или кафѐ, усомниться въ благодѣтельномъ вліяніи крѣпостного права—ну, вотъ онъ и увидитъ, самъ увидитъ, какъ легко добиться у насъ всяческихъ невзгодъ или кое-какого значенія. Чего же я расчувствовался и сталъ обнимать его.

Забылъ или не зналъ и не сообразилъ Елатомскій, что у Сашина трусость перевѣшивала его пудовое самолюбіе, и что у Сашина на такую выходку не хватило бы силы духа или характера. Такъ, ни разу не рискнулъ онъ признаться Зоѣ, что онъ влюбленъ въ нее,—значитъ ли это, что онъ былъ равнодушенъ къ ней?

Если бы Елатомскій все это зналъ, онъ, конечно, не усомнился бы въ искренности Сашина, а Сашинъ былъ бы

совершенно въ другихъ отношеніяхъ къ Елатомскому, и никогда не чувствовалъ бы той вражды къ нему, если бы этотъ юноша не всталъ ему поперекъ дороги, — къ сердцу Зои (хотя дорога эта и не привела бы его къ этому сердцу).

Затѣмъ Елатомскій никакъ не могъ понять, о комъ это упоминалъ Сашинъ, говоря, что изъ-за него кто-то вызывалъ на дуэль Хавазова. Кто бы это могъ быть?

Только Эвина и могла бы сообщить ему это, но передъ отъѣздомъ такъ коротко было ихъ свиданіе, что она не успѣла даже и вспомнить о такомъ, по мнѣнію Сашина, необыкновенномъ приключеніи.

Вечеромъ того же дня, Елатомскій въ Пале-Роялѣ встрѣтилъ Сашина и узналъ отъ него, что этотъ заступникъ за него былъ пріѣзжій, по фамиліи—Олафьевъ.

Эта новость сильно тронула Елатомскаго. Онъ вспомнилъ, какъ холодно встрѣтилъ онъ стараго товарища, когда тотъ на гауптвахту зашелъ къ нему, и какъ огорчилъ его,—отказавшись занять у него деньги.

Въ сороковыхъ годахъ, предложеніе Бавина или Олафьева—выслать товарищу денежную помощь при первомъ письменномъ заявленіи, вовсе не составляло какого-нибудь исключенія, да и не составляло особенной добродѣтели. Лишнихъ денегъ было много не только у богатыхъ, но и просто у экономныхъ помѣщиковъ; деньги были не трудовыя, и никто, кромѣ Плюшкиныхъ да Чичиковыхъ, не цѣнилъ ихъ такъ, какъ они цѣнятся въ наше дорогое время.

Елатомскій въ современной намъ, дорогой Одессѣ, едва ли бы могъ жить такъ, какъ онъ жилъ въ то время. Онъ бы зябнулъ зимой и голодалъ бы, и, можетъ быть, износивши свое московское платье, не смѣлъ бы и показываться въ такъ-называемое порядочное общество. Дороговизна отразилась бы и на его характерѣ. Можетъ

быть, не сталъ бы онъ препираться и съ Хавазовымъ, но за то, въ глубинѣ души своей, препирался бы съ цѣлымъ обществомъ, и, вмѣсто того, чтобъ иногда благодушествовать, многое бы возненавидѣлъ...

— А какое ныньче число? — спросилъ Елатомскій у Сашина, который сидѣлъ на стулѣ около кондитерской Карруты и ѣлъ мороженое. Въ это время Елатомскій думалъ о томъ, скоро ли онъ получитъ письмо изъ Тифлиса, въ отвѣтъ на свое посланіе).

— Кажется, четырнадцатое,—отвѣтилъ Сашинъ, облизываясь.

«Ба! завтра мои имянины, — вдругъ вспомнилъ Елатомскій.—Вспомнитъ ли этотъ день мой батька? Третьяго года въ этотъ день я заѣзжалъ къ нему. Потомъ былъ въ деревнѣ у Игнатьева — ѣздилъ верхомъ, — въ лодкѣ,—упивался обществомъ Эвиной, ставилъ ее на пьедесталъ и поклонялся ей.—Какъ я въ эти два года состарился!»

— Ну, что́?—спросилъ его Сашинъ.

— Ничего,—отвѣчалъ Елатомскій.

— А отчего сегодня не видно нигдѣ этой заѣзжей княгини Корси?

— А я не знаю, отчего ее не видно.

— Хоть бы на нее поглядѣть! Какъ это вы съ ней познакомились?

Елатомскій удовлетворилъ его любопытство! сказалъ ему, какъ онъ познакомился.

— А если вы въ нее влюбитесь?

— Что же дѣлать. Влюблюсь и буду, какъ дуракъ, страдать.

— А не знаете, на кой чортъ она сюда пріѣхала?

— Я слышалъ, что она пріѣхала — получить съ какого-то негоціанта какія-то деньги. Я это слышалъ

вскользь, и, такъ какъ это не мое дѣло,—не разспрашивалъ.

— А сколько она платитъ графу Гиккелю за то, что онъ на правахъ мужа состоитъ у ней?

Елатомскій покраснѣлъ, и поглядѣлъ на Сашина.

— Спросите у ней или у графа... Я думаю, это такая же сплетня, какъ и то, что я женюсь на Зоѣ.

— А, право, вчера вечеромъ на бульварѣ отъ васъ такъ и разило.

— Чѣмъ?

— Да такъ, чѣмъ-то такимъ любовнымъ — вы такъ гордо смотрѣли по сторонамъ и такъ нѣжно поглядывали на вашу даму и ея бѣлую шею...

— ...Что вы — завидовали?

— Нѣтъ, желалъ, чтобъ она васъ измучила, истерзала, въ узелъ завязала и сушить повѣсила.

— Вы и сегодня мнѣ того же желаете?

— Гм! Какъ-бы вамъ это сказать, не то, что желаю, а... не мѣшало бы, если бы судьба за сердце Зои отмстила вамъ.

— Когда я уѣзжалъ изъ Москвы, въ меня тоже была влюблена одна Сонечка, очень красивая, умная и сердечная барышня. Я тоже былъ на-волосокъ отъ признанія, но, убоясь брачныхъ узъ, порѣшилъ удрать. Прощаясь— и я страдалъ, и она страдала. Теперь мнѣ пишутъ,—она тайно обвѣнчалась съ однимъ молодымъ человѣкомъ, очень богатымъ, который женился на ней противъ воли своей матери. Словомъ, цѣлый романъ! Получивъ это письмо, я подумалъ стихами Пушкина:

Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть,
И равнодушно ей внималъ я.

Теперь у ней медовый мѣсяцъ, и, несомнѣнно, она влюблена къ того, кто съ нею блаженствуетъ. То же, на-

дѣюсь, случится и съ Зоей, если я уѣду, т. е. она отмститъ мнѣ тѣмъ, что выйдетъ замужъ, а я отмщу ей тѣмъ, что влюблюсь въ другую, — тѣмъ все и кончится. Чѣмъ я виноватъ, что уроки жизни для меня не пропадаютъ даромъ, и что—

Я сердцу не даю пылать и забываться.

Вотъ, если я кому завидую, такъ это поэтамъ. Стоитъ только помнить ихъ, чтобы на каждый случай жизни, на каждое душевное настроеніе, самъ собою подсказался ему соотвѣтствующій стихъ. Давайте говорить о стихахъ.

Но въ этотъ вечеръ говорить о стихахъ Сашинъ не былъ расположенъ: онъ ужасно боялся, что вотъ-вотъ, сію минуту, явится Хавазовъ и скажетъ ему: «Идемъ къ Роконаки, чуетъ мое сердце, что сегодня мы его вздуемъ»; а потомъ, начнетъ пушить его — за то, что онъ связывается съ такимъ фатишкой и пустозвономъ, какъ этотъ Елатомскій, и онъ, Сашинъ, будетъ молчать, потому-что нельзя же заступиться за человѣка, котораго онъ самъ вчера бранилъ, поддакивая тому же самому Хавазову.

Но вмѣсто Хавазова,—зацѣпившись за порогъ, загремѣла сабля — изъ кондитерской вышелъ полицмейстеръ.

— А, Елатомскій! Милѣйшій! — воскликнулъ онъ: — какъ поживаете?—Здравствуйте, Сашинъ!

— Слава Богу! — Вы какъ поживаете? — отозвался Елатомскій, приподнимая шляпу.

— Скверно! Дѣлъ по-горло и устаешь, какъ собака.

На свѣжемъ, здоровомъ лицѣ молодого полковника не было ни слѣда усталости.

— Пойдемте, пройдемтесь, что вы сидите?

Елатомскій всталъ, и они пошли по направленію къ театру.

— Вы сегодня въ театрѣ?

— Нѣтъ.

— Жаль!

— А что?

— Она сегодня присылала за ложей.

— Кто она?—притворился Елатомскій.

— Кто? Какъ будто не знаете! *Она*, однимъ словомъ—*она*! предметъ и пѣсенъ, и пера, et cetera, et cetera! Не зайдете ли вы къ ней хоть въ ложу?

— Да къ кому? — продолжалъ притворяться Елатомскій.

— Да ну, какой же вы! О комъ же теперь и говорятъ, какъ не о той очаровательной душкѣ, которая вчера ходила съ вами подъ-руку.

— Не пойду, она не звала меня, а въ креслахъ у меня нѣтъ билета.

— Хотите, я для васъ возьму билетъ?

— Не хочу.

— Да что съ вами?

— Ничего, полковникъ.

— Эхъ! Неужели вы такъ ревнивы и такъ боитесь соперниковъ, что не хотите меня представить ей.

— Если угодно, я спрошу ее, и, можетъ быть, она сама рада будетъ познакомиться съ вами.

— Мнѣ это нужно во-что бы то ни стало — до-зарѣзу! Когда вы у нея будете?

— Да не въ такомъ я настроеніи духа, чтобы идти къ ней. Надо любезничать, а я все думаю о квартальномъ,—этотъ квартальный у меня съ ума не идетъ.

— Какой квартальный! — поморщившись и какъ-бы удивясь, спросилъ полицмейстеръ.

Елатомскій, по возможности, не горячась, разсказалъ ему вчерашнюю сцену и заключилъ ее угрозой квартальнаго—приходить къ нему, когда вздумается.

Полицмейстеръ пріостановился и даже поблѣднѣлъ какъ будто отъ негодованія.

— Merci, что вы мнѣ сказали!—Я распоряжусь!.. Ну, вотъ мы и пришли... Что, бишь, ныньче такое?—Чортъ знаетъ что̀, самъ подписывалъ афишу—и не помню.

И полицмейстеръ, не выпуская изъ-подъ руки Елатомскаго, подошелъ къ афишѣ, вывѣшенной на стѣнѣ, приставилъ къ глазу лорнетъ и, при свѣтѣ фонаря, борющагося съ потухающимъ днемъ, прочелъ: «Жизнь Игрока» и «Дѣдушка русскаго флота».

— Ну, пьесы не веселыя. Она до конца не высидитъ. Пойдетъ на бульваръ. Будьте хоть на бульварѣ, отецъ родной!

— Cher colonel,—сказалъ по-французски Елатомскій, платя за фамильярность такою же фамильярностью. — Знаете пословицу: qui va piano—va sano.—Не торопитесь и меня не торопите.

— Погодите, Елатомскій... Вы не знаете, скоро ли она уѣзжаетъ?

— Еще не скоро,—въ концѣ августа.

— Ну, такъ помните же, что̀ вы мнѣ обѣщали! Прощайте, милѣйшій!

И сабля его загремѣла по освѣщенному корридору театра, огибающему бенуары.

XXXIII.

Елатомскій мысленно подивился прозорливости графа и очень былъ радъ, что такъ кстати объяснился съ полицмейстеромъ.

На другое утро, въ день своихъ имянинъ, онъ проснулся раньше чѣмъ появилась старуха за сапогами, и пошелъ купаться.

Въ купальнѣ онъ засталъ человѣкъ пять одесскихъ

гражданъ или чиновниковъ, трехъ молодыхъ и двухъ старыхъ, двухъ совершенно голыхъ и трехъ облеченныхъ въ простыни и просыхающихъ; кромѣ нихъ, были еще и мальчики, будущіе граждане. Они то спускались въ волны, то выскакивали на лѣсенку, то одѣвались, то опять раздѣвались.

Нѣкоторые изъ этихъ обнаженныхъ и полуобнаженныхъ гражданъ о чемъ-то толковали и озабоченно спорили, изъ рукъ своихъ дѣлали козырьки надъ глазами и глядѣли въ зыблющееся, подъ знойными лучами утренняго солнца холодно-сверкающее море и даже иногда раскрывали рты свои,—очевидно тревожились.

— Неужели потонулъ?.. А?..

— А чортъ его знаетъ!

Елатомскій, раздѣваясь, замѣтилъ вдругъ соломенную шляпу, платье и ботинки графа Гиккеля...

— Что такое, не безъ тревоги спросилъ Елатомскій.

— Да, вотъ-съ, никакъ съ часъ тому назадъ уплылъ въ море одинъ купающійся и не видать его пропалъ...

— Вотъ онъ!—вотъ онъ!—закричалъ одинъ изъ голыхъ.

Елатомскій вскочилъ и сталъ смотрѣть.

Въ саженяхъ тридцати или сорока отъ берега увидѣлъ онъ въ волнахъ мелькающіе взмахи рукъ и черную голову, которую то закрывали, то открывали колеблющіяся гряды волнъ.

Наконецъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ уже можно было ногами дно достать — пловецъ нырнулъ и вынырнулъ на болѣе близкомъ разстояніи отъ берега, пробѣжалъ нѣсколько шаговъ, упалъ, опрокинутый высокимъ валомъ, опять вскочилъ и, уже съ увѣренностью, сталъ подходить къ купальнѣ.

— Да, это графъ, — убѣдился Елатомскій. Графъ, не говоря ни слова, взошелъ на подмостки и тяжело дыша,

какъ усталый, сѣлъ на скамью около своихъ вещей. Онъ былъ не то-что блѣденъ—хуже: онъ былъ теменъ; бронзовый загаръ лица его получилъ какой-то синеватый отливъ: точно онъ окоченѣлъ отъ холода.

— Уфъ!.. это вы, Елатомскій! Совсѣмъ отвыкъ плавать...

— Какъ отвыкли!—раздались кругомъ его голоса.— Мы уже думали того... буркулы пущать, на дно пошли... Ишь вѣдь, куда забрались! чай, полверсты промахали... Ишь вѣдь, какъ васъ угораздило!

— Это Елатомскій... тотъ самый...—шепнулъ одинъ обувающійся другому, уже напялившему свои сапоги.

— А!—промычалъ напялившій сапоги.

— Совсѣмъ отвыкъ,—какъ бы, съ сокрушеніемъ, повторилъ графъ.

— Ну, молодецъ же вы плавать! — сказалъ Елатомскій.

— Такъ ли я плавалъ!..—сказалъ графъ, совершенно отдышавшись и какъ-бы успокоившись.

Елатомскій молча любовался на его сильные, сухіе мускулы и тонкія ноги, какъ у Меркурія, вылитаго изъ бронзы, который одной ногою стоитъ на лучистой трубѣ, изображающей дуновеніе, исходящее изъ устъ Эола, а другую поднялъ на вѣтеръ, какъ-бы собираясь улетѣть;—только широкая грудь графа была покрыта такими густыми черными волосами, что скорѣй напоминала звѣря, чѣмъ статую.

Вытершись полотенцемъ, графъ совершенно ожилъ, пересталъ вздрагивать и сталъ веселѣе.

— Что, вы рѣдко ходите купаться? — спросилъ онъ Елатомскаго и мокрымъ черепаховымъ гребешкомъ сталъ причесывать свою мокрую курчавую голову.

Вмѣсто отвѣта, Елатомскій бросился въ море и сталъ плавать.

Графъ, съ видомъ знатока, сталъ наблюдать, и замѣтилъ, что Елатомскій далеко не уплыветъ, что онъ плохо держится на водѣ и торопится.

Далеко заходить на глубину Елатомскій не рѣшался,— зналъ мѣру своихъ силъ и скоро вышелъ.

Графъ былъ уже совершенно одѣтъ, но дожидался Елатомскаго, чтобы идти вмѣстѣ до̀-дому.

Наконецъ, оба они взяли свои простыни, отворили парусинную дверь и вышли.

Молча взобрались они на гору, прошли мимо балкона княгини Корси, мимо биржи, и повернули на-право.

— Елатомскій!—заговорилъ графъ своимъ обычнымъ вкрадчиво-веселымъ голосомъ.

— А! Вы о чемъ-то собираетесь спросить меня?..— разсѣянно отозвался Елатомскій, шагая рядомъ съ нимъ по каменнымъ тротуарамъ уже сильно разогрѣтыхъ одесскихъ улицъ.

— Извините за нескромный вопросъ... Какую такую дѣвицу сбили вы съ пути, по-просту — связались съ ней?..

— Какую дѣвицу!?.—изумился Елатомскій.—Никакой дѣвицы!..

— Неужели это дочь того самого Меркулича?..

— Что-о-о?.. Дочь Меркулича!.. Помилуйте, графъ, что̀ вы говорите?.. Чортъ знаетъ, что̀ вы говорите!.. Съ чего вы это взяли?..

— Да это не я... Я въ купальнѣ подслушалъ... Впрочемъ, толковали чуть не вслухъ... и какъ о такомъ фактѣ, который не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію... Приди вы получасомъ раньше...

— Я бы зажалъ ротъ этимъ негодяямъ!..

— Все можно зажать, кромѣ рта,—помните это, Елатомскій...

— Тьфу!.. что за сплетническій городъ!.. Даже от-

вратительно!.. Ну, что̀ прикажете дѣлать!.. Не только нѣтъ факта, — нѣтъ ни малѣйшаго повода подозрѣвать Зою Меркуличъ... Это очень миленькая, наивная, хорошенькая дѣвушка... Сначала сплетничали, что я за нее сватался, и что она отказала мнѣ, потомъ стали сплетничать, что я женюсь на ней, какъ только получу мѣсто; теперь сплетничаютъ, что я соблазнилъ ее... Какая мерзость!..

— Да что вы волнуетесь!.. Еслибъ можно было, я самъ бы насплетничалъ на этого Меркулича; а не на него, такъ на его жену, а не на жену, такъ на дочь... Я его терпѣть не могу, этого Меркулича... и если есть у него дѣти, то и Меркулятъ его—тоже терпѣть не могу, хоть и не знаю ихъ, хоть и не имѣю о нихъ ни малѣйшаго понятія...

— Но развѣ это не подло клеветать на невинную дѣвушку?..

— Ничуть не подло... Да и кто вамъ сказалъ, что она невинная!.. А если она ангелъ чистоты и невинности, такъ это даже и неестественно!.. Ну, съ какой стати у продажнаго подлипалы и мазурика будетъ дочь—ангелъ!.. Это уродство... Этого не слѣдуетъ выносить... И познакомь меня судьба съ этимъ ангеломъ... я бы изъ него сдѣлалъ чорта... или бы замаралъ его такъ, что и вы бы на него плюнули!.. Въ прошломъ году этотъ Меркуличъ ходилъ передо мною на заднихъ лапкахъ, корчилъ шута и забавника... вина и фрукты поставлялъ мнѣ на столъ изъ какихъ-то собственныхъ своихъ погребовъ, тогда какъ никакихъ погребовъ у него не было... По его милости въ прошломъ году, въ одинъ мѣсяцъ, я выпилъ три тысячи бутылокъ вина и съѣлъ десять пудовъ винограду!.. Разумѣется, я по счету заплатилъ ему... А въ нынѣшнемъ году этотъ же самый негодяй распустилъ слухъ, что я лишенъ правъ наслѣдства и скупилъ часть моихъ векселей,

по 40 коп. за рубль и потомъ первый же подалъ мысль засадить меня въ тюрьму, если къ сроку я не расплачусь съ кредиторами, такъ какъ онъ увѣренъ, что мой отецъ не потерпитъ такого сраму и непремѣнно, сполна выплатитъ мои долги. И у такого человѣка будетъ дочь... невинна, какъ ангелъ!.. Уродство!..

— Никакого уродства!.. — возразилъ Елатомскій. — Природа любитъ контрасты. У Ивана Грознаго былъ сынъ Ѳедоръ, у Кара-Георгія—кроткая, богобоязненная дочь, у великаго Мильтона дочери были шлюхами, у Гёте—сынъ пьяница... Что же тутъ удивительнаго, что и у Меркулича можетъ быть дочь — хорошая, добрая и честная дѣвушка!..

Графъ отвѣчалъ, что ему нѣтъ дѣла ни до природы, ни до исторіи, и что если онъ графъ, то... природѣ до этого тоже никакого дѣла нѣтъ, и что если онъ мотъ, то вовсе не оттого, что Наполеонъ приходилъ въ Россію, и что послѣ Александра на престолъ вступилъ Николай.

Елатомскій понялъ, что глупо вести дальнѣйшій споръ,—потому что безплодно. Къ тому же, ему было и не до того, чтобъ вдаваться въ разныя препирательства. Солнце пропекало его... пыль неслась изъ-подъ колесъ экипажей... гдѣ-то звонили къ обѣднѣ; гдѣ-то забилъ барабанъ... Новая сплетня про его отношенія къ Зоѣ бѣсила его... Графъ тоже начиналъ бѣсить его.

— Ну,—сказалъ онъ,—я съ вами не спорю, графъ... Зайдите, и напьемся чаю... Сегодня я имянниникъ и ни съ кѣмъ не желаю ссориться... Особливо съ сосѣдями...

Графъ зашелъ къ нему, поздравилъ и, съ удовольствіемъ, выпилъ чашку чаю... На Елатомскаго смотрѣлъ онъ какъ на какого-то исключительнаго, еще невиданнаго имъ юношу, еще способнаго вѣрить и въ добродѣтель и даже въ справедливость; онъ снисходилъ къ нему,

какъ нянька снисходитъ къ ребенку, который вѣритъ сказкамъ и готовъ вдаться въ обиду, если кто-нибудь его любимую куклу потихоньку щелкнетъ по-носу. Лучшаго кавалера для своей кузины во всей Одессѣ онъ бы и не могъ найти.

«Этотъ человѣкъ», думалъ онъ, «если и влюбится, будетъ церемониться, до тѣхъ поръ, будетъ все идеальничать, пока она не уѣдетъ». Кажется, и княгиня смотрѣла на Елатомскаго съ той же точки зрѣнія, т. е. какъ на кавалера для нея самаго подходящаго, влюбчиваго, услужливаго и не опаснаго. Не даромъ, допивши свой чай, графъ дружески пожалъ руку Елатомскому и весело сказалъ ему:

— Вотъ къ вамъ несутъ письма съ почты, — авось, хоть они заставятъ васъ позабыть тѣ сплетни, которыя взволновали васъ. До свиданія, Елатомскій!..

«Дуракъ! мысленно въ слѣдъ ему пробормоталъ наивный юноша. Онъ зналъ, что значитъ клевета... Онъ зналъ, какъ отзывается она на судьбѣ невинной женщины, какъ иногда гонится она по слѣдамъ ея и до конца отравляетъ жизнь.

Печоринъ (сталъ про себя разсуждать Елатомскій), и тотъ вступился за честь княжны Мери и вызвалъ Грушницкаго на дуэль; а этотъ?.. Этому все равно... Сплетничайте, господа, сказалъ бы онъ Грушницкому и его компаніи: сдѣлайте милость, сплетничайте; мнѣ это пріятно, потому что матушка у Мери набитая дура, и потому что—кто же знаетъ, въ какой степени невинна дочь ея!.. А ваша сплетня не мѣшаетъ мнѣ ни ѣсть, ни пить, ни спать... стало быть, какое мнѣ до нея дѣло!.. Фу, противный!.. Но что же это за письма?. Ба!—съ Кавказа и отъ отца. Письмо отъ отца я оставлю на закуску, а сначала займусь-ка письмомъ Уютина. Что-то онъ мнѣ настрочилъ?..

Елатомскій затворилъ дверь, чтобъ было попрохладнѣе, раздѣлся, разлегся и сталъ читать:

«Надѣюсь,—между прочимъ писалъ къ нему Уютинъ,—что ты живъ. Какъ тебѣ было не стыдно на бульварѣ связываться съ Хавазовымъ. Впрочемъ, нѣтъ худа безъ добра... На-дняхъ наши чиновники давали обѣдъ его превосходительству С. Въ окрестностяхъ Тифлиса, — среди горъ и виноградныхъ садовъ,—въ старомъ домѣ князя Ч. были накрыты столы. Все было очень просто и совершенно по-семейному. Все время играла полковая музыка; послѣ выпивки начался плясъ и дурачества. Т. плясалъ качучу, толстый Б. полькировалъ съ Л-мъ, задѣлъ локтемъ за сигару, которая торчала во рту нашего юнаго поэта П., и огнемъ этой самой сигары обжогъ ему носъ — такъ, что тотъ сѣлъ верхомъ на лошадь и ускакалъ отъ насъ. Вечеромъ, за чаемъ, я разсказалъ С. твои одесскія похожденія... Онъ очень смѣялся угрозѣ Хавазова сослать тебя въ Сибирь за то, что ты не хочешь у него служить, и, такъ какъ онъ терпѣть не можетъ этого Хавазова, то мы и порѣшили какъ можно скорѣе найти тебѣ мѣсто. Итакъ надѣйся».

— «Ну, что же», подумалъ Елатомскій, «хоть надежды и обманчивы, но почему же не надѣяться?..

— «Теперь возьмусь за батьку... Что-то онъ мнѣ пишетъ? Вѣрно сокрушается, что я не при мѣстѣ и ждетъ меня»...

Распечатавъ второе письмо, Елатомскій сталъ читать его и, дочитавъ до конца, уперся глазами въ стѣну и долго оставался неподвиженъ, какъ будто на него нашелъ столбнякъ, или его оглушила молнія.

Конецъ второй части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ДЕШЕВЫЙ ГОРОДЪ.

ХРОНИКА-РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

«Вотъ и подарокъ мнѣ для дня моего ангела!» подумалъ Елатомскій, окончивъ чтеніе отцовскаго письма. «Такъ вотъ какъ!.. Старикъ мой женился... и подарилъ меня мачихой... Да еще какой мачихой!.. Двадцати-двухъ-лѣтней толстомясой дурой, отъ которой бывало путнаго слова нельзя было добиться!.. Я ее знаю, эту племянницу нашей дьяконицы, эту коротышку, въ ситцевомъ платьѣ въ праздники и босоногую въ будни... Отецъ мой радуется, что нашелъ себѣ жену, которая сумѣетъ ему и щи сварить, и квасъ заварить, и чулки заштопать, и бѣлье выстирать, и платки подрубить... вотъ какія онъ нашелъ въ ней великія добродѣтели! Какъ будто у него нѣтъ и не было никогда ни стряпухи, ни прачки... Что за нелѣпость! Шестидесятилѣтній, сѣдой старикъ женится на молодой, здоровенной дѣвкѣ изъ разсчета, что она будетъ ему варить щи да кашу! Или это только такъ, для того только и говорится, чтобы прикрыть свою страс-

тишку и законнымъ бракомъ завершить свои неудачныя, амурныя поползновенія... Или его подвели такъ, что онъ на старости лѣтъ сдѣлалъ такую глупость. И я долженъ писать къ нему и поздравлять!.. И даже радоваться его радости! Небось, какъ услыхалъ, что я женюсь, пришелъ въ негодованіе!..»

Ясно, что не за наслѣдство свое испугался Елатомскій, и что не столько дворянская, сколько эстетическая струнка была въ немъ затронута.

А въ это время, на другомъ концѣ города, а именно, на одесской пароходной пристани, Зоя прощалась съ своимъ отцомъ, отъѣзжавшимъ въ Крымъ, и, молча, стояла подъ зонтикомъ, рядомъ съ своею матерью Вѣрой Георгіевной.

На пароходѣ, у борта, подъ раскинутымъ тентомъ, стоялъ Трофимъ Евлампіевичъ, въ картузѣ, съ плетеной фляжкой, повѣшенной черезъ плечо и кричалъ имъ:

— Чего пришли?! Экъ, не сидится! И безъ васъ уѣду... Зоя! не забудь отослать мои туфли къ башмачнику... Да ту мебель, что̀ въ сараѣ, прикажите чаще выколачивать, а то моль заведется... моль, моль... Экъ его, какъ оретъ!.. ничего не слыхать, разсердился онъ на паровой свистокъ, отвернутый рукою машиниста. Пронзительный свистъ былъ такъ силенъ, что Зоя сдѣлала движеніе — зажать себѣ уши и чуть-было не уронила въ воду своего зонтика.

Наконецъ, пароходъ, съ махающими платками и шляпами, зашипѣлъ, задвигалъ своими колесами и, медленно повернувшись носомъ въ открытое море, сталъ уходить и вытягивать дымъ свой по-вѣтру... Толпа, стоявшая на пристани, перестала махать удалявшимся пассажирамъ и стала расходиться.

Вѣра Георгіевна, вмѣстѣ съ Зоей, тоже прошли мо̀-

ломъ на берегъ, гдѣ стояли извозчики, и защищаясь зонтиками отъ пыли, стали подниматься на гору...

Убѣдившись, что для страсти Зои нѣтъ уже поворота, и что только Елатомскій можетъ, рано или поздно, спасти ее, Вѣра Георгіевна повѣрила въ силу неизбѣжной судьбы и, вмѣсто того, чтобы кричать на Зою, спорить съ ней или читать наставленія, молча стала ея тайною союзницей. Зоя это тотчасъ же почувствовала (влюбленныя сердца чутки!) и стала жарче и чаще обнимать свою мать; но какъ ни мучила ее совѣсть, не сознавалась ей во лжи... Мало того, клеветала ей на себя самымъ безбожнымъ образомъ, а прячась или уходя изъ дому, какъ-бы подтверждала тѣ сплетни, которыя, въ видѣ слуха, не разъ уже доходили не только до ушей Клары Петровны, но и до ушей ея матери.

Такъ эти оба существа, мать и дочь, прониклись одной мыслью, еще не вполнѣ ими сознанной и ни разу не высказанной, мыслью, что въ жизни ихъ Елатомскій есть *нѣчто*, тогда какъ все прочее — *ничто* (въ нравственномъ смыслѣ слова), что отъ Елатомскаго зависитъ ихъ будущее существованіе, будущія минуты ихъ горя или ихъ радости.

— Мама,—сказала Зоя,—въ календарѣ стоитъ, что 15-ое іюля—день св. вел. кн. Владиміра,—не имянинникъ ли Елатомскій?

— Имянинникъ,—сказала мать.

Зоя замолчала и задумалась. Вѣра Георгіевна тоже задумалась.

«У него теперь въ Одессѣ ни друзей, ни родныхъ», пришло обѣимъ въ голову. «Никто даже и не вспомнитъ и не догадается, что онъ имянинникъ. Неужели же и мы не вспомнимъ?»

И вотъ, какъ-то само собой, случилось такъ, что онѣ порѣшили купить букетъ цвѣтовъ и послать ему... Богъ

знаетъ, кому изъ нихъ первой пришло это въ голову. Зоѣ казалось, что матери, а матери казалось—что Зоѣ. Ясно, что никакого спора не могло и быть, оставалось только придумать, гдѣ достать букетъ какъ, когда, съ кѣмъ послать его.

Итакъ, не безъ цѣли Вѣра Георгіевна, вмѣстѣ съ Зоей, пошла проводить своего супруга. Онѣ не знали навѣрное, уѣдетъ онъ или его остановятъ дѣла, и онъ останется. Это не разъ случалось съ Трофимомъ Евлампіевичемъ: скажетъ, бывало, что уѣзжаетъ и вернется послѣ обѣда домой. Почему и отчего — Господь его вѣдаетъ. Вѣра Георгіевна рѣдко осмѣливалась спрашивать, а Трофимъ Евлампіевичъ, какъ уже извѣстно, считалъ ее дурой, и не любилъ въ своей семьѣ откровенничать; развѣ иногда, за обѣдомъ, при какомъ-нибудь гостѣ, вслухъ разсказывалъ про себя, да про свои дѣла, разумѣется, чернилъ другихъ и, въ самомъ выгодномъ свѣтѣ, изображалъ доброту и простоту свою, т. е. нежеланіе пользоваться промахами дураковъ такъ, какъ бы они того стоили...

Былъ уже второй часъ дня... Елатомскій все еще находился подъ вліяніемъ письма своего родителя... хандрилъ... и думалъ: «ну, ужъ мачиха! Только о кислыхъ щахъ, да о соленыхъ огурцахъ и можно будетъ съ нею бесѣдовать. Да что?.. Развѣ я когда-нибудь вернусь туда! Прощай родина!..»

Въ комнатѣ съ закрытой дверью было пасмурно и такъ тихо, что сверчокъ сталъ поскрипывать, а крысы или крысята попискивали подъ поломъ... думали вѣрно, что хозяина дома нѣтъ.

Елатомскій, по временамъ, казался дремлющимъ, лежалъ съ закрытыми глазами и, казалось, не только забылъ о своихъ одесскихъ невзгодахъ,—забылъ идти къ Каррутѣ въ кондитерскую и, по старой привычкѣ, вы-

пить чашку кофе... Мысль о княгинѣ иногда вертѣлась въ головѣ его...

Стукъ, стукъ! Кто-то осторожно постучался въ дверь его.

«Кого это чортъ принесъ!» подумалъ Елатомскій.— Онъ нехотя всталъ, сгорбившись, какъ усталый, прошелъ черезъ комнату и отворилъ дверь. И прежде чѣмъ пересталъ онъ жмуриться отъ яркости полуденнаго свѣта, внезапно ударившаго по глазамъ его, какъ уже въ рукѣ своей почувствовалъ ощущеніе холодноватаго фарфора и не безъ изумленія ощутилъ своимъ обоняніемъ запахъ цвѣтовъ, которые, машинально, къ самому носу поднесла ему собственная рука его.

— Что это! Кто принесъ?—спросилъ онъ мальчугана, съ еврейскимъ типомъ лица, безъ шапки и въ стоптанныхъ башмакахъ на босую ногу, мальчугана, котораго не разъ видалъ онъ на дворѣ играющимъ съ дѣвчонками.

— Я не знаю кто. Двѣ барыни—подай, сказали... Тутъ живетъ такой баринъ... онъ тебѣ за это что-нибудь дастъ... Вотъ и усё. А я не знаю, кто такія...

Елатомскій далъ ему пятіалтынный и, вернувшись въ комнату, поставилъ на столъ голубой, фарфоровый кувшинчикъ и букетъ изъ розъ, гвоздики, левкоя, геліотропа и незабудокъ.

— Я ихъ догоню, я поблагодарю ихъ.

Елатомскій на-скоро одѣлся и, не притворивши двери, выбѣжалъ на улицу.

Меркуличей — Вѣру Георгіевну и Зою, догналъ онъ почти-что у самаго дома ихъ, и кто бы могъ подумать— сердце его сжалось, точно онъ чего-то испугался. Онѣ шли, не оборачиваясь. Онъ замедлилъ шаги свои... и, наконецъ, остановился въ нерѣшительности. Онъ не ихъ боялся, ему было страшно и стыдно обнаружить передъ ними свое волненіе.

— Нѣтъ, лучше я вечеромъ зайду къ нимъ и поблагодарю ихъ... Онѣ однѣ обо мнѣ вспомнили... Даже отецъ, на радостяхъ, позабылъ поздравить меня въ письмѣ своемъ. Лучше я зайду къ нимъ,—«порой межъ волка и собаки»... да... да... лучше вечеромъ! Ясно, что и Вѣра Георгіевна участвовала въ этомъ подаркѣ... Зайду къ нимъ въ послѣдній разъ и выскажу имъ все, все... даже на сплетни намекну и попрошу ихъ быть какъ можно осторожнѣе!..

II.

Въ сумерки того же дня, Елатомскій былъ уже на дворѣ Меркуличей и сидѣлъ на ступенькахъ невысокаго крылечка ихъ одноэтажнаго домика.

Напрасно Зоя и Вѣра Георгіевна приглашали его войти въ домъ,—онъ упрямился и говорилъ имъ:—нѣтъ, нѣтъ, ни за что!.. хоть убейте! Мнѣ и здѣсь хорошо. Зачѣмъ мнѣ забираться туда, куда не слѣдуетъ... И я правъ, и вы будете правы—буквально исполните приказаніе Трофима Евлампіевича... и въ домѣ я у васъ не буду.

— Да кто вамъ это сказалъ, Владиміръ Григорьевичъ?..

— Кто бы ни сказалъ, Вѣра Георгіевна... я вѣрю... Зачѣмъ вамъ принимать человѣка, который и служить у Хавазова не хочетъ, и въ карты съ нимъ играть не желаетъ... который и на гауптвахтѣ сидѣлъ за свои продерзости и... знаете, что еще я вамъ сообщу... Я человѣкъ опасный и состою подъ надзоромъ полиціи.

Вѣра Георгіевна хоть и не поняла, что̀ значитъ состоять подъ надзоромъ, но всплеснула руками... а Зоя взяла его за руку и проговорила:—мнѣ это все равно... только самоваръ на столѣ... Пойдемте въ комнату. Пойдемте, пойдемте, милый Владиміръ Григорьевичъ!

— Нѣтъ... вынесите столъ на дворъ, и будемъ мы чай пить на воздухѣ... и бесѣдовать... А въ домъ—ни за что, Зоя Трофимовна!

Такъ все и сдѣлалось, какъ пожелалъ Елатомскій. Съ помощью кухарки и горничной вынесли столъ на дворъ поставили его между сараемъ и пирамидальнымъ тополемъ, единственнымъ украшеніемъ этого двора, притащили три стула и два табурета, затѣмъ вынесли кипящій самоваръ, фыркавшій во всѣ стороны, точно онъ отплевывался съ непривычки кипѣть подъ открытымъ небомъ; принесли на подносѣ чайникъ, уже съ завареннымъ чаемъ, и прочія принадлежности. Зоя распоряжалась и то вбѣгала въ сѣни, то, сквозь открытыя окна, въ кухнѣ слышался голосокъ ея... Она не то, что распоряжалась,— она была въ какомъ-то нервномъ возбужденіи, и такъ у нея билось сердце, что ей не сидѣлось на мѣстѣ.

Вѣра Георгіевна тоже, очевидно, была очень рада появленію рѣдкаго гостя. Увидѣвъ его, она долго жала ему руку и конфузилась, когда онъ за букетъ цвѣтовъ благодарилъ ее. Она, обманутая дочерью, смотрѣла на него, какъ на зятя... какъ на счастливаго обладателя ея милой, ея любимой старшей дочери, и сердце ея тоже тревожно билось, но она сидѣла на мѣстѣ и уже разливала чай. Меньшія дочери ея были тутъ же, онѣ то присаживались и наблюдали, то вставали и ходили по двору... Имъ было тоже весело. Идея пить чай на дворѣ, при свѣчахъ, веселила ихъ. Никогда еще такой поэтической идеи не пришло въ голову ихъ прозаическому папенькѣ. Зимой—думалъ онъ—холодно, а лѣтомъ на воздухѣ отекаютъ свѣчи; а на лампу налетаетъ всякая мошкара и ничего хорошаго не выходитъ. Къ тому же, почтенный Трофимъ Евлампіевичъ у себя дома былъ рабомъ привычекъ и не любилъ нарушать ихъ безъ особенной, крайней необходимости.

Быстро наступила темная, безлунная, тихая ночь: Люля и Юля, напившись чаю, уже прислушивались къ разговорамъ. Имъ очень хотѣлось знать, что̀ будутъ говорить Зоя и Елатомскій; но юный гость вовсе не любезничалъ, онъ былъ просто нервно веселъ, шутилъ, разсказывалъ о Москвѣ, о своемъ студенчествѣ, о своихъ товарищахъ, или заставлялъ Зою выговаривать безъ запинки «сшитъ колпакъ да не по колпаковски», или «куритъ турка трубку; клюетъ курка крупку» и очень былъ радъ, что она этого никакъ не можетъ выговорить, не запинаясь или не останавливаясь.

Иногда, волей-неволей, глаза ихъ встрѣчались, такъ какъ Зоя ни на кого, кромѣ его, не смотрѣла, и такъ какъ Елатомскому, въ этотъ грустный для него день, пріятно было видѣть лучи и звѣзды, не такія холодныя и безотвѣтныя, какъ лучи и звѣзды, шевелившіеся надъ нимъ въ бездонномъ мракѣ безлуннаго неба.

Наконецъ, та веселость или, такъ-сказать, та юношеская рѣзвость, съ какою онъ велъ свои бесѣды, мало-по-малу истощилась, и на Елатомскаго опять стала находить не то прежняя грусть, не то какая-то неловкая натянутость. И всѣ это чувствовали: никто не хотѣлъ говорить того, что̀ было на̀-сердцѣ.

Вѣра Георгіевна встала и ушла въ домъ, не безъ умысла, — ей показалось, что она лишняя и мѣшаетъ двумъ молодымъ влюбленнымъ.

Ея меньшія дочери выбѣжали за ворота—имъ хотѣлось поговорить о чемъ-то наединѣ, другъ дружкѣ сообщить свои наблюденія, а кстати и на прохожихъ ю̀зѣвать.

— Я знаю,—оставшись съ Зоей вдвоемъ, говорилъ, между прочимъ, Елатомскій — я знаю, что вы меня любите...

— Также, какъ и вы меня, съ увѣренностію, про-

лепетала Зоя, сидя на другомъ концѣ круглаго стола, съ двумя неподвижно—въ неподвижномъ воздухѣ горящими свѣчками.

Елатомскаго поразилъ отвѣтъ Зои, онъ помолчалъ, поглядѣлъ на нее и потупился.

— Я предупреждалъ и предупреждаю васъ...

— Ну да... да... Что вы бѣдны, что вы подъ какимъ-то тамъ надзоромъ... Что вы не можете еще жениться... Знаю, знаю... и—и не хочу слышать.

— А знаете вы, что̀ про насъ съ вами сплетничаютъ?

— Не боюсь... во-отъ ужъ не боюсь! Пусть сочиняютъ, что̀ хотятъ, пусть хоть скажутъ, что я ваша... ваша... Мнѣ все-равно... Я даже рада!

Глаза Зои загорѣлись; но, несмотря на ея колебанія выговорить слово «любовница», ни малѣйшей дрожи не слышно было въ ея голосѣ.

«Неужели эта слезливая дѣвочка сильнѣе меня?» подумалъ Елатомскій, любуясь на оживленное его присутствіемъ, нѣсколько похудѣвшее и какъ-бы осмысленное страстью личико Зои.

Долго не хотѣлось уходить Елатомскому, но въ половинѣ одиннадцатаго онъ всталъ, пожалъ руку вернувшейся Вѣрѣ Георгіевнѣ и протянулъ руку Зоѣ.

— Пора домой,—сказалъ онъ.

— Ну, уходите!—пролепетала Зоя—она надула губки и не двигалась съ мѣста—точно застыла вся.

— Прощайте, спасибо что зашли, — вздохнувъ, проговорила Вѣра Георгіевна.

Елатомскій поклонился имъ, надѣлъ шляпу и пошелъ къ воротамъ.

Но не успѣлъ онъ отворить калитки, какъ Зоя, запыхавшись, догнала его.

— Владиміръ Григорьевичъ!

— Что прикажете?

— Владиміръ Григорьевичъ! — повторила она еще тише, трепетно умоляющимъ голосомъ.

— До свиданія, Зоя.

Но руки ея, какъ двѣ змѣи, обвились вокругъ головы его, и ея поцѣлуй прозвучалъ на губахъ его. Это былъ первый поцѣлуй и на виду у матери.

Елатомскій такъ былъ озадаченъ, сконфуженъ и встревоженъ, что хотѣлъ разсердиться, т. е. притвориться разсерженнымъ,—и не могъ.

— Я никого, ничего не боюсь...—шептала Зоя, припадая горячимъ лицомъ къ груди его.—Я ужъ знаю судьбу свою... И мама знаетъ... Прощайте... до свиданья... до скораго свиданія... Если вы у насъ не будете—я буду у васъ... Слышите!.. Я... я... сама...

Что̀ могъ на это сказать Елатомскій? Онъ молча поцѣловалъ ей руку и вышелъ за ворота. Его лицо пылало, а колѣни вздрагивали и какъ-бы подкашивались.

Ночь была такъ темна, что и при уличномъ фонарѣ нельзя было разглядѣть ни выраженія глазъ его, ни разгорѣвшихся щекъ.

А за воротами все еще прохаживались сестрицы Зои, пользуясь тихой, темной ночью и главное—отсутствіемъ папеньки.

Онѣ только-что толковали между собою, что будь онѣ постарше, да не носи еще этихъ противныхъ, коротенькихъ платьевъ, то, непремѣнно, бы онѣ отбили у Зои Елатомскаго.

— Ну, какъ бы ты отбила?—спросила Люлинька.

— А ты бы какъ?—спрашивала Юля.

— А! Я ужъ знаю какъ. Я ужъ знаю одинъ секретъ...

— И!.. Ты ничего еще не знаешь. Вотъ, я такъ знаю.

— И вы еще не спите?!—самъ не зная, зачѣмъ и почему, спросилъ ихъ Елатомскій, выходя на улицу.

Дѣвочки, сквозь темноту, уставили на него глаза и не отвѣчали ни слова.

Елатомскій ушелъ и скоро затихли по тротуару удалявшіеся шаги его.

Боже мой! чего бы не наговорила Вѣра Георгіевна своей дочери, еслибы она вѣрила ея невинности... Теперь же, до того естественнымъ показалось ей ея поведеніе, что она не сказала ни слова, только долго, простоволосая, подъ открытымъ небомъ, сидѣла она въ темнотѣ, повѣсивъ увядшую голову на увядшую грудь свою.

Долго въ эту ночь никто, кромѣ прислуги, не могъ заснуть въ домѣ Меркуличей — не однѣ веселыя мысли были навѣяны этимъ неожиданнымъ визитомъ Елатомскаго и его недомолвками.

Да и Елатомскій долго не могъ заснуть. Дверь его настежъ была отворена—было такъ душно, что онъ думалъ, не будетъ ли хоть грозы и выходилъ на балконъ поглядѣть не собираются ли тучи не мелькаетъ ли гдѣнибудь мгновенное зарево молній; небо было хотя и темно, но эта густая тьма пропускала, какъ—бы процѣживала слабые лучи далеко мерцающихъ звѣздочекъ.

Въ эту ночь Елатомскій никакъ не могъ отвязаться отъ образа Зои — онъ виталъ вокругъ него, льнулъ къ нему, ея невидимые поцѣлуи и ласки жгли его. Онъ ясно сознавалъ въ эту ночь, что ея отсутствіе для него тяжело и мучительно, что раздвоилась жизнь его, и что цѣлой половины (лучшей или худшей половины—это все равно) недостаетъ ему... что гармонія нарушена, и что, стало быть, онъ не шутя влюбленъ въ эту глупую дѣвочку? И это злило его... И онъ бы опять удралъ куданибудь, хоть обратно въ Москву, лишь бы заглушить въ себѣ это сознаніе, это невыносимое чувство.

Онъ хотѣлъ писать Уютину на Кавказъ и зажегъ было свѣчу, но ничего не писалось... Онъ бросилъ перо, раздѣлся, легъ на свой тюфякъ, потушилъ свѣчу и погрузилъ свою голову въ подушку.

— Душно, ужасно душно!—вздыхалъ онъ, сбрасывая съ себя простыню, которая служила ему вмѣсто одѣяла, да и та казалась ему тяжела и тепла, какъ войлокъ.

Вдругъ, почудилось ему—скрипнула калитка. Онъ поднялъ голову. Нелѣпая фантазія, что это — Зоя, вдругъ охватила его горячую голову, и сердце его замерло.

Но, по балкону, мимо растворенной настежъ двери, осторожно ровнымъ шагомъ, прошли двѣ тѣни, или, лучше сказать, одна двойная тѣнь, шелестившая женскимъ платьемъ и слабо поскрипывавшая мужскими ботинками.

«Это графъ и княгиня!» подумалъ Елатомскій. «Счастливецъ!—онъ смѣетъ, онъ можетъ, я — не могу и не смѣю».

Онъ слышалъ, какъ стукнула дверь, ведущая въ комнату къ графу и какъ минуты три, четыре спустя, объ его стѣну по ту сторону шаркнула и треснула зажигательная спичка (въ то время еще не умѣли дѣлать спичекъ безъ треску, и онѣ только-что входили въ употребленіе).

«Какъ, однакоже, они неосторожны и какъ они оба меня обманываютъ!» подумалъ Елатомскій. «При первомъ же свиданіи, при первой же ея попыткѣ со мной кокетничать, я намекну ей, что я все знаю, и что она меня не одурачитъ!—Дудки, не одурачитъ!»

Мысли его приняли нѣсколько иное направленіе. Онъ всталъ и хлопнулъ дверью такъ, чтобъ они слышали, что онъ затворился, и чтобъ они догадались, что онъ не спалъ и видѣлъ ихъ.

Не зналъ, даже и подозрѣвать не могъ Елатомскій, что не красавица съ русыми волосами, стройной грудью

и упругимъ станомъ, а блѣдная, съ коричневыми тѣнями вокругъ черныхъ глазъ и высохшими губами—Чертилина—въ это время была у него по сосѣдству, и что сколько могла эта старуха принести съ собой золота, столько она и принесла его въ карманахъ своего темнаго, старомоднаго платья.

III.

Елатомскій всталъ на другой день съ легкой лихорадочной дрожью и съ головной болью, но, чтобы не встрѣчаться съ графомъ, рано вышелъ изъ дому.

Заходилъ къ знакомымъ. Зашелъ въ тотъ домъ, гдѣ онъ весной давалъ уроки, и узналъ, что его ученикъ еще не вернулся съ Лимана, куда онъ, вмѣстѣ съ семьей, уѣхалъ купаться въ соленомъ озерѣ. Затѣмъ обѣдалъ безъ аппетита и въ «Пале-Роялѣ», черезъ горничную, получилъ записку отъ княгини Корси.

«Если вздумается вамъ сегодня навѣстить меня, милый Елатомскій,—писала она по-французски,—я буду рада видѣть васъ... Но приходите не раньше 10 часовъ. Вы меня совсѣмъ забыли. До свиданія. Вашъ другъ—Аделаида».

— Что прикажете отвѣчать?—сказала Марина.

— Скажите, что я постараюсь.

— Вы меня не узнаете, баринъ?

Елатомскій поглядѣлъ на нее.

— Ахъ, да... да... вы приносили мнѣ кофе, когда я прошлой осенью остановился въ подворьѣ. Тогда я думалъ, что вы жидовка, а вы русская оказались... Помню, помню...

Марина была нехороша собой, но темное, нѣсколько еврейское лицо ея было симпатично, особливо глаза—

кроткіе и безхитростные. Елатомскій даже вспомнилъ, что онъ ей нравился.

— Ну что,—спросилъ онъ—хорошо тебѣ у княгини?

— Хорошо-съ... она добрая...

— То-то ты такъ похорошѣла, что тебя узнать нельзя...

— Я, баринъ, только одного боюсь.

— Чего-же?

— Да какъ же—уѣдутъ и ничего не заперто... придутъ иногда съ гулянья поздно — не разбудятъ... Сами кого-нибудь выпустятъ отъ себя—хоть бы васъ примѣрно—дверь не запрутъ... Долго ли до грѣха?

— Да вѣдь еще, кромѣ тебя, есть у васъ человѣкъ—Августъ.

— Да развѣ можно на него надѣяться. Онъ, какъ подастъ вечеромъ чай, уйдетъ въ погребокъ, да и танцуетъ тамъ до двухъ часовъ, или пиво пьетъ... Да и плутъ большой руки... на всѣ руки плутъ.

— Какъ же ты нашла здѣсь меня?

— Да я была у васъ, баринъ... Еще на дворѣ встрѣтила такую хорошенькую барышню... Она башмачника искала знакомаго... Черноглазенькая такая... Увидала меня, спросила: не васъ ли я ищу? Я сказала, что васъ... Такая хорошенькая барышня, видно по всему, что ваша знакомая...

— Да почему же видно? Мало ли заходятъ къ намъ на дворъ!

— Да... сейчасъ видать, что знакомая. Вотъ, говоритъ, его дверь... Можетъ быть, онъ и дома... и назвала васъ... Я вошла, ну и вижу, что васъ дома нѣтъ... Здѣсь ужъ я нечаянно васъ встрѣтила.

— Ну, такъ скажи княгинѣ, что я постараюсь сегодня вечеромъ быть у ней.

Марина, не простясь, повернулась и пошла прочь, своей сдержанно торопливой, робкой походочкой.

Она была въ шляпкѣ и скорѣй похожа была на бѣдную провинціальную барышню, чѣмъ на горничную.

Елатомскій въ Москвѣ еще ни одной горничной не видѣлъ въ шляпкѣ. «Шляпка вздоръ, но не такъ сильно крѣпостничествомъ пахнетъ»—думалъ про себя Елатомскій.

Это онъ думалъ раньше, чѣмъ говорилъ съ горничной княгини, и узналъ отъ нея, что Зоя была на томъ самомъ дворѣ, гдѣ онъ квартируетъ — ибо кому же, какъ не Зоѣ, *хорошенькой и черноглазенькой*, прійти на этотъ дворъ, будто бы искать какого-то башмачника — какъ будто мало въ Одессѣ башмачниковъ!

Елатомскій не зналъ—жалѣть или радоваться тому, что въ это время онъ не былъ дома; но не могъ не подивиться той смѣлости, какую обнаруживаетъ ни чѣмъ непобѣдимая страсть ея, тому фанатизму, съ какимъ она, не смотря на все его благоразуміе, вѣритъ любви его.

Великій Шекспиръ сказалъ: «бѣды не ходятъ одиноко, но толпою»... Почти то же самое можно сказать и объ удачахъ въ любви... Случалось ли кому замѣчать, что, какъ скоро въ такого-то NN или MM влюбится одна,— непремѣнно, тотчасъ же или вслѣдъ за ней, влюбится и другая, и третья. Есть годы въ жизни нѣкоторыхъ мужчинъ, когда любовь къ нимъ дѣвицъ и женщинъ становится какъ-бы эпидемической, а что всего страннѣе, есть красавицы, которыхъ никто никогда не любилъ, и есть весьма некрасивые, поразительно-невзрачные экземпляры мужского рода, изъ-за которыхъ женщины ссорятся. Стало быть, ничего нѣтъ мудренаго, что герой мой Елатомскій, двадцати-трехъ лѣтъ, едва успѣлъ сбросить съ себя маску моднаго въ то время печоринства, какъ уже

почувствовалъ, что, какъ нѣкій магнитъ, онъ влечетъ къ себѣ многихъ.

Будь онъ чувственный юноша, да поменьше совѣстливъ, да побольше дерзокъ, не зачѣмъ было бы ему и посѣщать полусвѣта. Жизнь тогдашняго общества вся, всѣми своими нервами и соками ушедшая въ романтическія мечты и стремленія, показалась бы ему такимъ разливаннымъ моремъ страстей, холоднаго, расчетливаго волокитства, разврата, измѣнъ, опасныхъ приключеній, сумасбродныхъ грезъ и амурныхъ шалостей,—что онъ могъ бы утопить въ ней всѣ лучшія сокровища души своей, всѣ свои сомнѣнія, всю жажду труда и полезной дѣятельности, а думать о какой-то правдѣ, мечтать о какой-то будущности русскаго народа, котораго онъ также не зналъ, какъ его и до сихъ поръ не знаютъ многіе — у Елатомскаго не хватило бы и времени.

Елатомскій, несомнѣнно, понравился княгинѣ Аделаидѣ. Но что̀ такое была эта княгиня?

Княгиня—была такой же продуктъ сороковыхъ годовъ, какъ и Печоринъ, съ тою разницей, что она была женщина. Она не была ни жоржъ-зандисткой, ни идеалисткой, ни матеріалисткой, словомъ, не придерживалась никакой теоріи. Въ 16 лѣтъ она могла еще полюбить глубоко и искренне, но рано выданная замужъ за стараго человѣка который явно не нуждался въ любви ея, и, брошенная въ свѣтъ со всѣми его блестками и обманами, она на мелочи размѣняла свое любящее сердце, почувствовала пустоту жизни, и наполнять эту пустоту стало ея заботой.—А!—думала она иногда...—этотъ дуракъ, этотъ важный и надутый дипломатъ, думаетъ, что онъ такъ уменъ, что, несомнѣнно, побѣдитъ меня! Онъ будетъ у моихъ ногъ, я заставлю его страдать, поссорю его съ его же пріятелемъ, онъ будетъ драться, онъ будетъ рвать на себѣ волосы... и... мнѣ будетъ весело... Пока я молода, я не

должна скучать. Дайте мнѣ наивную душу отрока, чтобы я могла надышаться ароматомъ его свѣжести и потомъ бросить... Дайте мнѣ скрягу, и я заставлю его мотать деньги... Словомъ, не физически, но нравственно это была куртизанка... Немногіе могли случайно воспользоваться ея слабостью, но и эти немногіе на другой же день понимали, что торжество ихъ, не болѣе какъ торжество минуты... Подобно Эвиной, она вовсе не пропагандировала свободной любви, она была хуже, она вовсе не признавала никакой любви... Любовь,—говорила она—это фейерверкъ. Тотъ никогда не обожжется, кто умѣетъ пускать его, но за то, кто умѣетъ, для того это занимательное зрѣлище!

И, при такомъ фальшивомъ настроеніи всѣхъ лучшихъ качествъ души своей, она казалась такъ простодушна, такъ мила, такъ любезна и, что̀ всего опаснѣе, казалось—вотъ-вотъ, не сегодня, такъ завтра—вся растаетъ, увлечется, какъ пятнадцатилѣтняя дѣвочка, забудетъ и мужа, и своихъ друзей, и толки свѣта, и все на свѣтѣ.

И сотни праздныхъ молодыхъ людей и многоопытныхъ Печориныхъ не разъ поддавались такимъ иллюзіямъ и удалялись изъ ея общества, съ горькимъ чувствомъ неизгладимаго разочарованія.

Одинъ графъ Гиккель раскусилъ ее, и, хотя это былъ единственный знакомый и даже дальній родственникъ, единственный кавалеръ, котораго она нашла въ Одессѣ, она даже и не пыталась съ нимъ кокетничать или увлекать его...

Ихъ сблизилъ общій ихъ взглядъ на жизнь, какъ на *пустую и жалкую шутку*. Онъ и безъ любви интересовалъ ее, онъ хотѣлъ бѣжать отъ долговъ, и вопросъ, какъ онъ это сдѣлаетъ, занималъ ее. Но еще болѣе занималъ ее другой вопросъ: что̀ если графъ бѣжитъ, кто тогда въ этой скучной Одессѣ, будетъ ея кавалеромъ? Кто займетъ

ее? Кто своимъ волокитствомъ наполнитъ день ея. Чья пламенная страсть развеселитъ ее?

Къ величайшей ея досадѣ, она чувствовала, что безтактно она повела себя по отношенію къ Елатомскому.— Кокеткой, отъявленной кокеткой ему показалась! И все шло не такъ, и говорить съ нимъ она должна была бы иначе... Кто же зналъ, что онъ все замѣчаетъ, все взвѣшиваетъ... что онъ не совсѣмъ глупъ... qu'il n'est pas si bête, comme il en a l'air!..

Почти двое сутокъ не видя Елатомскаго и даже не встрѣчаясь съ нимъ, она написала ему пригласительную записку и... дала себѣ слово нѣсколько иначе съ нимъ вести себя... Онъ ей нравился, потому-что въ это время не только Зоя, даже горничная Марина была неравнодушна къ нашему герою. Такая ужъ видно на него полоса нашла... «Бѣды не ходятъ одиноко, но толпою».

Настала ночь, темнѣе прошлой ночи; было наволочно, подувалъ свѣжій вѣтерокъ,—тихо шевелясь, шушукались на бульварѣ пыльныя акаціи своими сухими, съёжившимися на солнцѣ листьями. Гуляющихъ было мало.

Елатомскій пошелъ на бульваръ. На Ришельевской улицѣ онъ встрѣтилъ, если не графа, то тѣнь его—фигуру, точно въ такомъ же холстинковомъ сюртучкѣ на распашку и въ соломенной широкополой шляпѣ.

«Это онъ отъ княгини», подумалъ Елатомскій. — Теперь онъ ушелъ, и она можетъ принять меня. Но пока нѣтъ еще десяти часовъ, зачѣмъ же я пойду къ ней раньше времени»...

Онъ вошелъ въ тѣнь бульвара и повернулъ направо. Головѣ его было немного легче, но страшную усталость и какъ-бы разбитость во всѣхъ членахъ ощущалъ Елатомскій... Слегка пошатываясь, не спѣша шелъ онъ... и вдругъ, шагахъ въ шести, впереди себя увидѣлъ — съ

одной изъ скамеекъ встала дама и кавалеръ, повидимому, военный.

Въ просвѣтъ между деревьями запалъ свѣтъ уличнаго фонаря, и показалось Елатомскому, что впереди его мелькнула бѣлая бедуинка и на головѣ красная греческая феска и золотая кисточка.

«Это княгиня», подумалъ Елатомскій и несмотря на усталость, ускорилъ шаги свои. Но едва онъ поровнялся съ ними, какъ дама въ бедуинкѣ быстро отшатнулась отъ своего кавалера въ сторону къ Елатомскому и пролепетала ему шопотомъ: сидите у лѣстницы и ждите меня, я сію минуту вернусь.

Елатомскій пріостановился... двѣ тѣни ушли и исчезли... Потемнѣло ли у него въ глазахъ, или они повернули на маленькую дорожку и скрылись въ темнотѣ, за темными деревьями.

Елатомскій ни о чемъ не думалъ, даже не слишкомъ удивился приказанію княгини ожидать ее, сѣлъ около лѣстницы на скамью, оперся спиной на задокъ ея, вытянулъ ноги, снялъ и поставилъ около себя свою шляпу.

Долго ли, коротко ли сидѣлъ Елатомскій, онъ и самъ не зналъ... На него напало какое-то равнодушіе... Онъ даже и княгини не ожидалъ, точно во снѣ слышался ему ея сладкій шопотъ или шелестъ коварныхъ устъ ея, даже о своемъ намѣреніи въ 10 часовъ вечера зайти къ ней позабылъ Елатомскій.

— Ну, теперь пойдемте... Извините, если такъ долго я заставила васъ ожидать себя.

Точно сквозь сонъ прозвенѣлъ надъ нимъ тихій, пѣвучій голосокъ Аделаиды, и рука ея нѣжно прикоснулась къ плечу его.

Елатомскій машинально повиновался ей, всталъ, взялъ ее подъ руку и повелъ.

— Вы теперь мой кавалеръ, мой единственный!

— А куда же дѣвался тотъ?..—началъ-было Елатомскій.—Ахъ! извините, княгиня. Онъ вспомнилъ, что шляпа его осталась на скамеечкѣ.

— Я забылъ шляпу.

Княгиня не только не стала шутить надъ его разсѣянностью, даже не улыбнулась.

— Ну, что—нашли шляпу?

— Нашелъ.

Минутъ черезъ десять они сидѣли уже на балконѣ у княгини.

— Мой Августъ куда-то пропалъ. Марина — тоже, должно быть, спать легла или ушла на rendez-vous. Некому и самоваръ поставить... Подождите, Елатомскій, авось, кто-нибудь вернется.

— Что дѣлать, будемъ ждать,—сказалъ Елатомскій.

Разговоръ не клеился... Княгиня сѣла въ свое раздвижное кресло. Скрестивъ пальцы и закинувъ назадъ голову, она о чемъ-то задумалась.

Вдругъ она встала, вышла, зажгла свѣчу въ своей спальнѣ и воротилась съ биноклемъ.

Какъ бѣлая, воздушная тѣнь, складками своего платья касаясь колѣнъ Елатомскаго, стояла она у рѣшетки балкона и, черезъ бинокль, глядѣла куда-то въ темное море.

— Видите вы этотъ огонекъ направо?—сказала она.—Гдѣ этотъ огонекъ?

— Это, должно быть, фонарь на суднѣ въ карантинной гавани.

— А какъ вы думаете, откуда вѣтеръ—съ моря или съ сѣвера?

— Вотъ ужъ не знаю!

— Ну, давайте разговаривать.

— О чемъ же?—Мнѣ не здоровится, и я не обѣщаюсь быть съ вами любезнымъ.

— Зачѣмъ мнѣ ваша любезность... Неужели вы ду-

маете, что я нуждаюсь въ ней... Немножко вашей дружбы—и уже за это я безконечно буду благодарна вамъ.

— У васъ есть другъ, княгиня, — къ чему же вамъ моя дружба?—Скажите по-совѣсти.

— Такъ какъ я, вообще, ни чьей любви не стою, то хоть дружбы не лишайте меня, Елатомскій!

— Любви вы больше стоите, чѣмъ дружбы, и любимы и любите...

— Кѣмъ же, кѣмъ, Елатомскій?

— Графъ Гиккель,—не безъ усилія выговорилъ юноша. Ему не хотѣлось вдаваться въ откровенности или уличать ее—и не въ такомъ онъ былъ настроеніи духа, чтобъ уличать...

— А! графъ Гиккель,—улыбнулась она (улыбка слышна была въ ея голосѣ).—Какой же онъ скрытный!.. я и не подозрѣвала...

«Какая геніальная притворщица!» подумалъ про себя Елатомскій.

— Постойте, который часъ?—есть у васъ часы?

— Нѣтъ, нѣтъ у меня часовъ—я ихъ продалъ...—нѣсколько рѣзко, какъ-бы съ досадой, отвѣчалъ Елатомскій.

Княгиня изъ-подъ корсажа вынула свои часики и прислушалась—идутъ ли они или остановились.

— Кажется, идутъ; но я ничего не вижу, у васъ молодые глаза, поглядите, сколько минутъ прошло. И она поднесла ему свои часики, и уже не только складки бѣлаго платья — ея колѣно слегка прикоснулось къ ногѣ его.

— У меня такіе же глаза, какъ и у васъ—вѣдь мы ровесники! Да и зачѣмъ вамъ знать, который часъ?—счастливые часовъ не наблюдаютъ.

Елатомскій отставилъ свою ногу и услыхалъ слѣдующую фразу изъ устъ ея:

— Жаль, что счастливые не только часовъ—ничего не наблюдаютъ.

— А я, какъ шелъ къ вамъ,—встрѣтилъ графа.

— А!.. заинтересовалась княгиня: — вы встрѣтили графа! и начала его разспрашивать—гдѣ и какъ?

Елатомскій разсказалъ ей—гдѣ и какъ.

— Отчего же вы его не окликнули?

— Зачѣмъ?

Княгиня усмѣхнулась, хотя и эту усмѣшку трудно было въ темнотѣ разглядѣть на лицѣ ея.

— А какой славный, дорогой фермуаръ видѣлъ я у него на-дняхъ.

— А! фермуаръ! знаю, онъ и мнѣ заносилъ его показывать.

— Кажется, онъ хотѣлъ продать его.

— Разумѣется, продать. Зачѣмъ ему фермуаръ!—спокойно отвѣчала княгиня... и опять, приложивъ къ глазамъ бинокль свой, стала смотрѣть куда-то въ темное море.

«Нѣтъ», подумалъ Елатомскій, «никакими намеками не проймешь ее! И если она волнуется, то не отъ фермуара, а чортъ ее знаетъ отчего. Впрочемъ, какъ актриса—она божественно играетъ свою роль».

— Елатомскій, видите вы тамъ огонекъ... не правда ли, ихъ два теперь... не правда ли?—вдругъ среди тишины, заговорила она обрадованнымъ голосомъ, уронила бинокль, и, какъ дитя, захлопала въ ладоши... Ну, теперь, теперь будемъ чай пить... Боже мой! Боже мой! Каково?.. А?..

— Что съ вами! чему вы рады, княгиня? Или вы хотите совершенно заинтриговать меня? Къ чему?

— Пойдемте въ гостиную... Сейчасъ я велю зажечь лампу... Какъ темно, возьмите свѣчу... Марина, это вы? Зажгите лампу... Вернулся ли Августъ... а? Подайте кам-

форку, мы сами зажжемъ спиртъ, скипятимъ воду и заваримъ чай...

Княгиня стала весела и разговорчива, и, между прочимъ, начала увѣрять его, что бинокль ея—бинокль волшебный,—что, при помощи кабалистическихъ словъ, она видѣла въ него берега Босфора, Константинополь и его мечети, турецкія кофейни, огоньки въ домахъ и... одного молодого человѣка, который былъ на краю погибели—на волосокъ отъ смерти и былъ спасенъ совершенно неожиданнымъ для него образомъ... Что она очень обрадовалась, что все такъ благополучно кончилось и не утерпѣла захлопать въ ладоши отъ радости. — А вы что думали?

— Я ничего не думалъ... Вотъ вы теперь сочиняете сказку... Неужели же и надъ вашей сказкой вы прикажете мнѣ задуматься!

— Въ этой сказкѣ есть смыслъ—и не завтра, такъ послѣзавтра вы его разгадаете.

Затѣмъ княгиня скипятила воду, заварила чай, принесла свои любимые пряники, и, затѣмъ, была такъ родственно проста и такъ весело любезна, что Елатомскій простился съ ней совершенно ею очарованный.

«Нѣтъ, не стану винить ее! Не стану и графа винить», возвращаясь домой, думалъ Елатомскій. «Для минутнаго блаженства, что можетъ быть дороже этой княгини, для постоянной, инстинктивной привязанности и любви, что можетъ быть дороже Зои?!»

Такъ какъ это былъ канунъ субботы, то на своемъ дворѣ, въ окнахъ, онъ засталъ иллюминацію: евреи праздновали шабашъ;.. далеко по-двору, сквозь окна и плохо притворенныя двери, слышалось ихъ молитвенное бормотанье; даже привратникъ, который отперъ ему калитку, тотчасъ же, не обращая на него вниманія, отошелъ въ уголъ, плотнѣе завернулся въ какую-то попону, уперся

головой въ стѣну, и сталъ бормотать, покачиваясь изъ стороны въ сторону.

«Неужели это просто обычай—одна форма, безъ всякаго содержанія!» подумалъ Елатомскій. Онъ самъ заперъ калитку, вошелъ на лѣстницу и, такъ какъ сталъ накрапывать дождикъ, постоялъ на балконѣ, прежде чѣмъ вошелъ въ свою душную и темную комнату.

IV.

На другой день, по-утру, Елатомскій не слыхалъ, какъ вошла старуха. Съ тою же тяжестью въ головѣ очнулся онъ, когда уже гулъ выстрѣла изъ полуденной пушки прокатился надъ городомъ.

Дверь комнаты настежъ была отворена, на столѣ стоялъ потухшій самоварчикъ, на полу—вычищенные сапоги, на стулѣ—рукомойникъ.

Онъ накинулъ на себя халатъ и сталъ умываться.

Въ это время по балкону прошли рябоватый и толстенькій Степанъ Степановичъ Балалайкинъ и высокій, тонкій и желтый Антонъ Исаевичъ Брыщевскій. Очевидно, они прошли въ квартирку, занимаемую графомъ. Елатомскій не обратилъ бы на нихъ никакого вниманія, но, скрыпнувъ дверью и поговоривъ о чемъ-то, оба гостя появились вдругъ на порогѣ его комнаты.

— Вотъ онъ, навѣрное, знаетъ! — сказалъ Антонъ Исаевичъ, протягивая указательный палецъ свой на Елатомскаго, который въ это время, умывшись тепловатой водицей, вытиралъ полотенцемъ свое лицо.

— Мы не обезпокоимъ васъ? — разставляя руки и слегка подавшись впередъ, вкрадчиво спросилъ его Степанъ Степановичъ.

— Извините, я только-что всталъ,—сказалъ Елатомскій.

— Извините, — сказалъ Балалайкинъ, выступая впередъ и уставя на Елатомскаго свои добрые, голубые глаза,—не можете ли вы дать намъ кой-какія свѣдѣнія на-счетъ нашего милаго графа, куда онъ спрятался! Намъ уже стало почти досконально извѣстно, что нѣтъ его ни у княгини Корси, ни у этой госпожи Чертилиной, ни на бульварѣ, ни въ Пале-Роялѣ, ни въ сигарной лавочкѣ, ни въ греческой кофейной, ни на базарѣ... Нигдѣ! даже удивительно, право!

Пока онъ все это произносилъ, вытирая фуляровымъ платкомъ свою потную лысину, Антонъ Исаевичъ успѣлъ уже снова заглянуть въ незапертую комнату графа и обревизовать ее.

— А вотъ и еще новый сюрпризикъ!—послышался его визгливо-грубый голосъ. — Пожалуйте-ка сюда!.. Не угодно ли вамъ, господинъ Елатомскій, полюбоваться. Пожалуйте-ка, пожалуйте за мной на минуточку!

— Я еще не одѣтъ,—съ неудовольствіемъ, проговорилъ озадаченный Елатомскій.

— Ничего что не одѣты. Здѣсь и дѣвки ходятъ почти-что совсѣмъ не одѣтыя. Нецеремоньтесь, пожалуй ста Пожалуйте въ его комнату... пожалуйте!

«Что за чортъ!» подумалъ Елатомскій. «Ну, что̀ тамъ такое?»..

— А вотъ, изволите видѣть, его одежда, вотъ она и шляпа его лежитъ—вотъ она! Гдѣ же онъ самъ? А?

— Должно быть, въ чужомъ платьѣ ушелъ,—замѣтилъ болѣе спокойный и разсудительный Степанъ Степановичъ.

— Не уйдетъ, — гнѣвно подхватилъ Антонъ Исаевичъ.—У самой Москвы нагонимъ его, каналью! Не это, теперь... не объ этомъ... не!.. Кто принесъ, и вотъ тутъ на стулѣ положилъ его одежу, тогда какъ вчера со двора вышелъ онъ въ этомъ самомъ платьѣ? Кто?!

На дворѣ въ это время уже собралась куча евреевъ, изъ оконъ выглянули еврейки, дѣти ихъ тоже изъ разныхъ угловъ повысунули свои курчавыя головы и тоже глазѣли на балконъ.

— Кто, спрашивается, могъ всю эту штуку подѣлать! А?—горячился Антонъ Исаевичъ... — Онъ далъ подписку не выѣзжать изъ города, стало быть, если вы помогли ему, вы, вы будете за него отвѣчать! вы, да, вы, милостивый государь! Васъ вмѣсто его засадимъ мы въ острогъ... вотъ что!

Елатомскій поблѣднѣлъ.

— Какъ вы смѣете такъ мнѣ грозить?—закричалъ онъ на Антона Исаевича.

Но Антонъ Исаевичъ не смутился: онъ махалъ руками, кричалъ, грозилъ, и, очевидно, былъ въ азартѣ. Къ счастью, Степанъ Степановичъ ухватилъ его за руку и мягкимъ голосомъ сталъ его уговаривать.

Елатомскій ушелъ въ свою комнату одѣваться, онъ уже хотѣлъ-было затворить и запереть свою дверь, но рябой и голубоглазый Степанъ Степановичъ подошелъ къ нему съ самымъ добродушнымъ видомъ и, слегка дотронувшись до его груди, заговорилъ мягко и вкрадчиво.

— Вы намъ только скажите, только намекните... Мы отъ васъ ничего другого и не просимъ, даже не желаемъ. Даже, если угодно... это между нами, разумѣется, — если угодно... заплатимъ вамъ... по... по чистой совѣсти.

Тутъ мягкій голосъ Степана Степановича оборвался, до того взбѣшеннымъ показалось ему блѣдное лицо Елатомскаго.

— Да если бы я и зналъ,—крикнулъ Елатомскій, — куда вашъ графъ провалился или куда улизнулъ, если бы даже и зналъ! Съ чего вы взяли, что я за ваши деньги

выдалъ бы вамъ чужую тайну! Какъ вы смѣли предлагать мнѣ такую сдѣлку! Да десяти тысячъ, сотни тысячъ я не возьму отъ васъ!

— Слышите!—заоралъ Антонъ Исаевичъ, размахивая руками, и обращаясь съ балкона къ евреямъ, столпившимся на дворѣ.

— Слышите, онъ знаетъ и говоритъ, что за десять тысячъ не скажетъ намъ, куда бѣжалъ графъ... будьте свидѣтелями.

Въ толпѣ, на дворѣ, шушуканье жидовъ превратилось въ безпрерывное громкое бормотаніе на непонятномъ жаргонѣ. Съ заломленными на-затылокъ картузами и шляпами, они стояли другъ къ другу бородами и тоже махали руками и начинали о чемъ-то спорить... Пришелъ грекъ-хозяинъ и, не зная въ чемъ дѣло, объявилъ во всеуслышаніе, что графъ заплатилъ ему впередъ и ничего не долженъ.

— Идемте сію минуту въ часть, — закричалъ Елатомскій,—или, нѣтъ, лучше къ полицмейстеру. Сію минуту! Какъ вы смѣете подозрѣвать меня въ мошенничествѣ и грозить мнѣ, тогда какъ я тоже знаю о побѣгѣ графа, что̀ и вы...

«Цо-цо-цо!» слышалось со двора...

Елатомскій на-скоро одѣлся и, не шутя, принялъ намѣреніе тотчасъ же идти къ самому полицмейстеру.

Когда онъ уже надѣлъ свою шляпу и вышелъ на балконъ, Степанъ Степановичъ опять подошелъ къ нему...

— Извините,—сказалъ онъ,—дѣло еще не раскрыто. Можетъ быть, просто графу вздумалось попроказничать... и онъ скрывается гдѣ-нибудь въ такомъ мѣстѣ... онъ вездѣ бываетъ; изъ чего же зря затѣвать такую исторію!

— Не я, а вы со мной затѣяли такую исторію!

— Вотъ вы,—понижая голосъ, сказалъ рябой, — вы не нынче—завтра, можетъ быть, будете зятемъ нашего

друга Трофима Евлампіевича, ибо, какъ честный человѣкъ, мы увѣрены, что вы женитесь... А знаете, что у этого Меркулича тысячъ на семь векселей на этого самаго графа... Изъ какихъ же благъ, посудите, будетъ онъ терять... Вѣдь онъ же не даромъ ихъ получилъ... Значитъ, ужъ изъ одного родственнаго расположенія, неужели вы не можете намъ—ну—хоть намекнуть, куда могъ дѣваться вашъ сосѣдъ и благопріятель...

Елатомскій строго поглядѣлъ ему въ глаза и только могъ одно сказать:

— Пойдемте со мной къ полицмейстеру!

V.

Полицмейстеръ только-что вернулся домой отъ генералъ-губернатора, разстегнулся, отстегнулъ саблю, ослабилъ галстухъ, велѣлъ набить себѣ трубку и затянулся съ видимымъ удовольствіемъ.

Но не успѣлъ онъ выпустить изъ-подъ усовъ двухъ-трехъ колечекъ волнующагося голубоватаго дыма, какъ дежурный деньщикъ доложилъ ему, что какой-то Елатьба желаетъ его видѣть...

Полицмейстеръ поморщился, прошелся по комнатѣ — и вышелъ въ пріемную.

— А... ну, вотъ, какой же вы Елатьба! Дуракъ! — обратился онъ къ дежурному:—не умѣешь докладывать! Пойдемте ко мнѣ, милѣйшій; не хотите ли затянуться? А я, батюшка, только-что вернулся. Этакая жара стоитъ... пыль. Поливать городъ нечѣмъ: воды нѣтъ,—фу!

«Цѣлое море», подумалъ про себя Елатомскій, и комфортабельно усѣлся около туалетнаго зеркала, передъ которымъ, въ парижской баночкѣ, стояла венгерская помада для усовъ, лежали щетки и щеточки, гребни и гребенки, духи и бритвенница.

— Ну, что̀? — началъ полковникъ: — позволила *она* вамъ меня познакомить съ ней?.. А? Смотрите, не кривите душой... Знаемъ мы, какъ вы ей куры-то строите, по ночамъ у ней засиживатесь, знаемъ!

— А знаете, какая исторія сейчасъ со мной приключилась?.. съ тѣмъ и пришелъ, чтобъ разсказать вамъ. Надѣюсь, что хоть вы заступитесь...

— Что̀ за исторія!—поглядывая въ зеркало и крутя свой усъ, проговорилъ полковникъ.

Елатомскій разсказалъ ему все, что̀ съ нимъ приключилось, и ка̀къ на него взваливаютъ новую напраслину.

— То-то у васъ глаза такіе, точно вы больны, — сказалъ полицмейстеръ, и вдругъ лицо его отуманилось. Какъ же это?.. какъ же мнѣ до сихъ поръ объ этомъ никто не донесъ! Это вовсе не пустяки, тутъ много заинтересованныхъ. Если онъ бѣжалъ,—какъ же я-то, я этого не знаю? Это, это странно! Вы только сами посудите. Былъ я сейчасъ у генералъ-губернатора, только отъ него сію минуту... а онъ, знаете, шутить не любитъ... и вдругъ... я ничего не знаю, ни о чемъ не докладываю!.. а онъ узнаетъ—и другіе ему доложатъ. Если онъ бѣжалъ и это правда... то... я... я... я... всѣхъ подниму на ноги!..

Какъ онъ подниметъ всѣхъ на ноги, Елатомскому было совершенно невѣдомо, но для него было ясно, что разсказъ его не шутя встревожилъ блюстителя порядка, и что въ прелестныхъ глазахъ его замелькало что-то недоброе...

— Конечно, вы тутъ не виноваты, но очень можетъ быть, что васъ тоже позовутъ къ допросу... и возьмутъ съ васъ подписку о невыѣздѣ изъ Одессы.

— Какъ подписку о невыѣздѣ! что̀ вы, полковникъ, помилуйте! я собираюсь къ намѣстнику на Кавказъ... и вдругъ—подписку о невыѣздѣ.

— Да ужъ это такая форма. Можетъ быть, мы и

возьмемъ съ васъ подписку, — можетъ быть, не возьмемъ... Гдѣ же вы были вчера вечеромъ?

— На бульварѣ. Я встрѣтилъ княгиню, которая шла подъ руку съ какимъ-то неизвѣстнымъ мнѣ мужчиной, въ военной фуражкѣ, и затѣмъ, по ея приглашенію, былъ у нея и пилъ чай.

— Кто же это былъ въ военной фуражкѣ?

— Не знаю... Я даже подумалъ—не вы ли?

— Да вѣдь вы же его видѣли?

— Видѣлъ, но было такъ темно, что я не могъ разглядѣть лица его.

— Да вѣдь вы же съ нимъ пили чай?

— Нѣтъ, не желая мѣшать княгинѣ кокетничать съ кѣмъ ей угодно, я ушелъ, и, когда потомъ она позвала меня—при ней уже не было ея кавалера.

— Гмъ!

Полицмейстеръ позвонилъ. Вошелъ дежурный.

— Позвать ко мнѣ частнаго пристава Бостанжогло!

— Мы сейчасъ же допросимъ васъ, г-нъ Елатомскій, и потомъ вы свободны. Въ этомъ дѣлѣ нужно пользоваться всякимъ, даже ничтожнѣйшимъ показаніемъ... Вотъ вы говорили о фуражкѣ... Кто бы это могъ быть? Можетъ быть, графъ.

— Нѣтъ, графа я встрѣтилъ за нѣсколько минутъ на улицѣ.

— Все это, милѣйшій, надо записать, все это необходимо для протокола... О! вы еще дѣлъ не знаете... Съ чего же и начинается слѣдствіе, какъ не съ допросовъ.

«Чортъ меня дернулъ идти жаловаться!» подумалъ Елатомскій. Онъ не могъ уже не замѣтить, что изъ блистательнаго бонъ-вивана, полковникъ вдругъ превратился въ озабоченнаго чиновника, даже застегнулся, и, по отно-

шенію къ нему, принялъ тонъ отчасти оффиціальный, отчасти покровительственный.

— Мы и княгиню еще допросимъ,—не безпокойтесь! Она, вѣрно, знаетъ... Вотъ и будетъ случай познакомиться...

— Княгиня, можетъ быть, только сегодня и узнала о его побѣгѣ, а можетъ быть—до сихъ поръ пребываетъ въ неизвѣстности...

— Да, какъ не такъ! въ неизвѣстности!.. Можетъ быть, за тѣмъ и пріѣхала, чтобъ его выручить... помочь ему бѣжать; а тутъ—отвѣчай! Скажутъ, чего смотритъ полиція! Я вѣдь лучше васъ знаю нашего-то Ѳедорова. Предпишетъ найти этого графа въ двадцать-четыре часа... А какъ его найдешь? Онъ, можетъ быть, въ чужомъ платьѣ, съ чужимъ паспортомъ изъ города выѣхалъ!..

Елатомскій долженъ былъ отправиться въ часть и заявить все то, что знаетъ о графѣ Гиккелѣ. Его задержали до четырехъ часовъ пополудни. Больной, вернулся онъ домой и напился чаю, чтобы вызвать испарину. Пока онъ пилъ чай, полиція сдѣлала опись вещамъ, оставшимся послѣ графа, и запечатала дверь его.

Полицмейстеръ отправился къ генералъ-губернатору съ донесеніемъ, затѣмъ заѣзжалъ къ княгинѣ Корси, не засталъ ея дома и оставилъ ей свою карточку.

Насталъ вечеръ. Съ соборной колокольни раздавался благовѣстъ; народъ шелъ отъ всенощной; на бульварѣ собралось одесское фешенебельное общество. Съ моря поднималась туча, но гроза была еще далека, вѣтеръ спалъ и акаціи спали... Все было тихо въ природѣ, но много толковъ и говору было между одесситами.

— Я одно могу вамъ сказать, полковникъ,—говорила княгиня полицмейстеру, который сидѣлъ уже рядомъ съ ней на скамеечкѣ, — что Елатомскій тутъ не при чемъ.

на судно подъ турецкимъ купеческимъ флагомъ; что на другой же день, на разсвѣтѣ, отъ уходящаго въ море греческаго корабля отдѣлилась гичка, сняла его съ турецкаго судна и благополучно въ турецкомъ платьѣ переправила его на свою палубу; что на графѣ былъ кожаный поясъ, набитый червонцами и что онъ непремѣнно бы утонулъ, если бы матросы не услыхали его крика въ волнахъ и если бы ему не подали во-время помощи.

Все это узналось евреями въ греческой кофейной отъ матросовъ того же самаго турецкаго судна, который, выдержавъ карантинъ, вошелъ въ одесскій портъ, нагруженный пряностями, турецкимъ мыломъ, оливковымъ масломъ, табакомъ, сандаломъ и кипарисовымъ деревомъ.

Такимъ образомъ, графъ Гиккель преблагополучно отправился въ Грецію.

Одесскіе кредиторы просто, какъ говорится, рвали на себѣ волосы. Они, поняли отчего графъ постоянно упражнялъ себя въ плаваніи и всячески ругали себя и другъ друга за то, что на эти его упражненія не обращали ни малѣйшаго вниманія.

Но за то въ другихъ, въ высшихъ кругахъ графъ сталъ героемъ дня. Даже Хавазовъ пересталъ ругаться, называлъ его молодцомъ и кричалъ: такъ и надо ихъ, мошенниковъ, этихъ скупщиковъ чужихъ векселей! Ишь, надѣялись, что папенька за него расплатится! а онъ взялъ, да не будь дуракъ и оставилъ ихъ съ носомъ Ха-ха! молодецъ! Это не то, что вы, Иванъ Ивановичъ. Вы и въ водѣ не тонете и утопиться даже не можете, а все-таки такой шутки ни за что бы не выкинули! Гдѣ вамъ! храбрости бы не хватило! Молодецъ, молодецъ, этотъ графъ! А вотъ, что вашъ Елатомскій навѣрное зналъ и не донесъ, вотъ за это я бы его на цугундеръ! Нечего сказать, хорошъ гусь! Хоть бы къ этой самой

княгинѣ поддѣлался, благо она такая до нашего брата охотница—а то и того нѣтъ! Дрянь, дрянь, этотъ вашъ Елатомскій!

Но гдѣ же Елатомскій? Его не было въ субботу на бульварѣ, ни въ воскресенье, ни даже въ понедѣльникъ; француженка, читавшая романы за стойкой кафе-ресторана Карруты, не видѣла свѣтлыхъ очей его. Онъ не приходилъ ни кофе пить, ни обѣдать, ни просто посидѣть съ сигарой во рту подъ навѣсомъ и позѣвать на гуляющихъ. Ужъ и онъ не бѣжалъ ли куда-нибудь, по примѣру графа Гиккеля?

Не сглазила ли его Клара Петровна, которая въ воскресенье утромъ пришла съ работой къ Меркуличамъ и такъ была взволнована и такъ чѣмъ-то обижена, что спицы, которыми вязала она шерстяную синяго цвѣту безрукавку, безпрестанно вываливались у нея изъ рукъ.

Ясно, что и до ушей Клары Петровны дошли кой-какіе слухи!—Да кто же послѣ этого замужъ-то ее возьметъ! — потряхивая букольками, со слезами на глазахъ, говорила она Вѣрѣ Георгіевнѣ, растравляя и безъ того свѣжія раны материнскаго сердца. И никакъ не могла понять Клара Петровна, отчего Вѣра Георгіевна проситъ ее лучше и не говорить о такомъ щекотливомъ предметѣ, что Елатомскій человѣкъ благородный, что онъ недавно былъ у нихъ, и что она въ немъ увѣрена.

— Ахъ, Вѣра Георгіевна, милая моя! вы точно ребенокъ. Какъ же это можно на мужчинъ такъ надѣяться, какъ будто вы ихъ не знаете! Да я сама видѣла, какъ онъ сидѣлъ на балконѣ съ какой-то молодой барыней и такъ разсыпался передъ ней, такъ разсыпался! Завитой, въ перчаткахъ, франтомъ такимъ, что я глазамъ своимъ не вѣрила! Что ему Зоя, когда онъ, гордецъ, Богъ знаетъ, что о себѣ воображаетъ! Ахъ, я ли не любила

Зою! и что̀ же я теперь должна думать! неужели я должна бросить вашъ домъ, Вѣра Георгіевна. Это для меня было бы ужасно, Вѣра Георгіевна!.. Этого я не вынесу!

И на долю Зои достались тѣ же жалобы, тѣ же наставленія и тѣ же слезы...

Правда, Зоя также немного прослезилась къ великому утѣшенію Клары Петровны, но потомъ, когда та пересолила или уже слишкомъ пересахарила свою дружбу къ ней, Зоя сказала:

— Тётя, я вѣрю, что вы меня любите, но я рѣшилась пострадать ради Елатомскаго, потому что я сама была виновницей его страданій... ка̀къ и почему, это ужъ мое дѣло. Вы уже тутъ ничего со мной не подѣлаете. Пусть меня бранятъ, бьютъ, хоть на крестѣ распинаютъ, а замужъ я выйду или за Елатомскаго, или ни за кого. Только вы не мѣшайтесь не въ свое дѣло... моему горю вы уже не поможете, а только еще хуже его растравите.

— Зоя, Зоя, ты ли это! Взгляни на себя, родимая ты моя! Такая ли ты была, Зоя, Зоинька!

Но Зоя уходила въ свою комнату и тамъ на постели, въ тѣсномъ уголкѣ, пряталась за своими ширмами.

Послѣ обѣда Клара Петровна усѣлась въ гостиной раскладывать гранъ-пасьянсъ, уложивъ предварительно въ узелокъ свою работу и повязавъ себѣ зубы, которые стали ныть у нея, послѣ того какъ она посидѣла на сквозномъ вѣтру, да еще отвѣдала вишневаго варенья.

Вдругъ вошли дѣвочки и спросили:

— Гдѣ же Зоя, мама?

— Гдѣ-нибудь, гдѣ же ей быть? можетъ быть, по двору ходитъ...

— Да ея давно уже нѣтъ!

— Ахъ, да... она вѣрно пошла за отцовскими туфлями. Она вчера хотѣла идти... да я сказала... что въ

субботу жиды не работаютъ и лавочки заперты. Такъ это вѣрно она теперь пошла... за отцовскими туфлями.

Вѣра Георгіевна проговорила все это спокойно, даже старалась улыбаться... но она притворялась: мысль, что Зоя пошла *къ нему*, тисками сжала ей сердце... къ тому же она страшно боялась, чтобы та же самая мысль какъ-нибудь не залѣзла въ голову, младшимъ дочерямъ ея или ея другу Кларѣ Петровнѣ...

Клара Петровна молча продолжала раскладывать гранъ-пасьянсъ.

Дѣвочки выбѣжали на дворъ и даже за ворота, поглядѣть, не идетъ ли Зоя.

Вдругъ зашумѣло въ воздухѣ, и хлынулъ ливень.

Клара Петровна посмотрѣла на окна и не оставляла своего занятія.

— Какъ же это—такой дождь!.. Боже мой! Погляжу, взяла ли она хоть зонтикъ! Промокнетъ вся!—стала безпокоиться Вѣра Георгіевна. — Этакая право сумасшедшая!..

Клара Петровна подержала руку у щеки, и въ шумѣ дождя, стучавшаго въ стекла, послышался ея слабый укоризненно-обиженный голосъ...

— Не притворяйтесь, голубушка Вѣра Георгіевна, вы знаете, гдѣ она? О, я не такъ глупа... я все вижу... все слышу и все понимаю.

Вѣра Георгіевна бросилась въ кресла, подняла брови къ потолку, сморщила свой маленькій лобикъ, и слезы покатились по впалымъ, безцвѣтнымъ щекамъ ея.

— Если онъ такой...—горячо произнесла Клара Петровна, бросая карты,—то Трофимъ Евлампіевичъ этого такъ не оставитъ... Нѣтъ, онъ его притянетъ... На это и законы есть, Вѣра Георгіевна... Это не шутка.

— Да, это не шутка!—тихо пробормотала себѣ подъ носъ Вѣра Георгіевна.—Только ради Бога ничего не го-

ворите при моихъ дѣвочкахъ... будьте осторожнѣе... Я такъ боюсь, такъ боюсь!

Видно обѣ онѣ не придерживались мысли, которую высказалъ графъ и раздѣляла княгиня Корси что любовь есть не что иное какъ прелестная шалость, — «l'amour c'est une folie, mais c'est une jolie folie».

VII.

Въ то же самое воскресенье Елатомскій, вмѣсто обѣда, напившись чаю, полюбовался на голубой кувшинчикъ и полупоблекшія розы, подарокъ Зои Меркуличъ, потомъ прилегъ на свою тахту и сталъ думать: а что если и въ самомъ дѣлѣ возьмутъ съ меня подписку о невыѣздѣ!.. убѣгу ли я, какъ графъ, или останусь?.. А что если я заболѣю! Холодокъ все еще подираетъ по кожѣ и голова тяжела, такъ что... всего лучше мнѣ выспаться. Главное скверно то, что у меня аппетита нѣтъ... Вечеромъ пойду къ доктору, спрошу его, что̀ мнѣ дѣлать, принять ли хины или... или... я ужъ и не знаю что... хины принять или пойти къ княгинѣ... къ княгинѣ... и... та̀къ и та̀къ—сказать ей. Она мнѣ покажетъ, гдѣ спрятался графъ, въ ея спальномъ шкапчикѣ или въ Константинополѣ. Тьфу... чортъ знаетъ какой самбуръ лѣзетъ въ голову! Нѣтъ, мнѣ надо выспаться.

Елатомскій перевернулъ подушку и съ закрытыми глазами погрузилъ въ нее свою голову.

Проспавъ около часу, онъ вдругъ раскрылъ глаза... и очень удивился: изъ камина выглядываетъ рябая, добродушно-плутоватая физіономія Степана Степановича, подмигиваетъ ему и такъ улыбается, что ротъ его растягивается до ушей.—Какъ это васъ угораздило?—спросилъ его Елатомскій.

— А графа-то мы нашли, нашли!—мямлитъ Степанъ

Степановичъ. Вдругъ, откуда ни возьмись, въ комнату врывается Антонъ Исаевичъ: пѣна у рта, глаза горятъ какъ у волка... Онъ бьетъ по лысинѣ Степана Степановича: чорта съ два, гдѣ ты нашелъ его, каналью, гдѣ ты нашелъ его! А?.. Степанъ Степановичъ ласковымъ голосомъ упрашиваетъ своего пріятеля не бить его и всячески старается уйти въ каминъ; но голова его такъ велика, что онъ никакъ не можетъ просунуть ее назадъ—однимъ словомъ, завязъ,—и Антонъ Исаевичъ можетъ сколько ему угодно колотить его по гладко-зачесанной лысинѣ.

— Вотъ-такъ комедія!» подумалъ про себя Елатомскій. Однако же, какъ они смѣютъ въ моей комнатѣ?.. Ба... это не моя комната... это кутузка... Вотъ въ томъ углу и арестантъ сидитъ... понимаю»...

— Вы больны,—спрашиваетъ его нѣжный, трепетный голосъ, и чья-то рука къ его лбу прикладываетъ свѣжую ладонь свою.

Елатомскій догадывается, что это Зоя, и никакъ понять не можетъ, какимъ образомъ эта милая Зоя забралась въ такое отдѣленіе, куда сажаютъ только пьяныхъ и гдѣ такъ скверно воняетъ.—Напрасно,—говоритъ Елатомскій,—напрасно вы пришли сюда.

— Вы меня гоните, — говоритъ Зоя, и Елатомскій чувствуетъ, что ея пальчики берутъ его за руку. — Да какъ же,—говоритъ онъ,—развѣ вы не видите, его раздѣваютъ и сію минуту начнутъ пороть. А съ меня уже взяли подписку... достаньте мнѣ только лѣстницу, и я знаю, что̀ я сдѣлаю.

— Онъ боленъ, у него горячка... и никого нѣтъ, никто не знаетъ! Боже мой! Боже мой!

— Дамъ тягу...—закрывъ глаза, пробормоталъ Елатомскій... Зоя!.. Милая...

— Это я... я... милый, милый мой! дорогой мой Вла-

диміръ Григорьевичъ!—Она обрадовалась, что онъ узналъ ее и назвалъ милой.

— Я вижу, что это вы, вы ангелъ и я люблю васъ... А ужъ какъ онъ забрался туда, этого я никакъ не могу понять!.. Да какъ же!—взлѣзъ на потолокъ и тоже гримасничаетъ. Сашинъ! отдайте цвѣты... отдайте, говорю вамъ, отдайте!—раскрывая мутные глаза и тяжело дыша, бормоталъ Елатомскій.

Зоя развязала ему галстукъ, осторожно сняла съ него сапоги, замѣтила прорѣхи на нитяныхъ носкахъ, покрыла ноги его одѣяломъ, которое она нашла свернутымъ въ одномъ изъ ближайшихъ стѣнныхъ шкапчиковъ, поправила подушку, сѣла въ его ногахъ и заплакала.

— Такъ-вотъ каковъ мой первый визитъ къ нему! Заболѣлъ и, быть можетъ, даже не успѣлъ послать за докторомъ... такъ боленъ... такъ боленъ... и даже нѐкому раздѣть его... и всю ночь онъ будетъ одинъ, и никто не подойдетъ, никто не спроситъ... никто лекарства или питья не подастъ ему!..

Слезы, какъ ручьи, бѣжали по лицу ея. Она и не замѣтила, какъ похолодѣло и потемнѣло въ воздухѣ... и тогда вдругъ явилась у нея мысль бѣжать домой, разсказать все матери и привести къ нему лекаря. Между тѣмъ крупныя капли ливня такъ и забарабанили по деревяннымъ доскамъ длиннаго балкона; на-дворѣ послышались неясные крики женщинъ, испугавшихся за развѣшанное по веревкамъ бѣлье.

Елатомскій раза два раскрывалъ глаза, но не узнавалъ Зои... Свѣжесть отъ дождя, проникшая въ его душную комнату, казалось благотворно подѣйствовала на больного: онъ крѣпко заснулъ и только изрѣдка слабо и невнятно бредилъ.

Наступили сумерки. Ливень перешелъ въ обыкновенный дождь. Въ комнатѣ Елатомскаго стало почти темно.

Зоя, повѣсивъ головку, все еще держала его за горячую, сухую руку и то крестилась и шептала молитву, то мысленно страдала за свою мать, воображая себѣ, что̀ говоритъ теперь о ней Клара Петровна, и какъ она бранитъ ее и поноситъ.

Но зачѣмъ же Зоѣ вздумалось вдругъ посѣтить Елатомскаго именно въ такой день, когда у нихъ въ гостяхъ была Клара Петровна. Что дѣлать! Зоя, по свойственному ей упрямству, хотѣла, непремѣнно, исполнить свое слово и быть у него, во-что бы то ни стало, и, такъ какъ Клара Петровна цѣлый день наговаривала на нее матери и пилила ее, точно ревновала ее къ Елатомскому, она была раздражена и рѣшилась доказать ей, что разъ заговорило истинное чувство, ничьи слова ничего не значатъ. Улучивъ минуту, она хотѣла сбѣгать къ Елатомскому для того только, чтобъ положить ему на столъ письмецо, которое написала она ему прошлой ночью, ибо была увѣрена, что Елатомскаго (который дома не обѣдаетъ) около шести часовъ вечера не только въ воскресенье дома нѣтъ,—никогда дома нѣтъ, и что днемъ, какъ она сама видѣла, дверь въ его комнату постоянно настежъ отворена, даже въ его отсутствіе. Она хотѣла тотчасъ же вернуться бѣгомъ назадъ, и поглядѣть, какой эффектъ произведетъ она на Клару Петровну своимъ отсутствіемъ, и что̀ она подумаетъ: не махнетъ ли эта Клара Петровна на нее рукой, также какъ на нее махнула рукой собственная мать ея. Ей въ сущности только того и хотѣлось, чтобъ всѣ махнули на нее рукой и сказали! «Ну! Богъ съ ней!»

Зоя была страстная дѣвушка, и мать не могла дать ей никакого отрезвляющаго воспитанія; но никогда не представлялось Зоѣ возможнымъ, чтобы, безъ торжественной клятвы на ней жениться или безъ сватовства, Елатомскій могъ бы посягнуть на обладаніе красотой ея.

Инстинктивно поняла она, что Елатомскій ни на какую подлость не способенъ, и что, если бы даже она сама захотѣла ему отдаться, не любя ея, онъ не принялъ бы этой жертвы. Она думала, что передъ Богомъ лучше всего сознаніе своей невинности, а для того, чтобы понять, что̀ значатъ въ жизни дѣвушки клеветы и сплетни, она была еще слишкомъ неопытна. Ей даже казалось, что эти-то клеветы и помогутъ ей сблизиться съ Елатомскимъ, онѣ-то и дадутъ ей возможность заразить его сердце своею страстью и своимъ постоянствомъ покорить его. Можетъ быть, она и была отчасти права, но права только потому, что мать у нея была кроткая, запуганная, несчастная Вѣра Георгіевна, что эта мать боялась своего Троши, и что этотъ Троша, или Трофимъ Евлампіевичъ, давно уже отучилъ ее быть съ нимъ откровенною или искреннею. Не разъ въ домѣ своемъ Зоя слышала фразу: каждый порядочный человѣкъ обязанъ жениться на дѣвушкѣ, которую соблазнитъ. А развѣ Елатомскій не порядочный? Ясно, что онъ, непремѣнно, женится, если увлечется ея чарами. — Вообще, съ дѣтства никто при Зоѣ (ни семья, ни прислуга, ни гости) не стѣснялся въ выборѣ своихъ разсказовъ, пересудовъ и скандальныхъ сплетенъ. Что̀ же мудренаго, что не только Зоя, но и молодыя сестрицы ея, въ коротенькихъ платьицахъ, знали кой-какіе секреты — и толковали ихъ посвоему.

Ужъ, конечно, не отецъ, не мать, не прислуга и не прописная мораль спасали влюбленную Зою отъ паденія, а ея собственная вѣра и чуткость, а главное—личность Елатомскаго, въ натурѣ котораго хорошія и дурныя качества были такъ уравновѣшены, что юношеская пылкость и чувственность не перевѣшивали другихъ сторонъ его характера, а въ томъ числѣ и самосохраненія.

Наступила ночь или темный вечеръ. Зоя зажгла свѣчу

и все еще не придумала, что ей дѣлать? Наконецъ, рѣшилась она прежде всего сходить домой и успокоить свою мать, но Елатомскій вдругъ застоналъ во снѣ и сталъ всхлипывать. Видно было, что, сонный, онъ плачетъ и горько плачетъ: хотя изъ закрытыхъ глазъ его и не бѣжали слезы, но судорожно вздрагивали плечи, и лицо его выражало такую грусть, такое страданіе, что у Зои сжалось сердце, и она осталась при немъ, точно прикованная, потерявъ всякую способность соображать и думать.

Вдругъ она вздрогнула: въ дверяхъ показалась высокая фигура съ краснымъ воротникомъ и въ треугольной шляпѣ.

Вошелъ полицейскій, снялъ шляпу, отряхнулъ ее отъ дождевыхъ капель, кашлянулъ, повелъ густыми бровями и разинулъ ротъ, словно тоже испугался, при тускломъ свѣтѣ нагорѣвшей свѣчки, разглядѣвши фигуру дѣвушки.

— А гдѣ же самъ баринъ?—спросилъ онъ.

Зоя встала и указала ему рукой на спящаго; она едва держалась на ногахъ. Въ квартальномъ она узнала знакомаго ея папеньки. Онъ ходилъ когда-то въ ихъ домъ и даже года три тому назадъ, сидя у нихъ вечеромъ, разсказывалъ ей и ея сестрамъ сказки о Бовѣ Королевичѣ и о Петрѣ—Золотые Ключи.

— Спитъ?—спросилъ ее, осклабясь, квартальный.

— Нѣтъ, онъ въ жару... у него горячка.

— Горячка!—удивился гость.—А вы... а ты кто такая, сударушка? А!

— Зоя Меркуличъ.

— Меркуличъ!—удивился квартальный.—Зоя?

Онъ не повѣрилъ, поднялъ свѣчу, поднесъ ее къ самому личику Зои, встрѣтилъ испуганный, страшный, какъ смерть, взглядъ черныхъ глазъ ея и, удивившись, что

это, дѣйствительно, Зоя, пожалъ плечами и растопырилъ руки.

— Слава Богу, что вы пришли,—задыхаясь, заговорила Зоя.—Ради Бога, помогите, привезите доктора... или онъ умретъ безъ всякой помощи.

— Да... да... непремѣнно. Это даже наша обязанность. Господи, Боже мой! Кто бы это могъ подумать! Я и зашелъ-то случайно. Былъ тутъ у одного жидка, вижу огонекъ, думаю, зайду засвидѣтельствовать... да ужъ кстати и извиниться... Кажется, и не нагрубилъ, и никакого озорства не сдѣлалъ, а получилъ нахлобучку. Вотъ, я и забрелъ, и вдругъ — такая оказія! Господи! Да я сюда жену свою пришлю за нимъ приглядѣть. Да... да... въ жару, такъ и горитъ, такъ и пышетъ... Вы-то... по какому здѣсь случаю... сударыня... А?

— Теперь, Агаѳонъ Петровичъ (кажется, такъ васъ зовутъ?) я пойду... мамаша меня ждетъ... Я хотѣла ее привести сюда, да дождь помѣшалъ, такой проливной ливень былъ, да и страшно было его одного въ потемкахъ или съ зажженной свѣчой оставить. Я же сюда въ первый разъ зашла.

— Ну ужъ, хоть и не въ первый! — присаживаясь, произнесъ квартальный.

— Ей-Богу же въ первый разъ, Агаѳонъ Петровичъ.— Думала, что его дома нѣтъ...

— Да ужъ не божитесь, милочка, мнѣ вѣдь это, по правдѣ сказать, все одно. Какое мнѣ дѣло? А вотъ, насчетъ доктора... или тамъ сидѣлки какой-нибудь, такъ это я похлопочу. На-счетъ этого вы уже не безпокойтесь.

— Такъ вы его не оставите, Агаѳонъ Петровичъ, такъ, кажется, зовутъ васъ?

— Такъ, такъ, голубушка. А гдѣ же теперь Трофимъ Евлампіевичъ, папенька-то вашъ. А?

— Въ Крыму.

— Гм! въ Крыму... — Говорятъ, онъ тамъ знатное имѣніе купилъ себѣ.

— Не знаю...

— Не знаете... Какъ же это вы не знаете? — Купилъ, говорятъ.

— Я сейчасъ домой пойду, Агаѳонъ Петровичъ, и скажу мамашѣ, что вы похлопочете, а завтра, вмѣстѣ съ ней, навѣщу его...

Зоя накинула на голову шелковый платочекъ (шляпки она не взяла съ собой), и вышла, но тотчасъ же вернулась и вызвала на балконъ Агаѳона Петровича...

— Никому не скажете то, что̀ я скажу вамъ?—скороговоркой шепнула она ему на-ухо, ухватясь за его жесткую, волосатую руку, съ короткими, какъ бы обгрызанными ногтями.

— А что такое?

— А вотъ что... Елатомскій за меня сватался, а я ему отказала, а когда онъ выздоровѣетъ, я скажу ему, что согласна за него замужъ, понимаете? Стало быть, похлопочите о немъ, какъ о моемъ женихѣ, Агаѳонъ Петровичъ! А на-счетъ доктора, то лучше всего съѣздите за докторомъ Введенскимъ, онъ ему пріятель... Понимаете?

— Да ужъ я давно все понимаю, будьте спокойны, Зоя Трофимовна!

Зоя сбѣжала съ балкона, юркнула въ калитку и, не разбирая ни лужъ, ни грязи, побѣжала домой.

— Будь ты моя дочь, я бы тебя вышколилъ,—проговорилъ про себя квартальный.—Ишь ты... въ первый разъ зашла... Присмотру за тобой нѣтъ, оттого ты и погуливаешь, а свертишься... и по рукамъ пойдешь... Вотъ что!

Не безъ морали, значитъ, былъ Агаѳонъ Петровичъ.

Засимъ этотъ неуклюжій квартальный для Елатомскаго

оказался отцомъ роднымъ, принявъ въ немъ самое искреннее участіе. (Онъ же видѣлъ изъ-за угла, собственными глазами видѣлъ, какъ около театра самъ полицмейстеръ шелъ съ нимъ подъ руку и по-пріятельски разговаривалъ). Онъ тотчасъ же зашелъ къ хозяину и сообщилъ ему, что жилецъ его боленъ... что онъ можетъ умереть, и чтобъ онъ послалъ къ нему или жену, или служанку, да велѣлъ бы, непремѣнно, покурить уксусомъ; затѣмъ, на свой собственный счетъ, нанялъ извощика и поѣхалъ къ Введенскому. На его квартирѣ ему сказали, что докторъ въ гостинницѣ «Лондонъ», въ 1-мъ №. Квартальный немедленно поѣхалъ въ эту гостинницу, вызвалъ его изъ перваго № и увезъ его вмѣстѣ съ собой къ больному Елатомскому. Говорили, будто бы квартальный ровно ничего не заплатилъ извозщику, но это—говорили, можетъ быть, только потому, что извозчикъ, отъѣзжая отъ воротъ, гдѣ жилъ Елатомскій, долго ругался... но кого онъ ругалъ въ эту темную и дождливую ночь, — покрыто мракомъ неизвѣстности.

VIII.

Докторъ нашелъ, что у Елатомскаго не тифъ, а просто горячка, нѣсколько жолчнаго свойства, но настолько сильная, что еще нельзя предвидѣть, чѣмъ она кончится. На ночь онъ велѣлъ старухѣ класть на голову больного холодные компрессы и сказалъ, что онъ заѣдетъ завтра и пропишетъ лекарство... Нечего, кажется, и говорить о томъ, что Елатомскаго раздѣли, уложили на тюфякъ, накрыли одѣяломъ, и что во всемъ этомъ не малое участіе принималъ квартальный Агаѳонъ Петровичъ. Отечески относясь къ Елатомскому, онъ даже освидѣтельствовалъ карманы сюртука его и, найдя въ его бумажникѣ всего только 13 руб. 60 коп., — искренно пожалѣлъ объ его

скудныхъ средствахъ къ существованію.—«А еще женихъ?»—подумалъ онъ укоризненно, вспоминая торопливый лепетъ Зои, или новую ложь ея, сказанную въ оправданіе упрямаго сердца.

На пятый или на шестой день своей болѣзни, утромъ, въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда къ Елатомскому вернулось сознаніе, онъ прежде всего не повѣрилъ глазамъ своимъ: на стулѣ, у его тахты, сидѣлъ Олафьевъ, тотъ самый Олафьевъ, который приходилъ къ нему на гауптвахту и, если вѣрить Сашину, заступаясь за него, чуть-было не вызвалъ на дуэль Хавазова.

Олафьевъ показался Елатомскому призракомъ, какимъ-то выходцемъ съ того свѣта, до того онъ былъ худъ и зеленъ. Сидѣлъ онъ, вытянувъ ноги, сложа на груди руки и повѣсивъ длинный, меланхолическій носъ съ полузакрытыми вѣками, точно спалъ или былъ погруженъ въ глубокую задумчивость.

— Олафьевъ! — тихо и нерѣшительно окликнулъ его Елатомскій.

Олафьевъ откинулъ назадъ свою голову, раскрылъ глаза и улыбнулся, т. е. вытянулъ свои узкія, безцвѣтныя губы.

— Я-съ... Вамъ лучше?.. Я давно уже думаю, что вамъ лучше... Кстати, вотъ лекарство, велѣно вамъ принять, какъ только очнетесь.

— Кто велѣлъ?

— Введенскій.

— Это онъ лечилъ меня?.. А?

— Онъ.

— Вы съ Кавказа?

— Нѣтъ... Я тоже былъ боленъ—купался, схватилъ ревматизмъ, едва двигался, и съ тѣхъ поръ валялся въ Одессѣ.

— А откуда это вязаное одѣяло, красное съ чернымъ?

— Это она принесла.

— Она!.. Кто она?

— Я не спросилъ...

— А давно она была здѣсь?

— Она здѣсь каждый день была.

— Княгиня?

— Княгиня! Гм!—не похоже... А вы примете лекарство... или не примете?

— Давайте... А представьте, какой мнѣ сейчасъ сонъ приснился, Олафьевъ... Будто я иду по льду, и не холодно, солнце такъ и печетъ... Вдругъ, можете себѣ представить, вдругъ... (Фу! лекарство какое, солено-сладкое!) Иду я, иду, вдругъ—бултыхъ! провалился!.. можете себѣ представить? — и очутился гдѣ-то подъ водой. А ледъ надъ головой тоненькій-претоненькій, точно стеклышко — насквозь все видно — даже вижу, какъ облака плывутъ... И вдругъ, вижу я... на льду сидитъ Зоя.

— Ну вотъ, ее зовутъ—Зоя!—вдругъ какъ-бы ожилъ Олафьевъ.—Теперь я вспомнилъ—это она была у васъ—Зоя.

— И вы ее видѣли?

— Видѣлъ.

— Какая она добрая! Боже мой! — и Елатомскій грустно посмотрѣлъ на новое одѣяло, которое прикрывало его ноги, и оглянулся на голубой кувшинчикъ съ засохшими розанами.

— Гм! любитъ!—лаконически произнесъ Олафьевъ, и опять погрузился въ задумчивость.

Елатомскій тоже замолчалъ и погрузился въ задумчивость.

— Скажите, кто же посылалъ деньги въ аптеку? и

не знаете ли вы, сколько разъ былъ у меня этотъ докторъ?—Нужно расплатиться съ нимъ.

— Что вы сказали?

— Я сказалъ, что нужно расплатиться съ докторомъ.

— Погодите, пусть прежде вылечитъ.

— Да я здоровъ.

— Лежите...

Елатомскій хотѣлъ привстать, но почувствовалъ такую слабость, что опять свалился... и въ глазахъ у него потемнѣло.

Олафьевъ помолчалъ съ минуту и опять въ улыбку вытянулъ свои губы.

— Ха! Онъ хотѣлъ тоже и отъ хандры меня вылечить!

— Отъ хандры!—Это и я васъ, пожалуй, вылечу...

— Вы?.. А что̀ вы за это возьмете?

Елатомскій усмѣхнулся. Вспомнилъ-ли онъ странный характеръ гостя, его богатство, или свое раскаяніе, что онъ не занялъ у него денегъ?

— Двѣсти или хоть сто рублей... сказалъ онъ, закрывая глаза.

— Дешево... Гм!..

Олафьевъ засунулъ руку въ боковой карманъ, вынулъ кучу депозитокъ и, отсчитавъ двѣсти рублей, положилъ ихъ на Елатомскаго, или, лучше сказать, на полосатое одѣяло Зои. — Возьмите деньги впередъ — и лечите.

Елатомскій усталыми глазами поглядѣлъ на Олафьева.

— За деньги я ничего не дѣлаю, Олафьевъ. Я пошутилъ... Но я боленъ... и взаймы возьму... у васъ, на всякій случай. А если умру—напишите отцу, онъ заплатитъ вамъ.

«А что», вдругъ подумалъ Елатомскій, «во снѣ это

мнѣ приснилось, что старикъ мой женился на этой толстомясой дѣвкѣ... или... наяву...»

Онъ силился припомнить что-то и задремалъ.

А Олафьевъ принялъ ту же полудремотную позу, т. е. сложилъ на груди руки и вытянулъ ноги. Только лицо его стало свѣтлѣе, и сонная улыбка какъ-бы застыла на губахъ его.

«Я увезу его туда, на Кавказъ. Безъ друга я съ ума сойду... Мнѣ нуженъ другъ»,—ворочались мысли въ мозгу его, какъ тяжелое колесо въ машинѣ, поднимающее и опускающее пудовыя гири. «Да, безъ друга... близкаго друга, я съ ума сойду... или руки наложу на себя... такъ скверно быть существомъ больнымъ и никому не нужнымъ. Онъ не поѣдетъ... она не пуститъ... Зоя... Гм!. ужъ не гречанка ли? Никогда еще такихъ глазъ не встрѣчалъ я... Удивительная игра природы... Нельзя жить безъ иллюзій... Источникъ ихъ — глаза женщины. Какъ еще молода, почти ребенокъ и уже любитъ! Онъ не хандритъ, потому что у него есть иллюзія... а у меня? Нѣтъ... нѣтъ... пожалуйста, Олафьевъ, не скрывай ты отъ себя своихъ собственныхъ мыслей... Будь ты бѣденъ Олафьевъ, вотъ такъ, какъ этотъ Елатомскій, никто бы, даже та московская швея, и та бы не стала за тобой ухаживать... Я ее озолотилъ — и она предпочла мнѣ какого-то юнкера... Я чуть съ ума не сошелъ, а она! Если бы я отдалъ ей все свое состояніе, она бы, непремѣнно, отравила меня... непремѣнно бы... чтобъ я не нуждался въ ней, такъ какъ она во мнѣ нуждалась... Хищное созданіе!—кошка въ видѣ хорошенькой женщины! Неправда! кошки привыкаютъ къ дому. У нея не было и этой добродѣтели. Я купилъ ей домикъ, теперь, слышу, она продала его. Можно ли жить безъ привязанностей? Попробую. Всякая моя привязанность, даже дружба выходитъ изъ границъ, не знаетъ мѣры. Я требователенъ и

подозрителенъ. Я люблю и молчу... я страдаю.. и молчу... Что говорить? За меня говоритъ конецъ... Я убить готовъ человѣка и весь леденѣю, когда теряю послѣднюю вѣру... Давно, самъ не знаю за что, еще въ университетѣ полюбилъ я Елатомскаго... и — вдругъ соперница... Какая-то Зоя! Развѣ онъ промѣняетъ меня на эту Зою, если бы даже я ему и двѣсти тысячъ далъ... Не промѣняетъ. Она страдаетъ, боится, что умретъ бѣднякъ, у котораго денегъ нѣтъ, который живетъ—умѣетъ жить въ этой душной конурѣ и не жалуется на свою судьбу... Какая рѣдкая дѣвушка!.. Можетъ быть, она не умна, можетъ быть глупа и не воспитана, но у ней великое сердце... Она спросила меня, люблю ли я Елатомскаго?.. Я удивился... Да, люблю... «Ну, такъ и я васъ люблю», отвѣчала она... Я еще больше удивился... Это она не шутила... это не салонный разговоръ... это горячка наболѣвшаго сердца .. это сама искренность...»

— Елатомскій, вы спите? Спитъ!..—«Опять маленькій жаръ... А я и забылъ сказать ему, что у него былъ австрійскій консулъ и велѣлъ сообщить ему, чтобъ онъ немедленно переѣзжалъ къ нему на дачу, какъ только начнетъ поправляться, что ему нуженъ чистый воздухъ, что онъ за нимъ экипажъ пришлетъ или заѣдетъ... Значитъ, не я одинъ люблю Елатомскаго. Ахъ, какъ бы хотѣлось, чтобъ я одинъ — одинъ въ цѣломъ свѣтѣ любилъ его..! Надо будетъ сказать ему про этого консула... Хорошій должно быть человѣкъ... такое доброе, озабоченное лицо и... о политикѣ поговорилъ со мной. Но я былъ себѣ на умѣ... я не сказалъ ему, что далеко еще Россіи до русской политики... Что нашъ канцлеръ... это Меттернихъ... и что цѣль его вытравить изъ насъ все живое, всякую мысль, всякую самостоятельность... иначе сказать атрофировать мозгъ Россіи... Онъ и самъ это знаетъ... зачѣмъ я буду говорить ему... я ничего не ска-

залъ. Онъ уѣхалъ, убѣдившись, что я идіотъ или невѣжда.—Отчего это никакъ нельзя не думать... даже во снѣ человѣкъ думаетъ... а я не сплю... у меня и по ночамъ безсонница».

Все это въ видѣ отрывочныхъ фразъ двигалось въ головѣ его впродолженіе двухъ часовъ по крайней мѣрѣ, и всѣ эти мысли ничѣмъ, никакимъ проблескомъ не отражались на длинномъ, некрасивомъ лицѣ его. Все та же сонная улыбка была на губахъ, или это была не улыбка, а просто механически вытянутыя губы, слегка вверхъ приподнявшія углы свои.

IX.

Елатомскій выздоравливалъ, но тщетно ожидалъ онъ появленія Зои. Только горничная приходила отъ Меркуличей — узнавать объ его здоровьѣ, и онъ письменно благодарилъ ихъ за вниманіе. Отъ княгини тоже приходила горничная Марина, но въ этотъ день онъ былъ безъ памяти и даже не зналъ, что эта красавица вспомнила объ его существованіи.

Но что же сдѣлалось съ Зоей?

Нигдѣ во всей Россіи не было столько европеизма, или западной окраски, какъ въ этомъ южномъ, дешевомъ и привольномъ русскомъ городѣ; но нигдѣ, можетъ быть, не было и столько восточныхъ или азіатскихъ понятій о жизни, и въ особенности о женщинахъ, какъ въ этой же Одессѣ.

Достаточно было разойтись молвѣ: что такая-то женщина или дѣвица одна посѣщаетъ холостого человѣка, или одна ходитъ по городу, чтобъ греки, армяне и даже евреи, торговцы, факторы, уличные шатуны и даже сводники тотчасъ вообразили себѣ, что это *гулящая*, что

это какъ нѣчто отпавшее отъ семьи, особа ни на что больше и не годная, какъ на то, чтобы торговать собой.

«Почему же къ одному? Почему же не къ другому и не къ третьему? не все ли равно!» Вотъ ихъ обыкновенная логика. Женская душа — потемки для восточнаго человѣка, также какъ и для русскаго невѣжды.

Зою, какъ хорошенькую дѣвушку, зналъ весь греческій базаръ... также какъ и отца ея знали всѣ мелкіе дѣльцы, знали, какъ старожила, какъ человѣка ловкаго, съ которымъ совѣтывались и тягались, входили въ сдѣлки, котораго хотѣли перехитрить и подъ-часъ ненавидѣли, какъ ловкаго соперника.

Бѣдной, невинной и неопытной Зоѣ, въ которой, съ того дня, какъ впервые она рѣшилась посѣтить Эвину, заговорило чувство личной независимости и жажда самостоятельно распоряжаться судьбой своей, — бѣдной Зоѣ, отъ этой азіатчины въ послѣдніе дни проходу не стало... За ней слѣдили, поджидали у воротъ, приставали къ ней на улицахъ и не стыдились даже приглашать ее въ номера.

Негодующая, встревоженная, блѣдная, прибѣгала она домой и встрѣчала мать свою, такую же блѣдную, встревоженную и въ слезахъ... въ кроткихъ и любящихъ слезахъ, молча умоляющихъ ее пощадить себя.

Зоя рѣшилась не выходить, чуть не заболѣла, и еслибъ не узнала она, наконецъ, что Елатомскій выздоравливаетъ, что онъ уже съ постели всталъ и самъ написалъ милую, благодарственную записку ей и ея матери, она бы съ ума сошла, у себя за ширмами, выслушивая насмѣшливые намеки и колкости отъ своихъ милыхъ сестрицъ... Даже учитель ихъ, скромный семинаристъ, и тотъ сталъ дѣлать ей глазки; Зоя же по-неволѣ иногда должна была оставаться въ той же комнатѣ, гдѣ сестры

ея склоняли, спрягали и во время уроковъ другъ съ другомъ ссорились.

Какъ была не похожа судьба Зои на судьбу княгини Корси, вращавшейся въ житейской пустотѣ, какъ ей было угодно и гдѣ угодно.

Княгиня Аделаида долго напрасно ожидала Елатомскаго и не утерпѣла, послала къ нему записку, въ которой всего было три строки, но въ этихъ трехъ строкахъ было все нужное для того, чтобъ дрогнуло молодое сердце, или чтобъ каждый юноша прибѣжалъ къ ней, съ неясною надеждою или съ нетерпѣніемъ, рѣшить загадку.

И вдругъ, пронеслась новость, что у Елатомскаго тифъ и что Елатомскій при смерти.

Княгиня была добра и все, что̀ было въ ней добраго, заговорило въ ней... Она прослезилась при мысли, что умретъ такой молодой, такой еще свѣжій, не избалованный избалованными женщинами юноша и даже способный не шутя, не ради какихъ-нибудь гордыхъ или честолюбивыхъ замысловъ, полюбить ее...

Она была увѣрена, что она его влюбитъ въ себя, что она заставитъ его плакать у своихъ ногъ. И вдругъ — боленъ... при смерти...

На что же онъ нуженъ ей, если боленъ, если не она, а смерть въ эту минуту ждетъ его!..

Цѣлый день была не въ духѣ эта милая, обворожительная женщина.

Вечеромъ, на бульварѣ, она сказала полицмейстеру, что на другой день, въ два часа пополудни, она будетъ его ждать.

Полицмейстеръ растаялъ и очень ловко извинился, что подсылалъ къ ней француженку и предлагалъ ей 500 рублей. Онъ тѣмъ извинялъ дерзкій поступокъ свой,

что совершенно не зналъ ея... тѣмъ, что никогда еще въ Одессѣ не было такой очаровательной женщины.

Княгиня сказала, что она его прощаетъ и сказала искренно... Она все и всѣхъ прощала; пороки людей давно уже перестали возмущать ее.

— Княгиня! — разсыпался полковникъ, — вы великодушны, вы поняли, что часто люди теряютъ умъ при видѣ такой красоты, какъ ваша, вы въ правѣ были на меня разсердиться; но скажите по совѣсти, разсердились бы вы, если бы я прислалъ къ вамъ милліонъ... Разсердилась ли бы за это самая добродѣтельная изъ добродѣтельнѣйшихъ женщинъ!

— Не знаю, — отвѣчала княгиня, — надо это испытать, прежде чѣмъ отвѣтить... Привезите мнѣ завтра милліонъ, вотъ я и увижу, разсержусь я на васъ или не разсержусь.

На другой день послѣ этого разговора, цѣлый часъ употребилъ полковникъ на то, чтобъ умыться, выбриться надѣть чистое бѣлье, причесать свои волосы, подвить усы, и ровно въ два часа поднялся на лѣстницу, гдѣ жила княгиня.

— Княгини дома нѣтъ,—сказала горничная, которая что-то гладила въ стеклянной галереѣ и про себя мурлыкала какую-то заунывную пѣсенку.

— Какъ дома нѣтъ,—удивился полковникъ,—ну, такъ я подожду ее.

— Она уѣхала въ Крымъ,—отвѣчала Марина, поставивъ ребромъ утюгъ, потеревъ ладонь объ ладонь и уже потомъ взглянувъ на полковника.

— Въ Крымъ! какъ въ Крымъ? Когда?

— Да никакъ ровно въ 10 часовъ, взяли человѣка, чемоданы и поѣхали на пароходъ.

Полковникъ позеленѣлъ отъ гнѣва, досады и оскорбленнаго самолюбія.

Сверкая глазами и стуча по ступенькамъ концомъ своей сабли, спустился онъ съ лѣстницы, сѣлъ въ свои дрожки и крикнулъ: пошелъ!

Не столько для того, чтобъ насолить полковнику, сколько для того, чтобы себя разсѣять, княгиня перешла съ берега на ютъ и пустилась въ море.

Около трехъ недѣль, переходя съ парохода на пароходъ, странствовала княгиня по Черному морю... Была въ Севастополѣ, въ Ялтѣ, въ Ѳеодосіи, въ Керчи, въ Сухумъ-Кале, въ Редутъ-Кале и обратно въ Керчи, Ѳеодосіи и такъ далѣе.

Въ это время успѣла она затронуть не малое количество сердецъ, бившихся подъ жилетами мичмановъ, лейтенантовъ, капитанъ-лейтенантовъ и проч. и проч... Эти будущіе защитники Севастополя все это время ею только и бредили, только и слышалось изъ устъ ихъ: Аделаида! Аделаида! душка! чортъ! ангелъ! — и все что̀ хотите!

Если случайно, по-пути, встрѣчались пароходы, шедшіе съ Кавказа и съ южнаго берега Крыма, и если на одномъ изъ нихъ была эта Аделаида, эта душка, этотъ чортъ, этотъ ангелъ и все что хотите,—пассажиры и не подозрѣвали, какой они подвергались опасности, мало того, что иногда въ честь ея поднимались флаги, пароходы сближались такъ, что съ борта на бортъ можно было разговаривать, и затѣмъ гнались въ перегонку и уже тогда, конечно, не скупились на силу паровъ, и испытаніе паровыхъ котловъ было настоящее, не шуточное испытаніе... Когда въ Ялтѣ или Ѳеодосіи княгиня сходила на берегъ и шла купаться, съ парохода исподтишка направлялись телескопы и зрительныя трубки, чтобъ только видѣть, какъ эта *душка* купается. И княгиня это знала и, казалось, думала: любуйтесь мной издали, господа; я не сержусь, любуйтесь, если это доставляетъ вамъ

такое удовольствіе! Одинъ молоденькій мичманъ (царство ему небесное—онъ убитъ на Малаховомъ курганѣ), разъ ночью, уцѣпившись за веревку, прикрѣпленную къ баканцамъ, спустился за бортъ и повисъ надъ темной, опѣнённой бездной, для того только, чтобъ заглянуть въ окошечко дамской каюты и полюбоваться на бѣлыя плечи раздѣвавшейся на ночь Аделаиды — этой душки, этого чорта, этого ангела.

Все это очень пòшло, скажутъ иные... Что дѣлать! жизнь на всѣ вкусы выработываетъ свои явленія... Мичманъ рисковалъ своей жизнью изъ-за такихъ пустяковъ, но кто знаетъ, не рискуй онъ жизнью изъ-за такихъ пустяковъ, онъ и на Малаховомъ курганѣ оказался бы трусомъ—то кипѣла кровь, то былъ *силъ избытокъ*.

Княгиня была въ восторгѣ отъ заботливости и вѣжливаго ухаживанія за нею гг. морскихъ офицеровъ. Для нихъ же ея пребываніе на ютѣ или въ каютъ-компаніи было то же, что ночлегъ золотой тучи «*на груди утеса великана*». Всюду, гдѣ этотъ великанъ погружалъ на дно тяжелый якорь свой, она могла умчаться «*по лазури весело играя*» и только «*влажный слѣдъ*» на смугломъ, обвѣтренномъ лицѣ какого-нибудь одинокаго моряка, въ послѣдній разъ и навсегда провожавшаго ее задумчивыми глазами на берегъ, оставался единственнымъ слѣдомъ ея пребыванія среди черноморскихъ волнъ, то подъ лучами золотого южнаго солнца, то подъ грозовыми тучами, то при фонаряхъ и качающихся лампахъ, въ виду неугасимыхъ созвѣздій ночи.

Но разсѣялась-ли княгиня? Эта поэзія похвалъ и увлеченій наполнила ли чѣмъ-нибудь пустоту души ея? Едва ли. Правда, самолюбіе ея было польщено, но развѣ можно чѣмъ-нибудь удовлетворить ненасытное человѣческое самолюбіе! По прежнему холодно было ея сердце и только отъ праздности, въ минуты жаркаго отдохновенія, иногда

мечталось ей, что Елатомскій, одинъ Елатомскій могъ бы еще заставить ее страдать и любить такъ, какъ она способна была любить въ шестнадцать лѣтъ, въ дѣвственный періодъ ея недолгой, молодой и уже многоопытной жизни. Изъ всѣхъ молодыхъ людей, которые въ этотъ годъ попадали въ лучистую атмосферу красоты ея, одинъ Елатомскій былъ холоднѣе всѣхъ, стало быть, болѣе всѣхъ достоинъ ея вниманія... Быть можетъ, его уже и на свѣтѣ нѣтъ! думала княгиня... Жаль! Она томно задумывалась, но загадочно грустные, лазурью полные глаза ея въ это время глядѣли на кого-нибудь изъ юныхъ пассажировъ перваго класса и... Богъ знаетъ, какія мечты пробуждали въ душѣ его!

X.

Елатомскій сталъ быстро поправляться, и радостное чувство выздоровленія поселило въ немъ жажду новой жизни, жажду иныхъ впечатлѣній.

Но два письма получилъ онъ — и милымъ, близкимъ ему прошлымъ они на него повѣяли. Недавніе слѣды этого прошлаго еще были живы въ душѣ его и не успѣли потускнуть.

Прежде всего онъ ухватился за письмо отъ Нины, своей нареченной сестры.

«Здравствуй, Елатомскій! добрый другъ и братъ мой. Ты вѣрно бранишь меня, зачѣмъ я до сихъ поръ не дала тебѣ вѣсточки. Но что дѣлать. Въ орловской губерніи, въ селѣ N, или въ имѣніи Бавиныхъ, прожила я не долго, — по пріѣздѣ же цѣлые сутки ожидала буку, такъ какъ въ верстахъ 60-ти отъ своего родного гнѣзда онъ выскочилъ изъ тарантаса и сказалъ, что придетъ пѣшкомъ, и чтобъ я одна ѣхала... Семейство буки, сестра и братъ, приняли меня радушно, и такъ долго и такъ мило

пришлось намъ говорить, что я забывала мою усталость и сонъ на умъ не шелъ. Только въ старикѣ-дядѣ, да въ теткахъ чувствовалось какое-то подозрѣніе, отчего я пріѣхала одна и какъ рѣшилась ѣхать безъ горничной дѣвушки. Сосѣди и сосѣдки тоже, какъ кажется, посмотрѣли на меня, какъ на нѣчто неестественное. Разумѣется, пошли разныя сплетни, когда узнали отъ Аксёна, что я изъ Одессы ѣхала съ его бариномъ. Не думай, братъ, чтобъ я пренебрегала людскимъ мнѣніемъ, я знаю, что les apparences sont contre moi, и что всякая мысль, которою живетъ общество—для него свята и имѣетъ силу, и не частнаго лица дѣло вносить въ него раздоръ. Я все терплю и понимаю, какъ справедливое возмездіе за мою смѣлость; но въ сущности я счастлива и тѣмъ, что любима, и тѣмъ, что, иногда, заставляю думать и того, кто совсѣмъ отвыкъ отъ всякой думы или отродясь ничего не думалъ. Пишу къ тебѣ изъ Москвы... Какъ досадно, что я не посовѣтовала тебѣ писать ко мнѣ въ Москву—poste restante. Здоровъ ли ты, братъ? Какъ выносишь тяжесть жизни и чѣмъ теперь занята голова твоя. Встрѣчаешь ли Зою? Какъ жаль, что я такъ поздно съ ней познакомилась. Кажется, славная душа... хорошая почва для всего хорошаго. Что̀ любовь? Живетъ еще, или какъ сѣмя растенія, брошенное на воспріимчивую почву, исчезла? Жаль мнѣ тебя. Не легко тебѣ выстрадать независимость, но не грусти въ одиночествѣ, не поддавайся строгости противорѣчій, вынеси все, какъ истинный человѣкъ, и чтобы не очерствѣла душа твоя! Когда ты будешь дѣйствительнѣе, чѣмъ сама дѣйствительность, тогда мысль твоя сдѣлается живымъ общеніемъ съ людьми. Дай только Богъ, чтобы здоровье твое вынесло. Помнится мнѣ, братъ, ты разъ сказалъ мнѣ, что любовь чаще всего пустоцвѣтъ, что въ чувствахъ ничего нѣтъ прочнаго, и что ради ихъ не сто̀итъ жертвовать своей

свободой. Нѣтъ, Елатомскій! Кто, любя, беретъ не одно счастье, но и всю горечь жизни, всѣ невзгоды, и все вынесетъ, какъ человѣкъ добрый и крѣпкій, тотъ освящаетъ любовь свою, и только съ такою любовью можно бороться съ дѣйствительностью, которая сильна. Никакое своеволіе противъ общественнаго порядка не устоитъ, если человѣкъ не будетъ твердъ духомъ и чистъ сердцемъ. Мы—я и Адріанъ, — не уклонились отъ любви и союза, какъ отъ мысли, связующей общество и отъ обычаевъ, принятыхъ обществомъ. Это грустная случайность, игра жизни, всего того, что̀ мы сами съ собой дѣлаемъ, и что̀ съ нами дѣлаютъ. Такая доля наша. Всякій спрашиваетъ: да какъ же и что̀ же дѣлать? И кто изъ насъ отвѣтитъ: вотъ вамъ что̀ надо. И кто будетъ такъ смѣлъ, чтобъ играть словами? Будемъ терпѣть по-человѣчески. Все наше разъединеніе или безсиліе до времени. Придетъ все, потому что всѣмъ чувствуется, что что-то не такъ, чего-то недостаетъ... А недостаетъ главнаго—не достаетъ единодушія.

«Прощай, милый, добрый братъ, люби меня по прежнему, для тебя я не измѣнюсь никогда, потому что ничего исключительнаго для себя ты отъ меня не требовалъ. А меня здѣсь всякій тянетъ къ себѣ поближе, да и говоритъ, что я измѣнилась. Прощай, живи съ Богомъ, вѣрь, что Творецъ не даромъ вызвалъ насъ изъ небытія.

«Бука по прежнему тебя любитъ и только съ тобой позволяетъ мнѣ откровенничать. Онъ тебѣ кланяется. Докторскій экзаменъ свой, какъ кажется, хочетъ бросить къ чорту и теперь сильно занимается математикой.

«Прощай и не забывай сестру твою—Нину».

Странное, неопредѣленное впечатлѣніе письмо это произвело на Елатомскаго. Дружескій, любящій тонъ его вызывалъ на такую же любовь, на такую же дружбу. Но

разсужденія ничего не говорили уму его. Онъ никакъ понять не могъ, съ какой именно точки зрѣнія смотритъ на него Нина и чего отъ него ожидаютъ. Ну, что̀ такое напримѣръ, подумалъ онъ — «будь дѣйствительнѣе, чѣмъ сама дѣйствительность». Если тутъ скрывается хоть какая-нибудь идея, такъ вѣдь нужно еще двадцать страницъ, чтобы объяснить ее... Да и вздоръ это! «Никто не можетъ быть выше своего времени—можно только стоять на высотѣ его», сказалъ профессоръ Рѣдкинъ, когда разъ изъ любопытства я затесался на его лекцію. Но быть дѣйствительнѣе, чѣмъ сама дѣйствительность, этого, я думаю, и на томъ свѣтѣ не будетъ. Этого я не понимаю... О! сестра, сестра! Ты, кажется, еще дальше стала отъ этой дѣйствительности, которую хочешь одолѣть. Отвлеченный умъ Бавина, несомнѣнно, произвелъ какую-то путаницу въ твоей головѣ! Когда ты просто говорила мнѣ о независимости каждой личности, о томъ, что̀ лишаетъ или не даетъ простора ея развитію, о тѣхъ цѣпяхъ, которыя мѣшали тебѣ сберечь твой умъ и твое сердце, о законности наслажденія жизнью,—я еще понималъ тебя и даже тебѣ сочувствовалъ. Но теперь, теперь ты проводишь мысль о союзѣ съ обществомъ. Съ какимъ?—съ тѣмъ, отъ котораго ты сама отвернулась или съ народомъ?—или народъ—не общество?

Хоть бы ради дѣйствительности, заглянула ты въ крестьянскую избу. Хоть единою стороной твоей мысли соприкоснулась бы съ той дѣйствительностью, въ которую заглянулъ Григоровичъ, въ которую проникаетъ Тургеневъ, которую такъ безпощадно обнажаетъ Гоголь.

Напишу ей все, что̀ я думаю. Боже мой! Я подъ надзоромъ, стало быть каждая строка моя прочтется и будетъ истолкована по-своему.

— Ну, теперь Игнатьевъ. Что-то этотъ Игнатьевъ пишетъ мнѣ? Давно ни строчки я отъ него не получалъ;

впрочемъ, вѣдь и я уже давно ни строчки не писалъ къ нему:

«Дружище Владиміръ! Пишу къ тебѣ, потому что попался листикъ почтовой бумаги, да и кусочекъ сургуча нашелся на твое счастье. Ты думаешь, что я въ деревнѣ? Да, какъ не такъ! Остался въ Москвѣ возиться съ больными, да готовить диссертацію—дуй ее горой! Живу въ Кунцевѣ; хожу въ Москву по образу пѣшаго хожденія... А знаешь-ли ты, что сестра твоя Нина въ Москвѣ? Полагаю, что знаешь. Она остановилась подъ Новинскимъ, и по дорогѣ, изъ лабораторіи, я захожу къ ней. Ночью возвращаюсь домой на дачу. Узналъ, что ты здоровъ, сдѣлался забіякой и нецензурные фельетоны пишешь въ «Одесскій Вѣстникъ». Ну, что̀ тебѣ сказать о Москвѣ? Да что сказать! Съ тѣхъ поръ, какъ вышла книжонка въ листокъ, подъ заглавіемъ: «Стружки»—изъ-за далекаго намека на городскую думу, надѣлавшая такого шуму и захваченная полиціей, въ Москвѣ ничего, хоть шаромъ покати... никакихъ событій! Даже Мочаловъ замолкъ. Даже Сенковская куда-то уѣхала. Ахъ, да! Читалъ—ли ты стихи Ключникова, которые написалъ онъ, вернувшись домой отъ Щепкина, куда Мочаловъ пріѣхалъ изъ театра пьяный и городилъ всякую чушь? Стихи, отъ которыхъ нашъ великій трагикъ рыдалъ, какъ ребенокъ. Я съ весны собирался ихъ послать тебѣ, да кто-то у меня взялъ ихъ—и поминай какъ звали.

«Нина познакомила меня съ *своимъ* букой. Очень онъ мнѣ понравился—но молчаливъ и грустенъ. Кажется мнѣ, что-то не ладно, братъ; боюсь, не пробѣжала-ли черная кошка между ними... Она виновата. Знаетъ, что—бука, и не щадитъ его скромности, такъ сказать, публично гордится имъ и его привязанностью. Всѣхъ считаетъ своими друзьями и со всѣми откровенничаетъ, вызывая каждаго на то, чтобы онъ высказался. Была она у своихъ и вер-

нулась въ слезахъ. Мужа не видѣла, заперся въ кабинетѣ, старшая дочь такъ и не вышла, только самая меньшая, которой она привезла конфектъ и куклу, была очень рада, что *мама сдѣлала ей визитъ*, и показывала ей свои игрушки. Бавинъ, какъ кажется, бросаетъ свою юриспруденцію и будетъ заниматься исключительно одной философіей и математикой. Проситъ меня пройти съ нимъ тригонометрію. Не знаю—успѣю-ли.

«Ну, кажется, довольно съ тебя. Слишкомъ ужъ расписался, точно обрадовался, что почтовый листъ бумаги нашелъ.

«Если ты все еще безъ мѣста—пріѣзжай въ Москву. Хоть мы и въ трущобѣ живемъ, а встрѣтимъ тебя, какъ слѣдуетъ, уже заказали къ твоему пріѣзду турецкій барабанъ и мѣдную трубу... Знаемъ, какъ нужно знаменитыхъ людей встрѣчать. Ну, вотъ, будь доволенъ, не скоро ты отъ меня дождешься другого посланія. На досугѣ и это можешь перечитывать. Прощай.

«Твой—Игнатьевъ».

О, чудакъ, чудакъ! милѣйшій изъ чудаковъ!—съ особеннымъ чувствомъ, воскликнулъ Елатомскій.

XI.

Не успѣлъ Елатомскій увлечься московскими воспоминаніями, какъ послышались неспѣшные шаги, и на порогѣ его комнаты появился Олафьевъ.

— Будемъ кататься?—спросилъ Олафьевъ.

— А не пыльно?—спросилъ Елатомскій, запрятывая въ карманъ письма своихъ друзей.

— Пыльно.

— Поѣдемъ лучше послѣ обѣда, вечеромъ. И знаете куда? въ гости. Вы отвезите меня на дачу Ланжерона

къ австрійскому консулу, и я васъ тамъ познакомлю съ женой его.

— Съ нѣмкой?

— Нѣтъ, съ русской—она русская.

— Я не люблю знакомиться.

— А я взялся васъ отъ хандры лечить—стало быть, слушайтесь.

Олафьевъ помолчалъ.

— А эта... эта была у васъ? Зоя?

— Зачѣмъ!.. Я уже не такъ боленъ, чтобъ она могла навѣщать меня...

— А, можетъ быть... сердце... того... болитъ!

— Сердце болитъ! А пусть его болитъ! Стòитъ обращать на него вниманіе. Оно всегда болитъ и «любитъ оттого, что не любить оно не можетъ».

— И вы у нея не были?

— Признаться сказать — былъ, и не засталъ дома, куда-то Богу молиться уѣхала... А... знакомые шаги! Иванъ Ивановичъ!

На балконѣ остановился Сашинъ и, переводя духъ и испуганно выпуча глаза, глядѣлъ въ комнату, гдѣ бесѣдовали двое пріятелей. Казалось, онъ былъ въ нерѣшимости—входить ему или не входить.

— Вы живы?—спросилъ онъ Елатомскаго.

— Какъ видите.

— А въ комнатѣ у васъ не осталось этихъ міазмовъ проклятыхъ... Говорятъ, у васъ тифозная горячка была.

— Ну, отъ тифа такъ легко не поправляются.

— Такъ значитъ, я могу войти?

— Если не боитесь.

— Уфъ!.. Смерти-то я не очень боюсь, а вотъ тифа, признаюсь вамъ, весьма опасаюсь... Прескверная эта вещь—тифъ!

Сашинъ вошелъ и былъ отрекомендованъ Олафьеву.

На Олафьева Сашинъ поглядѣлъ какъ-бы съ нѣкоторымъ опасеніемъ. Ему было непріятно, что онъ засталъ его у Елатомскаго.

— Кажется, я видѣлъ васъ за табль-д'отомъ въ гостинницѣ Лондонъ.

— Можетъ быть,—сухо отвѣчалъ Олафьевъ.

— Скажите, Елатомскій, что̀ такое писали вы въ Тифлисъ?

— Ахъ, Боже мой! Мало ли я что̀ писалъ. Какой нескромный вопросъ вы мнѣ предлагаете, Сашинъ.

— Да я не изъ любопытства,—покраснѣлъ Сашинъ, присаживаясь.—Я изъ любознательности и ужъ совсѣмъ не для того, что̀ вы думаете.

— Что̀ я думаю?

— А помните, что̀ вы мнѣ сказали въ читальной комнатѣ у Тотти.

— Да вѣдь мы ужъ объяснились и заключили миръ. Зачѣмъ же обращаться къ старому?

— А затѣмъ, чтобъ вы помнили, Елатомскій, какъ иногда можно обидѣть человѣка.

— Да вѣдь вы же меня простили, если я, какъ вы говорите, чѣмъ-то обидѣлъ васъ.

— Какъ простилъ! Вы у меня и не просили прощенія.

— Значитъ, и не обижалъ, если не просилъ.

— Нѣтъ, вы меня тогда кровно обидѣли.

— Ну, такъ по правдѣ сказать, Иванъ Ивановичъ, я рѣшительно не помню и десятой доли изъ того, о чемъ мы съ вами тогда бесѣдовали. Помню только, что заключили миръ и даже поцѣловались.

— Я... я... нѣтъ, я васъ не цѣловалъ!

— Потомъ вечеромъ того же дня мы встрѣтились въ Пале-Роялѣ, сидѣли рядомъ, и ни о какой обидѣ съ вашей стороны даже и намека не было.

— Да я не съ тѣмъ и пришелъ къ вамъ, чтобъ обижаться. Я пришелъ васъ навѣстить, а не обижаться; но все же, кто хоть разъ въ жизни назвалъ меня доносчикомъ, тотъ навсегда всадилъ въ меня такую занозу, что ночи не сплю, такъ эта ваша заноза, это слово ваше для меня чувствительно...

— Помилуйте, Иванъ Ивановичъ, не вы ли мнѣ завидовали, что я сидѣлъ въ заключеніи, не вы ли говорили мнѣ: пожалуйста, Елатомскій, донесите на меня, я у васъ ручку за это поцѣлую...

— Я—ручку! я вамъ это говорилъ, Елатомскій!—заволновался всѣмъ своимъ туловищемъ самолюбивый Сашинъ.

— Да.

— «Поцѣлую ручку!»

— Да, это были ваши слова.

— Я скорѣй сто разъ умру, чѣмъ буду руки у васъ цѣловать или у кого бы то ни было! Да-съ!

Сашинъ ударилъ себя въ грудь и налился кровью.

Елатомскій былъ самъ непріятно пораженъ тѣмъ оборотомъ, который принялъ ихъ разговоръ и необычайной запальчивостью Сашина.

— Ну, — сказалъ онъ, пожавъ плечами, — значитъ, уши меня обманули, и я вру.

— Вы всегда были моимъ врагомъ и никогда, ни одного слова правды я не слыхалъ отъ васъ, — тяжело проговорилъ Сашинъ.

— А если я врагъ вашъ, то напрасно же, господинъ Сашинъ, вы такъ милостивы и великодушны, что сдѣлали мнѣ честь, пришли навѣстить меня... Униженіе паче гордости.

— Я, въ сущности, не затѣмъ, чтобъ унижаться или васъ навѣщать... Я не молоденькая, неопытная дѣвочка, и знаю, что никакого удовольствія не доставлю вамъ

моимъ посѣщеніемъ. Я просто хотѣлъ сказать вамъ, что вы...

— Замолчите, Сашинъ! Если вы осмѣлитесь выговорить то слово, которое у васъ на умѣ, я убью васъ,— дрожа, какъ въ лихорадкѣ, произнесъ Елатомскій.

Онъ очень хорошо понялъ, на какую хорошенькую и неопытную дѣвочку намекалъ ему незваный гость, и какая грязная мысль при этомъ копошилась въ головѣ его.

Олафьевъ слушалъ весь этотъ разговоръ, стоя у стѣнки и все время искоса поглядывалъ на Сашина своими щёлками. Зрачки его едва мелькали изъ-подъ опущенныхъ красноватыхъ вѣкъ. Къ впалымъ щекамъ его медленно приливала кровь и выступала на нихъ неровными, розовыми пятнами.

— Нѣтъ, ужъ вы ничѣмъ меня теперь не испугаете!—горячо забормоталъ Сашинъ, который, не спуская глазъ съ Елатомскаго, совершенно забылъ о присутствіи Олафьева. Ненависть бушевала въ груди его и клокотала накипѣвшая жолчь.—Я ничего не боюсь!.. Тяжело мнѣ дышать съ вами однимъ воздухомъ!.. Вы—развратитель!.. Вы лжецъ!!.

— Милостивый государь!—отдѣлившись отъ стѣны, и дѣлая шагъ впередъ, произнесъ Олафьевъ.—Мой другъ Елатомскій не можетъ быть ни развратителемъ, ни лжецомъ, и если вы сію же минуту не возьмете назадъ своихъ словъ и не извинитесь, я сегодня же буду имѣть честь послать къ вамъ моего секунданта. Надѣюсь, что Елатомскому извѣстно ваше мѣстожительство.

Сашинъ вытаращилъ глаза свои, хотѣлъ что-то сказать, но что-то залепеталъ, замахалъ руками, точно обороняясь отъ какого-то внезапно нахлынувшаго на него ужаса,—зашатался и грохнулся на полъ, прежде чѣмъ Елатомскій успѣлъ подхватить его.

— Что съ нимъ?—спросилъ Олафьевъ.

— Ужъ не умеръ ли онъ со страху!—сказалъ испуганный и блѣдный Елатомскій.

Минуты черезъ двѣ онъ уже былъ у хозяина и сообщилъ ему, что одинъ изъ гостей его упалъ въ обморокъ. Нашелъ на дворѣ одного еврея (того самаго, что подглядывалъ за графомъ), далъ ему рубль и попросилъ его тотчасъ ѣхать за докторомъ.

Черезъ четверть часа пріѣхалъ докторъ. Сашину пустили кровь. Долго не шла она, наконецъ, показалась каплями,—явилась слабая надежда привести его въ сознаніе. Съ помощью хозяина, Олафьева, жида и двухъ извозчиковъ, съ трудомъ подняли тяжеловѣснаго и безчувственнаго Сашина, перенесли его въ коляску, въ которой пріѣхалъ Олафьевъ, и отвезли домой.

Пока возились съ нимъ, на дворѣ и у воротъ столпилась кучка народа.

Елатомскій, проводивъ своего неожиданнаго врага и сдавъ его съ рукъ на руки отставному солдату, который служилъ у Сашина, въ качествѣ камердинера, тотчасъ же вернулся домой, сѣлъ на стулъ, оперся локтями на столъ и заплакалъ. Это былъ нервный припадокъ — въ родѣ истерики.

Къ вечеру Олафьевъ отвезъ своего друга къ себѣ въ номеръ, гдѣ онъ и ночевалъ.

На другой день утромъ, оба пріятеля сѣли въ коляску и отправились на дачу Ланжерона, къ австрійскому консулу.

XII.

Нигдѣ, конечно, Елатомскій не могъ найти себѣ такого нравственнаго успокоенія, какъ въ атмосферѣ обитателей ланжероновской дачи. Комфортабельная — безъ

роскоши, уютная—безъ изнѣженности размѣренная жизнь австрійскаго консула и семьи его,—жизнь, выработанная западной образованной буржуазіей, въ рамки которой никоимъ образомъ не улеглась бы русская широкая натура, съ ея непосѣдливой тоской и безшабашной удалью, для Елатомскаго, послѣ катастрофы съ несчастнымъ Сашинымъ, была не то, чтобъ совершенно цѣлебна, но, какъ добраго человѣка, располагала къ довѣрчивости и дружескимъ интимнымъ бесѣдамъ съ людьми иного закала—практическими и, въ то же время, не лишенными поэтическаго чувства, любви къ природѣ и къ благовоспитаннымъ людямъ. Только къ благовоспитаннымъ—житейская мудрость не допускала иныхъ людей въ атмосферу обитателей ланжероновской дачи...

Три дня и три ночи провелъ на этой дачѣ Елатомскій, на берегу моря среди простора и зелени...

Олафьевъ каждый день посѣщалъ его и гулялъ съ нимъ по окрестностямъ. Консулъ былъ съ нимъ очень любезенъ, молодая жена его—мила и старалась разговорить Олафьева, но почему-то чудилось ему, что вызовъ его на дуэль, который такъ сразилъ Сашина, былъ, въ глазахъ ея, грѣхомъ, который слѣдуетъ замаливать, и Олафьевъ весь, какъ улитка, уходилъ въ скорлупу свою и только улыбался.

— Чувство не должно исключать благоразумія—говорила, между прочимъ, молодая хозяйка.

— Если чувство не должно исключать благоразумія,—сказалъ ей Елатомскій, одинъ-на-одинъ бесѣдуя съ ней утромъ въ бесѣдкѣ, гдѣ она занималась живописью. Въ сѣромъ фартучкѣ, съ палитрой въ рукахъ, старалась она уловить кистью серебристую лазурь спокойнаго моря или перламутровую мягкость облаковъ, что̀, впрочемъ, не мѣшало ей бесѣдовать съ гостемъ... — если такъ, то вы знаете, по-слухамъ, семью Меркулича и знаете, что

я далеко не равнодушенъ къ Зоѣ, и что же вы скажете?—какой совѣтъ дадите мнѣ?

— Уѣхать.

— А сплетни? — онѣ вѣдь никуда не уѣдутъ... онѣ останутся.

— Онѣ улягутся, когда вы уѣдете.

— А если клевета доведетъ ее до отчаянія, до самоубійства?..

— А если этотъ бракъ доведетъ васъ до отчаянія и до самоубійства?...

Елатомскій дрогнулъ: одно слово «бракъ» уже было ему ненавистно — и вдругъ ему пророчатъ отчаяніе, которое можетъ довести его до самоубійства...

— Вы молоды и бѣдны, — она также бѣдна, и если вы ее похитите или тайно женитесь, — отецъ ничего не дастъ за ней. Что же будетъ съ вами, если пойдутъ дѣти, прежде чѣмъ будетъ у васъ мѣсто или средства кормить ихъ. Намъ будетъ очень тяжело разстаться съ вами и потерять васъ изъ виду; вы очень милый молодой человѣкъ, но—уѣзжайте съ Богомъ!

— Но куда же? — скрестивъ пальцы такъ, что они хрустнули, вполголоса воскликнулъ Елатомскій.—Къ отцу? нѣтъ, у него медовый мѣсяцъ,—зачѣмъ мѣшать ему! На Кавказъ?.. но, какъ вы думаете, можно ли на сто или на полтораста рублей доѣхать до Тифлиса?

— Да... я думаю...

— Олафьевъ! Другъ мой любезный!—такъ встрѣтилъ онъ вошедшаго Олафьева.—Когда ты ѣдешь на Кавказъ? (Онъ съ тѣхъ поръ, какъ ночевалъ у него, незамѣтно перешелъ съ «вы» на «ты»).

— Въ слѣдующій понедѣльникъ, утромъ, отходитъ пароходъ «Тамань»,—отвѣчалъ Олафьевъ, поклонившись и пожавъ руку, протянутую ему молодой хозяйкой.

— Ну, такъ и я съ тобой, Олафьевъ!

Олафьевъ просіялъ.

Хозяйка оглянулась на лицо его.

— Такъ мы и васъ ужъ не увидимъ больше, m-r Олафьевъ?—сказала она.

— Да... мнѣ давно пора ѣхать, — переминаясь съ ноги на ногу и чему-то усмѣхаясь, пробормоталъ Олафьевъ и вышелъ въ садъ,—морю, кустамъ и птицамъ повѣдать свои думы...—«Я тамъ буду не одинъ... Мнѣ не будетъ такъ страшно... Ну, радъ я, радъ, очень радъ»...

Въ отвѣтъ ему зачиликала какая-то птичка, но чему она была рада—Господь ее вѣдаетъ...

— Странный человѣкъ вашъ Олафьевъ, — сказала хозяйка, снова принимаясь за кисть и вглядываясь въ свою работу.—Онъ такъ глубоко запряталъ свою душу, что даже и по догадкамъ трудно судить о ней. Мнѣ кажется, онъ несчастливъ, не потому, чтобы случилось съ нимъ какое-нибудь несчастіе, а потому, что онъ не вѣритъ въ возможность счастія...

— Да...—отвѣчалъ Елатомскій,—когда-то я спорилъ съ нимъ: онъ утверждалъ, что все на свѣтѣ зло и только зло, теперь я и самъ готовъ согласиться съ нимъ: и чувство—зло, и разсудокъ — зло, и нищета, и богатство, и умъ, и глупость—все зло!

Хозяйка отложила свои кисти и поглядѣла на Елатомскаго, какъ-бы не довѣряя искренности словъ его и, въ то же время, подозрѣвая, что онъ самъ готовъ повѣрить словамъ своимъ.

— Да,—сказала она,—одинъ Богъ благо: безъ Бога все зло... Какъ безъ солнца все тьма и холодъ, такъ и безъ Бога.

— Богъ! Богъ! это—абсолютная истина. Это не про насъ, — отвѣчалъ Елатомскій. — Истины никогда мы не найдемъ и никогда не уразумѣемъ Бога.

— Да... если пойдемъ искать — не увидимъ и не

уразумѣемъ, потому что никогда не дойдемъ; когда же мы вѣримъ въ эту истину—она сама доходитъ до насъ, какъ лучъ отъ солнца. Впрочемъ, извините, я не проповѣдница... Такъ пришлось къ слову, — сказала, что думаю...

Елатомскій не даромъ когда-то интересовался исторіей Востока. Онъ сталъ ей доказывать, что слѣпая вѣра въ условную истину была постояннымъ источникомъ заблужденій и страданій человѣческихъ. Но чѣмъ больше онъ говорилъ на эту тему, тѣмъ она меньше его слушала. Наконецъ, она опять взялась за палитру, обернулась лицомъ къ морю и стала писать.

— Ну... хорошо!—сказала она, съ нѣкоторымъ, едва замѣтнымъ оттѣнкомъ досады или нетерпѣнія. — Пусть заблужденія! Я знаю только, что безъ этихъ заблужденій не было бы исторіи, и мы съ вами были бы дикарями, даже хуже дикихъ, потому что у нихъ тоже есть зачатки религіи... Впрочемъ, замолчимъ объ этомъ, я не люблю разговоровъ на эту тему. Знаю, что скептицизмъ—это въ духѣ времени,—самый дешевый и общедоступный ядъ... Я не мѣшаю и не могу помѣшать отравляться этимъ ядомъ, кому угодно, только я... не хочу его... Когда вы будете въ Тифлисѣ, напишите, понравится ли вамъ этотъ край... и если увидите графиню Ш—ль, поклонитесь ей отъ меня.

Она съ умысломъ оборвала разговоръ, для нея непріятный, и дала ему другое направленіе.

Елатомскій на это нисколько не досадовалъ. Онъ самъ былъ не охотникъ пускаться въ богословскія пренія. Онъ не осуждалъ ее за это излишнее нравственное самосохраненіе, какъ не осуждалъ бы жены рыболова, которая, вмѣсто того, чтобы лазить по скаламъ, да перебираться черезъ пропасти,—въ виду этихъ самыхъ горъ, съ ихъ холодными и неприступными вершинами, сидитъ

на порогѣ своей рыбацкой хаты, чинитъ неводъ или укачиваетъ своего ребенка, напѣвая старинную колыбельную пѣсенку.

Къ этому слѣдуетъ присовокупить, что отецъ молодой хозяйки былъ англичанинъ и что русская мать ея, сестра Юматовой, была христіанкой, одною изъ самыхъ искреннихъ, и умерла, какъ святая...

XIII.

О побѣгѣ графа и отъѣздѣ княгини Елатомскій узналъ вскорѣ послѣ своего выздоровленія, и тоже подумалъ: «молодецъ этотъ Гиккель!» Вспомнилъ онъ свой послѣдній вечеръ, проведенный у княгини, ея таинственное загадочное поведеніе съ биноклемъ, ея вопросы объ огонькѣ въ карантинной гавани и ея сказку, смыслъ которой онъ тогда не понялъ, — и все это стало ему понятно, когда разъяснилось передъ нимъ это маленькое и все-таки для Одессы и ея дѣльцовъ довольно громкое событіе.

«Вотъ женщина!» подумалъ Елатомскій. «Графъ могъ не доплыть, могъ ночью потонуть, и даже трупъ его не выплылъ бы на поверхность, удерживаемый на днѣ его кожанымъ поясомъ съ червонцами,—и что̀ же? Она, влюбленная въ него барыня, спокойно смотритъ въ бинокль, да еще при этомъ кокетничаетъ съ другимъ, точно ей все равно. Если бы у меня въ этотъ вечеръ не болѣла голова и не стучало въ вискахъ,—не знаю, какъ бы вынесъ я воздушныя прикосновенія колѣнъ ея. Удивительная барыня! Теперь, я думаю, подъ предлогомъ поѣздки въ Крымъ, умчалась она по слѣдамъ графа и уже давно съ нимъ на берегахъ Босфора, въ Аѳинахъ или чортъ знаетъ гдѣ,—можетъ быть, на горѣ Синаѣ».

Объ отношеніяхъ графа къ Капитолинѣ Алексѣевнѣ

Чертилиной Елатомскій ничего не зналъ: сплетни о связи ихъ такъ и не дошли до ушей его.

Вернувшись съ дачи Ланжерона, Елатомскій хотѣлъ переѣхать въ просторный номеръ гостинницы, занимаемый Олафьевымъ, но еще одну ночь рѣшился переночевать въ своей квартирѣ, которая, послѣ удара съ Сашинымъ, наводила на него какое-то уныніе, а послѣ пребыванія на дачѣ — казалась душной, мрачной и ни къ чему веселому не располагающей. Онъ раздѣлся и легъ, не безъ умысла заперевъ дверь свою: во-первыхъ, у него уже были деньги, — во-вторыхъ, ему хотѣлось, чтобы завтра въ 8 часовъ утра стукъ старухи разбудилъ его.

Онъ легъ, но образъ Зои не давалъ ему ни сна, ни покоя. Онъ вспомнилъ разсказъ доктора, что онъ уже нашелъ его безъ сапогъ. «Кто же снялъ съ него сапоги, когда онъ лежалъ и бредилъ? Неужели Зоя?.. Что должна была она чувствовать, когда пришла къ нему и нашла его безъ памяти?.. И что̀ съ ней? Не больна ли она? Какъ всѣ эти сплетни и намеки отразятся на судьбѣ ея?.. Боже мой! какой я буду скотъ, какой я буду подлецъ, если не прощусь ней!..

«Хорошо быть благоразумнымъ, наверху человѣческаго благополучія,—и какъ имъ трудно быть, когда все кругомъ хаосъ, разладъ и безобразіе, когда даже любовь и та—или глупость, или преступленіе!.. Но пора спать.. Пора спать».

Но не прошло и получаса, какъ Елатомскій вскочилъ, зажегъ свѣчу, въ одной рубашкѣ присѣлъ къ столу, откупорилъ пузырекъ съ чернилами и сталъ писать:

«Милая Зоя Трофимовна!

«Не смѣю быть у васъ... не смѣю лично поблагодарить васъ за ваше расположеніе и за то самоотверже-

ніе, которыя оказали вы въ первые дни моей болѣзни не боясь ни клеветъ, ни сплетней людей пустыхъ и досужихъ. Не смѣю просить васъ простить меня и за то, что, можетъ быть, я былъ невольною причиною этихъ клеветъ и сплетенъ, несмотря на всю мою осторожность, несмотря на всю чистоту и святость нашихъ отношеній. И нѣтъ у меня силъ прійти и сказать вамъ: прощайте, Зоя,—я ѣду на Кавказъ искать судьбы моей, ѣду въ понедѣльникъ, въ тяжелый день, съ тяжелымъ чувствомъ на сердцѣ. Повѣрьте, что никого не жаль мнѣ въ Одессѣ, кромѣ васъ,—только съ вами разстаюсь я съ болью въ душѣ, хотя эта боль и не доводитъ меня до отчаянія. Не отчаявайтесь и вы, если вы меня любите. Весьма возможно, что счастіе улыбнется мнѣ, и я вернусь и встрѣчусь съ вами при другихъ условіяхъ. Тогда отъ васъ будетъ зависѣть дать мнѣ позволеніе просить вашей руки и вашего согласія; но не теперь, не въ эту тяжелую для меня минуту. Будемъ надѣяться на время,—оно одно испытаетъ насъ, оно одно подскажетъ вамъ, можете или не можете вы забыть меня, и стòю ли я вашей любви—или не стòю. Прощайте. Передайте вашей мамà мой поклонъ, благодарность за гостепріимство—и за все, за все... Не забывайте вамъ преданнаго—

«В. Елатомскаго.

«6-го августа, 1847 года».

Елатомскій запечаталъ это письмо, загасилъ свѣчу и думалъ успокоиться... Говорятъ, ничего нѣтъ лучше, какъ высказаться, чтобы отдѣлаться отъ тоски или тревоги, насъ одолѣвающей. Но и въ темнотѣ, наполненной легкимъ сургучнымъ запахомъ, не скоро заснулъ Елатомскій.

«Непремѣнно... непремѣнно—я самъ завтра же занесу это письмо. Это письмо, во-первыхъ, можетъ оправдать ее въ глазахъ матери или отца, если и до нихъ дойдутъ

тѣ же сплетни, которыя дошли до Сашина; во-вторыхъ, съ этимъ письмомъ она успокоится и будетъ ждать меня. Долгое ожиданіе — лучшее лекарство отъ страсти: привыкнуть къ разлукѣ—значитъ, ея не чувствовать. Она еще можетъ полюбить другого и выйти замужъ. Если она въ маменьку—добрая жена изъ нея выйдетъ, кроткая, заботливая, преданная. Она не образована—бѣдная Вѣра Георгіевна: по-русски едва читаетъ; но кто знаетъ, сколько природнаго ума, можетъ быть, таится въ ней! Зоя также не образована, но развѣ не принялась она читать съ удвоеннымъ усердіемъ, съ тѣхъ поръ, какъ со мной познакомилась? Развѣ Эвина нашла ее дурой? Итакъ, дай ей Богъ счастія! и—впередъ, впередъ, Елатомскій! Excellior!»

Не скоро можно заснуть съ такими разсужденіями и юношескими порывами.

Билъ уже пятый часъ по-полуночи, громко въ третій разъ запѣли пѣтухи (они особенно громко кричатъ или поютъ на югѣ) и уже затихъ сверчокъ, такъ какъ въ щель его запала капелька бѣлаго утра, когда задремалъ Елатомскій.

И въ этотъ же самый часъ — на другой улицѣ, въ другихъ стѣнахъ, вѣчнымъ сномъ заснулъ Иванъ Ивановичъ Сашинъ.

Ему уже было легче, и онъ подавалъ надежды на выздоровленіе, пока едва сознавалъ свое положеніе. Вдругъ, умъ его просіялъ: онъ испугался своихъ воспоминаній, испугался паче смерти—простоналъ и умеръ.

Грустно подумать, что добрый и неглупый человѣкъ повѣрилъ базарной сплетнѣ и умеръ, быть можетъ, увѣренный, что Елатомскій все лѣто надувалъ его—и былъ въ связи съ Зоей. Не затѣмъ-ли онъ и пришелъ къ нему, чтобъ высказать ему все свое негодованіе и,

какъ съ фальшивымъ человѣкомъ, навсегда разстаться съ нимъ.

Но, можетъ быть, не пошелъ бы Сашинъ къ Елатомскому, если бы Хавазовъ на это глупое посѣщеніе не подтолкнулъ его. «Сходите-ка вы... къ вашему-то другу... къ этому Елатомскому-то. Чортъ его дери!» въ то же утро говорилъ ему Хавазовъ, двигая скулами и красный, какъ мѣдь, отъ досады и озлобленія. «Да спросите его, что́ такое обо мнѣ писалъ онъ въ Тифлисъ. Если онъ на эти штуки пустился, передъ графомъ или передъ его клевретами вздумалъ чернить меня—я ему покажу!.. Я этого такъ не оставлю. Чтобъ какой-нибудь студентишка, мальчишка могъ портить мою карьеру! Этого я не оставлю—онъ можетъ сколько ему угодно безчестить семью Меркуличей, — хоть со всѣми тремя дочерьми его свяжись — мнѣ до этого дѣла нѣтъ — но этого я такъ не оставлю».

Стало быть, Сашинъ хотѣлъ и Хавазову угодить по своей безхарактерности, и въ случаѣ, если Елатомскій оправдается (чему онъ не вѣрилъ), предупредить его и сказать, что Хавазовъ можетъ такую сдѣлать ему пакость, отъ которой онъ не скоро оправится, и чтобъ Елатомскій на-счетъ своихъ писемъ былъ осторожнѣе.

Хавазова же паче всего злило одно совершенно непонятное для него обстоятельство—одесскія власти стали получать изъ Тифлиса письма, гдѣ Елатомскій рекомендовался имъ, какъ молодой человѣкъ, вполнѣ благонадежный, и гдѣ прямо говорилось, что графъ-намѣстникъ въ этомъ Елатомскомъ принимаетъ самое живое участіе.

Думалъ-ли Сашинъ, поднимаясь по ступенькамъ на балконъ Елатомскаго, что страсть къ Зоѣ, оскорбленное самолюбіе, негодованіе и неожиданный вызовъ до такой степени взволнуютъ застоявшуюся кровь его, что она ударитъ ему въ голову и будетъ палачомъ его! И зналъ-ли

онъ, бѣдный, что эти ступеньки вели его въ могилу и что скоро запоютъ надъ нимъ вѣчную память?

XIV.

Елатомскій только на другой день къ вечеру узналъ о смерти Сашина, и о томъ, будто бы умеръ онъ отъ солнечнаго удара. Ему было грустно. Долго, чуть не до полуночи, сидѣлъ онъ на бульварѣ, и никто изъ проходящихъ мимо въ темнотѣ не замѣчалъ его.

«Получила-ли Зоя письмо мое?» думалъ Елатомскій. «Откликнется-ли она? Дай Богъ, чтобъ и не откликалась!—зачѣмъ?»

Въ темнотѣ, по дорожкѣ послышалось позвякиваніе шпоръ и сабли.

Прошелъ полицмейстеръ, съ какимъ-то военнымъ подъ руку.

— Нѣтъ... Какова шельма эта княгиня! — говорилъ полицмейстеръ.—Принесите, говоритъ, завтра милліонъ, и я погляжу—разсержусь-ли я или не разсержусь... А? каково канальство?! И до сихъ поръ еще нѣтъ ея... Говорятъ, въ Крыму...

И уже ни слова дальше не могъ разобрать Елатомскій—только полицмейстерскій веселый смѣхъ долеталъ до ушей его... Видно, полковникъ принадлежалъ къ числу тѣхъ счастливыхъ людей, которые неудачи въ волокитствѣ скоро забываютъ, потому что каждая новая хорошенькая «шельма» можетъ утѣшить ихъ.

«А... познакомились! просила милліонъ — губа-то не дура!» между прочими мыслями проскользнуло въ головѣ Елатомскаго и нисколько его не огорчило. Образъ княгини, какъ образъ всякой красоты, привлекательный для всякаго возраста, былъ привлекателенъ и для нашего двадцати-трехъ-лѣтняго юноши, но къ нему, къ этому

образу—что-то прильнуло (въ родѣ кусочка жиру) и... уже никакой мечты не шевелилъ онъ въ душѣ его...

Что̀, если бы зналъ Елатомскій, сколько непріятностей надѣлала ему ложь Зои и ея самооклеветаніе? Какъ бы онъ отнесся къ ней? Во всякомъ случаѣ, не было-бы написано и отдано ей то письмо, которое рано утромъ самъ отнесъ онъ и у воротъ передалъ кухаркѣ Меркуличей, прежде чѣмъ Меркуличи встали съ своихъ постелей... Нечего и говорить, что кухарка получила, при этомъ, три рубля на водку—и хотѣла даже ручку у него поцѣловать за такую пріятную неожиданность.

Ничего, ни о какой лжи, ни о какомъ самооклеветаніи не зналъ и не вѣдалъ Елатомскій. И не вѣдалъ онъ, какое впечатлѣніе произведетъ письмо его на Зою и мать ея.

А впечатлѣніе было невообразимое. Оно пришло какъ разъ на другой день послѣ письма изъ Крыма отъ Трофима Евлампіевича, такого письма, которое, какъ обухомъ по головѣ, ихъ обѣихъ ударило—и жену, и дочь. Нѣжный супругъ писалъ къ женѣ своей, что до него въ Крымъ дошли слухи о поведеніи Зои, и что, если она связалась съ Елатомскимъ, то пусть и идетъ къ нему на содержаніе—что онъ знать ее не хочетъ, а такъ какъ этотъ Елатомскій помогалъ бѣжать графу Гиккелю, и тѣмъ лишилъ его семи-тысячъ, то онъ и не дастъ ни копѣйки своей дочери—и пусть она кормится, чѣмъ хочетъ и ка̀къ хочетъ. Затѣмъ Трофимъ Евлампіевичъ изъявлялъ свое непремѣнное желаніе—чтобы Зои не было въ домѣ, когда онъ воротится. Однимъ словомъ, это было одно изъ тѣхъ писемъ, которыя не одну—а сотни, тысячи дѣвушекъ толкнули на путь разврата и окончательно загубили ихъ.

Это письмо навело ужасъ и отчаяніе на Вѣру Георгіевну. Зоя сначала поблѣднѣла, какъ смерть, потомъ

разрыдалась и призналась матери, что ни разу до болѣзни Елатомскаго она нигдѣ на-единѣ не видалась съ нимъ, что она лгала на себя, лгала на него и достойна такого гнѣва, такого позора! Зоя плакала, но въ глубинѣ души ея зарождалась одна утѣшительная мысль — мысль эта была подсказана страстью и, если выразить ее словами, облеклась бы въ слѣдующія фразы: «Отецъ самъ толкаетъ меня къ нему въ объятія—хорошо же! Я пойду къ нему и скажу: теперь я нищая, отверженная, униженная, — неужели и вы меня отвергнете? И вы меня унизите? Вѣдь кромѣ вашей любви — ничего уже нѣтъ для меня въ цѣломъ мірѣ. Я буду вашей рабой, вашей служанкой, только не гоните меня отъ себя!..»

И вдругъ—новый ударъ!—Елатомскій пишетъ, что въ понедѣльникъ, т. е. черезъ день, покидаетъ онъ Одессу и ѣдетъ на Кавказъ.

Письмо это сотни разъ было читано Зоей и про себя, и шепотомъ матери, и каждое слово его было изучено, разобрано, истолковано... покрыто поцѣлуями и слезами облито.

Никогда еще Елатомскій такъ высоко не стоялъ въ глазахъ Вѣры Георгіевны, какъ послѣ признаній Зои и прощальнаго письма его; пока плакала и терзалась дочь ея, ходя по двору или у себя за ширмами, Вѣра Георгіевна сидѣла у себя въ спальной и никогда еще глупѣе и деревяннѣе не было лицо Вѣры Георгіевны, но въ маленькомъ мозгу ея зрѣли замыслы—она искала для своей Зои спасительнаго выхода и—нашла его.

«Пусть», думала она, «отецъ, когда вернется, не найдетъ ее, пусть!»

Затѣмъ она встала, достала изъ туалета ключикъ, отперла нижній ящикъ своего комода, выложила все серебро свое (когда-то доставшееся ей по-наслѣдству отъ дяди и не тронутое уже разбогатѣвшимъ Трофимомъ Ев-

лампіевичемъ), завязала его въ салфетку, накинула на голову бѣлый шалевый платокъ и вышла изъ дому.

XV.

Наканунѣ своего отъѣзда на Кавказъ, въ воскресенье, получивъ отъ полиціи удостовѣреніе, что препятствій къ выѣзду не имѣется, Елатомскій, вмѣстѣ съ Олафьевымъ, отобѣдалъ у Карруты, расплатился съ кондитершей, крѣпко пожалъ руку молодой француженкѣ и, закуривъ сигару, пошелъ проститься съ книгопродавцемъ Тотти.

Въ книжномъ магазинѣ никого изъ покупателей не было, но самого Тотти засталъ онъ съ невѣстой на колѣняхъ. Личико вскочившей дѣвушки покрылось яркимъ румянцемъ, но самъ Тотти, какъ итальянецъ, нисколько не смутился—и, смѣясь, сказалъ Елатомскому: вамъ, небось, завидно!.. Ничего не можетъ быть пріятнѣе какъ быть женихомъ, синьоръ Елатомскій!

Простившись съ Тотти и съ его невѣстой и даже обѣщавшись писать къ нему, Елатомскій зашелъ въ номеръ гостинницы, уложилъ въ чемоданъ принесенное прачкой бѣлье и набилъ сигарами перекидную черезъ плечо дорожную сумку, купленную имъ въ англійскомъ магазинѣ, который въ этотъ годъ ликвидировалъ свои дѣла, какъ-бы провидя, что одесское порто-франко доживаетъ свои послѣдніе годы, а на политическомъ горизонтѣ—со стороны Франціи, уже показались зловѣщія тучки. Революціонный 1848 годъ былъ на носу, и, быть можетъ, только король французовъ Луи-Филиппъ его не предчувствовалъ.

Были сумерки, когда Елатомскій, вмѣстѣ съ Олафьевымъ, отправились на бульваръ, какъ на единственное мѣсто, гдѣ не было пыли, и гдѣ легче дышалось.

Переходя улицу, идущую вдоль бульвара, оглянулся онъ влѣво и среди домовъ, которыхъ фасады ему видѣлись въ профиль, къ удивленію своему увидѣлъ, на знакомомъ ему балконѣ, бѣлый обликъ знакомой ему женщины.

«Ба! она вернулась...» подумалъ про себя Елатомскій.—Надо и съ ней проститься... Дружище, Олафьевъ! посиди на бульварѣ, я зайду къ княгинѣ Корси и на прощаніе засвидѣтельствую ей свое почтеніе.

На лѣстницѣ онъ узналъ отъ горничной, что княгиня вернулась утромъ и спрашивала ее: живъ ли онъ... и видѣла ли она его.

Но княгиня, мало того, что спрашивала горничную, видѣла ли она Елатомскаго, она, только-что переодѣлась и напилась кофе, сама прошлась по главнымъ улицамъ города—въ надеждѣ встрѣтить своего будущаго кавалера, ей какъ-бы въ наслѣдство оставленнаго графомъ Гиккелемъ; но такъ случилось, что нигдѣ она его не встрѣтила, и такъ ей было досадно, что она подумала: «Ужъ не влюблена ли я въ него... Чего добраго!»

Радостно вскрикнула княгиня, когда увидѣла своего единственнаго кавалера, и чуть не бросилась обнимать его, по крайней мѣрѣ, сдѣлала такое движеніе, что Елатомскому показалось: вотъ, вотъ, сію минуту повиснетъ она у него на шеѣ;—но этого не случилось... Она схватила только его за-руку и спросила: живъ ли онъ, и не тѣнь ли его предстала ей?

— А! вы себѣ не можете и вообразить, какъ я рада вамъ... Я точно дѣвочка пятнадцати-лѣтъ—даже совѣстно... можно ли такъ обрадоваться! Вы увидѣли меня на балконѣ и тотчасъ же зашли ко мнѣ... О! спасибо! спасибо вамъ, милый Елатомскій! Садитесь... Вы похудѣли... но вы стали еще интереснѣе...

Глаза ея свѣтились радостью влюбленной, голосъ зве-

нѣлъ, какъ струна, уста улыбались. Свѣтло-каштановые волосы мягкими волнами лежали частью на обнаженныхъ плечахъ, частью были заброшены за спину.

— А я пришелъ засвидѣтельствовать вамъ мое почтеніе, и проститься съ вами, княгиня,—сказалъ Елатомскій:—завтра я уѣзжаю.

Княгиня измѣнилась въ лицѣ, и ея улыбка застыла.

— Вы уѣзжаете?

— Да.

— Я только-что пріѣхала, и вы—вы уже уѣзжаете... Куда?..

— На Кавказъ.

— Да какъ же вы смѣете?

Елатомскій улыбнулся...

— Нѣтъ, — сказала она, сажая его возлѣ себя на диванъ.—Нѣтъ вы не уѣдете.

— Да я уже и билетъ взялъ и уложился и... даже... простился со всѣми, княгиня.

— И все-таки вы не уѣдете, Елатомскій... Это—безбожно... безбожно!.. Я такъ спѣшила, такъ хотѣла видѣть васъ... Нѣтъ, ради меня, неужели ради меня вы не останетесь?

Елатомскій потупился... Ничего подобнаго не ожидалъ онъ... сердце его ёкнуло...—оно чувствовало когти, которые прячутся въ мягкихъ бархатныхъ лапкахъ, для того, чтобъ улучить минуту, и, какъ несчастнаго мышенка, схватить и задушить его.

— Странно, княгиня... для чего я нуженъ вамъ? — проговорилъ онъ, не поднимая глазъ.

— Вы мнѣ нужны, какъ солнце, какъ воздухъ. Видите, какъ я смѣла. Но не все ли равно, что̀ вы обо мнѣ будете думать, если я сама о себѣ не думаю... Неправда ли, Елатомскій?.. Вы не будете такъ жестоки... Вы... останетесь...

Княгиня была въ высшей степени возбуждена его упрямствомъ, но его смущеніе не ускользнуло отъ ея чуткости, она не сомнѣвалась въ успѣхѣ, не сомнѣвалась въ новомъ торжествѣ своемъ.

— Да? Елатомскій... да? да?

— Нѣтъ...

Княгиня отшатнулась отъ него и надула губки.

— Ну, хоть на недѣлю...—помолчавъ, сказала она.— На одну недѣлю, отложите вы вашъ отъѣздъ... Зачѣмъ вамъ спѣшить, не все ли вамъ равно—завтра или черезъ десять дней надѣнете вы вашъ противный вицъ-мундиръ, обзаведетесь портфелью и превратитесь въ чиновника, словомъ—перестанете быть такимъ,—вотъ такимъ, какъ я знаю васъ. Вѣдь будь на васъ оффиціальное клеймо, не будь вы такой свободный, такой независимый... вѣдь я... я бы и не стала васъ упрашивать... А то, не все ли вамъ равно, завтра или черезъ недѣлю... Кажется, не Богъ знаетъ какой жертвы я отъ васъ прошу, Елатомскій!

— Да, все равно... но не лучше ли мнѣ ѣхать завтра: чѣмъ скорѣе—тѣмъ лучше—одинъ конецъ.

— Для васъ одинъ конецъ, для меня—другой...

— Я долженъ ѣхать... или я задохнусь здѣсь... для меня здѣсь нѣтъ воздуха.

— Я также думала, какъ и вы.—Услыхавъ, что вы при смерти,—я поѣхала скитаться по-морю, успѣла побывать и на берегахъ Кавказа, и все-таки вернулась... Я думала, что я могу разсѣяться... Нѣтъ... нѣтъ О! если бы вы знали, какъ я иногда тоскую, какъ мнѣ тяжело, какъ невыносимо тяжело, Елатомскій!

Княгиня закрыла руками разгорѣвшееся лицо свое и въ этой позѣ была обворожительна, какъ статуя безнадежности, если только есть на свѣтѣ такая статуя.

— Три недѣли я хотѣла забыть—забыться...

— Чего нельзя забыть въ три недѣли—можно забыть въ три мѣсяца...—запинаясь, проговорилъ Елатомскій.

— Вы думаете?

Она отняла руки отъ лица и поглядѣла на него вопросительно, какъ-бы сомнѣваясь—онъ ли это проговорилъ.

Но Елатомскій всталъ, обошелъ столъ, протянулъ ей руку и сказалъ: прощайте?

— Поѣдемте со мной — сказала княгиня, если ужъ вамъ такъ здѣсь тяжело и хочется путешествовать.

— Куда?

— Куда прикажете — въ Италію, въ Швейцарію, въ Парижъ, въ Лондонъ... Мнѣ все равно.

— Если бы я былъ богатъ — я бы сказалъ вамъ— поѣдемте, но путешествовать на вашъ счетъ... это... это по меньшей мѣрѣ—унизительно.

— Ахъ, я и забыла! Вы никогда не казались мнѣ бѣднымъ... Это вздоръ, что я предложила вамъ... Я могла мечтать объ этомъ, но мало ли о чемъ я мечтаю... Вѣдь только мечтами и живетъ человѣкъ. Простите мнѣ эту глупую фантазію... но... неужели вы не останетесь до другого понедѣльника... Неужели?

— Не могу...—рѣшительнымъ голосомъ сказалъ Елатомскій.—Онъ разомъ вспомнилъ и обѣщаніе свое, данное Олафьеву, и свое письмо къ Зоѣ, и свое прощаніе съ знакомыми—и въ душѣ его уже громко раздавался тотъ свистъ, та язвительная насмѣшка, которая будетъ сопровождать его, когда онъ и во вторникъ, и въ среду и въ четвергъ появится на улицахъ Одессы, ведя подъ руку княгиню Корси—точно прикованный къ ея юбкѣ— какъ невольникъ къ тріумфальной колесницѣ побѣдителя. Къ тому же, ему все еще казалось, что онъ подъ надзоромъ, и что, останься онъ еще хоть одинъ день, непре-

мѣнно случится съ нимъ какая-нибудь новая пакость, и уже его не выпустятъ.

Княгиня рѣшилась на послѣднее средство, на одно изъ тѣхъ средствъ, къ которому рѣдко, почти никогда не прибѣгаютъ кокетки, которыя знаютъ себѣ цѣну и еще не перестали уважать себя.

Она встала, поглядѣла ему въ глаза и произнесла взволнованнымъ голосомъ:

— Я *ваша*—если вы завтра не уѣдете...

Сказавъ это, она отвернулась и вся пылающая вышла въ другую комнату.

Елатомскій остался посреди гостиной — какъ-бы со всѣхъ сторонъ охваченный пламенемъ.

Минутъ пять стоялъ онъ, точно потерявъ всякую способность двигаться.

Цѣлую недѣлю упоенія, сладкаго забытья и блаженныхъ грёзъ на груди такой красавицы вычеркнуть изъ жизни!—не прочесть самой пламенной, самой поэтической страницы, вырвать ее, прежде чѣмъ она оставитъ въ душѣ его неизгладимое впечатлѣніе! Это не легко... И не легко было Елатомскому бороться съ самимъ собой—устоять передъ такимъ соблазномъ.

Но—онъ вспомнилъ графа — и мысль, что она одна изъ тѣхъ, которыя ни въ какомъ случаѣ не могутъ обойтись безъ любовника, и что—Боже избави!—онъ въ эту недѣлю привяжется къ ней всѣмъ существомъ своимъ и будетъ ею брошенъ, какъ выжатый лимонъ—мысль эта спасла его. Онъ взялъ со стола шляпу и спустился съ лѣстницы, пріостанавливаясь на каждой ступенькѣ, и какъ-бы раздумывая—не вернуться ли?

На бульварѣ, едва только вышелъ онъ на дорожку, подъ сѣнь акацій, встрѣтился ему Олафьевъ и спросилъ его: ну, что̀, простились?

— Пойдемте домой Олафьевъ... сію минуту я совершилъ или великую глупость, или великій подвигъ.

— Что такое?

— Сію минуту чуть-было не отложилъ своей поѣздки.

— Какъ?

— Да ужъ такъ.

— Нѣтъ... Это было бы непростительно, даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ слова—неблагородно, улыбаясь и растягивая рѣчь, возразилъ Олафьевъ: я и на прошлой недѣли уѣхалъ бы.

— Послушайте, Елатомскій!—приподнявшись съ одной изъ скамеекъ, спросилъ его полицмейстеръ,—вы завтра уѣзжаете?

— Завтра.

— Получили мѣсто?

— Мнѣ пишутъ, что мѣсто ждетъ меня...—прилгалъ Елатомскій.

— Надѣюсь, что вы ничего противъ меня не имѣете?

— Ничего, полковникъ... помилуйте!

— Вы сейчасъ отъ княгини?

— Да, я простился съ ней.

— Гм!.. А вы не боитесь, что я безъ васъ приволокнусь за ней. А?

— Да какое же мнѣ до этого дѣло! Дай вамъ Богъ успѣха! Вы не то, что я — охулки на руку не положите.

— Знаемъ мы васъ, скромниковъ! Не даромъ гововорятъ въ тихомъ омутѣ черти... Ха-ха!.. милѣйшій! Ну... прощайте... Счастливаго пути... Не забывайте насъ, грѣшныхъ.

Полицмейстеръ уже слышалъ, что графъ Воронцовъ принимаетъ въ немъ особенное участіе... такъ, по-крайней-мѣрѣ, писали о немъ лица, близко къ нему стоявшія. Елатомскій же, у котораго ни о какихъ такихъ письмахъ

даже и подозрѣнія не было, наивно удивился любезности полковника и подумалъ не безъ горечи: «вотъ, онъ бы остался, да еще бы и хвастался!»

— А были вы на похоронахъ у Сашина,—спросилъ впереди него одинъ молодой человѣкъ другого.—Говорятъ, что Елатомскій убилъ его... Правда?

— Нѣтъ, онъ... того... гм...—началъ бурчать другой, уходя и помахивая хлыстикомъ.

Елатомскій пріостановился и поглядѣлъ на небо... Яркая звѣздочка, какъ глазъ влюбленной Зои, заглянула къ нему въ душу, и широкая тѣнь Сашина, влюбленнаго въ Зою, пронеслась передъ нимъ въ синемъ воздухѣ.

— Пойдемте, Олафьевъ. Завтра я пораньше переберусь на пароходъ, чтобы ни съ кѣмъ не встрѣчаться... Дешевый городъ Одесса, да воздухъ его должно быть такой, что такіе непрактичные люди, какъ я, не могутъ дышать имъ безнаказанно!

XVI.

На другой день пароходъ «Тамань» къ 11 часамъ утра разводилъ пары.

На пристани, на палубѣ и на ютѣ, подъ раскинутымъ тентомъ, уже сновала разнокалиберная публика: отъѣзжавшіе и провожавшіе, старики, дамы, купцы, франты и носильщики. Въ раскрытый трюмъ, съ помощью скрипучаго блока, опускались и размѣщались ящики изъ досокъ съ клеймами, ящики съ дамскими платьями, похожіе на гроба, чемоданы и чемоданчики. Словомъ, была толкотня и говоръ.

Только подъ раскинутымъ тентомъ, на широкой, неподвижной скамьѣ, задомъ къ будкѣ или тому возвышенію

подъ которымъ спускается лѣстница въ каюты, и лицомъ къ рулевому колесу, ясная, невозмутимо-покоющаяся въ сіяніи собственной красоты своей, сидѣла княгиня Корси. Уже знакомые ей—лейтенантъ и другіе служащіе на пароходѣ и даже нѣкоторые изъ юныхъ пассажировъ, услуживали ей какъ царицѣ; кто подвигалъ къ ногамъ ея скамеечку, кто подчивалъ шоколадомъ и бисквитами, кто упрашивалъ ее ѣхать хоть до Севастополя и, казалось, княгиня была весела и довольна своей судьбой. Слѣды безсонной ночи едва были видны на томномъ лицѣ ея; голубыя тѣни подъ глазами еще болѣе придавали имъ блеска и той ласковости, которая поселяла надежду и жажду цѣловать ей нѣжныя ручки, какъ-бы самимъ Господомъ Богомъ созданныя для того только, чтобы ласковое прикосновеніе ихъ напоминало о раѣ.

Но вопросъ: зачѣмъ она пріѣхала? Неужели для того, чтобы проводить Елатомскаго, который такъ оскорбилъ ее?—Ну да, именно для того, чтобы проводить его, пожелать ему счастливаго пути и пожать ему руку; а то, чего добраго, этотъ юноша еще вообразитъ себѣ, что она страдаетъ по немъ, плачетъ и не можетъ утѣшиться, какъ Калипсо, qui ne pouvait se consoler du départ d'Ulisse. Нѣтъ, такой смѣшной она не хочетъ быть въ глазахъ его! Довольно того, что вчера до полуночи она рвалась и металась, точно въ самое сердце ядовитый скорпіонъ ужалилъ ее.

Къ утру она была уже такъ спокойна, что даже похвалила Елатомскаго за то, что онъ не повѣрилъ ей.

По этому одному легко догадаться, что̀ могла бы она совершить, если бы еще на цѣлую недѣлю остался съ ней Елатомскій. Онъ вовсе не былъ человѣкомъ сильной воли и несокрушимаго характера, а она?—вся жизнь ея съ 17 лѣтъ была рядомъ романическихъ эпизодовъ и торжествующаго женскаго властолюбія. Что значили пе-

редъ ней тогдашніе Печорины? Развѣ сердца, которыя умѣла она разбивать или мучить, похожи были на сердечко княжны Мери или полудикой, неопытной Бэлы, для которой великосвѣтскій герой показался лучше, богаче и умнѣе оборваннаго черкеса.

Останься Елатомскій, и еще Богъ вѣдаетъ, была ли бы она *его;* развѣ она не могла бы сказать ему: о! я люблю васъ, очень люблю, но вы меня не поняли. Я васъ такъ высоко цѣню, такъ высоко вы стоите въ моихъ глазахъ, что я не хочу на такое короткое время быть вашей любовницей. Фи! роль жалкаго любовника предоставьте другимъ, Елатомскій! Много пошлаго и жалкаго въ этой роли — явнаго прислужника днемъ и тайнаго обладателя ночью!

Не даромъ сама княгиня, проснувшись утромъ, подумала: «нѣтъ! хорошо ты сдѣлалъ, Елатомскій! То-ли дѣло море, горы, даже бури и опасности!»

Но не странно-ли! уже пробило два звонка, уже слышался желѣзный, рѣзко-повторяющійся машинный стукъ поднимаемаго со дна тяжелаго якоря; уже пары просились наружу и съ потрясающимъ гуломъ вырывались всякій разъ, когда открывался клапанъ; уже шесть минутъ, всего шесть минутъ осталось до отплытія, а Елатомскаго все нѣтъ какъ нѣтъ! не было его ни на ютѣ, ни на палубѣ, ни на пристани—нигдѣ!

Напрасно княгиня, вставъ съ мѣста и оборачиваясь, искала его глазами, потомъ на минуту сошла въ общую каюту и опять поднялась на палубу,—напрасно: Елатомскаго и слѣда нигдѣ не было.

«Неужели онъ остался въ Одессѣ!» — подумала она переходя по мосткамъ съ парохода на пристань (и только-что перешла она, какъ уже эти мостки, шаркая, поѣхали назадъ и тотчасъ же были убраны). Ясно, что съ паро-

хода сошла она послѣднею, и что уже никто не войдетъ на палубу.

«Неужели ради меня онъ остался!» еще разъ подумала княгиня Аделаида, садясь въ экипажъ, и, распуская зонтикъ свой, улыбнулась.

Закрывшись отъ солнца, она уже соображала, какъ она его встрѣтитъ и какъ съ нимъ поведетъ себя.

— Вы меня помучили вчера, г. Елатомскій,—теперь берегитесь!

Олафьевъ давно уже былъ на ютѣ и, прикрывшись легкимъ плэдомъ, сидѣлъ неподвижно; онъ казался спокойнымъ, совершенно равнодушнымъ къ толпѣ, и только одна княгиня въ нѣкоторой степени возбудила его вниманіе, такъ какъ она при немъ спросила у капитана: не знаетъ ли онъ Елатомскаго?... на что̀ тотъ отвѣчалъ отрицательно.

Пароходъ уже зашумѣлъ своими колесами, и, вспѣнивъ воду, двинулся въ путь; на ютѣ и палубѣ все уже приходило въ обычный порядокъ. Общество раздѣлилось на группы; ютъ, который похожъ былъ на базаръ, превратился въ салонъ комфортабельной гостинницы, съ расхаживающими кавалерами, облокотившимися на бортъ блѣднолицыми дѣвицами и съёжившимися въ креслахъ почтенными старушками; уже Одесса опускала въ синія волны нижнія ступеньки своей колоссальной лѣстницы; уже пароходные повара рѣзали куръ и готовили завтракъ, а капитанъ-лейтенантъ и мичманъ стояли наверху между двумя кожухами, и изрѣдка слышался свистокъ команды ихъ, заглушаемый шумомъ воды и морского вѣтра.

Но куда же дѣвался Елатомскій?

Безъ всякаго умысла, онъ обманулъ княгиню своимъ отсутствіемъ; онъ даже и вообразить себѣ не могъ, что эта женщина явится провожать его.

Послѣ двухъ-трехъ ночей безсонницы и всякихъ нравственныхъ треволненій, онъ, просто на-просто, часа за полтора забрался на пароходъ, сдалъ свой багажъ, спросилъ, гдѣ его каюта, снялъ съ себя дорожный мѣшочекъ, взлѣзъ на верхнюю койку, подложилъ себѣ подъ голову подушку, накрылся плэдомъ и подумалъ: еще полтора часа до отхода и въ эти полтора часа я еще успѣю выспаться. Засимъ онъ, едва прилегъ, заснулъ какъ убитый.

Олафьевъ, отыскивая себѣ помѣщеніе и случайно отодвинувъ дверь каюты подъ № 4, нашелъ Елатомскаго спящимъ и не захотѣлъ будить его. И хорошо сдѣлалъ.

Елатомскій не слыхалъ ни стукотни ногъ, ни свиста паровъ, ни шума колесъ, ни звяканья въ буфетѣ, проспалъ завтракъ и проснулся къ обѣду... въ 4 часа пополудни.

«А! мы уже двинулись въ путь», — подумалъ онъ,— «наконецъ-то! Теперь, что̀ хотите говорите... хоть увѣряйте, что я убилъ Сашина или что я хочу государственный порядокъ разрушить—не боюсь...»

Онъ живо привелъ въ порядокъ костюмъ свой, поглядѣлъ въ зеркальце, причесался, надѣлъ полотняный картузъ и вышелъ.

Въ общей каютѣ уже накрывали два стола, вокругъ которыхъ хлопотали оффиціанты.

Чувствуя волчій аппетитъ, Елатомскій спросилъ у буфетчика:

— Что это—завтракъ?

— Завтракъ былъ въ 1 часъ—это обѣдъ,—отвѣчалъ тотъ съ досадой на странный вопросъ.

— Да который же часъ теперь?

— Пятый.

— Эге!..—удивился Елатомскій.

XVII.

Елатомскій въ первый разъ былъ на пароходѣ среди открытаго моря, и то поэтическое чувство, которое охватило его ночью, когда онъ впервые подъѣзжалъ къ Одессѣ и, сойдя съ жидовской таратайки, впервые услыхалъ шумъ Чернаго моря, снова на нѣсколько часовъ овладѣло всѣмъ существомъ его. И какъ тогда, среди пустыни, онъ былъ радъ, что пріѣхалъ, такъ и теперь онъ былъ радъ, что уѣхалъ.

Неизвѣстность будущаго иногда такъ заманчива въ годы нашей юности, не лишенной воображенія, что нерѣдко порываніе впередъ скоро заставляетъ забывать насъ покинутое нами прошлое, и ничто такъ не залечиваетъ ранъ, нанесенныхъ сердцу, какъ это «*смутное влеченіе чего-то жаждущей души*».

Это чувство, конечно, не мѣшало Елатомскому сойтись съ пароходнымъ обществомъ и перезнакомиться съ моряками-офицерами.

Былъ уже вечеръ. Солнце закатилось. Море потемнѣло. Надъ блѣдной полосой зари засвѣтилась звѣздочка...

— Гм! Странно!—усмѣхнулся Олафьевъ, сидя рядомъ съ Елатомскимъ и вытянувъ ноги.

— Что странно?

— Вонъ, тамъ, на носу—стояла какая-то дѣвушка—и мнѣ показалась—точно Зоя. Сходство удивительное.

— Что вы! Неужели?... Я сейчасъ пойду поглядѣть... Неужели такое сходство!

И, завернувшись въ плэдъ, онъ отправился. Но на носу, въ сумеркахъ, два купчика играли въ шашки, стояла какая-то мѣщанка съ ребенкомъ, матросъ чистилъ золой что-то мѣдное. Черномазая дѣвочка, лѣтъ четырнадцати, сидѣла на тумбочкѣ и доѣдала булку.

«Неужели эта черномазая показалась ему похожею на Зою?» подумалъ Елатомскій и пошелъ обратно.

Въ проходѣ остановился онъ надъ отверстіемъ, гдѣ помѣщалась машина, гдѣ качались два какихъ-то цилиндра, впуская и выпуская изъ себя толстые, стальные поршни. И долго смотрѣлъ онъ на дно этого громаднаго желѣзнаго ящика и слушалъ, какъ тамъ что-то сипѣло, шаркало и глухо гудѣло... По временамъ отворяли печь, и какъ изъ ада выходила ярко-красная полоса свѣта, окрашивая заревомъ какія-то сгребавшія каменный уголь, человѣческія фигуры, лѣстницы и стальныя части могущественной машины, съ качающимися цилиндрами и двигающимися поршнями.

Елатомскій и послѣ ужина не пошелъ спать. Онъ только уложилъ друга своего Олафьева; у него отъ легкой качки стала кружиться голова, и онъ боялся морской болѣзни.

Къ счастію, Елатомскій выносилъ эту легкую качку... по крайней мѣрѣ онъ бодрился, ходилъ широкими шагами по опустѣвшему юту, взлѣзалъ на подмостки, соединявшіе два кожуха, курилъ, и, казалось, былъ очень доволенъ.

Почему бы, — думалъ онъ, — не поступить мнѣ во флотъ или не поѣхать куда-нибудь въ кругосвѣтное плаваніе? — Не во сто ли разъ это лучше, чѣмъ сидѣть въ канцеляріи и корпѣть надъ бумагами, надъ какими-то дѣлами... И какъ это глупо, какъ глупо! — слишкомъ 5,000 лѣтъ, какъ помнитъ себя человѣчество, а не только не можетъ обойтись безъ бумажныхъ дѣлъ, напротивъ— чѣмъ больше живетъ, тѣмъ больше съ этими дѣлами возится! тѣмъ больше въ нихъ нуждается,—существовать безъ нихъ не можетъ!—Глупо!

Былъ уже двѣнадцатый часъ ночи, когда онъ, ни о чемъ не думая, или Богъ знаетъ о чемъ думая,—отправился на носъ парохода.

Ему, впрочемъ, почему-то почутилось, что носъ парохода не имѣетъ боковой качки, что онъ только поднимается и опускается, и что, стало быть, тамъ его не закачаетъ.

Вотъ уже переступилъ онъ якорную цѣпь, чуть не наступилъ на спящаго мужичка, подмостившаго себѣ подъ голову какой-то мѣшечекъ, и оглянулся...

Дрогнуло его сердце — вдругъ увидѣлъ онъ тѣнь дѣвушки, стоявшей къ нему спиной и обѣими руками облокотившейся на бортъ. Ночной, свѣжій вѣтеръ шевелилъ ея волосы, на шеѣ висѣлъ черный платокъ, съѣхавшій съ головы и удерживаемый на груди пальцами, которые, очевидно, прятались въ его складкахъ.

«Ужъ не та ли, похожая на Зою?» подумалъ Елатомскій, — подошелъ къ тому же борту, также облокотился и заглянулъ ей въ профиль, освѣщенный мѣсяцемъ.

Дѣвушка быстро оглянулась на него, вздрогнула всѣмъ тѣломъ и, опустивъ голову, тихо заплакала,— рука ея поднялась къ глазамъ; легкій платокъ превратился въ парусъ и съѣхалъ еще ниже на спину.

— Зоя?! — тихо произнесъ Елатомскій, все еще неувѣренный, но уже блѣдный отъ тисковъ, которыми сжалось его сердце.

— Я не съ вами... я... я... одна...—пролепетала дѣвушка.

— Какъ... вы?.. это вы... Зоя!

Зоя обернула къ нему заплаканное лицо свое, но не только не бросилась обнимать его — не протянула ему даже руки своей.

— Не думайте... Елатомскій... ничего дурного. Не думайте, что я бѣжала или ушла изъ дому безъ позволенія матери. Мать сама благословила меня, сама первая сказала мнѣ—поѣзжай—тебѣ теперь уже нельзя оставаться въ Одессѣ, не только чужіе клеймятъ и позорятъ,

самъ отецъ гонитъ тебя изъ дому. Уѣзжай въ Тифлисъ,— сказала мнѣ мать... Тамъ поступи гдѣ-нибудь... мѣсто гувернантки или няни себѣ найди... Елатомскій о тебѣ похлопочетъ... Но если бы вы знали, какъ мнѣ было горько, какъ было страшно. Ахъ, если бы потонуть!

Молча выслушалъ ее Елатомскій и, отыскавъ подъ складками развѣвавшагося платка ея холодную руку, пожалъ ее.

— Разумѣется... я все готовъ для васъ... все, все. Располагайте мной. Въ Тифлисѣ есть хорошіе люди, и они примутъ въ васъ самое искреннее участіе. Не плачьте, Зоя!

— Не думайте, Елатомскій, что я хочу стѣснять васъ или насильно навязываюсь вамъ на шею... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Правда, я безумно люблю васъ... но... нѣтъ, нѣтъ... Прочтите вотъ это письмецо, которое я взяла съ собой, чтобы вамъ показать его.

— Чье письмецо?..

— Письмо моего папа. Прочтите и подумайте, могла ли бы я остаться въ Одессѣ?

— Я сейчасъ пойду и гдѣ-нибудь у лампы прочту его. Вы не уйдете? Вы дождетесь меня, Зоя?

Зоя въ отвѣтъ только пожала ему руку, и Елатомскій ушелъ отыскивать свѣта, чтобы прочесть это—уже извѣстное намъ посланіе Трофима Евлампіевича, въ которомъ онъ изъявлялъ свое желаніе не застать Зою у себя въ домѣ, такъ какъ онъ и видѣть ее не хочетъ.

У Елатомскаго дрожали руки, когда, развернувъ это письмо, онъ сталъ читать его въ общей каютѣ перваго класса, среди спавшихъ пассажировъ, загнутыхъ вверхъ локтей, бѣлыхъ колпаковъ и байковыхъ одѣялъ, — при свѣтѣ лампы, которая одна, какъ отвѣсъ, казалась неподвижной, тогда какъ все кругомъ качалось и двигалось.

— О, мерзавецъ! — прочитавъ письмо, про себя про-

ворчалъ вспыльчивый Елатомскій: — толкаетъ самъ дочь свою въ пропасть...

И, хватаясь руками за перила и за стѣны, опять поднялся онъ вверхъ по чугунной лѣстницѣ и, разставляя ноги, чтобы не упасть, и шагая черезъ протянутыя ноги спящихъ, Елатомскій благополучно добрался до корабельнаго носа и молча возвратилъ Зоѣ письмо.

Онъ не хотѣлъ при дочери ругать отца и молчалъ.

Зоя тоже молчала, разорвала отцовское письмо и черезъ бортъ бросила его въ море.

Видно и ей не хотѣлось, чтобы оно когда-нибудь кому-нибудь попалось на глаза. Только другъ, единственный другъ ея, Елатомскій, могъ прочесть его и оцѣнить по достоинству.

— Хорошо, что вы ушли,—началъ Елатомскій,—что̀ бы ожидало васъ, если бы вы остались! Но, милая Зоя, не лучше ли вамъ будетъ въ первомъ классѣ? Неужели здѣсь покойно вамъ? Пойдемте, я хочу посмотрѣть, гдѣ вы здѣсь помѣстились. — Зоя взяла за-руку Елатомскаго и по витой чугунной лѣстницѣ спустилась съ нимъ къ буфету второго класса. Съ нижней ступеньки заглянули они въ общую столовую и при свѣтѣ лампы увидѣли тамъ у стола какого-то толстяка съ краснымъ, лоснящимся лицомъ, который, наливъ себѣ кружку пива, подносилъ ее къ жирнымъ губамъ своимъ. Онъ былъ въ однихъ брюкахъ и въ бисерныхъ помочахъ, сверхъ рубашки, съ разстегнутымъ воротомъ.

— Вернемтесь,—сказалъ Елатомскій, и тотчасъ же свѣжій ночной вѣтеръ снова пахнулъ имъ въ лицо и заволновалъ платокъ, которымъ Зоя накрыла свою голову.

Она оглянулась. Дымъ отъ пароходной трубы тянулся влѣво отъ кормы, и красныя искры вились змѣйками въ синемъ воздухѣ ночи.

А передъ ними мѣсяцъ выплывалъ изъ тучки, полосо-

валъ даль моря, озарялъ блѣдное личико Зои и цѣлую кучу рабочихъ, спавшихъ на палубѣ.

— Переходите въ первый класъ, тамъ вамъ будетъ покойнѣе,—настаивалъ Елатомскій.

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что, Владиміръ Григорьевичъ, ни за что, ни за что! Мнѣ и здѣсь спокойно, даже лучше, чѣмъ у меня дома за ширмами. Я знаю, что вы со мной, что вы недалеко — и — приходи буря, не испугаюсь.

— Не простудитесь,—сказалъ Елатомскій и закрылъ ея плечики одной половинкой своего большого сѣраго плэда. Такимъ образомъ, оба они очутились въ одномъ и томъ же плэдѣ, оба, тѣснясь другъ къ другу, сѣли на деревянную рѣшетку и стали разговаривать.

Елатомскій понялъ, наконецъ, почему Зоя упрямится и боится перваго класса. Она можетъ встрѣтить тамъ знакомыхъ или такихъ, которые могутъ узнать ее. Ея отецъ все еще на южномъ берегу Крыма, стало быть, можетъ случайно пронюхать о бѣгствѣ дочери и сдѣлать скандалъ, вообразитъ, что она увезена Елатомскимъ и наговоритъ ему при всѣхъ кучу непріятностей.

Елатомскій понялъ, что Зоя права, что она не только права—умница!—и что онъ глупъ, потому-что ничего такого заранѣе и сообразить не могъ. Выслушавъ Зою, онъ тотчасъ же далъ ей совѣтъ, чтобы она не выходила изъ женской каюты,—ни въ Севастополѣ, ни въ Ялтѣ... и оба рѣшили, что до Ялты они будутъ какъ можно рѣже видѣться, чтобы никому не дать ни малѣйшаго подозрѣнія.

О любви не было говорено ни слова, но она слышалась въ трепетѣ ея голоса и въ пожатіяхъ руки его.

Никогда еще Елатомскій не былъ такъ беззавѣтно счастливъ, какъ въ эту вѣтренную ночь, возлѣ цѣпей и подтянутаго якоря.

— Пора, вы устали,—сказала Зоя.

— Возьмите съ собой мой плэдъ и закутайте имъ ваши ноги... Мнѣ не холодно... а завтра я зайду за нимъ.

На прощаніе они поцѣловались, такъ, какъ будто всю жизнь свою цѣловались, какъ-будто безъ этого поцѣлуя было бы и дико, и неестественно разстаться имъ.

Елатомскій былъ среди другой обстановки и среди другой обстановки видѣлъ Зою. Ничто не напоминало ему окружающей пошлости... Онъ дышалъ другимъ воздухомъ и иначе, совершенно иначе была настроена самолюбивая, чуткая къ мелочамъ жизни душа его.

Много значитъ въ жизни обстановка. Мѣняясь,—она не мѣняетъ характеровъ, но можетъ вызывать то лучшія, то худшія ихъ стороны. Что же мудренаго, что на этотъ разъ Елатомскій былъ самимъ собою—жилъ минутой настоящаго, радъ былъ, что отдѣлался отъ прошлаго, и въ эту ночь не думалъ о будущемъ.

XVIII.

Въ Севастопольской гавани, Елатомскій вмѣстѣ съ Олафьевымъ съѣзжали на пристань, ходили по-городу, заходили въ морскую библіотеку и съ ея балкона любовались заливомъ, сто-пушечными кораблями и тѣми твердынями, которыя еще были грозны и казались несокрушимыми.

Въ Ялтѣ оправдались опасенія Зои. Тамъ, минутъ за двадцать до отплытія парохода, на его палубѣ появился Меркуличъ, одѣтый совершеннымъ помѣщикомъ, въ коричневомъ пиджакѣ и съ такимъ же коричневымъ отъ загара ястребинымъ лицомъ.

Онъ былъ говорливъ и веселъ, но когда увидѣлъ Елатомскаго, сидѣвшаго близъ рулевого колеса на приступочкѣ,—очень изумился, слегка раскрылъ ротъ и захлопалъ глазами. Съ минуту колебался онъ, подойти ли ему къ

этому молодому человѣку или не подходить... Но любопытство взяло верхъ—и онъ подошелъ къ нему... Елатомскій въ эту минуту смотрѣлъ на величавую панораму лѣсистыхъ горъ съ облакомъ, которое висѣло на ихъ каменныхъ зубцахъ въ видѣ оборваннаго вуаля,—и притворился, что не замѣчаетъ Меркулича.

— Вы куда?...—рѣшился заговорить Меркуличъ.

Мысль о Зоѣ въ эту минуту шевелилась въ мозгу его и подталкивала его на то, чтобъ пораспросить этого ловкаго малаго, который соблазнилъ дочь его.

— Ба! это вы, Трофимъ Евлампіевичъ? Не ожидалъ—давно вы въ Крыму?

— Да уже и домой собираюсь... А вы развѣ не знали, что я въ Крыму?

— Не зналъ...

— Мѣсто получили? А?

— Ѣду на службу, состоять при намѣстникѣ.

— Какъ—состоять при намѣстникѣ!—изумился Меркуличъ.

— Да такъ...

Меркуличъ поглядѣлъ на него и пожалъ плечами.

«Чудеса!» выражало собою это пожатіе плечъ да и вся его физіономія.

Елатомскій поглядѣлъ на него и не утерпѣлъ, чтобы не усмѣхнуться—онъ понялъ, что Меркуличъ Богъ знаетъ что вообразилъ себѣ при его фразѣ—«состоять при намѣстникѣ» и не вѣрилъ его такому, не совсѣмъ обыкновенному счастію...

— Это немножко выгоднѣе, чѣмъ состоять при Хавазовѣ...—присовокупилъ Елатомскій, какъ-бы разсуждая съ самимъ собою.

— Да ужъ это, конечно, что выгоднѣе,—выпячивая животъ и закладывая руки за спину, проговорилъ Меркуличъ.

— А что Зоя?.. — сморщивъ переносицу и сдвинувъ брови, точно также какъ-будто разсуждая съ самимъ собою, спросилъ Меркуличъ.

— А не знаю,... я передъ отъѣздомъ не видѣлъ ее.

— Не видѣли?

— Не видѣлъ.

— Такъ и не попрощались?

— Къ сожалѣнію, да... Слышалъ я, будто Вѣра Георгіевна и Зоя, услыхавши, что я боленъ—а у меня была горячка и я былъ безъ памяти — заходили узнавать о моемъ здоровьѣ; но — я не видѣлъ ихъ. Затѣмъ, разумѣется, когда я выздоровѣлъ, я благодарилъ ихъ письменно; но зачѣмъ же непремѣнно прощаться—что̀ общаго между мной и вашей дочерью?

«Экъ я вру!» подумалъ про себя Елатомскій.

«Выведу же я его на чистую воду», подумалъ про себя Меркуличъ.

— А какъ вы думаете—мнѣ, какъ ея отцу, ея батькѣ, такъ-сказать,—слѣдуетъ или не слѣдуетъ знать, зачѣмъ это дочь моя, какъ я слышалъ, къ вамъ ходить повадилась?! что̀ тутъ было между вами общаго?

— Это вы слышали?

— Слышалъ.

— Ну, такъ плюньте вы въ глаза тому негодяю, который вамъ это сказалъ.

Меркуличъ опѣшилъ... Елатомскій же глядѣлъ ему прямо въ глаза, безъ малѣйшаго смущенія...

— Объ этомъ говоритъ вся Одесса, сударь вы мой!

— Ну, не даромъ же я уѣхалъ, если такъ. Не только вся Одесса—говори это вся Русь святая—такъ я и ей скажу: ври, ври, да знай-же мѣру и не клевещи даромъ на невинную дѣвушку... Вотъ Сашинъ, тотъ тоже вздумалъ-было подозрѣвать—и Господь Богъ покаралъ его.

— Какъ покаралъ?

— Да такъ—упалъ и умеръ.

— Сашинъ умеръ!

— Да... умеръ ударомъ... Третьяго дня были похороны, кажется, третьяго-дня... да... третьяго-дня... Но... если вы съ нами на Кавказъ, я сообщу вамъ подробности...

— Какъ! я не на Кавказъ...

— Ну, такъ прощайте—пароходъ отходитъ.

Меркуличъ заторопился. Елатомскій первый на прощанье протянулъ ему руку и для того, чтобы скорѣе отъ него отдѣлаться, и оттого, что былъ собою доволенъ, доволенъ тѣмъ, что озадачилъ негодяя, хоть и прилгалъ ему насчетъ своей закавказской службы, и оттого, наконецъ, что у Елатомскаго негодованіе никогда не переходило въ настоящую ненависть: это были вспышки его молодого, еще студенческаго сердца, о которыхъ онъ легко забывалъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Къ тому же, Меркуличъ, выгнавъ Зою изъ дому, помогъ ему провести такую незабвенную ночь подъ однимъ съ нею плэдомъ, на вольномъ вѣтру, среди неукротимаго моря... Уже за одно это можно было протянуть руку Меркуличу.

Меркуличъ посмотрѣлъ на свои часы, сошелъ на палубу, тамъ встрѣтилъ какого-то господина съ дамой, простился съ ними, сошелъ въ яликъ—послѣдній, отходившій отъ парохода на пристань, и совершенно въ другомъ настроеніи духа вышелъ на ялтинскій берегъ. Онъ былъ мраченъ, на что-то сердился и нѣчто пугливое мелькало въ глазахъ его.

«А что̀, если эта дѣвка и въ самомъ дѣлѣ ни въ чемъ не виновата!.. Та̀къ только побаловалась, пококетничала... всѣ онѣ таковы,—ужъ такая натура ихъ дурацкая».

И мысль,—что̀ сдѣлаетъ жена, и что̀ подумаетъ Зоя, когда получатъ онѣ ошеломляюшее письмо его, стала его не шутя безпокоить.

На «Тамани» зашипѣлъ паръ и колеса двинулись. Пароходъ пошелъ на Ѳеодосію и Керчь.

— Ну, слава Богу!—съ облегченнымъ сердцемъ вздохнулъ Елатомскій.

Тотчасъ же побѣжалъ онъ къ Зоѣ во второй классъ, вывелъ ее изъ-подъ люковъ и духоты на свѣжій воздухъ и, стоя съ нею рядомъ, восторженно любовался красотой южнаго берега, мимо котораго они плыли, среди совершенно голубыхъ волнъ и, какъ жемчугъ, смѣшанный съ бриллiантами, разсыпающейся пѣны.

Немногiе могутъ наслаждаться природою въ одиночествѣ—иногда это довольно грустно. Но Елатомскій былъ уже не одинъ, ему было весело—онъ не думалъ о будущемъ.

XIX.

Подоблачные лѣса и морщинистыя скалы ушли назадъ, позеленѣла бирюзовая голубизна воды, приближались безконечные покатые холмы, окружающiе Ѳеодосію, съ цѣлымъ рядомъ неуклюжихъ вѣтренныхъ мельницъ, съ ихъ вершинъ махающихъ своими крыльями. Пароходъ остановился въ Ѳеодосійскомъ заливѣ саженяхъ во ста отъ купаленъ, къ которымъ шли длинные съ берега мостки, въ виду купавшихся особъ обоего пола. Елатомскій, Олафьевъ и Зоя переправились на берегъ, и, такъ какъ пароходъ остановился по крайней мѣрѣ на цѣлыхъ полтора часа, Елатомскій пошелъ купаться, а Олафьевъ и Зоя прошлись по городу, посмотрѣли на домъ Айвазовскаго и усѣлись на бульварчикѣ, который тянулся у самаго берега и заканчивался какой-то древней, безыменной развалиной.

Елатомскій еще на пароходѣ познакомилъ Олафьева съ Зоей (такъ какъ Зоя, по его настоянiю, перешла въ дамскую каюту перваго класса) и даже шепнулъ своему

пріятелю: пожалуйста, строй ей куры, а то всѣ замѣтятъ, что я влюбленъ въ нее. Зоя не была свѣтской дѣвушкой, и это тотчасъ же всѣ замѣтили, когда въ первый разъ вошла она *ютъ* (возвышенное пространство между кормой и нижней палубой), вошла робко ни на кого не глядя, и какъ-бы не рѣшаясь, въ какую сторону направить ей шаги свои (смѣлыя въ любви рѣдко бываютъ смѣлы въ обществѣ). Красота ея, въ особенности глаза, тотчасъ обратили на нее общее вниманіе. Фешенебельная старушка въ сѣдыхъ локонахъ поглядѣла на нее въ лорнетъ. Молодая дама очистила ей около себя мѣстечко. Молодые люди переглянулись. Олафьевъ покраснѣлъ.

Оставшись съ ней на-единѣ, Олафьевъ подумалъ: «ну, теперь буду ей куры строить», и началъ съ вопроса:

— Вы, кажется, вмѣстѣ съ нами въ Тифлисъ ѣдете?

— Въ Тифлисъ.

— Гм! Вы никогда не были не южномъ берегу?

— Никогда-съ... никогда не была.

— Гм! Вы меня узнали?

— Да, я узнала васъ... вы товарищъ Владиміра Григорьевича.

— А помните, что̀ вы сказали мнѣ?

— Не помню...

Олафьевъ усмѣхнулся.

— А я помню. Вы мнѣ сказали, что если я люблю Елатомскаго, то...

— То я очень благодарна вамъ. Это?

Олафьевъ помолчалъ, не переставая ухмыляться, и снова началъ.

— Нѣтъ, вы не то мнѣ сказали!

— Не помню. Онъ былъ такъ боленъ, а я такъ была разстроена... ничего сообразить не могла...

— Гм! оттого-то я и повѣрилъ вамъ.

— Отчего?

— Не соображали, значитъ говорили то, что думали.

Зоя стала припоминать что такое она ему сказала... и ничего не припомнила.

— Я и не отрекаюсь отъ своихъ словъ. Знаете есть минуты, когда бы и хотѣлось притвориться... и никакъ! Легче солгать, чѣмъ притвориться... но я все-таки не помню...

— А вы умѣете лгать?

— О! это я умѣю! — весело произнесла Зоя и веселыми глазами поглядѣла на этого чудака, который сидѣлъ около нея и то посматривалъ на море, то себѣ на кончики сапоговъ, и ни разу не взглянулъ на свою собесѣдницу.

И Олафьевъ погрузился въ задумчивость, можетъ быть, мысленно рѣшалъ задачу: умѣетъ ли лгать эта семнадцатилѣтняя маленькая дѣвушка или не умѣетъ? и если умѣетъ, то ясно, что всѣ женщины насквозь пропитаны ложью,—таковъ неизбѣжный законъ природы... «Всѣ люди смертны,—Кай человѣкъ, значитъ, и онъ смертенъ». Всѣ женщины лгутъ, Зоя такая же женщина, стало быть, и она такая же лгунья. Положимъ, она лгать не умѣетъ, но она говоритъ, что *умѣетъ*, значитъ—лжетъ.

Зоя съ нетерпѣніемъ стала дожидаться Елатомскаго и, завидѣвъ, что онъ выходитъ изъ купальни, встала и пошла къ нему на-встрѣчу. Олафьевъ посмотрѣлъ на часы и тоже всталъ.

Черезъ полчаса они были уже на пароходѣ, и пока оффиціанты накрывали столы къ обѣду — раздался свистокъ, зашипѣли пары, заклокотала пѣна — и пароходъ двинулся по направленію къ Керчи.

XX.

Кто въ ясную погоду видѣлъ съ палубы, на разстояніи 10—20 верстъ, панораму Кавказскихъ горъ, увѣнчан-

ныхъ льдомъ и снѣгами, тотъ, конечно, пойметъ, какими глазами на эту колоссальную картину, на цѣлый рядъ пронизывающихъ облака вершинъ смотрѣли пассажиры «Тамани», а въ томъ числѣ и Елатомскій и Зоя, которые никогда отъ роду не видали ничего подобнаго. А кто никогда не былъ на Черномъ морѣ и никогда не видалъ Кавказа, тотъ все-равно не пойметъ восторга ихъ.

Какъ бы ни было мало человѣческое общество, въ немъ такъ или иначе непремѣнно отразятся нравы и недостатки, привычки и взгляды всякаго, самаго большого человѣческаго общества. Началось съ того, что Зоя стала предметомъ ухаживанія и волокитства, не потому, чтобы всѣ въ нее влюблялись, а просто потому, что молодымъ людямъ нечего было дѣлать—они скучали, и очень были рады, что у Зои глаза такіе великолѣпные, и такой красивый профиль, и такія свѣжія губки, что смотрѣть пріятно, а говорить комплименты и заставлять краснѣть—еще пріятнѣе.

Елатомскому не на долго удалось прикидываться совершенно равнодушнымъ къ ней. Къ нему пристали: — помилуйте, говорили ему, какъ вамъ не грѣхъ! сами волочитесь, а намъ не даете, Мы вамъ не мѣшаемъ, пожалуйста, и вы не мѣшайте намъ.

Въ женской каютѣ скоро узнали ея фамилію, узнали, что она дочь человѣка, который въ Крыму скупаетъ виноградники, стало быть человѣка богатаго; съ какой же стати ѣхать ей одной въ Тифлисъ, да еще искать мѣста гувернантки! Нѣтъ, что-нибудь да не такъ! Этотъ молодой человѣкъ съ карими глазами и въ сѣромъ плэдѣ что-то ужъ черезъ-чуръ интименъ съ ней — подойдетъ, скажетъ ей два-три слова и тотчасъ же отойдетъ. Нѣтъ, это что-нибудь да значитъ!

И такимъ образомъ Зоя и въ маленькомъ пароходномъ обществѣ не избѣжала догадокъ, сплетенъ и предположеній.

Къ счастью Зои, одна молодая дамочка, какая-то Марья Ивановна Баталина, ѣхавшая на Кавказъ къ мужу, приняла въ ней искреннее участіе и настолько симпатично, тепло и заботливо относилась къ ней, что Зоя подчинилась ея внушеніямъ и никогда не оставалась на палубѣ позднѣе другихъ дамъ, иногда уходила вмѣстѣ съ Марьей Ивановной, т.-е. раньше другихъ, и, такимъ образомъ, на ночь, послѣ 11 часовъ, къ немалому удовольствію Елатомскаго, съ носомъ оставляла волокитъ и добрыхъ малыхъ. Елатомскій же, волей-неволей, долженъ былъ не только выслушивать разныя на ея счетъ замѣчанія, но не смѣлъ явно заступиться, когда увѣряли, что Зоя съ тѣмъ и ѣдетъ на Кавказъ, чтобы поймать себѣ женишка, такъ какъ холостыхъ офицеровъ тамъ великое множество, а русскихъ женщинъ мало; или что Зоя не изъ числа недоступныхъ, и что ничего нѣтъ легче, какъ поймать ее въ сѣть, какъ рыбку, на медленномъ огнѣ поджарить и сдѣлать еще вкуснѣе.

— А можетъ быть подавитесь, — возражалъ Елатомскій.

— Только дѣти давятся, — отвѣчали ему... — А что вы не равнодушны къ ней, и что у васъ есть какіе-то шуры-муры, такъ это мы видимъ... Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

— Какіе тутъ шуры-муры! меня просто еще въ Одессѣ просила мать — наблюсти за ней, вотъ я и наблюдаю.

— Дудки! Знаемъ мы васъ, какъ вы наблюдаете! Былъ одинъ «Московскій Наблюдатель» да и тотъ провалился.

Олафьевъ, конечно, не принималъ участія ни въ волокитствѣ, ни въ разныхъ смѣхотворныхъ проказахъ. Но, кто бы могъ это думать, — ревновалъ Елатомскаго къ Зоѣ. Ему казалось, что любовь его къ ней отобьетъ

у него друга, овладѣетъ всѣмъ существомъ его, такъ что для дружбы у Елатомскаго не останется въ душѣ ни одного свѣжаго мѣстечка. Олафьевъ такъ рѣдко сходился съ людьми одного съ нимъ возраста, такъ мало въ жизни своей имѣлъ друзей и пріятелей, что, окруженный лакеями въ штиблетахъ и цвѣтныхъ жилетахъ съ металлическими пуговицами, всякій разъ, когда находилъ человѣка себѣ по-сердцу, человѣка, который казался ему другомъ, прилѣплялся къ нему всѣми силами души своей, готовъ былъ все отдать ему, но былъ требователенъ и подозрителенъ. Конечно, никто не подозрѣвалъ въ немъ ни этой силы привязанности, ни этой требовательности, которая—увы! чаще всего способна была не столько привлекать, сколько отталкивать въ тѣ рѣдкія минуты, когда эта требовательность прорывалась въ минуты неловкой или конфузливой откровенности... Не изъ этихъ ли свойствъ Олафьева вытекала значительная доза его хандры и боязливаго отношенія къ людямъ?..

Все время, пока пароходъ въ продолженіе сутокъ обходилъ крѣпости, расположенныя на восточномъ берегу Кавказа: Геленджикъ, Головинское, крѣпость Святого-Духа и Гагры, въ виду кавказскихъ громадъ, погода была благопріятная, ясная и почти безвѣтренная, и много въ это время наслушался Елатомскій разсказовъ и анекдотовъ, до такой степени характерныхъ по отношенію къ тому времени, что все дальше и дальше уходилъ онъ отъ вѣяній или преданій студенчества... Эвина—забывалась, Бавинъ—казался еще страннѣе, еще дальше отъ дѣйствительной жизни, безконечной въ своихъ прихотливыхъ и подчасъ невѣроятныхъ явленіяхъ. Онъ слышалъ разсказы и о той *барабанщицѣ* въ Коби, у которой останавливались сынки богатыхъ и титулованныхъ папенекъ, проѣздомъ въ армію или на службу въ Тифлисъ, и за одну ласку которой они готовы были отдавать ей — и завод-

скихъ лошадей своихъ, и дорогіе бобровые воротники съ своихъ шинелей, и серебряныя вещи, и деньги... считать каждый часъ, проведенный у этой солдатки—сладчайшими часами своей молодости, и даже забывать, что къ извѣстному сроку ожидаютъ ихъ. И о томъ, какъ въ крѣпости Гагры нельзя вечеромъ оставаться въ комнатѣ при свѣчѣ безъ закрытыхъ ставень, потому что въ освѣщенныя окна съ окрестныхъ горъ летаютъ пули, и что, несмотря на это, были случаи, когда женщины покидали это гнѣздо съ великимъ сожалѣніемъ. И о томъ, какъ и гдѣ погибъ Марлинскій (на этотъ самый лѣсъ ему указывали пальцемъ). И о томъ, какъ Лермонтовъ разъ пріѣзжалъ на военный корабль и какъ адмиралъ совѣтовалъ своимъ офицерамъ быть съ нимъ какъ можно осторожнѣе, ничѣмъ не раздражать его и—Боже избави! не показаться ему ни смѣшными, ни пошлыми... Такъ боялись его поэтической проницательности, его холоднаго ума и его безпощадной насмѣшки.

Наканунѣ прибытія въ Редутъ-Кале, за часъ до обѣда, Елатомскій вызвалъ Зою изъ каюты, взялъ ее подъ-руку и провелъ на другой, носовой конецъ парохода, къ той самой рѣшетчатой скамьѣ, гдѣ четыре ночи тому назадъ онъ пригрѣвалъ ее своимъ плэдомъ и въ первый разъ поцѣловалъ ее.

Говоря съ ней, онъ раскаявался, зачѣмъ перевелъ ее въ первый классъ; спрашивалъ ее, отчего она такъ блѣдна и какъ будто разстроена, и, наконецъ, спросилъ—хочетъ ли она пріѣхать въ Тифлисъ въ качествѣ его невѣсты?

Зоя вдругъ просіяла, въ ея черныхъ глазкахъ навернулись слезы радости, и если бы не посторонніе, она бросилась бы обнимать его.

Въ это время, передъ носомъ парохода, играли дельфины: они выскакивали изъ волнъ, дѣлали дугу въ воздухѣ и исчезали въ безднѣ...

Черезъ часъ Елатомскій сидѣлъ уже рядомъ съ Зоей за обѣденнымъ столомъ въ каютъ-компаніи противъ Олафьева, и былъ молчаливо грустенъ; но когда стали подавать жаркое, велѣлъ оффиціанту откупорить бутылку шампанскаго.

Скоро хлопнула пробка — и три бокала запѣнились: одинъ бокалъ у Елатомскаго, другой—у Зои, третій—у Олафьева.

Елатомскій чокнулся черезъ столъ съ Олафьевымъ и сказалъ ему:

— Дружище Олафьевъ, поздравь меня, я женюсь—и вотъ моя невѣста.

— Какъ? Что?.. Что̀ такое? Ба!—пронеслось съ одного конца стола до другого.

Марья Ивановна уставила на Зою свои добрые глаза и, казалось, радовалась ея радостью, зарумянившись оттого, что увидала румянецъ на ея блѣдномъ личикѣ.

Олафьевъ въ улыбку растянулъ ротъ свой, поздравилъ Елатомскаго, потупился и велѣлъ подать еще полдюжины шампанскаго.

Капитанъ привсталъ и сказалъ, что очень радъ, что на его пароходѣ совершилось такое событіе, и что онъ тоже не прочь выпить.

Какой-то курскій помѣщикъ чему-то вдругъ захохоталъ, но опомнился—и съ удивленіемъ выпучилъ глаза свои.

У всѣхъ въ рукахъ появились пѣнившіеся бокалы.

Зоя подошла чокнуться съ Марьей Ивановной и шепнула ей на ухо: «ну, теперь я все разскажу вамъ, все, все!»

Когда всѣ развеселились и раскраснѣлись отъ духоты, вина и этой, по мнѣнію нѣкоторыхъ, забавной нечаянности,—въ ту минуту, когда уже подавали кофе, случилась другая нечаянность.

Вдругъ послышался глухой грохотъ, тарелки под-

прыгнули, зазвенѣло стекло, гости пошатнулись, одни ударились спиной объ стѣну, другіе чуть не клюнули носомъ. Наверху раздался чей-то крикъ... Поднялась суматоха.

Зоя упала на грудь Елатомскаго и прижалась къ нему своей головкой. Дамы поблѣднѣли.

— Что такое?—спросилъ капитанъ — (казалось, онъ уже понялъ, въ чемъ дѣло).

— Ничего-съ! Маленькій шквалъ налетѣлъ,—отвѣчалъ выбѣжавшій и тотчасъ же назадъ вбѣжавшій въ каюту мичманъ.

Веселое лицо его тотчасъ же успокоило все общество.

— Велите убирать тентъ—сказалъ пожилой капитанъ и мѣшковато, не торопясь, пошелъ на палубу. Тутъ-съ,—сказалъ онъ,—мимоходомъ, Елатомскому, такое мѣсто-съ... около этой Абхазіи — постоянно... шквалы-съ... потому что ущелья, знаете...

Публика тоже, вся до единаго человѣка, высыпала на чистый воздухъ. Палуба была мокра.

Волна, гонимая шкваломъ, очевидно перекинулась черезъ бортъ и залила палубу.

— Вотъ еще новое для насъ впечатлѣніе; кавказскіе вѣтры поздравляютъ насъ, — сказалъ Зоѣ Елатомскій, останавливаясь съ нею недалеко отъ печки, дышавшей жàромъ, позади закрытаго трюма.

На ютѣ убирали тентъ, который вырывался изъ рукъ и хлопалъ по воздуху...

Раздавался свистокъ—ждали новаго шквала, но онъ прошелъ стороной, темно-лиловой грядой на синихъ волнахъ обозначая свое шествіе.

Къ 9-ти часамъ вечера показались подозрительныя облака и подулъ сильный вѣтеръ... Боковая качка тоже усилилась.

Судя по барометру, лейтенантъ пророчилъ маленькую бурю или волненіе.

— Чего добраго,—говорилъ онъ,—не прійдемъ мы въ Редутъ-Кале.

— Почему-же?—спросилъ Елатомскій.

— Да потому, что придется лавировать и какъ можно подальше уходить отъ береговъ. Вы не боитесь, Зоя Трофимовна?

— Немножко боюсь,—отвѣчала Зоя и крѣпко, крѣпко сжала ту руку, которая очутилась въ эту минуту въ рукѣ ея.

На томъ же мѣстѣ, гдѣ былъ обѣдъ, уже появилась морская карта; что̀ такое говорилъ капитанъ своимъ подчиненнымъ съ озабоченными лицами, ни Елатомскій, ни Зоя не поняли — ихъ такъ сильно раскачивало, что то Зоя, то Елатомскій старались поддержать другъ друга. Наконецъ, у него стала кружиться голова, и Зоя до завтрашняго утра простилась съ нимъ.

XXI.

Было два часа ночи. Елатомскій лежалъ у себя въ каютѣ лицомъ кверху и не спалъ, не могъ спать... Это была ужасная ночь для людей непривыкшихъ къ морю.

— Дзинь-дзинь! дзинь!

— Который-то часъ? Господь его вѣдаетъ... не разберешь по этимъ стклянкамъ!

— А вѣтеръ усиливается, такъ и валитъ пароходъ съ боку на бокъ, качка страшная!

Въ шумѣ волнъ исчезаетъ шумъ колесъ и стукъ машины;—одно только сотрясеніе чуть слышное и мѣрное, какъ тактъ, какъ пульсъ, смутно даетъ вамъ знать, что поршни работаютъ по-прежнему... Мѣсяцъ, изрѣдка выбрасывая лучи свои изъ-за разорванныхъ, летучихъ об-

лаковъ, сыплетъ колючія, золотыя блестки на взволнованное море и освѣщаетъ мокрую палубу, фантастически загроможденную ящиками, мѣшками, экипажами въ чехлахъ, клѣтками, узлами и цѣлымъ ворохомъ людей, которыхъ трудно отличить отъ мѣшковъ и на которыхъ то и дѣло спотыкаешься.

Всѣхъ закачало. Одинъ только лейтенантъ бодро расхаживаетъ по мокрымъ доскамъ, и каждый шагъ его тяжелымъ стукомъ раздается надъ потолочными перекладинами каютъ, гдѣ въ два яруса лежатъ пассажиры, завернутые въ байковыя одѣяла, точно въ саваны. Иные лежатъ нераздѣтые и въ сапогахъ, потому что морская болѣзнь не даетъ имъ возможности улежать на одномъ мѣстѣ.

И Елатомскій былъ одѣтъ, только галстукъ стащилъ съ себя и куда-то забросилъ.

Вотъ онъ вскочилъ... блѣдный, зеленый, растрепанный, вотъ бѣжитъ онъ, одной рукою хватаясь за грудь, другою за столы, скамьи и стѣны. Вотъ онъ кое-какъ одолѣваетъ лѣстницу, цѣпляется за бортъ и вѣтеръ сердито свиститъ и воетъ въ ушахъ его, волна обдаетъ лицо его солеными брызгами: на, дескать! вотъ тебѣ за это! И кажется ему, помутившимся глазамъ его, что и мѣсяцъ, и облака, и гдѣ-то промелькнувшая звѣздочка заодно съ фонарями и крутящимися искрами въ какой-то неестественной, дикой пляскѣ раскачиваются и бѣгаютъ по небу.

«Боже мой! когда-то все это кончится!» думаетъ Елатомскій.

Онъ вернулся въ каюту... Ушибъ себѣ локоть... и легъ...

«Что теперь Зоя? Каково ей? боится ли она... или мужественно переноситъ свои страданія?» думалъ Елатомскій. «И я, несчастный, игрушка случайности, безъ денегъ и съ неизвѣстнымъ будущимъ, навсегда соединяю съ судьбой ея судьбу свою!..

Въ буфетѣ звенитъ стекло, въ деревянныхъ перегородкахъ, за зеркаломъ, слышенъ скрипъ, какъ будто кто-то желѣзнымъ ногтемъ по чему-то жесткому царапаетъ.

И этотъ непріятный, несносный скрипъ такъ и тянетъ за душу...

«Итакъ,—я женюсь!.. вотъ какъ!» думаетъ Елатомскій... «Давно-ли я былъ такъ силенъ духомъ, что отказался отъ обладанія красивой, умной и независимой женщиной, и не прошло недѣли съ тѣхъ поръ, какъ уже я женюсь! Бѣдная Зоя оказалась сильнѣе меня... я оказался человѣкомъ безхарактернымъ».

Несносный скрипъ за перегородкой дѣлается тише, тише, короче, еще короче, затихаетъ на одну секунду, и потомъ опять — опять! Такъ и слышно, какъ набѣгаетъ девятый валъ... вотъ онъ стучится въ маленькое, круглое окошечко каюты, крѣпко-на̀-крѣпко завинченное. Пугливо шевелится зеленоватый огонёкъ въ висячей задрожавшей лампѣ; со стола въ общей каютѣ что-то падаетъ... Кто-то вскочилъ и бѣжитъ... Тьфу, какіе противные звуки слышны тамъ на верху—кто тамъ давится!?!

«Я безхарактеренъ!» думаетъ Елатомскій: «но развѣ эта буря меня пугаетъ?.. Развѣ я боюсь за ничтожную жизнь мою?—Нѣтъ.—Но... пусть-ка этотъ пароходъ съ сильными рычагами, съ четырьмя-стами лошадиныхъ силъ, попробуетъ идти не качаясь, не скрипя и не вздрагивая!.. Сила воли! Развѣ есть у человѣка воля? Развѣ я женюсь потому, что мечталъ быть женихомъ, мечталъ о семейномъ благополучіи—знаемъ мы это благополучіе! Я женюсь, потому что нѣтъ у меня воли, потому что не идеи, не убѣжденія, а случай играютъ мной».

И, закутавшись въ одѣяло, Елатомскій припоминаетъ исторію своего знакомства съ Зоей.

«Не моя воля, но—развѣ не моя вина? Зачѣмъ я не поступилъ такъ, какъ подсказалъ мнѣ Тургеневъ своимъ Андреемъ Колосовымъ... Зачѣмъ сразу не прекратилъ я всякихъ сношеній съ семействомъ Меркуличей?.. Зачѣмъ игралъ съ огнемъ, находилъ отраду въ страсти, которую не одобрялъ мой разсудокъ? О, презрѣнный разсудокъ! что ты значишь тамъ, гдѣ зарождается страсть? Что значитъ умнѣйшій изъ капитановъ корабля,— когда ураганъ срываетъ снасти и дѣлаетъ тщетными всѣ его усилія... Случай спасаетъ иногда корабль и сотни пассажировъ... но спасетъ-ли меня случай. Что если... тамъ, въ Тифлисѣ... узнаютъ... назовутъ меня дуракомъ и никакого мѣста, никакого жалованья не дадутъ мнѣ... Бѣдная Зоя!..

— Елатомскій, Елатомскій! Вы спите?—хрипитъ курскій путешественникъ, и въ дверяхъ каюты большая голова его обрисовывается, какъ черный силуэтъ на мутно-освѣщенномъ фонѣ.

— Это вы?

— Елатомскій, послушайте, мы не потонемъ?

— А почемъ я знаю.

— Что если потонемъ?

— Что же дѣлать!

— Помилуйте, что за пріятность!

Въ это время наверху что-то шлепнулось, должно быть, кто-то поскользнулся и упалъ. Въ завываніяхъ вѣтра смутно послышался голосъ капитана: «закрѣпить!»— раздался свистокъ.

— У... какъ хотите—я не могу!

— Не шлёпнитесь!

Въ общую каюту вошелъ молоденькій мичманъ. Нѣкоторые изъ мертвецовъ, закутанныхъ въ шерстяныя одѣяла, воскресли, подняли головы и обратились къ нему съ разспросами.

— Какая это буря,—отвѣчалъ мичманъ:—только кожухъ немного повредило. Такія-ли бываютъ бури!

— Да помилуйте,—хрипитъ курскій помѣщикъ,—всю утробу выворотило на изнанку... Это чортъ знаетъ что!!

«А у меня сердце выворотило на изнанку», подумалъ про себя Елатомскій, «и если бы не это проклятое шампанское — ничего-бы! — даже и морской болѣзни бы не было»...

XXII.

Къ утру вѣтеръ замѣтно упадаетъ, и пароходъ, раскачиваясь, перестаетъ скрипѣть и охать.

На востокѣ, полосы тучъ уже идутъ въ перемежку съ полосами розовой зари... и облака потеряли летучесть дыма—они ползутъ и по мѣстамъ расплываются,—какъ-бы очищая дорогу для солнца. Морскіе валы замѣтно начинаютъ покрываться морщинами—хорошій признакъ: явно, что сильный вѣтеръ пересталъ разглаживать ихъ свинцовую поверхность. Стукъ машины раздается явственнѣе и уже ясно слышенъ среди затихающаго волненія. Коммиссаръ отворяетъ маленькое окошечко своей каюты и смотритъ на машиниста, сидящаго на люкѣ закрытаго трюма. Машинистъ смотритъ на коммиссара. Коммиссаръ замѣтно доволенъ перемѣной погоды. Лицо машиниста, несомнѣнно англичанина, никогда—ни въ бурю, ни въ ясный день, ни даже передъ бутылкой рома — не измѣняетъ своего выраженія.

Дзинь-дзинь! дзинь! дзинь! дзинь!

Коммиссаръ смотритъ на часы и о чемъ-то по-русски спрашиваетъ англичанина.

Англичанинъ, не выпуская изо-рта сигары, отзывающейся тютюномъ, издаетъ какой-то звукъ, въ родѣ утвердительнаго *ге!* и начинаетъ широкой ладонью слегка потирать свой желудокъ.

По ту сторону желѣзной печи, орошенной каплями застывшаго пара, кто-то громко и протяжно зѣваетъ.

Слыша этотъ многознаменательный, предразсвѣтный зѣвокъ, коммиссаръ повязываетъ манишку.

Машинистъ увѣренъ, что будетъ хорошій день, и туловище его заранѣе начинаетъ чувствовать испарину. Съ необычайнымъ терпѣніемъ дожидается онъ рюмки джину, несмотря на то, что по всей природѣ только джинъ и способенъ прохлаждать его.

Проснувшійся поваръ начинаетъ ловить ускользнувшую изъ-подъ кошолки курицу... и двое фабричныхъ, въ затрапезныхъ халатахъ, лежа на сырыхъ мѣшкахъ подъ рогожей, начинаютъ трунить надъ нимъ.

Не успѣлъ коммиссаръ выпить и пройтись по палубѣ, какъ уже огромный самоваръ, еще съ вечера привинченный за горло и за ноги, начинаетъ чадить и понемногу закипать, къ немалому удовольствію солдатки, которая грудью кормитъ ребенка, и которая, вѣроятно, чаю пить не будетъ.

Солнце поднимается; на ютъ, съ распущенными волосами, выбѣгаетъ Зоя.

— Вашъ женихъ спитъ, какъ убитый,—говоритъ ей какой-то господинъ въ плащѣ.

— Фитиль!— раздается голосъ мичмана. Матросъ въ сѣрой курткѣ бѣжитъ съ жестянкой, въ которой день и ночь тлѣетъ конецъ лохматой веревки.

Пароходная жизнь кое-гдѣ выходитъ изъ своего ночного оцѣпенѣнія.

— Скоро-ли пріѣдемъ?— спрашиваетъ Зоя Олафьева.

— Скоро-ли пріѣдемъ?—спрашиваетъ Олафьевъ матросика съ фитилемъ.

— Не знаю... часа черезъ два-три.

— Никогда не пріѣдемъ, — шутитъ мичманъ. — Неужели вамъ съ нами скучно, Зоя Трофимовна?—Онъ лю-

буется живописнымъ безпорядкомъ черныхъ косъ ея и пожимаетъ ей холодную ручку. — Неужели вы рады покинуть насъ? Прикажите, и я велю разбудить вамъ этого счастливчика Елатомскаго.

— Нѣтъ,— мнѣ сказали—онъ очень страдалъ ночью; не мѣшайте ему спать.

И Зоя уходитъ въ каюту, кокетливо размахивая концами развѣвающейся косы.

— Какая милашка! — говоритъ мичманъ, вздыхая и обращаясь къ Олафьеву.

Олафьевъ усмѣхается... Его радуетъ мысль, что онъ будетъ шаферомъ на свадьбѣ своего друга, и что онъ поможетъ имъ: на судьбу ихъ будетъ имѣть самое благодатное вліяніе, потому что подаритъ имъ домъ въ Москвѣ или 300 десятинъ земли,—для него ничего не стоитъ.

XXIII.

Очнувшись, Елатомскій услыхалъ гулъ выпускаемаго пара, а все тѣло его почувствовало, что пароходъ стоитъ и качается какъ-то иначе... Какъ-бы чего испугавшись, онъ заглянулъ въ окошечко и увидѣлъ въ дали передвигающуюся то вверхъ, то внизъ, черную полоску земли, что-то такое напоминающее берегъ.

Онъ отворилъ дверь въ общую каюту — и увидѣлъ, что она почти пуста, на столѣ стоитъ недопитый стаканъ чаю; на постеляхъ, уже превращенныхъ въ диваны, лежатъ пожитки, плэды перетянуты ремнями, подушки связаны съ одѣялами... Наверху идетъ суматоха.

«Пріѣхали!» подумалъ Елатомскій... Сердце его сильно билось... Какая-то непонятная ему тоска, соединенная съ нервной дрожью, захватывала грудь его... Смутно припоминался ему сонъ, который онъ видѣлъ... казалось, будто къ нему приходила мать его и благословляла... Смутно припоминался ему весь вчерашній день... шам-

панское... Зоя... дружескіе тосты случайныхъ пріятелей, ихъ улыбки... и шквалъ... этотъ шквалъ, который такъ кстати разогналъ ихъ и освободилъ его отъ поздравленій и пожеланій, какъ ему казалось, не совсѣмъ искреннимъ... «Должно быть, у меня вчера было такое глупое лицо...» — думалъ Елатомскій, торопливо умываясь, одѣваясь и не находя своего галстука...

— Елатомскій! что̀-же вы? Я ужъ шелъ будить васъ,— заговорилъ Олафьевъ, войдя въ общую каюту, подбоченившись и ухмыляясь.

«Вотъ и онъ ухмыляется», подумалъ Елатомскій.— Сейчасъ, сейчасъ! сію минуту!

— А Зоя Трофимовна встала на зарѣ и уже на зарѣ приходила искать васъ.

Елатомскій внутренно готовъ былъ въ эту минуту растерзать себя за то, что онъ одинъ оказался такимъ соней, такимъ ветошкой.

— Сейчасъ, сейчасъ!..

Минутъ черезъ пять Елатомскій былъ уже наверху и встрѣтилъ Зою.

— Я не спалъ всю ночь,—сказалъ онъ ей и поцѣловалъ ей руку (ей хотѣлось, чтобъ онъ поцѣловалъ ее). Она поглядѣла ему въ глаза съ безпокойствомъ, ибо увидѣла въ глазахъ его тревогу, а на лицѣ смущеніе.

— А ваша невѣста—молодецъ!—сказала ему Марья Ивановна:—качка на нее не дѣйствовала, и она могла бы спать; но ухаживала за другими дамами и молилась Богу.

Елатомскій только крѣпче пожалъ руку Зои и не сказалъ ни слова.

Вокругъ парохода въ это время качались и сновали баркасы, съ гологрудыми гребцами, въ мингрельскихъ кружкахъ на головѣ, вмѣсто шапки, въ запачканныхъ фескахъ, въ черкесскихъ папахахъ, и всѣ такіе смуглолицые, такіе горлодеры, съ такими сильными и раз-

машистыми жестами. Эти баркасы, или большія лодки съ опущенными парусами, качались на волнахъ, какъ орѣховыя скорлупки, то поднимаясь чуть не до самаго борта, то опускаясь ниже лѣстницы... Длинные шесты, безпрестанно упиравшіеся въ желѣзную обшивку «Тамани», спасали ихъ отъ столкновенія. Поочереди подъѣзжали эти баркасы къ опущенной лѣстницѣ (къ траппу), и мускулистыя голыя руки, протягиваясь вверхъ, ловили или подхватывали кладь и, тяжелые чемоданы и легкіе узелки, все это скидывали на дно баркаса, и потомъ точно также тѣ же руки подхватывали пассажировъ и сажали ихъ.

Елатомскій вспомнилъ, что изъ трюма онъ не взялъ еще своихъ вещей, а между тѣмъ за Зоей пришелъ лейтенантъ и сказалъ ей: садитесь въ казацкій баркасъ, присланный отъ начальника карантинной гавани — онъ самый удобный. Марья Ивановна! Зоя Трофимовна, пожалуйте!

— Олафьевъ, — проведите Зою, — сказалъ Елатомскій, — я еще долженъ отыскать свой чемоданъ. Чортъ знаетъ, что за суматоха! Да гдѣ же этотъ Редутъ-Кале, скажите на милость?

— Онъ едва виденъ, мы за двѣ версты отъ него,— отвѣчалъ лейтенантъ. — Ближе подойти невозможно. Видите, какая зыбь.

— Зоя, до свиданія! Я посмотрю, какъ ты сядешь въ лодку. Возьми вотъ и этотъ дорожный мѣшокъ мой.

И Елатомскій видѣлъ, какъ дюжія руки почти на лету подхватили его невѣсту, и какъ вдругъ опустилась лодка, и какъ зашаталась и едва не упала Зоя. Онъ видѣлъ, какъ, усѣвшись на скамью, она, блѣдная и трепещущая, глядѣла вверхъ, какъ бы стараясь уловить и понять выраженіе лица его. Елатомскій съ минуту ничего не видѣлъ, кромѣ глазъ ея и силился на прощаніе улыбнуться ей.

XXIV.

Расколыхавшіяся волны подъ напоромъ ночного юго-западнаго сильнаго вѣтра, который, какъ увѣряли моряки, былъ однимъ только краешкомъ настоящей бури, пронесшейся черезъ всю середину Чернаго моря, были такъ высоки, что Зоѣ и Марьѣ Ивановнѣ и даже Олафьеву съ непривычки было жутко. Не даромъ Зоя приподняла свои плечики, кутаясь въ черный платокъ, не даромъ Марья Ивановна хваталась рукой за края баркаса, и не даромъ Олафьевъ былъ зеленъ, какъ недозрѣлый лимонъ, хотя онъ ничѣмъ не обнаруживалъ своей трусости.

Но и у него душа ушла въ пятки, когда волны моря встрѣтились съ волнами набѣгавшей на нихъ рѣки Хопи, когда между ними началась борьба или свалка и образовала такъ-называемую толчею (или толкотню) волнъ. Нужно было очень искусно править рулемъ, чтобы попадать въ разрѣзъ волнъ и не дать имъ захлеснуть или опрокинуть судна.

Но, слава Богу, баркасъ миновалъ опасное мѣсто, поднялъ парусъ и такъ какъ вѣтеръ былъ съ моря, стало-быть попутный, какъ стрѣла понесся вдоль рѣки, и наши повеселѣвшія дамы увидѣли Редутъ-Кале,—оригинальный городокъ, весь состоящій изъ какихъ-то деревянныхъ клѣтокъ, вмѣсто домовъ, на сваяхъ, окруженныхъ плотами и множествомъ мачтъ или привязанныхъ къ нимъ баркасовъ.

Въ городѣ не видать было ни церкви, ни одного, сколько-нибудь выдающагося зданія. Самый комфортабельный домъ, т.-е. съ окнами, былъ домъ карантиннаго начальника и его канцеляріи, да еще сносный домъ,—трактиръ, неподалеку отъ базарной площади, и гребцы не даромъ повернули къ нему носъ своего баркаса.

Зоя, поддерживаемая Олафьевымъ, весело взобралась сначала на другой порожній баркасъ, потомъ по доскѣ перешла на ступеньку лѣстницы и взошла на широкій балконъ, сквозь доски котораго, внизу свѣтилась зеленая вода, а сверху сквозь щели, свѣтилось голубое небо. Съ балкона этого открывался видъ вдоль всей рѣки и весело было видѣть, какъ десятки парусовъ, гуськомъ, одинъ за другимъ, какъ лебеди, съ вытянутыми шеями, неслись вдоль этой водяной улицы.

Въ этомъ трактирѣ отвели имъ два чуланчика, одинъ для Олафьева и поджидаемаго Елатомскаго, другой—для Зои и Марьи Ивановны.

Камердинеръ Олафьева, котораго на пароходѣ не было видно, снялъ съ барина сапоги съ подмоченными подошвами и подалъ ему сухіе. Дамы тоже должны были похлопотать о своемъ туалетѣ. Неопытная Зоя во всемъ подражала милой Марьѣ Ивановнѣ, тоже раскрыла свой чемоданчикъ, достала новый воротничекъ, новые подрукавники и спрятала кожаную сумку Елатомскаго, гдѣ лежалъ его университетскій дипломъ, около десятка сигаръ, коробочка съ шеколадомъ и около 90 рублей серебромъ и золотомъ.—О, да я богаче его! не безъ гордости подумала Зоя, было около 500 рублей. Не даромъ же ея мать продала серебро свое.

Олафьевъ вышелъ на заднее крылечко и увидѣлъ толпу на базарѣ, ословъ съ перекидными мѣшками, имеретинъ, грузинъ, армянъ, татаръ, пестроту одежды, лохмотья, кинжалы въ серебрѣ, длинныя ружья въ чахлахъ изъ верблюжьей шерсти, навьюченныхъ и осѣдланныхъ лошадей, а на заднемъ планѣ лавочку, откуда выглядывалъ турокъ съ сѣдой бородой и съ мундштукомъ, котораго дымокъ по временамъ заволакивалъ широкое лицо его. Немного лѣвѣе увидѣлъ онъ четырехугольное отверстіе въ стѣнѣ, откуда, расширивъ ноздри высовывалась голова оленя.

Такъ прошло съ полчаса.

— Олафьевъ! Гдѣ же Елатомскій?—раздался за нимъ голосъ Зои.

— Не знаю.

— Меня безпокоитъ его отсутствіе.

— Вѣроятно, онъ на пароходѣ замѣшкался.

— Пойдемте кофе пить.

Олафьевъ пошелъ съ нею на балконъ и принялся за кофе.

Въ это время съ балкона увидѣла она—плыветъ въ баркасѣ знакомое лицо съ парохода, а именно курскій путешественникъ.

— Постойте, постойте!—закричала Зоя,—къ намъ... къ намъ... Гдѣ Елатомскій?

Путешественникъ оглянулся, невеселыми глазами поглядѣлъ на нее, хотѣлъ что-то сказать, махнулъ рукою поплылъ далѣе.

— Ради Бога, Олафьевъ, узнайте что̀ случилось!—и, поблѣднѣвъ, какъ полотно, Зоя схватила его за руку.

Олафьевъ взглянулъ на нее и также поблѣднѣлъ.

— Что могло случиться?—проговорилъ онъ.

Прошло еще четверть часа. Зоя скорыми шагами ходила по балкону и злилась, и чуть не плакала, что нельзя бѣжать ей по этой рѣкѣ, бѣжать къ морю и разспрашивать.

Марья Ивановна, которая долго ее утѣшала, и та стала безпокоиться.

Но вотъ, на лодкѣ, къ трактиру подъѣхалъ какой-то чиновникъ, съ офицерскими ухватками, перешелъ перекладину и, споткнувшись на лѣстницѣ, тяжело ступилъ на балконъ.

— Уфъ!—вздохнулъ онъ, снимая фуражку съ зеленымъ околышемъ. Потъ лилъ съ него градомъ... сюртукъ былъ разстегнутъ, манишка смята.

— Не случилось ли чего?—обрывающимся голосомъ спросила его Марья Ивановна.

Таможенный чиновникъ сѣлъ, опять тяжело вздохнулъ и началъ:

— Да что̀ случилось?.. скверность случилась!.. У одного баркаса... волной вышибло руль... онъ и перевернулся... Давно не было такого случая... Чортъ возьми!

— А люди... люди...—спросила Марья Ивановна.

— Однихъ кой-какъ спасли... другихъ поѣхали спасать... ничего не знаю... Знаю только, что на этомъ баркасѣ были казенныя деньги—и ко дну пошли.

Олафьевъ вскочилъ, сказалъ дамамъ, что онъ сейчасъ беретъ лодку и сейчасъ же поѣдетъ разузнавать, въ чемъ дѣло, и былъ ли на этомъ баркасѣ Елатомскій.

Въ немъ проснулась энергія, онъ былъ неузнаваемъ, кричалъ, требовалъ баркаса сейчасъ же, сію минуту, давалъ втрое больше, чѣмъ запрашивали, и кончилось тѣмъ, что нашлось множество охотниковъ везти его — хоть на пароходъ.

Таможенный чиновникъ и не предполагалъ, что дѣвушка, которая глядѣла на него во всѣ глаза, пока онъ досадовалъ о потопленіи казенныхъ денегъ, была невѣстою одного изъ оставшихся на пароходѣ,—того, котораго она ждала съ нетерпѣніемъ.

Увидѣвъ лицо ея, онъ смутился.

— Господинъ! — закричалъ онъ Олафьеву, — который уже сидѣлъ въ баркасѣ,—возьмите меня, вотъ я только рюмку водки выпью и поѣду съ вами. Вы здѣшнихъ мѣстъ не знаете, и не всѣ поймутъ васъ, что̀ вы будете спрашивать.

Такъ онъ и уѣхалъ съ Олафьевымъ.

Зоя всплеснула руками и зарыдала.

XXV.

На другой день кордонные казаки нашли трупъ Елатомскаго въ двухъ верстахъ отъ Редута, въ камышахъ, на песчаной отмели.

Олафьевъ, вмѣстѣ съ полицейскимъ, съ карантиннымъ начальникомъ перебрался въ лодкѣ черезъ рѣку, и, окруженный скачущими имеретинами, верхомъ на татарской лошади, отправился самъ удостовѣриться, дѣйствительно ли это трупъ его друга.

Увы, не доскакавши и десяти саженъ, несмотря на свою близорукость, онъ тотчасъ же узналъ несчастнаго юношу.

Туча комаровъ вилась надъ мертвымъ, посинѣвшимъ лицомъ его... на вискѣ чернѣла запекшаяся кровь, видно, волны ударили его о камень головой и, быть можетъ, этимъ сократили его предсмертную борьбу и страданія.

Олафьевъ слѣзъ съ лошади, подошелъ, и слезы покатились по впалымъ щекамъ его.

Въ это время Зоя лежала въ чуланчикѣ — металась, рвала на себѣ волосы, была безъ чувствъ, стонала и бредила...

Она не видѣла трупа, который, завернувши въ дорогой персидскій коверъ, Олафьевъ перевезъ въ Редутъ, не видѣла, какъ священникъ на грузинскомъ языкѣ, подъ открытымъ небомъ, отпѣвалъ его, и какъ дымокъ изъ ручной кадильницы вился вокругъ его бѣднаго, на̀-скоро сколоченнаго гроба.

Елатомскаго похоронили на берегу моря, и только добрая Марья Ивановна да Олафьевъ поклонились сырой землѣ, которая навсегда отъ людскихъ очей сокрыла этого юношу.

Въ ночь послѣ похоронъ, сидя у больной, обезумѣвшей Зои, и по совѣту врача помогая ей, долго не спала Марья Ивановна.

А въ это время за стѣной явственно слышались два разговаривающихъ голоса,—тихій, старческій, дребезжа-

щій, съ небольшими разстановками и басъ—молодой, лѣнивый и сонный.

— Вотъ, слушай,—говорилъ первый голосъ,—ходилъ Богъ по землѣ, шелъ вдоль той дороги, гдѣ у насъ камыши-то растутъ... знаешь ты, что̀ камыши-то значитъ или не знаешь?

— Знаю.

— Знаешь, ну, и хорошо, что знаешь, спи теперь.

— Да не могу я спать... спи!.. Ты усыпи меня, а потомъ уже и говори: спи!

— Экой ты!.. ну, хорошо... Ну, жилъ-былъ... Я тебѣ таперича другое стану разсказывать. Жилъ-былъ царь, вздумалъ царь построить себѣ дворецъ изъ костей. Дай, говоритъ, построю я себѣ изъ костей дворецъ. Велѣлъ по всему государству кости собирать и класть въ озеро, чтобы мокли, и навалили костей цѣлое озеро и стали ихъ мочить.

— Ну, что же дальше-то?

— Ну, и мокнутъ.

— Что?

— Мокнутъ! али ты не слышишь?

— Только-то?

— Чего-жъ тебѣ! и теперь еще мокнутъ, еще не вымокли, а когда вымокнутъ, тогда я скажу, что будетъ. Теперь спи... Богъ на то ночь далъ.

— А сказку Богъ на что далъ?

— И сказку! все отъ Бога, братецъ ты мой. Ну, не мѣшай же ты мнѣ спать, сдѣлай такую милость. Когда я начну спать, ты меня ни за какія тысячи не разбудишь.

Конецъ.

Stanford University Libraries
3 6105 006 079 706